

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Том 10. **Рассказы. Очерки. Публицистика. 1863—1893**

Марк Твен

КАК ЛЕЧИТЬ ПРОСТУДУ

Писать для развлечения публики, быть может, и похвально, но есть дело, несравненно более достойное и благородное: писать для поучения и назидания, для подлинной и реально ощутимой пользы человека. Именно ради этого я и взялся за перо. Если эта статья поможет восстановить здоровье хотя бы одному из моих страждущих братьев, если она вновь зажжет в его потухшем взоре огонь радости и надежды, если она оживит его застывшее сердце и оно забьется с прежней силой и бодростью — я буду щедро вознагражден за свои усилия, душа моя преисполнится священного восторга, какой испытывает всякий христианин, совершивший благой, бескорыстный поступок.

Ведя жизнь чистую и безупречную, я имею основание полагать, что ни один знающий меня человек не пренебрежет моими советами, испугавшись, что я намереваюсь ввести его в заблуждение. Итак, пусть читатель возьмет на себя труд ознакомиться с изложенным в этой статье опытом лечения простуды и затем последует моему примеру.

Когда в Вирджиния—Сити сгорела гостиница "Белый Дом", я лишился крова, радости, здоровья и чемодана. Утрата двух первых упомянутых благ была не столь страшна.

Не так уж трудно найти дом, где нет матери, или сестры, или молоденькой дальней родственницы, которая убирает за вами грязное белье и снимает с каминной полки ваши сапоги, тем самым напоминая вам, что есть на свете люди, которые вас любят и о вас пекутся. А к утрате радости я отнесся вполне спокойно, ибо я не поэт и твердо знаю, что печаль надолго со мной не останется. Но потерять великолепное здоровье и великолепнейший чемодан оказалось действительно большим несчастьем. В день пожара я схватил жестокую простуду, причиной чему послужило чрезмерное напряжение сил, когда я собирался принять противопожарные меры. Пострадал я при этом напрасно, так как мой план тушения пожара отличался такой сложностью, что мне удалось завершить его лишь к середине следующей недели.

Как только я стал чихать, один из моих друзей сказал, чтобы я сделал себе горячую ножную ванну и лег в постель. Я так и поступил. Вскоре после этого второй мой друг посоветовал мне встать с постели и принять холодный душ. Я внял и этому совету. Не прошло и часа, как еще один мой друг заверил меня, что лучший способ лечения — "питать простуду и морить лихорадку". Я страдал и тем и другим.

Я решил поэтому сперва как следует наесться, а затем уж взять лихорадку измором.

В делах подобного рода я редко ограничиваюсь полумерами, и потому поел я довольно плотно. Я удостоил своим посещением как раз впервые открытый в то утро ресторан, хозяин которого недавно приехал в наш город. Пока я закармливал свою простуду, он стоял подле меня, храпя почтительное молчание, а затем осведомился, очень ли жители

Вирджиния—Сити подвержены простуде. Я ответил, что, пожалуй, да.

Тогда он вышел на улицу и снял вывеску.

Я направился в редакцию, но по дороге встретил еще одного закадычного приятеля, который сказал, что уж если что—нибудь может вылечить простуду, так это кварта воды с солью, принятая в теплом виде. Я усомнился, найдется ли для нее еще место, но все—таки решил попробовать. Результат был ошеломляющим. Мне показалось, что я изверг из себя даже свою бессмертную душу.

Так вот, поскольку я делюсь опытом исключительно ради тех, кто страдает описываемым здесь видом расстройства здоровья, они, я убежден, поймут уместность моего стремления предостеречь их от средства, оказавшегося для меня неэффективным. Действуя согласно этому убеждению, я говорю: не принимайте теплой воды с солью. Быть может, мера эта и неплохая, но, на мой взгляд, она слишком крута. Если мне когда—нибудь случится опять схватить простуду и в моем распоряжении будут всего два лекарства землетрясение и теплая вода с солью,— я, пожалуй, рискну и выберу землетрясение.

Когда буря в моем желудке утихла и поблизости не оказалось больше ни одного доброго самаритянина, я принялся за то, что уже проделывал в начальной стадии простуды: стал снова занимать носовые платки, трубя в них носом так, что они разлетались в клочья. Но тут я случайно повстречал одну даму, только что вернувшуюся из горной местности, и эта дама рассказала, что в тех краях, где она жила, врачей было мало, и в силу необходимости ей пришлось научиться самой исцелять простейшие "домашние недуги". У нее и в самом деле, наверно, был немалый опыт, ибо на вид ей казалось лет полтора.

Она приготовила декокт из черной патоки, крепкой водки, скипидара и множества других снадобий и наказала мне принимать его по полной рюмке через каждые четверть часа. Я принял только первую дозу, но этого оказалось достаточно.

Эта одна—единственная рюмка сорвала с меня, как шелуху, все мои высокие нравственные качества и пробудила самые низкие инстинкты моей натуры. Под пагубным действием зелья в мозгу моем зародились невообразимо гнусные планы, но я был не в состоянии их осуществить: руки мои плохо меня слушались. Последовательные атаки всех верных средств, принятых от простуды, подорвали мои силы, не то я непременно стал бы грабить могилы на соседнем кладбище. Как и большинство людей, я часто испытываю низменные побуждения и соответственно поступаю. По прежде, до того как я принял это последнее лекарство, я никогда не обнаруживал в себе столь чудовищной порочности и гордился этим. К исходу второго дня я готов был снова взяться за лечение. Я принял еще несколько верных средств от простуды и в конце концов загнал ее из носоглотки в легкие.

У меня разыгрался непрекращающийся кашель и голос упал ниже нуля. Я разговаривал громовым басом, на две октавы ниже своего обычного тона. Я засыпал ночью только после того, как доводил себя кашлем до полного изнеможения, но едва я начинал разговаривать во сне, мой хриплый бас вновь будил меня.

Дела мои с каждым днем становились все хуже и хуже. Посоветовали выпить обыкновенного джина — я выпил. Кто—то сказал, что лучше джин с патокой. Я выпил и это. Еще кто—то порекомендовал джин с луком. Я добавил к джину лук и принял все разом — джип, патоку и лук. Особого улучшения я не заметил, разве только дыхание у меня стало как у стервятника.

Я решил, что для поправки здоровья мне необходим курорт. Вместе с коллегой репортером Уилсоном — я отправился на озеро Биглер. Я с удовлетворением вспоминаю, что путешествие наше было обставлено с достаточным блеском. Мы отправились лошадьми, и мой приятель имел при себе весь свой багаж, состоявший из двух превосходных шелковых носовых платков и дагерротипа бабушки. Мы катались на лодках, охотились, удили рыбу и танцевали целыми днями, а по ночам я лечил кашель. Действуя таким образом, я рассчитывал, что буду поправляться с каждым часом. Но болезнь моя все ухудшалась.

Мне порекомендовали укутывание мокрой простыней. До сих пор я не отказывался ни от одного лечебного средства, и мне показалось нерезонным ни с того ни с сего

заупрямиться. Поэтому я согласился принять курс лечения мокрой простыней, хотя, признаться, понятия не имел, в чем его суть. В полночь надо мной проделали соответствующие манипуляции, а погода стояла морозная. Мне обнажили грудь и спину, взяла простыню (по—моему, в ней было не меньше тысячи ярдов), смочили в ледяной воде и затем стали оборачивать ее вокруг меня, пока я не стал похож на банник, какими чистили дула допотопных пушек.

Это суровая мера. Когда мокрая, холодная, как лед, ткань касается теплой кожи, отчаянные судороги сводят ваше тело — и вы ловите ртом воздух, как бывает с людьми в предсмертной агонии. Жгучий холод пронизал меня до мозга костей, биение сердца прекратилось. Я уж решил, что пришел мой конец.

Юный Уилсон вспомнил к случаю анекдот о негре, который во время обряда крещения каким—то образом выскользнул из рук пастора и чуть было не утонул.

Впрочем, побарахтавшись, он в конце концов вынырнул, еле дыша и вне себя от ярости, и сразу же двинулся к берегу, выбрасывая из себя воду фонтаном, словно кит, и бранясь на чем свет стоит, что вот—де в другой раз из—за всех этих чертовых глупостей какой—нибудь цветной джентльмен, глядишь, и впрямь утонет!

Никогда не лечитесь мокрой простыней, никогда! Хуже этого бывает, пожалуй, лишь когда вы встречаете знакомую даму, и по причинам, ей одной известным, она смотрит на вас, но не замечает, а когда замечает, то не узнает.

Но, как я уже начал рассказывать, лечение мокрой простыней не избавило меня от кашля, и тут одна моя приятельница посоветовала поставить на грудь горчичник. Я думаю, это действительно излечило бы меня, если бы не юный Уилсон. Ложась спать, я взял горчичник — великолепный горчичник, в ширину и в длину по восемнадцати дюймов,— и положил его так, чтобы он оказался под рукой, когда понадобится. Юный Уилсон ночью проголодался и... вот вам пища для воображения.

После недельного пребывания на озере Биглер я отправился к горячим ключам Стимбоут и там, помимо паровых ванн, принял кучу самых гнусных из всех когда—либо состряпанных человеком лекарств. Они бы меня вылечили, да мне необходимо было вернуться в Вирджиния—Сити, где, несмотря на богатый ассортимент ежедневно поглощаемых мною новых снадобий, я ухитрился из—за небрежности и неосторожности еще больше обострить свою болезнь.

В конце концов я решил съездить в Сан—Франциско, и в первый же день по моем приезде какая—то дама в гостинице сказала, что мне следует раз в сутки выпивать кварту виски. Приятель мой, проживавший в Сан—Франциско, посоветовал в точности то же самое. Каждый из них рекомендовал по одной кварте — вместе это составило полгаллона. Я выпивал полгаллона в сутки и пока, как видите, жив.

Итак, движимый исключительно чувством доброжелательства, я предлагаю вниманию измученного болезнью страдальца весь тот пестрый набор средств, которые я только что испробовал сам. Пусть он проверит их на себе. Если эти средства в не вылечат — ну что ж, в самом худшем случае они лишь отправят его на тот свет.

УБИЙСТВО ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ

(На невадский лад)

Настоящий отчет, единственно правдивый и надежный из всех когда—либо опубликованных, впервые напечатан в римской ежедневной газете «Вечерние розги» в день ужасного события .

Ничто в мире не приносит газетному репортеру того глубокого удовлетворения, какое он испытывает, выясняя подробности таинственного и кровавого злодеяния и описывая их с

возмутительной обстоятельностью. Жгучее наслаждение дарит ему этот самоотверженный труд — ибо трудится он поистине самоотверженно, особенно если знает, что все остальные газеты уже печатаются и описание страшной трагедии появится только в его газете. Глубокое сожаление нередко охватывает меня при мысли о том, что в день убийства Цезаря я не был репортером в Риме, не был репортером единственной в городе вечерней газеты и не утер нос молодчикам из утренней газеты, опередив их, по крайней мере, на двенадцать часов с самой сногшибательной корреспонденцией, которая когда—либо выпадала на долю журналиста. Конечно, бывали в истории и другие не менее потрясающие случаи, но ни один из них не давал столь блистательных возможностей для опубликования популярных в наши дни сенсационных репортажей, ни один не становился столь грандиозным и значительным благодаря славе, высоким чинам, общественному положению и политическому влиянию участников события.

Но раз уж мне посчастливилось тогда напечатать отчет об убийстве Цезаря, никто не сможет сейчас лишиться меня редкого наслаждения перевести с подлинной латыни репортаж, опубликованный в тот день в экстренном выпуске ежедневной римской газеты «Вечерние розги»:

«Вчера наш добрый старый Рим был потрясен одним из тех кровавых злодеяний, которые, наполняя трепетом сердца и ужасом души, внушают каждому мыслящему человеку тревогу за будущее города, где жизнь человеческая потеряла цену, а важнейшие человеческие законы попираются открыто и нагло. После всего случившегося мы, журналисты, должны выполнить свой печальный долг перед обществом и увековечить обстоятельства гибели одного из наиболее уважаемых граждан; человека, чье имя известно всюду, где читают нашу газету, чью славу мы с удовольствием и гордостью несли во все края и в меру своих скромных сил защищали от клеветы и злословия. Мы говорим о мистере Ю. Цезаре, императоре волею народа.

Подлинные обстоятельства, в той мере, в какой наш корреспондент сумел восстановить их по разноречивым показаниям очевидцев, примерно таковы: разумеется, всему причиной — предвыборная борьба; девять десятых кровопролитных столкновений, позорящих наш город, порождены соперничеством, злобой и завистью, вызванными к жизни этими проклятыми выборами. Как выиграли бы граждане великого Рима, если бы его правители избирались на целое столетие, ведь на нашей памяти не было еще выборов — будь это даже выборы городского живодера, — не отмеченных уже накануне вечером многочисленными потасовками и обилием пьяных бездельников, которыми битком набиты полицейские участки.

Говорят, будто на следующий день после выборов, когда на рыночной площади было объявлено, что Цезарь получил подавляющее большинство голосов и ему предложена корона, даже изумительное бескорыстие этого джентльмена — он трижды отказывался от высокой чести — не уберегло его от оскорбления пресловутого Каски из десятого избирательного округа и других подобных ему проходимцев, подкупленных неудачливым претендентом в одиннадцатом, тринадцатом и прочих окраинных округах, которые шептались по углам, с презрительной насмешкой отзываясь о поведении мистера Цезаря.

Многие, как нам известно, полагают, что есть все основания считать убийство Юлия Цезаря преднамеренным преступлением: они видят заговор, заранее продуманный и тайно подготовленный Марком Брутом, стоявшим во главе кучки наемных головорезов, которые и разыграли все как по нотам. Пусть люди сами судят, основательны ли эти подозрения, мы только просим всех, прежде чем вынести окончательный приговор, внимательно и беспристрастно прочесть предлагаемый отчет о печальном событии.

Сенат был уже в сборе, и Цезарь, окруженный, как обычно, толпой граждан, направлялся по улице к Капитолию, беседуя с друзьями. Проходя мимо аптеки Демосфена и Фукидида, он вскользь заметил одному джентльмену, который, как предполагает наш корреспондент, был предсказателем, что мартовские иды уже пришли.

Ответ был таков: «Да, они уже пришли, но еще не ушли». В эту минуту подошел

Артемидор и, поздоровавшись, попросил Цезаря прочесть какую—то бумагу — то ли докладную записку, то ли еще что—то, — принесенную специально для того, Мистер Деций Брут также заговорил о каком—то «смиренном прощении», с которым он, в свою очередь, хотел бы ознакомить Цезаря. Артемидор настойчиво требовал внимания, уверяя, что его дело непосредственно касается Цезаря. Но Цезарь ответил что—то в том смысле, что делами, касающимися лично его, он займется в последнюю очередь. Артемидор продолжал умолять, чтобы Цезарь прочел его бумагу немедленно¹. Однако Цезарь, решительно отстранив его, наотрез отказался разбирать какое бы то ни было прошение на улице. Затем, сопровождаемый толпой, он вступил в Капитолий.

Примерно в это же время был случайно услышан приводимый ниже разговор, который, при сопоставлении последовавших за ним событий, приобретает трагический смысл. Мистер Папилий Лена вскользь заметил Джорджу У. Кассию, кулачному бойцу на жалованье у оппозиции (более известному под именем «Красавчик из 3—го округа»), что он надеется на блестящий успех сегодняшнего предприятия, а в ответ на вопрос Кассия: «Что за предприятие?», он только подмигнул левым глазом, с деланным безразличием бросил: «До скорого» — и вразвалку направился к Цезарю. Марк Брут, которого считают главарем банды убийц Цезаря, спросил Кассия, о чем говорил Лена. Кассий объяснил, а затем прибавил, понизив голос: «Боюсь, что наши намерения раскрыты».

Брут приказал своему гнусному сообщнику не спускать глаз с Лены, а минутой позже Кассий велел грязному голодранцу Каске, издавна пользовавшемуся в Риме дурной репутацией, поторапливаться, ибо он боялся разоблачения. Затем, видимо очень возбужденный, он возвратился к Бруту за дальнейшими указаниями и поклялся, что один из них — либо он, либо Цезарь — больше отсюда не выйдет, — уж лучше он сам покончит с собой. Тем временем Цезарь беседовал с представителями отдаленных избирательных округов о предстоящих осенних выборах, не замечая, что происходит вокруг. Билли Требоний завел разговор с другом народа и Цезаря — Марком Антонием и под каким—то предлогом увел его прочь, а Брут, Деций, Каска, Цинна, Метелл Цимбер и другие головорезы, наводнившие Рим, тесным кольцом сомкнулись вокруг обреченного Цезаря. Тут Метелл Цимбер, бросившись на колени, стал умолять, чтобы вернули его изгнанного брата, но Цезарь, попеняв ему за неуместное раболепие, отказался удовлетворить эту просьбу. К мольбе Цимбера о возвращении изгнанного Публия сразу же присоединился Брут, а за ним Кассий, но Цезарь был неумолим. Он сказал, что не переменит своего решения, что он постоянен, как Полярная звезда, и рассыпался в самых лестных выражениях по поводу постоянства и надежности этого светила. Затем, подчеркнув свое сходство с Полярной звездой, он заявил, что ни один человек в государстве не может сравниться с ним в твердости, а раз уж он твердо решил отправить Цимбера в изгнание, то, как человек последовательный, он будет стоять на своем, — и пусть его повесят, если он поступит иначе.

И вдруг, воспользовавшись этим ничтожным поводом, Каска подскочил к Цезарю и ударил его стилетом. Цезарь схватил его правой рукой за локоть и, левой дав прямой от плеча в челюсть, поверг истекающего кровью негодяя наземь.

Потом он отступил к статуе Помпея, занял удобную позицию и приготовился достойно встретить нападающих. Кассий, Цимбер и Цинна ринулись к нему с обнаженными кинжалами, и Кассий ранил Цезаря, но, прежде чем он вновь успел поднять кинжал и прежде чем другие вообще успели пустить в ход оружие, Цезарь сбил всех трех мерзавцев с ног ударами своего могучего кулака. В сенате поднялось неопишное волнение; толпа граждан, запрудившая кулуары, в неистовом стремлении выскочить из здания закупорила все входы и выходы; личная охрана Цезаря пыталась остановить убийц; почтенные сенаторы срывали затрудняющие движение тоги, в диком смятении перескакивали через скамьи и убегали

¹ Вильям Шекспир, очевидец печального происшествия, намекает, будто эта бумага была просто *запиской*, разоблачающей заговор против Цезаря. — М. Т.

боковыми переходами, спеша укрыться в совещательных комнатах; тысячи голосов вопили «Полиция! Полиция!» — и нестройный хор вздымался над шумом свалки, как завывание ветра над ревом бурного моря. А посреди всего этого хаоса, прислонясь спиной к статуе Помпея, стоял великий Цезарь, словно лев в западне, и, безоружный, с вызывающим спокойствием и непоколебимой отвагой, не раз поражавшей его друзей и врагов на поле брани, отражал натиск врагов. Билли Требоний и Кай Легарий нанесли ему несколько ран и упали рядом со своими собратьями—заговорщиками, поверженными Цезарем. Но, говорят, под конец, когда Цезарь увидел своего старого друга Брута, который приближался к нему со смертоносным клинком, он, словно сраженный изумлением и горем, уронил свою непобедимую левую, спрятал лицо в складках мантии и принял предательский удар, не пытаясь даже остановить руку, наносившую его. Он лишь спросил горестно: «И ты, Брут?» — и пал бездыханный на мраморные плиты.

Нам стало известно, что на убитом был тот же костюм, который он надел в своем шатре после полудня в день славной победы над нервиями; костюм был снят с трупа изодранный и распоротый по крайней мере, в семи различных местах. Карманы были пусты. Он будет представлен следователю как неоспоримое доказательство факта убийства. На эти сведения можно положиться, так как они получены нами от Марка Антония, чье общественное положение открыло ему доступ ко всем последним отчетам о трагическом событии, волнующем сегодня все умы.

Позже: Пока следователь сзывал понятых для решения вопроса о предании виновных суду, Марк Антоний и остальные друзья покойного завладели трупом, отнесли его на Форум, где, согласно последним сведениям, Антоний и Брут произнесли речи и подняли такое волнение в народе, что в настоящую минуту, когда эти строки сдаются в печать, шеф полиции в ожидании мятежа принимает надлежащие меры».

К СВЕДЕНИЮ МИЛЛИОНОВ

Молодой человек, жаждущий получить сведения, пишет знакомому в Вирджиния—Сити, Невада, следующее:

«Спрингфилд, Миссури,

12 апреля

Дорогой сэр!

Цель моего письма — узнать от Вас все подробности о Неваде. Каков ее климат? Что родит земля? Не вреден ли климат для здоровья? От каких болезней у Вас чаще всего умирают? Стоит ли человеку, который может устроиться в Миссури, эмигрировать в Вашу часть страны? Среди нас есть такие, кто готов двинуться в путь этой же весной, сели мы будем знать наверняка, что в Ваших местах намного лучше, чем здесь. Я полагаю, Вы знакомы с Джоэлом Х. Смитом? Он когда—то проживал в наших краях, а теперь поселился в Неваде; говорят, он владеет значительной долей в местных рудниках. Надеюсь, в ближайшее время получить от Вас весточку и т. д.

Остаюсь искренне Ваш Уильям...»

Письмо было передано в редакцию газеты для ответа. В интересах тех, кто подумывает о переселении в Неваду, лучше, пожалуй, опубликовать переписку полностью:

«Дорогой мой Уильям!

Простите за фамильярность, но это имя пробудило во мне трогательные воспоминания о любимом и утраченном друге, которого тоже звали так, Я взял на себя труд дать Вам письменный ответ, и хотя сейчас мы друг другу чужие, я уверен, мы непременно станем друзьями, если нам доведется встретиться. Мысль, достойная внимания, Уильям. А теперь я отвечаю на Ваши вопросы в том порядке, в каком Вы их решили обрушить на нашу голову.

Цель Вашего письма — получить от меня подробные сведения о Неваде. То лестное доверие, которое вы мне оказываете, Уильям, может сравниться лишь со скромностью самой просьбы. Я мог бы подробнейшим образом расписать Вам историю Невады на пятистах страницах в осьмушку листа, но, поскольку Вы не сделали мне ничего дурного, так и быть, я пощажу Вас, хотя никто не осудил бы меня за желание воспользоваться удачно подвернувшейся возможностью подработать. Итак, я буду краток. Невада была открыта мормонами много лет тому назад и называлась «Страна Карсона». Невадой она стала лишь в 1861 году, согласно закону, принятому конгрессом. Существует предание, что сам господь бог создал Неваду; но если Вы посетите ее, Уильям, у Вас сложится иное мнение. Однако пусть это Вас не пугает. Невада немного напоминает облезлую кошку, столь скудна здесь растительность, кроме того, она напоминает этого зверя еще и потому, что обладает гораздо большим числом достоинств, чем позволяет предположить ее внешность. В 1857 году братья Грош впервые нашли здесь серебряную руду. Они же, если не ошибаюсь, основали Силвер—Сити. Передайте Вашим друзьям, однако, что рудники до сих пор не приносят дохода. Можете сделать это сообщение с предельной и неумолимой категоричностью — опровержений с пашей стороны не последует. Население этого края насчитывает тридцать пять тысяч человек, половина коих проживает в объединившихся городах — Вирджиния и Голд—Хилл. Однако на этом я прерву свой рассказ об истории Невады, не желая заинтересовать Вас чрезмерно этим далеким краем и дабы Вы не пренебрегли родным домом или верой отцов. Мы еще раз вернемся к этому через год. А теперь позвольте ответить на Ваш вопрос относительно нашего климата.

Климат у нас непостоянный, Уильям, и — увы! — напоминает многих, ах, слишком многих девушек—служанок, в этом никудашном, никудашном мире. Иногда времена года сменяют друг друга в установленном порядке, а то вдруг на все лето воцаряется зима, а на всю зиму — лето. Вот почему нам так и не удалось составить календарь, который соответствовал бы здешним широтам. Однако отсутствие дождей в этих краях — точно установленный факт, Уильям. Дожди обычно начинаются в ноябре и льют дня четыре, а то и всю неделю подряд, после чего со спокойной уверенностью христианина, у которого на руках все четыре туза, вы можете отдать свой зонт займы месяцев на двенадцать. Иногда зима наступает в ноябре и длится до июня, а иногда она едва дает себя знать в марте или апреле, и тогда весь остаток года занимает лето. Ну а в целом, Уильям, здешний климат, — ежели только это можно назвать климатом, — вполне сносный.

«Что родит земля?» Вы имеете в виду землю Невады, конечно. На наших фермах можно выращивать все, что произрастает на плодородных полях Миссури. Но фермы здесь—редкость, такая же редкость, как адвокаты в раю. В основном Невада — голая песчаная пустыня, украшенная тоскливыми кустами полыни и огороженная, словно забором, снежными вершинами. Но именно эти отталкивающие черты и стали спасением для здешней земли, ибо ни один нормальный американец не приехал бы сюда, будь этот край легко доступен, и ни один из пионеров не обосновался бы здесь, не знай он наверняка, что нигде не придется ему так туго, как в этих местах. Таков уж он, житель Америки, Уильям.

«Не вреден ли климат для здоровья?» Думаю, что не более вреден, чем климат любой другой части Запада. Однако не позволяйте подобным вопросам засорять Ваш мозг, ибо пока Вы во власти провидения, Вам не удастся умереть раньше срока.

«От каких болезней здесь чаще всего умирают?» Видите ли, раньше умирали главным образом от свинца и холодной стали, а теперь на первое место вышли рожистое воспаление и отравление кишечника, как весьма справедливо заметил мистер Райзинг в прошлое воскресенье. Для Вашего сведения, Уильям, сообщаю, что мистер Райзинг — это наш священник, приложивший, как и все мы, немало усилий, чтобы вывести наш край из состояния первобытного варварства. У нас распространены, смею думать, все болезни, встречающиеся в Штатах на этих широтах, или может, на одну—две больше, а то и на полдюжины меньше, чем в других местах, учитывая гористый характер нашей местности. А врачи здесь излечивают и отправляют на тот свет столь же спешно, как и в любом другом

месте.

Что касается совета, стоит ли человеку, имеющему возможность устроиться в Миссури, эмигрировать в Неваду, то, признаюсь, я в некотором затруднении. Если Вас не удовлетворяет Ваше нынешнее положение, вполне естественно предположить, что Вы останетесь довольны, если Вам удастся хотя бы с грехом пополам заработать на пропитание. Кроме того, Вы наверняка испытаете чувство радостного волнения, которое неизбежно при всякой перемене обстановки. Пожалуй, Вы даже сможете найти свое счастье в этих краях. Здесь, если сбережешь здоровье, не сопьешься и будешь прилежно трудиться, можно заработать не только на один хлеб – ну а если не сумеешь, так не сумеешь. Можете мне поверить, Уильям. Здесь нужны все виды деятельности, кроме одной – торговли душеспасительными брошюрками. У нас Вам не продать их, Уильям, здесь они никому не нужны; даже самые похвальные начинания, например продажа душеспасительных брошюрок с картинками, не имели здесь успеха. Да к тому же и газеты мешают. Теперь все могут ежедневно читать тексты священного писания в газетах вместе с биржевыми сводками и военными новостями. Если Вы занимаетесь продажей душеспасительных брошюрок, не пытайте счастья в округе Уошо, Уильям, зато здесь Вы можете преуспеть на любом другом поприще.

«Я полагаю, Вы знакомы с Джоэлом Х. Смитом?» Откровенно говоря, боюсь, что нет. Не кажется ли это странным? Не кажется ли это просто невероятным? Ведь он владеет «значительной долей» в местных рудниках. Счастливец! Он владеет рудниками в Неваде, а я даже не слышал о нем! Странно, очень странно. Если хотите, Уильям, ничего более странного со мной еще не случилось. Он не просто владеет рудниками, но «значительной долей» их. Поистине невероятно — человек владеет рудниками в Уошо, а я ничего об этом не знаю. В таком случае, ему чертовски повезло. Однако я сильно подозреваю, что Вы перепутали имя. Уверен, что перепутали. Вы имели в виду Джона Смита. Конечно Джона Смита, ибо он владеет значительной долей рудников именно потому, что я продал ему их на крайне невыгодных, разорительных для меня условиях в тот самый день, когда он приехал сюда из прерий. Со временем этот человек будет богат. Я так же уверен в этом, как бываю уверен всякий раз, когда сталкиваюсь с такого сорта людьми. Я так и сказал ему вчера; и он ответил, что тоже уверен, что разбогатеет. Однако я не уловил в его голосе того торжества, которое так порадовало бы мою чувствительную душу, — ведь, как—никак, я его в некотором роде благодетельствовал. Он показался мне слегка задумчивым, но потом все—таки сказал: «Знаете, я давно был бы богатым, если нашли бы, наконец, эту проклятую жилу». Я и сам того же мнения. Я всегда считал и считаю по сей день, что, если только это случится, если когда—нибудь найдут эту жилу, шансы его, безусловно, увеличатся. Я думаю, Смиту все—таки повезет в ближайшие несколько столетий, если он будет исправно платить налоги, — ведь он еще так молод. Знаете, Уильям, Вы мне тоже очень нравитесь, и я не прочь продать и Вам значительную долю рудников в Уошо. Дайте мне знать, что Вы думаете об этом. Зелененькие по номинальной стоимости — это, пожалуй, как раз то, что мне нужно. Seriously, Уильям, разве Вам никогда не приходилось вкладывать деньги в рудники, о которых Вам ровным счетом ничего не известно? Пусть же опыт Джона Смита послужит Вам предостережением!

Вы надеетесь в ближайшее время получить от меня весточку? Прекрасно. Я тоже надеюсь на Ваш ответ относительно того маленького дельца, которое я Вам предложил. А теперь, Уильям, хорошенько поразмыслите над этим письмом. Не обращайтесь внимания на сарказм и явную чепуху, а поразмыслите просто над фактами, ибо факты есть факты, и изложены они лишь для того, чтобы их поняли и в них поверили.

Передайте мой искренний привет Вашим друзьям и родственникам и особенно Вашей достопочтенной бабушке, хотя я не имею счастья быть с ней знакомым; да это и не важно, не так ли? Я не раз бывал в Вашем городке; бывал и в городках по соседству. Хозяева гостиниц, несомненно, припомнят меня. Передайте и им мой привет. Я не злопамятен.

Преданный Вам... »

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ДЕТСТВА ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА

Если вашему соседу доставляет удовольствие нарушать священное спокойствие ночи хрюканьем нечестивого тромбона, то ваш долг примириться с этой злосчастной музыкой и ваше святое право пожалеть беднягу, которого неодолимый инстинкт заставляет находить усладу в столь нестройных звуках. Не всегда я думал так; подобное отношение к музыкантам—любителям родилось во мне на основе некоторого тяжелого личного опыта, сопутствовавшего развитию сходного инстинкта по мне самом. Ныне, когда этот язычник напротив, который с неправдоподобно малым успехом обучается игре на тромбоне, принимается по ночам за свое инквизиторское занятие, я не шлю ему проклятий, но горько о нем сожалею. Десятью годами раньше я спалил бы его дом за подобное издевательство. Мне случилось в те поры стать на две—три недели жертвой скрипача—любителя, и муки, которые я претерпел от него, не опишешь никакими словами. Единственное, что он умел играть, была песня «Старый Дэн Тэккер», но играл он ее так отвратительно, что у меня просто судороги делались, а если я в это время спал, меня начинали мучить кошмары. Все же, пока он ограничивался «Дэном Тэккером», я терпел и воздерживался от насилия. Но когда он затеял новое надругательство и попытался сыграть «Мой дом родной», у меня лопнуло терпение, и я спалил его. Потом я подвергся агрессии со стороны другого несчастного, который чувствовал призвание к игре на кларнете. Инструмент у него был из рук вон плох, но он играл всего лишь одну гамму, и я позволил ему, как и первому, пастись в пределах своей привязи; когда же он, наконец, отважился на какую—то ужасающую мелодию, я почувствовал, что под воздействием этой утонченной пытки разум покидает меня, отправился к нему, и его постигла та же участь. В последующие два года я спалил любителя—корнетиста, трубача, студента—фаготиста и какого—то дикаря, чьи музыкальные запросы удовлетворялись простым барабаном.

Разумеется, я подпалил бы и этого тромбониста, попадись он мне тогда. Теперь же, как я уже сказал, я предоставляю ему погибать самому, ибо у меня есть личный опыт музыканта—любителя, и я испытываю к такого рода людям только глубочайшее сочувствие. Кроме того, я убедился, что в душе каждого человека дремлет склонность к какому—нибудь музыкальному инструменту и неосознанное стремление научиться играть на нем, которое в один прекрасный день может пробудиться и заявить о своих правах. А потому вы, извергающие ругательства, когда вашу сладостную дрему нарушают безуспешные и деморализующие попытки подчинить себе скрипку, берегитесь, ибо раньше или позже, а пробьет и ваш час! Вошло в обычай и стало общепринятым проклинать бедных любителей, когда они отрывают нас от сладких сновидений какой—нибудь особенно дьявольской нотой, но, принимая во внимание, что все мы сделаны из одного теста и всем нам для развития своего музыкального таланта нужна пропасть времени, это несправедливо. Я милосерден по отношению к своему тромбонисту. Охваченный вдохновением, он иногда испускает такой хриплый вопль, что я вскакиваю с постели, обливаясь холодным потом. Сперва мне кажется, что происходит землетрясение, потом я соображаю, что это тромбон, и у меня мелькает мысль, что самоубийство и безмолвие могилы были бы желанным избавлением от этого ночного кошмара. И старый инстинкт властно влечет меня к спичкам. Но первая же спокойная, хладнокровная мысль возвращает меня к сознанию, что тромбонист — невольник своей судьбы, несущий свой крест в страданиях и горе. И я отгоняю прочь внушенное недостойным инстинктом желание пойти и спалить его.

После довольно долгого периода невосприимчивости к чудовищному умопомешательству, заставляющему человека делаться музыкантом, тогда как бог повелел ему пилить дрова, я, в конце концов, пал жертвой инструмента, называемого аккордеоном. Ныне я страстно ненавижу это изобретение, но в то время, о котором я рассказываю, меня

внезапно обуяло возмутительное идолопоклонническое влечение к нему. Я раздобыл аккордеон достаточной мощности и принялся разучивать на нем «Застольную». Теперь мне кажется, что на меня снизошло тогда какое—то вдохновение, позволившее мне, пребывавшему в состоянии полнейшего невежества, выбрать из всех существующих музыкальных сочинений именно то, которое наиболее отвратительно и невыносимо звучит на аккордеоне. Не думаю, чтобы на свете нашлась другая мелодия, с помощью которой я смог бы за недолгий срок своей музыкальной карьеры причинить столько страданий окружающим.

Поупражнявшись неделю, я пришел к тщеславному выводу, что могу несколько улучшить мелодию этой песни, и начал добавлять к ней разные маленькие украшения и вариации, впрочем, по—видимому, без особого успеха, так как явилась моя хозяйка, явно недовольная столь безрассудными затеями. Она сказала: «Вы не знаете еще какой—нибудь мелодии, мистер Твен?» Я скромно ответил, что не знаю. «Раз так, — сказала она, — придерживайтесь ее в точности, не добавляйте к ней разных вариаций, потому что она и без того достаточно действует на жильцов».

На деле же она действовала, по—моему, более чем достаточно, ибо половина жильцов съехала, а другая половина последовала бы их примеру, не отдалась миссис Джонс от меня.

На следующем своем месте жительства я задержался всего на одну ночь. Миссис Смит заявила ко мне с утра, пораньше. Она сказала: «Сэр, вы можете уходить отсюда. Вы мне не нужны. У меня был тут один бедняга вроде вас, тоже сумасшедший, он играл на банджо и отплясывал так, что все окна дребезжали. Вы всю ночь не давали мне спать, а если вы собираетесь проделать это еще раз, я возьму и разобью эту штукину о вашу голову». Я понял, что эта женщина не любит музыки, и переехал к миссис Браун.

Три ночи я без помех преподносил соседям «Застольную» в чистом виде, без всякой фальсификации, разве только с несколькими диссонансами, по—моему, даже улучшавшими общее впечатление. Но едва я принялся за вариации, как жильцы восстали. Я ни разу не встречал человека, который мог бы спокойно перенести эти вариации. Все же я был вполне доволен своими успехами в этом доме и покинул его без сожаления. Под влиянием моей игры один жилец спятил почище мартовского зайца, а другой сделал попытку оскальпировать свою мать. И я уверен, что, если бы этот последний чуть дольше послушал мои вариации, он бы прикончил старушку.

Я переехал к миссис Мэрфи, итальянке, женщине весьма достойной. Сразу, как только я принялся за свои вариации, ко мне в комнату вошел осунувшийся, изможденный, бледный, как мертвец, старик и уставился па меня, сияя улыбкой невыразимого счастья. Затем он положил мне руку на голову, устремил в потолок благочестивый взор и с искренней набожностью произнес дрожащим от избытка чувств голосом: «Господь да благословит тебя, сынок! Да благословит тебя господь, ибо то, что ты сделал для меня, превышает всех благодарностей. Много лет я страдал от неизлечимой болезни, и, зная, что приговор мой подписан, что я должен умереть, я изо всех сил старался примириться со своей злосчастной судьбой, но тщетно — жажда жизни была слишком сильна по мне. Да пребудет с тобой благословение небес, благодетель мой! С тех пор как я услышал твою игру и эти вариации, я не томлюсь более жаждой жизни, я хочу умереть, точнее сказать — я тороплюсь умереть». Тут старик упал мне на шею и затопил меня счастливыми слезами. Я был удивлен этим происшествием, но не мог удержаться от некоторого чувства гордости за дело рук своих. Не мог я удержаться и от того, чтобы не послать вдогонку старику прощального привета в виде особенно душераздирающих вариаций. Он скрючился пополам, как большой складной нож, и в следующий раз расстался со своим ложем страданий уже навсегда — в металлическом гробу.

В конце концов, моя страсть к аккордеону изжила себя, испарилась, и я был очень рад, когда почувствовал, что свободен от ее нездорового влияния. Пока эта зараза сидела во мне, я был неким живым передвижным бедствием; куда бы я ни пошел, несчастья и запустение следовали за мной по пятам. Я разрушал семейные очаги, я изгонял веселье, я превращал

грусть в отчаяние, я торопил недужных к преждевременному концу и даже, боюсь, нарушал покой мертвецов в могилах. Я причинил неисчислимый вред, неопишуемые страдания окружающим своей жуткой музыкой, но во искупление всего этого я сделал и одно доброе дело, внушив тому усталому старцу желание переселиться в свой последний приют.

Однако я извлек и некоторую пользу из этого аккордеона, потому что, пока я упражнялся на нем, я ни разу не платил за квартиру, – хозяевам всегда было достаточно того, что я съеду до истечения месяца.

Так вот, все это я написал, имея в виду две цели: во—первых, примирить людей с несчастными горемыками, которые чувствуют в себе музыкальный талант и еженощно сводят с ума своих соседей, пытаюсь вынырнуть и развить его; во—вторых, я хотел подготовиться должным образом к рассказу О Маленьком Джордже Вашингтоне, Который Не Умел Лгать, и о Яблоне – или там Вишне, – не помню точно, хотя мне только вчера рассказали этот замечательный случай. Однако, пока я писал столь длинное и всесторонне разработанное вступление, я позабыл суть этого рассказа; но уверяю вас, он очень трогательный.

ЗНАМЕНИТАЯ СКАЧУЩАЯ ЛЯГУШКА ИЗ КАЛАВЕРАСА

По просьбе одного приятеля, который прислал мне письмо из Восточных штатов, я навел добродушного старого болтуна Саймона Уилера, навел справки, как меня просили, о приятеле моего приятеля Леонидасе У. Смайли и о результатах сообщаю ниже. Я питаю смутное подозрение, что никакого Леонидаса У. Смайли вообще не было, что это миф, что мой приятель никогда не был знаком с таким персонажем и рассчитывал на то, что если я начну расспрашивать о нем старика Уилера, он вспомнит своего богомерзкого Джима Смайли, пустится рассказывать и надоест мне до полусмерти скучнейшими воспоминаниями, столь же длинными, сколь утомительными и ненужными. Если такова была его цель, она увенчалась успехом.

Я застал Саймона Уилера дремлющим у печки в полуразвалившейся таверне захудалого рудничного поселка Ангела и имел случай заметить, что он толст и лыс и что его безмятежная физиономия носит выражение подкупающего благодушия и простоты. Он проснулся и поздоровался со мной. Я сказал ему, что один из моих друзей поручил мне справиться о любимом товарище его детства, Леонидасе У. Смайли, о преподобном Леонидасе У. Смайли, молодом проповеднике слова божия, который, по слухам, жил одно время в Калаверасе, в поселке Ангела. Я прибавил, что буду весьма обязан мистеру Уилеру, если он сможет мне что—нибудь сообщить о преподобном Леонидасе У. Смайли.

Саймон Уилер загнал меня в угол, загородил своим стулом, а потом уселся на него и пошел рассказывать скучнейшую историю, которая следует ниже. Он ни разу не улыбнулся, ни разу не нахмурился, ни разу не переменял того мягко журчащего тона, на который настроился с самой первой фразы, ни разу не проявил ни малейшего волнения; весь его бесконечный рассказ был проникнут поразительной серьезностью и искренностью, и это ясно показало мне, что он не видит в этой истории ничего смешного или забавного, относится к ней вовсе не шутя и считает своих героев чуть ли не гениями, ловкачами самого высокого полета. Я предоставил ему рассказывать по—своему и ни разу его не прервал.

— Преподобный Леонидас У... гм... преподобный Ле... Да, был тут у нас один, по имени Джим Смайли, зимой сорок девятого года, а может быть, и весной пятидесятого, что—то не припомню как следует, хотя вот почему я думаю, что это было зимой или весной,— помнится, большой желоб был еще недостроен, когда он появился в нашем поселке; во всяком случае, чудак он был порядочный, вечно держал пари по поводу всего, что ни попадется на глаза, лишь бы нашелся охотник поспорить с ним, а если находился, он сам держал против. Что угодно, лишь бы другой согласился, а за ним дело не станет; все, что

угодно, лишь бы держать пари, он на все согласен. И ему везло, необыкновенно везло, он почти всегда выигрывал. Он был всегда наготове и поджидал только удобного случая; о чем бы ни зашла речь, Смайли уж тут как тут и предлагает держать пари и за, и против, как вам угодно. Идут конские скачки, он, в конце концов, либо загребет хорошие денежки, либо проиграется в пух и прах, собаки дерутся — он держит пари; кошки дерутся он держит пари; петухи дерутся — он держит пари; да чего там, сядут две птицы на забор, он и тут держит пари, которая улетит раньше; идет ли молитвенное собрание, он опять тут как тут и держит за пастора Уокера, которого считал лучшим проповедником в наших местах и, надо сказать, не зря; к тому же и человек был хороший.

Да чего там, стоит ему увидеть, что жук ползет куда—нибудь, он сейчас же держит пари, скоро ли этот жук доползет до места, куда бы тот ни полз, и если вы примете пари, он за этим жуком пойдет хоть в Мексику, а уж непременно дознается, куда он полз и сколько времени пробыл в дороге. Тут много найдется ребят, которые знали этого Смайли, есть кому о нем порассказывать. Ему было все нипочем, он готов был держать пари на что угодно — такой отчаянный малый. У пастора Уокера как—то заболела жена, долго лежала больная, и уж по всему было видно, что ей не выжить; и вот как—то утром входит пастор, а Смайли — к нему и спрашивает, как ее здоровье, а тот и говорит, что ей значительно лучше, благодарение господу за его бесконечное милосердие — дело идет на лад и с помощью божией она еще поправится; а Смайли как брякнет, не подумавши: "Ну, а я ставлю два с половиной против одного, что помрет".

У этого самого Смайли была кобыла. Наши ребята звали ее "Тише едешь дальше будешь", разумеется, в шутку, на самом деле она вовсе была не так плоха и частенько брала Джиму призы, хоть и не из самых резвых была лошадка; и вечно хворала: то астмой, то чахоткой, то собачьей чумой, то еще чем—нибудь. Дадут ей, бывало, двести—триста шагов фору, а потом обгоняют, но к самому концу скачек она всегда, бывало, до того разойдется, что удержу нет, и брыкается и становится на дыбы, и бьет копытами, и закидывает ноги кверху, и направо, и налево, и через забор, такую, бывало, поднимет пыль, и такой заведет шум — и кашляет, и чихает, и фыркает, зато всегда ухитряется прийти к столбу, почти на голову впереди, хоть меряй, хоть не меряй.

А еще был у него щенок бульдог, самый обыкновенный с виду, посмотреть на него — гроша ломаного не стоит, только на то и годен, чтобы шляться да вынюхивать, где что плохо лежит. А как только поставят деньги на кон откуда что возьмется, совсем не тот пес: нижняя челюсть выпятится, как пароходная корма, зубы оскалятся и заблестят, как огонь в топке. И пусть другая собака его задирает, треплет, кусает, сколько ей угодно, пусть швыряет на землю, Эндрю Джексон — так звали щенка — Эндрю Джексон и ухом не поведет, да еще делает вид, будто он доволен и ничего другого не желал, а тем временем противная сторона удваивает да удваивает ставки, пока все не поставят деньги на кон; тут он сразу вцепится другой собаке в заднюю ногу, да так и замрет — не грызет, понимаете ли, а только вцепится и повиснет, и будет висеть хоть целый год, пока не одолеет.

Смайли всегда выигрывал на этого щенка, пока не нарвался на собаку, у которой не было задних ног, потому что их отпилило круглой пилой. Дело уже зашло довольно далеко, и деньги уже поставили на кон, и Эндрю Джексон уже собрался вцепиться в свое любимое место, как вдруг видит, что его надули и что другая собака, так сказать, натянула ему нос, он сначала как будто удивился, а потом совсем приуныл и даже не пытался одолеть ту собаку, так что трепка ему досталась изрядная. Он взглянул разок на Смайли, как будто говоря, что сердце его разбито и Джим тут сам виноват — зачем подсунул ему такую собаку, у которой задних ног нет, даже вцепиться не во что, а в драке он только на это и рассчитывал, потом отошел, хромя, в сторонку, лег на землю и помер. Хороший был щенок, этот Эндрю Джексон, и составил бы себе имя, останься он жив, талантливый был пес, настоящей закваски. Я—то это знаю, вот только ему случая не было показать себя, а не всякий поймет, что без таланта ни один пес не смог бы так драться в подобных затруднительных обстоятельствах. Мне всегда обидно делается, как только вспомню эту его последнюю драку

и чем она кончилась.

Так вот, у того самого Смайли были и терьеры—крысоловы, и петухи, и коты, и всякие другие твари, видимо—невидимо,— на что бы вы ни вздумали держать пари, он все это мог вам представить.

Как—то раз он поймал лягушку, принес домой и объявил, что собирается ее воспитывать; и ровно три месяца ничего другого не делал, как только сидел у себя на заднем дворе и учил эту лягушку прыгать. И что бы вы думали — ведь выучил. Даст ей, бывало, легонько щелчка сзади, и, глядишь, уже лягушка перевертывается в воздухе, как оладья на сковородке, перекувыркнется разик, а то и два, если возьмет хороший разгон, и как ни в чем не бывало станет на все четыре лапы, не хуже кошки. И так он ее здорово выучил ловить мух — да еще постоянно заставлял упражняться, что ей это ровно ничего не стоило,— как увидит муху, так и словит. Смайли говаривал, что лягушкам только образования не хватает, а так они на все способны, и я тому верю. Бывало,— я это своими глазами видел,— посадит Дэниеля Уэбстера — так звали лягушку, Дэниель Уэбстер,— на пол на этом самом месте и крикнет: "Мухи, Дэниель, мухи!" — и не успеешь моргнуть глазом, как она подскочит и слизнет муху со стойки, а потом опять плюхнется на пол, словно комок грязи, и сидит себе, как ни в чем не бывало, почесывает голову задней лапкой, будто ничего особенного не сделала и всякая лягушка это может. А уж какая была умница и скромница при всех своих способностях, другой такой лягушки на свете не сыскать. А когда, бывало, дойдет до прыжков в длину по ровному месту, ни одно животное ее породы не могло с ней в этом сравняться. По прыжкам в длину она была, что называется, чемпион, и когда доходило до этого, Смайли, бывало, ставил на нее все свои деньги, до последнего цента, Смайли здорово гордился своей лягушкой и был прав, потому что люди, которые много ездили и везде побывали, в один голос говорили, что другой такой лягушки на свете не видано.

Смайли посадил эту лягушку в маленькую клетку и, бывало, иной раз носил ее в город, чтобы держать на нее пари. И вот встречает его с этой клеткой один приезжий, новичок в нашем поселке, и говорит ему:

— Что это такое может быть у вас в клетке? А Смайли и говорит этак равнодушно:

— Может быть, и попугай, может быть и канарейка, только это не попугай и не канарейка, а всего—навсего лягушка.

Незнакомец взял у него клетку, поглядел как следует, повертел и так и этак и говорит:

— Гм, что верно, то верно. А на что она годится?

— Ну,— говорит Смайли вполне спокойно и благодушно,— по—моему, для одного дела она очень даже годится; она может обскакать любую лягушку в Калаверасе.

Незнакомец опять взял клетку, долго, долго ее разглядывал, потом отдал Смайли и говорит этак развязно:

— Ну,— говорит он,— ничего в этой лягушке нет особенного, не вижу, чем она лучше всякой другой.

— Может, вы и не видите,— говорит Смайли.— Может, вы знаете толк в лягушках, а может, и не знаете; может, вы настоящий лягушатник, а может, просто любитель, как говорится. Но у меня—то, во всяком случае, есть свое мнение, и я ставлю сорок долларов, что она может обскакать любую лягушку в Калаверасе.

Незнакомец призадумался на минутку, а потом и говорит этак печально:

— Что ж, я здесь человек посторонний, и лягушки у меня нет, а будь у меня лягушка, я бы с вами держал пари.

Тут Смайли и говорит:

— Это ничего не значит, ровно ничего, если вы подержите мою клетку, я сию минуту сбегая, достану вам лягушку.

И вот незнакомец взял клетку, приложил свои сорок долларов к деньгам Джима и уселся дожидаться.

Долго он сидел и думал, потом взял лягушку, раскрыл ей рот и закатил туда хорошую порцию перепелиной дробы — чайной ложечкой,— набил ее до самого горла и посадил на

землю. А Смайли побежал на болото, долго там барахтался по уши в грязи, наконец, поймал лягушку, принес ее, отдал незнакомцу и говорит:

— Теперь, если вам угодно, поставьте ее рядом с Дэниелем, чтобы передние лапки у них приходились вровень, а я скоманую.—И скомановал:—Раз, два, три — пошел!

Тут они подтолкнули своих лягушек сзади, новая проворно запрыгала, а Дэниель дернулся, приподнял плечи, вот так — на манер француза, а толку никакого, с места не может сдвинуться, прирос к земле, словно каменный, ни туда, ни сюда, сидит, как на якоре. Смайли порядком удивился, да и расстроился тоже, а в чем дело — ему, разумеется, невдомек. Незнакомец взял деньги и пошел себе, а выходя из дверей, ткнул большим пальцем через плечо на Дэниеля— вот так — и говорит довольно нагло:

— А все—таки,— говорит,— не вижу я, чем эта лягушка лучше всякой другой, ничего в ней нет особенного.

Смайли долго стоял, почесывая в затылке и глядя вниз на Дэниеля, а потом, наконец, и говорит:

— Удивляюсь, какого дьявола эта лягушка отстала, не случилось ли с ней чего—нибудь — что—то уж очень ее раздуло, на мой взгляд.— Он ухватил Дэниеля за загривок, приподнял и говорит: — Залягай меня кошка, если она весит меньше пяти фунтов,— перевернул лягушку вверх дном, и посыпалась из нее дробь — целая пригоршня дробин. Тут он догадался, в чем дело, и света не взвидел — пустился было догонять незнакомца, а того уж и след простыл. И...

(Тут Саймон Уилер услышал, что его зовут со двора, и встал посмотреть, кому он понадобился.) Уходя, он обернулся ко мне и сказал:

— Посидите тут, незнакомец, отдохните, я только на минуточку.

Но я, с вашего позволения, решил, что из дальнейшей истории предприимчивого бродяги Джима Смайли едва ли узнаю что—нибудь о преподобном Леонидасе У. Смайли, и потому не стал дожидаться. В дверях я столкнулся с разговорчивым Уилером, и он, ухватив меня за пуговицу, завел было опять:

— Так вот, у этого самого Смайли была рыжая корова, и у этой коровы не было хвоста, а так, обрубок, вроде банана, и...

Однако, не имея ни времени, ни охоты выслушивать историю злополучной коровы, я откланялся и ушел.

РАССКАЗ О ДУРНОМ МАЛЬЧИКЕ

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. Заметьте, что в книжках для воскресных школ дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймс. Но, как это ни странно, мальчика, о котором я хочу рассказать, звали Джим.

Не было у него больной матери, умирающей от чахотки, благочестивой матери, которая рада бы успокоиться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и боязнь, что, когда она умрет и оставит его одного на земле, люди будут к нему холодны и жестоки. Большинство дурных мальчиков в книжках для воскресных школ зовутся Джеймсами, и у них есть больные матери, которые учат их молиться перед сном, убаюкивают нежной и грустной песенкой, потом целуют их и плачут, стоя на коленях у их изголовья. А с этим парнем все обстояло иначе. И звали его Джим, и у матери его не было никакой болезни — ни чахотки, ни чего—либо в таком роде. Напротив, она была женщина крепкая, дородная; притом и благочестием она не отличалась и ничуть не тревожилась за Джима. Она говорила, что, если бы он свернул себе шею, потеря была бы невелика. На сон грядущий Джим получал от нее всегда шлепки. Прежде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, а хорошим тумаком.

Раз этот скверный мальчишка стащил ключ от кладовой и, забравшись туда, наелся

варенья, а чтобы мать не заметила недостачи, долил банку дегтем. И после этого его не охватил ужас и никакой внутренней голос не шептал ему: «Разве можно не слушаться родителей? Ведь это грех! Куда попадет дурной мальчик, который слопал варенье у своей доброй матери?» И Джим не упал на колени, и не дал обет исправиться, и не пошел затем к матери, полный радости, с легким сердцем, чтобы покаяться ей во всем и попросить прощения, после чего она благословила бы его со слезами благодарности и гордости. Нет! Так бывает в книжках со всеми дурными мальчиками, а с Джимом почему—то все было иначе. Варенье он съел и на своем нечестивом, грубом языке объявил, что это «жратва первый сорт». Потом он добавил в банку дегтю и, хохоча, сказал, что это «очень здорово» и что «старуха взбесится и взвояет», когда обнаружит это. Когда же все открылось и Джим упорно и начисто отрицал свою вину, мать больно высекла его,— и плакать пришлось ему, а не ей.

Да, удивительно странный мальчик был этот Джим: с ним все происходило не так, как с дурными мальчиками Джеймсами в книжках.

Однажды он залез на яблоню фермера Экорна, чтобы наворовать яблок. И сук не подломился, Джим не упал, не сломал себе руку, его не искусала большая собака фермера, и он потом не лежал больной много дней, не раскаялся и не исправился. Ничего подобного! Он нарвал яблок сколько хотел и благополучно слез с дерева. А для собаки он заранее припас камень и хватил ее этим камнем по голове, когда она кинулась на него. Необыкновенная история! Никогда так не бывает в нравоучительных книжках с красивыми корешками и с картинками, на которых изображены мужчины во фраках, котелках и коротких панталонах, женщины в платьях с талией под мышками и без кринолинов. Нет, ни в одной книжке для воскресных школ таких историй не найдешь.

Раз Джим украл у учителя в школе перочинный ножик, а потом, боясь, что это откроется и его высекут, сунул ножик в шапку Джорджа Уилсона, сына бедной вдовы, хорошего мальчика, самого примерного мальчика во всей деревне, который всегда слушался матери, никогда не лгал, учился охотно и до страсти любил ходить в воскресную школу. Когда ножик выпал из шапки и бедняга Джордж опустил голову и покраснел, как виноватый, а глубоко огорченный учитель обвинил в краже *его* и уже взмахнул розгой, собираясь опустить ее на его дрожащие плечи,— не появился внезапно среди них седовласый, совершенно неправдоподобный судья и не сказал, став в позу:

— Не трогайте этого благородного мальчика! Вот стоит трепещущий от страха преступник! Я проходил мимо вашей школы во время перемены и, никем не замеченный, видел, как была совершена кража!

Нет, ничего этого не было, и Джима не выпороли, и почтенный судья не прочел наставления проливающим слезы школьникам, не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой мальчик заслуживает награды и поэтому он предлагает ему жить у него, подметать канцелярию, топить печи, быть на побегушках, колоть дрова, изучать право и помогать его жене в домашней работе, а все остальное время он сможет играть и будет получать сорок центов в месяц и благоденствовать. Нет, так бывает в книгах, а с Джимом было совсем иначе. Никакой старый хрыч судья не вмешался и не испортил все дело, и пай—мальчик Джордж получил трепку, а Джим радовался, потому что он, надо вам сказать, ненавидел примерных мальчиков. Он всегда твердил, что «терпеть не может слюнтяев». Так грубо выражался этот скверный, распущенный мальчишка!

Но самое необычайное в истории Джима это то, что он в воскресенье поехал кататься на лодке — и не утонул! А в другой раз он в воскресенье удил рыбу, но, хотя и был застигнут грозой, молния не поразила его! Да просмотрите вы хоть все книги для воскресных школ от первой до последней страницы, ройтесь в них хоть до будущего рождества — не найдете ни одного такого случая! Никогда! Вы узнаете из них, что все дурные мальчики, которые катаются в воскресенье на лодке, непременно тонут, и всех тех, кто удит рыбу в воскресенье, неизбежно застигает гроза и убивает молния. Лодки с дурными детьми всегда опрокидываются по воскресеньям, и, если дурные дети в воскресенье отправляются на

рыбную ловлю, обязательно налетает гроза. Каким образом Джим уцелел, для меня остается тайной.

Джим этот был словно заговоренный,— только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук. Он даже угостил слона в зоологическом саду куском прессованного жевательного табака — и слон не оторвал ему голову хоботом! Он полез в буфет за мятной настойкой — и не выпил по ошибке азотной кислоты! Стачив у отца ружье, он в праздник пошел охотиться — и не отстрелил себе три или четыре пальца! Однажды, разозлившись, он ударил свою маленькую сестренку кулаком в висок, и — можете себе представить! — девочка не чахла после этого, не умерла в тяжких страданиях, с кроткими словами прощения на устах, удвоив этим муки его разбитого сердца. Нет, она бодро перенесла удар и осталась целехонька.

В конце концов, Джим убежал из дому и нанялся матросом на корабль. Если верить книжкам, он должен был бы вернуться печальный, одинокий и узнать, что его близкие спят на тихом погосте, что увитый виноградом домик, где прошло его детство, давно развалился и сгнил. А Джим вернулся пьяный как стелька и сразу угодил в полицейский участок.

Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью размозжил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он — самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне — пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата.

Как видите, этому грешнику Джиму, которому бабушка ворожит, везло в жизни так, как никогда не везет ни одному дурному Джеймсу в книжках для воскресных школ.

СРЕДИ ДУХОВ

Несколько дней тому назад у нас в городе был спиритический сеанс. Я отправился туда вместе с репортером вечерней газеты. Он сказал мне, что знал в свое время шулера по имени Гэс Грэхем, которого застрелили на улице в одном городишке в Иллинойсе. Поскольку во всем Сан—Франциско, наверно, не найдется второго человека, знакомого с обстоятельствами этого дела, он хочет "подсунуть духам этого Грэхема — пусть пожуют". (Молодой журналист принадлежит к демократической партии и выражается энергично и неизящно, подобно всем своим коллегам.) Когда сеанс начался, он написал на клочке бумаги имя своего покойного приятеля, тщательно свернул записку и бросил ее в шляпу, в которой уже лежало не менее пятисот подобных документов. Записки вывалили на стол, и женщина—медиум стала разворачивать их одну за другой и откладывая в сторону, вопрошая:

— Этот дух присутствует? А этот? А этот? Примерно один раз из пятидесяти в ответ раздавался стук, и тогда тот, кто подал записку, вставал с места и обращался к усопшему с вопросами. По прошествии некоторого времени какой—то дух ухватил медиума за руку и написал на бумаге: "Гэс Грэхем", причем написал задом наперед. Женщина—медиум немедленно принялась рыться в груде записок, отыскивая это имя. Когда она дотронулась до нужной записки, перебрав до того полсотни других, послышался стук: старый шулер узнал свою карту по рубашке. Член проверочной комиссии развернул записку, там стояло: "Гэс Грэхем". Я потребовал, чтобы мне показали записку. Это была записка, поданная моим спутником. Я не особенно удивился: все демократы с дьяволом накоротке. Молодой журналист поднялся со стула и спросил:

— Когда вы умерли? В тысяча восемьсот пятьдесят первом году? В тысяча восемьсот пятьдесят втором? В тысяча восемьсот пятьдесят третьем? В тысяча восемьсот пятьдесят четвертом?

Дух. Тук—тук—тук!

— От чего вы умерли? От холеры? От поноса? От дизентерии? От укуса бешеной

собаки? От оспы? Насильственной смертью?

— Тук—тук—тук!

— Вас повесили? Утопили? Зарезали? Застрелили?

— Тук—тук—тук!

— Вы умерли в штате Миссисипи? В Кентукки? В Нью—Йорке? На Сандвичевых островах? В Техасе? В Иллинойсе?

— Тук—тук—тук!

— В округе Адамс? В округе Мэдисон? В округе Рэндолф?

— Тук—тук—тук!

Было ясно, что усопшего шулера голыми руками не возьмешь. Он знал колоду наизусть и ходил с козыря.

В это время из публики вышли два немца, один пожилой, а другой самоуверенный юнец, у которого, как видно, было что—то на уме. Они написали имена на бумажке. Затем юный Оллендорф задал вопрос, звучавший примерно так:

— 1st ein Geist heraus? (явился ли дух? (немецкий))

(Бешеный хохот аудитории.) Три удара свидетельствовали, что Geist был heraus.

— Wollen sie schreiben? (хотите писать? (немецкий)) (Снова хохот.) Три удара.

— Funfzigstollenlinsiwfterowlickterhairowferfrowleineruha—ckfolderol?

Можете мне не верить, но дух бодро отвечивал "Да!" на этот поразительный вопрос. Веселье слушателей возрастало с каждым новым вопросом и их пришлось предупредить, что, если они не перестанут столь легкомысленно себя вести, опыты будут прекращены. Шум утих.

Немецкий дух был, по—видимому, совершеннейшим профаном и не мог ответить на простейшие вопросы. Под конец юный Оллендорф, справившись с какими—то записями, попытался установить, когда этот дух умер. Дух путался и не мог сказать, умер он в 1811 или в 1812 году, что, впрочем, было довольно естественно, учитывая, что с тех пор прошло немало времени. Наконец он остановился на второй дате.

Игра! Юный Оллендорф вскочил на ноги в сильнейшем волнении; он закричал:

— Тамы и шентельмены? Я написал имя человека, который софсем шифой. Тух кофорит, што он умер ф фосемьсот тфенатцатом коту, а он шиф и стороф...

Женщина—медиум. Сядьте на место, сэр!

Оллендорф. Нет, я шелаю...

Женщина—медиум. Вы пришли сюда не для того, чтобы произносить речи. Сядьте на место.

(Оллендорф между тем готовится к новой речи.)

Оллендорф. Этот тух опманьфает. Такофо туха софсем не существует.

(Аудитория непрерывно аплодирует и хохочет.)

Женщина—медиум. Сядьте на свое место, сэр, и я сейчас дам объяснение.

И она дала объяснение. В ходе этого объяснения она нанесла юному Оллендорфу удар такой сокрушительной силы, что я несколько не удивился бы, если бы немец вылетел вон из помещения, проломив стенку на своем пути. Она сказала, что он явился сюда, замыслив в сердце обман, подвох и мошенничество, и что ему навстречу из царства теней вышел дух его же морального уровня. Женщина—медиум была исполнена неподдельного негодования. Она дала понять, что преисподняя кишит низменными личностями вроде юного Оллендорфа и они ждут не дождутся малейшей возможности, чтобы по призыву подобных Оллендорфов выскочить под чужим именем, а потом писать и выстукивать всевозможную ересь и чепуху. (Взрыв хохота и аплодисменты.)

Отважный Оллендорф не сложил оружия и готов был открыть ответный огонь, но аудитория разразилась криками:

— Садись на место!—Нет, продолжай!—Пошел вон! — Говори, мы тебя слушаем! — Стащите его с трибуны!—Держись!—Сматывай удочки!—Не робей, держись!

Женщина—медиум поднялась и заявила, что, если Оллендорф не сядет на место, она

покинет зал. Она ни за что не допустит, чтобы ее оскорбляли мошенническими проделками или насмехались над ее религиозными убеждениями, Аудитория утихла, и укрошенный Оллендорф сошел с трибуны.

Второй немец, в свою очередь, вызвал духа, задал ему несколько вопросов по—немецки и сказал, что все ответы правильны. Женщина—медиум сообщила, что не понимает ни слова по—немецки.

В это время какой—то господин подозвал меня к эстраде и спросил, не принадлежу ли я к спиритам? Я сказал, что не принадлежу. Тогда он спросил меня, не являюсь ли я противником спиритизма? Я ответил, что, вероятно, не более, чем другие люди, не верящие в духов, и пояснил, что не могу уверовать в то, чего не понимаю, а то, что я здесь вижу, понять невозможно. Тогда он сказал, что, пожалуй, причина сегодняшней робости духов не во мне; тем не менее, для него очевидно, что происходит сильное истечение антагонистических флюидов,— он—то сразу это заметил, его не проведешь, сильнейшее истечение негативных флюидов как раз с той стороны зала, где я сижу. Я намекнул, что виною, наверно, мой спутник, и добавил, что считаю отъявленным подлецом всякого, кто повинен в истечении этих гнусных негативных флюидов. Мои объяснения, по—видимому, удовлетворили фанатика, и он оставил меня в покое.

У меня был когда—то близкий друг, который, по моим сведениям, отправился в царство духов или к черту в пасть,— словом, в одно из этих мест, и мне захотелось что—нибудь узнать о нем. Но обратиться с грешными земными словами к тени умершего было так жутко, что я долго не мог заставить себя подняться и заявить о своем желании. Наконец я встал, трепеща от волнения, и произнес еле слышным, прерывающимся голосом.

— Здесь ли дух Джона Смита?

(Я не подумал о том, что со Смитами шутки плохи. Стоит позвать одного, и целый легион их бросится из глубин ада, чтобы с вами поздороваться.)

— Грам—грам—тарарам!

Так я и знал! Все племя почивших без покаяния Смитов от Сан—Франциско и до самой преисподней атаковало маленький столик одновременно. Я был озадачен, точнее сказать — ошарашен. Зал, однако, потребовал, чтобы я задавал вопросы, и я спросил:

— От чего вы умерли?

Смиты перечислили все болезни и все несчастные случаи, какие могут стать причиной смерти.

— Где вы умерли?

Они умерли во всех географических пунктах, какие я мог назвать.

— Счастливы ли вы?

Покойные Смиты ответствовали решительно и единодушно:

— Нет!

— Тепло ли там у вас?

Один из грамотеев Смитов завладел рукой медиума и написал: "Нет слов, чтобы выразить, как у нас тепло!"

— Остались ли еще какие—нибудь Смиты в том месте, откуда вы явились?

— Чертова уйма!

Мне почудилось, что тень отвечавшего Смита хихикнула, отпустив эту незатейливую остроу насчет черта и почивших Смитов.

— Сколько Смитов здесь присутствует?

— Восемнадцать миллионов. Очередь тянется отсюда до западной границы Китая.

— Сколько же всего Смитов среди жителей преисподней?

— Подавляющее большинство. Владыка ада решил теперь удобства ради именовать каждого новоприбывшего Смитом. Кто не Смит, должен заявить об этом. Но такие случаи не часты.

— Как называют погибшие души свое мрачное обиталище?

— Смитсоновский институт!

Наконец я набрел на нужного мне Смита — того самого, которого я искал, моего доброго незабвенного друга,— и узнал от него, что он погиб насильственной смертью. Оказывается, жена заговорила его до смерти. Я так и думал. Бедный Смит!

Потом появился еще один Смит. Один из присутствующих сказал, что это его Смит, и стал задавать вопросы. Выяснилось, что и этот Смит погиб насильственной смертью. На земле он исповедовал весьма путаные религиозные взгляды, был помесью универсалиста и унитариянца, но на тем свете разобрался в этих вопросах и теперь счастлив. Мы стали расспрашивать его, и добродушный старый пастор охотно вступил с нами в беседу. Для духа он был просто весельчаком. Сказал, что тело его дематериализовалось, и пуля теперь может пройти через него, не оставив дырки. Дождь тоже мочит его насквозь, но не причиняет ни малейших неприятностей. (Если так, значит, он не чувствует, когда идет дождь, и не может судить об этом.) Он сказал, что то, что мы называем раем и адом, не более чем состояние духа: в раю умершие в хорошем и мирном настроении, а в аду мучаются раскаянием и угрызениями совести. Сказал, что он лично всем доволен, чувствует себя прекрасно. Отказался ответить — был ли он на земле праведником или грешником. (Старый, непромокаемый, дематериализованный проныра! Понял, что я спросил это неспроста, что хочу выяснить, есть ли у меня шансы устроиться не хуже, чем он.) Сказал, что не сидит без дела, учит других и учится сам. Сказал, что у них имеются сферы — степени совершенствования; что он оказывает отличные успехи и уже переведен во вторую сферу. ("Полегче, старина, полегче, у тебя в запасе целая вечность",— сказал я про себя. Он ничего мне не возразил.) Он не сумел ответить, сколько всего насчитывается сфер. (Я лично думаю, что их миллионы. Если человек скачет с одной на другую с такой резвостью, как этот старый универсалист, то, не достигнув еще даже возраста Сезостриса и прочих мумий, он уже пройдет их множество, а в преддверии вечности потеряет им счет. По—моему, старый пастор набирает скорость, не соответствующую ни обстановке, в которой находится, ни запасу времени, которым он располагает.) Сказал, что духи не чувствуют ни жары, ни холода. (Это опровергает мои правоверные представления об аде — о раскаленных сковородках и кипящей смоле.) Сказал, что духи общаются между собой мысленно, языка не имеют, сказал, что деление на мужчин и женщин остается, и тому подобное.

Старый пастор писал нам и беседовал с нами битый час, и по его быстрым толковым ответам было видно, что он не тратит время попусту на том свете. Видно было, что он повсюду сует нос и старается выяснить все, что ему кажется непонятным, а если ему это не удастся, то не успокаивается,— он сам нам об этом рассказал,— а ищет какую—нибудь знакомую душу, которая может поделиться с ним своим опытом. Не удивительно, что он в курсе всех дел. Я хотел бы отметить его исключительную любезность и обязательность и пожелать ему, чтобы он преуспевал так же и впредь, пока не усядется на макушке самой высшей сферы и не достигнет таким образом конечного совершенства.

ЖАЛОБА НА КОРРЕСПОНДЕНТОВ, НАПИСАННАЯ В САН—ФРАНЦИСКО

Послушайте, за кого вы принимаете нас, живущих по эту сторону материка? Я обращаю этот прямой и решительный вопрос ко всем мужчинам, женщинам и детям, обитающим к востоку от Скалистых гор. Не считаете ли вы нас идиотами, что шлете нам эти чудовищные письма, этот бессмысленный, тупой, никчемный вздор? Вы жалуетесь, что стоит человеку прожить на Тихоокеанском побережье полгода, как он теряет интерес ко всему, что оставил на далеком Востоке, и перестает отвечать на письма друзей, даже на письма родных. Только по вашей вине! Сейчас я прочитаю небольшую лекцию на эту тему, — она пойдет вам на пользу.

Существует одно—единственное правило, как писать письма. Либо вы его не знаете,

либо настолько глупы, что не считаетесь с ним. Это простое и ясное правило: пишите лишь о том, что интересно вашему адресату.

Неужели так трудно запомнить это правило и держаться его? Если вы издавна в дружбе с тем, кому шлете письмо, неужели вы не в силах рассказать ему хотя бы об общих знакомых? Можно ли сомневаться, что человек, уехавший на край света, примет с благодарностью даже самые тривиальные сообщения такого рода? А что пишете вы, по крайней мере, большинство из вас? Вы забываете нам голову бессовестной галиматьей о людях, о которых мы не имеем ни малейшего представления, о происшествиях, которых мы не знаем, и знать не хотим. Есть ли в этом хоть доля смысла? Разрешите мне представить вам образчик вашего эпистолярного стиля. Вот отрывок из последнего письма моей тети Нэнси, которое я получил четыре года тому назад а на которое не отвечаю уже четыре года.

"Сент—Луис, 1862

Дорогой Марк! Вчера мы премило провели вечер, у нас был в гостях преподобный доктор Мэклин с супругой из Пеории. Он смиренно трудится на своей ниве. Он пьет очень крепкий кофе, он страдает невралгией, точнее невралгическими головными болями. Какой неприятный и богомольный человек! Как мало таких на этом свете! К обеду у нас был суп; хотя, ты знаешь, я супа не люблю. Ах, Марк, если бы ты взял себя в руки и вступил на стезю добродетели! Прошу тебя, почитай из Второй книги Царств от второй главы и по двадцать четвертую включительно. Я была бы так счастлива, если бы это обратило тебя на праведный путь. Миссис Габрик умерла, бедняжка. Ты ее не знал. Под конец у нее были очень сильные припадки. 14 числа наша армия начала наступление на..."

Дойдя до этих строк, я обычно бросаю письмо, так как знаю наверняка, что дальше пойдет сухой и монотонный перечень военных событий. Мне так и не удалось вбить в башку этим тупицам, что обо всем, что происходит в Соединенных Штатах, мы узнаем здесь, в Сан—Франциско, по телеграфу на следующий же день, и что Пони—Экспресс привозит нам все мельчайшие подробности военных событий на добрые две недели раньше, чем мы получаем письма. Вот почему я раз и навсегда отказываюсь от этих замшелых военных отчетов, даже с риском, что упущу совет прочитать ту или иную главу священного писания. Письма нашпигованы подобными советами, и зазевавшийся грешник может в любую минуту угодить в капкан.

Теперь я спрошу вас, что мне до преподобного Мэклина? Какое мне дело до того, что он "смиренно трудится на своей ниве", что он "пьет крепкий кофе", что он "неприятен", что он "богомолен", что он "страдает невралгией"? Допустим, что это прихотливое сочетание добродетелей приведет меня в восторг, но интереса к преподобному Мэклину все равно не прибавит. Сообщения о том, что таких, как он, мало и что к обеду был суп, меня радуют, — я готов честно признать это. Требование прочитать двадцать две главы из Второй книги Царств, адресованное человеку, который ни секунды не помышляет стать священником, я рассматриваю как грубое вторжение на территорию нейтральной державы. Информация о кончине "бедняжки миссис Габрик" почти не обрадовала меня, должно быть потому, что я не знал покойную лично. Впрочем, было приятно узнать, что под конец у нее были сильные припадки.

Ну что, ясно вам теперь? Ясно вам, что во всем письме нет двух слов, способных пробудить во мне хоть искру интереса? Ваши военные новости я уже знаю. Если я захочу прослушать проповедь — рядом есть церковь, где их читают гораздо лучше. Я не желаю ничего знать о бедняжке Габрик, которую не видел ни разу в жизни. Я не желаю ничего знать о преподобном Мэклине, которого тоже никогда не видел. Я спрашиваю вас: почему здесь нет ничего о Мэри Энн Смит (о, как я жажду узнать хоть что—нибудь о ней!), ни слова о Джорджиане Браун, о Зебе Левенворте, о Сэме Бауэне, о Стротере Уилли, — ни о ком, чья судьба волнует меня? И так как приведенное письмо похоже на все предыдущие как две капли воды, я не ответил на него, — на что мне эта переписка?

Моя почтенная матушка недурной корреспондент, ее письма, во всяком случае, своеобразны. Она надевает очки, берет ножницы и принимается вырезать из газет всякую

всячину — передовицы, списки постояльцев в гостиницах, вирши, официальные сообщения, объявления, рассказы, старые анекдоты, рецепты "от печени", кулинарные советы, — все, что подвернется под руку (она лишена предвзятости, содержание не волнует ее); потом, взявши вырезки, она читает их, глядя поверх очков (очки не годятся, старые гораздо лучше, но она предпочитает эти потому, что они в золотой оправе), и говорит: "Уж не знаю, как быть, во всяком случае — это из сент—луисской газеты!" — и запихивает вырезки в конверт вместе с письмом. В письме она сообщает мне обо всех, кого я когда—либо знал, но, к сожалению, в такой своеобразной форме:

"Ж. Б. умер", или: "В. Л. выходит замуж за Т. Д.", или: "Б. К. и Р. М. вместе с Л. А. Ж. уехали в Новый Орлеан". Она упускает из виду, что когда—то отлично знакомые имена стерлись за эти годы в моей памяти я восстановить их теперь по инициалам для меня непосильная задача. Она никогда не пишет имени полностью, я никогда не знаю, о ком она рассказывает, и принимаю решение наугад. Помню, как я оплакивал кончину Билла Криббена, — а ведь должен был ликовать, что Бен Кенфурон наконец сыграл в ящик: я ошибся, расшифровывая инициалы.

Самые интересные и содержательные письма из дома мы получаем от детей семи—восьми лет от роду. Это проверено на тысяче примеров. По счастью, им не о чем писать, кроме как о домашних новостях и о том, что происходит по соседству (взрослые считают эти новости слишком ничтожными для письма, отправляемого за несколько тысяч миль). Они выражаются просто и непринужденно и не пытаются сразить вас изяществом слога. Они сообщают то, что им доподлинно известно, и ставят точку. Они редко трактуют о высоких материях и не читают лекций на моральные темы. Их послания кратки, но всегда занимательны, поскольку речь в них идет о людях и событиях, вам знакомых. Итак, если вы желаете совершенствоваться в эпистолярном искусстве, учитесь у детей. Я храню письмо от восьмилетней девочки, храню его как достопримечательность, потому что это единственное письмо за все годы моего отсутствия, которое я прочел с непритворным интересом. Вот это письмо:

"Сент—Луис, 1865

Дядя Марк! Жаль, что тебя нет. Я могла бы тебе рассказать наизусть, как младенца Моисея нашли в тростниках. Мистер Сауэрби свалился с лошади и сломал ногу, потому что ездил верхом в воскресный день. Маргарет, наша служанка, вынесла из твоей комнаты все плевательницы, помойные ведра и старые бутылки. Она говорит: раз тебя так долго нет, наверно ты уже не приедешь с нами. Мама Сисси Макэлрой завела нового ребеночка. Они у нее не переводятся. У ребеночка синие глазки, как у их жильца мистера Свимли, и вообще он похож на этого жильца. Мне подарили новую куклу, но Джонни Андерсон оторвал у нее ногу. Сегодня у нас была мисс Дузенбарри, я хотела дать ей твою фотографию, но она не взяла. У моей кошки снова котята — целая куча котят! Ты просто не поверишь — вдвое больше, чем у кошки Лотти Белден! Одного из них, короткохвостого, я назвала в твою честь, — такой славный котеночек. Сейчас я уже всем придумала имена: генерал Грант, генерал Галлек, пророк Моисей, Маргарет; Второзаконие, капитан Семмс, Исход, Левит, Хорэс Грили. Десятый без имени, я держу его про запас, потому что тот, которого я назвала в твою честь, хворает и, наверно, помрет. [Боюсь, что с короткохвостым сыграли дурную шутку, назвав его в мою честь. Что—то будет со следующим кандидатом?] Дядя Марк, я хочу тебе сказать, что ты очень нравишься Хэтти Колдуэлл. Она считает тебя красивцем. Вчера я сама слышала, как она сказала маме, что твоей красоте ничто не грозит, даже если ты заболеешь оспой и сделаешься рябым, — хуже, чем был, не станешь. Мама говорит, что она очень остроумная девушка (очень!). Я кончаю письмо, потому что генерал Грант сцепился с пророком Моисеем.

Энни.

Девочка без всякого стеснения наступает мне на мозоль почти в каждой фразе своего

письма, но в простоте душевной не ведает об этом.

Я считаю ее письмо образцовым. Это отлично написанное, увлекательное письмо, и, как я уже сказал, в нем больше полезных и интересных для меня сведений, чем во всех остальных письмах, полученных мною с Востока, вместе взятых. Мне гораздо приятнее узнать, как живут наши кошки и познакомиться с их незаурядными именами, чем читать про неведомых мне люден или штудировать "Прискорбную повесть о вреде горячительных напитков", на обложке которой изображен оборванный бродяга, замахивающийся на кого—то из своих ближайших родственников пустой бутылкой из—под пива.

В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

Я побывал в полицейском участке, я провел там целую ночь. Я не стесняюсь говорить об этом, потому что здесь каждый может попасть в полицейский участок, не совершив ровно никаких проступков. Да так и повсюду, потому что полицейским весь мир отдан в лапы. Некоторое время назад я похвалил полицию в одной корреспонденции, и когда я писал ее, я себя чувствовал виноватым и униженным — настоящим подлецом; и теперь я очень рад, что попал в полицейский участок, потому что это послужит мне уроком: никогда не надо опускаться до такой полной потери всех моральных устоев, чтобы хвалить полицию.

Неделю назад мы около полуночи возвращались с приятелем домой и увидели, что двое дерутся. И вот мы вмешались, как два идиота, и попытались их разнять, а тут подоспела свора полицейских и забрала нас всех в участок. Два или три раза мы назначали полицейскому цену, чтобы он нас отпустил (полицейские обычно берут пять долларов при оскорблении действием и, я полагаю, двадцать пять в случаях преднамеренною убийства), но на этот раз было слишком много свидетелей, и нам отказали.

Они поместили нас в разные камеры, и примерно с час я развлекался, рассматривая через решетку растрепанных старых ведьм и оборванных, избитых шалопаев, которые причитали и сквернословили в коридорах, мощенных каменными плитами, но потом это изрядно надоело мне. Я уснул на своей каменной скамье в три часа ночи, а на рассвете меня вызвали, и два мерзостных полицейских повели меня под охраной в суд при полиции, будто я ограбил церковь, или сказал вдруг доброе слово о полиции, или сделал еще что—нибудь, столь же подлое и противоестественное.

Четыре часа мы сидели на деревянных скамьях в арестантской, отгороженной от зала суда, ожидая приговора, — именно приговора, а не суда, потому что они здесь не судят людей, а только отбирают у них часть наличных денег и отправляют на все четыре стороны без всяких церемоний. У нас там собралась превеселая публика, только мы все очень устали и хотели спать. В этой компании было три вполне приличных молотых человека, к тому же еще и хорошо одетых: один— клерк, другой — студент колледжа, а третий — торговец из Индианы. Двое из них воевали на стороне северян, а третий — на стороне их противников, и все трое сражались при Антьетапе. Торговца арестовали за то, что он был пьян, а двух других молодых джентльменов — за оскорбление действием. Был там еще жалкий, болезненный, окровавленный и обрюзгший старый бродяга, которого, по его словам, сначала вытолкали из пивнушки, а потом еще и арестовали. Он сказал, что уже много раз бывал в участке, и я спросил:

— Что они с вами сделают?

— Дней десять дадут, — при этом он ткнул пальцем через плечо в сторону полицейских и выразительно пожал плечами.

Был там еще негр, у которого из разбитой головы обильно лилась кровь. Этот ничего не рассказывал.

В углу сидела старая карга — один глаз у нее был подбит, и под ним красовался огромный синяк, а вторым она пьяно косила на мир; весь костюм ее состоял из грязного

ситцевого платья, какой—то ужасной шали да пары домашних туфель, которые знавали и лучшие времена, но это было так давно, что о них и сама старуха уже забыла. Время ожидания тянулось медленно, и я решил пока изучить как следует общество, в котором очутился. Я подсел к старухе и завязал с ней разговор. Она оказалась весьма общительной и рассказала, что живет у Файв—Пойнтс и, наверное, уж очень здорово напилась, если забрела так далеко от дома. Она сказала, что была замужем, но муж куда—то отчалил, а потом она сошлась с другим, и у них был ребенок... да, маленький мальчик... а только ей все было не до него, то надо выпить, то еще добавить, чтобы не протрезветь, — вот он и умер однажды ночью с голоду, а может, и замерз, кто его знает... а может, и то и другое вместе, потому что у них никакого постельного белья не было, и вообще были одни ставни, а прямо через крышу снег так и валил.

— Да, ему чертовски повезло, — сказала она, — ох, в паршиво б ему пришлось, если бы он выжил!

Туг она захихикала, а потом спросила у меня табачку пожевать и сигару. Я дал ей сигару и занял для нее табаку, тогда она подмигнула мне с таинственным видом и вытащила из—под шали фляжку с джином. Она сказала, что они там, в полиции, думают, будто очень ловко ее обыскали, но она тоже не вчера на свет родилась. Я отказался от приглашения выпить, и она сказала, что ей обеспечено десять суток, но уж, надо думать, она их выдержит, потому что, если б у нее было столько долларов, сколько дней она провела в кутузке, она могла бы купить себе водочный завод.

Были в нашей небольшой компании и две уличные девчонки — одна шестнадцати, другая семнадцати лет, и, как они говорили, арестовали их за то, что они будто бы приставали на улице к джентльменам, занимаясь своим ремеслом, но они отрицали это и уверили, что те сами сделали первые шаги к знакомству; потом они обе заплакали, но не потому, что им было стыдно сидеть в полицейском участке, а оттого, что им предстояло провести несколько дней в тюрьме, в обществе несколько менее утонченном, чем они привыкли. Я сочувствовал бедным девочкам; как жаль, что милосердный снег не заморозил и их заодно, послав им мирное забвение и избавив от жизненных тревог и неприятностей.

Около восьми часов утра начали прибывать за решетку новые пташки, и трое моих юных соседей оживились и стали приветствовать каждого нового посетителя.

— Еще один делегат! Будьте добры, ваши верительные грамоты, сэр! Секретарь занесет имя джентльмена в почетный список с упоминанием его особых заслуг. Оскорбление действием, сэр? Нарушение порядка? Кража? Поджог? Грабеж на большой дороге? Ах, просто пьянство? Запишите: в состоянии опьянения, но виновен. Место, леди и джентльмены, место почетному делегату от трущоб Файв—Пойнтса!

Так, за шуточками и болтовней, нескучно шло время. И вдруг я увидел на стене надпись, от которой меня бросило в пот. Я будто почувствовал на себе чей—то обвиняющий насмешливый взгляд. Надпись гласила (и как знакома была мне эта надпись!): «НЕПРИЯТНОСТИ НАЧНУТСЯ В ВОСЕМЬ» Как хорошо помню я тот день, когда придумал эту фразу в редакции «Морнинг колл», сочиняя объявление о своей первой лекции в Сан—Франциско; и подумайте только, кто бы мог предвидеть в тот день, что мне еще доведется прочесть эту надпись на тюремной стене за многие сотни километров от Сан—Франциско! Когда я написал эти слова в первый раз, я улыбнулся своей выдумке, но теперь, когда я представил, как тяжело было на сердце у бедняги, нацарапавшего здесь эти слова, и как он тосковал о лучшей доле, — в словах этих мне открылось что—то трогательное, волнующее, чего я раньше в них и не подозревал. То, что я пишу сейчас, — не плод воображения, я просто пытаюсь набросать картину того, что происходило со мной в мерзостном нью—йоркском узилище для негодяев и для несчастных.

В девять часов мы вышли один за другим под охраной и предстали перед судьей. Я посоветовался с ним, имеет ли мне смысл заявлять протест на том основании, что я был арестован и заключен сюда незаконно, но он сказал, что это принесет только хлопоты и лучше мне не причинять себе лишнего беспокойства, поскольку все равно никто не узнает,

что я сидел в полицейском участке, если только я сам об этом не скажу, С этим он меня и отпустил. Я побыл там еще немного и посмотрел, как он отправляет правосудие. Оказалось, что в случае мелких проступков вполне достаточно было показаний полицейского, записанных в протокол, и приговор выносился без всякого опроса обвиняемого или свидетелей. Потом я пошел прочь, очень довольный, что побывал в полицейском участке и узнал о нем все на своем собственном опыте, но при этом не испытывая ни малейшего желания продолжать свои изыскания в этой области.

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

Хвала господу, что он создает нас всех невеждами. И я рад, что когда впоследствии мы меняем планы создателя на этот счет, нам приходится делать это на свой страх и риск. Мне радостно сознавать, что я ничего не понимаю в искусстве и ничего не понимаю в хирургии. Потому что люди, которые разбираются в живописи, находят в картинах одни только изъяны, а хирурги и анатомы всю жизнь видят в красивых женщинах только скелет из костей, носящих латинские названия, да еще сплетение нервов, мускулов и тканей, пораженных разнообразными болезнями. То самое место, которое мне нравится в картине, просвещенному художнику кажется чудовищным преступлением против законов цвета, а в румянце на миловидном лице женщины, совершенно очаровавшем меня, придиричивое око врача видит лишь вопиющий признак губительного процесса в легких. Будь оно проклято такое знание! Мне его не нужно.

Художественные критики в последние недели так усердно поносили все имеющее отношение к Академии художеств, что я уже примирился с мыслью, что посещение ее может только вконец расстроить меня. Однако сегодня я совершенно случайно забрел в Академию и пробыл там три часа. Я мог бы пробыть там и неделю. Я не настолько осведомлен, чтобы заметить ужасающие недостатки, которые другим так и бросаются в глаза. Там было выставлено сотни три картин, и тридцать или сорок из них показались мне прекрасными. Мне понравились все морские пейзажи, и горные пейзажи, и мирные лесные виды с тенистыми озерами на переднем плане, и я прямо—таки упивался бурями и штормами.

Был там один романтический тропический пейзаж: поросший лесом остров посреди зеркально гладкого озера, окруженного со всех сторон непроходимыми джунглями, в которых все деревья оплетены лианами и увиты гирляндами цветов; в глади озера отражается вся красота его берегов, и две одинокие птички летят куда—то к дальнему берегу, — туда, где в багровом мареве дремлют заросшие травой лужайки, обомшелые скалы и бескрайние зеленые леса. Картина показалась мне прекрасной, по, вероятно, на самом деле она такой не была. Вероятно, не будь я такой невежда, я бы заметил, что лапки у этих птичек росли не так, как им положено, что цвет местами передан не совсем уверенно и что некоторые живописные «эффекты» самым вопиющим образом нарушают законы искусства.

Я знаю, что мне следовало восхищаться картиной одного из старых мастеров, на которой шесть бородатых физиономий без туловищ выглядывают прямо из кромешной тьмы и сердито тарашатся на какого—то голого младенца, который телосложением не похож ни на одного из виденных мной младенцев, да и цвета совсем не такого. Хорошо, что все старые мастера уже скончались, и жаль только, что это не произошло еще раньше.

Там висели еще две картины, которые мне пришлось по вкусу, но они были такие маленькие и невидные, что и стеснялся, как бы другие посетители не заметили, что я слишком долго смотрю на них, и поэтому разглядывал их искоса, украдкой, прикидываясь, будто благоговейно созерцаю мошенничества старых мастеров. У меня не было каталога, да и на что он мне: ведь если мы, случайно забредшие сюда неучи, не можем по самой картине понять, о чем речь, мы не унижаемся до того, чтобы вычитывать это из книжки. На одной из этих картин изображены два знатных распутника, которые пристают к молодой крестьянке,

весьма удрученной этим, и дразнят ее, а ее простоватый брат (а может, и возлюбленный) сидит тут же, и по его лицу видно, что ему это дело нравится все меньше и меньше. Другая картина была уж вовсе непристойна. В укромном уголке леса пушистая игривая красotka белочка отыскала опрокинутую оплетенную фляжку с коньяком и лакает с земли пролитый напиток. Лицо ее выражает восторг. А рядом, вскинув лапы, лежит на спине дородный старый самец. Оскаленные в улыбке два передних зуба и пьяный взгляд его полуприкрытых глазок являют полное блаженство, и потому совершенно ясно, что тревога и озабоченность, написанные на морде черной белочки, которая склонилась над ним и щупает у него пульс, совершенно излишни и неоправданны при данных обстоятельствах.

Большинство картин в Академии посвящено, конечно, привычным, безобидным предметам. Вы обнаружите здесь знакомую вам кучу котов, спящих в углу, и все тех же котят, играющих с клубком шерсти, и ту же возбужденную морду щенка, выглядывающего в окно, и все ту же привычную отрешенность в очах коров, бредущих через ручей на закате, и давно знакомую карикатуру на женскую наготу, с табличкой «Ева», и все тех же глуповатых девиц, которые слоняются по лесу, как полагается — в чем мать родила, и собирают цветы, — и это должно означать «Осень» или «Лето» или еще что—нибудь в этом же роде; здесь и извечные крестьяне, собирающие свои неизбежные тыквы, и «Девушка у калитки», и «Девушка, читающая книжку», и девушки, совершающие много разных подобных чудес; и, наконец, самые многочисленные и больше всего надоевшие нескончаемые ряды ваз и блюд, полных винограда, и персиков, и кусков арбуза, и прочих овощей и фруктов, и все тот же надоевший кот, который «выуживает» лапкой золотую рыбку. Однако мне следует быть осторожнее, когда речь заходит о полотнах с фруктами, потому что именно к ним прежде всего направляются молодые дамы, входя в музей, и на них они бросают прощальный взгляд, покидая его стены.

Сейчас, после четырех—пяти лет ужасной войны, в Академии выставлена только одна историческая картина — «Вступление Линкольна в Ричмонд», и она омерзительна. Нет ни одной батальной картины. Как Вы думаете, почему?

Есть там одна хорошая скульптура — Ева, но только у нее три яблока: два в левой руке и одно в правой, которое она собирается надкусить. Мне казалось, что наша прамактерь сорвала одно яблоко. Если этот скульптор будет делать новую Еву, то пусть уж он лучше снабдит ее корзинкой.

Итак, я, кажется, проделал то же, что делают художественные критики: не сказал о картинах, которые мне понравились, и упомянул лишь о тех, что мне из понравились. Ну, да хватит об этом. Однако я должен еще обругать здание, в котором все это выставлено. Снаружи оно все изукрашено продольными и поперечными балками, и полосами, и прожилками, и перекладами, и пятнами, и крапинками, и позолотой, сверху донизу испакошено всякой бестолковой мишурой, и пряничною отделкою, и ненужною резьбой до такой степени, что, увидав это в первый раз, человек потом целую педелю не может прийти в себя. Сперва он думает что это церковь, — но затем ему приходит в голову, что ни один богобоязненный христианин не станет молиться в такой церкви; потом он делает предположение, что это отель, — но его осеняет, что человек, у которого хватило ума, чтобы открыть отель, не такой дурак, чтобы построить подобное здание; а может, это огромный жилой дом, думает он затем, — но уже после минутного размышления ему приводится признать, что ни один человек не сумеет сохранить здравый рассудок, поселившись в этом архитектурном кошмаре; потом ему приходит мысль, что это лечебница для душевнобольных, сооруженная по проекту одного из ее обитателей, — но ему тут же становится стыдно, что он возводит такую клевету на беззащитных и обездоленных людей; наконец он решает, что это нелепая конюшня, построенная каким—то лишенным вкуса лошадиником—спортсменом, который вдруг разбогател. Но никогда, никогда, никогда этот прохожий не падет так низко, чтобы предположить, будто эта убогая мешанина из мрамора, росписей и позолоченных листиков предназначалась для Национальной Академии художеств. Никто не опустится до столь низкого предположения. И я ничуть не преувеличу,

если скажу, что здание Академии художеств — это еще большее злодеяние, чем новая церковь, построенная молодым доктором Тингом, и еще несколько новых церквей, выросших там и сям, которые каким—то чудом до сих пор еще не были разрушены молнией с небес. Джентльмены из Академии называют свое дорогостоящее нагромождение архитектурной чертовщины «мавританским стилем», как будто дух древности, поэзии и романтики, который придает очарование сооружениям этого стиля на его древней родине за океаном, можно воспроизвести здесь, среди железнодорожных путей и пароходов, среди деловой горячки и грохота, среди выстроившихся ровными бесконечными рядами домов из бурого песчаника, и как будто вырванные из своего обычного окружения дома этого стиля могут вызвать что—нибудь, кроме насмешки и отвращения. С таким же успехом можно было бы перетащить сюда вигвам, в надежде, что он будет выглядеть романтическим и живописным без всего, что ему сродни, без цветов и трав, без ручейков и торжественной тишины сумрачных древних лесов.

ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ

Иногда в районе Сити—Холл—Парка мне начинает казаться, что все маленькие оборвыши, сколько их есть в Нью—Йорке, приобрели сапожные щетки и ящики и занялись чисткой ботинок.

— Почищу, сэр, почищу!

— Блеск, навою блеск, сэр! Всего пять центов!

И они пристают к вам на каждом шагу и преследуют вас от рассвета до заката. И если вы дадите работу одному на них, то полдюжины других усядутся вокруг прямо на земле и будут смотреть, как он чистит, и критиковать его работу, и честить друг друга на жаргоне, который не понять простому смертному, и обсуждать все сенсации дня, и отзываться фамильярно и неуважительно о джентльменах, управляющих этим городом, и ругать их за тупость, и ронять критические замечания в адрес «япошек», и обсуждать передовые, напечатанные и «Геральд», в «Трибюн» и в «Таймс», и даже придираются к политической деятельности самого мистера Сьюарда, а также к политике федерального правительства. Я заметил, что, говоря о великих людях, они панибратски называют их «старина» Сьюард, «старина» Джонсон и тому подобное. И все потому, что эти маленькие вольнолюбивые мерзавцы считают ниже своего достоинства относиться с почтением к кому—либо или к чему либо.

Обсудив как следует недавнюю покупку русских владений, они переходят к «орлянке» или другим малопочтенным азартным играм, но при этом не забывают своего дела, продолжая, как и прежде, приставать к прохожим.

Вчера на одной глухой улочке я увидел объявление на стене: «Молельня корпуса чистильщиков». Я выяснил, что какой—то благожелатель—энтузиаст созывает сюда три раза в неделю целую кучу этих нью—йоркских гаменов и читает им проповеди и молится за них, вбив себе в голову престранную мысль, что он может спасти их души. И я, конечно, желаю ему успеха, но я и гроша не поставил бы на его предприятие.

Я зашел в этот дом и увидел, что проповедник серьезнейшим образом увещевает сотни две самых отъявленных маленьких сорванцов. Большинство из них слушало довольно внимательно, но критически — всегда критически, потому что, заметьте: тот не настоящий чистильщик, кто не относится ко всему критически. Кое—что из того, что говорил им проповедник, они находили правильным и вполне приемлемым, кое—что вызывало у них протест, но когда он заявил, что Лазарь был воскрешен после того, как пробыл мертвым три дня, маленькие сорванцы молниеносно переглянулись, и взгляды их выразили недоверие. А один парнишка со взлохмаченными волосами и примерно в таком же взлохмаченном тряпье толкнул своего соседа и прошептал ему хрипло:

— Что—то не возьму в толк, — а, Билл? Ведь он бы провонял, точно?

А когда проповедник сказал, что двенадцатью хлебами и несколькими рыбешками удалось чудесным образом напитать пять тысяч человек, один малый обратился к соседу:

— Неужто ты поверишь в это, Джимми?

— Кто его знает... Кто его знает, если они не с голодухи. А то я, бывает, один могу двенадцать хлебов умять. А что? Если, конечно, они не с дом каждый.

И такие замечания они отпускали все время и подвергали критике каждое утверждение, которое казалось им хоть немного сомнительным; и чем дольше я там сидел, тем меньше я верил в успех этой затеи — обратить на путь истинный хоть кого—нибудь из этого воинства чистильщиков, посещающего молельню.

А вечером я побывал в театре Олд—Бауэри и увидел в партере всю братию. Там их было, наверно, сотни три, и они стояли, грязные, оборванные, в тесноте партера и весьма своеобразно критиковали постановку и высмеивали актеров. Они яростно аплодировали всем «героическим» сценам, зато все чувствительные сцены неумолимо обливали презрением.

Я спросил одного из них, что он думает об игре ведущего актера.

— Ах, этот, — куда ему! Вы бы слышали Проктора — вот это да! Да его отсюда до самого Сентрал—Парка слышно было, когда он Ричарда Третьего представлял!

На пятом ярусе на галерке толпилось множество негров, и в этой толпе можно было увидеть также чистильщиков и уличных женщин. Там был бар, и две женщины подшили к нам и попросили угостить их. Мальчишка, который совсем недавно чистил мои ботинки и на этом основании чувствовал личную заинтересованность в моем материальном благополучии, подмигнул мне с каким—то странным выражением, одновременно грустным и таинственным. Я подошел к нему и попросил, чтобы он расшифровал свою сигнализацию, на что он ответил:

— Держитесь подальше от этих. Я здесь уже четыре года околачиваюсь, так я их насквозь вижу. И никуда не ходите с этой кудрявой, и с той второй тоже они вас обчистят. Это уж как пить дать. Да спросите любого полисмена — он вам скажет. Вот та кудрявая — она в «черном вороне» разъезжает чаще, чем в любом другом экипаже. И к выпивке этой даже не притрагивайтесь. Только не говорите никому, что я вам сказал, а то они меня вышибут отсюда, ясно?.. А только в рот не берите этого пойла — настоящая отравка.

Я поблагодарил юного философа за совет и последовал ему. Мне показалось, что все мальчишки — чистильщики и газетчики, — которые не попали в театр, столпились у входа. Десятки рук протянулись к нам за контрамарками, когда мы во время антракта отправились домой. Мы достали свои контрамарки, и тут все бросились на нас с шумом и криком и стали отнимать их друг у друга. Отчаянное, независимое и непослушное племя эти чистильщики и уличные мальчишки. Настоящие головорезы, самый подходящий народ для новых приисков и рудников.

ЛЮДОЕДСТВО В ПОЕЗДЕ

Не так давно я ездил в Сент—Луис; по дороге на Запад на одной из станций, уже после пересадки в Тере—хот, что в штате Индиана, к нам в вагон вошел приветливый, добродушного вида джентльмен лет сорока пяти — пятидесяти и сел рядом со мной. Около часу толковали мы с ним о всевозможных предметах, и он оказался умным и интересным собеседником.

Услышав, что я из Вашингтона, он тут нее принялся расспрашивать меня о видных государственных деятелях, о делах в конгрессе, и я скоро убедился, что говорю с человеком, который прекрасно знает всю механику политической жизни столицы, все тонкости парламентской процедуры обеих наших законодательных палат. Случайно возле нашей скамейки на секунду остановились двое, и до нас донесся обрывок их разговора:

— Гаррис, дружище, окажи мне эту услугу, век тебя буду помнить...

При этих словах глаза моего нового знакомого вдруг радостно заблестели. «Видно, они навеяли ему какое—то очень приятное воспоминание», — подумал я.

Но тут лицо его стало задумчивым и помрачнело.

Он повернулся ко мне и сказал:

— Позвольте поведать вам одну историю, раскрыть перед вами тайную страничку моей жизни; я не касался ее ни разу с тех пор, как произошли те далекие события. Слушайте внимательно — обещайте не перебивать.

Я обещал, и он рассказал мне следующее удивительное происшествие; голос его порой звучал вдохновенно, порой в нем слышалась грусть, но каждое слово от первого до последнего было проникнуто искренностью и большим чувством.

РАССКАЗ НЕЗНАКОМЦА

Так вот, 19 декабря 1853 года выехал я вечерним чикагским поездом в Сент—Луис. В поезде было двадцать четыре пассажира, и все мужчины. Ни женщин, ни детей. Настроение было превосходное, и скоро все перезнакомились. Путешествие обещало быть наименее неприятным; и помнится, ни у кого из нас не было ни малейшего предчувствия, что вскоре нам предстоит пережить нечто поистине кошмарное.

В одиннадцать часов вечера поднялась метель.

Проехали крохотное селение Уэлден, и за окнами справа и слева потянулись бесконечные унылые прерии, где не встретишь жилья на многие мили вплоть до самого Джубили—Сеттльмента. Ветру ничто не мешало на этой равнине — ни лес, ни горы, ни одинокие скалы, и он неистово дул, крутя снег, напоминавший клочья пены, что летают в бурю над морем. Белый покров рос с каждой минутой; поезд замедлил ход, — чувствовалось, что паровичку все труднее пробиваться вперед. То и дело мы останавливались среди огромных белых валов, встававших на нашем пути подобно гигантским могилам. Разговоры стали смолкать. Недавнее оживление уступило место угрюмой озабоченности.

Мы вдруг отчетливо представили себе, что можем очутиться в снежной ловушке посреди этой ледяной пустыни, в пятидесяти милях от ближайшего жилья.

В два часа ночи странное ощущение полной неподвижности вывело меня из тревожного забытья. Мгновенно пришла на ум страшная мысль: нас занесло! «Все на помощь!» — пронеслось по вагонам, и все как один мы бросились исполнять приказание. Мы выскакивали из теплых вагонов прямо в холод, в непроглядный мрак; ветер обжигал лицо, стеной валил снег, но мы знали — секунда промедления грозит всем нам гибелью. Лопаты, руки, доски — все пошло в ход. Это была странная, полуфантастическая картина: горстка людей воюет с растущими на глазах сугробами, суетящиеся фигурки то исчезают в черноте ночи, то возникают в красном, тревожном свете от фонаря локомотива.

Потребовался лишь один короткий час, что мы поняли всю тщетность наших усилий. Не успевали мы раскидать одну снежную гору, как ветер наметал на дороге десятки новых. Но хуже было другое: во время последнего решительного натиска на врага у нашего паровичка лопнула продольная ось. Расчисти мы и тут не смогли бы сдвинуться с места. Выбившись из сил, удрученные, разошлись мы по вагонам. Расселись поближе к огню и стали обсуждать обстановку. Самое ужасное было то, что у нас не было никакой провизии. Замерзнуть мы не могли: на паровозе полный тендер дров — наше единственное утешение. В концов все согласились с малоутешительным выводом кондуктора, который сказал, что любой из нас погибнет, если рискнет отправиться по такой погоде за пятьдесят миль. Значит, на помощь рассчитывать нечего, посылай не посылай — все без толку.

Остается одно: терпеливо и покорно ждать — чудесного спасения или голодной смерти. Понятно, что и самое мужественное сердце должно было дрогнуть при этих словах.

Прошел час, громкие разговоры смолкли, в короткие минуты затишья там и сям слышался приглушенный шепот; пламя в лампах стало гаснуть, по стенам поползли дрожащие тени; и несчастные пленники, забившись по углам, погрузились в размышления,

стараясь по возможности забыть о настоящем или уснуть, если придет сон.

Бесконечная ночь длилась целую вечность, – нам и в самом деле казалось, что ей не будет конца, – медленно убывала час за часом, и наконец на востоке забрезжил серый, студёный рассвет. Становилось светлее, пассажиры задвигались, закопошились – тот поправляет съехавшую на лоб шляпу, этот разминает затекшие руки и ноги, и все, едва пробудившись, тянутся к окнам. Глазам нашим открывается все та же безрадостная картина. Увы, безрадостная! Никаких признаков жизни, ни дымка, ни колеи, только беспредельная белая пустыня, где на просторе гуляет ветер, волнами ходит снег, и мириады взвихренных снежных хлопьев густой пеленой застилают небо.

Весь день мы в унынии бродили по вагонам, говорили мало, больше молчали и думали. Еще одна томительная, бесконечная ночь и голод.

Еще один рассвет – еще один день молчания, тоски, изнуряющего голода, бессмысленного ожидания помощи, которой неоткуда прийти. Ночью, в тяжелом сне. – праздничные столы, ломящиеся от яств; утром – горькое пробуждение и снова муки голода.

Наступил четвертый день и прошел; наступил пятый! Пять дней в этом страшном заточении! В глазах у всех прятался страх голода. И было в их выражении нечто такое, что заставляло содрогнуться: взгляд выдавал то, пока еще неосознанное, что поднималось в каждой груди и чего никто еще не осмеливался вымолвить.

Миновал шестой день, рассвет седьмого занялся над исхудалыми, измученными, отчаявшимися людьми, на которых уже легла тень смерти. И час пробил! То неосознанное, что росло в каждом сердце, было готово сорваться с каждых уст. Слишком большое испытание для человеческой природы, дольше терпеть не вмоготу. Ричард Х. Гастон из Миннесоты, длинный, бледный, тощий, как скелет, поднялся с места. Мы знали, о чем он будет говорить, и приготовились: всякое чувство, всякий признак волнения упрятаны глубоко; в глазах, только что горевших безумием, лишь сосредоточенное строгое спокойствие.

– Джентльмены! Медлить дольше нельзя. Время не терпит. Мы с вами сейчас должны решить, кто из нас умрет, чтобы послужить пропитанием остальным.

Следом выступил мистер Джон Д. Уильямс из штата Иллинойс:

– Господа, я выдвигаю кандидатуру преподобного Джеймса Соьера из штата Теннесси.

Мистер У. Р. Адамс из штата Индианы сказал:

– Предлагаю мистера Дэниела Слоута из НьюЙорка.

Мистер Чарльз Д. Лэнгдон. Выдвигаю мистера Сэмюэла А. Боуэна из Сент—Луиса.

Мистер Слоут. Джентльмены, я хотел бы отвести свою кандидатуру в пользу мистера Джона А. Ван—Ностранда—младшего из Нью—Джерси.

Мистер Гастон. Если не будет возражений, просьбу мистера Слоута можно удовлетворить.

Мистер Ван—Ностранд возражал, и просьбу Дэниела Слоута не удовлетворили. С самоотводом выступили также господа Соьер и Боуэн; самоотвод их, на том же основании, не был принят.

Мистер А. Л. Баском из штата Огайо. Предлагаю подвести черту и перейти к тайному голосованию.

Мистер Соьер. Джентльмены, я категорически возражаю против подобного ведения собрания.

Это против всяких правил. Я требую, чтобы заседание было прервано. Надо, во—первых, избрать председателя, затем, в помощь ему, заместителей. Вот тогда мы сможем должным образом рассмотреть стоящий перед нами вопрос, сознавая, что ни одно парламентское установление нами не нарушено.

Мистер Билл из Айовы. Господа, я протестую. Не время и не место разводить церемонии и настаивать на пустых формальностях. Вот уже семь дней у нас не было во рту ни крошки. Каждая секунда, истраченная на пустые пререкания, лишь удваивает наши муки. Что касается меня, я вполне удовлетворен названными кандидатурами, как, кажется, и все

присутствующие; и я со своей стороны заявляю, что надо без промедления приступить к голосованию и избрать кого—нибудь одного, хотя... впрочем, можно и сразу нескольких. Вношу следующую резолюцию...

Мистер Гастон. По резолюции могут быть возражения; кроме того, согласно процедуре, мы сможем принять ее только по истечении суток с момента прочтения. Это лишь вызовет, мистер Билл, столь нежелательную для вас проволочку. Слово предоставляется джентльмену из Нью—Джерси.

Мистер Ван—Ностранд. Господа, я чужой среди вас, и я вовсе не искал для себя столь высокой чести, какую вы мне оказали. Поймите, мне кажется неудобным...

Мистер Морган из Алабамы (прерывая).

Поддерживаю предложение мистера Сойера! Предложение было поставлено на голосование, и прения, как полагается, были прекращены. Предложение прошло, председателем избрали мистера Гастона, секретарем мистера Блейка, в комиссию по выдвижению кандидатур вошли господа Холкомб, Дайэр и Болдуин, для содействия работе комиссии был избран Р. М. Хоулман, по профессии поставщик продовольственных товаров.

Объявили получасовой перерыв, комиссия удалилась на совещание. По стуку председательского молотка участники заседания вновь заняли места, комиссия зачитала список. В числе кандидатов оказались господа Джордж Фергюссон из штата Кентукки, Люсьен Херрман из штата Луизиана и У. Мессин, штат Колорадо. Список в целом был одобрен.

Мистер Роджерс из штата Миссури.

Господин председатель, я вношу следующую поправку к докладу комиссии, который на сей раз был представлен на рассмотрение палаты в соответствии со всеми правилами процедуры. Я предлагаю вместо мистера Хермана внести в список всем известного и всеми уважаемого мистера Гарриса из Сент—Луиса. Господа, было бы ошибкой думать, что я хоть на миг подвергаю сомнению высокие моральные качества и общественное положение джентльмена из Луизианы, я далек от этого. Я отношусь к нему с не меньшим почтением, чем любой другой член нашего собрания. Но нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что этот джентльмен потерял в весе за время нашего пребывания здесь значительно более других; никто из нас не имеет права закрывать глаза на тот факт, господа, что комиссия – не знаю, просто ли по халатности, или из каких—либо неблагоприятных побуждений – пренебрегла своими обязанностями и представила на голосование джентльмена, в котором, как бы ни были чисты его помыслы, слишком мало питательных веществ...

Председатель. Мистер Роджерс, лишаю вас слова. Я не могу допустить, чтобы честность членов комиссии подвергали сомнению. Все недовольства и жалобы прошу подавать на рассмотрение в строгом соответствии с правилами процедуры. Каково мнение присутствующих по этой поправке?

Мистер Холлидэй из штата Виргиния. Вношу еще одну поправку. Предлагаю заменить мистера Мессика мистером Харвеем Дэвисом из штата Орегон. Мне могут возразить, что полная лишений и трудностей жизнь далеких окраин сделала плоть мистера Дэвиса чересчур жесткой. Но, господа, время ли обращать внимание на такие мелочи, как недостаточная мягкость? Время ли придирается к столь ничтожным пустякам? Время ли проявлять чрезмерную разборчивость? Объем – вот что интересует нас прежде всего, объем, вес и масса – теперь это самые высокие достоинства. Что там образование, что талант, даже гений. Я настаиваю на поправке.

Мистер Морган (горячась). Господин председатель, я самым решительным образом протестую против последней поправки. Джентльмен из Орегона уже весьма не молод. Объем его велик, не спорю, но это все кости, отнюдь не мясо. Быть может, господину из Виргинии будет довольно бульона, я лично предпочитаю более плотную пищу. Уж не издевается ли он над нами он что – хочет накормить нас тенью? Не смеется ли он над нашими страданиями, подсовывая нам этого орегонского призрака? Я спрашиваю его, как можно смотреть на эти умоляющие лица, в эти полные скорби глаза, как можно слышать нетерпеливое биение

наших сердец и в то же время навязывать нам этого заморенного голодом обманщика. Я спрашиваю мистера Холлидэя, можно ли, помня о нашем бедственном положении, о наших прошлых страданиях, о нашем беспросветном будущем, – можно ли, я спрашиваю, так упорно всучивать нам эту развалину, эти живые мощи, эту костлявую, скрюченную болезнями обезьяну с негостеприимных берегов Орегона? Нельзя, господа, ни в коем случае нельзя. (Аплодисменты.)

Поправка была поставлена на голосование и после бурных прений отклонена. Что касается первого предложения, оно было принято, и мистера Гарриса внесли в список кандидатов. Началось голосование. Пять раз голосовали без всякого результата, на шестой выбрали Гарриса: «за» голосовали все; «против» был только сам мистер Гаррис. Предложили проголосовать еще раз: хотелось избрать первого кандидата единогласно, – это, однако, не удалось, ибо и на сей раз Гаррис голосовал против.

Мистер Радвей предложил перейти к обсуждению следующих кандидатов и выбрать кого—нибудь на завтрак. Предложение приняли.

Стали голосовать. Мнения присутствующих разделились – половина поддерживала кандидатуру мистера Фергюссона по причине его юных лет, другая настаивала на избрании мистера Мессика, как более крупного по объему. Президент высказался в пользу последнего, голос его был решающим. Такой оборот дела вызвал серьезное неудовольствие в лагере сторонников потерпевшего поражение Фергюссона, был поднят вопрос о новом голосовании, но кто—то вовремя предложил закрыть вечернее заседание, и все быстро разошлись.

Подготовка к ужину завладела вниманием фергюссоновской фракции, и они позабыли до поры до времени свои огорчения. Когда же они снова принялись было сетовать на допущенную по отношению к ним несправедливость, подоспела счастливая весть, что мистер Гаррис подан, и все их обиды как рукой сняло.

В качестве столов мы использовали спинки сидений; с сердцами, исполненными благодарности, рассаживались мы за ужин, великолепие которого превзошло все созданное нашей фантазией за семь дней голодной пытки. Как изменились мы за эти несколько коротких часов! Еще в полдень – тупая, безысходная скорбь; голод, лихорадочное отчаяние; а сейчас – какая сладкая истома на лицах, в глазах признательность, – блаженство такое полное, что нет слов его описать. Да, то были самые счастливые минуты в моей богатой событиями жизни. Снаружи выла вьюга, ветер швырял снег о стены нашей тюрьмы. Но теперь ни снег, ни вьюга были нам не страшны. Мне понравился Гаррис. Вероятно, его можно было приготовить лучше, но, уверяю вас, ни один человек не пришелся мне до такой степени по вкусу, ни один не возбудил во мне столь приятных чувств. Мессик был тоже недурен, правда с некоторым привкусом. Но Гаррис... я безусловно отдаю ему предпочтение за высокую питательность и какое—то особенно нежное мясо. У Мессика были свои достоинства, не хочу и не буду их отрицать, но, сказать откровенно, он подходил для завтрака не больше, чем мумия. Мясо жесткое, нежирное; такое жесткое, что не разжуешь! Вы и представить себе это не можете, вы просто никогда ничего подобного не ели.

– Простите, вы хотели сказать...

– Сделайте одолжение, не перебивайте. На ужин мы выбрали джентльмена из Детройта, по имени Уокер.

Он был превосходен. Я даже написал об этом впоследствии его жене. Выше всяких похвал. Еще и сейчас, как вспомню, слюнки текут. Разве что самую малость непрожаренный, а так очень, очень хорош. На следующий день к завтраку был. Морган из Алабамы.

Прекрасной души человек, ни разу не приходилось отведывать подобного: красавец собой, образован, отменные манеры, знал несколько иностранных языков, – словом, истинный джентльмен. Да, да, истинный джентльмен, и притом необыкновенно сочный. На ужин подали того самого древнего старца из Орегона. Вот уж кто и впрямь оказался негодным обманщиком – старый, тощий, жесткий, как мочала, трудно даже поверить. Я не выдержал:

– Джентльмены, – сказал я, – вы как хотите, а я подожду следующего.

Ко мне тут же присоединился Граймс из Иллинойса:

– Господа, – сказал он, – я тоже подожду. Когда выберут человека, имеющего хоть какое—нибудь основание быть избранным, буду рад снова присоединиться к вам.

Скоро всем стало ясно, что Дэвис из Орегона никуда не годится, и, чтобы поддержать доброе расположение духа, воцарившееся в нашей компании после съедения Гарриса, были объявлены новые выборы, и нашим избранником на этот раз оказался Бейкер из Джорджии. То—то мы полакомились! Ну, а дальше мы съели одного за другим Дулиттла, Хокинса, Макэлроя (тут были неудовольствия – слишком мал и худ), потом Пенрода, двух Смитов, Бейли (у Бейли одна нога оказалась деревянной, что, конечно, было весьма некстати, но в остальном он был неплох), потом съели юношу—индейца, потом шарманщика и одного джентльмена по имени Бакминстер – прескучнейший был господин, без всяких достоинств, к тому же весьма посредственного вкуса, хорошо, что его успели съесть до того, как пришла помощь.

– Ах, так, значит, помощь пришлась – Ну да, пришла – в одно прекрасное солнечное утро, сразу же после голосования. В тот день выбор пал на Джона Мэрфи, и, клянусь, нельзя было выбрать лучше. Но Джон Мэрфи вернулся домой вместе с нами цел и невредим, в поезде, что пришел на выручку.

А вернувшись, женился на вдове мистера Гарриса...

– Гарриса?!

– Ну да, того самого Гарриса, что был первым нашим избранником. И представьте – счастлив, разбогател, всеми уважаем! Ах, до того романтично, прямо как в книгах пишут. А вот и моя остановка. Желаю вам счастливого пути. Если выберете время, приезжайте ко мне на денек—другой, буду счастлив вас видеть. Вы мне понравились, сэр. Меня прямо—таки влечет к вам. Я полюбил вас, поверьте, не меньше Гарриса. Всего вам хорошего, сэр. Приятного путешествия.

Он ушел. Я был потрясен, расстроен, смущен, как никогда в жизни. И вместе с тем в глубине души я испытывал облегчение, что этого человека нет больше рядом со мной. Несмотря на его мягкость и обходительность, меня всякий раз мороз продирает по коже, как только он устремляет на меня свой алчный взгляд, а когда я услышал, что пришелся ему по вкусу и что в его глазах я ничуть не хуже бедняги Гарриса – мир праху его, – меня буквально обьял ужас.

Я был в полном смятении. Я поверил каждому его слову. Я просто не мог сомневаться в подлинности этой истории, рассказанной с такой неподдельной искренностью; но ее страшные подробности ошеломили меня, и я никак не мог привести в порядок свои расстроенные мысли. Тут я заметил, что кондуктор смотрит на меня, и я спросил его:

– Кто этот человек?

– Когда—то он был членом конгресса, и притом всеми уважаемым. Но однажды поезд, в котором он куда—то ехал, попал в снежный занос, и он чуть не умер от голода. Он так изголодался, перемерз и обморозился, что заболел и месяца два—три был не в своем уме. Сейчас он ничего, здоров, только есть у него одна навязчивая идея: стоит ему коснуться своей любимой темы, он будет говорить, пока не съест всю компанию.

Он бы и сейчас никого не пощадил, да остановка помешала. И все имена помнит назубок, никогда не собьется. Расправившись с последним, он обычно заканчивает свою речь так: «Подшло время выбирать очередного кандидата на завтрак; ввиду отсутствия других предложений на сей раз был избран я, после чего я выступил с самоотводом, – возражений, естественно, не последовало, просьба моя была удовлетворена. И вот я здесь, перед вами».

Как легко мне снова дышалось! Значит, все рассказанное – это всего—навсего безобидные бредни несчастного помешанного, а не подлинное приключение кровожадного людоеда.

ЧЕРНОКОЖИЙ СЛУГА ГЕНЕРАЛА ВАШИНГТОНА

(биографический очерк)

Необычайная жизнь этого знаменитого негра началась, собственно говоря, с его смертью, — иными словами, самые волнующие события его биографии произошли после того, как он умер в первый раз. До этого он был почти неизвестен, но потом мы уже не переставали слышать о нем; мы слышали о нем снова и снова. Он сделал удивительнейшую карьеру, и я решил, что ее история послужит ценным вкладом в нашу биографическую литературу. Вот почему я тщательно сопоставил материалы, взятые из достоверных источников, и предлагаю их вниманию публики. Все сомнительное я безжалостно исключил, так как собираюсь передать эту работу в школы нашей страны как учебное пособие для молодежи.

Прославленного слугу генерала Вашингтона звали Джордж. Полвека он верой и правдой служил своему великому господину, все это время пользовался его особым расположением и доверием и наконец исполнил печальный долг, опустив своего возлюбленного господина в тихую могилу на берегу Потомака. Десять лет спустя — в 1809 году, обремененный годами и наградами, он умер и сам, оплакиваемый всеми, кто его знал. Бостонская "Газета" сообщила об этом так:

"В четверг в Ричмонде, штат Вирджиния, в почтенном возрасте 95 лет умер любимый слуга покойного Вашингтона — Джордж. До последней минуты он находился в здравом уме и твердой памяти. В свое время он присутствовал при вторичном вступлении Вашингтона на пост президента, а также на его похоронах и отчетливо, до мелочей помнил эти знаменательные события".

С тех пор о любимом слуге генерала Вашингтона не было слышно до мая 1825 года, когда он умер снова. Филадельфийская газета рассказала об этом печальном происшествии так:

"В Мейконе, штат Джорджия, на прошлой неделе умер в завидном возрасте 95 лет любимый слуга генерала Вашингтона, негр Джордж. До конца своей жизни он сохранял ясность мысли и отчетливо помнил вторичное избрание Вашингтона, его смерть и похороны, поражение Корнваллиса, битву при Трентоне, невзгоды и лишения в Вэлли—Фордэд и т. д. Покойного провожало на кладбище все население Мойкона".

В 1830, а затем в 1834 и 1836 годы имя героя этого очерка звучало в торжественных выступлениях ораторов по случаю празднования Четвертого июля, а в ноябре 1840 года он умер снова. Сент—Луисская "Републикен" 25 числа этого месяца сообщала:

"ЕЩЕ ОДНОГО ВЕТЕРАНА РЕВОЛЮЦИИ НЕ СТАЛО

Вчера, в нашем городе, в доме м—ра Джона Левенворта, в преклонном возрасте 95 лет, умер Джордж, некогда любимый слуга генерала Вашингтона. Он сохранял ясность мысли вплоть до смертного часа и мог отчетливо вспомнить первое и второе избрание, а также смерть президента Вашингтона, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне и Монмауте, невзгоды армии патриотов в Вэлли—Фордж, провозглашение Декларации независимости, речь Патрика Генри в палате депутатов Виргинии и другие волнующие события далекого прошлого. Не многих белых провожают в последний путь с такой скорбью, как этого престарелого негра. Ему были устроены пышные похороны".

В следующие десять — одиннадцать лет героя этого очерка неоднократно прославляли на торжествах Четвертого июля в различных частях страны, и о нем лестно отзывались ораторы. Но в 1855 году он умер снова. Калифорнийские газеты писали об этом так:

"ЕЩЕ ОДНОГО СТАРОГО ГЕРОЯ НЕ СТАЛО

7 марта в Датч—Флэт, на 95—м году жизни, умер Джордж, некогда доверенный слуга генерала Вашингтона. В сокровищнице его памяти, которая не изменяла ему до последнего часа, хранилось множество интереснейших событий. Он отчетливо помнил первое и второе

избрание и смерть президента Вашингтона, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне, Монмауте и Банкер—Хилле, провозглашение Декларации независимости и разгром Брэддока. Джордж пользовался в Датч—Флэт большим уважением, и по приблизительным подсчетам на его похоронах присутствовало около десяти тысяч человек".

Последний раз герой этого очерка умер в июне 1864 года; и пока не поступят новые сведения, можно полагать, что теперь уже навсегда. Мичиганские газеты так отметили это печальное событие:

"ЕЩЕ ОДНОГО НЕЗАБВЕННОГО ВЕТЕРАНА РЕВОЛЮЦИИ НЕ СТАЛО

На прошлой неделе в Детройте умер 95—летний патриарх, некогда любимый слуга генерала Вашингтона — негр Джордж. До самой кончины он сохранял ясный ум и мог четко припомнить первое и второе избрание Вашингтона президентом и его смерть, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне, Монмауте и Банкер—Хилло, провозглашение Декларации независимости, разгром Брэддока, "Бостонское чаепитие" и высадку английских колонистов. Он пользовался большим уважением, и его похороны вызвали огромное стечение народа".

Не стало старого верного слуги! Нам уж не увидать его больше, пока он не воскреснет снова. На этот раз его долгая блестящая посмертная карьера закончилась, и он мирно спит, как спят только те, кто заслужил свой отдых. Это была личность во всех отношениях замечательная. История не знает другого примера, когда бы знаменитый человек так легко нес бремя своих лет; и чем дольше он жил, тем острее и лучше становилась его память. Если б он ожил, чтобы снова умереть, то отчетливо вспоминал бы открытие Америки.

Полагаю, что представленная здесь краткая биография Джорджа в основном правильна, хотя возможно, что он два раза умирал в уединенных местах, где это событие ускользнуло от внимания газет. Одну только ошибку я обнаружил во всех заметках о его смерти, и ее необходимо исправить. В них он постоянно и неизменно умирает 95 лет от роду. Это исключено. В таком возрасте можно умереть раз, в лучшем случае два, но не до бесконечности. Если впервые он и скончался 95 лет, то в 1864 году, когда он умер в последний раз, ему уже было 151. Но и этот возраст не соответствует воспоминаниям Джорджа. Перед последней смертью он отчетливо помнил высадку колонистов, которая произошла в 1620 году. Ему могло быть около двадцати, когда он стал свидетелем этого события, следовательно можно считать, что к тому времени, когда слуга генерала Вашингтона навсегда ушел из жизни, ему было примерно лет двести шестьдесят — двести семьдесят.

Выждав достаточное время, дабы убедиться, что герой этого очерка покинул нас окончательно и бесповоротно, я теперь смело публикую его биографию и почтительно предлагаю ее безутешной нации.

P. S. Я только что узнал из газет, что этот бесчестный старый мошенник умер снова в Арканзасе. Таким образом, он умирает уже шестой раз, и опять в новом месте. Смерть слуги генерала Вашингтона теперь уже не новость, ее очарование исчезло; мы сыты ею по горло, с нас хватит. Этот исполненный благих намерений, но стоящий на ложном пути негр заставил население шести городов устроить ему пышные похороны и надул десятки тысяч людей, которые провожали его на кладбище в полной уверенности, что эта исключительная честь выпала только на их долю. Похороним же его теперь навсегда и сурово осудим газету, которая когда—либо в будущем сообщит миру, что этот негр, любимый слуга генерала Вашингтона, умер снова.

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Мне хочется рассказать здесь не только о привычках этих необычных созданий, но и о некоторых любопытных подробностях самого различного свойства, имеющих к ним

отношение, но никогда не проникавших в печать, будучи достоянием исключительно их частной жизни. Зная близнецов лично, я считаю, что на редкость хорошо подготовился к задаче, которую перед собой поставил.

Природа одарила сиамских близнецов нежными и любящими сердцами, и удивительная преданность связывала их в течение всей долгой и богатой событиями жизни. Даже детьми они были неразлучны; замечено, что они всегда предпочитали общество друг друга любому другому. Почти постоянно они играли вместе, и мать их так привыкла к этой особенности, что, если им случалось куда—нибудь запропасться, она обычно искала только одного из них, уверенная, что тут же рядом окажется и брат. А ведь эти создания были невежественны и неграмотны — сами варвары и потомки варваров, не ведавших света науки и философии. Разве это не убийственный упрек нашей хваленной цивилизации с ее ссорами, разногласиями и враждой между братьями?

Как и все люди, близнецы не всегда пребывали в совершенном согласии, но узы, связывающие их, не позволяли братьям разойтись и поселиться порознь. Они и жили—то под одной крышей, и все считали, что с самого рождения они не провели врозь ни одной ночи. Как неизбежно привычки целой жизни становятся нашей второй натурой! Близнецы всегда ложатся спать в одно время, но Чанг обычно просыпается часом раньше брата. С обоюдного согласия Чанг занимается домашней работой, а Энг бегаёт по делам. Это оттого, что Энг любит пройтись, Чанг же привык к сидячему образу жизни. Однако Чанг всегда присоединяется к брату. Энг — баптист, а Чанг — католик; тем не менее, чтобы сделать Энгу приятное, он согласился креститься вместе с ним, оговорившись, что это "не в счет". Когда началась война, оба они проявили себя стойкими бойцами и отважно сражались в течение всей великой битвы — Энг на стороне Соединенных Штатов, Чанг на стороне противника. У Семи Дубов оба взяли друг друга в плен, однако установить, кто кого взял, оказалось невозможным, и был созван военно—полевой суд, чтобы решить, кого считать пленным, а кого —победителем. Присяжные долго не могли прийти к единому мнению; наконец решение спорного вопроса свелось к тому, что их обоих признали пленными и вслед за этим обменяли. Как—то раз за нарушение приказа Чанг был приговорен к десяти дням гауптвахты, но Энг, несмотря на все возражения, счел себя обязанным разделить заключение брата, хотя сам он был совершенно ни при чем; и для того, чтобы спасти невиновного от страданий, пришлось освободить из—под стражи обоих, — это ли не заслуженная награда преданности

Однажды братья из—за чего—то поссорились, и Чанг сбил Энга с ног, споткнулся и упал на него, а потом они опять схватились и принялись безжалостно колотить друг друга. Очевидцы вмешались и попробовали разнять их, но тщетно, — и братья беспрепятственно довели бой до конца. Оба вышли из борьбы изрядно помятыми, и их отправили в больницу на одних и тех же носилках.

Их давняя привычка бывать повсюду вдвоем обернулась худшей своей стороной, когда они выросли и стали ухаживать за девушками. Оба влюбились в одну и ту же. Каждый старался назначить ей свидание по секрету от брата, но тот всегда появлялся в самую неподходящую минуту. Постепенно, к своему отчаянию, Энг начал понимать, что девушка оказывает предпочтение Чангу, и с этого дня ему пришлось стать свидетелем их нежного воркования. Но с безграничным великодушием, которое делало ему честь, он покорился своей судьбе и даже поддерживал и ободрял брата, хотя самому ему было очень тяжело. Каждый вечер, с семи до двух ночи, он сидел, невольно вслушиваясь в любовный вздор нежной парочки и в звуки поцелуев, которые они, не скупясь, расточали друг другу, — а ведь за счастье поцеловать хоть раз эту девушку он с удовольствием отдал бы свою правую руку. Но он терпеливо сидел, и ждал, и глазел, и зевал, и потягивался, и томился в ожидании двух часов. А если ночь была лунная, он подолгу гулял с влюбленными, проходя иногда по десять миль, несмотря на то, что его обычно мучил ревматизм. Он был заядлым курильщиком, но и покурить—то ему было нельзя — молодая леди не выносила табачного дыма. Энг от души желал, чтобы они поженились — и делу конец! Однако, хотя Чанг часто

задавал самый главный вопрос, молодая леди никак не могла решиться ответить, — ей мешал Энг. Но как—то раз, пройдя около шестнадцати миль и досидевшись почти до рассвета, Энг заснул — просто от изнурения, и тогда на этот вопрос наконец последовал ответ. Влюбленные поженились. Все, кто был в курсе дела, восхищались благородным деверем. Только и говорили, что о его непоколебимой преданности. Он не отходил от влюбленных на протяжении всего долгого и пылко ухаживания; и когда они наконец поженились, он возложил руки на их головы и произнес с набожностью, которая произвела на всех глубокое впечатление:

"Благословляю вас, дети мои, я никогда не покину вас!" И он сдержал свое слово. Подобная верность так редко встречается в этом бесчувственном мире!

Вскоре он влюбился в сестру своей золовки и женился на ней, и с тех пор они живут все вместе, и днем и ночью, в большой дружбе, которую так приятно и трогательно видеть! Не жестокий ли это упрек нашей хваленной цивилизации?

Близость, связующая братьев, столь велика и прекрасна, что чувства, порывы и душевные волнения одного немедленно передаются другому. Когда нездоров один, нездоров и другой; когда одному больно, другому тоже; стоит одному рассердиться, тотчас вспылит и другой. Мы уже видели, как легко и просто оба влюбились в одну и ту же девушку. Но вот беда: Чанг — ярый противник всякой невоздержанности, Энг — полная ему противоположность, — ибо если все чувства и настроения этих людей так тесно связаны, умственные способности их остались независимыми, каждый мыслит сам по себе. Чанг принадлежит к обществу Добрых Храмовников, он рьяный сторонник всех реформ, укрепляющих трезвенность. Но, к его глубочайшему горю, Энг то и дело напивается, и, понятно, Чанг тоже становится пьян. Это несчастье всегда очень удручало Чанга, так как уничтожало все его старания на благо любимого дела. Когда бы он ни шествовал во главе огромной процессии трезвенников, Энг уже семеня бок о бок с ним, пьяный в стельку; однако пьян он был не более отвратительно и безнадежно, чем его брат, который не выпил ни капли. И оба они начинали гикать, вопить, швырять грязью и кирпичами в Добрых Храмовников и, конечно, разгоняли процессию. Было бы явной несправедливостью взыскивать с Чанга за проступки Энга, а посему Добрые Храмовники примирились с создавшимся прискорбным положением и, погрузившись в печаль, страдали молча. Они беспристрастно рассмотрели дело и признали Чанга невиновным. Призвав обоих братьев, они до отказа напоили Чанга горячей водой с сахаром, а Энга — виски, и через двадцать пять минут уже невозможно было разобрать, кто из них больше пьян. Оба были пьяны вдребезги, и судя по запаху — от горячего пунша. Но так или иначе, моральные принципы Чанга остались непоколебленными, совесть его была чиста, и по справедливости нельзя было не признать, что пьян он не морально, а только физически. Каждый мог засвидетельствовать, что, в сущности, этот человек был совершенно трезв; однако всем его друзьям тем тяжелее было видеть, как он сердечно здоровается с водопроводным насосом или пытается завести часы своим дверным ключом.

В этих грозных предостережениях есть мораль, или, во всяком случае, есть предостережения в этой грозной морали, — или то, или другое. Не все ли равно, что именно. Не пройдем же мимо, примем это к сведению.

Я мог бы рассказать еще больше поучительного об этих своеобразных созданиях природы, но, по—моему, и без того достаточно.

Так как я забыл упомянуть об этом раньше, замечу в заключение, что одному из сиамских близнецов пятьдесят один год, а другому — пятьдесят три.

КОГДА Я СЛУЖИЛ СЕКРЕТАРЕМ

Я уже больше не личный секретарь сенатора. В течение двух месяцев я с

удовольствием занимал это теплое местечко и уверенно глядел в будущее, но, как сказано в писании про хлеб, отпущенный по водам: "по прошествии многих дней опять найдешь его", — так мои творения вернулась ко мне, и все обнаружилось. Я счел за благо подать в отставку. Расскажу, как все это произошло. Однажды мой сенатор вызвал меня в довольно ранний час, и, вписав тайком еще две—три головоломки в его новую гениальную речь по вопросам финансов, я пошел к нему. Вид у сенатора был зловещий: галстук развязан, волосы растрепаны, на лице признаки надвигающейся бури. Сенатор крепко сжимал пачку писем, и я сразу понял, что пришла почта с Тихоокеанского побережья, которой я все время так боялся.

— Я считал вас достойным доверия, — заговорил сенатор.

— Так точно, сэр.

— Я передал вам письмо, — продолжал сенатор, — от нескольких моих избирателей из штата Невада, ходатайствовавших об учреждении почтовой конторы в Болдвин—рэнче. Я велел вам составить ответ половчее, с такими доводами, которые убедили бы этих людей, что почтовая контора им не нужна.

У меня отлегло от сердца. Я сказал:

— И только, сэр? Это я выполнил.

— Выполнили, да? Сейчас я вам прочитаю ваше послание, чтобы вас хорошенько пристыдить!

"ГОСПОДАМ СМИТУ, ДЖОНСУ И ДРУГИМ.

Вашингтон, 24 ноября.

Джентльмены! На кой черт сдалась вам почтовая контора в Болдвин—рэнче? Ведь вам от нее не будет решительно никакой пользы. Если даже вы получите какое—нибудь письмо, вы все равно не сумеете его прочесть; что же касается транзитной почты со вложением денег, то легко догадаться, где будут застревать эти деньги! Все мы тогда не оберемся неприятностей. Нет, бросьте и думать насчет почтовой конторы. Я стою на страже ваших интересов и считаю, что ваша затея — просто чепуха с бантиками. Что вам действительно необходимо — так это удобная тюрьма, удобная, вместительная тюрьма; и еще — бесплатная начальная школа. От них вам и впрямь будет польза. От них вам будет радость и счастье. Соответствующие меры приму незамедлительно.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У.Н."

— Вот что вы ответили моим избирателям! Теперь они грозят меня повесить, если я когда—нибудь осмелюсь появиться в их округе. И можно не сомневаться, что сии свое слово сдержат!

— Да, сэр, но ведь я не знал, что мое письмо принесет вам ущерб. Я только хотел их убедить!

— Убедили, нечего сказать! А вот еще образчик вашего творчества. Я передал вам прошение, подписанное группой лиц из Невады, — они хотели, чтоб я провел через конгресс США закон об учреждении в их штате церковной корпорации методистской епископальной церкви. Я поручил вам ответить, что такими делами, как издание закона об учреждении подобных корпораций, занимаются законодательные органы штата. Я также просил вас попытаться объяснить этим людям, что, ввиду того что религиозные ростки еще слабы в нашем новом штате Невада, едва ли есть вообще необходимость создавать церковную корпорацию. Что же вы им написали?

"ЕГО ПРЕПОДОБИЮ ДЖОНУ ГАЛИФАКСУ И ПРОЧИМ.

Вашингтон, 24 ноября.

Джентльмены!

По поводу затеянной вами спекуляции обратитесь в законодательное собрание штата,

ибо конгресс Соединенных Штатов никакого отношения к религии не имеет. Впрочем, и туда не спешите: вы задумали невыгодное дело, точнее сказать смехотворное дело. Ну чего стоят сторонники религии, от имени которых вы выступаете? Это же сущие недоноски в интеллектуальном, нравственном, религиозном, дай в других отношениях! Бросьте стараться, ничего из этой затеи не выйдет. Ведь корпорация такого типа не имеет права выпускать акции, а дай вам эту возможность, так вы никогда из беды не выпутаетесь! Другие церкви и секты станут поносить вас, играть "на понижение", сбивать цены и разорят вас вконец. Они поступят так же, как принято поступать в ваших краях с серебряными рудниками: прокричат на весь мир, что ваша корпорация "липа". Нет, напрасно вы затеяли дело, прямо рассчитанное на посрамление святой церкви. Постыдились бы! В конце вашего прошения стоят слова: "И мы будем вечно молиться!" Вот это да, это вам действительно полезно.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У.Н."

— Это блестящее послание навеки поссорило меня со всеми моими избирателями, кому дорога религия. Но свою подготовку к политическому самоубийству я на этом не кончил. Черт меня дернул передать вам письмо от старейших членов муниципального управления города Сан—Франциско. Эти уважаемые джентльмены обратились ко мне с просьбой провести через конгресс закон о закреплении за их городом каких—то прибрежных участков. Я сказал вам, что в эту историю вмешиваться опасно. Я велел ответить этим старцам в неопределенном духе, обходя, насколько возможно, вопрос о прибрежных участках. Я вам сейчас читаю, что вы написали, якобы по моему приказу, и если у вас сохранилась хоть капля совести, вас должен наконец пронять стыд!

"ПОЧТЕННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДА САН—ФРАНЦИСКО.

Вашингтон, 37 ноября

Джентльмены!

Джордж Вашингтон, возлюбленный отец американского народа, лежит в могиле. Его долгий славный жизненный путь прервался — увы! — навсегда. Вашингтона почитали в наших краях, и его безвременная кончина повергла в скорбь все население. Джордж Вашингтон скончался 14 декабря 1799 года, тихо покинув мир, где так прославился и столь много совершил, где был любим и оплакан, как никто другой из почивших героев. И в такое время у вас на уме судьба каких—то земельных участков! А судьба бедного Вашингтона вас не волнует?!

Что есть слава? Порождение случая! Сэр Исаак Ньютон открыл, что яблоки падают на землю, — честное слово, такие пустяковые открытия делали до него миллионы людей. Но у Ньютона были влиятельные родители, и они раздули этот банальный случай в чрезвычайное событие, а простаки подхватили их крик. И вот в одно мгновение Ньютон стал знаменит. Советую вам это крепко запомнить.

Поэта сладостная лира приносит много счастья миру!

У девочки Мэри живет барашек, белый и нежный, точно пушок.

Как только Мэри выходит за двери, барашек за ней сразу — скок!

Джек и Джил несли вдвоем Воду из колодца.

Джек скатился кувырком, Джил над ним смеется.

По простоте, изяществу слога, а также полному отсутствию безнравственных тенденций я считаю эти два стихотворения шедеврами. Они годятся для людей самых различных умственных способностей, их можно читать всюду: в поле, в детской, в мастерской ремесленника. И уж разумеется — ни одно муниципальное управление не должно пройти мимо них.

Почтенные ископаемые! Жду от вас дальнейших писем. Ничто так благотворно не влияет на человека, как дружеская переписка. Пишите еще, и если в вашей петиции имелся какой—нибудь смысл, то, не стесняясь, разъясните, в чем дело. Всегда будем рады послушать ваше чириканье.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У.Н."

— Чудовищное, вопиющее послание. Ужас!

— Мне очень жаль, сэ, что оно вам не нравится, но все же... по—моему, я обошел вопрос о прибрежных участках.

— Обошел!.. И еще как! Ну да ладно, все равно я пропал! Коль погибать, так уж совсем погибать! Сейчас я прочту последнее ваше сочинение, в нем моя гибель! Я конченный человек. Я предчувствовал, что не надо поручать вам ответ на письмо из Гумбольдта, в котором меня просили, чтобы часть почтового тракта Индейский овраг — Шекспирово ущелье была перенесена на старую Мормонскую тропу. Но ведь я тогда еще сказал вам, что это очень тонкий вопрос, я предупредил, чтобы вы действовали искусно и осторожно, чтобы выражались несколько туманно и не все договаривали до конца. А вы что сочинили? Куда вас завел ваш безнадежный идиотизм? Если чувство стыда вам не совсем изменило, наверно вам сейчас захочется заткнуть уши!

"ГОСПОДАМ ПЕРКИНСУ, ВАГНЕРУ И ДРУГИМ.

Вашингтон, 30 ноября.

Джентльмены!

Вопрос об Индейском тракте — это очень тонкий вопрос, но если подойти к нему искусно и осторожно, то, я не сомневаюсь, мы чего—нибудь добьемся, потому что место, где дорога сворачивает с Лассенского луга, того самого, где в прошлом году были скальпированы вожди племени шоуни Дряхлый Мститель и Пожиратель Облаков, является излюбленным маршрутом для некоторых людей, в то время как другие, по этой самой причине, предпочитают иной путь: выехать по Мормонской тропе из Мосби в три часа утра, пересечь Равнину Челюсти по направлению к Блюхеру, затем спуститься по Кувшинной Ручке; тогда дорога окажется у них справа и дальше, конечно, пойдет правой стороной, а Доусон будет с левой стороны; а от Доусона к Томагавку дорога пойдет уже влево, таким образом, этот путь дешевле и к нему легче добраться тем, кто в состоянии до него добраться; и, учитывая все положительные стороны, предпочитаемые другими, и тем обеспечивая наибольшее благо для наибольшего числа людей, я имею основания надеяться, что нам это удастся. Тем не менее я и впредь буду с радостью информировать вас время от времени по данному вопросу, если вы пожелаете; при условии, что почтовое ведомство предоставит мне нужные сведения.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У. Н."

— Ну, каково ваше мнение об этом послании?

— Не знаю, сэ, что и сказать. Мне кажется, что это был достаточно туманный ответ.

— Тум... Вон из моего дома! Я погиб, эти дикари из Гумбольдта никогда мне не простят, что я заморочил их таким дурацким письмом. Я потерял уважение епископальной церкви, муниципалитета Сан—Франциско...

— Да, генерал, тут мне нечего сказать. Может быть, я не совсем попал в точку в этих двух случаях, но зато уж ваших корреспондентов из Болдвин—ренча я наверняка обвел вокруг пальца!

— Убирайтесь вон! Чтобы вашей ноги здесь больше не было!

Я принял эти слова как скрытый намек на то, что в моих услугах не нуждаются, и подал в отставку. Я никогда больше не пойду служить личным секретарем сенатора. Разве таким

людям угодишь? Они невежественны и грубы. Они не умеют ценить чужой труд.

ИНТЕРВЬЮ С ДИКАРЕМ

Столько было толков о загадочном «дикаре», появившемся где—то на Западе, что я в конце концов счел своим долгом выехать на место и взять у него интервью. Если верить газетам, в этом существе и его необыкновенных поступках было что—то своеобразное и романтически трогательное. Его изображали волосатым, с длинными руками, сильным и высоким, безобразным и неуклюжим; он старается не попадаться на глаза мужчинам, но внезапно и неожиданно вырастает перед женщинами и детьми; вооружен дубинкой, но никогда и пальцем никого не трогает, не считая лишь овец и тому подобной легкой добычи; не прочь выпить и поесть, но непривередлив: качество, количество и свойства еды и напитков его не занимают; живет в лесу, как дикий зверь, но нравом кроток; стонет, иногда воет, но членораздельных звуков не издает. Таков был Старый Козопас, как его расписывали газеты. Я чувствовал, что история его жизни должна быть печальной—историей страдания, разочарования и изгнания, историей людской бесчеловечности в том или ином ее виде... и я хотел выведать у него его тайну.

— Поскольку, по вашим словам, вы представитель прессы, я намерен рассказать вам все, что вы желаете услышать, — заявил дикарь. — Вскоре вы поймете, почему, так старательно избегая разговоров со всеми прочими людьми, я хочу открыться газетчику. Теперь послушайте мою удивительную историю. Я родился почти одновременно с тем миром, в котором мы живем. Я сын Каина.

Как?

Собственными ушами я слышал извещение о потопе.

Что?

Я отец Вечного Жида.

Сэр!

Я отодвинулся подальше от его дубинки и продолжал записывать, все время с опаской поглядывая на своего собеседника. Он невесело усмехнулся и продолжал:

Когда я озираюсь на мрачную пустыню веков, я вижу множество мерцающих точек, хорошо мне знакомых и памятных. Ах, сколько лье я прошел! сколько всякой всячины видел! сколько событий приобрели громкую известность благодаря моему содействию! Я присутствовал при убийстве Цезаря. Я шел в Мекку вместе с Магометом. Я участвовал в крестовых походах и был подле Готфрида Бульонского, когда он водружал стяг крестоносцев на стенах Иерусалима, я...

Простите, одну минутку. Вы давали эти сведения какому—нибудь другому печатному органу? Могу ли я...

Не перебивайте! Я был на вантах «Пинты» смеете с Колумбом, когда его взору открылась Америка. Я видел, как обезглавили Карла Первого. Я был в Лондоне, когда был раскрыт Пороховой заговор. Я присутствовал на процессе Уоррена Гастингса. Я был на американской земле, когда шла битва при Лексингтоне, когда провозгласили Декларацию, когда сдался Корнваллис, когда умер Вашингтон. Я вступил в Париж вместе с Наполеоном, бежавшим с Эльбы. Я был среди вас, когда вы стали под ружье и снаряжали флот перед войной тысяча восемьсот двенадцатого года, когда южане обстреливали Самтер, когда пал Ричмонд, когда убили президента. Во все века я помогал праздновать триумфы гениев и успехи победителей, ставить мир в известность об опустошениях, произведенных бурями, огнем, чумою, голодом.

— Что и говорить, ваша жизнь богата событиями. Но в таком случае позвольте мне задать вам вопрос: что побудило вас обосноваться в этих скучнейших канзасских лесах,

когда вы так привыкли к тревогам в течение... я бы сказал... столь — будем называть вещи своими именами! — ...столь продолжительного отрезка времени?

— Слушайте. Когда—то я был почтенным слугою благородных и прославленных мужей, — тут он вздохнул и провел волосатой рукой по глазам, — но в нынешние жалкие времена я сделался рабом шарлатанов и газет. Мне не дают ни минуты покоя, гоняют с места на место, иной раз я появляюсь с трафаретом и кистью и пачкаю заборы кабалистическими надписями, иной раз выступаю в уродливой и нелепой роли по требованию какой—нибудь напористой газеты. Несколько недель назад я присутствовал при ограблении Атлантического банка — том самом, помните? — едва переведя дух после невероятной шумихи по случаю завершения строительства Тихоокеанской железной дороги. Сразу вслед за тем меня похитили нью—йоркские газеты и, тиражей своих ради, заставили совершить зверское убийство; потом — свадьба патриархально настроенного миллионера; потом — восторженные крики на большой регате; потом, чуть только у меня зашевелилась надежда, что моим старым костям дадут хоть немного передохнуть, как, пожалуйста, — меня спроваживают в эти унылые дебри, и я должен разгуливать грязный и обросший и нести какую—то неразбериху, всех пугать, валить заборы, подстергать овец, носиться повсюду с дубинкой, — одним словом, разыгрывать «дикаря», и все — чтобы угодить ораве бешеных писак! По всему континенту, из конца в конец, меня изображают гориллой, отдаленно схожей с человеком, и все для того, чтобы угодить этим шелкоперам, этим грязным подошлем!

— Ах вы бедняга, перекаати—поле!

Мне часто случалось исполнять позорную службу в новые и не самые новые времена. Низкие души заставляли меня плести несусветную чушь и вытворять всевозможные мошенничества. Я написал полоумные письма Юниуса, я пятнадцать лет тосковал во французской темнице и носил смехотворную железную маску; я загнал в леса вашего Севера, к бродячим индейцам, напыщенного идиота—француза, в коем воплотился дух усопшего дофина, дабы зеваки и бездельники всего мира могли гадать, есть ли еще «Бурбон среди нас»; я разыгрывал роль морского змея, появившегося у берегов Наханта, дикой лошади и других диковинных экспонатов из кунсткамеры; я брал интервью у политических деятелей для «Сан», выискивал всевозможные чудеса для «Геральд», подводил итоги выборов для «Уорлд» и громогласно вещал со страниц «Трибюн», поучая читателей политической экономии. Я исполнял все причуды, какие только способно измыслить самое разнузданное воображение, и исполнял на совесть, — и вот моя награда: роль дикаря—голоштанника в Канзасе!

О загадочное существо, свет смутно забрезжил передо мною... он все ярче и ярче... назови... назови свое имя!

СЕНСАЦИЯ!

Прочь, страшный призрак!

Дикарь продолжал:

О безжалостный рок, судьба снова спустила на меня своих псов! Я слышу призыв. Я иду. Увы, ужели не будет мне покоя?!

В один миг черты лица дикаря смягчились и утончились, весь его облик приобрел человеческое благообразие и соразмерность. Дубинка превратилась в лопату, он вскинул ее на плечо и зашагал прочь, глубоко вздыхая и проливая слезы.

Куда, злополучная тень?

Вскрывать фамильный склеп Байронов.

Таков был ответ, который принес мне ветер, меж тем как печальный дух встряхнул кудрями, вскинул лопату повыше и исчез за крутым склоном холма.

Подтверждаю, что все вышеописанное находится в строгом соответствии с подлинными фактами.

М. Т.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СТАРИК

Джон Вагнер — старейший житель Буффало, ста четырех лет от роду, — недавно прошел пешком полторы мили за две недели.

Он молодец и весельчак, ни в чем не уступает тем старичкам, о которых так упрямо и назойливо твердят все газеты.

Прошлым ноябрем он в проливной дождь прошел пять кварталов без плаща, под одним только зонтиком и проголосовал за Гранта, причем заявил, что голосует уже за сорок восьмого президента, — но это, конечно, враки.

Копна густых каштановых волос "второго укуса" прибыла для него вчера из Нью—Йорка, а новенькие зубы находятся в пути из Филадельфии.

Через неделю он женится на девице ста двух лет, которая все еще берет на дом стирку.

Они восемьдесят лет как помолвлены, но их родители упорно противились и дали согласие только три дня тому назад.

Джон Вагнер на два года старше ветерана Род—Айленда и отродясь не брал в рот ни капли спиртного, если... если только не считать виски.

НИАГАРА

Ниагарский водопад — приятнейший уголок для отдыха. Гостиницы там отличные, а цены вовсе не такие уж баснословные. Для рыболовов во всей стране нет лучшего места, и даже равного не сыскать. А все потому, что в других водоемах обычно где хуже клюет, где лучше; здесь же всюду одинаково хорошо по той простой причине, что не клюет нигде; а значит, незачем ходить за пять миль в поисках подходящего местечка, — можно с таким же успехом закинуть удочку у самого дома. О преимуществах такого положения вещей до сих пор почему—то еще никто не додумался.

Летом здесь всегда прохладно. Прогулки все приятные и ничуть не утомительные. Когда вы отправляетесь осматривать водопад, вам нужно сначала спуститься на милю вниз и уплатить некоторую сумму за право взглянуть с обрыва на самую узкую часть реки Ниагары. Железнодорожный туннель в горе был бы, пожалуй, так же приятен для глаза, если бы на дне его с ревом пенилась и клекотала эта рассвирепевшая река. Затем можно спуститься по лестнице еще на полтора фута вниз и постоять у самой воды. Потом вы, правда, сами станете удивляться, зачем вам это понадобилось, но будет уже поздно.

Проводник небрежно расскажет, заставляя вас холодеть от ужаса, как на его глазах пароходик "Дева тумана" летел вниз с головокружительной высоты, как бушующие волны поглотили сперва одно гребное колесо, потом другое, — и покажет, в каком месте свалилась за борт дымовая труба, и где начала трещать и отваливаться обшивка, и как "Дева тумана" все—таки выбралась, совершив невозможное: она промчалась то ли семнадцать миль за шесть минут, то ли шесть миль за семнадцать минут—уж, право, не помню. Так или иначе, случай был поистине удивительный. Стоило заплатить деньги, чтобы послушать, как проводник рассказывает эту историю девять раз подряд девяти различным экскурсиям, ни разу не сбившись, не пропустив ни словечка, не изменив ни фразы, ни жеста.

Потом вы едете по висячему мосту и не знаете, чего вам больше бояться: того ли, что вы рухнете с высоты в двести футов в реку, или того, что на вас рухнет проходящий над вами поезд. Любая из этих перспектив достаточно неприятна сама по себе; вместе же они вконец портят вам настроение.

На канадском берегу вы попадаете в живое ущелье, образованное двумя рядами фотографов, которые стоят со своими аппаратами в полной боевой готовности, выжидая

подходящей минуты, чтобы увековечить вашу особу вместе с ветхой колымагой, влекомой унылым четвероногим скелетом, обтянутым шкурой, — вам предлагается считать его лошадью, — и все это на фоне величественной Ниагары, небрежно отодвинутой на задний план; и ведь у многих хватает наглости поощрять подобную преступную деятельность, — впрочем, быть может, ум их от природы столь извращен?

Вы всегда увидите у этих фотографов внушительное изображение папы, мамы, Джонни, Боба и их сестренки или четы провинциальных родичей; на всех лицах застыла бессмысленная улыбка, все сидят в экипажах в самых неудобных и вычурных позах, и все они в своем ошеломляющем тупоумии вылезают на первый план, заслоняя и оскорбляя самим видом своим великое чудо природы, чьи покорные слуги — радуги, чей голос — гром небесный, чей устрашающий лик скрывается в облаках. Сей грозный владыка царил здесь в давно минувшие, незапамятные времена, задолго до того, как горстке жалких пресмыкающихся дано было на краткий миг заполнить пробел в нескончаемом ряду неизвестных тварей земных, и будет царить века и века после того, как эти жалкие пресмыкающиеся станут пищей столь родственных им могильных червей и обратятся в прах.

В сущности, нет ничего дурного в том, чтобы на фоне Ниагары выставить на всеобщее обозрение свое ярко освещенное великолепное ничтожество. Но все же для этого нужно сверхчеловеческое самодовольство.

После того как вы досыта нагляделись на огромный водопад Подкову, вы по новому висячему мосту возвращаетесь в Соединенные Штаты Америки и идете вдоль берега к тому месту, где выставлена для вашего обозрения Пещера Ветров.

Здесь я поступил точно по инструкции: снял с себя всю одежду и напялил непромокаемую куртку и комбинезон. Одевание это довольно живописное, но отнюдь не отличается красотой. Проводник, в таком же наряде, повел меня вниз по винтовой лестнице, которая очень скоро потеряла для меня прелесть новизны, но все еще вилась и вилась — и вдруг кончилась задолго до того, как спуск по ней начал доставлять удовольствие. К тому времени мы были уже глубоко под землей, но все еще довольно высоко над уровнем реки.

Потом мы стали пробираться по шатким, в одну дощечку, мосткам. Нас отделяли от бездны только жиденькие деревянные перильца, и я цеплялся за них обеими руками, — не подумайте, что от страха, просто мне так нравилось. Постепенно спуск становился все круче, а мостик все ненадежнее; брызги водопада обдавали нас все чаще, все гуще — скоро под этим ливнем уже ничего невозможно было разглядеть, и двигаться теперь приходилось ощупью. Вдобавок из—за водопада подул яростный ветер, словно он решил во что бы то ни стало сдуть нас с моста, швырнуть на скалы или сбросить в бурные воды реки Ниагары. Я робко заметил, что де прочь бы вернуться домой, но было уже поздно, Мы оказались почти у подножья гигантской водяной стены, с таким грохотом низвергавшейся с высоты, что человеческий голос совсем терялся в ее безжалостном реве.

Вдруг проводник исчез за водяной завесой, и я двинулся за ним, оглушенный грохотом, гонимый ветром и весь исколотый вихрем колючих брызг. Меня обступила тьма. Никогда в жизни не слышал я такого завывания и рева разбушевавшихся стихий, такой яростной схватки ветра с водой. Я наклонил голову, и мне показалось, что сверху на меня обрушился целый Атлантический океан. Казалось, настал конец света. Я не видел ничего вокруг себя за яростными потоками воды. Задохнувшись, я поднял голову, и добрая воловина американской части водопада влилась мне в глотку. Если бы в эту минуту во мне открылась течь, я бы погиб. И тут я обнаружил, что мост кончился и теперь нам предстоит карабкаться по обрывистый скользким скалам. В жизни своей я так не трусил, но все обошлось. В конце концов мы все же выбрались на свет божий, на открытое место, где можно было остановиться: и смотреть на пенную громаду бурлящих, низвергающихся вод. Когда я увидел, как много тут воды и как мало она склонна к шуткам, я от души пожалел, что отважился пройти между потоком и скалой,

Благородный краснокожий всегда был моим нежно—любимым другом. Я очень люблю читать рассказы, легенды и повести о нем. Я люблю читать о его необычайной

прозорливости, его пристрастии к дикой вольной жизни в горах и лесах, благородстве его души и величественной манере выражать свои мысли главным образом метафорами, и, конечно, о рыцарской любви к смуглолицей деве, и о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. Особенно о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. Когда я увидел, что в лавчонках у водопада полным—полно индейских вышивок бисером, ошеломляющих мокасинов и столь же ошеломляющих игрушечных человечков, у которых ноги как пирожки, а в руках и туловище проверчены дырки — как бы они могли иначе удержать лук и стрелы? — я ужасно обрадовался. Теперь я знал, что наконец воочию увижу благородного краснокожего.

И в самом деле, девушка—продавщица в одной из лавчонок сказала мне, что все эти разнообразные сувениры сделаны руками индейцев и что индейцев здесь очень много, настроены они дружелюбно и разговаривать с ними совершенно безопасно. И верно, неподалеку от моста, ведущего на Остров Луны, я столкнулся нос к носу с благородным сыном лесов. Он сидел под деревом и усердно мастерил дамскую сумочку из бисера. На нем была шляпа со спущенными полями и грубые башмаки, а в зубах торчала короткая черная трубка. Вот оно, пагубное влияние нашей изнеженной цивилизации на живописное великолепие, присущее индейцу, пока он не изменил своим родным пенатам. Я обратился к этой живой реликвии со следующей речью:

— Счастлив ли ты, о Ух—Бум—Бум из племени Хлоп—Хлоп? Вздыхает ли Великий Пятнистый Гром по тропе войны, или душа его полна мечтами о смуглолицей деве Гордости Лесов? Жаждет ли могучий Сахем напиться крови врагов, или он довольствуется изготовлением сумочек из бисера для дочерей бледнолицых? Говори же, гордая реликвия давно минувшего величия, достопочтенная развалина, говори!

И развалина сказала:

— Как, это меня, Дениса Хулигена, ты принимаешь за грязного индейца? Ты гнусавый, зубастый, тонконогий дьявол! Клянусь лысиной пророка Моисея, я тебя сейчас съем.

И я ушел.

Немного погодя где—то возле Черепеховой Башни я увидел нежную туземную деву в мокасилах из оленьей кожи, отороченных бисером и бахромой, и в гетрах. Она сидела на скамье среди всяких занятных безделушек. Дева только что кончила вырезать из дерева вождя племени, больше напоминавшего прищепку для белья, и теперь буравила в его животе дырку, чтобы вставить туда лук со стрелами. Помявшись минуту, я спросил:

— Не тяжело ли на душе у Лесной Девы? Не одинока ли Смеющаяся Ящерица? Плаксива ли она угасшие костры совета вождей ее племени и былую славу ее предков, или же ее печальный дух витает в далеких дебрях, куда отправился на охоту Индюк, мечущий молнии, ее храбрый возлюбленный? Почему дочь моя безмолвна? Или она имеет что—либо против бледнолицего незнакомца? И дева сказала:

— Ах, чтоб тебя! Это меня, Бидди Мейлоун, ты обзываешь всякими словами? Убирайся вон, а не то я спихну твой тощий скелет в воду, негодяй паршивый! Я удалился и от нее.

"Пропади они пропадом, эти индейцы, — сказал я себе.—Говорят, они совсем ручные, но, если глаза меня не обманывают, похоже, что все они вступили на тропу войны".

Все же я сделал еще одну попытку побрататься с ними, одну—единственную. Я набрел на целый лагерь индейцев; под сенью огромного дерева они шили мокасины и нанизывали ожерелья из раковин. И я обратился к ним на языке дружбы:

— Благородные краснокожие! Храбрецы! Великие Сахемы, воины! Жены и высокие Безумцы из племени одержимых! Бледнолицый из страды заходящего солнца приветствует вас. Ты, благородный Хорек, ты, Пожиратель Гор, ты, Грохочущий Гром, ты, Дерзкий Стекланный Глаз! Бледнолицый, пришедший из—за Большой воды, приветствует всех вас. Ваши ряды поредели, болезни и войны сгубили ваш некогда гордый народ. Покер и "семерка" и пустая трата денег на мыло — роскошь, неведомая вашим славным предкам, — истощили ваши кошельки. Присваивая чужую собственность — только до простоте душевной! — вы без конца обрекаете себя на неприятности. Все путая и перевирая — и все

по чистой наивности! — вы уронили себя в глазах бессердечных завоевателей. Ради того чтобы купить крепкого виски, напиться, почувствовать себя счастливым и перебить томагавком всю семью, вы приносите в жертву живописное величие своей одежды. И вот вы стоите передо мною в ярком свете девятнадцатого века, точно жалкое отребье, подонки нью-йоркских трущоб. Стыдитесь! вспомните своих предков! Вы забыли их славные дела? вспомните Ункаса, и Красную Куртку, и Пещеру Дня, и Тилибум—бум! Ужели вы хуже их? Станьте под мои знамена, благородные дикари, прославленные бродяги!

— Долой его! Гоните негодяя! Сжечь его! Повесить его! Утопить его!

Все произошло в одно мгновение. В воздухе мелькнули дубинки, кулаки, обломки кирпичей, корзинки с бисером, мокасины. Миг — и все это обрушилось на меня со всех сторон. В следующую минуту все племя кинулось на меня. Они сорвали с меня чуть ли не всю одежду, переломали мне руки и ноги, так стукнули меня по голове, что череп на макушке прогнулся и в ямку можно было налить кофе, как в блюдце. Но одних побоев им показалось мало, им понадобилось еще и оскорбить меня. Они швырнули меня в Ниагару, и я промок.

Пролетел я вниз футов девяносто, а то и все сто, и тут остатки моего жилета зацепились за выступ скалы, и, пытаясь освободиться, я чуть не захлебнулся. Наконец я вырвался, упал и погрузился в буйство белой пены у подножья водопада, что пузырилась и кипела, вздымаясь на несколько дюймов у меня над головой. Разумеется, я попал в водоворот и завертелся в нем. Сорок четыре круга сделал я, гонясь за какой-то щепкой, которую в конце концов обогнал, — причем за один круг проделывал полмили; сорок четыре раза меня пронесло мимо одного и того же куста на берегу, снова и снова я тянулся к нему и каждый раз не мог дотянуться всего лишь на волосок.

Наконец к воде спустился какой-то человек, уселся рядом с моим кустом, сунул в рот трубку, чиркнул спичкой и заслонил огонь ладонью от ветра, поглядывая одним глазом на меня, другим — на спичку. Вскоре порыв ветра задул ее. Когда я в следующий раз пронесся мимо, он спросил:

— Спички есть?

— Да, в другом жилете. Помогите, пожалуйста, выбратья.

— Черта с два!

Снова поравнявшись с ним, я сказал:

— Простите навязчивое любопытство тонущего человека, но не можете ли вы объяснить мне ваше несколько необычное поведение?

— С удовольствием. Я следователь, мое дело — мертвые тела. Можете не торопиться ради меня. Я вас подожду. Но вот спичку бы мне!

— Давайте поменяемся местами, — предложил я. — Тогда я принесу вам спичку.

Он отказался. Такое недоверие с его стороны привело к некоторой холодности между нами, и с этой минуты я старался его избегать. Я даже решил про себя, что если со мной что-нибудь случится, то я рассчитаю время происшествия так, чтобы меня обслужил следователь по мертвым телам на противоположном, американском берегу.

В конце концов появился полицейский и арестовал меня за нарушение тишины, так как я громко взывал о помощи. Судья оштрафовал меня. Но тут я выгадал: все мои деньги были в брюках, а брюки остались у индейцев.

Таким образом я спасся. Сейчас я лежу в очень тяжелом состоянии. Собственно говоря, тяжелое оно или нет, я все равно лежу. Я весь избит и изранен, но пока не могу сказать точно, где и как, потому что доктор еще не закончил опись остатков. Сегодня вечером он подведет итоги. Впрочем, пока он считает смертельными только шестнадцать из моих ран. Ну а остальные меня мало занимают.

Очнувшись, я опросил:

— Эти индейцы, что делают на Ниагаре мокасины и всякую всячину из бисера, это ужасное, дикое племя — откуда оно взялось, доктор?

— Из Ирландии, дорогой мой.

ЖУРНАЛИСТИКА В ТЕННЕССИ

Редактор мемфисской «Лавины» деликатно намекнул корреспонденту, который посмел назвать его радикалом: «Выводя первое слово, ставя запятую и закругляя период, он уже отлично знал, что стряпает фразу, насквозь пропитанную подлостью и пахнущую ложью».

«Биржа»

Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое здоровье, поэтому я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора в газету «Утренняя Заря и Боевой Клич округа Джонсон». Когда я пришел в редакцию, ответственный редактор сидел, раскачиваясь на трехногом стуле и задрал ноги на сосновый стол. В комнате стоял еще один сосновый стол и еще один колченогий стул, заваленные ворохами газет, бумаг и рукописей. Имелся, кроме того, деревянный ящик с песком, усеянный сигарными и папиросными окурками, и чугунная печка с дверцей, едва державшейся на одной верхней петле. Редактор был одет в длиннополый сюртук черного сукна и белые полотняные штаны. Сапоги на нем были модные, начищенные до блеска. Он носил манишку, большой перстень с печаткой, высокий старомодный воротничок и клетчатый шелковый шейный платок с концами навывпуск. Его костюм относился приблизительно к 1848 году. Он курил сигару и в поисках нужного слова часто запускал руку в волосы, так что порядком взлохматил свою шевелюру. Он грозно хмурился, и я решил, что он, должно быть, стряпает особенно забористую передовицу. Он велел мне взять обменные экземпляры газет, просмотреть их и, выбрав оттуда все достойное внимания, написать обзор «Дух теннессийской печати».

Вот что получилось у меня:

ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Редакцию «Еженедельного Землетрясения», по—видимому, ввели в заблуждение относительно Баллигэкской железнодорожной компании. Компания, отнюдь не ставит себе целью обойти Баззардвилл стороной. Наоборот, она считает его одним из самых важных пунктов на линии и, следовательно, не намерена оставлять этот город в стороне. Мы не сомневаемся, что джентльмены из «Землетрясения» охотно исправят свою ошибку.

Джон У. Блоссом, эсквайр, талантливый редактор хиггин—свиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы» прибыл вчера в наш город. Он остановился у Ван—Бюрена.

Мы имели случай заметить, что наш коллега из «Утреннего Воя» ошибся, предполагая, что Ван—Вертер не был избран, но он, без сомнения, обнаружит свой промах гораздо раньше, чем наше напоминание попадет ему на глаза. Вероятно, его ввели в заблуждение неполные отчеты о выборах.

Мы с удовольствием отмечаем, что город Блезерсвилл, по—видимому, намерен заключить контракт с джентльменами из Нью—Йорка и вымостить почти непроходимые улицы своего города. «Ежедневное Ура» весьма энергично поддерживает это начинание и, по—видимому, верит, что оно увенчается успехом.

Я передал мою рукопись редактору для одобрения, переделки или уничтожения. Он взглянул на нее и нахмурился. Бегло просмотрев ее, он стал мрачен, как туча. Нетрудно было

заметить, что здесь что—то неладно. Он вскочил с места и сказал:

– Гром и молния! Неужели вы думаете, что я так разговариваю с этими скотами? Неужели вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? Дайте мне перо!

Я еще не видывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу и чтобы оно так безжалостно бороздило чужие глаголы и прилагательные. Он не добрался еще и до середины рукописи, как кто—то выстрелил в него через открытое окно и слегка испортил фасон моего уха.

– Ага, – сказал он, – это мерзавец Смит из «Морального Вулкана», я его ждал вчера.

И, выхватив из—за пояса револьвер флотского образца, он выстрелил. Смит упал, сраженный пулей в бедро. Это помешало ему прицелиться как следует. Стреляя во второй раз, он искалечил постороннего. Посторонним был я. Впрочем, он отстрелил мне всего только один палец.

Затем главный редактор опять принялся править и вычеркивать. Не успел он с этим, покончить, как в трубу свалилась ручная граната и печку разнесло вдребезги. Однако больших убытков от этого не произошло, если не считать, что шальным осколком мне вышибло два зуба.

– А печка—то совсем развалилась, – сказал главный редактор.

Я сказал, что, кажется, да.

– Ну, не важно. На что она в такую жару? Я знаю, кто это сделал. Он от меня не уйдет. Послушайте, вот как надо писать такие вещи.

Я взял рукопись. Она была до того исполосована вычеркиваниями и помарками, что родная мать ее не узнала бы.

Вот что получилось у него:

ДУХ ТЕННЕССКОЙ ПЕЧАТИ

Закоренелые лгуны из «Еженедельного Землетрясения», по—видимому, опять стараются втереть очки нашему рыцарски—благородному народу, распуская подлую и грубую ложь относительно величайшего предприятия девятнадцатого века – Баллигэкской железной дороги. Мысль, будто бы Баззардвилл хотят обойти стороной, зародилась в их собственных заплесневелых мозгах, вернее – в той каше, которая заменяет им мозг. Пусть лучше возьмут свои слова обратно и подавятся ими, если хотят спасти свою подлую шкуру от плетки, которую вполне заслужили.

Этот осел Блоссом из хиггинсвиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы» опять появился здесь и околачивается в нахлебниках у Ван—Бюрена.

Мы имели случай заметить, что безмозглый проходимец из «Утреннего Воя», по своей неудержимой склонности к вранью, сбрыхнул, будто бы Ван—Вертер не прошел на выборах. Высокая миссия журналиста заключается в том, чтобы сеять правду, искоренять заблуждения, воспитывать, очищать и повышать тон общественной морали и нравов, стараться, чтобы люди становились более кроткими, более добродетельными, более милосердными, чтобы они становились во всех отношениях лучше, добродетельнее и счастливее; а этот гнусный негодяй компрометирует свое высокое звание тем, что сеет повсюду ложь, клевету, непристойную брань и всяческую пошлость.

Блезерсвиллцам понадобилась вдруг мостовая – им куда нужнее тюрьма и приют для убогих. Кому нужна мостовая в ничтожном городишке, состоящем из двух баров, одной кузницы и этого горчичника вместо газеты, «Ежедневного Ура»? Эта ползучая гадина Бакнер, который редактирует «Ура», блеет о мостовой со своим обычным идиотизмом, а воображает, будто говорит дело.

– Вот как надо писать: с перцем и без лишних слов! А от таких слюнявых статей, как ваша, всякого тоска возьмет.

Тут в окно с грохотом влетел кирпич, посыпались осколки, и меня порядком хватило по

спине. Я посторонился; я начинал чувствовать, что я здесь лишний.

Редактор сказал:

– Это, должно быть, полковник. Я его уже третий день жду. Сию минуту он и сам явится.

Он не ошибся. Минутой позже в дверях появился полковник с револьвером армейского образца в руке.

Он сказал:

– Сэр, я, кажется, имею честь говорить с презренным трусом, который редактирует эту дрянную газетку?

– Вот именно. Садитесь, пожалуйста. Осторожнее, у этого стула не хватает ножки. Кажется, я имею честь говорить с подлым лжецом, полковником Блезерскайтом Текумсе?

– Совершенно верно, сэр. Я пришел свести с вами небольшой счетец. Если вы свободны, мы сейчас же и начнем.

– Мне бы нужно кончить статью «О поощрении морального и интеллектуального прогресса в Америке», но это не к спеху. Начинайте!

Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клок волос, а пуля полковника засела в мясистой части моего бедра. Полковнику оцарапало левое плечо. Они опять выстрелили. На этот раз ни тот, ни другой из противников не пострадал, а на мою долю кое—что досталось – пуля в плечо. При третьем выстреле оба джентльмена были легко ранены, а мне раздробило запястье. Тут я сказал, что, пожалуй, пойду прогуляюсь, так как это их личное дело и я считаю неделикатным в него вмешиваться. Однако оба джентльмена убедительно просили меня остаться и уверяли, что я нисколько им не мешаю.

Потом, перезаряжая пистолеты, они поговорили о выборах и о видах на урожай, а я начал было перевязывать свои раны. Но они, недолго мешкая, опять открыли оживленную перестрелку, и ни один выстрел не пропал даром. Пять из шести достались на мою долю. Шестой смертельно ранил полковника, который не без юмора заметил, что теперь он должен проститься с нами, так как у него есть дело в городе. Спросив адрес гробовщика, он ушел.

Редактор обернулся ко мне и сказал:

– Я жду гостей к обеду, и мне нужно приготовиться. Сделайте одолжение, прочтите корректуру и примите посетителей.

Я немножко поморщился, услышав о приеме посетителей, но не нашелся что ответить, – я был совершенно оглушен перестрелкой и никак не мог прийти в себя.

Он продолжал:

– Джонс будет здесь в три – отстегайте его плетью, Гиллспай, вероятно, зайдет раньше – вышвырните его из окна, Фергюссон заглянет к четверем – застрелите его. На сегодня это, кажется, все. Если выберется свободное время, напишите о полиции статейку позабористее – всыпьте главному инспектору, пускай почешется. Плетки лежат под столом, оружие в ящике, пули и порох вон там, в углу, бинты и корпия в верхних ящиках шкафа. Если с вами что—нибудь случится, зайдите к Ланцету – это хирург, он живет этажом ниже. Мы печатаем его объявления бесплатно.

Он ушел. Я содрогнулся. После этого прошло всего каких—нибудь три часа, но мне пришлось столько пережить, что всякое спокойствие, всякая веселость оставили меня навсегда. Гиллспай зашел и выбросил меня из окна. Джонс тоже явился без опоздания, и только я было приготовился отстегать его, как он перехватил у меня плетку. В схватке с незнакомцем, который не значился в расписании, я потерял свой скальп. Другой незнакомец, по фамилии Томпсон, оставил от меня одно воспоминание. Наконец, загнанный в угол и осажденный разъяренной толпой редакторов, политиканов, жучков и головорезов, которые орали, бранились и размахивали оружием над моей головой так, что воздух искрился и мерцал от сверкающей стали, я уже готовился расстаться со своим местом в редакции, как явился мой шеф, окруженный толпой восторженных поклонников и друзей. Началась такая свалка и резня, каких не в состоянии описать человеческое перо, хотя бы оно было и стальное. Люди стреляли, кололи, рубили, взрывали, выбрасывали друг друга из окна.

Пронесся буйный вихрь кощунственной брани, блеснули беспорядочные вспышки воинственного танца – и все кончилось. Через пять минут наступила тишина, и мы остались вдвоем с истекающим кровью редактором, обозревая поле битвы, усеянное кровавыми останками.

Он сказал:

– Когда вы немножко привыкнете, вам здесь понравится.

Я сказал:

– Я должен буду перед вами извиниться; может быть, через некоторое время я и научился бы писать так, как вам нравится; я уверен, что при некоторой практике я привык бы к газетному языку. Но, говоря по чистой совести, такая энергичная манера выражаться имеет свои неудобства – человеку постоянно мешают работать. Вы это и сами понимаете. Энергичный стиль, несомненно, имеет целью возвысить душу читателя, но я не люблю обращать на себя внимание, а здесь это неизбежно. Я не могу писать спокойно, когда меня то и дело прерывают, как это было сегодня. Мне очень нравится эта должность, не нравится только одно – оставаться одному и принимать посетителей. Эти впечатления для меня новы, согласен, и даже увлекательны в некотором роде, но они имеют несколько односторонний характер. Джентльмен стреляет через окно в вас, а попадает в меня; бомбу бросают в трубу ради того, чтобы доставить удовольствие вам, а печной дверцей вышибает зубы мне; ваш приятель заходит для того, чтобы обменяться комплиментами с вами, а портит кожу мне, так изрешетив ее пулями, что теперь ни один принцип журналистики в ней не удержится; вы уходите обедать, а Джонс является ко мне с плеткой, Гиллспай выбрасывает меня из окна, Томпсон раздевает меня догола, совершенно посторонний человек с бесцеремонностью старого знакомого сдирает с меня скальп, а через какие—нибудь пять минут проходимцы со всей округи являются сюда в военной раскраске и загоняют мне душу в пятки своими томагавками. Верьте слову, я никогда в жизни не проводил время так оживленно, как сегодня. Вы мне очень нравитесь, мне нравится ваша спокойная, невозмутимая манера объясняться с посетителями, но я, видите ли, к этому не привык. Южане слишком экспансивны, слишком щедро расточают гостеприимство посторонним людям. Те страницы, которые я написал сегодня и которые вы оживили рукой мастера, влив в мои холодные фразы пылкий дух теннессийской печати, разбудят еще одно осиное гнездо. Вся эта свора редакторов явится сюда, – они явятся голодные и захотят кем—нибудь позавтракать. Я должен с вами проститься. Я уклоняюсь от чести присутствовать на этом пиршестве. Я приехал на Юг для поправки здоровья и уеду за тем же, ни минуту не задерживаясь. Журналистика в Теннесси слишком живое дело – оно не по мне.

Мы расстались, выразив друг другу взаимные сожаления, и я тут же перебрался в больницу.

ВЕНЕРА КАПИТОЛИЙСКАЯ

Глава первая

СТУДИЯ ХУДОЖНИКА В РИМЕ

– О Джордж, я так люблю тебя!

– Да благословит тебя бог, Мэри, я это знаю. Скажи, почему так упрямится твой отец?

– Джордж, он не злой человек, но искусство для него пустой звук, он знает только свою бакалею. Он боится, что ты меня заморишь голодом.

– Черт бы его побрал, он не лишен проницательности. Отчего я не бакалейщик, богатеющий со дня на день, а всего—навсего вдохновенный скульптор, которому нечего есть?

- Не приходи в отчаяние, милый Джордж, он забудет все свои предрассудки, как только у тебя будет пятьдесят тысяч.
- Пятьдесят тысяч чертей! Дитя мое, мне даже за стол и квартиру нечем заплатить!

Глава вторая

ЧАСТНАЯ КВАРТИРА В РИМЕ

– Уважаемый, все эти разговоры бесполезны. Я против вас ничего не имею, но не могу допустить, чтобы моя дочь вышла замуж за комбинацию из любви, искусства и голода. Ведь, сколько я понимаю, вы ничего другого ей предложить не можете.

– Сэр, я беден, в этом вы не ошиблись. Но разве слава ничего не стоит? Достопочтенный Беллами Фудл из Арканзаса говорит, что моя статуя Америки представляет собой замечательное произведение скульптуры; он уверен, что мое имя со временем прославится.

– Чепуха! Что может понимать этот арканзасский осел? Слава – пустяки, а вот я желал бы знать рыночную цену вашего мраморного пугала. Вы корпели над ним полгода, а не можете выручить за него и ста долларов. Нет, сэр! Покажите мне пятьдесят тысяч наличными, и я выдам за вас мою дочь, а иначе она выйдет за молодого Симпера. Даю вам полгода срока. Всего хорошего, сэр!

– Ах, я несчастный!

Глава третья

В СТУДИИ

– Джон, друг моего детства, я самый несчастный из людей!

– Простофиля ты, вот ты кто!

– Теперь мне некого больше любить, кроме моей статуи Америки. И гляди, даже она мне нисколько не сочувствует, это видно по ее холодному, каменному лицу – так прекрасна и так бессердечна!

– Ты болван!

– Ох, Джон, что ты!

– Да, охай больше! Ведь тебе же дали шесть месяцев срока на то, чтобы достать эти деньги?

– Не смейся над моими страданиями, Джон. Даже если бы мне дали шесть веков, что из этого? Ведь это не поможет человеку без имени, без капитала, без друзей.

– Тупица! Плакса! Размазня! Шесть месяцев на то, чтобы достать деньги, когда и пяти за глаза довольно!

– Ты с ума сошел!

– Шесть месяцев! Куда столько! Предоставь—ка дело мне. Я добуду тебе деньги.

– Что ты хочешь сказать, Джон? Как же ты достанешь такую огромную сумму?

– Согласен ты предоставить дело мне и ни во что не вмешиваться? Обещай во всем меня слушаться и не противоречь мне, что бы я ни сделал.

– У меня голова кругом идет, я просто ошеломлен, но даю тебе слово...

Джон схватил молоток и одним решительным взмахом отбил нос Америке. Еще взмах – два пальца отлетели и упали на пол, еще взмах – отскочил кончик уха, еще взмах – и несколько пальцев на ноге были покалечены, еще взмах – и вся левая нога до колена была отбита и валялась на полу.

Джон надел шляпу и ушел.

Джордж, лишившись языка, с полминуты смотрел на изуродованное произведение искусства, потом как подкошенный свалился на пол, корчась в судорогах.

Скоро Джон вернулся в коляске, забрал скульптора с разбитым сердцем и статую с отбитой ногой и увез их, преспокойно что—то насвистывая. Он высадил художника у своего дома, а статую повез дальше, на Виа Квириналис.

Глава четвертая

В СТУДИИ

«Сегодня в два часа истекают данные мне шесть месяцев. Какая мука! Погибла вся моя жизнь. Лучше бы мне умереть. Вчера я не ужинал, а сегодня не завтракал. Я не смею даже войти в харчевню. А как хочется есть! Лучше об этом не думать. Сапожник не дает мне прохода, портной тоже, хозяин преследует меня по пятам. Несчастный я человек! Джона я так и не видел с того рокового дня. Она нежно улыбается мне, когда мы встречаемся на улице, но этот старый кремень, ее папаша, сейчас же велит ей отвернуться... Кто это стучится в дверь? Кто пришел преследовать меня? Ручаюсь, что злодей сапожник».

– Войдите!

– Позвольте поздравить вашу светлость! Я принес милорду новые сапоги. Нет, нет, насчет платы не беспокойтесь, торопиться незачем, совершенно незачем. Может быть, милорд и в будущем окажет мне честь, останется моим клиентом... Ах, до свидания!

«Сам принес сапоги! Не хочет брать денег! Отвешивает поклоны и реверансы, точно королю! Желает, чтоб я и впредь оставался его заказчиком! Да это прямо светопреставление!..»

– Войдите!

– Прошу прощения, синьор, я принес новый костюм для вашей чести.

– Войдите!

– Тысячу раз прошу прощения, ваша милость! Я приготовил внизу прекрасное новое помещение для вас, эта жалкая конура совершенно не подходит для...

– Войдите!

– Я зашел сказать, что ваш кредит в нашем банке, к сожалению, приостановленный на некоторое время, теперь возобновлен к нашему полному удовольствию, и мы будем счастливы, если вы возьмете у нас сколько угодно...

– Войдите!

– Мой славный мальчик, она твоя! Она сейчас придет! Возьми ее, женись на ней, люби ее, будьте счастливы! Благослови бог вас обоих. Гип—гип, ура!

– Войдите!

– О Джордж, любимый мой, мы спасены!

– Мэри, дорогая! Да, мы спасены, но черт меня побери, если я хоть что—нибудь понимаю!

Глава пятая

КАФЕ В РИМЕ

Один из группы американцев читает и переводит из «Иль Бен Соврато ди Рома»:

«Чудесная находка! Около шести месяцев тому назад синьор Джон Смит, американский джентльмен, в течение нескольких лет проживающий в Риме,

приобрел за незначительную сумму участок земли в Кампанье, по соседству с мавзолеем Сципионов, у владельца этого участка, разорившегося родственника княгини Боргезе. Затем мистер Смит перевел этот участок на имя бедного американского художника Джорджа Арнольда, в возмещение материального убытка, ненамеренно причиненного им синьору Арнольду, и заявил, что он за свой счет собирается привести в порядок это владение для синьора Арнольда. Месяц назад, производя на участке земляные работы, синьор Смит нашел античную статую редких достоинств, представляющую большую ценность даже для сокровищниц Рима, которые изобилуют первоклассными произведениями искусства. Глядя на эту прекрасную женскую фигуру, хотя и сильно поврежденную временем и пребыванием в земле, никто не может остаться равнодушным к ее восхитительной красоте. Не хватает носа, левой ноги, уха, нескольких пальцев на правой ноге и двух пальцев на руке, но в общем статуя замечательно сохранилась. Статуя находится в руках правительства; назначена комиссия, в которую вошли художественные критики, антиквары и представители римской церкви для определения художественной ценности статуи и размеров вознаграждения, причитающегося собственнику участка, где она была найдена. До вчерашнего вечера все дело сохранялось в строжайшей тайне. Комиссия заседала при закрытых дверях. Вчера вечером комиссия единогласно решила, что статуя изображает Венеру и принадлежит неизвестному, но высокоодаренному художнику третьего века до рождения Христа. Комиссия считает эту статую одним из совершеннейших произведений искусства, известных миру.

В полночь состоялось последнее заседание, на котором Венера была оценена в десять миллионов франков! По римским законам и обычаям, государству принадлежит половина в каждом произведении искусства, найденном в Кампанье, а потому оно уплачивает мистеру Арнольду пять миллионов франков, после чего статуя переходит во владение правительства. Сегодня утром Венеру перевезут в Капитолий, где она будет установлена, а в полдень комиссия отвезет синьору Арнольду чек его святейшества папы римского на пять миллионов франков золотом!»

Хор голосов. Вот повезло! Просто слов не подберешь!

Один голос. Джентльмены, предлагаю немедленно организовать американское акционерное общество для приобретения земельных участков и производства раскопок, открыть филиал нашего общества на Уоллстрит, немедленно выпустить на биржу акции и начать игру на повышение и понижение.

Все. Мы согласны!

Глава шестая

В РИМСКОМ КАПИТОЛИИ – ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

– Дорогая Мэри, вот самая знаменитая статуя в мире. Это Венера Капитолийская, о которой ты столько слышала. Вот она, «реставрированная», то есть кое—как подштукатуренная лучшими римскими скульпторами. Уже одно то, что они принимали скромное участие в ее реставрации, навеки прославит их имена. Как все это странно! Десять лет назад, накануне того памятного дня, я стоял на этом самом месте и отнюдь не был богачом – честное слово, у меня не было ни цента. И все же без меня Рим не получил бы величайшего произведения античного искусства, какое когда—либо было известно миру.

– Знаменитая, прославленная Венера Капитолийская. И каких огромных денег она стоит! Десять миллионов франков!

– Да, теперь она стоит десять миллионов...

– О Джорджи, как она хороша! Божественно хороша!

– Да, конечно, но все же она далеко не та, какая была, пока этот чертов Джон Смит не отбил ей ногу и не повредил нос. Хитроумный Смит, гениальный Смит, благородный Смит! Творец нашего счастья!.. Послушай, что это такое? У мальчишки коклюш! Мэри, неужели ты никогда не научишься смотреть за детьми!

КОНЕЦ

Венера Капитолийская и по сей час стоит в Римском Капитолии и все еще является самым пленительным и знаменитым произведением искусства, каким может похвастать мир. Но если вам придется когда—нибудь стоять перед ней и, как полагается, восхищаться, пусть эта правдивая и мало кому известная история ее происхождения не портит вам удовольствия; и когда вы прочтете об окаменевшем гиганте, которого откопали близ Сиракуз, в штате Нью—Йорк или еще где—нибудь, не верьте ни одному слову.

И если зарывший колосса Барнум предложит вам купить его за большие деньги, не покупайте. Пошлите Барнума к папе римскому!

КАК ВЫВОДИТЬ КУР

С ранней юности я испытывал особую страсть к выведению кур, и возможность стать членом вашего общества отвечает моим самым горячим желаниям. Еще когда я был ребенком, выведение кур интересовало меня, и могу не хвалясь сказать, что уже к семнадцати годам я был знаком с лучшими и быстреевыми способами выведения кур, от увода их из курятника посредством зажигания фосфорных спичек у них под клювом, до снятия их с плетня при помощи теплой доски, подsunутой в морозную ночь под их лапки. Смею сказать, что к тому времени, когда мне исполнилось двадцать лет, я вывел больше кур, чем любой другой любитель куроводства во всей нашей округе. Постепенно сами куры стали признавать мой талант. Стоило мне показаться на горизонте, как молодняк обоего пола переставал рыть землю в поисках червей, и старые петухи, которые вышли, чтобы покуракаться, "останавливались помолиться".

У меня накоплен большой опыт выведения домашней птицы, и я надеюсь, что некоторые мои советы будут небесполезны вашему обществу. Вышеупомянутые способы очень просты и применяются для выведения лишь вульгарных несушек, один летом, другой зимой. В первом случае — летом — вы с приятелем выходите из дому около одиннадцати часов вечера (не позже, потому что в некоторых штатах, особенно в Калифорнии и Орегоне, петухи имеют обыкновение просыпаться как раз в полночь и кукуракать от десяти минут до получаса, смотря по тому, сколько им потребуется, чтобы разбудить народ; ваш друг захватывает с собой мешок. Прибыв в курятник (вашего соседа, не ваш собственный), вы зажигаете спичку и держите ее сначала перед клювом одной курочки, потом — другой, до тех пор, пока они не согласятся тихо и мирно, без лишнего шума, отправиться в мешок. Затем вы возвращаетесь домой, унося мешок с собой или оставляя его в курятнике — как потребуют обстоятельства.

Примечание. В некоторых случаях наиболее целесообразным и уместным бывает оставить мешок в птичнике и удалиться с максимальной скоростью, даже не указав, куда его прислать.

Если вы хотите применить второй из упомянутых способов выведения кур, вашему другу надо взять закрытый сосуд с раскаленными углями, а вам — длинную тонкую доску. Само собой разумеется, ночь должна быть холодная. Добравшись до дерева, или до плетня, или до другого места, где ночуют куры (ваши собственные, если вы идиот), вы подогреваете конец доски в этом сосуде, а затем, подняв его кверху, осторожно подводите под лапы

дремлющей курицы. Если предмет вашего внимания — достойная представительница куриного рода, она непременно поблагодарит вас сонным кудахтаньем, переступит на доску и устроится на ней с удобствами, настолько явно становясь соучастницей в подготовке собственного убийства, что у вас возникают серьезные сомнения, — те же, что некогда возникли у Блакстона, — а не совершает ли она вполне сознательно самоубийство второй степени? (Но размышлениям по поводу этих юридических тонкостей вы предаетесь не в ту минуту, а позднее.)

Когда вы хотите вывести красивого, крупного, вопящего, как осел, шанхайского петуха, вы прибегаете к помощи лассо, как если бы речь шла о быке. Ведь он должен быть придушен, и придушен основательно. Другого надежного способа нет, ибо всякий раз, как такой петух упоминает о предмете, в котором он кровно заинтересован, девяносто девять шансов из ста, что он немедленно привлечет к этому предмету внимание кого—нибудь еще, будь то днем или ночью.

Черные испанские куры великолепны и весьма дороги. За образчик этой породы нередко платят 50 долларов, ну а 35 долларов — обычная цена. Даже их яйца стоят от доллара до полутора за штуку, но они так тяжело ложатся на желудок, что муниципальные врачи никогда не включают их в рацион рабочего дома. И все же раза два в новолуние мне удавалось добывать их по дюжине, причем совсем даром. Лучший способ выводить черных испанских кур — поздно вечером вывезти их целиком с курятником. Я особенно рекомендую этот метод потому, что владельцы столь ценных птиц не позволяют им устраиваться на ночлег где попало, но загоняют в клетку, крепкую, как сейф, которую держат в кухне. Разумеется, метод, о котором я говорю, не всегда оправдывает возлагаемые на него надежды, однако в кухне имеется так много мелких ценностей, что если вас постигнет неудача с клеткой, вы сможете прихватить там что—нибудь другое. Так однажды я унес мышеловку, которая стоила девяносто центов.

Но зачем мне напрягать всю силу моего интеллекта, уделяя так много внимания этому предмету? Я уже доказал Западному Нью—Йоркскому Обществу Куроводства, что оно приняло в свое лоно отнюдь не желторотого цыпленка, а подлинного знатока в данной области, который владеет самыми совершенными методами выведения кур и в этом не уступает самому председателю общества. Приношу искреннюю благодарность господам куроводам за то, что они избрали меня почетным членом своего общества, и остаюсь всегда готовым доказать мои добрые чувства и гражданское рвение не только второпях написанными советами я сведениями но и делами. Когда бы ни собрались они выводить кур пусть зайдут за мной, — после одиннадцати вечера всегда дома и всегда буду к их услугам.

ПОКОЙНЫЙ БЕНДЖАМЕН ФРАНКЛИН

(Никогда не откладывай на завтра то,
что можно сделать послезавтра.

Б. Ф.

Личность эта из тех, кого величают философами. Он был сам себе близнец, поскольку явился на свет одновременно в двух разных домах города Бостона. Дома эти сохранились до сих пор, и в память о знаменательном событии к ним даже дощечки приклепали. Большой нужды в дощечках нет, они висят на всякий случай, потому что все равно каждому приезжему жители показывают оба знаменитых дома, и иногда по несколько раз в день. Герой сего рассказа отличался злым характером и, поставив себе целью замучить будущие юные поколения, с ранних лет начал растрчивать свои таланты на выдумывание

всяких поучений и афоризмов. Он нарочно даже в самых обыкновенных делах поступал с таким расчетом, чтобы вызвать мальчиков помериться с ним сноровкой, и тем навеки отнял у них безмятежное детство. Именно для того, чтобы им насолить, стал он сыном мыловара, и теперь на всякого мальчика, пробивающего себе дорогу в жизни, будут, пожалуй, поглядывать с подозрением, если он не сын мыловара. С коварством, равного коему не знает история, он весь день работал, а ночью при свете фитилька изучал алгебру, – и все ради того, чтобы стать образцом для других мальчиков, которым теперь, чуть что не так, сразу указывают на Бенджамина Франклина. Но ему этого было мало, и он завел привычку питаться только хлебом с водой и за трапезой изучать астрономию, чем уже успел исковеркать жизнь миллионам мальчиков, отцы которых начитались вредной биографии Франклина.

Афоризмы его так и пышут враждой к мальчикам. Нынешний мальчик не может следовать ни одному своему нормальному инстинкту, без того чтобы сразу не нарваться на какой—нибудь бессмертный афоризм и фамилию Франклина. Если он покупает на два цента земляных орешков, отец скажет: «Помнишь ли ты, сын мой, что говорил Франклин: „Деньга деньгу кует“», – и земляные орешки теряют всю свою сладость. Если он, покончив с уроками, намерен запустить волчок, отец цитирует: «Потерянного времени не вернешь».

Если он совершает добродетельный поступок – награды не жди, ибо: «Добродетель не нуждается в награде». Вот так мальчика за день затравят до смерти, а потом еще и необходимого отдыха лишат, – ведь Франклин однажды в порыве злотворного вдохновения изрек:

Ложись пораньше и встань пораньше утром —
Будешь здоровым, богатым и мудрым.

А какой мальчик согласится стать здоровым, богатым и мудрым на таких условиях! Слов не хватит, чтобы описать, сколько горя принес мне этот афоризм, когда мои родители, руководствуясь им, ставили на мне опыты. Поэтому совершенно закономерно, что теперь мое здоровье, финансы и рассудок пришли в полное расстройство. Бывало, еще и девяти не пробьет, а родители уже поднимают меня с постели. А дали бы мне покой в юные годы, каким бы я вырос? Наверняка как сыр в масле катался бы, и люди бы меня уважали.

Ловкач он был, герой нашего рассказа, – ловкач первой марки! Чтобы всех надуть и в воскресный день запустить воздушного змея, он подвешивал к хвосту его ключ и ловил на него в воздухе молнию. А простаки горожане поглядят на этого седовласого нарушителя божьего завета о воскресном отдыхе и, расходясь по домам, взахлеб чирикают о его «гениальности» и «мудрости». Если его застигали в одиночестве за игрой в «следопыта», – а ему тогда уже перевалило за шестьдесят, – он тотчас притворялся, будто наблюдает за ростом травки, хотя какое, собственно, ему до этого дело? Мой дедушка хорошо его знал и говорит, что Франклин был очень сообразительный и никогда не терялся. Если кто—нибудь, бывало, нагрянет неожиданно, когда он совсем одряхлел и ловил мух, или лепил пирожки из грязи, или катался на двери чулана, он вмиг напускал на себя умный вид, выпаливал афоризм и величаво удалялся, напялив шапку задом наперед и прикинувшись рассеянным чудаком. Крепкий был орешек!

Он изобрел печку, которая за каких—нибудь четыре часа может вас задымить до полного умопомрачения.

И какое сатанинское удовольствие он от нее получал, ведь он даже окрестил ее собственным именем!

Он всегда с гордостью вспоминал, как впервые пришел в Филадельфию, с двумя шиллингами в кармане и четырьмя булками под мышкой. Но если как следует разобраться, что тут особенного? Так всякий сумеет.

Честь внесения рекомендации, по которой армии надобно вернуться от штыков и

мушкетов к лукам и стрелам, также принадлежит герою сего рассказа. С присущей ему твердостью он заявил, что штык при определенных обстоятельствах – вещь стоящая, но сомнительно, чтобы он мог точно поражать цель с большой дистанции.

Бенджамин Франклин совершил уйму великих деяний на благо своей молодой родины, тем самым прославив ее на весь свет как мать такого великого сына. Мы не ставим себе целью скрыть или затуманить этот факт. Нет, цель наша – развенчать претенциозные афоризмы, которые этот человек в своих потугах быть оригинальным переделывал из истин, навязших в зубах еще во времена вавилонского столпотворения; а также развенчать его печку, и полководческий гений, и совершенно неприличную страсть по приезду в Филадельфию лезть всем на глаза, и воздушного змея, и бестолковую трату времени на разную подобную чепуху, когда ему полагалось рыскать в поисках сырья для мыла или лить свечи. Мне просто хотелось поколебать пагубную уверенность многих глав семейств, что Франклин сделался гением, ибо работал бесплатно, изучал науки при луне и поднимался с постели ночью, вместо того чтобы, как добрый христианин, подождать до утра; и ежели строго придерживаться этой программы, из каждого папенькиного оболтуса можно сделать Франклина. Пора бы уже этим джентльменам смекнуть, что отвратительные чудачества в поведении и манерах лишь свидетельствуют о гении, но не творят его. Жаль, что мне не пришлось хоть недолго побыть отцом моих родителей, а то я бы втолковал им эту истину и таким образом обеспечил бы спокойную жизнь их сыну. Мой отец был состоятельный человек, но в детстве мне приходилось варить мыло, вставать рано, учить за завтраком геометрию, кропать стишки и делать все – как Франклин, в трепетной надежде, что в один прекрасный день из меня выйдет Франклин. Результат налицо.

ВОСПОМИНАНИЕ

Если я здесь скажу, что моему строгому отцу за все долгие пятьдесят лет его жизни лишь однажды пришлось по вкусу стихи, – те, кто знал его близко, поверят мне без труда; если я здесь скажу, что за все долгие тридцать лет моей жизни мне только однажды пришлось сочинить стихи, – те, кто знает меня, не смогут удержаться от выражения признательности; если я, наконец, скажу, что стихи, прельстившие моего отца, не были теми стихами, которые сочинил я, – все, кто знал моего отца и близко знают меня, легко согласятся со мной без того, чтобы пришлось приставлять им ко лбу пистолет.

Когда я был мальчишкой, мои отношения с отцом были довольно прохладными – вроде вооруженного перемирия. Время от времени перемирие нарушалось и следовали неприятности. Скажу без малейшего хвастовства, что хлопоты в этом случае делились обеими сторонами поровну: нарушение перемирия брал на себя мой отец; неприятности доставались мне. Я производил впечатление робкого, застенчивого мальчика. Но однажды я спрыгнул с крыши амбара. Другой раз я угостил слона табаком и ушел, не дожидаясь ни от кого благодарности. Был еще случай, когда, притворившись, будто брежу во сне, я выпалил в присутствии отца каламбур весьма оригинального свойства. Во всех трех случаях последствия не заставили себя долго ждать. Стоит ли их вспоминать, они касались только меня.

Поэтическим произведением, которое привлекло моего отца, была «Песнь о Гайавате» Лонгфелло. Кто—то, не убоившись, как видно, смерти скорой и беспощадной, преподнес ему экземпляр только что вышедшей в свет поэмы, и я, почти не веря своим глазам, смотрел, как он сел и преспокойно взялся за книгу. Раскрыв ее, он прочел вслух с тем ледяным судейским бесстрашием, с которым он обращался к присяжным или приводил к присяге свидетеля:

Лук возьми свой, Гайавата,

Острых стрел возьми с собою,
Рукавицы Минджикэвон
И дубинку Поггэвогон.
Смажь березовую лодку
Желтым жиром Мише—Намы...

Тут отец извлек из бокового кармана внушительный документ и, пристально глядя на него, погрузился в задумчивость. Документ этот был мне знаком.

Супруги из Техаса наградили моего сводного брата, Орина Джонсона, героически спасшего их от гибели, отличным участком земли в одном северном городке.

Отец посмотрел на меня и вздохнул. Потом он сказал:

– Если бы у меня был сын с таким талантом, как этот поэт! Здесь – более достойный сюжет, чем легенды индейцев.

– Если позволите, сэр, где именно?

– В дарственной.

– В этой дарственной?

– Да, в этой самой дарственной, – ответил отец и бросил дарственную запись на стол. – В этом неприглядном на вид документе скрыто больше поэзии, романтики, возвышенных чувств и красочных образов, чем в легендах всех индейских племен, вместе взятых.

– Вы так считаете, сэр? А не взяться ли мне за это? Что если я напишу такую поэму?

– Ты?

Мой энтузиазм погас.

Взгляд отца мало—помалу смягчился.

– Что ж, попробуй. Но помни – без глупостей. Никаких поэтических вольностей. Держись строгих фактов.

Пообещав держаться фактов, я откланялся и поднялся наверх.

В ушах у меня звучали ритмы Лонгфелло, а вместе с ними советы отца не забывать о возвышенности избранного сюжета, но в то же время остерегаться поэтических вольностей. Тут я заметил, что машинально прихватил с собой дарственный документ. Во мгновение ока мной овладел один из тех редких приступов безрассудства, о которых я говорил. Я, разумеется, знал, что отец поручил мне воспеть в романтическом духе благородный поступок моего сводного брата и полученную награду. Тем не менее я решил, – не раздумывая о неизбежных последствиях, – что выполню только лишь букву его приказа. Я взял идиотский текст дарственной записи и, ничего не выбрасывая и даже почти не меняя, разрубил ее на куски, пользуясь стихом «Гайаваты» как меркой.

Мне потребовалась вся моя храбрость, чтобы спуститься по лестнице со своей поэмой в руках. Три или четыре раза я давал себе передышку. Наконец, я поклялся, что сойду вниз к отцу и прочту ему что написал, а потом – будь что будет, пусть хоть через колокольню меня перебросит. Я уже раскрыл рот, но отец приказал подойти поближе к нему. Я придвинулся ближе, но не более чем на полшага: мне нужно было сохранить между нами нейтральную зону. Я начал читать. Тщетно было бы пытаться сейчас передать, как сперва во взгляде отца отразилось недоумение, как оно постепенно сменилось более сильными чувствами, как лицо его потемнело от гнева и он, задыхаясь и глотая нервически воздух, стал судорожно сжимать и разжимать кулаки; как я, словно падая в пропасть, читал строку за строкой и чувствовал, что колени мои дрожат и силы покидают меня.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

Настоящим подтверждаю,
Что в контракте, заключенном
В день десятый ноября, в год
От рождения Христова

Одна тысяча и восемь
сот пятьдесят третий, в коем
Сторонами выступают:
Первая – Джоанна Э.Грэй
И супруг ее Филипп Грэй
Из Салема, что в Техасе,
И вторая – О.Б.Джонсон
Из Остина в том же штате.
И в означенном контракте
Предусмотрено бесспорно,
Что указанная выше
Сторона – Джоанна Э.Грэй
И супруг ее Филипп Грэй
С надлежащею распиской
На означенную сумму
Уступили безусловно,
Отчуждили, подарили
И оформили законно,
В предусмотренном порядке,
И тем самым передали
В надлежащее владенье,
Иль – что то же – даровали,
Иль – что то же – отказались
От своих досель законных
Прав владетеля на землю,
Расположенную в городе
Дюнкерке, штат Нью—Джерси,
Протяженную на север,
И на юг и юго—запад,
Сто двадцать четыре фута
К юго—западу и к югу,
К западу от Муллиген—стрит,
К северу от Бренниген—стрит.
А еще пройти на запад
Двести футов к Бренниген—стрит,
А потом на юго—запад,
И на юго—юго—запад
И еще на двести футов...

Я быстро нагнулся, и колодка для снятия сапог угодила прямехонько в зеркало. Я мог бы еще обождать и посмотреть, что получится дальше, но моя любознательность не простиралась так далеко.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Цитируемую ниже заметку я обнаружил в газете, которую один приятель прислал мне с далеких Сандвичевых островов. Запечатленный в ней жизненный опыт покойного мистера Бентона столь разительно совпадает с моим, что я просто не могу не перепечатать эти строки, сопроводив их своими замечаниями. Заметка гласит:

«А как трогательна эта верность покойного почтенного Т. Х. Бентона материнским заветам: «Моя мать попросила меня никогда не употреблять табак. С тех пор и по сей день я ни разу не прикасался к нему. Она просила меня не играть в азартные игры, и я

никогда не играл. Глядя, как играют в карты, я даже не могу сказать, кто проигрывает, а кто выигрывает. Она предостерегала меня также против употребления спиртных напитков, и если я обладаю ныне некоторой выносливостью и стойкостью в жизненных испытаниях, если мне удалось совершить нечто полезное — все это лишь потому, что я всю жизнь неуклонно следовал ее благочестивым и глубоко верным сонетам. Когда мне было семь лет, она попросила меня не пить, и я тогда же дал обет трезвости. И тем, что я всю свою жизнь оставался верен этому обету, я обязан своей матери».

В жизни не встречал столь забавного совпадения! Ведь это же почти совершенно точное описание моей нравственной карьеры, — если только заменить мать бабушкой. Никогда не забуду, как она уговаривала меня отказаться от табака, добрая душа! Она сказала: «Ты опять принялся за это, щенок? Если я еще раз увижу, что ты жуешь табак — до завтрака, то ты у меня мигом пожалеешь, что на свет родился!» И с тех пор по сей день я ни разу не прикасался к табаку по утрам.

Она не велела мне играть в карты. Она сказала шепотом: «Немедленно бросай эти дрянные карты! Две пары и валет, — олух ты этакий! У него — то ведь масть на руках!»

И ни разу с того дня по нынешний, ни разу я не играл, если у меня в кармане не было крапленой колоды. И я тоже не могу сказать, кто проиграет, а кто выиграет, — если только не я сдавал.

Когда мне было два года, она попросила меня не пить, и я тогда же дал обет трезвости. И тем, что я остался верен этому обету и всю свою жизнь наслаждался его благотворными последствиями, я обязан своей бабушке, — да послужат эти слезы подтверждением моей признательности. С тех пор и по сей день я ни разу не выпил ни капли воды.

ОКАМЕНЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Чтобы показать, как трудно с помощью шутки преподнести ничего не подозревающей публике какую-либо истину или мораль, не потерпев самого полнотой нелепого поражения, я приведу два случая из моей собственной жизни. Осенью 1862 года жители Невады и Калифорнии буквально бредили необычайными окаменелостями и другими чудесами природы. Трудно было найти газету, где не упоминалось бы об одном-двух великих открытиях такого рода. Увлечение это начинало становиться просто смехотворным. И вот я, новоиспеченный редактор отдела местных новостей в газете города Вирджиния—Сити, почувствовал, что призван положить конец этому растущему злу; все мы, я полагаю, испытываем по временам великодушные, отеческие чувства к ближнему. Чтобы положить конец этому увлечению, я решил чрезвычайно тонко высмеять его. Но, по-видимому, я сделал это уж слишком тонко, ибо никто и не заметил, что это сатира. Я облек свой замысел в своеобразную форму: открыл необыкновенного окаменелого человека.

В то время я был в ссоре с мистером ***, новым следователем и мировым судьей Гумбольдта, и я подумал, что мог бы попутно слегка поддеть его и выставить в смешном свете, совместив, таким образом, приятное с полезным. Итак, я сообщил со всеми мельчайшими и убедительнейшими подробностями, что в Грейвли—Форд (ровно в ста двадцати милях от дома мистера ***, и добраться туда можно лишь по крутой горной тропе) обнаружен окаменелый человек и что в Грейвли—Форд, для освидетельствования находки, прибыли все живущие поблизости ученые (известно, что в пределах пятидесяти миль там нет ни одной живой души, кроме горстки умирающих с голода индейцев, нескольких убогих кузнечиков да четырех или пяти сарычей, настолько ослабевших без мяса, что они не могли даже улететь); и как все эти ученые мужи сошлись на том, что этот человек находился в состоянии полного окаменения уже свыше трехсот лет; и затем с серьезностью, которой мне следовало бы стыдиться, я утверждал, что как только мистер *** услышал эту новость, он

созвал присяжных, взобрался на мула и, побуждаемый благородным чувством долга, пустился в ужасное пятидневное путешествие по солончакам, через заросли полыни, обрекая себя на лишения и голод, — и все для того, чтобы провести следствие по делу человека, который умер и превратился в вечный камень свыше трехсот лет назад! И уж, как говорится, "заварив кашу", я далее с той же невозмутимой серьезностью утверждал, что присяжные вынесли вердикт, согласно которому смерть наступила в результате длительного нахождения под воздействием сил природы. Тут фантазия моя вовсе разыгралась, и я написал, что присяжные со свойственным пионерам милосердием выкопали могилу и уже собирались похоронить окаменелого человека по христианскому обычаю, когда обнаружили, что известняк, осыпавшийся в течение веков на поверхность камня, где он сидел, попал под него и накрепко приковал его к грунту; присяжные (все они были рудокопами на серебряных рудниках) с минуту обсуждали это затруднение, а затем достали порох и запал и принялись сверлить отверстие под окаменелым человеком, чтобы при помощи взрыва оторвать его от камня, но тут мистер *** с деликатностью, столь характерной для него, запретил им это, заметив, что подобные действия граничат со святотатством.

Все сведения об окаменелом человеке представляли собой от начала до конца набор самых вопиющих нелепостей, однако поданы они были так ловко и убедительно, что произвели впечатление даже на меня самого, и я чуть было не поверил в собственную выдумку. Но я, право же, не хотел никого обманывать и совершенно не предполагал, что так оно получится. Я рассчитывал, что описание позы окаменелого человека поможет публике понять, что это надувательство. Тем не менее, описывая его позу, я совершенно намеренно то и дело перескакивал с одного на другое, чтобы затемнить дело, — и мне это удалось. То я говорил об одной его ноге, то вдруг переходил к большому пальцу правой руки и отмечал, что он приставлен к носу, затем описывал положение другой его ноги и тут же, возвращаясь к правой руке, писал, что пальцы на ней растопырены; потом упоминал вскользь о его затылке и снова возвращался к рукам, замечая, что большой палец левой приставлен к мизинцу правой; снова перескакивал на что—нибудь другое и снова возвращался к левой руке и отмечал, что пальцы ее растопырены, так же как пальцы правой. Но я был слишком изобретателен. Я все слишком запутал, и описание позы так и не стало ключом ко всей этой мистификации, ибо никто, кроме меня, не смог разобраться в исключительно своеобразном и недвусмысленном положении рук окаменелого человека.

Как сатира на увлечение окаменелостями или чем—либо другим мой окаменелый человек потерпел самое прискорбное поражение, ибо все наивно принимали его за чистую монету, и я с глубочайшим удивлением наблюдал, как существо, которое я произвел на свет, чтобы обуздать и высмеять увлечение чудесами, преспокойно заняло самое выдающееся место среди подлинных чудес нашей Невады. Я был так разочарован неожиданным провалом своего замысла, что поначалу меня это сердило, и я старался не думать об этом; но мало—помалу, когда стали прибывать газетные отклики, в которых повторялись описания окаменелого человека, а сам он простодушно объявлялся чудом, я начал испытывать утешительное чувство тайного удовлетворения. Когда же сей господин, путешествуя все дальше и дальше, стал (как я убеждался по газетным откликам) завоевывать округ за округом, штат за штатом, страну за страной и, облетев весь мир, удостоился наконец безоговорочного признания в самом лондонском "Ланцете", душа моя успокоилась, и я сказал себе, что доволен содеянным. И насколько я помню, почти целый год мешок с ежедневной почтой мистера *** разбухал от потока газет из всех стран света с описаниями окаменелого человека, жирно обведенными чернилами. Это я посылал их ему. Я делал это из ненависти, а не шутки ради. Он с проклятиями выбрасывал их кипами на задний двор. И каждый день горняки из его округа (а уж горняки не оставят человека в покое, если им представился случай подшутить над ним) являлись к нему и спрашивали, не знает ли он, где можно достать газету с описанием окаменелого человека. А он—то мог бы снабдить целый материк этими газетами. В то время я ненавидел мистера *** и потому все это успокаивало и развлекало меня. Большого удовлетворения я бы не мог получить, разве только если б убил

его.

МОЕ КРОВАВОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ

Другой мистификацией, о которой я уже упоминал, была моя блестящая сатира на плутовской финансовый прием — "стряпню дивидендов", — к которому одно время позорно часто прибегали на Тихоокеанском побережье. В простоте души я тогда еще раз вообразил, что пришел мой час потрудиться исправления нравов ради. С этой высоконравственной целью я сочинил сатиру "Ужасное злодеяние в Эмпайр—Сити". В то время сан—францисские газеты подняли шумиху вокруг мошенничества в Дейнском акционерном обществе серебряных копеек, правление которого объявило "состряпанный", или фальшивый, дивиденд, чтобы поднять курс своих акций и, распродав их по приличной цене, благополучно выбраться из—под обломков рухнувшего концерна. Обливая грязью Дейнское акционерное общество, эти газеты в то же самое время убеждали публику избавиться от всех своих серебряных акций и приобрести устойчивые и надежные акции сан—францисских предприятий, таких, как, например, Акционерное общество водоснабжения Спринг—Вэлли. Но вдруг в самый разгар этой возни выяснилось, что общество Спринг—Вэлли тоже состряпало дивиденд! И вот я, хитро прельщая публику приманкой вымышленного "кровавого злодеяния", готовился обрушиться на нее с язвительной сатирой на всю эту грязную финансовую кухню. Рассказ о воображаемом кровопролитии занимал с полстолбца; в нем шла речь о том, как один местный житель убил жену и девятерых детей, а потом покончил с собой. В конце же я не без коварства сообщал, что внезапное помешательство — причина этой леденящей душу резни — было вызвано тем, что мой герой поддался уговорам калифорнийских газет, продал свои надежные и прибыльные невадские серебряные акции и, как раз перед тем, как лопнуть обществу Спринг—Вэлли о его мошенническими раздутыми дивидендами, вложил туда все свои деньги и потерял все до последнего цента.

О, это была очень, очень ядовитая сатира, чрезвычайно тонко задуманная. Но я так старательно и добросовестно живописал ужасающие детали, что публика алчно пожирала только эти подробности, совершенно не обращая внимания на то, что все это явно противоречило всем известным фактам: не было человека в нашей округе, который бы не знал, что этот так называемый убийца — холостяк, а стало быть, никак не мог убить жену и девятерых детей; он убил их "в своем роскошном мраморном особняке, стоявшем на опушке огромного соснового бора между Эмпайр—Сити и поселком Ника Голландца", — но даже маринованные устрицы, которых нам подавали к столу, и те знали, что на всей территории Невады не было ни одного "мраморного особняка", а также, что на пятнадцать миль вокруг Эмпайр—Сити и поселка Ника Голландца не было не только "огромного соснового бора", но даже не росло ни единого деревца; и, наконец, всем было доподлинно известно, что Эмпайр—Сити и поселок Ника Голландца — одно и то же место, где находится всего шесть домов, и следовательно, между ними не могло быть никакого бора; и сверх всех этих явных нелепостей я еще утверждал, будто, нанеся себе такую рану, от которой, как это мог понять любой читатель, мгновенно издох бы даже слон, этот демонический убийца вскочил на коня и проскакал целых четыре мили, потрясая еще теплым скальпом своей супруги, и в таком виде с триумфом въехал в Карсон—Сити, где испустил дух у дверей самого большого трактира, на зависть всем восхищенным очевидцам.

Никогда в жизни я не видел такой сенсации, какую вызвала эта маленькая сатира! О ней говорил весь город, о ней говорила вся наша округа. Просматривая за завтраком газету, жители города сначала спокойно начинали читать мою сатиру, а под конец им было уже не до еды. Вероятно, было что—то такое в этих деталях, правдоподобных до мелочей, что вполне заменяло пищу. Мало кто из грамотных людей мог есть в это утро. Мы с Дэнном (моим коллегой—репортером), как обычно, сели за свой столик в ресторане "Орел"; и только

я развернул тряпку, которая в этом заведении именовалась салфеткой, как увидел за соседним столиком двух дюжих простачков, одежда которых была осыпана чем—то вроде перхоти явно растительного происхождения, — признак и доказательство того, что они прибыли из Тракки с возом сена. Один из них, сидевший лицом ко мне, держал во много раз сложенную утреннюю газету, и я безошибочно знал, что на этой узкой длинной полосе находится столбец с моей прелестной финансовой сатирой. По его взволнованному бормотанию я мог судить, что сей беспечный сын сенокосов скачет во весь опор с пятого на десятое, спеша дорваться до кровавых подробностей, и, конечно, пропускает все сигналы, расставленные мною с целью предупредить его, что все это — сплошное вранье. Вдруг глаза его полезли на лоб как раз в тот миг, когда челюсти широко разъялись, чтобы захватить картошку, приближавшуюся на вилке; картошка колыхнулась и замерла, лицо едока жарко вспыхнуло, и весь он запылал от волнения. Затем он очертя голову кинулся судорожно заглатывать подробности, причем картошка стыла на полдороге, а он то тянулся к ней губами, то внезапно замирал в ужасе перед новым, еще более злодейским подвигом моего героя. Наконец он внушительно посмотрел в лицо своему остолебневшему приятелю и сказал, потрясенный до глубины души:

— Джим, он сварил малыша и содрал скальп с жены. Ну его к черту, этот завтрак, мне теперь ничего в глотку не полезет! — Он бережно опустил остывшую картошку на тарелку, и они оба вышли из ресторана с пустыми желудками, но вполне удовлетворенные.

Он так и не дошел до того места, где начиналась сатирическая часть. И никто никогда эту статью не дочитывал. Им было достаточно потрясающих подробностей преступления. Соваться с маленькой, тощей моралью под самый конец такого великолепного кровавого убийства было все равно что идти вслед заходящему солнцу со свечкой и надеяться привлечь к ней всеобщее внимание

Мне и в голову не приходило, что кто—нибудь когда—нибудь примет мое кровавое злодеяние за истинное происшествие, — ведь я так тщательно прослоил свой рассказ явными выдумками и нелепостями вроде "огромного соснового бора", "мраморного особняка" и прочее. Но с тех пор я на всю жизнь запомнил, что мы никогда не читаем скучных объяснений к захватывающим дух, увлекательным историям, если у нас нет повода подозревать, что какой—то безответственный писака хочет нас обмануть; мы пропускаем все это и с наслаждением упиваемся подробностями, от которых кровь стынет в жилах.

КАК Я РЕДАКТИРОВАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ

Не без опасения взялся временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в стесненных обстоятельствах, и жалованье мне очень пригодилось бы. Редактор уезжал в отпуск, я согласился на предложенные им условия и занял его место.

Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое наслаждение, что я всю неделю трудился не покладая рук. Мы сдали номер в печать, и я едва мог дождаться следующего дня — так мне не терпелось узнать, какое впечатление произведут мои труды на читателя. Когда я уходил из редакции под вечер, мальчишки и взрослые, стоявшие у крыльца, рассыпались кто куда, уступая мне дорогу, и я услышал, как один из них сказал: «Это он!» Вполне естественно, я был польщен. Наутро, идя в редакцию, я увидел у крыльца такую же кучку зрителей, а кроме того, люди парами и поодиночке стояли на мостовой и на противоположном тротуаре и с любопытством глядели на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мной, а один из зрителей сказал довольно громко: «Смотрите, какие у него глаза!» Я сделал вид, что не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщен и даже решил написать об этом своей тетушке.

Я поднялся на невысокое крыльцо и, подходя к двери, услышал веселые голоса и

раскаты хохота. Отворив дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде – фермеров, которые при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили в окно, разбив стекла. Меня это удивило.

Приблизительно через полчаса вошел какой—то почтенный старец с длинной развевающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться. По—видимому, он был чем—то расстроен. Сняв шляпу и поставив ее на пол, он извлек из кармана красный шелковый платок и последний номер пашей газеты.

Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил:

– Это вы и есть новый редактор?

Я сказал, что да.

– Вы когда—нибудь редактировали сельскохозяйственную газету?

– Нет, – сказал я, – это мой первый опыт.

– Я так и думал. А сельским хозяйством вы когда—нибудь занимались?

– Н—нет, сколько помню, не занимался.

– Я это почему—то предчувствовал, – сказал почтенный старец, надевая очки и довольно строго взглядывая на меня поверх очков. Он сложил газету поудобнее. – Я желал бы прочитать вам строки, которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту самую передовицу. Послушайте и скажите, вы ли это написали?

«Брюкву не следует рвать руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его».

Ну—с, что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно?

– Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из—за того, что ее рвут недозрелой, а если бы послали мальчика потрясти дерево...

– Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве!

– Ах, вот как, не растет? Ну а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько—нибудь смыслит в деле, поймет, что я хотел сказать «потрясти куст».

Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету на мелкие клочки, растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов, крикнул, что я смыслю в сельском хозяйстве не больше коровы, и выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще он вел себя так, что мне показалось, будто он чем—то недоволен. Но, не зная, в чем дело, я, разумеется, не мог ему помочь.

Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца субъект с жидкими космами волос, висящими до плеч, с недельной щетиной на всех холмах и долинах его физиономии, и замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись всем телом вперед, он словно прислушивался к чему—то. Не слышно было ни звука. Но он все—таки прислушивался. Ни звука. Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно ступая, на цыпочках подошел ко мне, остановился несколько поодаль и долго с живейшим интересом всматривался мне в лицо, потом извлек из кармана сложенный вчетверо номер моей газеты и сказал:

– Вот, вы это написали. Прочтите мне вслух, скорее! Облегчите мои страдания. Я изнемогаю.

Я прочел нижеследующие строки, и, по мере того как слова срывались с моих губ, страдальцу становилось все легче. Я видел, как скорбные морщины на его лице постепенно разглаживались, тревожное выражение исчезало, и наконец его черты озарились миром и спокойствием, как озаряется кротким сиянием луны унылый пейзаж.

«Гуано – ценная птица, но ее разведение требует больших хлопот. Ее следует ввозить не раньше июня и не позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле, чтобы она могла высидывать птенцов».

«По—видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому фермерам лучше приступить к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле, а не в августе».

«О тыкке. Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии; они предпочитают ее крыжовнику для начинки пирогов и используют вместо малины для откорма скота, так как она более питательна, не уступая в то же время малине по вкусу. Тыква – единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если не считать гороха и двух—трех сортов дыни. Однако обычаем сажать тыкву перед домом в качестве декоративного растения выходит из моды, так как теперь всеми признано, что она дает мало тени».

«В настоящее время, когда близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру...»

Взволнованный слушатель подскочил ко мне, пожал мне руку и сказал:

– Будет, будет, этого довольно. Теперь я знаю, что я в своем уме: вы прочли так же, как прочел и я сам, слово в слово. А сегодня утром, сударь, впервые увидев вашу газету, я сказал себе: «Я никогда не верил этому прежде, хотя друзья и не выпускали меня из—под надзора, но теперь знаю: я не в своем уме». После этого я испустил дикий вопль, так что слышно было за две мили, и побежал убить кого—нибудь: все равно, раз я сумасшедший, до этого дошло бы рано или поздно, так уж лучше не откладывать. Я перечел один абзац из вашей статьи, чтобы убедиться наверняка, что я не в своем уме, потом поджег свой дом и убежал. По дороге я изувечил нескольких человек, а одного загнал на дерево, чтоб он был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил все—таки зайти и проверить себя еще раз; теперь я проверил, и это просто счастье для того бедняги, который сидит на дереве. Я бы его непременно убил, возвращаясь домой. Прощайте, сударь, всего хорошего, вы сняли тяжкое бремя с моей души. Если мой рассудок выдержал ваши сельскохозяйственные статьи, то ему уже ничто повредить не может. Прощайте, всего наилучшего.

Меня несколько встревожили увечья и поджоги, которыми развлекался этот тип, тем более что я чувствовал себя до известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал – в комнату вошел редактор! (Я подумал про себя: «Вот если б ты уехал в Египет, как я тебе советовал, у меня еще была бы возможность показать, на что я способен. Но ты не пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя я и не ожидал».)

Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный.

Он долго обозревал разгром, произведенный старым скандалистом и молодыми фермерами, потом сказал:

– Печально, очень печально. Разбиты бутылка с клеем, шесть оконных стекол, плевательница и два подсвечника. Но это еще не самое худшее. Погибла репутация газеты, и боюсь, что навсегда. Правда, на нашу газету никогда еще не было такого спроса, она никогда не расходилась в таком количестве экземпляров и никогда не пользовалась таким успехом, но кому же охота прослыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии? Друг мой, даю вам слово честного человека, что улица полна народа, люди сидят даже на заборах, дожидаясь случая хотя бы одним глазком взглянуть на вас; а все потому, что считают вас сумасшедшим. И они имеют на это право – после того как прочитали ваши статьи. Эти статьи – позор для журналистики. И с чего вам взбрело в голову, будто вы можете редактировать сельскохозяйственную газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы не отличаете бороны от борозды; коровы у вас теряют оперение; вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом и

превосходно ловят крыс! Вы пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. О, гром и молния! Если бы вы поставили целью всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно ваше сообщение, что конский каштан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно навеки погубить газету. Я требую, чтобы вы немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен отпуск – я все равно ни под каким видом не мог бы им пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время дрожал бы от страха при мысли о том, что именно вы посоветуете читателю в следующем номере газеты. У меня темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали об устричных садках под заголовком «Декоративное садоводство». Я требую, чтобы вы ушли немедленно! Мой отпуск кончен. Почему вы не сказали мне сразу, что ровно ничего не смыслите в сельском хозяйстве?

– Почему не сказал вам, гороховый стручок, капуста кочерыжка, тыквин сын? Первый раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу: я четырнадцать лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что—то знать для того, чтобы редактировать газету. Брюква вы этакая! Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не способные отличить вигвам от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому призрения. Вы мне что—то толкуете о газетном деле? Мне оно известно от Альфы до Омахи, и я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше получает жалованья. Видит бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном, бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнял все, что полагалось по нашему договору. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной для всех слоев общества, – и сделал. Я сказал, что увеличу тираж до двадцати тысяч экземпляров, – и увеличил бы, будь в моем распоряжении еще две недели. И я дал бы вам самый избранный круг читателей, какой возможен для сельскохозяйственной газеты, – ни одного фермера, ни одного человека, который мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы даже ради спасения собственной жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте, арбузное дерево!

И я ушел.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МАЛЬЧИКА

Недавно в Сан—Франциско «прилично одетый мальчик, шедший в воскресную школу, был задержан и отправлен в городскую тюрьму за то, что швырял камнями в китайцев».

Какой пример человеческой справедливости! Какое печальное доказательство нашей склонности тиранить слабых! Городу Сан—Франциско не делает чести то, что здесь так поступили с бедным мальчиком. Что внушалось с детства этому ребенку? Откуда ему было

знать, что нехорошо бросать камнями в китайцев? Раньше, чем на него обрушиться, как обрушился на него негодующий Сан—Франциско, дадим ему возможность оправдаться, выслушаем свидетелей защиты.

Это был «прилично одетый» мальчик, ученик воскресной школы. Значит, надо думать, что родители его — люди зажиточные и цивилизованные, которые сохранили лишь ровно настолько дикости, что с жадностью читают газеты и смакуют их содержание. Таким образом, этот мальчик не только по воскресеньям, но и во все другие дни недели имел возможность учиться добру и справедливости.

Он узнал, что власти великой Калифорнии взимают незаконный налог за право разработки прииска с иностранца Джона, в то время как иностранцу Патрику они разрешают бесплатно добывать золото, — вероятно, на том основании, что вырождающийся монгол не расходует ни цента на виски, а утонченный кельт не может жить без этого напитка.

Мальчик узнал, что очень многие сборщики налогов (было бы жестоко обвинять в этом всех) берут с китайцев налог не один, а два раза; и поскольку они это делают исключительно для того, чтобы отбить у китайцев охоту ехать на прииски, их тактика вызывает горячее одобрение и считается верхом изобретательности и остроумия.

Узнал мальчик также, что, когда в чужой лоток с золотым песком запустит руку белый (под белыми разумеются испанцы, мексиканцы, португальцы, ирландцы, гондурасцы, перуанцы, чилийцы и прочие и прочие), — его просто выгоняют из поселка. А если украл китаец — его вешают.

И еще он узнал, что во многих районах обширного Тихоокеанского побережья у населения замечается такая неистовая, стихийная тяга к справедливости, что всякий раз, как совершается таинственное, неразгаданное преступление, люди заявляют: «Хоть бы обрушились небеса, а правосудие должно совершиться!» — и немедленно хватают и вздергивают какого—нибудь китайца.

Таким же образом мальчик открыл, что, судя по одной половине «местной хроники» в газетах, можно думать, будто полиция Сан—Франциско либо спит, либо вымерла, а при чтении другой половины хроники выясняется, что репортеры в неистовом восторге от энергии, честности, усердия и отчаянной храбрости той же полиции. Они с упоением описывают, как «зоркий Аргус, полисмен такой—то, застиг гнусного мошенника—китайца, который намеревался украсть кур, и с триумфом препроводил его в городскую тюрьму»; и как другой доблестный полисмен «украдкой следил за каждым движением ничего не подозревавшего узкоглазого поклонника Конфуция» (скажите после этого, что репортер не остроумен), наблюдая за ним с тем как бы рассеянным, безучастным выражением, которое так умеет напускать на себя это загадочное существо, сорокадолларовый полисмен, когда он не клюет носом; и как он в конце концов застиг китайца в момент, когда тот самым подозрительным образом положил руку на пакетик гвоздей, оставленный владельцем на видном мосте. Репортер усердно расписывает, как один полисмен совершил это великое дело, а другой — то—то, а третий — то—то. И почти всегда их славные подвиги вызваны таким потрясающим событием, как грошовая кража, совершенная китайцем. Провинность этого несчастного раздувают в нечто чудовищное, кричат о ней для того, чтобы публика не заметила, что множество действительно опасных преступников ходит на свободе, а «доблестная» полиция даром получает жалованье.

И вот что еще узнал мальчик: так как благодаря нашей конституции Америка стала убежищем для бедных и угнетенных людей всех стран и с этих обездоленных, ищущих у нас приюта, не разрешается взимать непосильную плату за въезд, то власти издали закон о прививке оспы всем приезжающим китайцам тут же в порту, и за прививку китаец обязан уплатить назначенному штатом чиновнику десять долларов. А между тем любой врач в Сан—Франциско охотно оказал бы ему эту услугу за полдоллара.

Так мальчику стало ясно, что китаец не имеет никаких прав, которые следует уважать, что у него не может быть настоящего горя, а значит, и жалеть его не за что, что жизнь его и свобода не стоят ломаного гроша, когда белым нужен козел отпущения, что китайцев никто

не любит, не дружит с ними и не помогает им. Никто не щадит их, когда представляется случай их обидеть, и решительно все—отдельные люди, общество и даже представители власти — ненавидят, оскорбляют и притесняют этих смиренных и бедных чужеземцев.

После всего этого что могло быть естественнее поступка жизнерадостного мальчика, который весело шел в воскресную школу? В уме его теснились преподанные ему истины, поощрявшие к высоким и благородным подвигам, и он сказал себе мысленно: «Ага! вот идет китаец! Бог меня накажет, если я не брошу в него камнем».

И за это его арестовали и посадили в тюрьму!

Все, решительно все убеждало этого мальчика, что швырять камнями в китайца — благое, хорошее дело. И вот при первой же его попытке выполнить священный долг беднягу карают за это! А ведь ему как нельзя лучше было известно, что для полиции первейшее развлечение — спокойно любоваться, как мясники на Брэннен—стрит натравливают своих собак на ни в чем не повинных китайцев и те бегут сломя голову, спасая свою жизнь^{2*}.

Принимая во внимание уроки гуманности, которые даются молодежи на всем Тихоокеанском побережье, нельзя не удивляться крайней нелепости того взрыва благородного негодования, который на днях заставил «отцов города» в Сан—Франциско торжественно объявить, что «полиции отдан строгий приказ арестовывать за нападения на китайцев всех мальчиков, кто бы они ни были и где бы ни были замечены».

Однако, несмотря на всю непоследовательность такого постановления, порадуемся ему от души! И будьте уверены, что полиция тоже им довольна. Ибо, арестовывая мальчиков (если они маленькие), она не подвергается никакой опасности, а газетные репортеры будут восхвалять ее деяния так же рьяно, как они это делали до сих пор, — надо же о чем—нибудь писать.

В газетах Сан—Франциско, в отделе местной хроники, теперь появится новый тип заметок. Они будут писаться примерно так:

«Неизменно бдительному и энергичному полисмену (следует фамилия) вчера днем удалось задержать малолетнего Томми Джонса после упорного сопротивления...» и так далее, и так далее. За этим будут следовать обычные фактические данные и заключительная фанфара, таящая в себе бессознательный сарказм: «Мы с большим удовлетворением констатируем, что это уже сорок седьмой мальчик, задержанный отважным полисменом со времени вступления в силу нового постановления властей. Полиция развила усиленную деятельность. В полицейских участках царит оживление, какого не запомнят старожилы нашего города».

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ГОВЯЖЬЕГО КОНТРАКТА

Хочу кратко поведать моим соотечественникам о моем скромном участии в этом деле, которое так взволновало общество, породило столько противоречивых суждений и попало на страницы американских и европейских газет в искаженном виде и с нелепыми комментариями.

Я торжественно заявляю, что каждое мое слово может быть полностью подтверждено официальными материалами из федеральных архивов.

Эта грустная история началась так:

² * Я видел много таких сцен, но сейчас мне вспомнилась одна: как мясники с Брэннен-стрит натравили собак на китайца, мирно шедшего мимо с корзиной белья на голове. И в то время как собаки терзали китайца, один из мясников для пушного веселья вышиб ему обломком кирпича несколько зубов. Этот случай с особенно зловещей яркостью врезался мне в память — потому, быть может, что я в то время сотрудничал в одной газете в Сан-Франциско и газета не поместила мою заметку об избиении, так как это могло задеть кое-кого из подписчиков. — М. Т.

Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью—Джерси, заключил примерно 10 октября 1861 года контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Отлично!

Он отправился с говядиной к Шерману, но когда он привез ее в Вашингтон, Шерман ушел в Манассас; он поехал в Манассас, но Шермана там уже не было; он последовал за Шерманом в Нэшвилл, из Нэшвилла в Чаттанугу, из Чаттануги в Атланту, но так и не догнал Шермана. В Атланте он перевел дух и проделал за Шерманом весь поход к морю. Он опоздал опять – всего на несколько дней. Прослышав, что Шерман в кампании других паломников отправился на пароходе «Квакер—Сити» в Святую Землю, он отплыл с говядиной в Бейрут, рассчитывая опередить Шермана. Когда он прибыл в Иерусалим, то узнал, что Шерман не ездил на «Квакер—Сити», а вместо того отправился в прерии воевать против индейцев. Он возвратился в Америку и поехал к Скалистым горам. После семидесятидневного тяжелого странствия в прериях, всего в четырех милях от штаба Шермана, индейцы размозжили ему голову томагавком, оскальпировали его и захватили говядину. Одну бочку, впрочем, армия Шермана у индейцев отбила, и, таким образом, уже будучи мертвым, отважный путешественник частично выполнил свой контракт. В завещании, которое было найдено в его дневнике, он поручил все расчеты с правительством Бертоломью В., своему сыну, и Бертоломью накануне своей кончины составил следующий окончательный счет:

*«Соединенные Штаты, согласно обязательству, выданному покойному
Джону Уилсону Маккензи из штата Нью—Джерси, остались должны:
За тридцать бочек говядины для генерала Шермана
по 100 долларов за бочку – 3000 долл.
Расходы по перевозке говядины и личные путевые издержки – 14000 долл.
Итого: 17000 долл.
Прошу оплатить».*

Этот счет он оставил в наследство Уильяму Джону Мартину, который пытался получить по контракту деньги, но умер, не преуспев в этом деле. Мартин оставил контракт Баркеру Дж. Аллену, и тот тоже сделал попытку получить свои деньги. Не выжил. Баркер Дж. Аллен оставил контракт Энсону Дж. Роджерсу, которому посчастливилось продвинуть контракт до канцелярии девятого ревизора, когда беспощадная смерть прервала и окончила все его земные дела. Он оставил контракт своему родственнику из штата Коннектикут по имени Мстительный Гопкинс. Мстительный Гопкинс продержался четыре недели и еще двое суток, показав лучшие результаты в сезоне. По завещанию контракт перешел к его дяде, которого звали Веселый Джонсон. Его последние слова перед смертью были: «Не рыдайте, я счастлив покинуть сей мир». Бедняга сказал это искренно, от всего сердца. В дальнейшем контракт наследовало еще семь человек. Ни один не остался в живых. Ко мне контракт перешел от родственника по фамилии Хаббард, Вифлеем Хаббард из Индианы. Он долго таил неизбывную злобу против меня и, умирая, призвал к своему одру, сказал, что все мне прощает, и вручил мне контракт на говядину.

На этом оканчивается рассказ о том, как я стал владельцем контракта. Сейчас я поведаю все, что касается моего участия в этом деле. Захватив контракт на говядину и счет за издержки, я отправился напрямик к Президенту Соединенных Штатов Америки.

Он сказал:

– Я вас слушаю, сэр.

Я сказал:

– Ваше величество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат

Нью—Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Он прервал мою речь и учтиво, но твердо дал мне понять, что аудиенция окончена. На другой день я отправился к Государственному секретарю.

Он сказал:

— Я вас слушаю, сэр.

Я сказал:

— Ваше королевское высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью—Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

— Довольно, сэр, хватит. Мое министерство не имеет касательства к поставкам говядины.

Меня вывели под руки. Продумав все заново, я на следующее утро направился к морскому министру, который встретил меня словами:

— Ну, сэр, выкладывайте, не заставляйте меня долго ждать.

Я сказал:

— Ваше высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью—Джерси, заключил контракт на поставку генералу Шерману тридцати бочек говядины...

Он не дал мне закончить. Его министерство, изволите видеть, тоже не имеет касательства к поставкам для Шермана. Невольно рождалась мысль, что члены правительства ведут себя необъяснимо. Было похоже, что они просто не хотят платить за говядину. На следующий день я пошел к министру внутренних дел.

Я сказал:

— Ваша светлость, примерно десятого октября...

— Хватит, довольно. Я уже слышал о вас. Вон с вашим мерзким контрактом! Министерство внутренних дел не ведает снабжением армии.

Я ушел. Но я ожесточился душой. Я поклялся, что буду преследовать их как тень. Я буду осквернять своим нечистым присутствием все министерства одно за другим, пока контракт на говядину не будет оплачен. Я получу с них что следует или же с честью паду, как пали мои предшественники.

Я атаковал министерство связи. Я устроил подкоп под министерство сельского хозяйства. Я напал из засады на спикера Палаты представителей. Все они, как один, утверждали, что не имеют касательства к воинским поставкам говядины. Тогда я перешел в наступление на директора Бюро по оформлению патентов.

Я сказал:

— Ваше превосходительство, примерно десятого...

— О пламя преисподней! Вы уже добрались и до нас! Но мы не имеем решительно никакого отношения к говяжьим контрактам для армии, дорогой сэр.

— Пусть так, но кто—то заплатит мне за эту говядину! Послушайте, если мне не уплатят немедленно, я конфискую ваше Бюро вместе со всем имуществом.

— Послушайте, дорогой сэр...

— Не желаю никаких объяснений. Я считаю, что Патентное бюро отвечает за этот контракт. Можете не соглашаться, как угодно, а деньги на бочку!

Излагать дальнейший ход нашей беседы было бы затруднительно. Мы перешли к рукопашной. Победило Бюро. Но и я извлек для себя некую пользу. Я узнал там, что мне нужно пойти в Казначейство. Прождав два с половиной часа, я попал на прием к первому лорду нашего Казначейства. Я сказал:

— Благороднейший и досточтимый синьор, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи...

– Можете не продолжать, сэр. Я слышал о вас. Обратитесь к первому ревизору.

Так я и сделал. Первый ревизор направил меня ко второму, второй ревизор – к третьему, а третий адресовал меня к первому контролеру Подотдела говядины. Я счел это добрым признаком. Тот проверил все свои книги, но не нашел ничего о говяжьем контракте. Я обратился ко второму контролеру Подотдела говядины. Он проверил бумаги, но опять без успеха. Это меня раззадорило. За неделю я добрался до шестого говяжьего контролера. Вторую неделю я посвятил Отделу претензий. На третью неделю, рассчитавшись с Отделом пропавших контрактов, я вступил в Подотдел посмертных расчетов и прикончил его за три дня. Оставалась последняя крепость – отдел Всякой Всячины. Я атаковал начальника Всячины, точнее его канцелярию, сам начальник отсутствовал. Шестнадцать очаровательных юных девиц вносили реестровые записи во входящие книги, семь обворожительных юношей давали им руководящие указания. Юные девицы улыбались молодым людям, те улыбались девицам, и дело шло весело, как свадебный перезвон. Два—три клерка, углубившись в газеты, окинули было меня недоброжелательным взглядом, но затем вернулись к газетам и никто во всей Всячине не обращал на меня никакого внимания. С того первого дня, когда я переступил порог канцелярии Говяжьих контрактов, и вплоть до минуты, когда я захлопнул дверь Подотдела посмертных расчетов, я успел досконально узнать, что такое любезность младшего помощника четвертого клерка. Я так понаторел в этом деле, что мог почти не качаясь стоять на одной ноге, пока клерк не поднимет на меня любознательный взгляд – ну, может быть, раз или два сменив уставшую ногу.

Здесь я сменил уставшую ногу ровно четыре раза. Потом я сказал одному из клерков, читавших газету:

– Эй, голодранец, где великий султан?

– Что такое, сэр? О ком речь? Если вы имеете в виду начальника Всячины, то его нет.

– Посетит он сегодня гарем?

Молодой человек окинул меня негодующим взглядом и уткнулся в газетный лист. Я был спокоен. Я изучил этих клерков. Важно только одно, чтобы он покончил со своими газетами раньше, чем принесут пачку свежих, нью—йоркских. Оставалось всего две газеты. Просмотрев их, он сладко зевнул и спросил, что мне надобно.

– Почтеннейший несмышлениш, примерно...

– Вы человек с говяжьим контрактом? Давайте сюда бумаги.

Он взял у меня бумаги и стал рыться в своей Всякой Всячине. Затем этот клерк совершил открытие, равное открытию Северо—Западного прохода: он обнаружил затерянную запись о говяжьем контракте! Так вот он подводный камень, на котором терпели крушение все, кто предшествовал мне и не добрался до цели! Я был глубоко потрясен. В то же время я ликовал – ура, я остался в живых! Прерывающимся голосом я сказал молодому клерку:

– Дайте сюда документ. Я улажу все сам с правительством.

Он холодно отстранил меня и сказал, что имеются кое—какие формальности.

– Где теперь Джон Уилсон Маккензи? – спросил он меня.

– Мертв.

– Скончался?

– Убит.

– При каких обстоятельствах?

– Ему размозжили голову томагавком.

– Кто размозжил ему голову томагавком?

– Индеец, понятное дело. Уж не думаете ли вы, что это сделал директор воскресной школы?

– Нет, не думаю. Значит, индеец?

– Я уже это сказал.

– Как звали индейца?

– Как звали индейца? Я не знаю, как его звали.

– Придется узнать. Скажите, видел ли кто, как индейцы размозжили Маккензи голову томагавком?

– Не знаю.

– Вы лично присутствовали?

– Нет, это легко угадать по состоянию моего черепа.

– Почему же вы так уверены, что Маккензи скончался?

– Потому что как только его убили, он сразу стал мертвым, а будучи мертвым, оставался мертвым и далее. Смею вас в этом заверить.

– Нужны доказательства. Индеец при вас?

– Нет, понятное дело.

– Придется его привезти. Томагавк не при вас?

– Томагавк?! Боже милостивый!!

– Томагавк придется представить. И индейца и томагавк. Если с помощью этих улик вам удастся удостоверить кончину Маккензи, вы получите право толкнуть ваше дело в Комиссии по претензиям – с тем чтобы ваши потомки до своей неизбежной кончины успели получить что им следует. Впрочем, сперва надлежит доказать кончину Маккензи. Далее замечу, что наше правительство не станет оплачивать вам ни перевозку говядины, ни путешествия столь горячо оплакиваемого вами Маккензи. Допускаю, что вам заплатят за ту бочку говядины, которая досталась солдатам, да и то лишь в том случае, если вы добьетесь специального ассигнования в Конгрессе. За съеденные индейцами двадцать девять бочек говядины правительство платить вам не будет.

– Выходит, мне следует только сто долларов, да и то без гарантии! После всех странствий Маккензи с говядиной по Европе, Азии и Америке! После всех жертв, страданий и перевозок! После избиения невинных младенцев, пытавшихся взыскать деньги по этому счету! Скажите, молодой человек, почему первый контролер Подотдела говядины не сказал мне об этом сразу?

– Он не знал, насколько обоснованна ваша претензия.

– Ну, а почему молчал второй контролер, почему молчал третий? Почему молчали все отделы и подотделы?

– Никто не мог ничего сказать вам заранее. Дела ведутся у нас в определенном порядке. Вы теперь познакомились с нашим порядком и знаете все, что хотели узнать. Наш порядок – прекрасный порядок, единственно возможный порядок. Дело вершится постепенно, без спешки. Зато результаты – верные!

– Да, верная гибель! Так погибли мои предшественники, так погибну и я! Я вижу, молодой человек, что вы влюблены без памяти в это прелестное существо с голубыми глазами и стальным пером за ухом. Я читаю страсть в ваших взорах. Вы хотите жениться на ней, но у вас мало денег. Вот, держите, я дарю вам свой говяжий контракт. Венчайтесь и будьте счастливы! Да благословит вас всевышний, дети мои!

Вот и все, что я знаю о великом говяжьем контракте, который вызвал в свое время столько толков и шума.

Клерк, которому я подарил свой контракт, недавно скончался. Больше я ничего не слышал ни о контракте, ни о его дальнейших владельцах. Скажу только одно: если человек наделен долголетием и готов всю долгую жизнь тащить свое дело через Министерство околичностей в нашей стране, может статься ему повезет – и тогда ценою бесчисленных усилий он узнает, приблизясь к кончине, то, что узнал бы немедленно, в первый же день в самой обыкновенной торговой конторе.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ДЕЛА ДЖОРДЖА ФИШЕРА, НЫНЕ ПОКОЙНОГО

На сей раз я выступаю в роли историка. Не сочтите мой рассказ игрой необузданного воображения, подобно «Великому говяжьему контракту Джона Уилсона Маккензи». Перед Вами фактическое изложение дела, которым Конгресс Соединенных Штатов занимался, с известными перерывами, ни много ни мало – полвека.

Я мог бы сразу назвать это дело великим бессмертным и неустанным запускаям рук в карманы казны и американского народа, но я воздержусь. Судебного решения по делу мы не имеем, и не пристало писателю бранить и клеймить голословно. Я ограничусь фактами, пусть читатель сам произнесет приговор. Тогда будет соблюдена справедливость и наша совесть будет чиста.

1. В период войны с индейцами племени «крик» во Флориде, примерно 1 сентября 1813 года, то ли по вине тех индейцев, то ли по вине гнавших их американских солдат пострадало имущество гражданина Соединенных Штатов Америки мистера Джорджа Фишера – дома со службами, посеы и скот. По действовавшему в ту пору закону, если в потерях Фишера повинны были индейцы, убытки никто не платил; но, если их причинила американская армия, правительство должно было заплатить Фишеру доллар за доллар.

Как видно, Джордж Фишер держался того мнения, что его имущество погубили индейцы, потому что, хотя он прожил еще несколько лет, он ни разу не пытался требовать от правительства возмещения убытков.

Время шло, Фишер скончался, его вдова вышла замуж вторично. Год за годом протекло двадцать лет, и уже мало кто помнил о набегах индейцев на фишеровские поля, когда новый муж вдовы Фишера обратился в Конгресс с ходатайством о возмещении убытков. Он сопровождал свое требование многочисленными письменными свидетельствами, в которых указывалось, что собственность Фишера погибла по вине американских солдат; что солдаты, по причине, оставшейся нам неизвестной, преднамеренно сожгли «дом» (ручаюсь, жалкую хижину!) ценою в шестьсот долларов, принадлежавший мирному частному гражданину, а также уничтожили различное другое имущество, принадлежавшее тому же лицу. Конгресс, однако, отказался поверить, что солдаты, рассеяв кучку индейцев, истреблявших имущество Фишера, решили (как видно, в припадке безумия) истреблять его дальше и завершить работу индейцев. Конгресс отверг претензию наследников Фишера и не заплатил им ни цента. Это было в 1832 году.

В течение последующих шестнадцати лет не отмечалось каких—либо новых попыток со стороны наследников Фишера напасть на государственную казну. Современники владельца пострадавших полей состарились и постепенно сошли в могилу. Но в 1848 году объявился новый выводок наследников Фишера и потребовал возмещения убытков. Второй ревизор Казначейства вознаградил их суммой в 8873 доллара, указав, что это половина стоимости имущества Фишера. Ревизор добавил, что, согласно поступившим свидетельствам, по меньшей мере половина убытков была причинена индейцами «крик» еще до того, как войска принялись их преследовать, и что за эту первую половину правительство материальной ответственности никак не несет.

2. Указанные факты относятся к апрелю 1848 года. Но уже в декабре наследники Джорджа Фишера снова явились и потребовали проверки произведенного с ними расчета. Проверка ничего не дала им, не считая ста долларов, недополученных по чьей—то ошибке. Однако, чтобы поддержать дух наследников Фишера, ревизор Казначейства счел нужным придать их претензии обратную силу и уплатить им проценты по выданной сумме, начиная со дня подачи первого требования (1832) и вплоть до того дня, когда их претензия обрела силу закона. Фишеры уехали в отличнейшем настроении. Проценты за шестнадцать лет на 8873 доллара составили 8997 долларов 94 цента. Всего, таким образом, было уплачено 17870 долларов 94 цента.

3. В течение целого года Фишеры сохраняли спокойствие, в каком—то смысле были даже довольны. Затем они с новой силой обрушились на казну, требуя новой защиты своих интересов. И тогда, покопавшись в фишеровских заплесневелых бумагах, старый заслуженный патриот, генеральный прокурор Тауси изыскал еще один способ обласкать

обнищавших страдальцев. Он велел дополнительно исчислить проценты на присужденную Фишерам сумму со дня уничтожения их мифического имущества (1813) и далее до 1832 года! Вот вам еще 10 004 доллара и 89 центов для безутешных сирот. Итак, Фишерам было выплачено: во—первых, 8873 доллара в возмещение убытков; во—вторых, проценты на эту сумму, считая с 1832 по 1848 год, – 8997 долларов 94 цента; в—третьих, проценты на ту же сумму, считая с 1813 года, – 10004 доллара 89 центов. Общая сумма 27 875 долларов 83 цента! Из этого я заключаю, что вернейший способ обеспечить своего правнука за шестьдесят – семьдесят лет до его рождения – позвать к себе в гости индейцев, упротить их сжечь кукурузное поле, а потом возложить материальную ответственность на буйнопомешанных американских солдат.

4. Этому трудно поверить, но Фишеры не появлялись в Конгрессе с дальнейшими жалобами целых пять лет, или, что более правдоподобно, пять лет не могли до него добраться. Наконец, в 1854 году их попытка увенчалась успехом. Вняв доводам Фишеров, Конгресс предписал ревизору Казначейства снова проверить их дело. Тут Фишерам крупно не повезло: на посту министра финансов оказался Джеймс Гутри, порядочный человек, и он их подвел. Он заявил во всеуслышание, что Фишерам не причитается никаких новых выплат, что эти многострадальные дети печали и так извлекли из казны много больше, чем следовало.

5. Последовал период отдыха и безмолвия, он продолжался около четырех лет, до 1858 года включительно. На посту военного министра находился тогда пресловутый Джон Флойд – «свой человек на своем месте». Вот в ком таился государственный ум, вот кто поддержал бодрый дух наследников умершего и позабытого Фишера! Они хлынули из Флориды как океанский прилив, исполинский вал Фишеров, нагруженных все теми же заплесневелыми документами, все о тех же бессмертных кукурузных полях их прародителя. Не сходя с места они добились передачи своего дела от непонятливого казначейского ревизора сообразительному Джону Б.Флойд. Что же сказал им Флойд? Он сказал: «Безусловно доказано, что еще до прихода солдат индейцы уничтожили все, что смогли». Что же индейцы смогли уничтожить? Мелочишку – дом с мебелью и спиртные напитки – небольшую долю имущества Фишеров, оцененную всего—навсего в 3200 долларов. Ну а после того войска прогнали индейцев и не спеша приступили к дальнейшему уничтожению основного имущества Фишеров, а именно – истребили двести двадцать акров кукурузных полей, тридцать пять акров пшеницы и девятьсот семьдесят шесть голов фишеровского скота. Такая у нас в ту пору была, на удивление, разумная армия, – если верить, конечно, суждению мистера Флойда. (Конгресс 1832 года придерживался по тому же вопросу иного мнения.)

Итак, мистер Флойд указал, что правительство не несет материальной ответственности за мелочишку, уничтоженную индейцами и оцененную в 3200 долларов, но зато отвечает за все, что уничтожила армия. Привожу этот список по отчету Сената:

Кукуруза на Бассет—Крик – 3000 долл.

Рогатый скот – 5000 долл.

Свиньи – 1050 долл.

Подсвинки – 1204 долл.

Пшеница – 350 долл.

Кожу – 4000 долл.

Кукуруза на Алабама—Ривер – 3500 долл.

Итого: 18104 долл.

Эту сумму в своем докладе Флойд именует «полной стоимостью уничтоженного войсками имущества». Он присуждает ее подыхающим с голоду Фишерам вместе с процентами на всю эту сумму с 1813 года и по день ее выплаты. За вычетом ранее полученных денег Фишерам вручили жирный остаточек – чуть поменьше сорока тысяч

долларов. И, убогатворенные, они отступили к себе во Флориду. Ферма их прародителя принесла им к этому времени около 67 000 долларов.

6. Уж не вообразил ли читатель, что дело на этом кончилось и бедняги Фишеры удовольствовались достигнутым? Вот дальнейшие факты.

Фишеры бездействовали ровно два года. Вслед за тем, нагруженные все теми же древними документами, орды Фишеров ринулись из флоридских болот и осадили Конгресс. 1 июня 1860 года Конгресс капитулировал и предписал мистеру Флойду переворочить дело заново. Чиновнику Казначейства было приказано проверить все документы и доложить мистеру Флойду, сколько с Конгресса еще причитается изнуренным нуждою Фишерам.

Этот чиновник (я готов назвать его имя по первому требованию) обнаружил в документах вопиющий подлог: флоридские цены 1813 года на кукурузу были завышены вдвое против ранее указанных. Обнаруживший это чиновник не только осведомил своего начальника, но и особо отметил подлог и мошенничество в своей докладной записке. Эта часть докладной записки не дошла до Конгресса. В сообщении Конгрессу нет ни слова об этом подлоге Фишеров. Преспокойно основываясь на удвоенных ценах и полностью игнорируя доказанный факт мошенничества, мистер Флойд утверждает в своем новом докладе, что «представленные документы, в особенности же те, в которых говорится о ценах на кукурузу, показывают, что компенсация, ранее предусмотренная, была недостаточной». Мистер Флойд начинает с того, что исчисляет урожай кукурузы по шестьдесят бушелей с акра, то есть вдвое против того, что дает земля во Флориде. Затем, «стремясь к экономии», он рекомендует уплатить Фишерам лишь за половину неснятого урожая, но зато из расчета по два с половиной доллара за бушель. И это в то время, когда флоридские цены 1813 года на кукурузу были доллар с четвертью – полтора, ни на цент более, о чем прямо сказано в документах, представленных теми же Фишерами до совершенного ими подлога и напечатанных в пожелтевших отчетах, хранящихся в библиотеке Конгресса. Что делает далее мистер Флойд? Он еще раз берет перо («с твердым намерением неукоснительно выполнить волю Конгресса»), как торжественно он предваряет) и строчит новый список фишеровских убытков, где об индейцах вообще нет ни слова. Индейцы вообще не участвовали в уничтожении фишеровского имущества. Мистер Флойд отказался от кощунственной мысли, что индейцы племени «крик» сожгли дом, распилили фишеровские вина и побили фишеровскую посуду; теперь все убытки с начала и до конца он относит за счет буйнопомешанных американских солдат. Не довольствуясь этим, он использует фишеровский подлог, чтобы удвоить выплату денег за кукурузное поле на Бассет—Крик, и использует его снова, чтобы утроить выплату денег за кукурузное поле на Алабама—Ривер.

Хочу познакомить вас с этим отлично задуманным и столь же блистательно выполненным произведением мистера Флойда (заимствую его из печатных отчетов Сената):

«По денежным расчетам правительства Соединенных Штатов Америки с Джорджем Фишером, ныне покойным, наследникам причитается:

За 1813 год:

550 голов рогатого скота по 10 долл. за голову – 5500 долл.

Подсвинки 86 голов – 1204 долл.

Свиньи 350 голов – 1750 долл.

100 акров кукурузы на Бассет—Крик – 6000 долл.

8 бочонков виски – 350 долл.

2 бочонка коньяку – 280 долл.

1 бочонок рому – 70 долл.

Запасы мануфактуры, галантереи и до – 1100 долл.

35 акров пшеницы – 350 долл.

Кожу 2000 штук – 4000 долл.

Запасы мехов и шляп – 600 долл.

Запасы посуды – 100 долл.

Кузнечный и плотницкий инструмент – 250 долл.

*Сожженные и разрушенные дома – 600 долл.
4 дюжины бутылок вина – 48 долл.*

За 1814 год:

*120 акров кукурузы на Алабама—Ривер – 9500 долл.
Урожай гороха, кормовых трав и пр. – 3250 долл.
Итого: 34952 долл.*

*Проценты на сумму 22202 доллара,
считая с июля 1813 года
по ноябрь 1860 года,
всего за 47 лет и 4 месяца – 63053 долл. 68 ц.
Проценты на сумму 12750 долларов,
считая с сентября 1814 года
по ноябрь 1860 года,
всего за 46 лет и 2 месяца – 35317 долл. 50 ц.
Итого: 133323 долл. 18 ц.*

Как видите, он не позабыл ни единой мелочи. Индейцам не дал отхлебнуть вина (плодоягодного) и даже побить посуду. В непостижимой ловкости рук Джон Б.Флойд не имел себе равных среди современников. Да, пожалуй, и тех, что сошли до него в могилу. Вычтя из указанной итоговой суммы 67 000 долларов, уже ранее выплаченных неукротимым наследникам Фишера, мистер Флойд объявляет, что им причитается еще с государства 66 519 долларов и 85 центов, «каковая сумма, – как эпически он заключает, – подлежит выплате наследникам Джорджа Фишера, ныне покойного, или уполномоченному ими на то лицу».

Но тут на беду наших несчастных сирот вступил на свой пост вновь избранный президент. Бьюкенен и Джон Флойд удалились из Белого дома, и наследники Фишера денежек не получили.

Новый, собравшийся в 1861 году Конгресс немедленно аннулировал решение от 1 июня 1860 года, под прикрытием которого Флойд строчил свои импровизации. А затем мистер Флойд и наследники Фишера в силу причин, от них не зависящих, отложили свои финансовые махинации до лучших времен и надели мундир южной армии.

Быть может, вы думаете, что наследники Джорджа Фишера погибли в сражениях? Ничуть не бывало. Они снова здесь, в Вашингтоне (я пишу это в июле 1870 года). Через посредство широко известного своей крайней застенчивостью и способностью густо краснеть Гаррета Дэвиса они требуют от Конгресса новых выплат по своему десятимильному счету за кукурузу и виски, съеденные и выпитые буйной толпой индейцев во времена столь от нас отдаленные, что даже бюрократы в правительственных канцеляриях не в силах толком решить кто, что и когда там съел.

Таковы фактические обстоятельства этого дела. Я изложил их с педантизмом историка. Если у кого—нибудь еще остались сомнения, пусть он обратится в Сенатский архив в Капитолии и спросит 21—й том «Отчетов Палаты представителей» 2—й сессии Конгресса 36—го созыва и 106—й том «Сенатских отчетов» 2—й сессии Конгресса 41—го созыва. Дело изложено полностью в 1—м томе «Отчетов» Суда по разбору претензий.

Лично я твердо уверен, что пока стоит американский материк, наследники Джорджа Фишера, ныне покойного, будут продолжать свои паломничества в Вашингтон из флоридских болот за очередной порцией денежек (получая последнюю выплату, они заявили, что доселе полученное составляет лишь четвертую часть того, что им причитается за плодородное кукурузное поле их предка) и что они отыщут всегда очередного Гаррета Дэвиса, чтобы протаскивать свои людоедские счета через Конгресс.

Добавлю: это не единственный многолетний мошеннический заговор против многострадальной казны (спешу снова оговориться, что факт жульничества по суду не

доказан), преспокойно передаваемый от отца к сыну, из одного поколения в другое.

РАССКАЗ О ХОРОШЕМ МАЛЬЧИКЕ

Жил на свете один хороший мальчик по имени Джейкоб Блайвенс. Он всегда слушался родителей, как бы нелепы и бессмысленны ни были их требования; он постоянно сидел над учебниками и никогда не опаздывал в воскресную школу; он не пропускал уроков и не бил баклуши даже тогда, когда трезвый голос рассудка подсказывал ему, что это было бы самое полезное для него времяпрепровождение. Все другие мальчики никак не могли его понять — очень уж странно Джейкоб вел себя. Он никогда не лгал, как бы выгодно это ни было в иных случаях. Он утверждал, что лгать нехорошо, и больше ничего знать не хотел! Да, честен он был просто до смешного! Странности этого Джейкоба превосходили всякую меру. Он не хотел играть в шарики по воскресеньям, не разорял птичьих гнезд, не совал обезьянке шарманщика накаленных на огне медяков. Словом, этот Джейкоб не имел ни малейшей склонности к каким бы то ни было разумным развлечениям. Другие мальчики пробовали иногда объяснить себе, почему это так, пытались его понять, но ничего из этого не вышло. И, как я уже говорил, у них только создалось смутное впечатление, что Джейкоб немного "тронутый", — поэтому они взяли его под свое покровительство и никому не давали в обиду.

Наш хороший мальчик читал все книжки, рекомендованные для воскресных школ, и находил в этом величайшую отраду. Весь секрет был в том, что он свято верил этим книгам, верил в примерных мальчиков, о которых там рассказывается. Он мечтал хоть раз встретить в жизни такого мальчика, не ни разу не встретил. Должно быть, они все вымерли раньше, чем Джейкоб родился. Всякий раз, как ему попадалась книжка о каком—нибудь особенно добродетельном мальчике, он спешил перелистать ее и заглянуть да последнюю страницу, чтобы узнать, что с ним случилось. Джейкоб готов был пройти пешком тысячи миль, чтобы посмотреть на такого мальчика. Но это было бесполезно: всякий хороший мальчик неизменно умирал в последней главе, и на картинке были изображены его похороны. Все его родственники и ученики воскресной школы стояли вокруг могилы в чересчур коротких штанах и чересчур больших шляпах, и все утирали слезы платками размером ярда в полтора. Да, таким—то образом Джейкоб всегда обманывался в своих надеждах: никак ему не удавалось встретить добродетельного мальчика, потому что все они умирали в последней главе.

У Джейкоба была одна высокая мечта: что о нем напишут в книжке для воскресных школ. Ему хотелось, чтобы его изобразили на картинке в тот момент, когда он героически решает не лгать матери, а она плачет от радости; или чтобы он был изображен на пороге, когда подает цент бедной женщине с шестью ребятишками и говорит ей, что она может тратить эти деньги как хочет, но расточительной быть не следует, потому что расточительность — большой грех. И еще Джейкоб мечтал, чтобы на картинках показали, как он великодушно отказывается выдать скверного мальчишку, который постоянно подстерегает его за углом, когда он возвращается из школы, колотит его палкой по голове и гонится за ним до самого дома, крича: "Н—но! Н—но! Вперед!" Такова была честолюбивая мечта юного Джейкоба Блайвенса. Ему хотелось попасть в книгу для воскресных школ. Правда, иногда ему бывало не по себе при мысли, что хорошие мальчики в этих книжках почему—то непременно умирают. Ему, видите ли, жизнь была дорога, и такая особенность хороших мальчиков его сильно смущала. Джейкоб убеждался, что быть хорошим — очень вредно для здоровья, знал, что такая сверхъестественная добродетель, какую описывают в книжках, для мальчика губительнее чахотки. Да, он знал, что все хорошие мальчики недолговечны, и больно было думать, что если о нем и напишут когда—нибудь в книжке, ему этого прочитать не придется, а если книга выйдет до его смерти, она будет не такая интересная, потому что в конце не будет картинки с изображением его похорон. Что уж это

за книжка для воскресной школы, если в ней не будет рассказано, как он, умирая, наставлял людей на путь истинный! Однако ему оставалось только примириться с обстоятельствами, и в конце концов он решил делать все, что в его силах, — то есть жить праведно, быть стойким и подготовить заранее речь, которую он произнесет, когда настанет его смертный час.

Но почему—то этому славному мальчику не везло! Никогда ничего не происходило в его жизни так, как бывает с хорошими мальчиками в книжках. Те всегда жили припеваючи, и ноги ломали себе не они, а скверные мальчишки. А с Джейкобом что—то было неладно — все у него выходило наоборот. Когда он увидел, как Джим Блейк рвет чужие яблоки, и подошел к дереву, чтобы прочесть Джиму рассказ о том, как другой воришка упал с яблони соседа и сломал себе руку, Джим действительно свалился, но не на землю, а на него, Джейкоба, и сломал руку не себе, а ему, а сам остался цел и невредим. Джейкоб был в полнейшем недоумении: в книжках ничего подобного не случалось.

В другой раз, когда какие—то негодники толкнули слепого в лужу, а Джейкоб бросился к нему на помощь, уверенный, что бедняга будет благословлять его, — слепой "благословил" его палкой по голове и закричал:

— Ишь, пихнул в грязь, а теперь прикидывается, будто помочь хочет! Ну, попадись ты мне в другой раз!

Это не лезло ни в какую книгу! Джейкоб перелистал их все, чтобы проверить, бывают ли такие случаи, но ничего не нашел.

Очень хотелось Джейкобу встретить хромого бездомную собаку, голодную и забитую, привести ее к себе домой, ухаживать за ней и заслужить ее вечную благодарность! И вот наконец ему попался такой пес, и Джейкоб был счастлив. Он привел пса домой и накормил, но когда хотел его погладить — пес бросился на него и разорвал на нем сзади всю одежду, так что Джейкоб представлял собой потрясающее зрелище! В надежде найти всему этому какое—нибудь объяснение, Джейкоб изучал авторитетнейшие источники, но так ничего и не понял. Собака была той же породы, как и те, которых в книгах встречали добрые мальчики, а вела себя совершенно иначе.

Да, что бы ни делал наш Джейкоб, он всегда попадал впросак. Те самые поступки, за которые мальчики в книгах получали награду, для него оказывались невыгодными и приносили ему одни неприятности.

Однажды по дороге в воскресную школу, он увидел, что несколько скверных мальчиков поехали кататься на лодке под парусом. Это его очень расстроило: ведь он знал из книг, что те, кто в воскресенье катается на лодке, непременно тонут. И вот он вскочил на плот и поплыл за ними вдогонку, чтобы их предостеречь, но одно бревно под ним перевернулось, и он упал в воду. Его сразу вытащили, врач выкачал из него воду и спас его, нагнав ему воздух в легкие. Но Джейкоб успел простудиться и пролежал в постели больше двух месяцев. А самое непостижимое во всей этой истории было то, что дурные мальчики весь день благополучно катались на лодке и вернулись домой как ни в чем не бывало, живые и здоровые. Джейкоб Блайвенс был просто ошеломлен. Он уверял, что в книгах таких вещей никогда не бывает.

Выздоровев, он, хотя и был уже немного обескуражен, решил все же не отступать. Правда, все его подвиги до сих пор для книги не годились, но ведь еще не истек срок, который положен таким хорошим мальчикам, и Джейкоб надеялся, что все—таки его будет за что увековечить в книге, если он стойко продержится до конца. Даже если во всем другом его будет преследовать неудача, у него остается в запасе предсмертная речь!

Он снова обратился к авторитетным источникам и решил, что сейчас пришло для него время стать юнгой и уйти в море. Он отправился к одному капитану корабля и предложил свои услуги, а когда капитан потребовал рекомендаций, он с гордостью предъявил ему религиозную брошюру и указал на надпись: "Джейкобу Блайвенсу от любящего учителя". Но капитан оказался пошлым грубияном и сказал:

— К черту эту ерунду! Это вовсе не доказательство, что ты сумеешь мыть посуду и управляться с помойным ведром. Нет, пожалуй, ты мне не подойдешь!

Это было уже что—то из ряда вон выходящее! Ничего подобного Джейкоб в жизни не слышал! Во всех прочитанных им книгах трогательная надпись учителя на брошюрке неизменно будила самые нежные чувства в сердцах суровых капитанов, открывала путь ко всем почетным и выгодным должностям, какие они могли предоставить. А тут... Джейкоб просто ушам своим не верил!

Трудно приходилось этому мальчику! В жизни все оказывалось совсем не таким, как в книгах, которым он свято верил. Наконец однажды, когда он слонялся в поисках дурных детей, чтобы их увещевать, он наткнулся на целую ватагу в старой литейне. Эти шалопаи развлекались тем, что, связав вместе длинной вереницей четырнадцать или пятнадцать собак, привязывали к их хвостам, в виде украшения, пустые жестянки из—под нитроглицерина. Сердце у Джейкоба дрогнуло. Он сел на одну из банок (ибо, когда нужно было исполнить долг, никакая грязь его не пугала) и, ухватив за ошейник переднюю собаку, обратил укоризненный взор на негодного Тома Джонса. Но как раз в эту минуту на сцене появился разъяренный олдермен Мак—Уэлтер. Все скверные мальчишки разбежались, а Джейкоб Блайвенс встал спокойно, в полном сознании своей невинности, и начал одну из тех полных достоинства речей, которыми изобилуют книги для воскресных школ и которые всегда начинаются словами: "О сэр!", хотя в жизни никакой мальчик, ни хороший, ни дурной, так не говорит. Однако олдермен не стал слушать Джейкоба. Он схватил его за ухо, повернул спиной к себе и дал ему хорошего шлепка...

И вдруг этот добродетельный мальчик пулей пролетел через крышу и взмыл к небу вместе с останками пятнадцати собак, которые тянулись за ним, как хвост за бумажным змеем. Не осталось на земле следа ни от грозного олдермена, ни от старой литейни. А юному Джейкобу Блайвенсу так и не пришлось произнести сочиненную им с таким трудом предсмертную речь, — разве что он обратился с ней к птицам в поднебесье. Большая часть его, правда, застряла на верхушке дерева в соседнем округе, но все остальное рассеялось по четырем приходам, так что пришлось произвести пять следствий, чтобы установить, мертв он или нет и как все это случилось. Никогда еще свет не видел мальчика, который бы до такой степени разбрасывался^{3*}.

Так погиб хороший мальчик, который, как ни старался, не мог уподобиться героям книг для воскресной школы. Все мальчишки, поступавшие так, как он, благоденствовали, а он — нет. Это поистине удивительный случай! Объяснить его, вероятно, так и не удастся.

ОТЧАЯННАЯ ЖЕНЩИНА

(Рассказ одного судьи)

— Сидя вот здесь, за этой старой кафедрой, — сказал судья, — я председательствовал, когда разбиралось дело одного здорового наглого испанца, самого настоящего головореза; судили его за убийство мужа хорошенькой, бойкой мексиканки. Стоял знойный летний день, он длился бесконечно, и свидетели были несносны. Никто не проявлял ни малейшего интереса к делу, кроме неутомимой, беспокойной мексиканки, сущего дьявола в юбке; вы сами знаете, как эти люди любят и ненавидят, а мексиканка любила своего мужа всеми силами души; теперь любовь ее обратилась в ненависть к убийце, которая так и пылала в ее глазах, и казалось — вот—вот испепелит испанца.; признаюсь, и меня иногда задевал за живое этот жгучий, подобный молнии взгляд. Итак, я скинул свое облачение, поднял ноги и сидел, развалясь и обливаясь потом, раскуривая одну из тех сигар, которые весьма напоминали капустные листья, — в те времена в Сан—Франциско считалось, что и

³ * О подобной катастрофе с нитроглицерином я прочел в одной газете. Я назвал бы вам фамилию автора заметки, если бы знал ее. *М. Т.*

такие для нас сойдут. Адвокаты тоже разоблачились и, не обращая никакого внимания на ход дела, курили; так же вели себя свидетели и сам обвиняемый. Но правде говоря, в те времена дело об убийстве и не могло никого заинтересовать, в таких случаях неизменно выносился вердикт — «не виновен», так как присяжные надеялись, что обвиняемый когда—нибудь сам окажет им подобную услугу. Вот и в тот раз, хоть все улики прямо и недвусмысленно говорили против обвиняемого, мы знали: если мы его осудим, нас заподозрят в самовольстве и в желании бросить тень на всех джентльменов города; в те времена не было выездов и ливрейных лакеев, на принадлежность к «высшему обществу» мог претендовать лишь тот, кто хоть нескольких человек отправил к праотцам. Но эта женщина, видно, решила но что бы то ни стало отправить испанца на виселицу; видели бы вы, как она то бросала на него полный ненависти взгляд, то умоляюще глядела на меня, то засматривала в лица присяжных, потом закрывала лицо руками, как будто потеряв всякую надежду, и через секунду снова оживала, полная силы и огня. Но когда присяжные объявили вердикт — «не виновен» и я сказал обвиняемому, что он свободен и может идти, женщина встала и выпрямилась во весь рост; она стояла высокая и величественная, как военное судно, имеющее на своем борту семьдесят четыре пушки. И она заговорила!

— Судья, не хотите ли вы сказать, что человек, убивший моего мужа на глазах у меня и моих крошек без всякой на то причины, получил по заслугам все, что могут воздать ему правосудие и закон?

— Совершенно верно, — сказал я.

И что же, по—вашему, она сделала? Как дикая кошка, она бросилась на этого самодовольного испанского дурака, выхватила свой пистолет и сразила его наповал тут же, перед лицом суда.

— Да, отчаянная, ничего не скажешь.

— То—то и оно, — восхищенно продолжал судья, — ни за что на свете я не хотел бы пропустить это зрелище. Я тут же объявил заседание суда закрытым; мы оделись и вышли на улицу и собрали немного денег для этой женщины и ее птенцов, а потом отправили их к друзьям, подальше от наших мест. Да, отчаянная была женщина!

МОИ ЧАСЫ

(Поучительный рассказик)

Мои прекрасные новые часы полтора года шли не отставая и не спеша. Они ни разу не останавливались и не портились за все это время. Я начал считать их величайшим авторитетом по части указания времени и рассматривал их анатомическое строение и конституцию как несокрушимые. Но в конце концов я как—то забыл завести их на ночь. Я очень расстроился, так как всеми признано, что это плохая примета. Но скоро я успокоился снова, поставил часы наугад и постарался отогнать от себя всякие дурные предчувствия.

На другой день я зашел в лучший часовой магазин, чтобы мне поставили часы по точному времени, и сам глава фирмы взял их у меня из рук и приступил к осмотру. После небольшой паузы он сказал: "Часы опаздывают на четыре минуты надо передвинуть регулятор". Я хотел было остановить его, сказать, что часы до сих пор шли очень правильно. Так нет же, этот капустный кочан не желал ничего слушать, он видел только одно — что мои часы опаздывают на четыре минуты и, следовательно, надо передвинуть регулятор; и вот, пока я в тревоге плясал вокруг него, умоляя не трогать мои часы, он невозмутимо и безжалостно совершил это черное дело. Мои часы начали спешить. С каждым днем они все больше и больше уходили вперед. Через неделю они спешили как в лихорадке, и пульс у них доходил до ста пятидесяти в тени. Через два месяца они оставили далеко позади все другие часы в городе и дней на тринадцать с лишним опередили календарь. Октябрьский листопад еще крутился в воздухе, а они уже радовались ноябрьскому снегу. Они торопили со взносом

денег за квартиру, с уплатой по счетам; и это было так разорительно, что я под конец не выдержал и отнес их к часовщику. Он спросил, были ли часы когда—нибудь в починке. Я сказал, что нет, до сих пор не было никакой нужды чинить их. Глаза его сверкнули свирепой радостью, он набросился на часы, стремительно раскрыл их, ввинтил себе в глаз стаканчик из—под игральных костей и начал разглядывать механизм. Он сказал, что отрегулировать их мало, их надо, кроме того, почистить и смазать, и велел мне прийти через неделю. После чистки, смазки и всего прочего мои часы стали ходить так медленно, что их тиканье напоминало похоронный звон. Я начал опаздывать на поезда, пропускать деловые свидания, приходиться не вовремя к обеду; три дня отсрочки мои часы растянули на четыре, и мои векселя были опротестованы. Я незаметно отстал от времени и очутился на прошлой неделе. Вскоре я понял, что один—одинешенек болтаюсь где—то посредине позапрошлой недели, а весь мир скрылся из виду далеко впереди. Я уже поймал себя на том, что в грудь мою закралось какое—то смутное влечение, нечто вроде товарищеских чувств к мумии фараона в музее, и что мне хочется поболтать с этим фараоном, посплетничать на злободневные темы. Я опять пошел к часовщику. Он разобрал весь механизм у меня на глазах и сообщил, что корпус "вспучило". Он сказал, что в три дня берется их исправить. После этого часы в среднем работали довольно прилично но только, если можно так выразиться, в конечном итоге. Полсуток они спешили изо всех сил и так кашляли, чихали, лаяли и фыркали, что я не слышал собственного голоса; и пока этот шум не прекращался ни одни часы в Америке не могли за ними угнаться. Зато вторую половину суток они шли все медленнее и медленнее, и все часы, которые были ими оставлены позади теперь догоняли их, И к концу суток они подходили к судейской трибуне как раз вовремя, так что, в общем, все было в порядке. В среднем они работали совсем неплохо, и никто не мог бы сказать, что они не выполняли свой долг или перестарались. Но неплохая в среднем работа не считается большим достоинством, когда дело идет о часах, и я понес их к другому часовщику. Тот сказал, что у них сломан шкворень. Я ответил, что очень этому рад, я боялся более серьезной поломки. По правде говоря, я понятия не имею, что такое шкворень, но нельзя же было показать постороннему человеку, что я совсем профан. Он починил шкворень, но если часы выиграли в этом отношении, то во всех других проиграли. Они то шли, то останавливались и стояли или шли сколько им заблагорассудится. И каждый раз, пускаясь в ход, они отдавали, как дедовское ружье. Я подложил на грудь ваты, но в конце концов не выдержал и через несколько дней отнес часы к новому часовщику. Он разобрал весь механизм на части и стал рассматривать их бранные останки в лупу, потом сказал, что, кажется, что—то неладно с волоском. Он исправил волосок и снова завел часы. Теперь они шли хорошо, если не считать, что без десяти минут десять стрелки сцеплялись вместе, как ножницы, и так, сцепившись, шли дальше. Сам царь Соломон не мог бы рассудить, сколько на этих часах времени, и мне пришлось опять нести их в починку. Часовщик сказал, что хрусталик погнулся и ходовая пружина не в порядке. Он заметил, кроме того, что кое—где в механизме нужно поставить заплату, да недурно бы подкинуть и подошвы. Все это он сделал, и мои часы шли ничего себе, только время от времени внутри механизма что—то вдруг приходило в неистовое движение и начинало жужжать, как пчела, причем стрелки вращались с такой быстротой, что очертания их тускнели и циферблат был виден словно сквозь паутину. Весь суточный оборот они совершали минут в шесть или семь, потом со шелканьем останавливались. Как ни тяжело мне было, я опять пошел к новому часовщику и опять смотрел, как он разбирает механизм на части. Я решил подвергнуть часовщика строгому перекрестному допросу, так как дело становилось серьезным. Часы стоили двести долларов, починка обошлась мне тысячи в две—три. Дожидаясь результатов и глядя на часовщика, я узнал в нем старого знакомого пароходного механика, да и механика—то не из важных. Он внимательно рассмотрел все детали механизма моих часов, точь—в—точь как делали другие часовщики, и так же уверенно произнес свой приговор. Он сказал:

— Придется спустить в них пары: надо бы навинтить еще одну гайку на предохранительный клапан!

Я раскроил ему череп и похоронил на свой счет. Мой дядя Уильям (теперь, увы, покойный) говаривал, что хороший конь хорош до тех пор, пока не закусил удила, а хорошие часы — пока не побывали в починке. Он все допытывался, куда деваются неудавшиеся паяльщики, оружейники, сапожники, механики и кузнецы, но никто так и не мог ему этого объяснить.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОМАН

Глава I

ТАЙНА РАСКРЫВАЕТСЯ

Спустилась ночь. В величественном старинном замке барона Клюгенштейна царило безмолвие. Близился к концу 1222 год. Только в дальней, самой высокой башне замка мерцал одинокий огонек. Там шло тайное совещание. Старый суровый хозяин замка, задумавшись, сидел в своем кресле. Наконец он сказал с нежностью:

– Дочь моя!

Молодой человек благородной наружности, с головы до ног облаченный в рыцарские доспехи, ответил:

– Я слушаю, отец!

– Дочь моя, наступило время открыть тайну, которая окутывала всю твою юную жизнь. Знай теперь, что причиной ее послужили те события, о которых я расскажу тебе сейчас. Мой брат Ульрих – великий герцог Бранденбургский. Наш отец на смертном ложе своем завещал, что, если Ульриху не суждено будет иметь сына, право наследования перейдет к моему дому, но лишь в том случае, если у меня родится сын. Если же у нас обоих будут не сыновья, а дочери, наследницей трона явится дочь Ульриха при условии безупречного поведения; в противном случае герцогство переходит к моей дочери, которая тоже обязана сохранить незапятнанное имя. И вот мы с твоей старой матерью стали горячо молиться, прося бога даровать нам сына, но молитвы наши не были услышаны. Родилась ты. Я был в отчаянии. Могушественная власть ускользала из моих рук, прекрасная мечта рушилась. А я так надеялся! Пять лет прожил Ульрих в браке, но жена все еще не подарила ему наследника – ни сына, ни дочери.

«Постой, – сказал я себе, – не все еще потеряно». Спасительный план пришел мне в голову. Ты появилась на свет в полночь. Только лекарь, нянька да шесть прислужниц знали, что родилась девочка. Не прошло и часа, как я всех их повесил. А на следующее утро жители баронетства веселились и ликовали, узнав, что у Клюгенштейна родился сын – наследник могушественного герцога Бранденбургского! И все осталось в тайне. В детстве тебя нянчила родная сестра твоей матери, а уж потом опасаться нам было нечего. Когда тебе исполнилось десять лет, у Ульриха родилась дочь. Мы были огорчены, но еще возлагали надежды на болезни, на врачей и на других естественных врагов детства, однако нас всякий раз ожидало разочарование. Она жила, она цвела – да покарает ее небо! Но что с того? Нам ничто не угрожает. Ха—ха! Разве у нас нет сына? И разве наш сын не будущий герцог? Так я говорю, наш нежно любимый Конрад? Ибо, хотя ты, дитя мое, родилась женщиной и тебе уже двадцать восемь лет, никто не называл тебя иным именем, чем то, которым я когда—то нарек тебя!

И вот наконец время наложило свою руку на моего брата: он состарился. Государственные заботы чрезмерно обременяют его, а поэтому он желает, чтобы ты приехала к нему и стала герцогиней – пусть не по титулу, но по делам своим. Твои слуги готовы, ты отправишься сегодня в ночь.

Теперь слушай хорошенько. Запомни каждое мое слово. Существует закон, столь же

древний, как сама Германия: если женщина хоть на мгновение сядет на большой герцогский трон до того, как она будет всенародно коронована, ЕЕ ЖДЕТ СМЕРТЬ! Не забывай мои слова. Притворяйся скромной. Произноси свои решения из кресла первого министра, которое стоит у подножия трона. Делай так до тех пор, пока ты не будешь коронована и жизнь твоя не будет в безопасности. Не думаю, что тебя смогут разоблачить, но все же разум велит нам предусматривать всякие случайности, какие могут произойти в нашем непостоянном мире.

– О мой отец! Неужели только ради этого вся моя жизнь была сплошной ложью? Неужели из—за этого я должна лишиться мою невинную сестру ее законных прав? Пожалейте меня, отец, пожалейте свое дитя!

– Что, дерзкая девчонка? И это награда мне за ту высокую судьбу, которую я уготовал тебе? Клянусь прахом отца моего, мне не по сердцу твои слезы! Немедля отправляйся к герцогу и берегись расстроить мои планы!

На этом закончим их разговор. Нам достаточно знать и то, что мольбы, просьбы и слезы великодушной девушки ни к чему не привели. Ничто не могло поколебать решения упрямого барона Клюгенштейна. И вот наконец с тяжестью в сердце дочь увидела, как ворота замка закрылись за ней, и вскоре, окруженная группой вооруженных вассалов—рыцарей, за которыми следовали преданные слуги, она верхом на коне пропала во мраке.

После отъезда дочери старый барон долго сидел молча, а затем, обернувшись к своей опечаленной жене, сказал:

– Жена, дела наши, по—видимому, идут превосходно. Прошло три месяца с тех пор, как я отправил коварного красавца графа Детцина с дьявольским поручением к Констанции, дочери моего брата. Если его миссия провалится, нам грозит опасность, но если он добьется успеха, никакая сила не помешает нашей дочери занять герцогский трон, хотя злая судьба готовила ей иное.

– Мое сердце полно предчувствий; кто знает, как это кончится.

– Тсс, женщина! Не накликай беду. Идем разделим ложе и предадимся мечтам о Бранденбурге и будущем величии!

Глава II

ВЕСЕЛЬЕ И СЛЕЗЫ

Спустя шесть дней после событий, о которых рассказано в предыдущей главе, блестящая столица герцогства Бранденбургского сияла пышным великолепием военных доспехов и вся так и гудела, переполненная ликующими верноподданными, – это приехал Конрад, юный наследник короны. Сердце старого герцога было исполнено счастья: красота и изящные манеры Конрада тотчас завоевали его расположение. В больших залах дворца толпились придворные и с восторгом приветствовали юношу. Все вокруг казалось таким светлым и радостным, что его страхи и сомнения сразу исчезли, уступив место счастливому спокойствию.

А в дальних покоях дворца происходила совсем иная сцена. У окна стояла принцесса Констанция – единственная дочь герцога. Ее глаза, красные и опухшие, и сейчас были полны слез. Она была одна. Горько рыдая, она сказала вслух:

– Коварный Детцин покинул меня... Он бежал из герцогства. Сначала я не поверила этому, но – увы! – это истинная правда! А я так любила его! Я осмелилась полюбить его, хотя знала, что герцог, мой отец, никогда не даст согласия на наш брак. Я любила его... А теперь я его ненавижу! Я ненавижу его всем сердцем! О, что станет со мной? Я погибла, погибла, погибла! Я сойду с ума!

Глава III

КЛУБОК ЗАПУТЫВАЕТСЯ

Прошло несколько месяцев. Все жители хвалили правление молодого Конрада и превозносили мудрость его решений, мягкость приговоров и скромность, с которой он держался, несмотря на свое высокое положение. Старый герцог вскоре передал все дела в его руки, а сам с горделивым удовлетворением слушал со стороны, как его наследник провозглашал решения короны из кресла первого министра. Казалось, человек, которого так любили, хвалили и почитали, как Конрада, не мог не быть счастливым. Но, как ни странно, юноша не был счастлив. Он с ужасом стал замечать, что принцесса Констанция полюбила его! Любовь других людей была для него только радостью, а эта таила в себе угрозу! Заметил он и то, что восхищенный герцог тоже узнал о страсти своей дочери и уже мечтает о свадьбе. С каждым днем все меньше следов глубокой грусти оставалось на лице принцессы; постепенно надежда и оживление засветились в ее взоре, и время от времени даже легкая улыбка освещала ее лицо, прежде такое печальное.

Тревога овладела Конрадом. Он горько упрекал себя за то, что, когда он приехал во дворец и никого еще там не знал, он подчинился инстинкту, заставившему его искать мужской дружбы, меж тем как скорбная душа его жаждала участия, на которое способно только женское сердце. Теперь он начал избегать своей двоюродной сестры. Но это лишь ухудшило положение, потому что, естественно, чем больше он избегал ее, тем упорнее она искала встречи с ним. Сначала он только удивлялся, потом это озадачило его. Девушка преследовала его, она охотилась за ним, она встречала его всегда и повсюду, днем и ночью. Она казалась необычайно настойчивой. По—видимому, здесь крылась какая—то тайна.

Далее так продолжаться не могло. Весь двор уже говорил об этом. Герцог недоумевал. Из—за постоянной тревоги и душевных волнений бедный Конрад стал похож на привидение. Однажды, когда он выходил из своей приемной, прилегающей к картинной галерее, его встретила Констанция и, схватив обе руки юноши в свои, воскликнула:

— О, почему ты избегаешь меня? Что я сделала?.. Что я сказала такого, из—за чего потеряла твое расположение? Ведь раньше ты мне дарил его. Конрад, не презирай меня, пожалей измученное сердце! Я не могу, не могу больше молчать, ибо молчание погубит меня. Я люблю тебя, Конрад! Теперь, если хочешь, презирай меня, но я должна была сказать тебе об этом!

Конрад молчал. Констанция оставалась в нерешительности, но в следующее же мгновение взор ее загорелся неистовой радостью — она неверно истолковала молчание Конрада и обвила руками его шею.

— Сжался! Сжался! Ты можешь любить меня, ты полюбишь меня! О, скажи, что полюбишь, мой единственный, мой обожаемый Конрад! — молила она.

Конрад громко застонал. Болезненная бледность разлилась по его лицу, и он задрожал, как осиновый лист. Наконец в отчаянии он оттолкнул от себя бедную девушку и закричал:

— Ты не ведаешь, о чем просишь! Это невозможно, и не бывать этому никогда!

И он убежал, словно преступник, а принцесса осталась на месте, оцепенев от изумления. Спустя минуту она плакала и рыдала в галерее; а у себя в спальне плакал и рыдал Конрад. Оба были в отчаянии. Оба понимали, что надвигается катастрофа.

Вскоре Констанция поднялась и вышла, сказав:

— Подумать только, он отверг мою любовь в ту самую минуту, когда я надеялась, что она смягчит его жестокое сердце! Я ненавижу его! Он отверг меня, этот человек! Он отшвырнул меня, как собаку!

Глава IV

УЖАСНОЕ ОТКРЫТИЕ

Дни шли за днями. На лице дочери доброго старого герцога снова поселилась грусть. Теперь ее и Конрада уже не видели больше вместе. Герцог был опечален этим. Но по мере того как проходили недели, румянец снова появился на щеках Конрада, бывшее оживление заиграло в его глазах, и он правил государством с ясной и неуклонно зреющей мудростью.

Внезапно начались какие—то таинственные перешептывания. Шепот становился все громче, он рос и ширился. Слухи охватили весь город. Они распространились по всему герцогству.

– Принцесса Констанция родила ребенка! – вот о чем шептались люди.

Когда это известие дошло до барона Клюгенштейна, он трижды взмахнул над головой шлемом, украшенным плюмажем, и крикнул:

– Да здравствует герцог Конрад! Да будет вам ведомо, с сего дня корона принадлежит ему навсегда! Детцин умело выполнил поручение, этот ловкий негодяй получит хорошую награду.

Он рассказывал эту новость всем и каждому, и уже через сорок восемь часов в баронетстве не осталось ни единой души, которая бы не танцевала и не пела, не пиновала и не веселилась, празднуя это великое событие, гордясь старым Клюгенштейном и радуясь за него.

Глава V

СТРАШНАЯ РАЗВЯЗКА

Настал день суда. В зале правосудия во дворце герцога собралась вся знать Бранденбурга. Не осталось ни единого свободного места – везде стояли и сидели зрители. Конрад, облаченный в пурпур и горностаи, восседал в кресле первого министра, а по обе стороны его расположились главные судьи государства. Старый герцог сурово приказал, чтобы суд над его дочерью вершили без всякого снисхождения, и с разбитым сердцем удалился в свои покои. Дни его были сочтены. Бедный Конрад просил, словно моля о спасении собственной жизни, чтобы его устранили от тяжелой обязанности судить сестру, но мольбы его остались тщетными.

Во всем этом огромном собрании ни у кого не было так тяжело на сердце, как у Конрада. И ни у кого на сердце не было так легко и радостно, как у его отца, ибо, не известив о своем приезде «сына», старый барон Клюгенштейн стоял теперь в толпе вассалов, счастливый растущим величием своего рода.

Герольды провозгласили заседание открытым, за этим последовали все необходимые церемонии, и вот наконец почтенный главный судья сказал:

– Подсудимая, встаньте!

Несчастливая принцесса поднялась и с открытым лицом стояла перед огромной толпой. Главный судья продолжал:

– Светлейшая принцесса, великий суд нашего государства предъявляет вам, ваше высочество, доказанное обвинение в том, что, не состоя в законном браке, вы родили ребенка, а подобное преступление, согласно нашему древнему закону, карается смертной казнью. Существует лишь одно отклонение от закона, о котором его высочество, наш добрый принц Конрад, правящий ныне вместо герцога, объявит вам сейчас в своем торжественном слове. Итак, слушайте.

Конрад поднял свой тяжелый скипетр, и в ту же минуту женское сердце под его пурпурной мантией пронзила жалость к обреченной подсудимой и глаза наполнились слезами. Он хотел было заговорить, но главный судья остановил его:

– Не здесь, ваше высочество, не здесь! Закон требует, чтобы приговор над членами герцогского рода произносился только с трона герцога!

Ужас сковал сердце бедного Конрада, и дрожь потрясла железное тело его старого отца. Конрад еще не был коронован. Осмелится ли он осквернить трон? Бледный от страха, он медлил. Но он должен был сделать это. На него уже устремились удивленные взоры. Если он будет колебаться и дальше, удивление перейдет в подозрение. Конрад взошел на трон. Снова подняв скипетр, он произнес:

– Подсудимая, от имени нашего державного владыки Ульриха, герцога Бранденбургского, я выполняю порученную мне торжественную обязанность. Выслушайте меня внимательно. По древнему закону страны, вам грозит смерть, но мы помилуем вас, если вы назовете участника вашего преступления и выдадите его палачу. Воспользуйтесь этой возможностью, спасите себя, пока еще не поздно. Назовите отца вашего ребенка!

В громадном зале суда воцарилась торжественная тишина, тишина столь глубокая, что можно было услышать, как бьется собственное сердце. Затем принцесса, во взоре которой сверкала ненависть, медленно повернулась к Конраду и, указывая на него пальцем, произнесла:

– Этот человек – ты!

Страшное сознание полной своей беспомощности и нависшей над ним ужасной опасности сковало сердце Конрада холодом, словно ледяная рука смерти коснулась его. Какая сила на земле может его спасти? Чтобы опровергнуть это обвинение, он должен открыть, что он женщина, а для некоронованной женщины прикосновение к герцогскому трону каралось смертью! В одно и то же мгновение он и его жестокий старик отец, потеряв сознание, упали на землю.

Окончания этой потрясающей и полной драматических событий истории нельзя отыскать ни в этой, ни в другой книге, ни сейчас, ни в будущем.

По правде говоря, я завел моего героя (или героиню) в такое безвыходное и запутанное положение, что сам не знаю, как теперь с ним (или с нею) быть, а поэтому умываю руки и предоставляю ему (или ей) самостоятельно отыскать выход или оставаться в том же положении. Я надеялся, что выпутаться из этого небольшого затруднения довольно легко, но оказалось, что это далеко не так.

ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ

Первым, кто меня почтил вниманием вскоре после того, как я здесь обосновался, был джентльмен, назвавшийся экспертом, имеющим отношение к департаменту внутренних сборов. Я сказал, что никогда не слышал о такой отрасли коммерции, но тем не менее очень рад с ним познакомиться. Не угодно ли присесть? Он сел. Я не знал, с чего начать разговор, хотя и сознавал, что человек, достигший почетного положения домовладельца, обязан быть светски непринужденным, разговорчивым и общительным. Поэтому, за неимением лучшего, я спросил, не собирается ли он открыть свое дело в наших краях.

Он ответил утвердительно. (Мне страшно не хотелось выказывать свою неосведомленность, и я надеялся, что в ходе беседы незнакомец сам упомянет, чем он торгует.)

— Как дела? — рискнул я спросить.

— Так себе, — ответил он.

Тут я пообещал, что мы с женой заглянем к нему и, если останемся довольны, то он может считать нас своими постоянными клиентами.

Он выразил надежду, что его заведение нам понравится: еще не было случая, чтобы кто—нибудь после знакомства с ним захотел бы иметь дело с другими представителями его профессии.

Это прозвучало довольно нескромно, но, если пренебречь такой вполне естественной

слабостью, свойственной каждому из нас, то он показался мне человеком порядочным.

Уж не знаю, как это получилось, но мало—помалу лед растаял, мы нашли общий язык, и дальше все пошло как по маслу.

Мы говорили, говорили и говорили, — главным образом я, и хохотали, хохотали, хохотали,—главным образом он. Но я ни на минуту не терял головы, нет, — я включил свой природный ум «на полный ход», как говорят машинисты. Вопреки его туманным ответам, я решил непременно выяснить, чем он торгует, выудить из него все, но так, чтобы он этого не заметил. Я хотел весьма хитроумно заманить его в ловушку: сперва я сам расскажу ему о своих делах, и, конечно, этот порыв доверия с моей стороны так его расположит ко мне, что он в свою очередь, забыв осторожность, поведаст о себе, даже не подозревая, что мне только того и надо. «Сынок, — подумал я, — знал бы ты, к какой старой лисе угодил в лапы».

Угадajte—ка, — сказал я, — сколько я заработал а прошлый год чтением лекций!

Нет... ну откуда же... Гм! Погодите... Ну, скажем, тысячи две? Нет, нет... Право же, вы не могли с только заработать! Скажем, тысячу семьсот?

— Ха—ха! Так и знал — не угадаете. За прошлую весну и эту зиму я заработал публичными лекциями четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят долларов. Ну, каково?

Поразительно! Просто поразительно! Мне это надо учесть... И вы говорите, это еще не все?

— Все? Бог ты мой! А газета «Ежедневный Боевой Клич»? За четыре месяца — около... около... скажем... восемь тысяч долларов! Как вам это нравится?

— Нравится! Да я бы сам не прочь поплавать в таком океане долларов. Восемь тысяч! Тоже надо учесть... Послушайте, и помимо всего прочего, как я понял, у вас имелись еще и другие доходы?

— Ха—ха—ха! Да вы еще, так сказать, бродите по задворкам! А моя книга «Простакки за границей»? От трех с половиной до пяти долларов за экземпляр, в зависимости от переплета. Слушайте! Смотрите мне в глаза! За последние четыре с половиной месяца, помимо проданных ранее, — только за четыре с половиной месяца! — разошлось девяносто пять тысяч экземпляров. Девяносто пять тысяч! Только подумайте! В среднем, скажем, по четыре доллара за книгу, стало быть четыреста тысяч долларов, любезнейший. А я получаю половину.

— Святые спасители! Я должен это учесть... Четырнадцать... семь... пятьдесят... восемь... двести... В итоге ручаюсь, общая сумма двести тринадцать или двести четырнадцать тысяч долларов. Неужели это мыслимо?

— Мыслимо?! Если я и ошибся, то лишь преуменьшив свои заработки. Двести четырнадцать тысяч наличными — вот мой чистый годовой доход, если я не разучился считать.

Мой гость поднялся, собираясь откланяться. И вдруг мне в голову пришла неприятная мысль: а что, если я распинался перед ним зря да еще приукрашивал сноп успехи, польщенный его изумлением? Но нет! В последнюю минуту этот джентльмен вручил мне конверт и сказал, что в нем находится проспект, ознакомившись с которым, я получу представление о роде его занятий. Он просто счастлив иметь меня своим постоянным клиентом, он будет гордиться тем, что среди его клиентов есть человек с таким огромным доходом. Прежде он полагал, что в нашем городе живет немало богачей, но как только они оказывались его клиентами, выяснялось, что они едва сводят концы с концами. И вот после стольких томительных лет ожидания ему наконец довелось воочию видеть богатого человека, беседовать с ним, прикасаться к нему, — и теперь он просто не может не заключить меня в объятия и счел бы на великую любезность, если бы я ему это позволил.

Я был так польщен, что тут же, без всякого сопротивления, позволил этому простаку обнять меня и уронить несколько слез умиления на мой воротник. Потом он ушел.

После его ухода я сейчас же вскрыл конверт. Несколько минут я внимательно изучал проспект. Потом позвал кухарку и сказал:

— Держите меня, сейчас я упаду в обморок! А Мария пусть переворачивает олады,

чтобы не сгорели.

Придя в себя, я тотчас приказал сходить на угол в трактир и ангажировать — с недельной оплатой — маэстро, который бы проклинал этого типа по ночам, а когда я выдохнусь—сменял бы меня и днем.

Нет, каков прохвост! Его «проспект» оказался не чем иным, как омерзительной налоговой декларацией—целой серией наглейших вопросов о моих сугубо личных делах (на четырех листах большого формата, заполненных мелким шрифтом), — и, должен заметить, вопросов столь каверзных, что самый мудрый старец на свете не уразумел бы, где тут подвох. Вопросы эти были составлены с таким расчетом, чтобы вынудить человека чуть ли не вчетверо преувеличить свои доходы из боязни преуменьшить их и тем самым свершить клятвопреступление. Я пробовал найти лазейку, но ее не было.

Первый вопрос был настолько емким и всеобъемлющим, что накрывал меня вместе с моими доходами, как зонтик муравьиной кучи:

«Какова сумма вашего дохода за последний год от любого вида торговли, дела или занятия, независимо от вашего местожительства?»

Этот вопрос подкреплялся чертовой дюжиной других столь же въедливых вопросов, самые скромные из *которых требовали* ответа: не совершил ли я кражи со взломом, разбоя на большой дороге, не получил ли и путем поджога и других тайных средств обогащения какой—нибудь собственности, не упомянутой в ответе на вопрос № 1.

Было ясно, что этот человек предоставил мне полную возможность оказаться в дураках. Да, это было совершенно ясно. Я пошел и нанял второго маэстро. Играя на моем честолюбии, незнакомец вынудил меня заявить, что мой годовой заработок составляет двести четырнадцать тысяч долларов. Единственным утешением для меня был пункт, согласно которому доход в пределах одной тысячи долларов не облагается налогом,—но что это — капля в море! Итак, я должен был отдать государству пять процентов своего дохода, то есть десять тысяч шестьсот пятьдесят долларов подоходного налога!

(Здесь я кстати замечу, что я этого не сделал.)

Я знаком с очень богатым человеком, дом у него — дворец, стол королевский, траты огромны, — и все же, судя по его налоговым декларациям, этот богач не имеет никаких доходов. К нему—то и обратился я за советом, попав в беду... Он просмотрел чудовищный перечень моих доходов, надел очки, взял перо и... гоп—ля!—я стал нищим. Впервые видел я такой ловкий фокус. Просто он хитроумно обошелся с графой «Скидки». Он написал, что мои налоги — в пользу штата, федеральный и муниципальный — составляют столько—то; мои «убытки при кораблекрушении, пожаре и пр.» — столько—то; убытки «при продаже недвижимости» — столько—то; при «продаже домашнего скота» — столько—то; «па уплату аренды» ушло столько—то; на «ремонт, переделки, уплату процентов», «взимавшиеся ранее налоги в бытность мою на службе в американской армии, флоте, налоговом ведомстве» и прочие... Он произвел поразительные «скидки» по каждому, буквально по каждому из этих пунктов. Когда он протянул этот лист мне, я с первого же взгляда увидел, что мой чистый годовой доход составляет тысячу двести пятьдесят долларов и сорок центов.

Так вот, — сказал он, — доход в тысячу долларов не облагается налогом. Теперь вам остается лишь клятвенно заверить этот документ и заплатить налог с двухсот пятидесяти долларов.

(Пока он это изрекал, его маленький сынишка Уилли вытащил из жилетного кармана папаши двухдолларовую бумажку и исчез. Готов биться об любую заклад: случись моему недавнему посетителю завтра явиться и к нему, малыш предъявит ему фальшивую декларацию о своих доходах.)

И вы, сэр, — спросил я, — тоже обрабатываете графу «Скидки» подобным образом?

А как же! Если бы не эти одиннадцать спасительных пунктов под заголовком «Скидки», я бы ежегодно разорялся ради того, чтобы содержать наше гнусное, разбойничье, деспотичное правительство.

Человек этот выделяется даже среди самых солидных граждан города — людей

высокой нравственности, коммерческой честности, незапятнанной общественной репутации, — и я последовал его примеру. Я отправился в налоговое ведомство и, чувствуя на себе осуждающий взор моего недавнего гостя, стал под присягой утверждать ложь за ложью, измышление за измышлением, жульничество за жульничеством, пока душа моя не покрылась трехдюймовой коростой греха, так что я навеки утратил уважение к самому себе.

А собственно, почему? Ведь тысячи самых богатых, гордых, почитаемых граждан Америки каждый год проделывают то же самое. Наплевать! Мне ничуть не стыдно. Но впредь я решил быть поосторожнее и поменьше болтать, дабы не пасть жертвой столь пагубной привычки.

КАК МЕНЯ ВЫБИРАЛИ В ГУБЕРНАТОРЫ

Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора великого штата Нью—Йорк. Две основные партии выставили кандидатуры мистера Джона Т. Смита и мистера Блэнка Дж. Бланка, однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация. Стоило только просмотреть газеты, чтобы убедиться, что если они и были когда—либо порядочными людьми, то эти времена давно миновали. Было совершенно очевидно, что за последние годы они погрязли во всевозможных пороках. Я упивался своим превосходством над ними и в глубине души ликовал, но некая мысль, как мутная струйка, омрачала безмятежную гладь моего счастья: ведь мое имя будет сейчас у всех на устах вместе с именами этих прохвостов! Это стало беспокоить меня все больше и больше. В конце концов я решил посоветоваться со своей бабушкой. Старушка ответила быстро и решительно. Письмо ее гласило:

«За всю свою жизнь ты не совершил ни одного бесчестного поступка. Ни одного! Между тем взгляни только в газеты, и ты поймешь, что за люди мистер Смит и мистер Блэнк. Суди сам, можешь ли ты унизиться настолько, чтобы вступить с ними в политическую борьбу?»

Именно это и не давало мне покоя! Всю ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. В конце концов я решил, что отступать уже поздно. Я взял на себя определенные обязательства и должен бороться до конца. За завтраком, небрежно просматривая газеты, я наткнулся на следующую заметку и, сказать по правде, был совершенно ошеломлен:

«Лжесвидетельство. Быть может, теперь, выступая перед народом в качестве кандидата в губернаторы, мистер Марк Твен соизволит разъяснить, при каких обстоятельствах он был уличен в нарушении присяги тридцатью четырьмя свидетелями в городе Вакаваке (Кохинхина) в 1863 году? Лжесвидетельство было совершено с намерением оттянуть у бедной вдовы—туземки и ее беззащитных детей жалкий клочок земли с несколькими банановыми деревьями — единственное, что спасало их от голода и нищеты. В своих же интересах, а также в интересах избирателей, которые будут, как надеется мистер Твен, голосовать за него, он обязан разъяснить эту историю. Решится ли он?»

У меня просто глаза на лоб полезли от изумления. Какая грубая, бессовестная клевета! Я никогда не бывал в Кохинхине! Я не имею понятия о Вакаваке! Я не мог бы отличить

бананового дерева от кенгуру! Я просто не знал, что делать. Я был взбешен, но совершенно беспомощен.

Прошел целый день, а я так ничего и не предпринял. На следующее утро в той же газете появились такие строки:

«Знаменательно! Следует отметить, что мистер Марк Твен хранит многозначительное молчание по поводу своего лжесвидетельства в Кохинхине!»

(В дальнейшем, в течение всей избирательной кампании эта газета называла меня не иначе, как «Гнусный Клятвопреступник Твен».)

Затем в другой газете появилась такая заметка:

«Желательно узнать, не соблаговолит ли новый кандидат в губернаторы разъяснить тем из своих сограждан, которые отваживаются голосовать за него, одно любопытное обстоятельство: правда ли, что у его товарищей по бараку в Монтане то и дело пропадали разные мелкие вещи, которые неизменно обнаруживались либо в карманах мистера Твена, либо в его «чемодане» (старой газете, в которую он заворачивал свои пожитки). Правда ли, что товарищи вынуждены были наконец, для собственной же пользы мистера Твена, сделать ему дружеское внушение, вымазать дегтем, вывалить в перьях и пронести по улицам верхом на шесте, а затем посоветовать поскорей очистить занимаемое им в лагере помещение и навсегда забыть туда дорогу? Что ответит на это мистер Марк Твен?»

Можно ли было выдумать что—либо гнуснее! Ведь я никогда в жизни не бывал в Монтане!

(С тех пор эта газета называла меня «Твен, Монтаиский Вор».)

Теперь я стал разворачивать утреннюю газету с боязливой осторожностью, — так, наверное, приподнимает одеяло человек, подозревающий, что где—то в постели притаилась гремучая змея.

Однажды мне бросилось в глаза следующее:

«Клеветник уличен! Майкл О'Фланаган — эсквайр из Файв—Пойнтса, мистер Сиаб Рафферти и мистер Кэтти Маллиган с Уотер—стрит под присягой дали показания, свидетельствующие, что наглое утверждение мистера Твена, будто покойный дед нашего достойного кандидата мистера Блэнка был повешен за грабеж на большой дороге, является подлой и нелепой, ни на чем не основанной клеветой. Каждому порядочному человеку станет грустно на душе при виде того, как ради достижения политических успехов некоторые люди пускаются на любые гнусные уловки, оскверняют гробницы и чернят честные имена усопших. При мысли о том горе, которое эта мерзкая ложь причинила ни в чем не повинным родным и друзьям покойного, мы почти готовы посоветовать оскорбленной и разгневанной публике тотчас же учинить грозную расправу над клеветником. Впрочем, нет! Пусть терзается угрызениями совести! (Хотя, если наши сограждане, ослепленные яростью, в пылу гнева нанесут ему телесные увечья, совершенно очевидно, что никакие присяжные не решатся их обвинить и никакой суд не решится присудить к наказанию участников этого дела.)»

Ловкая заключительная фраза, видимо, произвела на публику должное впечатление: той же ночью мне пришлось поспешно вскочить с постели и убежать из дому черным ходом,

а «оскорбленная и разгневанная публика» ворвалась через парадную дверь и в порыве справедливого негодования стала бить у меня окна и ломать мебель, а кстати захватила с собой кое—что из моих вещей. И все же я могу поклясться всеми святыми, что никогда не клеветал на дедушку мистера Блэнка. Мало того – я не подозревал о его существовании и никогда не слышал его имени.

(Замечу мимоходом, что вышеупомянутая газета с тех пор стала именовать меня «Твен, Осквернителем Гробниц».)

Вскоре мое внимание привлекла следующая статья:

«Достойный кандидат! Мистер Марк Твен, собиравшийся вчера вечером произнести громовую речь на митинге независимых, но явился туда вовремя. В телеграмме, полученной от врача мистера Твена, говорилось, что его сшиб мчавшийся во весь опор экипаж, что у него в двух местах сломана нога, что он испытывает жесточайшие муки, и тому подобный вздор. Независимые изо всех сил старались принять на веру эту жалкую оговорку и делали вид, будто не знают истинной причины отсутствия отъявленного негодяя, которого они избрали своим кандидатом. Но вчера же вечером некий мертвецки пьяный субъект на четвереньках вполз в гостиницу, где проживает мистер Марк Твен. Пусть теперь независимые попробуют доказать, что эта нализовавшаяся скотина не была Марком Твен. Попался наконец—то! Увертки не помогут! Весь народ громогласно вопрошает: «Кто был этот человек?»»

Я не верил своим глазам. Не может быть, чтобы мое имя было связано с таким чудовищным подозрением! Уже целых три года я не брал в рот ни пива, ни вина и вообще никаких спиртных напитков.

(Очевидно, время брало свое, и я стал закаляться, потому что без особого огорчения прочел в следующем номере этой газеты свое новое прозвище: «Твен, Белая Горячка», хотя знал, что это прозвище останется за мной до конца избирательной кампании.)

К этому времени на мое имя стало поступать множество анонимных писем. Обычно они бывали такого содержания:

«Что скажете насчет убогой старушки, какая к вам стучалась за подаванием, а вы ее ногой пнули?
Пол Прай».

Или:

«Некоторые ваши темные делишки известны пока что одному мне. Придется вам раскошелиться на несколько долларов, иначе газеты узнают кое—что о вас от вашего покорного слуги.
Хэнди Энди».

Остальные письма были в том же духе. Я мог бы привести их здесь, но думаю, что читателю довольно и этих.

Вскоре главная газета республиканской партии «уличила» меня в подкупе избирателей, а центральный орган демократов «вывел меня на чистую воду» за преступное вымогательство денег.

(Таким образом, я получил еще два прозвища: «Твен, Грязный Плут» и «Твен, Подлый Шантажист».)

Между тем все газеты со страшными воплями стали требовать «ответа» на предъявленные мне обвинения, а руководители моей партии заявили, что дальнейшее молчание погубит мою политическую карьеру. И словно для того, чтобы доказать это и подстегнуть меня, на следующее утро в одной из газет появилась такая статья:

«Полюбуйтесь—ка на этого субъекта! Кандидат независимых продолжает упорно отмалчиваться. Конечно, он не смеет и пикнуть. Предъявленные ему обвинения оказались вполне достоверными, что еще больше подтверждается его красноречивым молчанием. Отныне он заклеимен на всю жизнь! Поглядите на своего кандидата, независимые! На этого Гнусного Клятвопреступника, на Монтанского Вора, на Осквернителя Гробниц! Посмотрите на вашу воплощенную Белую Горячку, на вашего Грязного Плута и Подлого Шантажиста! Вглядитесь в него, осмотрите со всех сторон и скажите, решитесь ли вы отдать ваши честные голоса этому негодяю, который тяжкими своими преступлениями заслужил столько отвратительных кличек и не смеет даже раскрыть рот, чтобы опровергнуть хоть одну из них».

Дальше уклоняться было уже, видимо, нельзя, и, чувствуя себя глубоко униженным, я засел за «ответ» на весь этот ворох незаслуженных грязных поклепов. Но мне так и не удалось закончить мою работу, так как на следующее утро в одной из газет появилась новая ужасная и злобная клевета: меня обвиняли в том, что я поджег сумасшедший дом со всеми его обитателями, потому что он портил вид из моих окон. Тут меня охватил ужас. Затем последовало сообщение о том, что я отравил своего дядю с целью завладеть его имуществом. Газета настойчиво требовала вскрытия трупа. Я боялся, что вот—вот сойду с ума. Но этого мало: меня обвинили в том, что, будучи попечителем приюта для подкидышей, я пристроил по протекции своих выживших из ума беззубых родственников на должность разжевывателей пищи для питомцев. У меня голова пошла кругом. Наконец бесстыдная травля, которой подвергли меня враждебные партии, достигла наивысшей точки: по чьему—то наущению во время предвыборного собрания девять малышей всех цветов кожи и в самых разнообразных лохмотьях вскарабкались на трибуну и, цепляясь за мои ноги, стали кричать: «Папа!»

Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Баллотироваться на должность губернатора штата Нью—Йорк оказалось мне не по силам. Я написал, что снимаю свою кандидатуру, и в порыве ожесточения подписался:

*«С совершенным почтением ваш, когда—то честный человек, а ныне:
Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая
Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист
Марк Твен».*

ЭПИДЕМИЯ

Мы еще не осознали до конца величину катастрофы, постигшей нашу страну в связи со смертью Чарльза Диккенса. Избрав в качестве предлога покойного беднягу Диккенса, Америку теперь заговорят до смерти всевозможные проходимцы—лекторы и чтецы. Любой бродяга, едва разбирающий по складам, будет терзать публику "чтениями" из "Пиквика" и "Копперфилда"; любое ничтожество, которое обрело какие—то человеческие черты

благодаря мимолетной улыбке или доброму слову великого писателя, превратит каждое священное воспоминание в предмет торговли, постарается как следует заработать на нем. Толпы этих счастливых будут осаждают лекционные кафедры. Первые признаки этого мы уже наблюдаем.

Смотрите, вороны уже закружили над мертвым львом и готовятся пировать.

"Рассказ о Диккенсе" — лекция Джона Смита, который восемь раз слышал выступления писателя.

"Воспоминания о Чарльзе Диккенсе" — лекция Джона Джонса, видевшего Диккенса один раз в вагоне конки и два раза в парикмахерской.

"Памятные встречи с мистером Диккенсом" — лекция Джона Брауна, известного своими истушенно хвалебными статьями и восторженными речами по поводу выступлений великого писателя; ему довелось пожимать руку Диккенсу и несколько раз с ним беседовать.

"Отрывки из произведений Диккенса" — исполнитель Джон Уайт. Посещая все выступления великого романиста, он в совершенстве усвоил стиль его речи и манеру говорить, ибо каждый раз, вернувшись домой, он под свежим впечатлением старательно воспроизводил все наиточнейшим образом. После чтения отрывков мистер Уайт продемонстрирует присутствующим окуроч сигары, которую курил при нем однажды мистер Диккенс. Эта реликвия хранится у него в специально изготовленном ларце из чистого серебра.

"Взгляды и высказывания великого писателя" — общедоступная лекция Джона Грэя, официанта, обслуживавшего Диккенса в нью-йоркском "Гранд—отеле". После лекции Джон Грэй представит на всеобщее обозрение кусочек от того ломтика хлеба, который покойный романист ел во время своей последней трапезы в нашей стране.

"Незабываемые, бесценные минуты с покойным королем литературы" — лекция мисс Сирины Амелии Триффени Макспадден, которая носит не снимая — и будет вечно носить — перчатку на руке, ставшей святыней благодаря рукопожатию Диккенса. Только смерть разлучит мисс Макспадден с этой перчаткой!

"Отрывки из произведений Диккенса" — исполнительница миссис Дж. О'Хулиген Мэрфи, прачка, стиравшая белье Диккенса.

"Интимные беседы с великим писателем" — лекция—рассказ Джона Томаса, который во время пребывания Диккенса в Соединенных Штатах две недели был его камердинером.

И так далее в том же духе. Впрочем, я не перечислил даже и половины. Например, требует слова человек, хранящий у себя "зубочистку, которой Чарльз Диккенс ковырял однажды в зубах", и человек, "ехавший как—то раз в омнибусе с Чарльзом Диккенсом", и дама, которую Чарльз Диккенс "великодушно защитил от дождя своим зонтиком", и особа, которая хранит у себя "дырку от носового платка Чарльза Диккенса".

Терпение и кротость, добрые люди, ибо я назвал еще далеко не все, что вам предстоит вынести этой зимой! Каждый, кто случайно столкнулся с Диккенсом или перекинулся с ним двумя—тремя банальнейшими словами, будет рваться к трибуне и насиловать своими излияниями слух беззащитных соотечественников. Для иных людей встреча с гением просто губительна.

ДЭН МЭРФИ

— Более горестного случая мне, кажется, никогда встречалось за всю жизнь, — сказал клерк из нашего банка. — Дело было в Корнинге, во время войны. Дэн Мэрфи пошел в солдаты и воевал очень храбро. Все товарищи любили Дэна. Когда он был ранен в бою и после этого мало—помалу так ослабел, что не смог держать ружье, они наскребли ему в складчину денег и устроили его маркитантом. Дэн начал кое—что зарабатывать и выручку всякий раз посылал жене и просил положить в банк. Жена его работала прачкой и по

горькому опыту знала, что уж если перепали деньги, их надо беречь. Она не тратила зря ни пенни. Наоборот, когда ее счет в банке стал расти, она сделалась скаредной. Бедняжке жаль было каждого цента, ибо уже дважды в жизни, исполненной тяжкого труда, ей довелось испытать голод и холод, одиночество и болезнь, не имея за душой ни гроша, и она отчаянно боялась, как бы не пришлось все это пережить снова. В конце концов Дэн умер. В знак любви и уважения к нему товарищи послали миссис Мэрфи телеграмму: не пожелает ли она, чтобы его набальзамировали и отправили домой; хотя обычно, как вы знаете, горемыку вроде Дэна зарывают в яму, а уж потом извещают друзей о случившемся. Миссис Мэрфи почему—то решила, что бальзамирование ее покойного мужа будет стоить всего каких—нибудь два—три доллара, и ответила по телеграфу: «Согласна».

Счет за бальзамирование пришел во время поминок. Вдова испустила душераздирающий, горестный вопль: «Семьдесят пять долларов! И за что? Чтобы набить чучело Дана, будь они неладны! Или эти мерзавцы решили, что я музей собираюсь открывать и могу тратить деньги на такие дорогие диковинки?» По словам клерка, все вокруг утирало глаза—то ли плакали, то ли смеялись.

ДВА—ТРИ НЕВЕСЕЛЫХ ЖИЗНЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЯ

Когда я недавно напечатал шутливое извещение, что намерен редактировать сельскохозяйственный отдел в этом журнале, я, право же, не хотел никого обманывать. У меня не было ни малейшего желания зло подшутить над чьей бы то ни было доверчивостью, ибо поистине жалок тот, кто унижается до безмозглых выдумок, обозначаемых словом «розыгрыш». Насколько это было возможно, я писал в необычном и нарочито нелепом тоне: мне хотелось быть уверенным, что ни один читатель, даже самый торопливый и невнимательный, не будет введен в заблуждение. Так, я говорил о спуске триумфальной барки на гладь пустыни, о насаждении древа процветания в копиях,—древа, чье благоухание утолит жажду нагого и чьи ветви раскинутся широко и омоют берега... и т. д. и т. п. Я думал, что явное безумие подобных вещаний надежно охранит читателя. Но чтобы сделать уверенность стопроцентной и показать, что я не собираюсь и не могу всерьез собираться вести сельскохозяйственный отдел, я прямо указал в постскриптуме, что ничего не смыслу в сельском хозяйстве. Увы! в этом—то и заключалась моя величайшая ошибка: последнее замечание, видимо, оказалось наилучшей рекомендацией моим предполагаемым познаниям в сельском хозяйстве. Оно проливало некоторый свет на мою особу, а у меня есть подозрение, что фермерам временами становится тошно от пророчески—непогрешимого глубокомыслия сельскохозяйственных журналов и их редакторов, «сведущих во всем без изъятия». И в самом деле, один из моих корреспондентов прозрачно на это намекает. (Да, ведь эта злосчастная шутка обрушила на меня целый потоп писем о картофеле, капусте, вермишели, макаронах и всех прочих фруктах, злаках, крупах и овощах, какие только рождает земля; и если мне посчастливится, не впадши в буйное помешательство, ответить на вопросы, как лучше всего выращивать эти продукты, я буду благодарен судьбе и никогда больше не стану писать темно и загадочно потехи ради.)

Рассказать вам, как получилось, что я ненароком одурачил столько народу? Кое—кто, едва проглядев мою шутливую заметку, поторопился сделать вывод, что каждое слово в ней сказано всерьез, а все остальные вовсе ее не читали и получили сведения о моих рискованных сельскохозяйственных планах из вторых рук. Тут я, разумеется, вправе сложить с себя всякую ответственность. Написать пародию, настолько дикую, чтобы ни один человек не принял за чистую монету «факты», в ней изложенные, — почти невозможно. Дело в том, что иной раз она попадает в руки читателю, который никогда и никого не пытался обмануть и потому никак не ожидает, чтобы кто—нибудь без всякой причины вздумал обмануть его; в этом случае единственный, на кого ложится клеймо бесчестья, —

это автор пародии. В других случаях «соль», смысл пародии (если цель ее — оказать поддержку истине) ускользает от внимания, теряясь в поверхностном блеске каких—нибудь деталей самой пародии. А очень часто этот смысл, или «поучение», спрятан глубоко на дне, и читатель, не подозревая, что это и есть ключ ко всей вещи в целом и единственно важный абзац в статье, преспокойно перескакивает через него и оставляет его неп прочитанным. Можно наделить сатиру выразительной силой, прибегнув к коварным приемам фарса, но только — осторожно, не увлекаясь чуждыми сатире интересами фарса, а иначе сатира скажется погребенной под ними и исчезнет из глаз читателя — осмеянной и обманутой жертвы,— несмотря на самое честное намерение автора обогатить либо знания своего читателя, либо его жизненный опыт. Я не раз имел дело с пародиями и хорошо знаком с их злосчастной способностью вводить публику в заблуждение; вот почему я и старался изо всех сил сделать ту, сельскохозяйственную, такой прозрачной и такой осязаемой, чтобы даже картофелина с одним глазком могла ее разглядеть. И все равно — клянусь вам! — она одурачила редактора одного из самых компетентных сельскохозяйственных изданий Америки!

ДРУГ ГОЛЬДСМИТА СНОВА НА ЧУЖБИНЕ

Примечание. В этих письмах ничего не выдуманно. Чтобы сделать историю китайца в нашей стране занимательной, помощь фантазии не нужна. Достаточно простых фактов.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Шанхай, 18. .

Дорогой Цин Фу! Все решено и устроено. Я покидаю наше униженное и угнетенное отечество и плыву через океан в тот благодатный край, где все равны и свободны и никто не смеет попира́ть права другого человека. Я еду в Америку! О, сколь бесценно право Америки именовать себя страной свободных и отчизной смелых! Все мы с вожделением глядим в ту сторону и сопоставляем мысленно лишения, которые мы претерпевали на нашей родине, и благосостояние, ожидающее нас в этом приюте блаженства. Мы знаем, как радушно встретила Америка немцев, и французов, и несчастных изголодавшихся ирландцев, как она дала им хлеб, работу и свободу — и как они признательны ей. Мы знаем также, что Америка готова оказать гостеприимство и другим угнетенным народам, приласкать каждого пришельца, не спрашивая о его национальности, вероисповедании, цвете кожи. Мы заранее знаем, что иноземцы, которые спаслись здесь от гнета и голодной смерти, встретят нас всего приветливее, потому что они страдали сами и знают, что такое страдание, потому что они нашли здесь дружескую поддержку и теперь сами жаждут оказать ее другим, чтобы не прослыть неблагодарными.

А Сун—си.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

В море, 18..

Дорогой Цин Фу! Мы уже далеко в открытом море, на пути к благодатной стране свободных и отчизне смелых. Скоро мы будем там, где все люди равны и где не знают, что такое страдание.

Добрый американец, который пригласил меня поехать с ним в его отечество, хочет платить мне двенадцать долларов в месяц; это в двадцать раз больше, чем я заработал бы в Китае. Проезд мой стоит немалых денег. Это целое состояние, и мне придется все уплатить сполна, но пока что мой хозяин внес свои деньги и великодушно предоставил мне длительную рассрочку. Правда, моя жена, сын и обе дочери остались в залог у его компаньона, но это, конечно, простая формальность. Хозяин обещал, что их не продадут,

сказал, что уверен, что я уплачу ему деньги в срок, и что вера в человека всегда была для него дороже любого залога.

Я думал, что, когда приеду в Америку, у меня в кармане будет двенадцать долларов, но американский консул взял с меня два доллара за удостоверение, что я прибыл на пароходе. На самом деле ему предоставлено право брать два доллара за одно удостоверение от всех находящихся на борту китайских пассажиров. Но он предпочитает выдавать удостоверение каждому китайцу отдельно и класть деньги себе в карман. На пароходе едет тысяча триста наших соотечественников; таким образом, консул получит две тысячи шестьсот долларов. Хозяин уверяет, что когда американское правительство в Вашингтоне узнало об этом мошенничестве, оно было настолько возмущено, что предприняло в конгрессе энергичную попытку придать вымога... — я хочу сказать: взиманию пошлины — законную форму^{4*}. Однако, поскольку законопроект не прошел, консул вынужден взимать пошлину незаконно до тех пор, пока новый конгресс не узаконит ее. Америка — великодушная, благородная, добродетельная страна, где нет места злоупотреблению и пороку.

Мы помещаемся в той части парохода, которая обычно отводится для наших соотечественников. Это так называемый третий класс. Хозяин говорит, что его предоставляют нам потому, что тут нам не грозят резкие перемены температуры и вредные сквозняки. Вот вам лишнее доказательство трогательной заботы американцев о несчастных чужеземцах. Правда, помещение переполнено, и нам жарко и тесно. Однако не может быть сомнения, что все это к нашей же пользе.

Вчера наши земляки затеяли ссору. Капитан тут же направил в толпу струю горячего пара и обварил довольно сильно около ста человек. Кожа у несчастных свисала лохмотьями. Поднялся страшный крик, сумятица, и новые десятки людей, спасшихся от горячего пара, получили в давке ушибы и тяжкие увечья. Мы не жаловались: хозяин сказал, что так всегда поступают в море в случае ссоры пассажиров и что в каютах первого и второго класса, где едут американцы, пар пускают каждые два три дня.

Поздравь меня, Цин Фу. Пройдет еще десять дней, я вступлю на американскую землю, и гостеприимные хозяева раскроют мне свои объятия. Я распрямлю спину и стану свободным человеком среди свободных людей.

А Сун—си.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Сан—Франциско, 18...

Дорогой Цин Фу! Ликуя, вступил я на берег. Мне хотелось плясать, кричать, петь, лобызать эту благословенную землю, страну свободных и отчизну смелых. Но не успел я, спустившись по трапу, сделать и двух шагов, как человек в сером мундире дал мне сильного пинка сзади и сказал, чтобы я был поосмотрительней, — так перевел мне хозяин его слова. Я отошел в сторону, но другой человек, одетый так же, ударил меня короткой дубинкой и тоже посоветовал быть поосмотрительней. Когда я хотел взяться за конец шеста, на котором висела корзинка с моими пожитками и пожитками Хун Во, третий господин в такой же форме ударил меня дубинкой, желая показать, что мне не следовало этого делать, а потом дал мне пинка, чтобы заверить меня, что он доволен моим послушанием. Появился еще один господин, перерыл наши вещи и вывалил их на грязную мостовую. Потом он вместе со своим помощником тщательно обыскал нас. Они нашли маленький пакетик с опиумом, зашитый в привязную косу Хун Во. Забрав опиум, они арестовали Хун Во и передали его другому чиновнику, который увел его с собой. Потом они конфисковали имущество Хун Во, но так как вещи Хун Во во время обыска перемешались с моими, они забрали все. Я сказал, что мог бы показать им, какие вещи принадлежат мне, но они поколотили меня и посоветовали быть поосмотрительней.

⁴ * Правила пассажирских перевозок по Тихому океану и Средиземному морю. (Издатель.)

Теперь у меня не было ни пожитков, ни товарища, и я сказал хозяину, что, если он не возражает и ему не нужен, я пойду немного прогуляться и посмотреть город. Мне не хотелось показывать ему, что я несколько огорчен приемом, который мне оказан в великом прибежище всех угнетенных, и потому я улыбался и старался говорить веселым топом. Но он сказал:

— Погоди немного, тебе надо сделать прививку, чтобы ты не заболел оспой.

Я улыбнулся и ответил, что уже болел оспой, в чем легко убедиться, поглядев на рябинки на моем лице, и поэтому мне нет нужды делать то, что он называет прививкой. Но он возразил, что таков закон и что избежать прививки невозможно.

— Доктор не отпустит тебя без прививки, — сказал он. — По существующему закону, он прививает оспу всем приезжающим китайцам и берет за это по десять долларов с каждого, и ты можешь быть спокоен, что ни один доктор не станет терять свои заработок только потому, что какой—то китаец имел глупость болеть оспой у себя на родине.

Пришел доктор, сделал свое дело и забрал мои последние деньги — десять долларов, которые я скопил ценою полуторагодовых трудов и лишений. О, если бы те, кто утвердил этот закон, знали, что в Сан—Франциско живет множество врачей, которые с радостью делали бы прививку за доллар или полтора, они, конечно, никогда не стали бы взыскивать такую высокую плату с бедного, незащитного ирландца, итальянца или китайца, которые бежали в обетованную землю, чтобы спастись от голода и нужды.

А Сун—си .

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Сан—Франциско, 18.

Дорогой Цин Фу! Уже почти месяц, как я здесь. Я начинаю понемногу понимать здешний язык. Хозяину не удалось перепродать нас на плантации в дальние восточные районы страны, он потерпел неудачу, поэтому он отпустил нас на свободу, взяв с нас обязательство выплатить ему деньги, которые он затратил на наш проезд сюда. Мы должны отдать их из первых же наших заработков. Он говорит, что с каждого следует по шестьдесят долларов.

Таким образом, уже через две недели по прибытии сюда мы стали свободными. До этого, ожидая решения своей судьбы, мы жили взаперти в нескольких домиках, в большой тесноте. Я вышел на поиски работы. В чужой стране мне пришлось вступать в жизнь без единого друга, без гроша в кармане. Платье, которое было на мне, составляло все мое богатство. Единственно, чем я мог похвастаться, было хорошее здоровье. Добавлю, что я был свободен от опасений, что кто—нибудь украдет в мое отсутствие принадлежащие мне вещи. Но нет, я не прав. Я упустил из виду, что у меня неопределимое преимущество перед бедняками в других странах: ведь я в Америке! Я в убежище угнетенных и униженных, ниспосланном нам небесами!

В ту самую минуту как эта утешительная мысль пришла мне в голову, несколько молодых людей стали науськивать на меня злую собаку. Я попытался защищаться, но ничего не мог поделать. Я подбежал к подъезду дома, но дверь была закрыта, и я оказался во власти собаки. Она хватала меня за горло, кусала мне лицо, руки, ноги. Я кричал, звал на помощь, но молодые люди только хохотали. Два человека в серых мундирах (их здесь называют полисменами) поглядели с минуту на меня и не спеша направились дальше. Однако один из прохожих остановил их, привел обратно и сказал, что они должны спасти меня от собаки. Тогда полисмены отогнали ее своими короткими дубинками. Это было большое счастье, потому что я был весь в крови и одежда моя была в лохмотьях.

Потом прохожий, который привел полисменов, спросил молодых людей, за что они так бесчеловечно поступили со мной, но те сказали ему, чтобы он не путался не в свое дело.

Чертовы китайцы приезжают в Америку отбивать кусок хлеба у порядочных белых людей, — заявили они, — мы хотим защитить свои законные права, а тут еще находятся умники, которые затевают из—за этого шум.

Они стали угрожать моему благодетелю, и так как собравшаяся толпа была заодно с ними, он вынужден был удалиться. Вдогонку ему полетели проклятия. Тогда полисмены объявили, что я арестован и должен идти с ними. Я спросил одного из них, какова причина моего ареста, но он ударил меня дубинкой и приказал «помалкивать». Меня повели по переулку в сопровождении толпы зевак и уличных мальчишек, осыпавших меня бранью и насмешками. Мы вошли в тюремное помещение с каменным полом. Вдоль стены тянулись в ряд большие камеры с железными решетками вместо дверей. Господин, сидевший за столом, стал писать что—то обо мне. Один из полисменов доложил:

Этот китаец обвиняется в нарушении общественной тишины и порядка.

Я попытался вымолвить хоть слово в свое оправдание, но господин сказал:

Замолчи и веди себя смирно! Несколько раз тебе сходили с рук твои дьявольские проделки, но теперь нахальство тебе не поможет, дружок. Придется тебе успокоиться или мы тебя сами успокоим. Говори, как тебя зовут?

— А Сун—си.

— А до этого как звали?

Я сказал, что не понимаю, что он имеет в виду. Тогда он сказал, что хочет знать мое настоящее имя, так как не сомневается, что я переименовал его, после того как в последний раз попался на краже кур. Они долго смеялись.

Потом они обыскали меня и, разумеется, ничего не нашли. Это сильно рассердило их, и они спросили, кто будет вносить за меня залог или платить штраф. Когда они растолковали мне свои слова, я ответил, что не сделал, как мне кажется, ничего дурного и не понимаю, зачем нужно вносить за меня залог или платить штраф. Они отвесил и мне несколько тумачков и посоветовали вести себя повежливее. Я возразил, что не имел намерения быть непочтительным. Тогда одни из них отвел меня в сторону и сказал:

— Послушай, Джонни, брось хитрить. Мы люди дела, и чем скорее ты это поймешь, тем будет лучше для тебя. Выкладывай пять долларов, и ты избавишься от неприятностей. Дешевле не пойдет. Говори, кто в городе твои дружки?

Я ответил, что у меня в Америке нет ни единого друга, что я чужестранец, что дом мой далеко и я очень беден. И я обратился к нему с просьбой отпустить меня.

Тогда полисмен схватил меня за ворот, встряхнул изо всей силы, потащил по коридору и, отомкнув ключом одну из решетчатых дверей, пинком впихнул меня в камеру.

Будешь гнить здесь, дьявольское отродье, — сказал он, — пока не поймешь, что в Америке нет места для людей твоего сорта и твоей нации.

А Сун—си.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Сан—Франциско, 18..

Дорогой Цин Фу! В последнем письме, как ты помнишь, я рассказал тебе, что меня пинком втолкнули в камеру городской тюрьмы. Я споткнулся и упал на лежавшего человека. Тут же я получил затрещину, кто—то наградил меня крепким словом, еще кто—то лягнул и отпихнул в сторону. Я понял, что я среди арестантов и они меня «перекидывают». Стоило одному пихнуть меня, как я падал на голову другого и, получив новую порцию пинков и проклятий, переходил к третьему, который, в свою очередь, делал все, чтобы от меня избавиться. Я добрался до пустого места в углу, весь в синяках и ссадинах, но был доволен, что наконец никому не мешаю. Я сидел на каменном полу. В камере не было никакой мебели, если не считать квадратного топчана, сколоченного из досок, наподобие двери в амбаре, который служил кроватью пяти или шести арестантам, — больше на нем не умещалось. Они лежали рядом, в большой тесноте, и если не были заняты дракон, то храпели. В изголовье этой кровати был прибит четырехдюймовый чурбан, который служил спящим подушкой. Укрыться мне было нечем, ночная сырость пронизывала до костей (ночи в Сан—Франциско всегда свежие, хоть сильных холодов и не бывает). На топчане было, конечно, уютнее, чем на каменном полу, и время от времени какой—нибудь плебей вроде

меня пытался на него вскарабкаться. Тогда аристократы колотили его, и он проникался сознанием, что на камнях тоже неплохо.

Я тихо лежал у себя в углу, растирая синяки и с удивлением прислушиваясь к речам арестантов, с которыми они обращались друг к другу и ко мне (некоторые из соседей пытались со мной заговаривать). Я всегда считал, что, поскольку американцы свободный народ, у них не может быть тюрем: тюрьмы созданы деспотами, чтобы держать в них вольнолюбивых патриотов. Я был поражен, когда убедился в своей ошибке.

Мы находились в большой общей камере, куда временно помещают всех арестантов, обвиняющихся в мелких преступлениях. Среди нас были два американца, два мексиканца, француз, немец, четыре ирландца и чилиец; в соседней камере, отделенной от нас лишь решеткой, сидели две женщины. Все были пьяны, все переругивались и шумели, а с наступлением ночи стали вести себя еще более вызывающе и разнуздано, сотрясали железные прутья решетки и бранили, кто как мог. Шагавшего взад и вперед тюремщика. Две арестантки, женщины средних лет, тоже были пьяны; выпитая водка не усыпила их — напротив, сделала беспокойными. Они то обнимались и целовали друг друга, то затевали яростную драку и быстро превращались в два чучела из окровавленных лохмотьев и растрепанных волос. Подравшись, они давали себе отдых, всхлипывали и сквернословили. Когда они были в дружбе, то именовали друг друга не иначе как «миледи», но когда ссорились, то звали одна другую «шлюхой», сопровождая это нежное обращение несколькими изысканными эпитетами. В ходе последней схватки, которая произошла в полночь, одна откусила другой палец. Вмешался тюремщик и посадил в карцер одного из мексиканцев, потому что женщина, откусившая палец, показала на него. Пострадавшая не перечила ей; после она нам объяснила, что ей «не терпелось задать перцу этой стерве, как только палец пройдет», и потому она не хотела, чтобы ту забрали в карцер. К этому времени обе женщины изорвали одна на другой платья до такой степени, что остались почти нагишом. Мне сказали, что одна из них уже отсидела в окружной тюрьме в общей сложности девять лет, а другая четыре или пять. Им нравилось сидеть в тюрьме. Как только их выпускали на волю, они напивались, потом крали что—нибудь прямо на глазах у полицейского, и их присуждали к двум месяцам заключения в окружной тюрьме. Там они устраивались в хорошей камере, ели досыта задаром, шили рубашки для кастелянши по полдоллара за штуку, и этого им хватало на табак и другие прихоти. Когда два месяца истекали, они шли прямо к матушке Леонард, напивались, потом отправлялись на Кирни—стрит что—нибудь стянуть, потом попадали в городскую тюрьму, а оттуда в окружную, на старое местечко. Одна так жила вот уже девять лет, другая около четырех или пяти, обе заявили, что намерены прожить в окружной тюрьме до самой смерти⁵*. Под конец обе эти дамы вцепились в меня, когда я дремал, прислонившись к их решетке, и сильно меня поколотили. Оказывается, они сделали это потому, что я китаец. Они заявили, что я такой—растакрой бродяга, явился из чертовой страны, чтобы отбить заработок у честных людей и лишит их последнего куска хлеба, когда и христиане—то едва с голоду не подышают. Слово «бродяга» на их языке означает человека, который не хочет работать.

А Сун—си.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Сан—Франциско, 18..

Дорогой Цин Фу! Я продолжаю. Женщины снова помирились. Их так сроднила расправа, которую они учинили надо мной, и они почувствовали такую общность интересов и взаимную симпатию, что стали обниматься и клясться в вечной дружбе, царившей между ними до того (с некоторыми перерывами). Они решили обе показать в суде, что палец был

⁵ * Первой этой удалось (*Издатель .*)
Имя капитан перепутал сам.— М.Т.

откушен мексиканцем, и загнать его в тюрьму за причиненное одной из них увечье.

В нашей камере находится мальчик лет четырнадцати, который неоднократно бывал уличен полицейскими и учителями в том, что уговаривал несовершеннолетних школьников посетить особняки некоторых джентльменов, проживающих в богатой части города. Джентльмены снабжали его книжками и картинками соблазнительного содержания, которые он распространял среди молодых девиц. Портреты этих девиц красовались теперь в полицейском управлении, и хотя официально выставка предназначалась для влиятельных граждан и представителей власти, их смотрели все, кому была охота. Потерпевшие девицы не подверглись никакому наказанию. Мальчика в дальнейшем присудили к нескольким месяцам заключения в исправительном доме. Как утверждают, было намерение привлечь к ответственности джентльменов, нанявших этого мальчика, чтобы совращать школьниц, но поскольку этого нельзя было сделать, но предав гласности имена джентльменов и не причинив тем самым ущерба их положению в обществе, делу не дали хода.

Был также в нашей камере в ту ночь фотограф (художник, делающий портреты людей при помощи специальной машины), который приклеивал головы известных в обществе благонаправленных молодых дам к обнаженным телам женщин другого сорта, потом фотографировал эти составные картинки и продавал получившиеся фотографии за дорогую цену жуликам и шантажистам, уверяя, что молодые дамы сами наняли его фотографировать их в раздетом виде. Судья сделал строгое внушение фотографу. Судья сказал, что его поступок граничит с безобразием. Судья бранил фотографа так, что тот чуть не провалился сквозь землю от стыда, потом наложил на него штраф в сто долларов и добавил, что фотограф должен радоваться, что суд не оштрафовал его на целых сто двадцать пять долларов. С преступниками здесь не церемонятся.

Уже минуло, наверное, два часа пополудни, когда меня пробудил от дремоты сильный шум: кого—то волокли по полу, избивая на ходу, кто—то стонал. Немного погодя, раздался крик: «А ну—ка, такой—раздакий, посиди—ка здесь!» —и в нашу камеру втолкнули человека. Решетчатая дверь захлопнулась, и полицейские удалились. Вновь прибывший бессильно свалился тут же у решетки. Поскольку дать ему пинка можно было, только поднявшись на ноги или пододвинувшись к двери, лежавшие арестанты ограничились тем, что осыпали его бранью и отборными проклятиями, — горе и страдания не смягчают их и не вызывают у них сочувствия друг к другу. Пришелец, однако, вместо того чтобы подлизываться к бранившим его арестантам или, напротив, отвечать им той же бранью, молчал, и это несуразное поведение заставило наконец некоторых подползти к нему, чтобы исследовать в тусклом свете, проникавшем сквозь решетку, что же с ним такое. Он лежал без чувств, с окровавленной головой. Прошел час, он сел и огляделся, взгляд его стал осмысленным. Он рассказал, как шел по улице с мешком на плече и встретил двоих полицейских, как они велели ему остановиться, но он не послушался, как они погнались за ним, поймали и зверски избили его, — начали бить еще по дороге, а закончили здесь и потом, как собаку, бросили в камеру. Рассказав все это, он снова свалился и стал бредить. В одном из арестантов, видимо, пробудилось что—то отдаленно напоминающее сострадание, потому что, обратившись через решетку к шагавшему взад—вперед надзирателю, он сказал:

Слушай, Мики, этот гусь помирает.

Заткни глотку! — был ответ.

Но арестант не угомонился. Он подошел к самой двери, ухватился за железные прутья и, глядя через решетку, ждал, пока надзиратель снова поравняется с ним.

Эй, красавчик! Вы избили этого парня до смерти. Раскроили черепушку, к утру он в ящик сыграет. Мой совет — сбегай за доктором, а то пожалеешь.

Говоривший продолжал держаться руками за решетку, и надзиратель, изловчившись, хватил его дубинкой по пальцам — да так, что тот с воем отлетел от двери и свалился на сидящих на полу арестантов, к великой радости пяти или шести полисменов, которые давно уже изнывали от скуки, сидя у отгороженного перилами столика в коридоре.

Однако у полисменов начались совещания и переговоры шепотом: заявление арестанта

их, как видно, беспокоило. Один из надзирателей торопливо удалился и вскоре вернулся с человеком, который вошел к нам в камеру, послушал пульс у избитого и осветил фонарем его обострившееся, залитое кровью лицо с неподвижными, остекленевшими глазами. Ощупав его пробитый череп, доктор сказал:

Час тому назад я, быть может, и спас бы его, а теперь слишком поздно.

Когда доктор вышел в коридор, надзиратели тесной толпой окружили его, и они переговаривались между собой втихомолку не меньше пятнадцати минут, после чего доктор покинул тюрьму. Несколько надзирателей вошли в камеру и склонились над избитым человеком. К утру он умер.

Это была долгая, нескончаемая ночь. Рассвет, как бы нехотя заглянувший в неону темницу, был самый серый, самый унылый и самый безнадежный рассвет в моей жизни. А все же, когда надзиратель не спеша принялся гасить бледно—желтые язычки газовых рожков, а серый утренний свет стал белеть и я уверился, что ночь все—таки пришла к концу, — бодрость вернулась ко мне; я расправил затекшие руки и ноги и оглянулся вокруг с облегчением и вновь обретенным интересом к жизни. То, что я увидел, свидетельствовало, что случившееся со мной, не кошмарный сон и не горячечный бред, а самая настоящая действительность. На топчане храпели четверо бродяг, невымытые, оборванные, обросшие щетиной; один из них положил грязную ногу в порванном носке на волосатую грудь соседа, Мальчик спал тревожным сном и непрерывно стонал. Кругом лежали другие спящие фигуры, полуугадываемые в неверном свете. В самом дальнем углу белела простыня, неровности которой позволяли угадывать, где голова покойника, где ноги, где скрещенные на груди руки. За решеткой, заменявшей стену, виднелись почти полностью обнаженные тола изгнанниц из окружной тюрьмы, сплетшихся в пьяном объятии и погруженных в мертвый сон.

Мало—помалу пленные звери пробудились во всех клетках, стали потягиваться, обмениваться затрещинами и проклятиями, потом потребовали завтрака. Принесли завтрак — хлеб и мясо на оловянных тарелках, кофе в оловянных кружках; надзиратели следили, чтобы каждый ограничивался своей порцией. Еще несколько унылых часов ожидания — и нас вывели в коридор, где мы присоединились к толпе босяков и бродяг всех национальностей и всех оттенков кожи, которых доставили из других камер и клеток. Вскоре наш зверинец погнали вверх по лестнице и заперли за высокой загородкой в грязном зале, где уже сидела толпа грязных людей. Эта толпа уставилась на нас и на человека, находившегося за столиком, который здесь называют кафедрой, и окруженного писцами и другими чиновниками, сидевшими пониже. Толпа ждала. Мы находились в полицейском суде.

Начался суд. Очень скоро я вынужден был прийти к выводу, что национальная принадлежность подсудимого решала его дело. Чтобы осудить ирландца, требовались явные улики, но и в этом случае наказание было легчайшим. Французов, испанцев и итальянцев судили строго по закону, в соответствии с совершенным преступлением. Негров быстро осуждали, даже если улики были самые несерьезные. Китайцев же не оправдывали вообще. Признаюсь, я почувствовал беспокойство, хотя понимал, конечно, что то, что происходит здесь, чистая случайность, потому что в этой стране все люди свободны и равны и никто не может присвоить себе какое—то преимущественное право или отказать в законном рано другому.

Все это я отлично понимал и тем не менее испытывал беспокойство.

Я был еще более обескуражен, когда выяснялось, что любой беженец из Ирландии, нашедший приют в этой стране, может выступить перед судом и дать любое показание против такого же беженца из Китая,— показание, которое навек погубит репутацию китайца, приведет его в тюрьму и даже будет стоить ему жизни. Однако, по закону этой страны, китаец не может показывать в суде против ирландца. Тревога моя все возрастала и усиливалась. Тем не менее я продолжал хранить в глубине души почтение к свободе, которую Америка предоставляет всем и каждому, уважение к стране, которая дарует

несчастливым изгнанникам убежище и защиту, и продолжал твердить про себя, что все кончится благополучно.

А Сун—си.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Сан—Франциско, 18..

Дорогой Цин Фу! Я был рад от души, когда наступила моя очередь. За час, который я провел здесь, полицейский суд опостылил мне не меньше, чем тюремная камера. Я не тревожился об исходе своего дела. Я знал, что, как только я расскажу присутствующим здесь американцам, как хулиганы натравили на меня собаку, в то время когда я мирно шел по улице, как собака искусала меня и порвала на мне одежду, как полицейские арестовали меня и посадили в тюрьму, хулиганов же отпустили на волю, — тут в них закипит ненависть к угнетению, живущая в сердце каждого американца, и меня немедля оправдают. Признаюсь, я даже немного испугался за хулиганов, обидевших меня.

Они стояли на виду, не пытаюсь даже спрятаться, и я стал побаиваться, что, когда я сообщу об их поступке, присутствующие в порыве праведного гнева могут обойтись с ними слишком жестоко. Быть может, их даже вышлют прочь из страны, как людей, запятнавших себя позорным поступком и недостойных более находиться в ее священных пределах.

Переводчик спросил мое имя и повторил его громко для всеобщего сведения. Решив, что настало время говорить, я откашлялся и начал свою речь по—китайски (по—английски я объясняюсь плохо):

— Услышь меня, о высокородный и могущественный мандарин, и поверь мне! Я шел по улице, исполненный мирных намерений, как вдруг несколько человек стали натравливать на меня собаку и...

Молчать!

Это был голос судьи. Переводчик шепнул мне на ухо, что я должен молчать. Он сказал, что никаких показаний суд от меня не примет. Если я желаю что—либо сообщить, то должен действовать через адвоката.

У меня не было адвоката. Утром к нам в камеру приходил адвокат, выступающий в полицейском суде (в более высоких кругах общества он носит наименование «подпольного ходатая»), и предлагал мне свои услуги, по я вынужден был отказаться, так как не имел ни денег, ни залога, который мог бы послужить ему обеспечением. Я сообщил об этом переводчику. Он сказал, что тогда я должен найти свидетелей. Я осмотрелся по сторонам, и надежда ожила во мне.

Вызовите вон тех четырех китайцев, — сказал я. — Они видели всё, что происходило. Я запомнил их лица. Они подтвердят, что белый человек натравил на меня собаку без всякого повода с моей стороны.

— Из этого ничего не выйдет, — сказал он. — В Америке белые люди могут давать свидетельства против китайцев, но китайцы не могут свидетельствовать *против белого человека*.

Я похолодел от ужаса. Но тут же кровь бросилась мне в голову: он посмел клеветать на убежище угнетенных, где все люди свободны и равны, совершенно свободны и совершенно равны. Я почувствовал презрение к этому лопочущему по—китайски испанцу, который порочит страну, приютившую и питающую его. «Пусть он опалит себе глаза», — подумал я, взглянув на пламенные строки великой и замечательной американской Декларации независимости, которую мы переписали золотыми буквами у нас в Китае и повесили над домашним алтарем и в наших храмах, — я имею в виду слова о том, что все люди «сотворены свободными и равными».

Но, увы, Цин Фу, этот человек оказался прав. Да, он был прав. Мои свидетели сидели тут, в зале суда, а я не мог вызвать их. Но вот в моей душе снова затеплилась надежда. В зал суда вошел мой белый друг, и я понял, что он пришел, чтобы помочь мне. Я был уверен в этом. На сердце у меня стало легче. Проходя мимо, он незаметно шепнул мне: «Не бойся!», и

моего страха как не бывало. По хулиганы тоже узнали его, стали злобно поглядывать на него и грозить ему кулаками. А вслед за тем оба полисмена, арестовавшие меня, устремили на него пристальный взгляд. Сперва мой белый друг его выдерживал, потом понурил голову. Они не сводили с него глаз и сверлили его взглядом до тех пор, пока он не опустил голову совсем. Судья, который все это время вел с кем—то частную беседу, вернулся к моему делу. И вот это дело, имевшее для меня жизненную важность, от которого зависела не только моя судьба, но и судьба моей жены и наших детей, началось слушанием, было заслушано, закончилось слушанием, было занесено в протоколы суда, записано газетными репортерами и забыто всеми, кроме меня, все — в течение двух минут.

— Слушается дело А Сун—си, китайца. Свидетели по делу — полисмены О'Фланнаган и О'Флаэртн. Что вы имеете сказать, О'Фланнаган?

Полисмен. Он нарушил порядок на Корпи—стрит.

Судья. Имеет ли обвиняемый свидетелей?

Молчание. Белый друг поднимает голову, встречает взгляд полисмена О'Флаэрти, слегка краснеет, встает и покидает зал суда с опущенной головой, избегая глядеть на окружающих.

Судья. Пять долларов или десять суток!

В растерянности я сперва обрадовался приговору, но радость прошла, когда я разобрался и понял, что он хочет взыскать с меня пять долларов штрафа или посадить в тюрьму на десять суток, если я не заплачу денег.

В толпе арестованных было двенадцать или пятнадцать китайцев, которые обвинялись в мелких кражах и других правонарушениях. Дела их, как правило, решались мгновенно. Если обвинителем выступал полисмен или другой белый человек и адвокат китайца не мог выставить против него белых свидетелей, то дело можно было считать законченным, так как ни сам обвиняемый китаец, ни его соотечественники не имели права голоса в суде, а показание белого человека считалось достаточным для судебного решения. Суд не разводил долгих церемоний и быстро приговаривал китайца либо к тюремному заключению, либо к штрафу. Раз или два оба тяжущиеся — и истец и ответчик — были китайцами. В этих случаях разрешалось вызывать свидетелей—китайцев, которые давали суду свои показания с помощью переводчика. Присяга в суде без традиционного древнего обряда, при котором обезглавливают курицу и жгут желтую бумагу, не— имела большого значения для необразованной части моих земляков, и обе стороны с легкостью находили сколько угодно свидетелей, не имевших понятия о существовании дела и готовых показывать все что угодно. Суд основывал свой приговор на показаниях большинства свидетелей, но у судьи обычно не хватало терпения выслушать всех. Поэтому, когда ему надоедало, он объявлял, что свидетельских показаний достаточно и, подсчитав те, что выслушал, выносил свое решение.

К полудню заседание суда закрылось, и тех из нас, кому не повезло, повели под стражей в тюрьму. Судья поехал домой, адвокаты, полисмены и публика отправились по своим делам, и хозяевами мрачного зала суда остались Пустота, Безмолвие и Стиггерс — газетный репортер, который, как мне сказал один старый китаец, сейчас усядется сочинять отчет, где будет превозносить до небес полицию и чернить китайцев и покойников.

А Сун—си.

НАУКА ИЛИ УДАЧА

— В те времена, — начал свой рассказ мистер К., — азартные игры в штате Кентукки строго преследовались. Однажды десять или двенадцать молодых людей были застигнуты, когда они играли на деньги в «семерку». Эта игра известна также под названием «старые санки». Дело подлежало рассмотрению в суде, защитником должен был выступить Джим Сторджис. Чем более раздумывал Сторджис и чем внимательнее вчитывался он в показания

свидетелей, тем яснее ему становилось, что дело совсем безнадежное. Молодые люди действительно были застигнуты за азартной игрой, играли на деньги, от этого никуда не уйдешь. Опрометчивость Сторджиса вызвала сочувствие к нему в обществе. «Стоило ли губить столь блестяще начатую карьеру, брать защиту в скандальном деле, которое наверняка окончится обвинительным приговором?» – так думали все.

Несколько суток Сторджис не смыкал глаз, зато однажды наутро поднялся в прекраснейшем настроении: его осенила идея; он, кажется, нашел выход. Весь день он провел у своих подзащитных, а также конфиденциально беседовал в узком кругу друзей. В суде он признал и игру в «семерку», и то, что игра шла на деньги, но вслед за тем объявил недрогнувшим голосом, что не считает «семерку» азартной игрой. Никто в зале не смог удержаться от смеха. Улыбнулся и сам судья. Лицо Сторджиса оставалось бесстрастным, даже суровым. Прокурор попытался высмеять Сторджиса – но без успеха. Судья затейливо пошутил по поводу занятой адвокатом странной позиции, но на Сторджиса не повлияло и это. Наступила заминка. Судья выразил нетерпение, спросив, не слишком ли далеко зашла шутка защиты? Джим Сторджис ответил, что совсем не склонен шутить, но не допустит, чтобы его подзащитные сели в тюрьму лишь потому, что кому—то угодно считать «семерку» азартной игрой. Он требует доказательств. Судья возразил, что доказать это – дело нетрудное, и вызвал из публики четырех дьяконов – Джаба, Питерса, Бэрка и Джонсона и двух школьных учителей – Вирта и Миггlsa. Все они опровергли юридическую увертку Сторджиса, объявив с большим жаром «семерку» – азартной игрой, в которой выигрывает тот, на чьей стороне удача.

– Что вы скажете на это? – спросил судья.

– Я скажу, что «семерка» научная игра! – сказал Сторджис. – И не замедлю представить вам веские доводы.

Стратегический план защиты стал для всех ясен.

Сторджис вызвал кучу свидетелей, которые привели множество доводов в пользу того, что «семерка» игра строго научная.

Дело, которое казалось проще простого, сделалось весьма заковыристым. Судья почесал в затылке и сказал, что не видит выхода. И истцы и ответчики могут, как видно, набрать любое число показаний в свою пользу. Судья добавил, что в интересах решения дела он готов сделать шаг навстречу защите, если защита имеет что предложить.

В ту же минуту Сторджис был на ногах:

– Назначьте двенадцать присяжных, шестерых, кто стоит за удачу, и шестерых, кто стоит за науку. Пусть возьмут две колоды карт, запасутся свечами и идут в совещательную комнату. Правда себя покажет.

Против этого возразить было нечего. Четыре дьякона и два школьных учителя принесли присягу как сторонники теории удачи. Шесть поседевших в боях ветеранов «семерки» выступили как сторонники научной теории. Присяжные удалились.

Прошло часа два, и преподобный Питерс прислал человека, чтобы занять три доллара у одного из своих друзей. (Движение в публике.) Еще через два часа учитель Миггls прислал человека за тем же. (Снова движение в зале.) В течение следующих трех—четырёх часов второй учитель и остальные три дьякона произвели аналогичные мелкие займы. Публика, переполнявшая зал суда, не расходилась. Бычий угол давно не сталкивался со столь острой проблемой. Добавим, что она имела насущный практический интерес для каждого уважающего себя отца семейства в поселке.

Конец этой истории таков. На рассвете присяжные вышли в зал заседания, и их старшина, дьякон Джаб, прочитал вердикт:

«Мы, присяжные в деле штата Кентукки против Джона Уилера и других, тщательно рассмотрев обстоятельства дела и проверив теории и доводы, выдвинутые в процессе судебного следствия, единодушно решили, что игра, известная под названием „семерка“ или „старые санки“, является безусловно не азартной, а научной игрой. Предпринятая нами проверка указанных теорий и доводов выяснила, обнаружила, с очевидностью показала, что

за целую ночь сторонники теории удачи не имели ни одного козыря и не выиграли ни единого кона, в то время как противная сторона многократно демонстрировала и то и другое. В пользу нашего решения свидетельствует также и то, что сторонники теории удачи проигрались до последнего цента, и их деньги перешли к представителям противной теории. Вследствие чего мы, присяжные, заключаем, что теория удачи применительно к игре „семерка“ или „старые санки“ является пагубной и может принести неисчислимые страдания и тяжкий материальный ущерб всем, кто ей будет следовать».

– Вот как получилось, что в штате Кентукки «семерку» исключили из списка азартных игр и стали рассматривать как игру чисто научную и запрету не подлежащую, – сказал мистер К. – Решение суда получило силу закона и не оспорено по сей день.

ПЛАН ГОРОДА ПАРИЖА

(К читателю)

Прилагаемый план говорит сам за себя. Идея этого плана не оригинальна, она заимствована мною из столичных газет.

План Парижа

Это произведение искусства (если только можно назвать его так) не претендует на какие—либо иные достоинства, кроме точности. Как правило, недостатки подобных планов объясняются тем, что их авторы, по—видимому, уделяют больше внимания художественности исполнения, нежели географической достоверности.

Поскольку это моя первая попытка составить и выгравировать план, – да и вообще подвизаться на поприще искусства, – то мне очень польстили похвалы и восхищение, вызванные этой работой. И особенно трогательно, что самые восторженные отзывы исходят от людей, ничего не смыслящих в искусстве.

По незначительному недосмотру я выгравировал план так, что всем, кроме левши, придется читать его шиворот—навыворот. Я забыл, что для того, чтобы получить правильный отпечаток, надо все и чертить и гравировать наоборот. Однако пусть тот, кто пожелает рассматривать этот план, станет на голову или держит его перед зеркалом. Тогда все будет в порядке.

Читатель с первого же взгляда поймет, что та часть реки, через которую перекинут Хай Бридж, подалась влево, – дело в том, что у меня соскользнул гравировальный резец, и пришлось изменить течение реки Рейна, иначе пропал бы весь план целиком. А после того как я два дня ковырял и выдалбливал гравировальную доску, мне легче было бы изменить положение Атлантического океана, чем допустить, чтобы все мои труды пошли насмарку.

Ни с чем в жизни у меня не было столько возни, сколько с этим планом. Сперва у меня вокруг всего Парижа было рассыпано множество маленьких укреплений, но то тут, то там мой резец соскальзывал и так начисто сметал целые мили батарей, словно там побывали пруссаки.

Читатель, без сомнения, сочтет полезным вставить этот план в рамку, чтобы им могли пользоваться и другие. Это будет способствовать распространению в народе просвещения и искоренению процветающего ныне невежества.

Марк Твен.

Официальные одобрителльные отзывы

Никогда не видал другого такого плана.

У. С. Грант

Теперь город представляется в совершенно новом освещении.

Бисмарк

Я не могу глядеть на него, не проливая слез.

Брайэм Юнг

Замечательно крупная четкая печать.

Наполеон

Моя жена годами страдала веснушками, и, хотя мы принимали все известные нам меры, ничто не помогало. Но, сэр, едва она взглянула на этот план, как веснушки исчезли. Сейчас она страдает только судорогами.

Дж. Смит

Будь у меня этот план, я бы без труда выбрался из Мена.

Базен

Я повидал на своем веку немало планов, но ни один из них не был похож на этот.

Трошо

Справедливости ради следует сказать, что в некоторых отношениях это весьма примечательный план.

У. Т. Шерман

Я сказал своему сыну Фридриху—Вильгельму: «Если бы ты сделал такой план, я бы пожалел, что ты не умер. От души пожалел бы».

Вильгельм III

ОТВЕТ БУДУЩЕМУ ГЕНИЮ

Молодому автору — Да, Агассис действительно рекомендует писателям есть рыбу, потому что фосфор, который в ней имеется, развивает мозги. Тут вы не ошиблись. Но я не могу помочь вам установить необходимую для вас минимальную норму рыбы, — во всяком случае, затрудняюсь определить ее с абсолютной точностью. Если присланное вами сочинение — типичный образец вашего творчества, то пара китов — это, пожалуй, пока все, что вам требуется. Не каких—то особо крупных, нет, — самых обыкновенных китов среднего размера.

О ПАРИКМАХЕРАХ

Все на свете меняется, все — кроме парикмахеров, их манер и парикмахерского окружения тут ничто не меняется входя в парикмахерскую, человек до конца дней своих испытывает то же самое, что он испытал, войдя в нее впервые и жизни. В то утро я, как обычно, решил побриться. Я уже подходил к двери парикмахерской с Мейн—стрит, когда

какой—то человек приблизился к ней со стороны Джонс—стрит. Обычная история! Как я ни спешил, он проскочил в дверь на какой—то миг раньше меня, и я, войдя сразу вслед за ним, увидел, что он уже занимает единственное свободное кресло, которое обслуживал лучший мастер. Да, обычная история. Я присел, в надежде, что мне удастся унаследовать кресло, принадлежавшее лучшему из двух оставшихся парикмахеров, — ведь он уже начал причесывать своего клиента, в то время как его коллега даже не приступил еще к массажу и умягчению волос. С неослабным интересом наблюдал я за тем, как попеременно то увеличивались, то уменьшались мои шансы. Когда я увидел, что No 2 нагоняет No 1, мой интерес перешел в беспокойство. Когда No 1 на секунду остановился и я увидел, что No 2 обходит его, мое беспокойство переросло в тревогу. Когда No 1 удалось нагнать соперника, и оба они одновременно начали смахивать полотенцами пудру со щек своих клиентов, и кто—то из них вот—вот должен был первым крикнуть: "Следующий!", я замер. Но когда в самую решающую минуту No 1 задержался, чтобы разок—другой провести расческой по бровям своего клиента, я понял, что его обошли, и в негодовании покинул парикмахерскую, не желая попасть в руки No 2, ибо у меня нет тон завидной твердости, которая позволяет человеку, спокойно глядя в глаза парикмахеру, заявить, что он будет ждать, пока освободится другой мастер.

Выждав пятнадцать минут, я вернулся в парикмахерскую, надеясь на лучшую судьбу. Все кресла были, конечно, уже заняты, да еще четверо мужчин томились в нетерпении, молчаливые, необщительные, обалдевшие и помиравшие со скуки, — словом, это было обычное состояние людей, ожидающих своей очереди в парикмахерской. Я уселся на старый диван, разделенный железными подлокотниками на несколько мест, и, не зная, чем убить время, принялся перечитывать висевшие в рамках рекламы многочисленных шарлатанских средств для окраски волос. Затем я прочел засаленные наклейки на бутылочках с лавровой эссенцией, каждая из которых принадлежала какому—нибудь клиенту; проглядел наклейки и затвердил номера на персональных бритвенных приборах, стоявших в отдельных ящичках; изучил висевшие на стенах, засиженные мухами дешевые выцветшие гравюры, на которых были изображены военные баталии, первые президенты, возлежащие на подушках сластолюбивые султанши и неизменная юная девица, примеряющая очки своего деда; в глубине души я проклял неугомонную канарейку и бодрого попугая, без которых не обходится почти ни одна парикмахерская. После этого я обнаружил жалкие остатки прошлогодних иллюстрированных журналов, разбросанных на замусоленном столе посреди комнаты, и зазубрил нелепые сообщения о давно забытых событиях.

Но наконец подошла и моя очередь. Раздался голос: "Следующий!" — и я, разумеется, попал в руки No 2. Вечное невезение! Я кротко сообщил ему, что спешу, и это подействовало на него так сильно, будто он никогда не слыхивал ничего подобного. Резко запрокинув мне голову, он подложил под нее салфетку. Он пробрался под мой воротничок и засунул туда полотенце. Исследовав своими когтями мои волосы, он объявил, что их необходимо подравнять. Я ответил, что не собираюсь стричься. Он исследовал их снова и повторил, что они слишком длинны, — теперь так не носят, и будет гораздо лучше, если мы немного срежем, особенно на затылке. Я доложил ему, что стригся всего неделю назад. Окинув мою голову тоскующим взглядом, он пренебрежительно спросил, кто меня стриг. Но я проворно отпарировал: "Вы сами!", и тут он спасовал. После этого он принялся взбивать мыльную пену, поминутно останавливаясь, чтобы окинуть себя взором в зеркале, критически оглядеть в нем свой подбородок или внимательно рассмотреть какой—нибудь прыщик. Потом он тщательно намылил одну мою щеку и уже хотел намыливать другую, но тут его внимание отвлекла собачья драка, — он помчался к окну и, став около него, принялся глядеть, что происходит на улице; при этом он, к моему великому удовольствию, лишился двух шиллингов, проиграв их остальным парикмахерам, так как поставил не на того пса. Наконец он кончил меня намыливать и начал рукой втирать пену.

Он уже принялся было точить на старой подвязке бритву, но тут завязался спор о каком—то галантерейном бале—маскараде, где он прошлой ночью, разодетый в красный

батист и поддельный горноста́й, изображал короля. Его поддразнивали, напоминая о некоей девице, которая не устояла перед его чарами, и он, польщенный, любыми средствами старался продолжить разговор, но при этом делал вид, будто шуточки товарищей ему неприятны. Все это привело к тому, что он еще чаще стал вертеться перед зеркалом, отложил бритву, с особой тщательностью расчесал свои волосы, выложив их перевернутой аркой на лбу, довел до совершенства пробор на затылке и соорудил себе над ушами два милых крылышка. Тем временем мыльная пена у меня на лице высохла и въелась до самых печенок.

Наконец он взялся за бритве, вонзившись пальцами в мое лицо, чтобы натянуть кожу, толкая и швыряя мою голову в разные стороны и заботясь лишь о том, чтобы ему удобнее было брить. Пока он выбривал наименее чувствительные места, все шло хорошо, но когда он принялся скрести, драить и дергать подбородок, у меня хлынули слезы. Из моего носа он сделал рукоять, чтобы удобнее было выбрить все уголки на верхней губе, и тут благодаря косвенным уликам я обнаружил, что в числе его обязанностей в парикмахерской входила чистка керосиновых ламп. Мне всегда было интересно знать, кто этим занимается — хозяин или мастера.

Я принялся гадать, где он меня на этот раз порежет, но не успел еще что—нибудь придумать, как он уже резанул мой подбородок. Он немедленно подточил бритву, хотя ему следовало сделать это значительно раньше. Я не люблю гладко выбриваться и вовсе не хотел, чтобы он прошелся по моему лицу еще раз. Всеми силами старался я убедить его отложить бритву, страшась, что он снова примется за подбородок — самое чувствительное место на моем лице, — здесь бритва не может прикоснуться дважды, чтобы не вызвать раздражения; но он уверил меня, что хочет лишь пригладить небольшую шероховатость, и в тот же миг промчался бритвой по запретному месту, где, как я и опасался, мгновенно, словно откликнувшись на зов и причиняя жгучую боль, выскочили прыщики. Смочив полотенце лавровой эссенцией, он начал противно шлепать им по моему лицу, словно я всю жизнь умывался только подобным образом. Затем он несколько раз шлепнул по моему лицу сухим концом полотенца и снова проделал это с таким видом, будто я всегда вытирался так, а не иначе, — но ведь парикмахер редко обращается с вами по—христиански. Затем он с помощью все того же полотенца смочил порезанное место лавровой эссенцией, присыпал ранку крахмалом, снова смочил лавровой эссенцией и, без сомнения, продолжал бы смачивать и присыпать его вечно, если бы я не восстал и не взмолился, чтобы он это прекратил. После этого он осыпал мне все лицо пудрой, смахнул ее и, с глубокомысленным видом вспахав руками мои волосы, предложил их вымыть, подчеркнув, что это необходимо, совершенно необходимо проделать. Однако он снова спасовал, когда я сообщил ему, что не далее как вчера собственноручно и весьма тщательно вымыл голову. Тогда он порекомендовал мне "Смитовский освежитель для волос" и выразил готовность продать бутылочку. Я отказался. Он начал превозносить новый одеколон "Радость Джонса", уверяя, что я должен его купить. Я отказался снова. Затем он предложил мне приобрести для чистки зубов какую—то дрянь его собственного изготовления, а когда я отказался, сделал попытку всучить мне бритву.

Потерпев неудачу и на сей раз, он снова принялся за дело — обрызгал меня с ног до головы одеколоном, намадил мне, несмотря на все мои протесты, волосы, выскреб и выдрал большую их часть, расчесал оставшиеся, сделал пробор, соорудил у меня на лбу неизменную перевернутую арку. Когда, причесывая и помадя мои жидкие брови, он пустился перечислять достоинства своего черного с рыжими подпалинами терьера весом в шесть унций, пробило двенадцать часов, и я понял, что на поезд мне уже никак не попасть. Тут он снова схватил полотенце, слегка обмахнул им мое лицо, еще раз провел расческой по моим бровям и весело прокричал: "Следующий!"

Двумя часами позже этот парикмахер упал и умер от апоплексического удара. Еще день — и я с радостью отправлюсь на его похороны.

МОИ ПЕРВЫЕ ПОДВИГИ НА ГАЗЕТНОМ ПОПРИЩЕ

В тринадцать лет я был удивительно смысленный ребенок, просто на редкость смысленный, как я тогда полагал. Именно к этому времени относятся мои первые газетные писания, которые, к моему великому удивлению, имели сенсационный успех в нашем городке. Нет, право, все обстояло именно так, и я был страшно горд этим. В то время я был учеником в типографии, и я сказал бы, многообещающим и целеустремленным учеником. В один счастливый летний день мой дядя, который пристроил меня в своей газете (еженедельник "Ганнибал джорнел"; подписная плата два доллара в год, и пятьсот подписчиков, вносящих подписную плату дровами, капустой и не находящим сбыта турнепсом), вздумал на неделю уехать из городка. Перед отъездом он поинтересовался: сумею ли я самостоятельно выпустить один номер газеты. Еще бы! Разве не хотелось мне проверить свои силы?!

Редактором конкурирующей газеты был некто Хиггинс. Незадолго до этого ему так подставили ножку в сердечных делах, что однажды вечером один из его друзей нашел на кровати бедняги записку, в которой Хиггинс сообщал, что жизнь стала для него невыносима и что он утопился в Медвежьем ручье. Бросившись к ручью, друг обнаружил Хиггинса, пробиравшегося обратно к берегу: он все же решил не топиться.

Несколько дней подряд весь городок переживал это событие, но Хиггинс ничего не подозревал. Я решил, что это как раз то, что мне надо. Расписав всю эту историю в самых скандальных тонах, я проиллюстрировал ее мерзкими гравюрами, вырезанными большим складным ножом на оборотной стороне деревянных литер. На одной из них Хиггинс, в ночной рубашке и с фонарем в руке, вступал в ручей и измерял его глубину тростью. Я был глубоко убежден, что все это невероятно смешно, и не усматривал в своей писанине ничего неэтичного. Довольный содеянным, я стал выискивать другие объекты для своего остроумия; как вдруг меня осенило: я решил, что будет совсем неплохо обвинить редактора соседней провинциальной газеты в преднамеренном мошенничестве, — вот уж он у меня попляшет, как червяк на крючке!

Я осуществил свою идею, напечатав и газете пародию на стихотворение "Похороны сэра Джона Мура", и должен сказать, что эта пародия не отличалась особой тонкостью.

Затем я сочинил оскорбительный памфлет на двух видных горожан — не потому, конечно, что они чем—либо заслужили это, — нет, просто я считал своим долгом оживить газету.

После этого я слегка затронул местную знаменитость, недавно появившуюся в наших краях, — поденного портного из Куинси, слащавого фата чистой воды, носившего самые пестрые, самые кричащие наряды в Штатах. К тому же он был заядлый сердцеед. Каждую неделю он присылал в "Ганнибал джорнел" цветистые "стихи", посвященные своей последней победе. Стихи, присланные им в дни моего правления, были озаглавлены "К Мэри из Пр...", что, конечно, должно было означать "К Мэри из Принстона". Когда я уже набирал его творение, меня вдруг словно молнией пронизало с головы до пят острое чувство юмора, и я излил его в выразительном подстрочном примечании следующим образом: "На сей раз мы публикуем эти вирши, но нам хотелось бы, чтобы мистер Дж. Гордон Раннелс ясно понял, что мы должны заботиться о своей репутации и что если он и впредь захочет излить свои чувства к кому—нибудь из своих друзей в Пр...ней, то ему придется сделать это не с помощью нашей газеты, а каким—либо другим путем!"

Газета вышла, и я должен сказать, что ни один газетный опус никогда не привлекал большего внимания, чем мои игривые упражнения.

На этот раз "Ганнибал джорнел" шел Нарасхват, чего раньше никогда не случалось. Весь городок пришел в волнение. Ранним утром в редакции появился Хиггинс с охотничьей двустволкой в руках. Обнаружив, однако, что тот, кто нанес ему такое неслыханное оскорбление, всего лишь младенец (как он меня окрестил), он ограничился тем, что отодрал

меня за уши и удалился. Но, видно, он решил махнуть рукой на свою газету, потому что той же ночью навсегда покинул городок. Портной явился с утюгом и парой ножниц, но тоже отнесся ко мне с полным презрением и в ту же ночь отбыл на юг. Двое горожан — жертвы памфлета — прибыли с угрозами возбудить дело о клевете, но в негодовании покинули редакцию, увидев, что я собой представляю. На следующий день с воинственным индейским кличем ворвался редактор соседней провинциальной газеты. Он жаждал крови. Однако он кончил тем, что сердечно простил меня, предложив дружески обмыть наше примирение в соседней аптеке полным стаканом "Глистогонки Фанштока". Это была невинная шутка.

Вернувшись в городок, мой дядя пришел в ужасное негодование. Но я считал, что у него для этого нет никаких оснований, — глядя, как бойко с моей легкой руки пошла газета, он должен был только радоваться да еще благодарить судьбу за свое чудесное спасение: только потому, что его не было в городке, ему не пропороли живот, не запустили в него томагавком, не привлекли к суду за клевету и не продырявили пулей голову. Впрочем, он подобрел, когда увидел, что за время его отсутствия у газеты появилось тридцать три новых подписчика; и хотя число это звучало неправдоподобно, я в качестве доказательства представил такое количество дров, капусты, бобов и негодного для продажи турнепса, что их должно было хватить на всю семью на два года!

МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Двое или трое из моих друзей упомянули как—то в разговоре со мной, что если я напишу историю своей жизни и у них будет свободное время, они ее прочитают. Не в силах противиться этим неистовым требованиям читающей публики, я составил свою автобиографию.

Я происхожу из старинного знатного рода, уходящего корнями в глубь веков. Самым отдаленным предком Твенгов был друг нашего дома по фамилии Хиггинс. Это было в одиннадцатом столетии, когда наша семья жила в Англии в Абердине, графство Корк. Почему представители нашего рода сохранили материнскую фамилию Твен вместо фамилии Хиггинс (я не считаю тех случаев, когда они шутки ради скрывались под псевдонимами) — тайна, в которую Твены не посвящают посторонних. Это прелестная романтическая история, которой лучше не касаться. Так принято во всех аристократических семьях.

Артур Твен был человек незаурядных способностей — он промышлял на большой дороге во времена Уильяма Руфуса. Ему еще не было тридцати лет, когда ему пришлось прокатиться в Ньюгет, один из самых почтенных английских курортов, чтобы навести кое—какие справки. Назад он не вернулся, так как умер там скоропостижно.

Огастес Твен снискал себе немалую популярность около 1160 года. Это был прирожденный юморист. Наточив свою старую шпагу и выбрав местечко поукромнее, он темной ночью прокалывал запоздалых путников, чтобы поглядеть, как они будут подпрыгивать. Что называется весельчак! Но он не соблюдал должной осторожности, и однажды власти захватили Огастеса в то время, когда он снимал платье с жертвы своих развлечений. Тогда они отделили голову его от тела и выставили ее на почетном месте в Темпл—Баре, откуда открывается превосходный вид на город и на гуляющую публику. Никогда ранее Огастес Твен не занимал такого высокого и прочного положения.

В продолжение следующих двух столетий Твены отличались на поле брани. Это были достойные, неустрашимые молодцы, которые шли в бой с песнями позади всех и бежали с поля битвы с воплями в первых рядах.

Наше родословное древо имело всегда одну—единственную ветвь, которая располагалась под прямым углом к стволу и приносила плоды круглый год — летом и зимой. Пусть это будет горьким ответом на малоудачную остроту старика Фруассара.

В самом начале пятнадцатого столетия мы встречаем Красавца Твена, известного под

кличкой "Профессор". У него был такой удивительный, такой очаровательный почерк, и он умел до того похоже изобразить почерк другого человека, что нельзя было без хохота на это смотреть. Он искренне наслаждался своим редким талантом. Случилось, впрочем, так, что ему пришлось по приглашению правительства отправиться бить щебенку на дорогах, и эта работа несколько повредила изяществу его почерка. Тем не менее он увлекся своей новой специальностью и посвятил ей, с небольшими перерывами, сорок два года. Так, в трудах, он и окончил свой жизненный путь. Все эти годы власти были так довольны Профессором, что немедленно возобновляли с ним контракт, как только старый приходил к концу. Начальство его обожало. Он пользовался популярностью и среди своих коллег и состоял видным членом их клуба, который носил странное наименование "Каторжная команда". Он коротко стриг волосы, любил носить полосатую одежду и скончался, оплакиваемый правительством. Страна потеряла в его лице беззаветного труженика.

Несколько позже появляется знаменитый Джоя Морган Твен. Он приехал в Америку на корабле Колумба в 1492 году в качестве пассажира. По—видимому, у него был очень дурной, брюзгливый характер. Всю дорогу он жаловался, что плохо кормят, и угрожал сойти на берег, если не переменят меню. Он требовал на завтрак свежего пузанка. Целыми днями он слонялся по палубе, задрал нос, и отпускал шуточки насчет Колумба, утверждая, что тот ни разу не был в этих местах и понятия не имеет, куда едет. Достопамятный крик: "Смотри, земля!" потряс всех, но только не его. Он поглядел на горизонт через закопченный осколок стекла и сказал: "Черта с два земля! Это плот!"

Когда этот сомнительный пассажир взошел на корабль, все его имущество состояло из носового платка с меткой "Б. Г.", одного бумажного носка с меткой "Л. В. К.", другого — шерстяного с меткой "Д. Ф." и ночной сорочки с меткой "О. М. Р.", завернутых в старую газету. Тем не менее во время путешествия он больше волновался о своем "чемодане" и разглагольствовал о нем, чем все остальные пассажиры вместе взятые. Когда корабль зарывался носом и рулевое управление не действовало, он требовал, чтобы его "чемодан" передвинули ближе к корме, а затем бежал проверять результаты. Если корабль зачерпывал кормой, он снова приставал к Колумбу, чтобы тот дал ему матросов "перетащить багаж". Во время шторма приходилось забивать ему в рот кляп, потому что его вопли о судьбе его имущества заглушали слова команды. По—видимому, ему не было предъявлено прямого обвинения в каких—либо правонарушениях, но в судовом журнале отмечено как "достойное внимания обстоятельство", что, хотя он принес свой багаж завернутым в старую газету, он унес, сходя на берег, четыре сундука, не считая саквояжа и нескольких корзин из—под шампанского. Когда же он вернулся на корабль, нахально утверждая, что некоторых вещей — у него недостает, и потребовал обыска других— пассажиров, терпение его товарищей по путешествию лопнуло, и они швырнули его за борт. Долго они смотрели, не всплывет ли он, но даже пузырька не появилось на ровной морской глади. Пока все с азартом предавались этим наблюдениям, обнаружилось, что корабль дрейфует и тянет за собой повисший якорный канат. В древнем, потемневшем от времени судовом журнале читаем следующую любопытную запись:

"Позже удалось установить, что беспокойный пассажир нырнул под воду, добрался до якоря, отвязал его и продал богопротивным дикарям на берегу, уверяя, что этот якорь он нашел в море, сукин он сын!"

При всем том мой предок не был лишен добрых и благородных задатков, и наша семья с гордостью вспоминает, что он был первым белым человеком, который всерьез занялся духовным воспитанием индейцев и приобщением их к цивилизации. Он построил вместительную тюрьму, воздвиг возле нее виселицу и до последнего своего дня похвалялся, что ни один реформатор, трудившийся среди индейцев, не оказывал на них столь успокаивающего и возвышающего действия. О конце его жизни хроника сообщает скупой и обиняками. Там говорится, что при повешении первого белого человека в Америке старый путешественник получил повреждение шейных позвонков, имевшее роковой исход.

Правнук "реформатора" процветал в XVII столетии и известен в нашей семейной

хронике под именем Старого Адмирала, хотя историки того времени знают его под другими именами. Он командовал маневренными, хорошо оснащенными и отлично вооруженными флотилиями и много способствовал увеличению быстроходности торговых судов. Купеческий корабль, за которым шел Адмирал, не сводя с него орлиного взора, всегда плыл через океан с рекордной скоростью. Если же он медлил, несмотря на все понуждения Адмирала, тот распался гневом и наконец, уже не будучи в силах сдержать свое негодование, захватывал корабль и держал его у себя, ожидая, пока владельцы не явятся за потерянным имуществом (правда, они этого не делали). Чтобы среди захваченных матросов не завелось лентяев и лежебок, Адмирал предписывал им гимнастические упражнения и купания. Это называлось "пройтись по доске". Матросы не жаловались. Во всяком случае, раз выполнив это упражнение, они больше не напоминали о себе. Не дождавшись судовладельцев, Адмирал сжигал корабли, чтобы страховая премия не пропадала даром. Этот старый заслуженный моряк был зарезан в расцвете сил и славы. Безутешная вдова не уставала повторять до самой своей кончины, что, если бы Адмирала зарезали на пятнадцать минут раньше, его удалось бы еще вернуть к жизни.

Чарльз Генри Твен жил в конце семнадцатого столетия. Это был ревностный и почтенный миссионер. Он обратил в истинную веру шестнадцать тысяч островитян в южных морях и неустанно внушал им, что человек, имеющий на себе из одежды всего лишь ожерелье из собачьих клыков да пару очков, не может считаться достаточно экипированным для посещения храма Божия. Незлобивые прихожане нежно любили его, и, когда заупокойная церемония окончилась, они вышли из ресторана со слезами на глазах и твердили по пути домой, что такого мягкого миссионера им еще не приходилось встречать; жаль только что каждому досталось так мало.

Па—Го—То—Вах—Вах—Пакетекивис (Могучий Охотник со Свиным Глазом) Твен украшал своим присутствием средние десятилетия восемнадцатого века и от всего сердца помогал генералу Брэддоку воевать с угнетателем Вашингтоном. Спрятавшись за дерево, он семнадцать раз стрелял в Вашингтона. Здесь я полностью присоединяюсь к очаровательному романтическому рассказу, вошедшему во все хрестоматии. Однако дальше в рассказе говорится, будто после семнадцатого выстрела, уstraшенный своей неудачей, дикарь торжественно заявил, что поскольку Вечный Дух, как видно, предназначил Вашингтона для великих дел, то он более не поднимет на него свое святотатственное ружье. В этой части я вынужден указать на серьезную погрешность против исторических фактов. На самом деле индеец сказал следующее:

— Никакого (ик!) толку! Он так пьян, что не может стоять прямо. Разве в него попадешь? Дурень я буду, если (ик!) истрочу на него еще хоть один патрон.

Вот почему индеец остановился на семнадцатом выстреле. Он приводит простой и толковый резон; сразу чувствуешь, что это чистая правда.

Я всегда любил этот рассказ даже в том виде, в каком его печатают в хрестоматиях, но меня преследовала мысль, что каждый индеец, присутствовавший при разгроме Брэддока и дважды промахнувшийся (два выстрела за сто лет легко вырастают в семнадцать), приходил к неизбежному выводу, что солдат, в которого он не попал, предназначен Вечным Духом для великих дел, а случай с Вашингтоном запомнился только потому, что в этом случае пророчество сбылось, а в других нет. Всех книг на свете не хватит, чтобы перечислять пророчества индейцев и других малоавторитетных лиц. Однако список сбывшихся пророчеств легко умещается у вас в кармане.

Хочу добавить, что некоторые из моих предков так хорошо известны в истории человечества под своими псевдонимами, что было бы бесцельным вести здесь о них рассказ, даже перечислять их в хронологическом порядке. Назову лишь некоторых из них. Это Ричард Бринсли Твен, он же Гай Фоке; Джон Уэнтворт Твен, он же Джек Шестнадцать ниток; Уильям Хоггерти Твен, он же Джек Шеппард; Анания Твен, он же барон Мюнхгаузен; Джон Джордж Твен, он же капитан Кидд. Следует также упомянуть Джорджа Френсиса Трэна, Тома Пеппсра, Навуходносора и Валаамскую ослицу. Все эти лица

принадлежат к нашему роду, но относятся к ветви, несколько удалившейся от центрального ствола, то что называется —к боковой линии. Все Твены жаждали популярности, но, в отличие от коренных представителей нашей фамилии, которые искали ее на виселице, эти люди ограничивались тем, что сидели в тюрьме.

Когда пишешь автобиографию, неразумно доводить рассказ о предках до ближайших родственников. Правильнее, сказав несколько слов о прадедушке, перейти к собственной персоне, что я и делаю.

Я родился без зубов, и здесь Ричард III имеет передо мной преимущество. Зато я родился без горба, и здесь преимущество на моей стороне. Мои родители были бедными — в меру, и честными — тоже в меру.

А теперь мне приходит в голову, что жизнь моя слишком бесцветна по сравнению с жизнью моих предков и с рассказом о ней лучше повременить, пока меня не повесят. Жаль, что другие автобиографы, книги которых мне приходилось читать, не приняли своевременно такого же решения. Как много выиграла бы читающая публика, не правда ли?

МОЯ ПЕРВАЯ БЕСЕДА С АРТИМЕСОМ УОРДОМ

Я никогда раньше с ним не встречался. Он привез рекомендательные письма от общих знакомых из Сан—Франциско и пригласил меня с ним позавтракать. У нас на серебряных рудниках считалось почти святотатством приступать к завтраку без коктейля из виски. Артимес с галантностью столичного жителя всегда подчинялся провинциальным обычаям и тотчас заказал три порции этого яда. Третьим за нашим столом был Хингстон. Я охотно пью, кажется, все на свете за исключением коктейля из виски. И я прямо сказал, что я им не компания; коктейль сразу ударит мне в голову, и через десять минут я буду ни на что не пригоден. Я не хотел бы при первом нашем знакомстве показаться умалишенным. Но Артимес просил не отказываться, и я проглотил коварный напиток, продолжая протестовать и зная, что соглашаться не следовало. Через несколько минут мне показалось, что мысли у меня путаются. В сильной тревоге я ждал начала беседы. Впрочем, меня еще не покидала надежда, что, быть может, я преувеличиваю свое опьянение, и все как—нибудь обойдется.

После нескольких ничего не значащих замечаний Артимес принял необыкновенно сосредоточенный вид и произнес небольшую речь, показавшуюся мне несколько странной. Он сказал следующее:

— Пока не забыл, хочу вас кое о чем расспросить. Вы живете здесь, в вашем серебряном царстве, в Неваде, больше двух лет, и, конечно, вам, репортерам, приходилось спускаться вниз, в рудники, осматривать их, — словом, вы изучили рудничное дело до тонкости. Так вот, я хотел бы спросить, как эта руда расположена? Сейчас я вам поясню. Если я представляю правильно, эта жила — металл, серебро — зажата между пластами гранита и так под землей и идет, пока не проглянет наружу, вроде как край тротуара. Представим теперь нашу жилу толщиной, скажем, в сорок футов или, может быть, в семьдесят... нет, лучше возьмем все сто. Вы к ней роете шурф, вертикальный, а быть может, наклонный, тот, что зовется квершлагом, и спускаетесь вглубь на целых пятьсот футов — а быть может, хватит двухсот? — и идете за жилой вплотную, а она—то все уже и уже, и эти пласты гранита вот—вот поглотят ее... Впрочем, я не имею в виду, что они непременно сомкнутся, в особенности если геологическая обстановка в руднике такова, что они отстоят один от другого намного дальше обычного, и наука тут не поможет... Хотя, с другой стороны, при прочих равных условиях было бы странно, если бы не было так... И если взять за исходный пункт наше первое предположение и учесть все новейшие данные, то, конечно, можно извлечь и тот и другой вывод... Это уж без сомнения!.. Вы согласны со мной?

Я подумал: «Вот оно в точности, как я предвидел. Коктейль меня погубил. Даже устрица на моем месте и та поняла бы больше».

Затем я сказал:

– Разумеется. Да, без сомнения. Впрочем, если позволите... Не согласитесь ли вы повторить свой вопрос?

– Конечно, конечно. Это я виноват. Предмет для меня совсем новый, и я не сумел ясно выразиться.

– Да нет же, вина моя. Вы очень ясно сказали, но коктейль ударил мне в голову. Основное я понял, но я не усвоил деталей. Повторите еще раз, и я пойму все до конца.

Он сказал:

– Хорошо, повторю суть вопроса (тут он принял серьезнейший вид и стал загибать пальцы, отмечая важнейшее): наша жила, или, скажем, руда – как хотите – зажата двумя пластами гранита наподобие сэндвича. Это ясно, не правда ли? Теперь вы копаете шурф, скажем, в тысячу футов или в тысячу двести (в конце концов это неважно) и подходите к жиле вплотную и бьете к ней штреки, иные перпендикулярно, а часть параллельно и именно в той ее части, где порода более серниста, – она ведь серниста, не так ли? Хотя, если вы меня спросите – пусть это и спорно, – я лично скажу, что рудокопу неважно, идет она там или нет, поскольку порода сопутствует жиле, хотя не вполне, и при других обстоятельствах любой среди нас ее бы вообще не заметил... Ну как, я прав или нет?

Я грустно сказал:

– Вы должны извинить меня, мистер Уорд. Я, конечно, сумел бы ответить на ваш вопрос, но проклятый коктейль ударил мне в голову. Я сейчас ни о чем не могу судить. Ведь я говорил вам...

– Не огорчайтесь, прошу вас. Я опять не сумел изложить свою мысль толково. Хотя я старался быть ясным...

– Ну, разумеется. Вы были предельно ясным. Чтобы не понять вас, нужно быть безнадежным кретином. Все дело в проклятом коктейле.

– Нет, не вините себя. Я еще раз попробую, и уж если теперь...

– Нет, умоляю вас, это будет впустую. Голова моя в таком состоянии, что я не сумею ответить на самый простой вопрос.

– Не бойтесь, я так поверну свой вопрос, что вы сразу поймете, в чем дело. Начнемте сначала (он перегнулся ко мне через стол, лицо его выразило глубокую озабоченность, и он приготовился пальцами правой руки загибать пальцы на левой, отмечая важнейшие пункты в своем рассуждении, а я, вытянув шею и напрягши все силы, приготовился или понять или погибнуть): – Так вот, эта штуковина, эта самая жила содержит в себе металл, серебро, и тем самым, понятное дело, она выступает, как последующий элемент в ряду предыдущих, действуя в пользу ближайших и в ущерб всем последующим, либо в ущерб всем ближайшим и в пользу последующих или индифферентно и к тем и к другим, а также учитывая относительную границу в радиусе распространения...

Я сказал:

– Теперь совершенно ясно, что у меня на плечах чурбан. Не старайтесь, не надо. Чем больше вы объясняете, тем меньше я понимаю.

Сзади послышался подозрительный шум. Я быстро обернулся и увидел, что Хингстон, укрывшись газетой, корчится от неодолимого смеха. Я взглянул на Уорда, он сбросил недавнюю важность и тоже смеялся. Меня разыграли. Под видом глубокомысленных рассуждений мне преподносили совершеннейший вздор. Артмес Уорд был одним из самых приятных людей на свете и замечательным собеседником. Про него шла молва, что он молчалив. Вспоминая нашу беседу, я позволю себе с этим не согласиться.

КАК МЕНЯ ПРОВЕЛИ В НЬЮАРКЕ

Редко бывает приятно сплетничать о самом себе, но в некоторых случаях человеку

после исповеди становится легче. Вот и сейчас я желаю облегчить свою душу, хотя мне кажется, что я это делаю скорее из жажды предать гласности неблагоприятный поступок другого человека, чем из желания пролить бальзам на раны своего сердца. (Я понятия не имею, что такое «бальзам», но, кажется, это выражение в данном случае как раз подходит.) Вы, может быть, помните, что я не так давно читал лекцию в Ньюарке молодым людям, членам какого—то общества? Ну, словом, я ее читал. Перед началом лекции мне пришлось беседовать с одним из упомянутых молодых джентльменов, и он сказал, что у него есть дядя, который неизвестно по какой причине навсегда утратил способность что—либо чувствовать. И со слезами на глазах этот молодой человек сказал:

– Ах, если б мне еще хоть раз увидеть, как он смеется! Ах, если б мне увидеть, как он плачет!

Я был тронут. Я не могу оставаться равнодушным к чужому горю.

Я сказал:

– Тащите вашего дядю на мою лекцию. Я его расшевелю. Я сделаю это для вас.

– Ах, если б только вам это удалось! Если б вам это удалось, вся наша семья стала бы за вас молиться, – мы так его любим! Ах, благодетель, неужели вы его заставите смеяться? Неужели вы вызовете живительные слезы на эти иссохшие веки?

Я был тронут до глубины души. Я сказал:

– Сын мой, приводите вашего старичка. У меня для этой лекции приготовлены такие анекдоты, что, если в нем осталась хоть капля смеха, он будет смеяться, а если эти не достигнут цели, то у меня имеются другие, – и тут он должен будет либо заплакать, либо умереть, ничего другого ему не останется.

Молодой человек призвал благословение на мою голову, прослезился и обнял меня, а потом побежал за своим дядей. Он посадил старика на самом виду, во второй ряд, и я начал его обрабатывать. Сначала я пустил в ход анекдоты полегче, потом потяжелее; я осыпал его плохими анекдотами и просто изрешетил хорошими; я выстреливал в него старыми, бородатыми анекдотами и, не жалея перца, посыпал его с носа и с кормы новыми, с пыла горячими; я вошел и раж и старался в поте лица, до хрипоты, до тех пор, пока в горле не начало саднить, до бешенства, до ярости, – но ни разу не прошиб старика, не добился ни слезы, ни улыбки. Так—таки ничего! Ни признака улыбки, ни следа слез! Я был изумлен. Наконец я закончил лекцию последним воплем отчаяния, последней вспышкой юмора – запустил в него анекдотом сверхъестественной силы и потрясающего действия. Потом я сел на место, совсем растерявшись и выбившись из сил.

Президент общества, подойдя ко мне, смочил мою голову холодной водой и сказал:

– Чего это вы так разошлись напоследок?

Я ответил:

– Я старался рассмешить вон того старого осла во втором ряду.

Он сказал:

– Тогда вы зря потратили время: он глух, нем и к тому же слеп, как летучая мышь!

Ну, скажите, пожалуйста, хорошо ли было со стороны племянника этого старикашки так обмануть незнакомого человека, да еще круглого сироту? Я спрашиваю вас как друга, как ближнего своего: хорошо ли это было с его стороны?

ПРИЯТНОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Поскольку полученное нами нижеследующее объявление касается предприятия, которое представляет несомненный интерес для широкой публики, мы сочли себя вправе поместить его на столбцах нашей газеты. Мы уверены, что этот наш поступок нуждается лишь в пояснении, а не в извинениях.

Редактор «Нью—Йорк геральд».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Настоящим сообщая, что в компании с мистером Барнумом я взял напрокат комету сроком на несколько десятков лет и прошу уважаемую публику поддержать задуманное нами выгодное предприятие.

Мы намереваемся оборудовать в комете удобные и даже роскошные помещения для всех, кто почтит нас своей поддержкой и предпримет вместе с нами длительное путешествие среди небесных тел. Мы приготовим 1000000 кают в хвосте кометы (с горячей и холодной водой, газом, зеркалами, парашютами, зонтиками и т.д.), а в случае щедрой поддержки публики увеличим количество кают. В комете будут также бильярдные, игорные залы, мюзик—холлы, кегельбаны, множество вместительных театров и публичных библиотек; на главной палубе мы будем держать лошадей и экипажи для прогулок по шоссе протяженностью в 100000 миль. Мы будем также издавать ежедневные газеты.

ОТПРАВЛЕНИЕ КОМЕТЫ

Комета покинет Нью—Йорк в 10 вечера 20 сего месяца, поэтому желательно, во избежание толкучки при отправлении, чтобы пассажиры поднялись на борт не позднее восьми часов. Неизвестно, понадобятся ли паспорта, но мы советуем пассажирам иметь их при себе и тем самым оградить себя от всяких неожиданностей. Собаки на борт кометы не допускаются. Это правило установлено в соответствии с существующим отношением к этим животным, и мы намерены твердо его придерживаться. Мы будем всемерно заботиться о безопасности наших пассажиров и обнесем комету прочными железными перилами; подходить к ним и заглядывать за борт можно будет только вместе со мной или с моим компаньоном.

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ

обеспечиваются полностью. Безусловно, мы имеем в виду только телеграфное сообщение. Наши пассажиры смогут обмениваться впечатлениями со своими друзьями, находящимися в каютах, на расстоянии 20000000 и даже 30000000 миль от них; время прохождения телеграммы в оба конца – одиннадцать суток. Ночной тариф снижается вполтину. Вся эта широко разветвленная почтовая система будет находиться под личным надзором мистера Хейла из штата Мэн. Завтраки, обеды и ужины – в любое время дня и ночи. Подача блюд в каюты оплачивается дополнительно.

Мы не ждем враждебных действий ни с одной из больших планет, однако мы решили, что лучше ошибиться, чем попасть впросак, – вот почему мы запаслись достаточным количеством мортир, осадных орудий и абордажных крюков. История показывает, что мелкие отдаленные поселения, как, например, племена уединенных островов, склонны враждебно относиться к иноземцам. То же может случиться и

С ЖИТЕЛЯМИ ЗВЕЗД

десятой – двадцатой величины. Сами мы ни в коем случае не станем обижать обитателей звезд, если только к тому не будет повода, а проявим по отношению к ним вежливость и доброжелательство и на самой малой планете не позволим себе ничего такого, что не решились бы позволить себе на Юпитере или Сатурне. Повторяю, без повода мы не обидим ни одну из звезд, но в случае если правительство какой—либо звезды небосвода попытается причинить нам зло или поведет себя недостаточно почтительно, оно получит немедленный отпор. Мы против кровопролития, но тем не менее будем решительно и безбоязненно придерживаться этой политики не только по отношению к отдельным звездам, но и к целым созвездиям. Мы надеемся оставить хорошее впечатление об Америке на всех звездах и планетах, которые посетим, – от Венеры до Урана. Во всяком случае, если мы не сумеем пробудить любовь к нашей родине, то по крайней мере заставим уважать ее везде, куда бы мы ни ступили. На комете бесплатно полетит

БОЛЬШОЙ ОТРЯД МИССИОНЕРОВ

которые прольют истинный свет на небесные сферы, так как те хотя и светят физически, но духовно пребывают во тьме. Повсюду, где только возможно, будут учреждены воскресные школы. Будет также введено обязательное обучение.

Прежде всего наша комета посетит Марс, а затем направится на Меркурий, Юпитер, Венеру и Сатурн. Лицам, связанным с правительством Колумбийского округа, и прежним городским властям Нью—Йорка, если они пожелают обследовать кольца, будет предоставлено на то время необходимое снаряжение. Мы посетим все звезды первой и второй величины и выделим время для экскурсий в наиболее интересные пункты на территории этих светил.

СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОГО ПСА

вычеркнуто из программы. Много времени будет уделено Большой Медведице и, безусловно, всем важным созвездиям, а также Солнцу, Луне и Млечному Пути – этому небесному Гольфстриму. Для экскурсий по Солнцу приготовлена специальная защитная одежда. Наша программа составлена так, что почти через каждые 100000000 миль мы будем делать остановку на какой—нибудь звезде. Таким образом, остановки предполагаются частые, и нашим туристам скучать не придется. Багаж можно сдавать до любого пункта путешествия. Пассажиры, которые захотят проделать лишь часть путешествия и тем самым сэкономить на стоимости билета, смогут сойти на любой избранной ими звезде и дожидаться там нашего возвращения.

Посетив все наиболее известные звезды и созвездия нашей системы и лично осмотрев самые отдаленнейшие свечения, которые в настоящее время обнаружены на небосводе наиболее мощным телескопом, мы смело продолжим наши

ПОТЯСАЮЩИЕ ОТКРЫТИЯ,

среди бесчисленных блуждающих миров, которые хаотически кружат в необозримых пространствах – тех пространствах, что в торжественной пустынности простираются на многие миллиарды миль за пределами видимости самого сильного телескопа, и залетим так далеко, что маленький, блистающий звездами свод, на который мы смотрим с Земли, покажется нам лишь отблеском светящейся волны, мелькнувшей за кормой лодки путешественника в тропических морях и стершейся в памяти после долгих лет скитаний по бескрайним фосфоресцирующим просторам. С детей, занимающих места за столом первого класса, плата будет взиматься полностью.

КАЮТЫ ПЕРВОГО КЛАССА

от Земли до Урана, с заездами на Солнце, Луну и все главные планеты по пути следования стоят всего лишь по два доллара за каждые 50000000 миль пути. На весь рейс, в оба конца, делается большая скидка. Наша комета – новая и в полном порядке, она отправляется в свое первое путешествие. Насколько нам известно, это самая быстроходная комета на линии. Она делает 20000000 миль в день, но с отборной американской командой и при хорошей погоде, несомненно, сможет дать и 40000000 миль. Однако мы не намерены развивать опасную скорость и строго—настрога запретим гонки с другими кометами. Пассажиры, которые пожелают изменить курс своего путешествия или возвратиться на Землю, будут переправлены на другие кометы в любом пункте. Мы свяжемся со всеми надежными линиями. Безопасность пассажиров полностью гарантируется, но не станем скрывать, что небеса кишат

КОМЕТАМИ СТАРОГО ОБРАЗЦА,

которые не осматривались и не ремонтировались 10000 лет и которые надо бы давным—давно сломать или переделать на грузовые баржи. С ними мы не будем поддерживать никаких связей. Пассажирам третьего класса вход на верхнюю палубу воспрещается.

Генералу Батлеру, мистеру Шеперду, мистеру Ричардсону и другим выдающимся гражданам, чьи заслуги перед обществом дают им право на отдых и развлечения, мы предоставим бесплатные билеты туда и обратно. Группам экскурсантов, изъявившим желание проделать все путешествие, будут обеспечены дополнительные удобства. Путешествие закончится 14 декабря 1991 года, – в этот день пассажиры снова ступят на землю Нью—Йорка. Таким образом, мы обернемся по крайней мере на сорок лет быстрее, чем любая другая комета. Многие члены конгресса собираются проделать с нами все

путешествие, если их избиратели дадут им отпуск. На борту кометы вас ждут всевозможные невинные развлечения, но всякие пари, особенно относительно скорости кометы, и азартные игры во время полета запрещаются. Ко всем постоянным звездам небосвода мы отнесемся с должным уважением, но блуждающие звезды, которые нужно закрепить на одном месте, мы закрепим. Мы будем очень сожалеть, если при этом возникнут волнения, но все—таки закрепим их.

Поскольку мистер Коджи сдал нам свою комету напрокат, она будет называться теперь не его именем, а именем моего партнера.

NB. Пассажиры, оплатившие двойную стоимость проезда, получают право на долю во всех новых звездах, солнцах, лунах, кометах, метеорах и складах грома и молний, которые мы обнаружим. Фирмы патентованных медикаментов благоволят принять к сведению, что мы захватим с собой

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ

для размещения их на созвездиях, а также кисти и краски; фирмы могут заключить с нами договоры. Напоминаем тем, кто предпочитает, чтобы после смерти их не предали земле, а сожгли, что мы направляемся напрямик в самое пекло и можем захватить их с собой. Для большинства пассажиров наша поездка будет просто приятной экскурсией, нас же интересует деловая сторона. Мы надеемся выжать из кометы все, что она может дать.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОДРОБНОСТИ

относительно стоимости билетов и провоза багажа вы узнаете на борту кометы или у моего компаньона, ко мне же с вопросами не обращайтесь, потому что я вступлю в свои обязанности лишь после отправления кометы. В настоящее время я не имею возможности загружать свой мозг всякими мелочами.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ СЛОВО В СЛОВО, КАК Я ЕЕ СЛЫШАЛ

Был летний вечер. Сумерки. Мы сидели на веранде дома, стоявшего на вершине холма, а тетка Рэчел почтительно присела пониже, на ступеньках, как подобает служанке, да притом еще цветной. Она была высокого роста и крепкого сложения; и хотя ей перевалило уже за шестьдесят, глаза ее еще не померкли и силы ей не изменили. Нрав у нее был веселый и добродушный, и смеяться ей было так же легко, как птице петь. Теперь она, как обычно по вечерам, оказалась под огнем – иными словами, под градом наших шуток, что доставляло ей огромное удовольствие. Она покатывалась со смеху, закрывала лицо руками и тряслась и задыхалась в припадке веселья. В одну из таких минут я посмотрел на нее и сказал:

– Тетка Рэчел, как это ты ухитрилась прожить на свете шестьдесят лет и ни разу не испытать горя?

Она замерла. Наступила тишина. Потом она повернула голову и, глядя на меня через плечо, сказала без тени улыбки:

– Мисту Клеменс, вы не шутите?

Я удивился и тоже перестал смеяться. Я сказал:

– Ну да, я думал... я полагал... что у тебя никогда не бывало горя. Я ни разу не слышал, чтобы ты вздыхала. Твои глаза всегда смеются.

Она повернулась ко мне, полная волнения:

– Знала ли я горе? Мисту Клеменс, я вам расскажу, а вы судите сами. Я родилась среди рабов; я знаю, что такое рабство, потому что сама была рабыней. Ну вот, мой старик – муж мой – любил меня и был ласков со мной, точь—в—точь как вы ласковы с вашей женой. И были у нас дети – семеро деток, – и мы любили их, точь—в—точь как вы любите ваших деток. Они были черные, но бог не может сделать детей такими черными, чтобы мать не любила их и согласилась расстаться с ними, – нет, ни за что, даже за все богатства мира.

Ну вот, я росла в Виргинии, а моя мать росла в Мэриленде; и как же она гордилась тем, что родилась в таком аристократическом месте! Было у ней одно любимое присловье. Выпрямится, бывало, подбоченится и скажет: «Что я, в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной смеялась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки – вот кто я такая!» Это они себя так величают – те, которые родились в Мэриленде, – и гордятся этим. Да, это было ее любимое присловье. Я никогда его не забуду, потому что она часто повторяла его и сказала в тот день, когда мой Генри ободрал руку и чуть не проломил себе голову, а негры не поспешили помочь ему. Да еще сказали ей что—то поперек. А она подбоченилась и говорит: «Слушайте, негры, разве я в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, – вот кто я такая!» – и унесла ребенка на кухню и сама сделала перевязку. Я тоже повторяю это присловье, когда сержусь.

Ну вот, как—то раз говорит моя старая мисси: я, мол, разорилась и продаю всех своих негров. Как услышала я, что она повезет всех нас в Ричмонд на аукцион, я – господи боже ты мой! – я сразу поняла, чем это пахнет.

Одушевляясь рассказом, тетка Рэчел поднималась все выше и теперь стояла перед нами во весь рост – черный силуэт на звездном небе.

– Нас заковали в цепи и поставили на высокий помост – вот как эта веранда, – двадцать футов высотой; и народ толпился кругом. Много народу толпилось. Они подходили к нам, и осматривали нас, и щупали нам руки, и заставляли нас вставать и ходить, и говорили: «Этот слишком старый», или: «Этот слабоват», или: «Этому грош цена». И продали моего старика и увели его, а потом стали продавать моих детей и уводить их, а я давай плакать; а мужчина и говорит мне: «Замолчишь ты, проклятая плакса?!» – и ткнул мне в зубы кулаком. А когда увели всех, кроме маленького Генри, я схватила его, прижала к груди и говорю: «Вы, говорю, не уведете его, я, говорю, убью всякого, кто притронется к нему». Но Генри прижался ко мне и шепчет: «Я убегу и буду работать – и выкуплю тебя на волю». О, милый мой мальчик, он всегда был такой добрый! Но они увели его... они увели его, эти люди, а я билась, и рвала на них одежду, и колотила их своими цепями; и они меня колотили, но я уже и не чувствовала побоев.

Да так и увели моего старика и всех моих деток – всех семерых, – и шестерых я с тех пор не видала больше; и исполнилось этому двадцать два года на пасху. Тот человек, который купил меня, был из Ньюберна и увез меня туда. Ну вот, время шло да шло, и началась война. Мой хозяин был полковник Южной армии, а я у него в доме была кухаркой. Когда войска северян взяли город, южане убежали и оставили меня с другими неграми в огромном доме совсем одних. Заняли его северные офицеры и спрашивают меня – согласна ли я для них стряпать. «Господь с вами, говорю, а для чего же я здесь?»

Они были не какие—нибудь – важные были офицеры! А уж как гоняли своих солдат! Генерал велел мне распоряжаться на кухне и сказал: «Если кто вздумает к вам приставать, гоните его без разговоров; не бойтесь, говорит, вы теперь среди друзей».

Ну вот, я и думаю: если, думаю, моему Генри удалось бежать, так, наверно, он ушел на Север. И вот как—то раз, когда собрались офицеры, вошла я к ним в гостиную, и вежливо присела, и рассказала им о моем Генри, а они слушали меня все равно как белую. Я и говорю: «А пришла я вот зачем: если он убежал на Север, откуда вы пришли, то, может, вам случилось встретить его, и вы скажете мне, где он теперь и как его найти. Он был очень маленький, у него шрам на левой руке и на лбу». Лица у них стали грустные, а генерал говорит мне: «Давно ли вы с ним расстались?» А я говорю: «Тринадцать лет». Тогда генерал говорит: «Значит, он теперь уже не ребенок, он взрослый человек».

А мне это и в голову не приходило раньше. Для меня—то он все был маленький мальчуган; я и не думала, что он вырос и стал большой. Но тут я все поняла. Ни один из этих господ не встречался с ним, и они ничего не могли мне сказать о нем. Но все это время мой Генри был в бегах, на Севере, и сделался цирюльником, и зарабатывал деньги, только я ничего этого не знала. А когда пришла война, он и говорит: «Полно мне, говорит, цирюльничать, попробую отыскать мою старуху мать, если она еще жива». Продал он свою

цирюльню, нанялся в услужение к полковнику и пошел на войну; всюду побывал – все искал свою старуху мать, нанимался то к одному офицеру, то к другому: весь Юг, мол, обойду. А я—то ничего не знала. Да и как мне было знать?

Ну вот, как—то вечером у нас был большой солдатский бал; солдаты в Ньюберне всегда задавали балы, и сколько раз устраивали их в моей кухне, – просторная была кухня. Мне это, понимаете, не очень—то нравилось: я служила у офицеров, и мне было досадно, что простые солдаты выплясывают у меня на кухне. Ну да я с ними не церемонилась, и если, бывало, рассердят меня, живо выпроваживала вон из кухни.

Как—то вечером, было это в пятницу, явился целый взвод солдат черного полка, карауливших дом, – в доме—то был главный штаб, понимаете? – и тут—то у меня желчь расходилась! Страсть! Такое зло разобрало! Чувствую, так меня и подмывает, так и подмывает – и только и жду, чтоб они меня раззадорили чем—нибудь. А они—то танцуют, они—то выплясывают! Просто дым коромыслом! А меня так и подмывает, так и подмывает! Немного погодя приходит нарядный молодой негр с какой—то желтой барышней и давай вертеться, вертеться – голова кружится, глядя на них; поравнялись они со мной и давай переступать с ноги на ногу, и покачиваться, и подсмеиваться над моим красным тюрбаном. Я на них и окрысилась: «Пошли прочь, говорю, шваль!» И вдруг у молодого человека лицо разом изменилось, но только на секунду, а потом он опять начал подсмеиваться, как раньше. Тут вошли несколько негров, которые играли музыку в том же полку и всегда важничали. А в ту ночь уж и вовсе разважничались. Я на них цыкнула. Они засмеялись, это меня раззадорило; другие тоже стали хохотать – и я взбеленилась! Глаза мои так и загорелись! Я выпрямилась – вот этак, чуть не до потолка, – подбоченилась да и говорю: «Вот что, говорю, негры, разве я в хлеву родилась, чтобы всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, – вот кто я такая!» И вижу, молодой человек уставился на меня, а потом на потолок – будто забыл что—то и не может вспомнить. Я, значит, наступаю на негров – вот так, как генерал какой; а они пятятся передо мной – и в дверь. И слышу я, молодой человек говорит, уходя, другому негру: «Джим, говорит, сходи—ка ты к капитану и скажи, что я буду в восемь часов утра; у меня, говорит, есть кой—что на уме, и я не буду спать эту ночь. Ты уходи к себе, – говорит, – и не беспокойся обо мне».

А был час ночи. В семь я уже вставала и готовила офицерам завтрак. Я нагнулась над печкой – вот так, пускай ваша нога будет печка, – отворила ее, толкнула дверцу – вот как сейчас толкаю вашу ногу, и только было достала противень с горячими булочками и подняла ее, глядь – какое—то черное лицо просунулось из—под моей руки и заглядывает мне в глаза – вот как теперь на вас гляжу; и тут я остановилась да так и замерла, гляжу, и гляжу, и гляжу, а противень начал дрожать, – и вдруг... я узнала! Противень полетел на пол, схватила я его левую руку и завернула рукав – вот как вам заворачиваю, – а потом откинула назад его волосы – вот так, и говорю: «Если ты не мой Генри, откуда же у тебя этот шрам на руке и этот рубец на лбу? Благодарение господу богу на небесах, я нашла моего ребенка!»

О нет, мисту Клеменс, я не испытала в жизни горя. Но и радости тоже.

РАЗГОВОР С ИНТЕРВЬЮЕРОМ

Вертлявый, франтоватый и развязный юнец, сев на стул, который я предложил ему, сказал, что он прислан от "Ежедневной Грозы", и прибавил:

— Надеюсь, вы не против, что я приехал взять у вас интервью?

— Приехали для чего?

— Взять интервью.

— Ага, понимаю. Да, да. Гм! Да, да. Я неважно себя чувствовал в то утро. Действительно, голова у меня что—то не варила. Все—таки я подошел к книжному шкафу, но, порывшись в нем минут шесть—семь, принужден был обратиться к молодому человеку.

Я спросил:

— Как это слово пишется?

— Какое слово?

— Интервью.

— О, боже мой! Зачем вам это знать?

— Я хотел посмотреть в словаре, что оно значит.

— Гм! Это удивительно, просто удивительно. Я могу вам сказать, что оно значит, если вы... если вы...

— Ну что ж, пожалуйста! Буду очень вам обязан.

— И—н, ин, т—е—р, тер, интер...

— Так, по—вашему, оно пишется через "и"?

— Ну конечно!

— Ах, вот почему мне так долго пришлось искать.

— Ну а по—вашему, уважаемый сэръ, как же надо писать это слово?

— Я... я, право, не знаю. Я взял полный словарь и полистал в конце, не попадется ли оно где—нибудь среди картинок. Только издание у меня очень старое.

— Но, друг мой, такой картинки не может быть. Даже в самом последнем изд... Простите меня, я не хочу вас обидеть, но вы не кажетесь таким... таким просвещенным человеком, каким я себе вас представлял. Прошу извинить меня, я не хотел вас обидеть.

— О, не стоит извиняться! Я часто слышал и от таких людей, которые мне не станут льстить и которым нет нужды мне льстить, что в этом отношении я перехожу всякие границы. Да, да, это их всегда приводит в восторг.

— Могу себе представить. Но вернемся к нашему интервью. Вы знаете, теперь принято интервьюировать каждого, кто добился известности.

— Вот как, в первый раз слышу. Это, должно быть, очень интересно. И чем же вы действуете?

— Ну, знаете... просто в отчаяние можно прийти. В некоторых случаях следовало бы действовать дубиной, но обыкновенно интервьюер задает человеку вопросы, а тот отвечает. Теперь это как раз в большой моде. Вы разрешите задать вам несколько вопросов для уяснения наиболее важных пунктов вашей общественной деятельности и личной жизни?

— О пожалуйста, пожалуйста. Память у меня очень неважная, но, я надеюсь, вы меня извините. То есть она какая—то недисциплинированная, даже до странности. То скачет галопом, а то за две недели никак не может доползти куда требуется. Меня это очень огорчает.

— Не беда, вы все—таки постарайтесь припомнить, что можете.

— Постараюсь. Приложу все усилия.

— Благодарю вас. Вы готовы? Можно начать?

— Да, я готов.

— Сколько вам лет?

— В июне будет девятнадцать.

— Вот как? Я бы дал вам лет тридцать пять, тридцать шесть. Где вы родились?

— В штате Миссури.

— Когда вы начали писать?

— В тысяча восемьсот тридцать шестом году.

— Как же это может быть, когда вам сейчас только девятнадцать лет?

— Не знаю. Действительно, что—то странно.

— Да, в самом деле. Кого вы считаете самым замечательным человеком из тех, с кем вы встречались?

— Аарона Барра.

— Но вы не могли с ним встречаться, раз вам только девятнадцать лет.

— Ну, если вы знаете обо мне больше, чем я сам, так зачем же вы меня спрашиваете?

— Я только высказал предположение, и больше ничего. Как это вышло, что вы

познакомились с Барром?

— Это вышло случайно, на его похоронах: он попросил меня поменьше шуметь и...

— Силы небесные! Ведь если вы были на его похоронах, значит он умер, а если он умер, не все ли ему было равно, шумите вы или нет.

— Не знаю. Он всегда был на этот счет очень привередлив.

— Все—таки я не совсем понимаю. Вы говорите, что он разговаривал с вами и что он умер?

— Я не говорил, что он умер.

— Но ведь он умер?

— Ну, одни говорили, что умер, а другие, что нет.

— А вы сами как думаете?

— Мне какое дело? Хоронили—то ведь не меня.

— А вы... Впрочем, так мы в этом вопросе никогда не разберемся. Позвольте спросить вас о другом. Когда вы родились?

— В понедельник, тридцать первого октября тысяча шестьсот девяносто третьего года.

— Как! Что такое! Вам тогда должно быть сто восемьдесят лет? Как вы это объясняете?

— Никак не объясняю.

— Но вы же сказали сначала, что вам девятнадцать лет, а теперь оказывается, что вам сто восемьдесят. Чудовищное противоречие!

— Ах, вы это заметили? (Рукопожатие.) Мне тоже часто казалось, что тут есть противоречие, но я как—то не мог решить, есть оно или мне только так кажется. Как вы быстро все подмечаете!

— Благодарю за комплимент. Есть у вас братья и сестры?

— Э—э... я думаю, что да... впрочем, не могу припомнить.

— Первый раз слышу такое странное заявление!

— Неужели?

— Ну конечно, а как бы вы думали? Послушайте! Чей это портрет на стене? Это не ваш брат?

— Ах, да, да, да! Теперь вы мне напомнили: это мой брат. Это Уильям, мы его звали Билл. Бедняга Билл.

— Как? Значит, он умер?

— Да, пожалуй, что умер. Трудно сказать наверняка. В этом было много неясного.

— Грустно слышать. Он, по—видимому, пропал без вести?

— Д—да, вообще говоря, в известном смысле это так. Мы похоронили его.

— Похоронили его! Похоронили, не зная, жив он или умер?

— Да нет! Не в том дело. Умереть—то он действительно умер.

— Ну, признаюсь, я тут ничего не понимаю. Если вы его похоронили и знали, что он умер...

— Нет, нет! Мы только думали, что он умер...

— Ах, понимаю! Он опять ожил?

— Как бы ни так!

— Ну, я никогда ничего подобного не слыхивал! Человек умер. Человека похоронили. Что же тут нелепого?

— Вот именно! В том—то и дело! Видите ли, мы были близнецы — мы с покойником, — нас перепутали и ванночке, когда нам было всего две недели от роду, и один из нас утонул. Но мы не знали, который. Одни думают, что Билл. А другие — что я.

— Просто неслыханно! А вы сами как думаете?

— Одному богу известно! Я бы все на свете отдал, лишь бы знать наверняка. Эта зловещая, ужасная загадка омрачила мою жизнь. Но я вам раскрою тайну, о которой никому на свете до сих пор не говорил ни слова. У одного из нас была особая примета — большая родинка на левой руке; это был я. Так вот этот ребенок и утонул.

— Ну и прекрасно. В таком случае не вижу никакой загадки.

— Вы не видите? А я вижу. Во всяком случае, я не понимаю, как они могли до такой степени растеряться, что похоронили не того ребенка. Но ш—ш—ш... И не заикайтесь об этом при моих родных. Видит бог, у них и без того немало горя.

— Ну, я думаю, материала у меня набралось довольно, очень признателен вам за любезность. Но меня очень заинтересовало ваше сообщение о похоронах Аарона Барра. Не скажете ли вы, какое именно обстоятельство заставляет вас считать Барра таким замечательным человеком?

— О! Сущий пустяк! Быть может, только один человек из пятидесяти обратил бы на это внимание. Панихида уже окончилась, процессия уже собиралась отправиться на кладбище, покойника честь честью устроили на катафалке, как вдруг он сказал, что хочет в последний раз полюбоваться пейзажем, встал из гроба и сел рядом с кучером.

Молодой человек почтительно и поспешно отклонялся. Он был очень приятным собеседником, и я пожалел, что он уходит так быстро.

МАК—ВИЛЬЯМСЫ И КРУП

(Рассказано автору мистером Мак—Вильямсом, симпатичным джентльменом из Нью—Йорка, с которым автор случайно познакомился в дороге)

— Ну—с, так вот, чтобы вернуться к нашему разговору... — я отклонился в сторону, рассказывая вам, как в нашем городе свирепствовала эта ужасная и неизлечимая болезнь круп и как все матери сходили с ума от страха, — я как—то обратил внимание миссис Мак—Вильямс на маленькую Пенелопу и сказал:

— Милочка, на твоём месте я бы не позволил ребенку жевать сосновую щепку.

— Милый, ведь это же не вредно, — возразила она, в то же время собираясь отнять у ребенка щепку, так как женщины не могут оставить без возражения даже самое разумное замечание; я хочу сказать: замужние женщины.

Я ответил:

— Душа моя, всем известно, что сосна является наименее питательным из всех сортов дерева, какие может жевать ребенок.

Рука моей жены, уже протянутая к щепке, остановилась на полдороге и опять легла на колени. Миссис Мак—Вильямс сдержалась (это было заметно) и сказала:

— Милый, ты же сам знаешь, отлично знаешь: все доктора, как один, говорят, что сосновая смола очень полезна при почках и слабом позвоночнике.

— Ах, тогда я просто не понял, в чем дело. Я не знал, что у девочки почки не в порядке и слабый позвоночник и что наш домашний врач посоветовал...

— А кто сказал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник?

— Дорогая, ты сама мне подала эту мысль.

— Ничего подобного! Никогда я этой мысли не подавала!

— Ну что ты, милая! И двух минут не прошло, как ты сказала...

— Ничего я не говорила! Да все равно, если даже и сказала! Девочке нисколько не повредит, если она будет жевать сосновую щепку, ты это отлично знаешь. И она будет жевать сколько захочет. Да, будет!

— Ни слова больше, дорогая. Ты меня убедила, и я сегодня же поеду и закажу два—три воза самых лучших сосновых дров. Чтобы мой ребенок в чем—нибудь нуждался, когда я...

— Ах, ступай, ради бога, в свою контору и оставь меня в покое. Тебе просто слова нельзя сказать, как ты уже подхватил и пошел, и пошел, и в конце концов сам не знаешь, о чем споришь и что говоришь.

– Очень хорошо, пусть будет по—твоему. Но я не вижу логики в твоём последнем замечании, оно...

Я не успел еще договорить, как миссис Мак—Вильямс демонстративно поднялась с места и вышла, уводя с собою ребенка. Когда я вернулся домой к обеду, она встретила меня белая как полотно.

– Мортимер, еще один случай! Заболел Джорджи Гордон.

– Круп?

– Круп!

– Есть еще надежда на спасение?

– Никакой надежды. О, что теперь с нами будет!

Скоро нянька привела нашу Пенелопу попрощаться на ночь и, как всегда, прочитала молитву, стоя на коленях рядом с матерью.

Не дочитав и до половины, девочка вдруг слегка закашлялась. Моя жена вздрогнула, словно пораженная насмерть. Но тут же оправилась и проявила ту кипучую энергию, какую обычно внушает неминуемая опасность.

Она велела перенести кроватку ребенка из детской в нашу спальню и сама пошла проверить, как выполняют ее приказание. Меня она, конечно, тоже взяла с собой. Все было устроено в два счета. Для няньки поставили раскладную кровать в туалетной. Но тут миссис Мак—Вильямс сказала, что теперь мы будем слишком далеко от второго ребенка: а вдруг и у него появятся ночью симптомы? И она опять вся побелела, бедняжка.

Тогда мы водворили кроватку и няньку обратно в детскую, а для себя поставили кровать в соседней комнате.

Однако миссис Мак—Вильямс довольно скоро высказала новое предположение: а что, если малютка заразится от Пенелопы? Эта мысль опять повергла в отчаяние ее материнское сердце, и хотя мы все вместе старались вынести кроватку из детской как можно скорее, ей казалось, что мы копаемся, несмотря на то, что она сама помогала нам и второпях чуть не поломала кроватку.

Мы перебрались вниз, но там решительно некуда было девать няньку, между тем миссис Мак—Вильямс сказала, что ее опыт для нас просто неоценим. Поэтому мы опять вернулись со всеми пожитками в нашу собственную спальню, чувствуя великую радость, как птицы, после бури вернувшиеся в свое гнездо.

Миссис Мак—Вильямс побежала в детскую – посмотреть, что там делается. Через минуту она вернулась, гонимая новыми страхами. Она сказала:

– Отчего это малыш так крепко спит?

Я ответил:

– Что ты, милочка, он всегда спит как каменный.

– Знаю. Я знаю. Но сейчас он спит как—то особенно. Он отчего—то дышит так... так ровно... Это ужасно!

– Но, дорогая, он всегда дышит ровно.

– Да, я знаю, но сейчас мне что—то страшно. Его няня слишком молода и неопытна. Пусть с ней останется Мария, чтобы быть под рукой на всякий случай.

– Мысль хорошая, но кто же будет помогать тебе?

– Мне поможешь ты. А впрочем, я никому не позволю помогать мне в такое время, я все сделаю сама.

Я сказал, что с моей стороны было бы низостью лечь в постель и спать, когда она, не смыкая глаз, будет всю ночь напролет ухаживать за нашей больной бедняжкой. Но она уговорила меня лечь. Старуха Мария ушла на свое прежнее место, в детскую.

Пенелопа во сне кашлянула два раза.

– О боже мой, почему не идет доктор! Мортимер, в комнате слишком жарко. Выключи отопление, скорее!

Я выключил отопление и посмотрел на градусник, удивляясь про себя: неужели двадцать градусов слишком жарко для больного ребенка?

Из города вернулся кучер и сообщил, что наш доктор болен и не встает с постели. Миссис Мак—Вильямс взглянула на меня безжизненными глазами и сказала безжизненным голосом:

— Это рука провидения. Так суждено. Он до сих пор никогда не болел. Никогда. Мы жили не так, как надо, Мортимер. Я тебе это не раз говорила. Теперь ты сам видишь, вот результаты. Наша девочка не поправится. Хорошо, если ты сможешь простить себе; я же себе никогда не прощу.

Я сказал, не намереваясь ее обидеть, но, быть может, не совсем осторожно выбирая слова, что не вижу, чем же мы плохо жили.

— Мортимер! Ты и на малютку хочешь навлечь кару божию!

И тут она начала плакать, но потом воскликнула:

— Но ведь доктор должен был прислать лекарства!

Я сказал:

— Ну да, вот они. Я только ждал, когда ты мне позволишь сказать хоть слово.

— Хорошо, подай их мне! Неужели ты не понимаешь, что сейчас дорога каждая секунда? Впрочем, какой смысл посылать лекарства, ведь он же знает, что болезнь неизлечима!

Я сказал, что, пока ребенок жив, есть еще надежда.

— Надежда! Мортимер, ты говоришь, а сам ничего не смыслишь, хуже новорожденного младенца. Если бы ты... Боже мой, в рецепте сказано — давать по чайной ложечке через час! Через час — как будто у нас целый год впереди для того, чтобы спасти ребенка! Мортимер, скорее, пожалуйста! Дай нашей умирающей бедняжке столовую ложку лекарства, ради бога скорее.

— Что ты, дорогая, от столовой ложки ей может...

— Не своди меня с ума... Ну, ну, ну, мое сокровище, моя деточка, лекарство гадкое, горькое, но от него Нелли поправится... поправится мамина деточка, сокровище, будет совсем здоровенькая... Вот, вот так, положи головку маме на грудь и усни, и скоро, скоро... Боже мой, я чувствую, она не доживет до утра! Мортимер, если давать столовую ложку каждые полчаса, тогда... Ей нужно давать белладонну, я знаю, что нужно, и аконит тоже. Достань и то и другое, Мортимер. Нет уж, позволь мне делать по—своему. Ты ничего в этом не понимаешь.

Мы легли, поставив кровать как можно ближе к изголовью жены. Вся эта суматоха утомила меня, и минуты через две я уже спал как убитый.

Меня разбудила миссис Мак—Вильямс:

— Милый, отопление включено?

— Нет.

— Я так и думала. Пожалуйста, включи поскорее. В комнате страшно холодно.

Я повернул кран и опять уснул.

Она опять разбудила меня.

— Милый, не передвинешь ли ты кровать поближе к себе? Так будет ближе к отоплению.

Я передвинул кровать, но задел при этом за ковер и разбудил девочку. Пока моя жена утешала страдалицу, я опять уснул. Однако через некоторое время сквозь пелену сна до меня дошли следующие слова:

— Мортимер, хорошо бы гусяного сала... Не можешь ли ты позвонить?

Еще не проснувшись как следует, я вылез из кровати, наступил по дороге на кошку, которая ответила громким воплем и получила бы за это пинок, если бы он не достался стулу.

— Мортимер, зачем ты зажигаешь газ? Ведь ты опять разбудишь ребенка!

— Я хочу посмотреть, сильно ли я ушибся.

— Кстати уж посмотри, цел ли стул... По—моему, сломался. Несчастливая кошка, а вдруг ты ее...

— Что «вдруг я ее...»? Не говори ты мне про эту кошку. Если бы Мария осталась тут

помогать тебе, все было бы в порядке. Кстати, это скорей ее обязанность, чем моя.

– Мортимер, как ты можешь так говорить? Ты не хочешь сделать для меня пустяка в такое ужасное время, когда наш ребенок...

– Ну, ну, будет, я сделаю все, что нужно. Но я никого не могу дозваться. Все спят! Где у нас гусиное сало?

– На камине в детской. Пойди туда и спроси у Марии.

Я сходил за гусиным салом и опять лег. Меня опять позвали:

– Мортимер, мне очень неприятно беспокоить тебя, но в комнате так холодно, что я просто боюсь натирать ребенка салом. Не затопишь ли ты камин? Там все готово, только поднести спичку.

Я вылез из постели, затопил камин и уселся перед ним в полном унынии.

– Не сиди так, Мортимер, ты простудишься насмерть, ложись в постель.

Я хотел было лечь, но тут она сказала:

– погоди минутку. Сначала дай ребенку еще лекарства.

Я дал. От лекарства девочка разгулялась, и жена, воспользовавшись этим, раздела ее и натерла с ног до головы гусиным салом. Я опять уснул, но мне пришлось встать еще раз.

– Мортимер, в комнате сквозняк. Очень сильный сквозняк. При этой болезни нет ничего опаснее сквозняка. Пожалуйста, придвинь кроватку к камину.

Я придвинул, опять задел за коврик и швырнул его в огонь. Миссис Мак—Вильямс вскочила с кровати, спасла коврик от гибели, и мы с ней обменялись несколькими замечаниями. Я опять уснул ненадолго, потом встал, по ее просьбе, и приготовил припарку из льняного семени. Мы положили ее ребенку на грудь и стали ждать, чтобы она оказала целительное действие.

Дрова в камине не могут гореть вечно. Каждые двадцать минут мне приходилось вставать, поправлять огонь в камине и подкладывать дров, и это дало миссис Мак—Вильямс возможность сократить перерыв между приемами лекарства на десять минут, что ей доставило большое облегчение. Между делом я менял льняные припарки, а на свободные места клал горчичники и разные другие снадобья вроде шпанских мушек. К утру вышли все дрова, и жена послала меня в подвал за новой порцией.

Я сказал:

– Дорогая моя, это нелегкое дело, а девочке, должно быть, и без того тепло, она накрыта двумя одеялами. Может быть, лучше положить сверху еще один слой припарок?

Она не дала мне договорить. Некоторое время я таскал снизу дрова, потом лег и захрапел, как только может храпеть человек, измаявшись душой и телом. Уже рассвело, как вдруг я почувствовал, что меня кто—то схватил за плечо; это привело меня в сознание. Жена смотрела на меня остановившимся взглядом, тяжело дыша. Когда к ней вернулся дар речи, она сказала:

– Все кончено, Мортимер! Все кончено! Ребенок вспотел! Что теперь делать?

– Боже мой, как ты меня испугала! Я не знаю, что теперь делать. Может, раздеть ее и вынести на сквозняк?...

– Ты идиот! Нельзя терять ни минуты! Поезжай немедленно к доктору. Поезжай сам. Скажи ему, что он должен приехать живой или мертвый.

Я вытащил несчастного больного из кровати и привез его к нам. Он посмотрел девочку и сказал, что она не умирает. Я несказанно обрадовался, но жена приняла это как личное оскорбление. Потом он сказал, что кашель у ребенка вызван каким—то незначительным посторонним раздражением. Я думал, что после этого жена укажет ему на дверь. Доктор сказал, что сейчас заставит девочку кашлянуть посильнее и удалит причину раздражения. Он дал ей чего—то, она закатилась кашлем и наконец выплюнула маленькую щепочку.

– Никакого крупа у ребенка нет, – сказал он. – Девочка жевала сосновую щепку или что—то в этом роде, и заноза попала ей в горло. Это ничего, не вредно.

– Да, – сказал я, – конечно не вредно, я этому вполне верю. Сосновая смола, содержащаяся в щепке, очень полезна при некоторых детских болезнях. Моя жена может вам

это подтвердить.

Но она ничего не сказала. Она презрительно отвернулась и вышла из комнаты, — и это единственный эпизод в нашей жизни, о котором мы никогда не говорим. С тех пор дни наши текут мирно и невозмутимо.

(Таким испытаниям, как мистер Мак—Вильямс, подвергались лишь очень немногие женатые люди. И потому автор полагает, что новизна предмета представит некоторый интерес для читателя.)

НАЗОЙЛИВЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ

Каждое утро, когда часы бьют девять, он появляется в редакции. Иногда он приходит даже раньше редактора, и швейцар вынужден покинуть свой пост и подняться на несколько ступенек по лестнице, чтобы отпереть ему заветную дверь редакции. Он берет со стола трубку и закуривает; ему, очевидно, невдомек, что редактор может быть тем гордецом (бывают такие!), которому столь же приятно, когда пользуются его трубкой, как если бы кто—то почистил зубы его щеткой. Он разваливается на диване, ибо у человека, бессмысленно проводящего всю свою жизнь в позорной праздности, не хватает сил сидеть прямо. Сначала он вытягивается во всю длину, потом полулежит; затем перебирается в кресло и располагается в нем, свесив руки, откинув голову и вытянув ноги; немного погодя он меняет позу, наклоняется вперед и перекидывает ногу, а то и обе, через ручку кресла. Однако следует заметить, что, как бы он ни устраивался, он никогда не сидит прямо и не делает вид, что исполнен чувства собственного достоинства. Время от времени он зевает, потягивается и неторопливо, с наслаждением почесывается; иногда он удовлетворенно ворчит, как сытое, до отвала наевшееся животное. Но изредка у него вырывается глубокий вздох, — и это красноречиво выражает его тайное признание: "Никому я не нужен, всем в тягость и только обременяю собою землю".

Этот бездельник не единственный в своем роде — в редакции днем и ночью вертятся трое—четверо таких же, как он. Они вмешиваются в разговор, когда кто—нибудь приходит к редактору по делу, шумно болтают обо всем на свете и особенно о политике; бывает, они даже горячатся, — и тогда кажется, будто их впрямь интересует предмет разговора. Они бесцеремонно отрывают редактора от работы замечаниями: "Смит, ты это видел в "Газете"?" — и принимаются читать целую заметку, а страдающий редактор вынужден слушать, едва сдерживая нетерпеливое перо; они часами сидят в редакции, развалясь в ленивых позах, перебрасываются анекдотами, подробно рассказывают друг другу различные случаи из своей жизни, вспоминают, как выходили из трудных и опасных положений, встречались со знаменитостями, участвовали в избирательных кампаниях; обсуждают знакомых и незнакомых и тому подобное. За все эти долгие часы им ни разу не приходит в голову, что они воруют время у редакторов и грабят читателей, — без них статьи в следующем номере газеты были бы куда лучше! Порою они дремлют или мечтательно углубляются в газеты, а иногда в задумчивости застывают на часок, безвольно обмякнув в кресле. Даже эта торжественная тишина — слишком небольшая передышка для редактора, ибо когда рядом сидит человек и молча слушает поскрипывание твоего пера, это немногим лучше, чем чувствовать, как он заглядывает тебе через плечо. Если посетитель хочет поговорить с кем—нибудь из редакторов о своем личном деле, он должен вызвать его за дверь, потому что никакие намеки, слабее, чем взрывчатка или нитроглицерин, не заставят этих надоедливых особ отойти и не подслушивать. Необходимость день за днем терпеть присутствие назойливого человека, чувствовать, как твое бодрое настроение начинает падать, едва на лестнице послышатся его шаги, и исчезает бесследно, когда его утомительно надоедливая фигура появляется в дверях; страдать от его рассказов и изнемогать от его воспоминаний, всегда ощущать оковы его обременительного присутствия; безнадежно мечтать об

одном—единственном дне уединения; с ужасом замечать, что предвкушение его похорон уже перестало утешать, а воображаемая картина суровых и страшных пыток, которым подвергает его инквизиция, больше не приносит облегчения и что, даже пожелав ему миллионы и миллионы лет в аду, испытываешь всего лишь мгновенную вспышку радости, — необходимость выносить все это день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем — вот страдание, превосходящее все другие муки, какие способен претерпеть человек. Физическая боль по сравнению с этой — пустяк, и даже последний путь осужденного на виселицу только приятная прогулка.

УЧЕННЫЕ СКАЗОЧКИ ДЛЯ ПРИМЕРНЫХ ПОЖИЛЫХ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Часть первая

О ТОМ, КАК ЗВЕРИ СНАРЯДИЛИ НАУЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ

Собрались однажды звери со всего леса на съезд и порешили послать самых знаменитых своих ученых в таинственный и неизведанный мир, лежащий далеко за пределами их родного леса, дабы проверить истинность того, что преподается в их школах и колледжах, а также обогатить науку новыми открытиями. Это был самый грандиозный замысел во всей отечественной истории. Правда, некогда правительственным указом доктор Жабень Квакш с группой высокоталантливых помощников был отправлен на поиски северо—западного прохода через болото в правостороннем секторе леса, — но с тех пор была отправлена не одна экспедиция на поиски доктора Жабеня Квакша; найти его так и не удалось, и, оставив тщетные попытки, правительство пожаловало матери доктора Квакша дворянство — в награду за выдающиеся заслуги ее сына перед наукой. А еще правительство снарядило сэра Кузнеца Попрыгуна на поиски истоков ручья, впадающего в упомянутое болото; потом же снарядило еще множество экспедиций на поиски сэра Попрыгуна, — и в конце концов удалось найти лишь его бездыханное тело; так что если он и открыл истоки ручья, то унес это открытие с собой в могилу. Покойного предали земле с подобающими почестями, и многие завидовали пышности его похорон.

Но все экспедиции прошлого бледнели перед тем, что предстояло теперь: ведь за дело брались величайшие светила науки, и путь их лежал в совершенно неисследованные земли, которые, как мы уже говорили, предполагалось найти за большим лесом. Сколько было всяких банкетов, торжественных речей, разговоров! И едва один из участников экспедиции где—нибудь показывался, его сразу же обступала толпа зевак.

Наконец они тронулись в путь, и стоило посмотреть на длинную процессию сухопутных черепах, обремененных учеными мужами, научными инструментами, всякими светляками и тускляками, взятыми для освещения и сигнализации, продовольствием, муравьями и жуками—навозниками, чтобы таскать грузы и рыть землю, пауками, чтобы производить геодезическую съемку и другие инженерные работы, и т.д. и т.п.; а следом ползла посуху целая колонна броненосцев — гордых и величественных морских черепах, на которых возлагались все водные перевозки, и на каждой черепахе колыбался яркий гладиолус или другое столь же великолепное знамя; во главе колонны большой оркестр из шмелей, комаров, цикад и сверчков играл походный марш; процессию охранял эскорт из двенадцати гвардейских полков жуков—усачей.

По прошествии трех недель экспедиция достигла опушки леса, и глазам исследователей открылся огромный неведомый мир. Какое это было захватывающее зрелище! Перед ними лежала широкая гладь равнины, орошаемая извилистой рекой; а вдали на горизонте высилась какая—то длинная огромная стена неизвестного происхождения. Жук—навозник заявил, что, на его взгляд, это просто—напросто земля, поставленная торчком, потому что на ней видны деревья. Но профессор Улита и другие знаменитости живо осадили его:

– Мы наняли вас рыть землю, милейший, – не более того! Нам нужны ваши мускулы, а отнюдь не мозги. Когда нам захочется узнать ваше мнение по какому—либо научному вопросу, мы не замедлим сообщить вам об этом. Пока же от вас что—то не видно усердия по службе, – вы тут шатаетесь без дела и суетесь в ученые разговоры, а другие рабочие тем временем разбивают лагерь. Ступайте—ка помогите им разгрузить багаж.

Навозник, нимало не обескураженный, преспокойно показал им спину и ушел, бормоча себе под нос: «А все—таки умереть мне без покаяния, если это не земля, поставленная торчком».

Профессор Жабень Квакш (племянник погибшего исследователя) высказал предположение, что перед ними барьер, ограждающий край земли. Он сказал:

– Наши предки оставили нам много бесценных знаний, но они не совершали дальних путешествий, и мы вправе считать, что первыми сделали это блестящее открытие. Отныне нам обеспечена слава, пусть даже мы ничего больше не откроем до самого конца экспедиции. Любопытно узнать, из чего сооружена эта стена? Уж не из лишайника ли? Лишайник – отличнейший материал для постройки стен.

Профессор Улита поднес к глазам подозрную трубу и придирчиво осмотрел стену. Потом он глубокомысленно изрек:

– Отсутствие прозрачности убеждает меня, что перед нами конденсированный пар, образованный при нагревании восходящего потока влаги, окисленной путем рефракции. Мое заключение легко было бы подтвердить полиметрическими измерениями, но я не вижу в них необходимости. Все и так ясно.

Он сложил трубу и удалился в свою палатку, чтобы занести в журнал запись об открытии края света и о его физической природе.

– Какой глубокий ум! – заметил профессор Червь профессору Нетопырю. – Ах, какой глубокий ум! Для этой светлой головы нет неразрешимых загадок.

Пришла ночь, сверчки—караульщики стали на свои посты, зажглись светляки и тускляки, и притихший лагерь погрузился в сон. А наутро, позавтракав, исследователи продолжали путь. К полудню они добрались до большой дороги, по которой были проложены параллельно друг другу, вровень с головой самой рослой лягушки, два бесконечных бруса из какого—то твердого черного материала. Ученые мужи залегли за один из них, осмотрели и исследовали его всеми возможными способами. Потом они долго шагали вдоль брусьев, но не нашли ни конца, ни края, ни даже сколько—нибудь широкой щели. В анналах науки не было и намека на что—либо подобное. Наконец, лысый, почтенный географ, профессор Аспид, выходец из низов, который собственными силами выбился наверх и стал главой географов своего времени, сказал:

– Друзья мои, мы сделали поистине великое открытие. Мы нашли осязаемое, реальное, неопровержимое воплощение того, что даже мудрейшие из наших предков полагали лишь воображаемой категорией. Благоговейте, друзья, ибо мы стоим у великого преддверья. Перед нами географические параллели!

Все сердца замерли, все головы благоговейно склонились: столь потрясающе и величаво было это грандиозное открытие. Многие прослезились.

Путешественники разбили лагерь и весь остаток дня сочиняли объемистые отчеты о чуде и вносили соответствующие поправки в астрономические таблицы. А в полночь раздался дьявольский рев, лязг и грохот, и мимо пронеслось чудище с огромным огненным глазом и длинным хвостом и скрылось во тьме, все еще испуская торжествующий рев.

Бедняги рабочие, обезумев от страха, попрятались в высокой траве. Но ученые не дрогнули. Чуждые предрассудков, они невозмутимо стали делиться друг с другом своими догадками. Всем хотелось узнать мнение старого географа. Он удалился в свою раковину и долго, сосредоточенно размышлял. Когда он наконец выполз оттуда, по торжественному выражению его лица все сразу поняли, что его осенила блестящая догадка. Он промолвил:

– Радуйтесь, ибо нам выпало счастье наблюдать явление несравненной важности. Это было Весеннее Равноденствие!

Его слова потонули в ликующих криках.

– Но позвольте, – после недолгого раздумья заметил Червь, раскручивая свои кольца. – Ведь весна давным—давно прошла.

– Ну так что ж, – возразил Аспид. – Мы значительно удалились от родных широт, а с расстоянием меняется не только время суток, но и время года.

– Ах, в самом деле. Вы совершенно правы. Но сейчас ночь. Откуда же взяться солнцу?

– Тут, в далеких странах, солнце, вне всякого сомнения, появляется ночью, именно в этот час.

– Положим, все это так. Но если сейчас ночь, как могли мы его видеть?

– Да, перед нами великая тайна. Допускаю. Но я убежден, что вследствие влажности здешней атмосферы частицы дневного света абсорбируются солнечным диском, благодаря чему мы и смогли видеть его в темноте.

Объяснение сочли вполне убедительным, о чем была сделана соответствующая запись.

Но в тот же миг снова послышался ужасающий рев; снова лязг и скрежет налетели из мрака; и снова огромный огненный глаз промчался мимо и исчез вдали.

Рабочие решили, что наступил конец света. Ученые мужи тоже пришли в замешательство. Да, такое чудо нелегко объяснить! Они думали и говорили, говорили и думали. Наконец дряхлый и высокоученый лорд Комар герцог Карамора, который сидел погруженный в раздумье, сложив хилые ножки и скрестив лапки, произнес:

– Высказывайтесь, коллеги, а потом я поделюсь с вами своими соображениями, ибо, мне кажется, я решил эту проблему.

– В этом не может быть сомнений, ваша светлость, – пропищал слабым голосом сморщенный и чахлый профессор Мокрица, – ибо сама мудрость глаголет вашими устами. (Тут оратор разразился целым потоком нудных, затасканных, надоевших цитат из древних поэтов и философов, щеголяя великолепной звучностью оригинальных текстов на мастодонтском, динозаврите и других мертвых языках.) Быть может, мне не следовало бы касаться астрономических проблем в присутствии таких знаменитостей, коль скоро я посвятил свою жизнь исследованию великой сокровищницы мертвых языков и выявлению их неисчерпаемых богатств, но при всем своем невежестве в области великой науки астрономии я все же позволю себе смиренно и в высшей степени почтительно заметить, что, поскольку во второй раз неизвестное тело проследовало в направлении, прямо противоположном первому, которое, как вы установили, было Весенним Равноденствием и ничем от него не отличалось, разве не можем мы со значительной долей вероятия, или, скорее, даже с уверенностью, сказать, что это Осеннее Равно...

– Ха—ха—ха! Хо—хо—хо! Долой! Вон! – Со всех сторон посыпались насмешки, и бедняга профессор стушевался, весь багровый от стыда.

Снова закипели споры, и наконец все в один голос попросили высказаться лорда Комара. Он сказал:

– Дорогие коллеги! По глубокому моему убеждению, мы стали свидетелями того, что лишь однажды на памяти земных жителей достигло столь совершенной формы. Трудно преувеличить ценность и важность этого явления для науки, под каким бы углом зрения его ни рассматривать, но особенно дорого нам то, что мы открыли его истинную природу, о которой не знал и даже не подозревал доселе ни один ученый. Великое чудо, очевидцами которого мы только что были, не что иное, как – страшно вымолвить! – прохождение Венеры перед солнечным диском!

Все вскочили на ноги, бледные от неожиданности. Пошли слезы, рукопожатия, безумные объятия и самые сумасбродные проявления радости, какие только можно вообразить. Но мало—помалу восторги улеглись, в душах ученых мужей шевельнулось сомнение, и тогда признанный эрудит, главный инспектор Ящер, заметил:

– Но как же так? Ведь Венера должна была пересечь поверхность Солнца, а не Земли.

Он попал в самую точку. От его слов сердца апостолов науки исполнились печалью, ибо им нечего было ответить на это убийственное возражение. Но сиятельный герцог

хладнокровно заложил лапки за голову и сказал:

– Мой друг коснулся самого существа нашего великого открытия. Да, все, кто жил до нас, полагали, что Венера проходит через диск Солнца; так они думали, так утверждали и искренне верили в это, простые души, чье оправдание лишь в ограниченности их знаний; но нам даровано неоценимое преимущество доказать, что на самом деле Венера проходит перед диском Земли, ибо мы видели это своими глазами.

Коллективная мудрость безмолвствовала, благоговей перед поистине государственным умом лорда. Все сомнения миготом рассеялись, как ночной мрак при вспышке молнии.

Ученые не заметили, как в их общество затесался навозник. Теперь он, пошатываясь, протискивался вперед сквозь толпу ученых, фамильярно хлопая по плечу то одного, то другого, и приговаривал: «Молодец... ик!.. Молодец, старина!», – а рот его растянулся до ушей в блаженной улыбке. Пробившись на видное место, он упер левую руку в бок, так что она легла на бедро под самой полкой его кургузого пиджачка, грациозно выставил вперед правую ногу, едва касаясь носком земли, а пяткой – левой голени, выпятил свое солидное брюшко, которое сделало бы честь и олдермену, открыл рот, оперся правым локтем на плечо инспектора Ящера и...

Плечо негодуяще отдернулось, и бедный труженик с мозолистыми руками упал на землю. Побарахтавшись немного в пыли, он с улыбкой встал, снова старательно принял прежнюю позу, не упустив ни одной подробности, только на этот раз оперся на плечо профессора Клеща, открыл рот и...

... снова упал. Однако он проворно вскочил на ноги, все еще улыбаясь, хотел было небрежным движением смахнуть пыль с пиджачка и штанов, но этот великолепный жест не удался, и он, не устояв на месте, с маху завертелся вокруг себя и, запутавшись в собственных ногах, неуклюже плюхнулся прямо на колени лорду Комару. Двое или трое ученых бросились к ним, дали навознику такого пинка, что он кубарем отлетел в сторону, и подняли упавшего аристократа, наперебой стараясь укрепить его пошатнувшееся достоинство успокоительными и сочувственными речами. Профессор Жабень Квакш взревел:

– Эй ты, навозник, хватит дурака валять! Говори, чего тебе нужно, а потом берись за свое дело. Что же ты молчишь? Да отойди подальше, от тебя несет, как из конюшни? Ну, говори!

– Послушайте... ик!.. Послушайте, ваша милость, я нашел тут одну штуку. Но н—н—н... ик!.. не в том дело. Бы... ик!.. была еще другая, и она... прошу прощения у вашей чести, кто это... ик!.. ик!.. Кто это пронесся мимо нас тот, первый?

– Это было Весеннее Равноденствие.

– Вес... ик!.. Весенний Равнодеуственник? Пускай. Не... не имею чести его знать. А другой?

– Венера, проходившая через земной диск.

– Тоже что—то не припомню такую. Ну да ладно. Она тут обронила какую—то штуку.

– Да неужели? Какая удача! Какой сюрприз! Говори скорей, что же это?

– П—п—п... ик!.. п—пошли все за мной. Н—не пожалеете.

Целые сутки деятельность ученой коллегии никак не документировалась. Потом появилась следующая запись:

«Коллегия в полном составе прибыла на место, чтобы осмотреть находку. Как оказалось, это был гладкий, твердый, объемистый предмет округлой формы с коротким прямым выступом наверху, напоминающим дочиста объединенную капустную кочерыжку. Этот выступ не был сплошным, а представлял собой полый цилиндр, закупоренный каким—то мягким веществом, похожим на древесную кору и у нас неизвестным, – точнее, цилиндр первоначально был закупорен этим веществом, но, к несчастью, затычку опрометчиво удалил еще до нашего прибытия мистер Опоссум, начальник инженерных и земляных работ. Огромный предмет, столь таинственным образом занесенный к нам из сияющих глубин мирового пространства, оказался полым и почти доверху был наполнен жгучей коричневой жидкостью, с виду похожей на дождевую воду из застоявшейся лужи.

Вот какое зрелище представилось нашим глазам: мистер Опоссум, сидя на верхнем выступе цилиндра, окунал хвост в неизвестную жидкость, потом вытаскивал его, и рабочие, толкая друг друга, слизывали с хвоста капли, а мистер Опоссум снова окунал хвост и продолжал тем же способом поить толпу. Видимо, жидкость эта обладает какой—то таинственной силой, ибо тех, кто ее отведал, сразу же охватило буйное веселье, и все ходили шатаясь, распевали непристойные песни, обнимались, затевали драки, плясали, богохульствовали и отказывались повиноваться приказам. Нас окружала со всех сторон необузданная толпа, — впрочем, ее и некому было обуздать, ибо все солдаты, даже часовые, выпив неизвестного зелья, сами потеряли голову. Эти безумцы увлекли нас за собой, и через какой—нибудь час мы — даже мы! — ничем не отличались от остальных, — полнейшее моральное разложение захлестнуло экспедицию. Но мало—помалу разгул утих, и все впали в тягостное, прискорбное оцепенение, которое удивительным образом заставило нас позабыть чины и степени, а воскреснув из мертвых, мы увидели, что лежим вповалку друг на друге; и глаза у нас полезли на лоб, и дух перехватило от невообразимого зрелища, которое нам представилось: презренный, вонючий золотарь жук—навозник и благородный аристократ лорд Комар герцог Карамора спали беспробудным сном, нежно обнявшись, чего не бывало от века, со времен, вошедших в летописи! И без сомнения, ни одна живая душа не поверит в истинность происшедшего, кроме нас, видевших это мерзостное, бесовское наваждение. Неисповедимы пути господни, и да свершится воля его!

Сегодня по нашему приказу главный инженер герр Тарантул с помощью специальных приспособлений перевернул огромный резервуар, после чего его пагубное содержимое быстро впиталось в сухую землю, и теперь оно уже бессильно причинить нам вред; мы сохранили лишь несколько капель для опытов и анализов, а также для того, чтобы представить пробу королю и затем передать ее в музей на предмет хранения среди прочих чудес. Нам удалось определить, что представляет собой наша находка. Вне всякого сомнения, мы имеем дело с жидкостью, обладающей могучей разрушительной способностью и именуемой «молния». Она была исторгнута из своего хранилища в облаках вместе с сосудом, ее содержавшим, неодолимой силой притяжения пролетавшей мимо планеты и упала прямо к нашим ногам. Отсюда следует любопытнейший вывод. Оказывается, молния как таковая обычно пребывает в состоянии покоя; лишь сокрушительный удар грома освобождает и воспаляет ее, порождая мгновенную огненную вспышку и взрыв, который сеет опустошение и смерть на огромных земных пространствах».

Весь следующий день путешественники отдыхали и приходили в себя, после чего двинулись в дальнейший путь. А еще через несколько дней они стали лагерем в одном из самых живописных мест на равнине, и ученые отправились на поиски новых открытий. Их усердие было тотчас же вознаграждено. Профессор Жабень Квакш увидел престранное дерево и подозвал своих коллег. Все осмотрели дерево с глубочайшим интересом. Оно было очень высокое и прямое, без малейших признаков коры, веток и листьев. Лорд Карамора путем триангуляции определил его высоту; герр Тарантул измерил окружность подножия и вычислил диаметр вершины по формуле боковой поверхности конуса. Открытие сочли выдающимся. А поскольку дерево было неизвестной ранее породы, профессор Мокрица дал ему ученое название, представлявшее собой не что иное, как имя профессора Жабеня Квакша в переводе на древнемастодонтский язык, поскольку исстари открыватели увековечивали свои имена, нарекая ими свои открытия.

Профессор Опоссум, приложив свое чуткое ухо к дереву, услышал низкий мелодичный звук. Все ученые поочередно насладились неожиданной музыкой и были приятно удивлены. Профессора Мокрицу попросили добавить к имени дерева какое—нибудь слово, которое указывало бы на его музыкальность, и он дополнил ученое название словом «Псалмопевец» на том же древнемастодонтском языке.

Тем временем профессор Улита осматривал местность в подзорную трубу. Он обнаружил множество таких же деревьев, стоявших по одному в ряд, на большом расстоянии друг от друга, к югу и к северу, насколько хватал глаз. Кроме того, он сразу же заметил, что

все деревья связаны у верхушек четырнадцатью непрерывными толстыми нитями, протянутыми одна над другой от дерева к дереву. Это было в высшей степени удивительно. Главный инженер Тарантул поспешил вверх и вскоре сообщил, что эти нити просто—напросто паутина, сплетенная каким—то его гигантским сородичем, так как кое—где болтаются останки добычи – лохмотья и лоскуты какой—то ткани, без сомнения, шкуры исполинских насекомых, пойманных и съеденных пауком. Потом герр Тарантул пробежал по одной из нитей, дабы получше ее осмотреть, но почувствовал внезапную жгучую боль в ступнях, и у него стали отниматься ноги, после чего он, соскочив вниз, спустился на собственной паутинке и посоветовал своим спутникам поскорее вернуться в лагерь, пока чудовище не проявило к ученым такой же горячей интерес, какой те проявили к нему и к его сооружению. Исследователи поспешно удалились, на ходу обмениваясь замечаниями относительно гигантской паутины. Вечером экспедиционный натуралист изготовил отличный макет гигантского паука, причем ему не было надобности видеть чудовище, потому что он подобрал у дерева обломок его позвонка и по этому фрагменту реконструировал его внешний вид и определил повадки и привычки. Чудовище оказалось с хвостом, зубами и длинным носом, о четырнадцати ногах и, как объявил натуралист, пожирало траву, скот, камни и землю с равной прожорливостью. Открытие нового зверя было признано ценнейшим вкладом в науку. Оставалось надеяться, что вскоре будет найден дохлый паук, пригодный для набивки чучела. Профессор Мокрица заикнулся было, что, устроив засаду, можно бы даже поймать паука живьем. «Что ж, попробуйте», – только и было сказано ему в ответ. В заключение конференции чудовище было названо именем натуралиста, который, вторым после бога, его создал.

– А может, сделал его еще и получше, – присовокупил навозник, который снова был тут как тут по причине своей праздности и неутолимого любопытства.

Конец первой части

Часть вторая

КАК ЗВЕРИ ЗАВЕРШИЛИ СВОИ УЧЕНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Неделю спустя экспедиция стала лагерем среди целого скопища диковин. Ученых окружали какие—то огромные каменные пещеры, стоявшие порознь или по нескольку штук на берегу той самой реки, которую они увидели с опушки леса. Пещеры выстроились длинными прямыми рядами вдоль широких проходов, окаймленных деревьями. Над каждой пещерой был крутой двусторонний скат. Передняя стена была изрешечена большими квадратными отверстиями, заделанными тонким, блестящим, прозрачным материалом. Внутри были пещеры поменьше; в эти внутренние ячейки вели странные спиральные ходы, поднимавшиеся кверху правильными, ровными уступами. В каждой ячейке сохранились в изобилии большие бесформенные груды, которые, по всей видимости, некогда были живыми существами, но теперь их тонкая коричневая кожа сморщилась, обвисла и шелестела, едва к ней притрагивались. Пауков здесь оказалось великое множество, и паутина, со всех сторон опутавшая мертвых гигантов, радовала глаз, вдыхая жизнь и здоровую бодрость в это унылое и безрадостное зрелище. Попытки расспросить местных пауков ни к чему не привели. Они были другой национальности и говорили на каком—то невразумительном певучем жаргоне, который не понимали экспедиционные пауки. Это робкое, пугливое племя погрязло в язычестве и поклонялось неведомым богам. Экспедиция отрядила целую рать миссионеров, дабы обратить их на путь истины, и за неделю работы среди этих темных существ были достигнуты блестящие результаты: не осталось и трех семей, которые твердо исповедовали бы какую—нибудь одну религию и не грызлись бы между собой. Это обнадежило участников экспедиции и побудило их основать здесь постоянную миссионерскую колонию, дабы продолжать труды по спасению бедных душ.

Но не станем забегать вперед. После внимательного осмотра пещер снаружи, долгих размышлений и научных консультаций исследователи определили природу этих

удивительных образований! Было установлено следующее: в целом они относятся к толще Древнего Красного Песчаника; в обнажении вскрыты многочисленные и поразительно правильные пласты, каждый мощностью в пять лягушечьих прыжков; это открытие опрокидывает все общепринятые геологические представления, ибо каждый пласт Древнего Красного Песчаника перекрыт тонким пластом выветренного известняка, вследствие чего вместо одной толщи Древнего Красного Песчаника их оказалось не менее ста семидесяти пяти. Равным образом было очевидно, что имели место также сто семьдесят пять морских трансгрессий, во время которых отлагались слои известняка! Из всего этого неизбежно вытекал потрясающий вывод: мир существует не двести тысяч лет, как полагали ранее, а многие миллионы лет! Обращала на себя внимание еще одна любопытная особенность: каждый слой Древнего Красного Песчаника был разделен на математически правильные промежутки вертикальными внедрениями известняка. Случаи проникновения магматических пород по трещинам в осадочных отложениях широко известны; но столь правильно залегающие осадочные интрузии наблюдались впервые. Это было поистине величайшее открытие, значение которого для науки трудно переоценить.

При внимательном исследовании нижних пластов были найдены ископаемые муравьи и жуки—навозники (последние вместе с плодами своего ремесла), каковой факт был занесен в научные анналы с большим удовлетворением, ибо он подтверждал, что этот рабочий скот принадлежит к низшим организмам, хотя в то же время трудно было примириться с мыслью, что совершенные и благородные существа высшего порядка по непостижимому закону происхождения видов имеют столь презренных предков.

Навозник, подслушавший этот разговор, не смутился: пусть—де все эти новоявленные выскочки тешатся сколько влезет всякими мудреными теориями, что же до него, то он гордится своей принадлежностью к далеким предкам и тем, что занимает достойное место среди древней, истинной аристократии.

– Радуйтесь, если угодно, своему скороспелому достоинству, на которое вчера только навели глянec, – заявил он. – А навозникам довольно того, что они происходят из славного племени, пронесшего свое знамя по сияющим путям античности, и плоды их труда увековечены в Древнем Красном Песчанике, дабы явить их тленным векам, теснящимся у большой дороги Вечности.

– Эй, убирайся отсюда! – презрительно оборвал его начальник экспедиции.

Лето миновало, приближалась зима. К этому времени во многих пещерах и вокруг них были обнаружены какие—то узоры, – по всей видимости, надписи. Большинство ученых было убеждено, что это надписи, хотя некоторые им возражали. Главный филолог, профессор Мокрица, объявил, что здесь налицо образцы неизвестной науке письменности и неизвестного языка. Не теряя времени, он приказал своим художникам и чертежникам сделать факсимиле со всех надписей, а сам принялся искать ключ к непонятному языку. В своей работе он прибег к методу, который до него применяли все дешифровщики. Иными словами, он положил перед собой несколько надписей и стал их изучать все вместе и каждую порознь. Для начала он сопоставил следующие тексты:

Отель «Америка»
Кафе открыто круглосуточно
Тенты Не курить
Лодочная станция
Молитвенное собрание состоится в 4 часа
Бильярдная
Журнал «Купальщик»
Парикмахерская высшего разряда
Телеграф
По газонам не ходить
Употребляйте пилюли Брэндрета

Сдаются особняки на купальный сезон
Дешевая распродажа Дешевая распродажа
Дешевая распродажа Дешевая распродажа

Сначала профессору показалось, что это идеографическое письмо, в котором каждый знак обозначает целое понятие; однако дальнейшее исследование убедило его, что письмо буквенное, где каждый звук передается буквой; но в конце концов он решил, что это смешанное письмо, состоящее частью из букв, частью из значков или иероглифов. На этот вывод его натолкнуло открытие нескольких новых текстов.

Он заметил, что некоторые надписи встречаются чаще других. Например: «Дешевая распродажа», «Бильярдная», «Время отправления – октябрь 1860 г.», «Лото», «Бочковое пиво». «Это, конечно, религиозные заповеди», – решил профессор. Но постепенно, по мере того как тайна загадочного алфавита начала проясняться, он отказался от своего предположения. Скоро ему удалось довольно правдоподобно перевести некоторые надписи, хотя переводы эти удовлетворили далеко не всех. Но так или иначе, профессор шаг за шагом продвигался вперед.

Наконец была найдена пещера с вывеской:

Курортный музей.

Открыт круглосуточно.

Входная плата 50 центов.

Уникальная коллекция восковых фигур, древних ископаемых и т.п.

Профессор Мокрица уверял, что слово «музей» соответствует понятию «lumgath molo» – то есть кладбище. Войдя внутрь, ученые были поражены. Но мы не станем описывать то, что они увидели, а обратимся к их официальному докладу, в котором это сделано как нельзя лучше:

«Перед нами стояли, выстроившись в ряд, окаменелые существа, которые, как мы сразу поняли, принадлежат к давно вымершему виду пресмыкающихся, именуемому человеком и описанному в наших древних летописях. Открытие принесло нам тем большее удовлетворение, что в последнее время было принято считать это существо мифом и суеверием, плодом богатого воображения наших далеких предков. Но мы своими глазами видели человека, отлично сохранившегося в окаменелом состоянии. Мы нашли его кладбище, что подтверждается надписью над входом. Теперь есть основания предполагать, что пещеры, обследованные нами, служили ему жилищем в те отдаленные времена, когда он еще обитал на земле; на груди у каждой окаменелости была надпись на том же языке, что и все прочие. Одна из них гласила: „Знаменитый пират капитан Кидд“, другая – „Королева Виктория“, третья – „Авраам Линкольн“, четвертая – „Джордж Вашингтон“ и т.д.

Мы поспешили обратиться к нашим древним летописям, чтобы установить, совпадает ли описание человека, содержащееся в них, с внешним видом тех окаменелостей, которые были перед нами. Профессор Мокрица прочитал вслух это описание, сделанное своеобразным старинным слогом:

– «Во дни живота отцов наших человек обретался еще на земле, о чем ведомо нам из преданий. Был он ростом велик, на себе же имел шкуру одной масти либо пеструю, кою снимать мог с себя, когда хотел; под шкурой же прятал лапы задние купно с когтями короткими, будто бы у крота, токмо пошире, и передние с перстами изрядно тонкими, длиной же много превосходнее противу лягушечьих, такоже с когтями широкими, дабы из земли корм добывать. Главу же имел волосатую, будто как крыса, а нос долгий, и оным по запаху пищу находить мог. Когда радовался, из очей его изливалась вода, в тоске же аще в печали извергал из глотки своей поистине бесовский гогот, коего мочи не было терпеть, и страх брал: вдруг истерзает себе грудь и через это смерть примет, мучениям своим предел положив. Двое же человеков, сойдясь, друг другу глас подавали: „Хо—хо—хо!“, каковой зык означал: „Здорово, черт подери!“ – и еще иные, схожие с оным звуки, из коих пииты вывели,

будто они промеж собой таково разговаривают, – чему верить нельзя, ибо пииты при всяком случае невесть какую несурзность нести рады. А еще имел при себе человек длинную палку и, оную приставив ко груди, изрыгал из нее пламень и дым, от коих жертва в страхе падала наземь, он же, закогтив ее, тащил в свое логово и там пожирал с ликованием, поистине диавольским».

Это описание, составленное нашими предками, как мы увидим далее, поразительным образом подтверждается находкой окаменелостей. Мы подвергли подробнейшему исследованию экземпляра с надписью «Капитан Кидд». Голову его и часть лица покрывало нечто вроде шерсти, с виду похожей на конский волос. С превеликим трудом удалось снять с него шкуру, после чего обнаружилось, что тело состоит из гладкого белого вещества, совершенно окаменевшего. Солома, которой он питался столько веков назад, сохранилась в нем непереваренная, мы обнаружили ее даже в его ногах.

Кругом были разложены предметы, которые ничего не сказали бы профану, но для глаза ученого явились подлинным откровением. С их помощью мы проникли в тайны глубокой древности. Эти древние памятники красноречиво свидетельствуют о том, в какую эпоху жил человек и каковы были его обычаи. Здесь, подле его останков, мы нашли неоспоримые доказательства того, что он жил на заре творения вместе с другими низшими организмами, населявшими землю в те незапамятные времена. Среди них окаменелый наутилус, обитавший в первобытных морях; рядом – скелеты мастодонта, ихтиозавра, пещерного медведя, исполинского лося. Тут же обуглившиеся кости этих вымерших животных, а равно и детенышей самого человека, расщепленные вдоль, – несомненное доказательство того, что костный мозг был его излюбленным лакомством. Не подлежит сомнению, что именно человек обглодал и высосал эти кости, поскольку никакого следа зубов других животных не найдено; мы решительно отказываемся принять во внимание непрошеное вмешательство навозника, заявившего, что ни одно животное и не может оставить на костях следы зубов. Мы нашли также доказательства тому, что у человека уже были некоторые, хотя и зачаточные, представления об искусстве; об этом свидетельствует целый ряд предметов с неперевадной надписью: «Кремневые топоры, ножи, наконечники для стрел и костяные украшения первобытного человека».

Некоторые из них напоминают грубое оружие, высеченное из кремня, а по соседству, в тайнике, найдено еще несколько недоделанных предметов, сходных с вышеупомянутыми, и рядом – тончайшая пластинка с неперевадной надписью:

«Джонс, ежели ты не хочешь, чтоб тебя выставили в три шеи из музея, делай в другой раз первобытное оружие на совесть, а то мы не смогли надуть даже этих дохлых ученых старикашек из колледжа. И еще запомни, что звери, которых ты вырезал на костяных украшениях, слишком хороши для первобытного человека, это всякому дураку видно.

Директор Варнум».

Кроме того, на кладбище обнаружены кучи золы, из чего явствует, что человек имел обыкновение устраивать пышные поминальные пиршества (иначе невозможно объяснить присутствие золы в таком месте), а также верил в бога и бессмертие души (иначе в чем смысл столь торжественных церемоний?).

Выводы. Можно предположить, что у человека была письменность. Можно считать доказанным, что он действительно существовал, а отнюдь не является мифом; что он был современником пещерного медведя, мастодонта и других вымерших животных, что он варил и пожирал их, равно как и собственных детенышей; что он изготовлял грубое каменное оружие и имел некоторое понятие об искусстве; что он полагал, будто у него есть душа, и тешил себя верой в ее бессмертие. Но воздержимся от насмешек: как знать, быть может, на земле есть существа, которым мы сами с нашей суетностью и глубокомыслием кажемся

смешными».

Конец второй части

Часть третья

На берегу все той же реки ученые нашли большой, тщательно обтесанный камень с надписью:

«Весной 1847 года река вышла из берегов и затопила весь город. Глубина воды достигала от двух до шести футов. Погибло более девятисот голов скота, разрушено много домов. В память об этом событии мэр приказал воздвигнуть сей обелиск. Да оградит нас бог впредь от такого бедствия!»

С превеликим трудом профессору Мокрице удалось перевести надпись, и он незамедлительно послал ее в свое отечество, где она вызвала настоящую сенсацию. Надпись поразительным образом подтверждала некоторые древние предания. Текст был несколько затемнен двумя или тремя непереводаемыми словами, однако без всякого ущерба для общего смысла. Вот этот перевод:

«Одна тысяча восемьсот сорок семь лет назад (огонь?) объял весь город и испепелил его. Спаслось всего около девятисот душ, остальные погибли. (Король?) приказал установить сей камень, дабы... (непереводаемо) ...предотвратить повторение такого бедствия».

Профессору Мокрице впервые удалось сделать полный удовлетворительный перевод образца таинственной письменности, оставленной вымершим человечеством, и это принесло ему такую славу, что все отечественные научные учреждения разом присудили ему высшую ученую степень, и все в один голос твердили, что, если бы профессор посвятил себя военной карьере и обратил свои блестящие таланты на истребление враждебного племени рептилий, король пожаловал бы его дворянством и щедро наградил деньгами. Появилась даже целая наука – «человековедение», в чью задачу входила расшифровка древних памятников вымершей птицы, именуемой «человек» (ибо отныне было установлено, что человек – птица, а отнюдь не пресмыкающееся). Но профессор Мокрица навсегда остался основоположником и главой этой научной школы, так как не подлежало сомнению, что еще ни один перевод не был столь точен и непогрешим, как этот. У других дешифровщиков могли быть ошибки, но не у профессора Мокрицы. Впоследствии было найдено много других памятников вымершего человека, но ни один не пользовался той популярностью и славой, какая выпала на долю «Мэрского камня» – от слова «Мэр»; а поскольку ему в переводе соответствует слово «король», так его и называли «Мэрским», или «королевским», камнем.

Вскоре экспедиция сделала еще одну замечательную «находку». Это был большой округлый бугор с плоской вершиной, имевшей десять лягушечьих пядей в диаметре и пять или шесть в высоту. Профессор Улита водрузил на нос очки и обошел вокруг бугра, а потом вскарабкался на вершину. Наконец он сказал:

– В результате визуального и пальпального обследования этого изопериметрического купола я пришел к выводу, что перед нами одно из редчайших замечательных сооружений, возведенных племенем «курганостроителей». Тот факт, что купол имеет пластинчатожаберное строение, лишь увеличивает его научную ценность, ибо он, по—видимому, отличается от тех памятников, о которых мы читали в древних летописях, но это ни в коей мере не ставит под сомнение аутентичность находки. Пусть громофонический

кузнечик подаст сигнал и вызовет этого лодыря жука—навозника, чтобы произвести раскопки и собрать новые научные сокровища.

Ни одного навозника при исполнении служебных обязанностей не оказалось, и раскопки произвела бригада муравьев. Но они ничего не нашли. Ученых постигло бы большое разочарование, если бы лорд Карамора не пролил свет на существо дела. Он заявил:

– Отныне мне ясно, что древнее загадочное племя курганостроителей не всегда воздвигало свои сооружения с целью устройства мавзолеев, иначе в данном случае, как и во всех прочих, мы нашли бы скелеты и грубые орудия, которыми эти существа пользовались при жизни. Разве это не очевидно?

– Конечно, конечно! – подхватили все.

– В таком случае мы сделали важнейшее открытие; это открытие значительно расширит наши представления о курганостроителях; оно умножит славу нашей экспедиции и принесет нам признательность ученых всего мира. Отсутствие здесь каких бы то ни было мощей может означать только одно: курганостроители были отнюдь не низкоразвитыми дикими рептилиями, как считалось ранее, а существами высокоорганизованными и в высшей степени разумными, способными не только оценить заслуги своих великих сородичей, но и увековечить их память. Братья ученые, этот замечательный курган не гробница, а монумент!

Слова профессора произвели на всех потрясающее впечатление.

Но величие минуты было нарушено грубым и дерзким смехом – это явился жук—навозник.

– Монумент! – передразнил он профессора. – Монумент, возведенный курганостроителями! Так, так—с! Таким представляется он проникательному взору науки, а для бедного темного парня, который никогда и не нюхал учения, это не монумент, – но, коли уж на то пошло, все—таки вещь весьма ценная и нужная; и с позволения вашей милости я сейчас же обращаю его в место блаженного отдохновения и...

Навозника прогнали кнутом, и экспедиционные художники принялись зарисовывать монумент во всевозможных ракурсах, а профессор Мокрица, обуреваемый жаждой научной деятельности, облазил его вдоль и поперек в надежде найти надпись. Но если там когда—нибудь и была надпись, то она либо стерлась, либо какой—нибудь варвар вырубил ее и унес, приняв за амулет.

Когда художники сделали свое дело, ученые решили погрузить замечательный монумент на четырех самых больших черепахах и отправить в королевский музей, что и было с успехом исполнено; прибытие монумента вызвало всеобщее торжество, тысячи ликующих граждан сопровождали памятник к месту его нового пребывания; пожаловал и король Квакш XVI собственной персоной, который даже соблаговолил воссесть на него и ехал так до самого музея.

Наступившие холода вынудили ученых на время прекратить свои труды и готовиться в обратный путь. Но даже последний день, проведенный среди пещер, принес свои плоды: один из исследователей нашел в глухом закоулке музея, или «кладбища», нечто удивительное и необычайное. Это была спаренная человеко—птица, два существа, сросшиеся от природы верхними частями туловища, с табличкой, на которой стояли непередаваемые слова: «Сиа́мские близнецы». Официальный отчет об этой находке завершался следующими словами:

«Из всего вышесказанного явствует, что в древности были два вида этой гигантской птицы – одиночный и спаренный. В природе все закономерно. Науке совершенно ясно, что спаренный человек изначально обитал в суровых условиях, где его постоянно подстерегали опасности; оттого он и спарился; пока одна из особей спит, вторая бодрствует; равным образом это удваивало его силы на случай опасности. Честь и хвала всепроникающему взору богомудрой Науки!»

Рядом со спаренной человеко—птицей была найдена толстая пачка тонких белых листков, скрепленных воедино, – неоспоримо, собрание древних его грамот. Профессор Мокрица едва ли не с первого взгляда натолкнулся на фразу, которую единым духом, с

благоговейным трепетом перевел другим ученым, повергнув их в радостное изумление:

«Многие самым серьезным образом полагают, что низшие существа способны мыслить и разговаривать друг с другом!»

Когда появился большой официальный отчет об экспедиции, вышеприведенная фраза сопровождалась следующим комментарием:

«Следовательно, есть животные, стоящие еще ниже человека в своем развитии! Это знаменательное место не может означать ничего иного. Сам человек вымер, но они, возможно, еще существуют. Кто же они такие? Где обитают? О, сколь беспределен наш восторг при мысли о блестящем поприще для открытий и исследований, которое отныне отверзлось перед наукой! Мы завершаем свои труды со смиренной мольбой к вашему величеству без промедления назначить специальную экспедицию и повелеть ей не щадить ни сил, ни средств до тех пор, пока эти божьи твари, о существовании которых никто до сих пор и не подозревал, не будут найдены».

Экспедиция вернулась домой, потрудившись на Совесть за время своего долгого отсутствия, и благодарные соотечественники встретили ее с бурной радостью. Правда, нашлись и невежественные, неотесанные скептики, которые всегда были и будут на свете; к их числу, конечно, примкнул и бесстыжий навозник. Он заявил, что в экспедиции ему удалось узнать только одно: науке нужна лишь щепотка предположений, чтобы нагромоздить целую гору достоверных фактов; а посему на будущее он готов удовольствоваться теми знаниями, которые природа сделала доступными для всех, и не намерен совать нос в сокровенные тайны провидения.

РЕЖЬТЕ, БРАТЦЫ, РЕЖЬТЕ!

Я попрошу читателя бросить взгляд на следующие стихи, пускай он попробует отыскать в них что—нибудь зловредное:

Кондуктор, отправляясь в путь,
Не рви билеты как—нибудь;
Стриги как можно осторожней,
Чтоб видел пассажир дорожный.
Синий стоит восемь центов,
Желтый стоит девять центов,
Красный стоит только три.
Осторожней режь, смотри!

Припев:

Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно!
Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!

На днях эти звучные вирши попались мне на глаза в одной газете, и я прочел их два подряд. Они мгновенно и неизгладимо врезались в мою память. Все время, пока я завтракал, они вихрем кружились в моей голове, и когда я наконец свернул салфетку, то не мог толком вспомнить, ел я что—нибудь или нет. Вчера вечером я долго думал и решил, что буду писать сегодня один потрясающе драматический эпизод в начатом мною романе. Я ушел к себе в кабинет, чтобы совершить кровавое злодеяние, взялся за перо, но не мог

написать ничего, кроме: «Режьте, братцы, режьте!» Целый час я ожесточенно сопротивлялся этому, но без всякой пользы. В голове у меня гудело: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов» и так далее и так далее, без отдыха и без остановки. Рабочий день пропал даром – я это понимал как нельзя лучше. Я сложил оружие и поплелся в центр города, причем тут же обнаружил, что шагаю в такт этим неумолимым виршам. Я терпел, сколько мог, потом попробовал шагать быстрее. Однако это не помогло, стихи как—то сами применились к моей новой походке и терзали меня по—прежнему. Я вернулся домой и промучился весь день до вечера; терзался в течение всего обеда, сам не понимая, что ем; терзался, рыдал и декламировал весь вечер; лег в постель, ворочался, вздыхал – и все так же декламировал вплоть до полуночи; потом встал вне себя от ярости и попробовал читать, но буквы вихрем кружились передо мной, и ничего нельзя было разобрать, кроме: «Режьте, чтобы видел пассажир дорожный». К восходу солнца я окончательно рехнулся и приводил в изумление и отчаяние всех домашних навязчивым и бессмысленным бредом: «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно!»

Дня через два, в субботу утром, я встал с постели совершенно разбитый и вышел из дому, как это было заранее условлено с моим близким другом, его преподобием мистером Х., чтобы отправиться на прогулку к башне Толкотта, милях в десяти от нас. Мой друг посмотрел на меня пристально, но ни о чем не спросил. Мы отправились в путь. Мистер Х. говорил, говорил, говорил без конца, по своему обыкновению. Я ни слова не отвечал ему: я ничего не слышал. После того как мы прошли около мили, мой друг сказал:

– Марк, ты болен? Я в жизни не видывал, чтобы человек был до такой степени измучен, бледен и рассеян. Скажи хоть что—нибудь, ну пожалуйста!

Без всякого одушевления, вялым голосом я произнес:

– «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно! Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!»

Мистер Х. сначала уставился на меня растерянным взглядом, не находя слов, потом сказал:

– Марк, я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Как будто в твоих словах нет ничего особенного, и, уж, конечно, ничего печального, а все—таки... может быть... ты так их произносишь – ну прямо за сердце хватает. В чем тут...

Но я уже не слышал его. Я весь ушел в беспощадное, надрывающее сердце чтение: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней режь, смотри». Не помню, как мы прошли остальные девять миль. Вдруг мистер Х. положил руку мне на плечо и закричал:

– Проснись, проснись, да проснись же! Не спи на ходу! Ведь мы уже пришли к башне. Я успел наговориться до хрипоты, до глухоты, чуть не до слепоты, а ты мне так ни разу и не ответил. Посмотри, какой вокруг чудесный осенний пейзаж! Да посмотри же, посмотри! Полюбуйся на него! Ты же много путешествовал, видел в других местах прославленные красоты природы. Ну, выскажи свое мнение: нравится тебе или нет?

Я устало вздохнул и пробормотал:

– «Желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней режь, смотри!»

Его преподобие мистер Х. остановился и посмотрел на меня долгим и очень грустным взглядом, как видно сожалея обо мне, потом сказал:

– Марк, тут есть что—то непонятное для меня. Это почти те же самые слова, что ты говорил и раньше, в них как будто нет ничего особенного, а между тем они прямо—таки надрывают сердце. «Режьте, чтобы видел...» – как это там дальше?

Я начал с самого начала и повторил все до конца. Лицо моего друга засветилось интересом. Он сказал:

– Какие пленительные рифмы! Это почти музыка. Они текут так плавно. Я, кажется, тоже запомнил их наизусть. Повтори, пожалуйста, еще разок, тогда я уж наверняка все запомню.

Я повторил. Потом мистер Х. прочел их сам. В одном месте он слегка ошибся, я его

поправил. Во второй и третий раз он читал стихи уже без ошибки. И тут словно огромная тяжесть свалилась у меня с плеч. Мучительные вирши вылетели у меня из головы, и блаженное чувство мира и покоя снизошло на меня. На сердце у меня сделалось так легко, что я даже запел, и пел всю обратную дорогу домой, целых полчаса. После этого мой язык развязался, и слова после долгих часов молчания потекли рекой. Речь моя лилась свободно, радостно и торжественно до тех пор, пока источник не иссяк и не пересох до самого дна. Пожимая на прощанье руку моему спутнику, я сказал:

– Правда, ведь мы провели время просто по—царски! Хотя я припоминаю теперь, за последние два часа ты не сказал ни слова. Ну же, ну, скажи хоть что—нибудь!

Его преподобие мистер Х. обратил ко мне потускневшие глаза, тяжело вздохнул и сказал без всякого оживления и, как видно, бессознательно:

– «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно. Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!»

Сердце мое болезненно сжалось, и я подумал про себя: «Ах, бедняга, бедняга! Теперь вот к нему перешло».

После этого я не виделся с мистером Х. дня два или три. Но во вторник вечером он вошел ко мне пошатываясь и, теряя последние силы, рухнул в кресло. Он был бледен, измучен; от него оставалась одна тень. Он поднял на меня свои угасшие глаза и начал:

– Ах, Марк, каким погибельным приобретением оказались эти жестокие вирши. Они все время терзали меня, словно кошмар, днем и ночью, час за часом, вплоть до этой самой минуты. С тех пор как мы с тобой расстались, я мучаюсь, как грешник в аду. В субботу утром меня неожиданно вызвали телеграммой в Бостон, и я выехал с ночным поездом. Умер один из моих старых друзей, и я должен был исполнить его просьбу – сказать на его похоронах надгробное слово. Я занял свое место в вагоне и принялся за сочинение проповеди. Но я так и не пошел дальше вступительной фразы, потому что, как только поезд тронулся и колеса завели свое «та—та, тра—та—та! та—та, тра—та—та», так сейчас же эти проклятые вирши приспособились к стуку колес. Целый час я сидел и подгонял под каждое отдельное стуканье каждый отдельный слог. От этого занятия я так измаялся, будто колот дрова целый день. Голова у меня просто лопалась от боли. Мне чудилось, что я непременно сойду с ума, если буду так сидеть, поэтому я разделся и лег. Я растянулся на койке... ну, ты сам должен понять, что из этого вышло. Продолжалось все то же «тра—та, та—та, синий стоит, тра—та, та—та, восемь центов; тра—та, та—та, желтый стоит, тра—та, та—та, девять центов», – и пошло, и пошло, и пошло: «Режьте, чтобы видел пассажир дорожный». Сон? Ни в одном глазу. Приехал я в Бостон окончательно свихнувшимся. Насчет похорон лучше не спрашивай. Я делал все, что мог, но каждая торжественная фраза была неразрывно спутана и сплетена с «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно!» А самое плачевное было то, что моя дикция подчинилась размеренному ритму этих пульсирующих стихов, и я видел, как некоторые рассеянные слушатели мерно кивают в такт своими безмозглыми головами. И верь или не верь, Марк, дело твое, – я еще не добрался до конца, а уже все мои слушатели, сами того не зная, кивали торжественно и в унисон – все как один, даже гробовщик и факельщики. Договорив, я выскочил в прихожую в состоянии, близком к иступлению. И надо случиться такому счастью: я тут же наткнулся на старую деву, тетушку покойного, всю в слезах, – она только что приехала из Спрингфилда и опоздала в церковь. Тетушка громко зарыдала и начала:

– Ах, ах, он скончался, а я так и не повидалась с ним перед смертью!

– Да, – сказал я, – он скончался, он скончался, он скончался, – неужели эта мука никогда не прекратится?

– Ах, так вы его любили! Вы тоже любили его!

– Любил его! Кого его?

– Ах, его! Моего бедного Джорджа, моего несчастного племянника!

– Гм, его! Да... о да, да! Конечно, конечно! «Режьте, братцы...» О, эта пытка меня доконает!

– Благослови вас господь, сэръ, за ваши сердечные слова. Я тоже страдаю от этой невозвратимой утраты! Скажите, вы присутствовали при его последних минутах?

– Да! Я... при чьих последних минутах?

– Его, нашего дорогого покойника.

– Да! О да, да, да! Полагаю, что да, думаю, что да. Не знаю, право! Ах да, конечно, я там был, да, да, был!

– Ах, как я вам завидую, как завидую! А его последние слова? Скажите же мне, скажите, ради бога, какие были его последние слова?

– Он сказал... он сказал... ох, голова моя, голова... Да, он все твердил: «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно!» Ах, оставьте меня, сударыня! Во имя всего святого, оставьте меня с моим безумием, с моей мукой, с моей пыткой! «Желтый стоит девять центов, красный стоит только три...», нет сил терпеть более. «Осторожней режь, смотри!»

Унылые глаза моего друга безнадежно взирали на меня в течение целой томительной минуты, затем он сказал с трогательным укором:

– Марк, ты ничего не говоришь. Ты не подаешь мне никакой надежды. Впрочем, боже мой, не все ли это равно, не все ли равно! Ты ничем не можешь мне помочь. Давно прошло то время, когда меня можно было утешить словами. Что—то подсказывает мне, что язык мой навеки осужден болтаться, твердя эти безжалостные стишонки. Вот, вот... опять на меня находит: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит...»

Бормоча эти слова замирающим шепотом, мой друг постепенно затих и впал в транс, в блаженном небытии позабыв о своих страданиях.

Как же я спас его в конце концов от сумасшедшего дома? Я свел его в университет по соседству, и там он передал бремя преследовавших его стихов внимательным ушам несчастных, ничего не подозревавших студентов. И что же с ними стало теперь? Результаты настолько печальны, что лучше о них не рассказывать. Для чего же я об этом написал? Цель у меня была самая достойная, даже благородная. Я хотел предостеречь вас, читатель, на случай, если вам попадутся эти беспощадные вирши, – избегайте их, читатель, избегайте, как чумы!

КОЕ—КАКИЕ ФАКТЫ, ПРОЛИВАЮЩИЕ СВЕТ НА НЕДАВНИЙ РАЗГУЛ ПРЕСТУПНОСТИ В ШТАТЕ КОННЕКТИКУТ

Я был весел, бодр и жизнерадостен. Только я успел поднести зажженную спичку к сигаре, как мне вручили утреннюю почту. Первый же конверт, на котором остановился мой взгляд, был надписан почерком, заставившим меня задрожать от восторга. Это был почерк моей тетушки Мэри, которую после моих домашних я любил и уважал больше всех на свете. Она была кумиром моих детских лет, и даже зрелый возраст, столь роковой для многих юношеских увлечений, не сверг ее с пьедестала, – наоборот, именно в эти годы право тетушки безраздельно царить в моем сердце утвердилось навеки. Чтобы показать, насколько сильным было ее влияние на меня, скажу лишь следующее: еще долгое время после того, как замечания окружающих, вроде: «Когда ты, наконец, бросишь курить?», совершенно перестали на меня действовать, одной только тете Мэри, – когда она касалась этого предмета, – удавалось пробудить мою дремлющую совесть и вызвать в ней слабые признаки жизни. Но увы! всему на свете приходит конец. Настал и тот счастливый день, когда даже слова тети Мэри меня уже больше не трогали. Я восторженно приветствовал наступление этого дня, более того – я был преисполнен благодарности, ибо к концу этого дня исчезло единственное темное пятно, способное омрачить радость, какую всегда доставляло мне общество тетушки. Ее пребывание у нас в ту зиму доставило всем огромное удовольствие. Разумеется, и после того блаженного дня тетя Мэри продолжала настойчиво уговаривать меня отказаться от моей пагубной привычки. Однако все эти уговоры решительно ни к чему

не повели, ибо стоило ей коснуться сего предмета, как я тотчас же выказывал спокойное, невозмутимое, твердое, как скала, равнодушие. Последние две недели ее достопамятного визита пронеслись легко и быстро, как сон, – я был преисполнен величайшего благодушия. Я не мог бы извлечь больше удовольствия из своего излюбленного порока даже в том случае, если бы моя нежная мучительница сама была курильщицей и защитницей курения. И так, почерк тетушки напомнил мне, что я жаждал снова увидеться с нею. Я без труда угадал содержание ее письма. Я вскрыл его. Прекрасно! Именно то, чего я ожидал: она приезжает! Приезжает не далее как сегодня, и притом утренним поездом. Значит, ее можно ожидать с минуты на минуту.

Я сказал себе: «Теперь я совершенно доволен и счастлив. Если бы мой злейший враг явился сейчас передо мною, я бы с радостью загладил все то зло, которое ему причинил».

Не успел я произнести эти слова, как дверь отворилась, и в комнату вошел сморщенный карлик в поношенной одежке. Он был не более двух футов ростом. Ему можно было дать лет сорок. Каждая черточка, каждая часть его тела казалась чуть—чуть не такой, как надо, и хотя вы не могли указать пальцем на одно определенное место и сказать: «Здесь явно что—то не то», это маленькое существо было воплощением уродства – неуловимого, однако равномерно распределенного, хорошо пригнанного уродства. Лицо и острые маленькие глазки выражали лисью хитрость, настороженность и злобу. И тем не менее у этого дрянного огрызка человеческой плоти было какое—то отдаленное, неуловимое сходство со мной! Карлик смутно напоминал меня выражением лица, жестами, манерой и даже одеждой. У него был такой вид, словно кто—то неудачно пытался сделать с меня уменьшенный карикатурный слепок. Особенно отталкивающее впечатление произвело на меня то, что человек был с ног до головы покрыт серо—зеленым мохнатым налетом – вроде плесени, какая иногда бывает на хлебе. Вид у него был просто тошнотворный.

Он решительно пересек комнату и, не дожидаясь приглашения, с необыкновенно наглым и самоуверенным лицом развалился в низком кресле, бросив шляпу в мусорную корзину. Затем он поднял с полу мою старую пенковую трубку, раза два вытер о колено чубук, набил трубку табаком из стоявшей рядом табакерки и нахальным тоном потребовал:

– Подай мне спичку!

Я покраснел до корней волос – отчасти от возмущения, но главным образом оттого, что вся эта сцена напомнила мне – правда, в несколько преувеличенном виде – мое собственное поведение в кругу близких друзей. Разумеется, я тут же отметил про себя, что никогда, ни разу в жизни не вел себя так в обществе посторонних. Мне очень хотелось швырнуть карлика в камин, но смутное сознание того, что он помыкает мною на некоем законном основании, заставило меня повиноваться его приказу. Он прикурил и, задумчиво попыхивая трубкой, отвратительно знакомым мне тоном заметил:

– Чертовски странная нынче стоит погода.

Я снова вспыхнул от гнева и стыда, ибо некоторые его словечки – на этот раз без всякого преувеличения – были очень похожи на те, какие и я в свое время частенько употреблял. Мало того, он произносил эти слова таким тоном и так отвратительно их растягивал, что вся его речь казалась пародией на мою манеру разговаривать. Надо сказать, что я пуще всего на свете не переношу насмешек над своей привычкой растягивать слова. Я резко сказал:

– Послушай, ты, убудок несчастный, веди себя прилично, а не то я выкину тебя в окно!

Нисколько не сомневаясь в том, что его безопасности ничто не угрожает, человечешко самодовольно и злорадно улыбнулся, с презрением пустил в меня дымом из трубки и, еще сильнее растягивая слова, проговорил:

– Ну, ну, полегче на поворотах. Не стоит так зазнаваться.

Это наглое замечание резануло мне ухо, однако на минуту охладило мой пыл. Некоторое время пигмей не сводил с меня лисьих глазок, а затем глумливо продолжал:

– Сегодня утром ты прогнал бродягу.

- Может прогнал, а может и нет, – раздраженно возразил я. – А ты—то почему знаешь?
- Знаю, и все. Не все ли равно, откуда я узнал.
- Отлично! Допустим, что я действительно прогнал бродягу, – ну и что из этого?
- О, ничего, ничего особенного. Но только ты ему солгал.
- Я не лгал! То есть я...
- Нет, ты солгал.

Я почувствовал укол совести. По правде говоря, прежде чем бродяга дошел до конца квартала, она успела кольнуть меня раз сорок. Тем не менее я решил притвориться оскорбленным и заявил:

– Это беспардонная клевета. Я сказал бродяге...

– Постой. Ты хотел солгать еще раз. Я—то знаю, что ты ему сказал. Ты сказал, что кухарка ушла в город и что от завтрака ничего не осталось. Ты солгал дважды. Ты отлично знал, что кухарка стоит за дверью и что в доме полно провизии.

Эта поразительная осведомленность заставила меня замолчать, и я с удивлением подумал, из какого источника этот соплик мог почерпнуть свои сведения. Разумеется, он мог узнать об этом разговоре от бродяги, но каким чудом он ухитрился проведать, где была кухарка?

Тем временем карлик заговорил снова:

– Как подло и низко ты поступил, когда дня два назад отказался прочитать рукопись той несчастной молодой женщины и высказать свое мнение о литературных достоинствах ее труда. А ведь она проделала такой далекий путь и была преисполнена таких радужных надежд. Но, может быть, этого вовсе и не было?

Я чувствовал себя как последняя собака! Должен признаться, что так было всякий раз, когда я вспоминал об этом случае. Я густо покраснел и сказал:

– Послушай, неужели тебе больше делать нечего, кроме как шататься повсюду и совать нос не в свои дела? Разве эта девица рассказывала тебе о нашем разговоре?

– Неважно, рассказывала она или нет. Важно, что ты совершил гнусный поступок. А потом тебе стало стыдно! Ага, тебе стыдно и сейчас!

Это было сказано с каким—то дьявольским злорадством. Я с жаром возразил:

– Я в самых мягких и деликатных выражениях объяснил этой девице, что не берусь высказывать свое суждение о чьей бы то ни было рукописи, ибо мнение одного человека равно ничего не стоит. Он может недооценить превосходный труд или переоценить бездарное кропанье и таким образом навязать его читателям. Я сказал ей, что единственным трибуналом, который облечен полномочиями судить литературное произведение, может быть только широкая публика. Поэтому лучше всего с самого начала представить свое творение на суд этого высокого трибунала, ибо в конечном итоге жизнь или смерть всякого произведения все равно зависит от него.

– Да, ты действительно говорил все это, жалкий, малодушный казуист! И все же, когда на лице несчастной девушки погасла радостная надежда, когда ты увидел, как она украдкой прячет под шаль старательно переписанную рукопись, – о, как она гордилась ею прежде и как стыдилась своего сокровища теперь! – когда ты увидел, что слезы смывают радость с ее очей, когда она смиренно поплелась прочь, она, которая пришла так...

– О, довольно! довольно! довольно! Типун тебе на язык! Эти мысли и без того уже достаточно меня измучили, и нечего тебе было приходить сюда, чтобы напомнить мне о них.

Раскаяние! Раскаяние! Оно изгрызло мне сердце! А тут еще этот маленький изверг спокойно сидит на стуле, ехидно смотрит на меня и радостно хихикает. Вскоре он заговорил снова. Каждая его фраза была осуждением, и притом осуждением справедливым. Каждое замечание дышало сарказмом и насмешкой, каждое неторопливо произнесенное слово жгло, как огонь. Карлик напомнил мне о том, как я в ярости набрасывался на своих детей, наказывая их за проступки, которых, как я мог легко убедиться, если б дал себе хоть немного труда, они вовсе не совершали. Он напомнил мне, с каким вероломством я спокойно выслушивал клевету на старых друзей и, вместо того чтобы защитить их от злословия,

трусливо молчал. Он напомнил мне о множестве совершенных мною бесчестных поступков, из коих многие я потом сваливал на детей или на другие безответные существа. Он напомнил мне даже о тех подлых деяниях, которые я намеревался, страстно желал, мечтал совершить, — и не совершил лишь потому, что боялся последствий. С какой—то утонченной жестокостью воскресил он в моей памяти вереницу обид, оскорблений и унижений, которые я когда—то нанес своим, ныне уже покойным, друзьям.

— Быть может, на пороге смерти они, горестно сокрушаясь, вспоминали эти обиды, — добавил он, как бы желая напоследок всадить мне нож в спину. — Вспомни, например, историю с твоим младшим братом. Много лет назад, когда вы оба были еще детьми, все твое вероломство не могло поколебать его любовь и преданность. Он ходил за тобой, как собачонка, готовый терпеть любые обиды и унижения, лишь бы с тобой не разлучаться; он терпеливо сносил все удары, наносимые твоею рукой. Да послужит тебе утешением память о том дне, когда ты в последний раз видел его целым и невредимым! Поклявшись, что, если он позволит завязать себе глаза, с ним ничего дурного не случится, ты, захлебываясь от смеха в предвкушении редкостного удовольствия, втолкнул его в ручей, покрытый тонким слоем льда. Как ты хохотал! Тебе никогда не забыть того кроткого укоризненного взгляда, который бросил на тебя твой брат, когда он, дрожа всем телом, выбирался из ледяной воды, — никогда, хотя бы ты прожил еще тысячу лет! Ага! Он и сейчас стоит перед тобой!

— Ах ты мерзавец! Я видел его миллион раз и увижу еще столько же. А за то, что ты посмел снова напомнить мне о нем, желаю тебе сгнить заживо и до самого Страшного суда терпеть те мучения, какие я испытываю в эту минуту!

Карлик самодовольно ухмыльнулся и продолжал перечислять мои прегрешения. Я погрузился в состояние злобной задумчивости и молча терпел безжалостные удары его хлыста. Однако последовавшее затем замечание окончательно вывело меня из себя:

— Два месяца назад, во вторник, ты проснулся поздно ночью и со стыдом вспомнил об одном особенно низком и подлом поступке, который ты совершил в Скалистых горах по отношению к несчастному невежественному индейцу зимой тысяча восемьсот...

— Замолчи на минутку, дьявол! Замолчи! Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе известны даже мои мысли?

— Очень может быть. Разве ты не думал о том, что я сейчас сказал?

— Не жить мне больше на этом свете, если я об этом не думал! Послушай, друг мой, посмотри мне прямо в глаза. Кто ты такой?

— А как ты думаешь?

— Я думаю, что ты сам сатана. Я думаю, что ты дьявол.

— Нет.

— Нет? Кто же ты в таком случае?

— Ты и вправду хочешь узнать, кто я?

— Разумеется хочу.

— Ну, так знай же — я твоя Совесть!

Я мгновенно возликовал. С диким восторженным воплем я кинулся к этой жалкой твари.

— Будь ты проклят! Я сто миллионов раз мечтал о том, чтобы ты был из плоти и крови, чтобы я мог свернуть тебе шею! О, теперь—то я тебе отомщу!

Безумное заблуждение! Карлик с быстротою молнии подпрыгнул, и в тот самый миг, когда мои пальцы сомкнулись, сжимая пустоту, он уже сидел на верхушке книжного шкафа, насмешливо показывая мне нос. Я бросил в него кочергу, но промахнулся. Я запустил в него колodкой для сапог. В бешеной ярости я метался из угла в угол, швыряя в него все, что попадалось под руку. В комнате стало темно от града книг, чернильниц и кусков угля, которые беспрерывно сыпались на верхушку шкафа, где сидел человек. Но все было напрасно — проворная тварь увертывалась от всех снарядов. Мало того, когда я в изнеможении опустился на стул, карлик разразился торжествующим смехом. Пока я пыхтел и отдувался, моя Совесть произнесла следующую речь:

– Мой добрый раб, ты на редкость слабоумен. Впрочем, это свойство присуще тебе от природы. По сути дела, ты всегда последователен и верен себе. Ты всегда ведешь себя, как осел. В противном случае ты мог бы догадаться, что если б ты замыслил это убийство с тяжелым сердцем, я тотчас изнемог бы под непосильным бременем. Болван, тогда я весил бы не меньше тонны и не мог бы даже приподняться с земли. А ты так рвешься убить меня, что твоя Совесть стала легче пуха. Поэтому я сижу здесь, наверху, и тебе до меня ни за что не добраться. Я готов уважать обыкновенного нормального дурака, но тебя – пффф!

В ту минуту я отдал бы все на свете, лишь бы у меня стало тяжело на душе. Тогда я смог бы стащить это существо со шкафа и прикончить его. Но увы – откуда же взяться тяжести на душе, когда я с легкой совестью готов был осуществить это страстное желание. Поэтому мне оставалось лишь с тоской взирать на моего повелителя и сетовать на злую судьбу, которая не послала мне угрызений совести в тот единственный раз в жизни, когда я о них мечтал. Мало—помалу я принялся размышлять об этом странном происшествии, и тут меня, разумеется, разобрало свойственное роду человеческому любопытство. Я принялся составлять в уме вопросы, на которые этот дьявол должен был ответить. Вдруг в комнату вошел один из моих сыновей. Не закрыв за собою дверь, он воскликнул:

– Вот это да! Что тут стряслось? Книжный шкаф весь словно решето...

Я в ужасе вскочил и заорал:

– Вон отсюда! Убирайся! Катись! Беги! Закрой дверь! Скорее, а не то моя Совесть удерет!

Дверь захлопнулась, и я запер ее на ключ. Бросив взгляд наверх и убедившись, что мой повелитель все еще у меня в плену, я обрадовался до глубины души. Я сказал:

– Черт возьми, ведь я же мог тебя лишиться! Дети так неосторожны. Но послушай, друг мой, мальчик тебя, кажется, даже не заметил. Как это может быть?

– Очень просто. Я невидим для всех, кроме тебя.

Я с глубоким удовлетворением отметил про себя эту новость. Теперь, если мне повезет, я смогу убить злодея, и никто ничего не узнает. Однако от одной этой мысли мне стало так легко на душе, что карлик едва усидел на месте и чуть было не взмыл к потолку, словно детский воздушный шар. Я сразу же сказал:

– Послушай—ка, Совесть, давай будем друзьями. Выбросим на время белый флаг. Мне необходимо задать тебе несколько вопросов.

– Отлично. Валяй.

– Прежде всего я хотел бы знать, почему я тебя до сих пор ни разу не видел?

– Потому что до сих пор ты ни разу не просил меня явиться. То есть я хочу сказать, что ты не просил меня об этом в надлежащей форме и находясь в соответствующем расположении духа. Сегодня ты был как раз в соответствующем расположении духа, и когда ты позвал своего злейшего врага, оказалось, что это именно я и есть, хотя ты о том и не подозревал.

– Неужели мое замечание заставило тебя облечься в плоть и кровь?

– Нет. Но оно сделало меня видимым для тебя. Как и другие духи, я бесплотен.

От этого известия мне стало не по себе. Если он бесплотен, то как же я его убью? Однако я притворился спокойным и убедительным тоном произнес:

– Послушай, Совесть, с твоей стороны не слишком любезно держаться на таком большом расстоянии. Спускайся вниз и закури еще.

Ответом мне был насмешливый взгляд и следующие слова:

– Ты хочешь, чтоб я сам явился туда, где ты сможешь меня схватить и убить?

Предложение с благодарностью отклоняется.

«Отлично, – подумал я про себя, – стало быть, призрак тоже можно прикончить. Будь я проклят, если сейчас на свете не станет одним призраком меньше!»

Потом я сказал:

– Друг мой...

– Пстой, подожди немножко. Я тебе не друг. Я твой враг. Ты мне не ровня. Я твой

господин. Потрудись называть меня милордом. Ты слишком фамильярен.

– Мне не нравятся такие титулы. Я готов называть вас «сэр». Это самое большое...

– Не будем спорить. Делай, что тебе говорят, и кончено. Продолжай свою болтовню.

– Отлично, милорд, – если вас не устраивают никакие обращения, кроме милорда, – я хотел спросить у вас, до каких пор вы останетесь видимым для меня?

– До конца дней твоих!

– Это просто наглость! – взорвался я. – Так знайте же, что я об этом думаю. Каждый божий день вы ходили, ходили и ходили за мною по пятам, оставаясь невидимым. Одного этого было достаточно, чтобы отравить мне жизнь. Но перспектива до конца дней своих видеть, что за мною, словно тень, тащится такая отвратительная личность, как вы, совсем уж невыносима. Теперь вам известно мое мнение, милорд. Можете использовать его по своему усмотрению.

– Мой мальчик, в ту минуту, когда ты сделал меня видимым, во всем мире не было более удовлетворенной совести, чем я. Это дает мне неоценимое преимущество. Теперь я могу смотреть тебе прямо в глаза, обзывать тебя дурными словами, насмехаться, издеваться и глумиться над тобой, а тебе известно, сколь красноречивы жесты и выражение лица, особенно, если они подкрепляются внятной речью. Отныне, дитя мое, я всегда буду говорить с тобой т—в—о—и—м с—о—б—с—т—в—е—н—н—ы—м х—н—ы—чу—щ—и—м т—о—н—о—м!

Я запустил в него совком для угля. Безрезультатно. Милорд сказал:

– Ну, ну! Вспомни про белый флаг!

– Ах, я и забыл. Постараюсь вести себя вежливо, но и вы тоже постарайтесь – хотя бы для разнообразия. Подумать только – вежливая совесть. Неплохая шутка! Превосходная шутка! Все совести, о которых мне до сих пор приходилось слышать, были отвратительными, надоедливymi, сварливыми, нудными невежами! Вот именно. Они вечно из кожи вон лезли по всяким пустякам. Черт бы их всех побрал, вот что я вам скажу! Я бы с удовольствием променял свою совесть на оспу или на семь видов чахотки – и был бы счастлив, что совершил такую выгодную сделку. Теперь скажите мне, почему совесть, однажды дав нагоняй человеку за свершенное им преступление, не может потом оставить его в покое? Почему она должна денно и ночью, неделю за неделей, без конца и края долбить одно и то же? Я не вижу в этом ни малейшего смысла. По—моему, совесть, которая поступает подобным образом, – самое подлое существо на свете.

– Нам так нравится, и этого достаточно.

– Вы делаете это, руководствуясь искренним намерением исправить человека?

Этот вопрос вызвал язвительную улыбку и следующий ответ:

– Нет, сэр. Прошу прощения. Мы поступаем так лишь по обязанности. Это наше ремесло. Цель этой деятельности состоит в том, чтобы исправить людей, но мы – всего лишь ни в чем не заинтересованные, бессловесные орудия высшей власти. Мы повинuemся приказам, не заботясь о последствиях. Однако я готов признать, что мы несколько превышаем свои полномочия, если нам представляется хоть малейшая возможность, а это бывает сплошь и рядом. Нам это очень нравится. Мы обязаны несколько раз напомнить человеку о совершенной им ошибке. Не скрою: то, что ему причитается, он получает сполна. Но когда нам попадается человек особенно чувствительный от природы, о, тут уж мы даем себе волю! Я знал совести, которые в особо выдающихся случаях не ленились приезжать из Китая и даже из России, чтобы полюбоваться, как дрессируют подобных типов. Однажды такой субъект нечаянно изувечил маленького мулата. Об этом стало известно, и представь себе, что совести сбежали толпой со всего света, чтобы вдосталь позабавиться, помогая хозяину муштровать этого человека. Двое суток провел он в страшных мучениях, потерял сон и аппетит и в конце концов пустил себе пулю в лоб. А младенец через три недели совершенно поправился.

– Да, нечего сказать, приятная вы публика! Кажется, я теперь начинаю понимать, почему по отношению ко мне вы всегда вели себя не особенно последовательно. В своем

стремлении извлечь как можно больше удовольствия из греха, вы заставляете человека раскаиваться в нем тремя или четырьмя различными способами. Например, вы обвинили меня, что я соврал тому бродяге, и заставили меня из—за этого страдать. Но не далее как вчера я высказал другому бродяге святую истину, а именно, что поощрение бродяжничества считается нарушением гражданского долга и поэтому он от меня ровно ничего не получит. Что же вы сделали в этом случае? Очень просто: вы заставили меня сказать себе: «Ах, я поступил бы гораздо более человеколюбиво и добродетельно, если бы отвалил его при помощи невинной маленькой лжи. Тогда он ушел бы от меня хоть и без хлеба, но по крайней мере благодарным за хорошее обращение». Так вот, из—за этого я страдал потом целый день. Тремя днями раньше я накормил бродягу, накормил его досыта, считая, что это – добродетельный поступок. А вы тотчас же заявили: «Ах ты, нарушитель гражданского долга! Накормить бродягу!» – и я снова страдал, как обычно. Я дал бродяге работу. Вы возражали против этого – разумеется, после того, как мы сговорились. Вы ведь никогда не предупреждаете заранее. В следующий раз я отказал бродяге в работе. Вы и против этого возражали. Потом я решил убить бродягу и из—за вас всю ночь не спал, раскаиваясь всеми фибрами своей души. Затем я хотел поступить по справедливости – следующего бродягу я отослал прочь, напутствовав его своим благословением, и, черт меня побери, если вы снова не заставили меня всю ночь промучиться из—за того, что я его не убил. Существует ли хоть какой—нибудь способ удовлетворить зловерное изобретение, называемое совестью?

– Ха—ха! Это изумительно! Продолжай!

– Но ответьте же на мой вопрос. Существует такой способ или нет?

– Существует он или нет – все равно я не собираюсь открывать его тебе, сын мой. Осел ты этакий! Что бы ты ни намеревался делать – я могу тотчас же шепнуть тебе на ухо словечко—другое и окончательно уверить тебя, что ты совершил ужасную подлость. Мой долг и моя отрада заставлять тебя раскаиваться во всех твоих поступках. Если я упустил какую—нибудь возможность, то, право же, сделал это не нарочно, уверяю тебя, что не нарочно.

– Не беспокойтесь. Насколько мне известно, вы не упустили ровно ничего. За всю свою жизнь я не совершил ни одного поступка – безразлично, был ли он благородный или нет, – в котором не раскаялся бы в течение ближайших суток. Прошное воскресенье я слушал в церкви проповедь о благотворительности. Первым моим побуждением было пожертвовать триста пятьдесят долларов. Я раскаялся в этом и сократил сумму на сотню; потом раскаялся в этом и сократил ее еще на сотню; раскаялся в этом и сократил ее еще на сотню; раскаялся в этом и сократил оставшиеся пятьдесят долларов до двадцати пяти; раскаялся в этом и дошел до пятнадцати; раскаялся в этом и сократил сумму до двух с половиной долларов. Когда наконец ко мне поднесли тарелку для подаяний, я раскаялся еще раз и пожертвовал десять центов. И что же? Возвратившись домой, я стал мечтать, как бы получить эти десять центов обратно! Вы ни разу не дали мне спокойно прослушать ни одной проповеди о благотворительности.

– И не дам, никогда не дам. Можешь всецело положиться на меня.

– Не сомневаюсь. Я провел множество бессонных ночей, мечтая схватить вас за горло. Хотел бы я добраться до вас теперь!

– О да, конечно. Но только я не осел, а всего лишь седло на осле. Однако продолжай, продолжай. Ты меня отлично развлекаешь.

– Очень приятно. (Вы не возражаете, если я немножко совру, – просто так, для практики?) Послушайте: не переходя на личности, я должен сказать, что вы один из самых гнусных, презренных и ничтожных гадов, каких только можно себе представить. Я просто счастлив, что вы невидимы для других людей, ибо я умер бы со стыда, если бы кто—нибудь увидел меня с такой грязной волосатой обезьяной, как вы. Жаль, что вы не пяти или шести футов ростом, тогда бы...

– Интересно, кто в этом виноват?

– Понятия не имею.

– Разумеется, ты. Кто же еще?

– Будь я проклят, если кто—нибудь советовался со мной насчет вашей внешности.

– И тем не менее она в большой степени зависит от тебя. Когда тебе было лет восемь—девять, я был семи футов ростом и красив, как картинка.

– Жаль, что вы не умерли в детстве! Значит, вы росли не в ту сторону?

– Некоторые из нас растут в одну сторону, а некоторые – в другую. Когда—то совесть у тебя была большая. Если теперь она маленькая, я полагаю – на то есть причины. Однако в этом виноваты мы оба – и ты и я. Видишь ли, ты часто бывал совестлив, я бы даже сказал, болезненно совестлив. Это было много лет назад. Ты, по всей вероятности, давно забыл об этом. Что касается меня, то я трудился с большим рвением и так наслаждался страданиями, которые причиняли тебе некоторые твои излюбленные пороки, что терзал тебя до тех пор, покуда не зашел слишком далеко. Ты взбунтовался. Разумеется, я тогда начал терять почву под ногами и понемногу съезживаться – стал худеть, зарастать плесенью и горбиться. Чем больше я слабел, тем глубже ты погрязал в своих пороках, пока наконец те части моего тела, которые представляли эти пороки, не огрубели, как кожа акулы. Возьмем, например, курение. Я слишком долго ставил на эту карту, и в конце концов проиграл. В последнее время, когда тебя уговаривают бросить эту скверную привычку, огрубевшие места как будто расширяются и, словно кольчуга, закрывают меня с ног до головы. Это производит какое—то странное, удушающее действие, и я, твой верный враг, преданная тебе Совесть, погружаюсь в глубокий сон! Впрочем, глубокий – не то слово. В такие минуты меня не могли бы разбудить даже раскаты грома. У тебя есть еще несколько пороков – что—то около восьмидесяти или девяноста, и все они действуют на меня точно таким же образом.

– Это весьма утешительно. Значит, большую часть времени вы спите?

– Да, в последние годы это было так. Если бы мне не помогали, я бы спал все время.

– Кто же вам помогает?

– Другие совести. Всякий раз, когда кто—нибудь, с чьей совестью я знаком, пытается выговаривать тебе за пороки, в которых ты погряз, я прошу моего друга заставить своего клиента почувствовать укол совести по поводу какого—либо из его собственных злодеяний. Тогда этот человек перестает соваться не в свое дело и начинает искать утешения для самого себя. В настоящее время поле моей деятельности почти целиком ограничено бродягами, начинающими писательницами и тому подобным сбродом, но не беспокойся – я допеку тебя и тут, пока они еще не перевелись на этом свете! Ты только доверься мне.

– Постараюсь. Но если бы вы были настолько любезны и упомянули об этих обстоятельствах лет тридцать назад, я направил бы все свое внимание на грех, и думаю, что к настоящему времени мне удалось бы не только заставить вас спать беспробудным сном, оставаясь безразличным ко всему списку людских пороков, но сверх того сократить до размеров гомеопатической пилюли. Совесть такого типа – мечта всей моей жизни. Если б я только мог заставить вас усохнуть до размеров гомеопатической пилюли и добраться до вас – думаете, я поместил бы вас под стеклянный колпак в качестве сувенира? Нет, сэр! Я скормил бы вас последнему псу! Это для вас самая лучшая участь – для вас и для всей вашей шайки. Вы не достойны находиться в обществе людей – вот вам мое мнение. А теперь скажите – вы знакомы со многими совестями в нашей округе?

– Разумеется.

– Дорого бы я дал, чтобы взглянуть на некоторых из них! Не можете ли вы привести их сюда? Они будут видимы для меня?

– Конечно, нет.

– Да, я мог бы и сам догадаться. Но не важно, вы можете описать их. Пожалуйста, расскажите мне о Совести моего соседа Томпсона.

– Хорошо. Я близко знаком с этим типом. Знаю его много лет. Я знал его еще в те времена, когда это был великолепно сложенный верзила одиннадцати футов ростом. Теперь он старый, дряхлый урод и решительно ничем не интересуется. Он стал таким маленьким, что ночует в портсигаре.

– Похоже на то. Во всей округе едва ли найдется человек подлее и ничтожнее Хью Томпсона. А с Совестью Робинсона вы знакомы?

– Да. Она чуть ниже четырех с половиной футов; была блондинкой, теперь брюнетка, но все еще недурна собой.

– Да, Робинсон парень неплохой. А с Совестью Тома Смита вы тоже знакомы?

– Как же! Это друг моего детства. Когда ему было два года, он был ростом в тринадцать дюймов и довольно—таки апатичен, как, впрочем, большинство из нас в этом возрасте. Теперь это богатырь тридцати семи футов ростом, с самой статной фигурой во всей Америке. Ноги у него все еще болят от усиленного роста, но, несмотря на это, он отлично проводит время. Он никогда не спит. Он самый активный и энергичный член клуба «Совесть» в Новой Англии и избран его президентом. День и ночь он в трудах – засучив рукава, тяжело дыша и с выражением безграничного восторга на лице долбит он несчастного Смита. Он изумительно выдрессировал свою жертву. Он может заставить несчастного Смита вообразить, будто невиннейший его поступок – самый гнусный грех, и тогда он принимается за работу и вытряхивает из него, раба, всю душу.

– Смит – самый чистый, самый благородный человек во всей нашей округе, и тем не менее он вечно грызет себя за то, что еще недостаточно добр! Только совесть может находить удовольствие в том, чтобы разбивать сердце такому человеку. Вы знакомы с Совестью моей тети Мэри?

– Я видел ее издали, но не знаком с нею. Она живет на открытом воздухе, потому что слишком велика, чтобы войти в какую—либо дверь.

– Охотно верю. Постойте минутку. Вы знаете Совесть того издателя, который однажды украл у меня несколько рассказов для одного из «своих» сборников, я подал на него в суд, а потом мне же пришлось платить судебные издержки, и все для того, чтобы от него избавиться?

– Конечно. Он пользуется широкой известностью. Месяц назад его вместе с другими древностями экспонировали на выставке, устроенной в пользу совести одного бывшего члена кабинета министров, – несчастный умирал с голоду в ссылке. Железнодорожные и входные билеты стоили очень дорого, но я ухитрился проехать бесплатно, притворившись совестью редактора, а на выставку прошел за полцены, выдав себя за совесть священника. Впрочем, совесть этого издателя, которая должна была быть гвоздем выставки, оказалась никуда не годным экспонатом. Она была выставлена, но что из того? Администрация установила микроскоп всего лишь с тридцатитысячекратным увеличением, и в результате никто ее так и не увидел. Разумеется, все были чрезвычайно разочарованы, но...

В эту минуту на лестнице послышались торопливые шаги. Я открыл дверь, и в комнату ворвалась тетя Мэри. За радостной встречей последовал веселый обмен репликами по поводу разных семейных дел. Наконец тетушка сказала:

– Теперь я хочу тебя немножко побранить. В тот день, когда мы расстались, ты обещал, что будешь не хуже меня заботиться о бедном семействе, которое живет за углом. И что же? Я случайно узнала, что ты не сдержал своего слова. Хорошо ли это?

По правде говоря, я ни разу не вспомнил об этом семействе! Я осознал свою вину и тяжело стало у меня на душе! Взглянув на свою Совесть, я убедился, что мое раскаяние подействовало даже на этого гнусного уродца. Он весь как—то сник и чуть не свалился со шкафа. Тетя Мэри продолжала:

– Вспомни, как ты пренебрегал моей подопечной из богадельни, мой милый жестокосердный обманщик!

Я пунцово покраснел, и язык мой прилип к гортани. По мере того как чувство вины давило меня все сильнее и сильнее, моя Совесть начала тяжело раскачиваться взад и вперед, а когда после короткой паузы тетя Мэри огорченно сказала:

– Поскольку ты ни разу не удосужился навестить эту несчастную одинокую девушку, быть может теперь тебя не особенно огорчит известие о том, что несколько месяцев назад она умерла, всеми забытая и покинутая, – уродец, называющий себя моей Совестью, не в

силах более переносить бремя моих страданий, свалился со своего высокого наседа головой вниз и с глухим металлическим стуком грохнулся об пол. Корчась от боли и дрожа от ужаса, лежал он там и, судорожно извиваясь всем телом, силился подняться на ноги. В лихорадочном волнении я подскочил к двери, запер ее на ключ, прислонился спиной к косяку и вперил настороженный взор в своего извивающегося повелителя. Мне до того не терпелось приняться за свое кровавое дело, что у меня просто руки чесались.

– Боже мой, что случилось? – воскликнула тетушка, в ужасе отшатываясь от меня и испуганно глядя в ту сторону, куда был направлен мой взгляд. Я дышал тяжело и отрывисто и уже не мог сдержать свое возбуждение. Тетушка закричала:

– Что с тобой? Ты страшен! Что случилось? Что ты там видишь? Куда ты устался? Что делается с твоими пальцами?

– Спокойно, женщина! – хриплым шепотом произнес я. – Отвернись и смотри в другую сторону. Не обращай на меня внимания. Ничего страшного не случилось. Со мной это часто бывает. Через минуту все пройдет. Это оттого, что я слишком много курю.

Мой искалеченный хозяин встал и с выражением дикого ужаса в глазах, прихрамывая, направился к двери. От волнения у меня перехватило дух. Тетушка, ломая руки, говорила:

– О, так я и знала, так и знала, что этим кончится! Умоляю тебя, брось эту роковую привычку, пока не поздно! Ты не можешь, ты не должен оставаться глухим к моим мольбам!

При этих словах извивающийся карлик внезапно начал выказывать некоторые признаки утомления.

– Обещай мне, что ты сбросишь с себя ненавистное табачное иго!

Карлик зашатался, как пьяный, и начал ловить руками воздух. О, какое упоительное зрелище!

– Прошу тебя, умоляю, заклинаю! Ты теряешь рассудок! У тебя появился безумный блеск в глазах! О, послушайся, послушайся меня – и ты будешь спасен! Смотри, я умоляю тебя на коленях!

В ту самую минуту, когда она опустила передо мною на колени, урод снова зашатался и тяжело осел на пол, помутившимся взглядом в последний раз моля меня о пощаде.

– О, обещай мне! Иначе ты погиб! Обещай – и спасешься! Обещай! Обещай и живи!

Моя побежденная Совесть глубоко вздохнула, закрыла глаза и тотчас погрузилась в беспробудный сон!

С восторженным воплем я промчался мимо тетушки и в мгновение ока схватил за горло своего смертельного врага. После стольких лет мучительного ожидания он наконец очутился в моих руках. Я разорвал его в клочья. Я порвал эти клочья на мелкие кусочки. Я бросил кровавые ошметки в горящий камин и, ликуя, вдохнул фимиам очистительной жертвы. Наконец—то моя Совесть погибла безвозвратно!

Теперь я свободен! Обернувшись к тетушке, которая стояла, окаменев от ужаса, я вскричал:

– Убирайся отсюда вместе со своими нищими, со своей благотворительностью, со своими реформами, со своими нудными поучениями. Перед тобой человек, который достиг своей цели в жизни, человек, душа которого умиротворена, а сердце глухо к страданиям, горю и сожалениям; человек, у которого НЕТ СОВЕСТИ! На радостях я готов пощадить тебя, хотя без малейших угрызений совести мог бы тебя задушить! Беги!

Тетя Мэри обратилась в бегство. С этого дня моя жизнь – сплошное блаженство. Никакая сила в мире не заставит меня снова обзавестись совестью. Я свел все старые счета и начал новую жизнь. За первые две недели я убил тридцать восемь человек – все они пали жертвой старых обид. Я сжег дом, который портил мне вид из окна. Я обманным путем выманил последнюю корову у вдовы с несколькими сиротами. Корова очень хорошая, хотя, сдается мне, и не совсем чистых кровей. Я совершил еще десятки всевозможных преступлений и извлек из своей деятельности максимум удовольствия, тогда как прежде от подобных поступков сердце мое, без сомнения, разбилось бы, а волосы поседели.

В заключение – это своего рода реклама – я хотел бы сообщить, что медицинским институтам, которым требуются отборные бродяги (оптом, в розницу или на вес), следовало бы, прежде чем закупать их в других местах, внимательно изучить находящийся в моем погребе склад оных, ибо все экземпляры подобраны и препарированы мною лично и могут быть приобретены по сходной цене, ввиду того, что я намерен распродать свои запасы, чтобы заблаговременно подготовиться к весеннему сезону.

РАССКАЗ КОММИВОЯЖЕРА

Бедный незнакомец с печальным взглядом! В его жалкой фигуре, усталых глазах, в хорошо сшитом, но изношенном костюме было нечто, едва не задевшее последнюю струнку сострадания, все еще одиноко трепетавшую в моем опустошенном сердце; но тут я заметил у него под мышкой портфель и сказал себе: "Осторожней, небеса вновь предадут раба своего в руки коммивояжера".

Однако эти люди всегда сумеют пробудить в тебе любопытство. И не успел я опомниться, как он уже рассказывал мне свою историю, а я сочувственно его слушал, развесив уши. Вот что он мне рассказал:

— Родители мои скончались, увы, когда я был еще невинным младенцем. Дядюшка Итуриэль сжалился надо мной, взял меня к себе и вырастил, как родного сына. Он был моим единственным родственником, зато это был добрый, богатый и щедрый человек. Рос я у него в достатке и ни в чем не знал отказа.

Когда пришло время, окончил я свое образование и отправился путешествовать по белу свету, взяв с собой двух слуг — лакея и камердинера. Четыре долгих года порхал я на легких крылах в прекрасных куцах садов далеких заморских стран, если позволено мне будет так выразиться, ибо я всегда был склонен к языку поэзии, но я верю, что вы меня поймете, так как вижу по глазам вашим, что и вы наделены от природы сим божественным даром. В тех далеких странствиях с восторгом впитывал я пищу, бесценную для души, для ума и сердца. Однако более иного приглянулся мне, от природы наделенному утонченным вкусом, обычай людей богатых собирать коллекции дорогих и изысканных диковинок, изящных *objets de vertu**, и в недобрый час решился я склонить дядюшку моего Итуриэля к этому преувлекательному занятию.

* Драгоценностей (франц.).

Я написал ему, что один коллекционер собрал множество раковин; другой изрядное число пенковых трубок; третий — достойнейшую и прекраснейшую коллекцию неразборчивых автографов; у кого—то есть бесценное собрание старинного фарфора; у кого—то еще — восхитительная коллекция почтовых марок и так далее. Письма мои не замедлили принести плоды: дядюшка начал подумывать, что бы такое собирать ему. Вы, должно быть, знаете, с какой быстротой захватывают человека подобные увлечения. Дядюшка мой вскоре оказался одержим этой пагубной страстью, хотя я в ту пору о том и не подозревал. Он стал охладевать к своей торговле свининой и вскоре совсем забросил ее, отдавая весь свой досуг неистовой погоне за диковинками. Денег у него куры не клевали, и он ничуть не скупился. Сперва он увлекся коровьими колокольчиками. Он собрал коллекцию, заполнившую пять больших зал, где были представлены все когда—либо существовавшие колокольчики — всех видов, форм и размеров — за исключением одного: этот один, единственный в своем роде, принадлежал другому коллекционеру. Дядюшка предлагал за этот колокольчик неслыханные деньги, но владелец не согласился его продать. Вы, наверное, догадываетесь, чем все это кончилось. Для истинного коллекционера неполная коллекция не стоит и ломаного гроша. Любвеобильное сердце его разбито, он распродает свои опостылевшие сокровища и ищет для себя области еще не изведанной.

Так получилось и с дядюшкой Итуриэлем. Теперь он занялся обломками кирпичей. Собрал огромную и необычайно интересную коллекцию, — но здесь его вновь постигла та же неудача; любвеобильное сердце его вновь разбилось, и он продал сокровище души своей удалившемуся от дел пивовару — владельцу недостающего обломка. После этого он принялся было за кремневые топоры и другие орудия первобытного человека, но вскоре обнаружил, что, фабрика, на которой они изготавливаются, продает их также и другим коллекционерам. Занялся он памятниками письменности ацтеков и чучелами китов, сколько труда и денег потратил — и опять неудача. Когда его коллекция совсем было уже достигла совершенства, из Гренландии прибыло новое чучело кита, а из Кундуранго (Центральная Америка) — еще одна надпись на языке ацтеков, — и все собранное им прежде померкло перед ними. Дядюшка отправился в погоню за этими жемчужинами. Ему посчастливилось купить кита, но надпись ускользнула из его рук к другому коллекционеру. Вы, должно быть, и сами знаете: настоящий Кундуранго — неоценимое сокровище, и всякий коллекционер, раз завладев им, скорее расстанется с собственной семьей, чем с такой драгоценностью. И дядюшка вновь распродал свою коллекцию и с болью смотрел, как навеки уплывает от него все счастье его жизни; и за одну ночь его черные, как вороново крыло, волосы побелели, как снег.

Теперь дядюшка призадумался. Он знал, что нового разочарования ему не пережить. И решил он собирать такие диковинки, каких не собирает ни один человек на свете. Поразмыслил как следует и решился еще раз попытать счастья. На сей раз он стал коллекционировать эхо.

— Что?! — переспросил я.

— Эхо, государь мой. Первым его приобретением было четырехкратное эхо в Джорджии; затем он купил шестикратное в Мэриленде, а вслед за этим тринадцатикратное в Мэне; в Канзасе он раздобыл девятикратное, а в Теннесси — двенадцатикратное, да и по дешевке вдобавок, — эхо, видите ли, было не совсем в порядке, так как часть скалы, отражавшей звук, обвалилась. Дядюшка надеялся за несколько тысяч долларов починить эхо и, увеличив высоту скалы при помощи каменной кладки, утроить его повторительную мощность. Но архитектор, который взялся за это дело, никогда раньше не строил эха и в конце концов только совсем его испортил. Пока он его не трогал, эхо огрызалось, как теща, а теперь оно годилось только разве для приюта глухонемых. Ну—с, потом дядюшка задешево купил целую кучу мелких двукратных эхо, разбросанных по различным штатам и территориям; он приобрел их оптом, со скидкой в двадцать процентов. Затем он купил в Орегоне не эхо, а настоящую митральезу, и отдал за нее, скажу я вам, целое состояние. Возможно, вам приходилось слышать, сударь, что в торговле эхом цены нарастают, как шкала каратов в торговле бриллиантами, и даже терминология та же самая. За эхо в один карат вы приплачиваете всего лишь десять долларов к стоимости земли, где оно обитает; за двукратное, или двухкратное, эхо вы приплачиваете уже тридцать долларов; за пятикратное — девятьсот пятьдесят долларов, а за эхо в десять каратов — тринадцать тысяч долларов. Орегонское эхо, которое дядюшка назвал Великим эхом Питта, являло собой сокровище в двадцать два карата и стоило ему двести шестнадцать тысяч долларов. Землю отдали в придачу, даром, поскольку она находилась в четырехстах милях от ближайшего жилья.

А я тем временем жил безмятежной и бездумной жизнью. Прелестная единственная дочь английского графа согласилась стать моей женой и любила меня безумно. В присутствии этого обожаемого существа я плавал в волнах блаженства. Ее семья благосклонно смотрела на меня, ибо всем было известно, что я единственный наследник своего дядюшки, а у него пять миллионов долларов. Никто из нас, однако, и не подозревал, что страсть дядюшки к коллекционированию давно перешла все границы обычной светской забавы.

Над моей беспечной головой сгустились тучи. Тут объявилось новое несравненное эхо, ныне известное всему миру под названием Великий Кохинур, или Гора Откликов. Это был

брильянт в шестьдесят пять каратов. В тихий безветренный день на одно—единственное слово эхо отвечало целых пятнадцать минут. Но представьте себе, это было еще не все: в игру вступил еще один коллекционер. И оба они наперегонки бросились в погоню за этим непревзойденным сокровищем. Владение состояло из двух небольших холмов, разделенных болотистой низиной, и находилось оно где—то на окраине штата Нью—Йорк. Оба коллекционера примчались туда одновременно, и ни один понятия не имел о другом. Эхо принадлежало не одному владельцу: некто Уильямсон Боливар Джарвис был хозяином восточного холма, а некто Харбинсон Дж. Блезо владел западным холмом; границей их владений служила низина между холмами. И вот, пока дядюшка Итуриэль покупал холм Джарвиса за три миллиона двести восемьдесят пять тысяч долларов, второй коллекционер купил холм Блезо за три с небольшим миллиона. Вы, наверное, уже догадались, что из этого вышло. Ведь лучшей в мире коллекции эхо суждено было навеки остаться неполной, раз в ней была лишь половинка того эха, которое по праву можно было назвать повелителем вселенной. Оба коллекционера остались недовольны такой половинчатой собственностью, но ни один не пожелал продать свою долю другому. Много тут было споров, ссор, пререканий, жгучих обид и горьких слов. Наконец второй владелец с ехидством, на какое способен по отношению к собрату только коллекционер, принялся разрушать свой холм.

Понимаете, раз уж ему не удалось заполучить это эхо целиком, пусть тогда оно не достанется никому. Он снесет свой холм, и тогда эхо моего дядюшки навеки умолкнет. Дядюшка пытался было урезонить его, но он сказал: половина этого эха моя, я желаю ее уничтожить, — а уж о своей половине позаботьтесь сами.

Ну—с, дядюшка добился против него решения суда. Тот обжаловал и подал в более высокую инстанцию. Так оба они подавали все выше и выше, пока не дошли до Верховного суда Соединенных Штатов. Там их спор вызвал немыслимую сумятицу. Двое судей полагали, что эхо — личное имущество, так как оно невидимо и неосяземо, однако может быть куплено и продано, а значит, и подлежит обложению налогом; двое других утверждали, что эхо — недвижимое имущество, ибо оно неотделимо от земли и не может быть перенесено с места на место; остальные судьи вообще не считали эхо имуществом.

В конце концов было решено, что эхо — все—таки имущество, что холм имущество, что оба коллекционера — отдельные и самостоятельные владельцы, каждый своего холма, но совладельцы эха; посему ответчик волен снести свой холм, поскольку он является единоличным владельцем этого холма, но обязан выдать возмещение в размере трех миллионов долларов за убытки, которые может понести мой дядюшка в своей половине эха. Это решение также воспрещало дядюшке пользоваться для отражения его половины эха холмом второго коллекционера без его на то согласия. Дядюшка должен пользоваться только своим собственным холмом; если же его часть эха не будет при этом действовать, то это, конечно, очень прискорбно, но тут суд бессилён чем—либо помочь. Суд также запретил ответчику для отражения его половины эха пользоваться холмом моего дядюшки без его на то согласия. И опять вы, должно быть, уже догадались, чем все это кончилось. Ни тот, ни другой, разумеется, согласия не дал, и сему удивительнейшему, великолепнейшему эху суждено было навеки умолкнуть. И с тех самых пор это выдающееся имущество заморожено и продать его невозможно.

За неделю до моей свадьбы, когда я все еще плавал в волнах блаженства и со всех сторон съезжались знатные гости, чтобы почтить своим присутствием нашу свадьбу, пришло известие о кончине моего дядюшки Итуриэля и копия его завещания, по которому я оставался его единственным наследником. Увы, его больше нет, мой дорогой благодетель покинул меня! Мысль эта не дает мне покоя и сегодня, хотя с тех пор прошли уже долгие годы. Я протянул завещание графу; слезы застилали мне глаза, и я не мог читать. Граф пробежал глазами завещание и сурово сказал:

— И это вы называете богатством, сэр? Да, возможно, в вашей чванной стране это так и называется. Вы, сэр, единственный наследник огромной коллекции эхо, если только можно назвать коллекцией нечто разбросанное по самым отдаленным уголкам американского

континента. Но это еще не все, сэр: вы по уши в долгах; во всей коллекции нет ни единого эха, которое не было бы заложено. Я не жестокий человек, сэр, но я должен соблюдать интересы моей дочери. Если бы у вас было хоть одно эхо, которое вы по совести могли бы назвать своим, хоть одно эхо, свободное от обязательств, так что вы могли бы отправиться туда с моей дочерью и упорным, тяжким трудом возвращать и улучшать это эхо и тем добывать себе средства к существованию, я бы не сказал "нет". Но я не могу отдать свое дитя нищему. Отойди от него, дочь моя. Прощайте, сэр, забирайте свои заложенные эхо и никогда больше не показывайтесь мне на глаза.

Моя благородная Селестина, вся в слезах, нежно обняла меня и поклялась, что охотно — нет, с радостью станет моей женой, даже если у меня нет ни одного, самого крохотного эха. Но этому не суждено было свершиться. Нас силой оторвали друг от друга; не прошло и года, как она зачахла и умерла, а я все влачу тяжкую жизнь, полную забот и лишений; печальный и одинокий, я ежедневно и ежечасно молю небо даровать мне освобождение, дабы соединиться с нею вновь в том сладостном мире, где больше не страшны жестокосердные и где находят мир и покой усталые.

А теперь, сэр, если вы будете так любезны взглянуть на эти карты и планы, то я смогу продать вам эхо гораздо дешевле, чем любой из моих конкурентов. Вот это, например; тридцать лет тому назад оно стоило моему дядюшке десять долларов. И это одно из лучших в Техасе. Я могу вам уступить его за...

— Разрешите прервать вас, друг мой, — сказал я, — мне сегодня просто нет покоя от коммивояжеров. Я уже купил совершенно не нужную мне швейную машинку; купил карту, на которой все перепутано; часы — они и не думают ходить; порошок от моли, — но оказалось, что моль предпочитает его всем другим лакомствам; я накупил кучу всевозможных бесполезных новинок, и теперь с меня хватит. Я не возьму ни одного из ваших эхо, даже если вы отдадите мне его даром. Я бы все равно от него сразу же отделался. Всегда терпеть не мог людей, которые пытались продать мне всякие эхо. Видите этот револьвер? Так вот, забирайте свою коллекцию и уходите подобру—поздорову. Постараемся обойтись без кровопролития.

Но он лишь улыбнулся милой грустной улыбкой и вынул из портфеля еще несколько планов и схем. И разумеется, исход был таков, каким он всегда бывает в таких случаях, — ибо, раз открыв дверь коммивояжеру, вы уже совершили роковой шаг, и вам остается лишь покориться неизбежному.

Прошел мучительнейший час, и мы наконец сговорились. Я купил два двукратных эха в хорошем состоянии, и он дал мне в придачу еще одно, которое, по его словам, невозможно было продать потому, что оно говорит только по—немецки. Он сказал: "Когда—то оно говорило на всех языках, но теперь у него повыпадали зубы и оно почему—то говорит только по—немецки".

РАССКАЗ КАПИТАНА

В свое время в ходу было немало рассказней, героем которых был старый капитан Джонс с Тихого океана, по прозвищу «Ураган». мир праху его! Двое или трое на нас, здесь присутствующих, с ним встречались. Я знал его особенно хорошо, потому что сделал с ним четыре рейса. Это был человек весьма замечательный. Он и родился—то на корабле; свое скудное образование он собрал по крохам у товарищей по плаванию, — начав морскую службу на баке, он в конце концов достиг должности капитана. Старый Джонс, проплавал больше пятидесяти лет из своих шестидесяти пяти; он избороздил все океаны, видел все страны, и кожу его прокалило солнце всех широт. Коли человек полвека пробыл в море, он, естественно, ничего не знает о людях, ничего не знает о белом свете, кроме того, что видел своими глазами; ничего не знает о развитии человеческой мысли, о развитии мировой науки,

кроме азбучных истин, да и те, пройдя сквозь призму невежественного ума, затуманились и исказились. Такой человек — просто седое и бородатое дитя. Вот и он, старый Джонс Ураган, был такой — невинный, милый старый младенец. Когда его дух пребывал в покое, он был мягок и кроток, как девушка, когда же в нем кипела ярость, он обращался в ураган, — но даже и это прозвище давало лишь весьма слабое представление о его нраве. Отчаянный храбрец и недюжинный силач, он был страшен в *бою*. Весь, с головы до пят, он был разукрашен рисунками и надписями, весь в красной и синей татуировке. Я ходил с ним в тот рейс, когда он покрыл татуировкой последнее свободное место — вокруг левой лодыжки. Три дня он ковылял по судну с голой распухшей лодыжкой, и сквозь расплывшееся облачко китайской туши проглядывала надпись, красная и растравленная: «Добродетель вознаграждается» (больше не хватило места).

Старый Джонс был человеком глубоко верующим, а сквернословил, как торговка рыбой. Он не считал это за грех: ведь приказ, не подкрепленный бранным словом, был бы просто не понят матросами. Он был проникательным исследователем и толкователем библии, — то есть он сам так полагал. Он верил всему, что написано в библии, но обосновывал эту веру каждый раз по—своему, собственными методами. Капитан принадлежал к «передовой» школе мыслителей и объяснял все чудеса законами природы, подобно тем, кто шесть дней сотворения мира превращает в шесть геологических эпох и так далее. Сам того не сознавая, он представлял собой довольно злую карикатуру на современных ученых теологов. Надо ли говорить, что такой человек, как мой капитан, до страсти любит поспорить и поделиться плодами своих изысканий.

В одном из рейсов у капитана на борту оказался священник; но ему было невдомек, что это священник, — список пассажиров об этом факте не осведомлял. Он очень привязался к преподобному мистеру Питерсу и подолгу с ним беседовал: рассказывал ему анекдоты, смешные случаи, забористые историйки из своей жизни и свою досужую болтовню пересыпал красочным богохульством, — это действовало на ум, утомленный унылой серостью бесцветной речи, как освежающий душ. Однажды капитан спросил:

Питерс, вы когда—нибудь читали Библию?

Мм... читал.

Верно, не так уж часто, судя по тому, как вы отвечаете. Возьмитесь—ка за нее с усердием и верой, тогда сами убедитесь, что дело того стоит. Только не опускайте рук, а держитесь до конца. Сперва вы шь чего не поймете, но мало—помалу все станет на свое место, и тогда уж вас от нее не оторвешь!

Да, мне приходилось это слышать.

И так оно и есть. С ней ни одна книга тягаться не может. Она их всех перекроет, Питере. Есть в ней трудные места, ничего не попишешь, но вы вчитайтесь да пораскиньте мозгами, — а уж когда вы раскусите эти орешки, все станет ясно как божий день.

И чудеса тоже, капитан?

Да, сэр. И чудеса. Любое чудо. Ну взять хотя бы эту историю с пророками Ваала; думается мне, вы перед ней спасовали, верно?

Как сказать, не знаю, но...

Признайтесь по совести, спасовали. Да оно и понятно. Опыта у вас не хватает, где вам распутать такой клубок! Разве вам это по силам! Хотите, я вам растолкую это дело и покажу, где собака зарыта?

Конечно, капитан, если это вас не затруднит.

И капитан приступил к рассказу:

С удовольствием вам все объясню. Сначала, понимаете ли, я все читал и читал, думал и прикидывал — какие они были, эти люди, в старые библейские времена, а уж когда я разобрался, все стало ясно и просто. И вот послушайте, как я по косточкам разложил всю эту историю с Исааком^б и пророками Ваала. В древние времена среди знаменитых людей

^б * Первой этой удалось (*Издатель* .)

попадались большие ловкачи. Исаак как раз и был таким докой. У него было недостатков сколько угодно, и не мое дело его выгораживать. Он здорово разыграл пророков Ваала, и, пожалуй, по—своему он был прав, если учесть превосходящие силы противника. Я за него не заступаюсь, я одно говорю — никакого чуда не было, и вот это я вам сейчас и докажу, так что вы сами убедитесь.

В то время пророкам приходилось все туже и туже — то есть пророкам Исааковой веры. В общине было четыреста пятьдесят пророков Ваала и всего— навсего один пресвитерианец; конечно, если только Исаак и в самом деле был пресвитерианцем, — по—моему, так был, но в библии про это не сказано. Само собой, пророки Ваала захватили всю клиентуру. Ну, Исааку, надо думать, пришлось круто, но он был настоящий мужчина, и наверняка он ходил по стране и пророчествовал, а сам притворялся, будто дела его хороши; но ничего ему не помогало — где было ему одному со всеми совладать! Скоро ему стало совсем невтерпеж — хоть вешайся; стал он ломать себе голову и та и ада к— раскидывать умом. И до чего же он додумался? Он стал намекать, что его противники — и такие, мол, и сякие: ничего определенного не говорил, а как—никак репутацию им подпортил, и все исподтишка. Пошли слухи, и наконец стало это известно самому царю. Вот царь спрашивает Исаака, к чему он вел такие разговоры. И говорит Исаак: «Да нет, я просто так, а вот интересно — могут они вымолить огонь небесный на жертвенник? Может, это и не так уж трудно, ваше величество а все—таки пусть—ка попробуют. Вот о чем речь». Тут царь очень встревожился, пошел к пророкам Ваала, а они отвечают не задумываясь: был бы только жертвенник, а им—то, мол, это пустяк. И даже намекают, что не мешало бы ему жертвенник застраховать.

Вот на следующее утро сошлись все дети Израиля, и их родители, и прочий народ. По одну сторону толкуются пророки Ваала, так что яблоку упасть негде, а по другую расхаживает взад и вперед Исаак, один—одинешенек, готовится дать бой. Ну, засеки время, Исаак притворился спокойным — ему, мол, все равно — и говорит команде своих противников, что первые подачи за ними. Те взялись дружно за дело, все четыреста пятьдесят стали молиться вокруг жертвенника, — стараются изо всех сил, а сами, конечно, надеются на своего бога. Молятся они час, молятся другой, третий, до самого полудня. А толку нет. Не знают они, с какого конца взяться. Понятно, стыдно им стало перед народом, и не зря. Как. по—вашему, повел бы тут себя человек порядочный? Молчал бы, верно? Ясное дело. А что сделал Исаак? Он стал смущать пророков Ваала, издеваться над ними на все лады и говорит: «Кричите громче, ваш бог, верно, спит или, может, вышел прогуляться. Громче надо кричать!» — или еще какие—то такие слова, не припомню в точности. Заметьте, я не выгораживаю Исаака, у него были свои недостатки.

Так вот, и после обеда пророки Ваала опять молились по—всякому, как только умели, но с неба ни искры не упало. Наконец, уже перед закатом, они вовсе выбились из сил, запросили пощады и ушли с поля.

Ну а что делает Исаак? Он подходит к жертвеннику и говорит кому—то из своих друзей: «Лейте четыре бочки воды на жертвенник!» Все очень удивились — ведь те—то молились над жертвенником сухим да еще выбеленным известкой. Воду вылили. И говорит он: «Опрокидывайте еще четыре бочки!» Потом говорит: «Давайте еще четыре!» Двенадцать бочек воды, понимаете,—ровным счетом двенадцать. Тут вода заливает жертвенник, льется через край во все стороны и заполняет ров, куда вошли бы две сорокаведерные бочки, — «саты», говорится в библии: я так думаю, что «сата» — это примерно сорокаведерная бочка. Тут, конечно, люди стали одеваться и расходиться, — видно, решили, что он сошел с ума. Не знали они Исаака. Исаак становится на колени и начинает молиться: и плетет он, и плетет — и про язычников в дальних странах, и про родственные церкви, и про государство и страну вообще, и про тех, кто заворачивает делами в правительстве, — ну, словом, выкладывает обычную программу, пока все не утомились и не раздумались каждый о своем; и вот

тогда—то, когда никто уже не обращал на него внимания, он вдруг вытаскивает спичку, чиркает его о подметку, и — пффф! — все вспыхивает ярким пламенем, настоящий пожар! Двенадцать бочек воды, говорите? Керосина, сэр, КЕРОСИНА! Вот что это было!

Керосина, капитан?

Да, сэр: в стране керосину было хоть залейся! Исаак про это знал. Читайте библию! Пусть вас трудные места не смущают. Не такие уж они трудные, когда как следует пошевелишь мозгами и разберешься, что к чему. Все, что написано в библии, — чистая правда. Надо только с молитвой за нее браться да соображать, как они там работали.

РАССКАЗЫ О ВЕЛИКОДУШНЫХ ПОСТУПКАХ

Всю мою жизнь, начиная с детских лет, я имел обыкновение читать известного рода истории, написанные в своеобразной манере Премудрого Моралиста, ради их назидательности и удовольствия, которое мне доставляло это чтение. Истории эти всегда лежали у меня под рукой, и в те минуты, когда я думал о человечестве дурно, я обращался к ним, — и они разгоняли это чувство; в те минуты, когда я чувствовал себя бессердечным эгоистом, негодяем и подлецом, я обращался к ним, — и они говорили мне, как надо поступить, чтобы снова уважать себя. Много раз я жалею, что эти прелестные истории останавливались на счастливой развязке, и мечтал узнать продолжение увлекательной повести о благодетелях и облагодетельствованных. Это чувство росло в моей душе с такой настойчивостью и силой, что я, наконец, решился узнать сам, чем кончились эти истории. Я принялся за дело и после многих неусыпных трудов и кропотливых изысканий довел его до конца. Результаты я изложу перед вами, сопровождая каждую историю по очереди ее истинным продолжением, которое найдено и проверено мною...

БЛАГОДАРНЫЙ ПУДЕЛЬ

Сострадательный врач (который любил читать такие книжки), повстречав однажды бездомного пуделя со сломанной лапой, принес беднягу к себе домой, вправил и перевязал ему поврежденную лапу и, отпустив его на свободу, вскоре забыл о нем. Но каково же было его удивление, когда, отворив свою дверь в одно прекрасное утро, он нашел перед ней благодарного пуделя, терпеливо ожидавшего врача, в сопровождении другой бродячей собаки, у которой тоже была сломана лапа. Добрый врач немедленно оказал помощь несчастному животному, благоговейно преклоняясь перед неистощимой благодатью и милосердием господина, который не пренебрег таким смиренным орудием, как бездомный пудель, для того чтобы укрепить... и т. д. и т. п.

Продолжение

На следующее утро сострадательный врач нашел у своих дверей двух собак, сияющих благодарностью, а с ними еще двух псов—калек. Калеки тут же были излечены, и все четыре отправились по своим делам, оставив сострадательного врача более чем когда—либо преисполненным благочестивого изумления. День миновал, наступило утро. Перед дверями сострадательного врача сидели теперь четыре побывавших в починке собаки, а с ними еще четыре, нуждавшиеся в починке. Прошел и этот день, наступило другое утро; теперь уже шестнадцать собак, из них восемь только что покалеченных, занимали тротуар, а прохожие обходили это место стороной. К полудню все сломанные лапы были перевязаны, но к благочестивому изумлению в сердце доброго врача невольно начали примешиваться кощунственные чувства. Еще раз вошло солнце и осветило тридцать две собаки, из них шестнадцать с переломленными лапами, занимавших весь тротуар и половину улицы; остальное место занимали зрители человеческой породы. Вой раненых собак, благодарный визг излеченных и комментарии зрителей производили большое, сильно действующее впечатление, но движение по этой улице прекратилось. Добрый врач послал заявление о

выходе из числа прихожан своей церкви, чтобы ничто не мешало ему выражаться с той свободой, какая требовалась обстоятельствами. После этого он нанял двух хирургов себе в помощники и еще до темноты закончил свою благотворительную деятельность.

Но всему на свете есть предел. Когда еще раз блеснуло утро и добрый врач, выглянув на улицу, увидел несметное, необозримое множество воющих и просящих помощи собак, он сказал:

— Нечего делать, надо признаться, я был одурачен книжками; они рассказывают только лучшую половину истории и на этом ставят точку. Дайте—ка сюда ружье, дело зашло чересчур далеко.

Выйдя из дома с ружьем, он нечаянно наступил на хвост первому облагодетельствованному пуделю, и тот немедленно укусил его за ногу. Надо сказать, что великое и доброе дело, которому посвятил себя этот пудель, пробудило в нем такой сильный и все растущий энтузиазм, что его слабая голова не выдержала и он взбесился. Через месяц, когда сострадательный врач в страшных мучениях погибал от водобоязни, он призвал к себе рыдающих друзей и сказал:

— Берегитесь книг. Они рассказывают только половину истории. Когда несчастный просит у вас помощи и вы сомневаетесь, к какому результату приведет ваша благотворительность, дайте волю вашим сомнениям и убейте просителя.

С этими словами он повернулся лицом к стене и отдал душу богу.

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Бедный и молодой начинающий литератор тщетно пытался пристроить куда—нибудь свои рукописи. Наконец, очутившись лицом к лицу со всеми ужасами голодной смерти, он рассказал свою печальную историю одному знаменитому писателю, прося у него совета и помощи. Этот великодушный человек немедленно отложил все свои дела и принялся за чтение одной из непринятых рукописей. Закончив это доброе дело, он сердечно пожал руку молодому человеку и сказал:

"Ваша рукопись не лишена интереса; зайдите ко мне в понедельник". В назначенное время знаменитый писатель с любезной улыбкой, но не говоря ни слова, развернул перед начинающим литератором еще влажный, только что вышедший из печати, номер журнала. Каково же было изумление бедного молодого человека, когда он увидел, что в журнале напечатано его собственное произведение.

— Как смогу я отблагодарить вас за этот благородный поступок! — произнес он, падая на колени и разражаясь слезами.

Знаменитый писатель был известный Снодграс; бедный начинающий литератор, таким образом спасенный от безвестности и голодной смерти,— не менее известный впоследствии Снэгсби. Пусть этот случай убедит нас благосклонно выслушивать всех начинающих, которые нуждаются в помощи.

Продолжение

На следующей неделе Снэгсби пришел с пятью отвергнутыми рукописями. Знаменитый писатель слепка удивился, так как в книгах он читал, что молодому гению помощь требуется обычно только один раз. Однако он перепахал и эти страницы, срывая по пути лишние цветы красноречия и расчищая заросли прилагательных, после чего ему удалось пристроить еще две рукописи.

Прошло около недели, и благодарный Снэгсби явился с новым грузом. Удружив на первый раз молодому страдальцу, знаменитый писатель чувствовал глубочайшее внутреннее удовлетворение, сравнивая себя с великодушными героями в книжках; однако он начинал подозревать, что наткнулся на что—то новенькое по части великодушных поступков. Его энтузиазм несколько поостыл. Все же он не в силах был оттолкнуть молодого автора, пробивающего себе дорогу, тем более что тот льнул к нему с такой наивной простотой и доверчивостью.

И вот дело кончилось тем, что молодой начинающий литератор скоро оседлал

знаменитого писателя. Все его слабые попытки сбросить этот груз не приводили ни к чему. Он должен был ежедневно давать советы своему юному другу, ежедневно поощрять его; он должен был пристраивать его рукописи в журналы, переписывая каждый раз все от слова до слова, чтобы предать вещи приличный вид. Когда наконец дебютант стал на ноги, он завоевал себе молниеносную славу, описав личную жизнь знаменитого писателя так саркастически и с такими язвительными подробностями, что книга разошлась во множестве экземпляров. И сердце знаменитого писателя не выдержало унижения. Испуская последний вздох, он сказал:

— Увы, книги обманули меня; они рассказывают не все. Берегитесь пробивающих себе дорогу литераторов, друзья мои. Кому бог уготовал голодную смерть, того да не спасет самонадеянно человек на свою же собственную погибель...

БЛАГОДАРНЫЙ СУПРУГ

Одна дама проезжала по главной улице большого города со своим маленьким сыном, как вдруг лошади испугались и бешено понесли, причем кучер был сброшен с козел, а седоки в коляске окаменели от страха. Но храбрый юноша, правивший бакалейным фургоном, бросился наперерез обезумевшим животным и остановил их на всем скаку, рискуя собственной жизнью^{7*}. Благодарная дама записала его адрес и, прибыв домой, рассказала об этом героическом поступке своему мужу (который любил читать книжки), и он, проливая слезы, выслушал трогательный рассказ, а потом, возблагодарив совместно с дорогами его сердцу того, кто не допустит даже воробья упасть на землю незамеченным, послал за храбрым юношей и, вложив ему в руку чек на пятьсот долларов, сказал:

— Возьмите это в награду за ваш благородный поступок, Уильям Фергюссон, и если вам понадобится друг, вспомните, что у Томпсона Макспаддена бьется в груди благодарное сердце.

Пусть это научит нас, что благое дело всегда приносит пользу тому, кто его творят, какое бы скромное положение он ни занимал.

Продолжение

Уильям Фергюссон зашел через неделю и попросил мистера Макспаддена воспользоваться своим влиянием и достать ему место получше, так как он чувствует себя способным на большее, чем править фургоном. Мистер Макспадден добыл ему место письмоводителя с хорошим жалованьем.

Вскоре заболела мать Уильяма Фергюссона, и Уильям... Ну, короче говоря, мистер Макспадден согласился взять ее к себе в дом. Прошло немного времени, и она стосковалась по своим младшим детям, так что Мэри и Джулию тоже взяли в дом, а также и Джимми, их маленького брата. У Джимми был перочинный ножичек, и в один прекрасный день он забрался в гостиную и менее чем в три четверти часа превратил мебель, стоившую десять тысяч долларов, в нечто, не имеющее определенной цены. Днем или двумя днями позже он упал с лестницы и сломал себе шею, и на похороны явился человек семнадцать родственников. Так состоялось знакомство, и после этого кухня Макспадденов уже никогда не пустовала, а сами Макспаддены были заняты по горло, подыскивая им самые разнообразные занятия и опять подыскивая новые, когда эти им приедались. Старуха Фергюссон здорово пила и здорово ругалась, но благодарные Макспаддены знали, что должны терпеть и наставлять старуху, так как ее сын много для них сделал, и отдавали этому занятию все свои душевные силы. Уильям навещался частенько, получал деньги раз от разу все меньше, и выпрашивал новые, более высокие и доходные должности, которые благодарный Макспадден старался ему выхлопотать как можно скорее. Макспадден согласился также, после некоторых колебаний, устроить Уильяма в колледж, но когда подошли первые вакации и наш герой попросил, чтобы его отправили в Европу для

⁷ * Вероятно, опечатка. М. Т.

укрепления здоровья, затравленный Макспадден взбунтовался и восстал против своего тирана. Он отказал напрямик и наотрез. Мать Уильяма Фергюссона так изумилась, что выронила из рук бутылку с джином, и язык ее отказался сквернословить. Несколько оправившись, она произнесла задыхаясь:

— Так вот она какая, ваша благодарность? Где были бы ваша жена и ваш мальчик, если б не мой сын? Уильям сказал:

— Так вот она какая ваша благодарность? Спас я вашу жену или нет? Скажите сами!

Семеро родственников толпой ввалились из кухни, и каждый повторил:

— И это ваша благодарность?

Сестры Уильяма укоризненно глядели, говоря:

— И это его благ...

Но тут их прервала мать, которая воскликнула, раздражаясь слезами:

— Подумать только, что мой невинный голубок Джимми погиб, оказывая услуги такой гадине!

Тогда мятежный Макспадден воспрянул духом и ответил, вспыхнув:

— Вон из моего дома, бродяги! Меня одурачили книги, но больше они меня не проведут — довольно и одного раза! — И, обернувшись к Уильяму, он воскликнул: — Да, вы спасли мою жену, но следующий, кто это сделает, умрет на месте!

Не будучи проповедником, я помещаю цитату в конце, а не в начале проповеди. Вот эта цитата из воспоминаний мистера Ноя Брукса о президенте Линкольне, напечатанных в "Скрибнерс монсли".

"Дж. Г. Гаккет в роли Фальстафа очень понравился м—ру Линкольну. Пожелав, как это было ему свойственно, выразить чувство признательности, Линкольн написал актеру очень сердечную записку, в которой сообщал о том удовольствии, с каким он смотрел спектакль. Гаккет послал в ответ какую—то книгу, возможно написанную им самим. Кроме того, он написал президенту несколько писем. Однажды вечером, довольно поздно, когда этот эпизод уже изгладился из моей памяти, я отправился по приглашению в Белый Дом. Проходя в кабинет президента я, к своему изумлению, заметил м—ра Гаккета, который сидел в приемной, очевидно ожидая аудиенции. Президент спросил меня, есть ли там кто—нибудь. Услышав ответ, он сказал довольно грустным тоном:

— О нет, я не могу его принять, не могу; я надеялся, что он уже ушел. Потом он прибавил: — Это показывает, как трудно иметь добрых друзей и знакомых в моем положении. Вы знаете, мне очень нравился Гаккет как актер, и я написал ему об этом. В ответ он прислал мне книжку, и я думал, что этим все и кончится. Он как будто мастер своего дела и занимает в театре прочное положение. И вот, только потому, что между нами была дружеская переписка, какая возможна между любыми двумя людьми, он чего—то хочет просить у меня. Как вы думаете, что ему нужно?

Я не мог угадать, и м—р Линкольн сказал:

— Он хочет быть консулом в Лондоне. О боже мой!.."

Скажу в заключение, что случай с Уильямом Фергюссоном действительно имел место и мне достоверно известен, хотя я изменил некоторые подробности, чтобы Уильям не был на меня в претензии.

Каждому читателю, я думаю, в какой—нибудь приятный и чувствительный час своей жизни случалось сыграть роль героя рассказов о великодушных поступках. Я хотел бы знать, многие ли из них согласились бы рассказать об этом эпизоде, и любят ли они, когда им напоминают о том, что из него воспоследовало.

ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПИТКЕРНЕ

Разрешите, читатель, освежить события в вашей памяти. Почти сто лет тому назад

экипаж британского корабля "Баунти" взбунтовался, спустил капитана и офицеров в открытое море, захватил корабль и взял курс на юг. Мятежники добыли себе жен среди туземцев Таити, потом направились к уединенной скале посреди Тихого океана, называемой островом Питкерн, посадили корабль на мель, сняли с него все, что могло быть полезным новой колонии, и устроились на берегу.

Питкерн настолько удален от торговых путей, что прошло много лет, прежде чем у его берегов появился другой корабль. Этот остров всегда считался необитаемым, и поэтому, когда корабль в 1808 году бросил здесь наконец якорь, капитан его был немало удивлен, увидев, что остров населен. Хотя мятежники дрались между собою и мало—помалу перебили друг друга, так что от первоначальной команды осталось всего два или три человека, эти бои разыгрались уже после того, как родилось немало детей; и в 1808 году население острова составляли двадцать семь душ. Главный мятежник, Джон Адаме, был еще жив, и ему суждено было прожить еще много лет в качестве правителя и патриарха своей паствы. Из мятежника и убийцы он превратился в христианина и учителя, и теперь его народ из двадцати семи душ был самой набожной и непорочной паствой во всем христианском мире. Адаме давно поднял британский флаг и объявил свой остров владением британской короны.

В настоящее время население насчитывает девяносто человек: шестнадцать мужчин, девятнадцать женщин, двадцать пять мальчиков и тридцать девочек — все потомки мятежников, все носят фамилии этих мятежников, и все говорят по—английски, и только по—английски. Обрывистые берега острова высоко поднимаются над морем. Длина острова около трех четвертей мили, ширина местами достигает полумили. Пахотной землей на острове владеют несколько семейств — по разделу, учиненному много лет назад. На острове есть кой—какая живность козы, свиньи, куры и кошки; но нет ни собак, ни каких бы то ни было крупных животных. Имеется церковь, которую используют также в качестве здания правительственных учреждений, школы и публичной библиотеки. В двух первых поколениях у правителя был такой титул: "Главный судья и губернатор, подчиненный ее величеству королеве Великобритании". На его обязанности лежало издавать законы, равно как и приводить их в исполнение. Должность его была выборной; правом голоса пользовался каждый достигший семнадцати лет, без различия пола.

Единственным занятием жителей было сельское хозяйство и рыболовство; единственным развлечением — богослужения. На острове никогда не было ни лавки, ни денег. Одежда и обычаи населения были примитивны, а законы по—детски просты. Они жили в глубоком покое, вдали от мира с его притязаниями и волнениями, не зная, да и не желая знать, что происходит в могущественных империях, лежащих за беспредельной ширью океана. Раз в три—четыре года появлялся какой—нибудь корабль, сообщал им устарелые сведения о кровавых сражениях, опустошительных эпидемиях, о низвергнутых тронах и погибших династиях, потом давал им мыло и фланель в обмен на бататы и плоды хлебного дерева и уходил прочь, оставляя их предаваться мирным грезам и благочестивому беспутству.

В прошлом году, 8 сентября, адмирал де Горси, командующий британским флотом в Тихом океане, посетил остров Питкерн, о чем в своем официальном докладе адмиралтейству сообщил следующее:

"У них имеются бобы, морковь, репа, капуста и немного кукурузы; ананасы, фиговые пальмы; апельсины, лимоны и кокосовые орехи. Одежду они получают с проходящих мимо кораблей, выменивая ее на съестные припасы. На острове нет родников, но так как обычно раз в месяц бывает дождь, воды у них достаточно, хотя в прежние годы они порою страдали от засухи. Спиртных напитков они не потребляют, разве что для медицинских целей, и пьяниц среди них нет...

В чем нуждаются островитяне, лучше всего видно из списка предметов, которые мы дали им в обмен на съестные припасы, а именно: фланель, саржа, ситец, башмаки, гребни, табак и мыло. Они испытывают большую нужду в учебных картах и грифельных досках и с

удовольствием берут всякого рода инструменты. Я приказал выдать им из государственных запасов британский флаг для поднятия при проходе судов и пилу, в чем они очень нуждались. Это, я думаю, встретит одобрение ваших светлостей. Если бы щедрый народ Англии знал о нуждах этой в высшей степени достойной маленькой колонии, она бы недолго оставалась без припасов...

Богослужение начинается каждое воскресенье в десять тридцать утра и в три часа пополудни, в доме, который построил Джон Адаме и который служил для этой цели до самой его смерти, в 1829 году. Оно ведется в строгом согласии с литургией англиканской церкви м—ром Саймоном Янгом — их выборным пастором, который пользуется большим уважением. Каждую среду происходит чтение библии, на котором присутствуют все, кто может. В первую пятницу каждого месяца устраивается общий молебен. Каждое утро и каждый вечер во всех домах читают молитвы, и никто не принимается за еду и не выходит из—за стола, не испросив благословения божия. Эта их приверженность религии вызывает глубокое уважение. Народ, величайшее удовольствие и преимущество которого заключаются в общении с богом, в пении хвалебных гимнов и который, кроме того, весел, прилежен и, вероятно, более свободен от пороков, нежели любая другая община, — не нуждается в священниках".

А теперь я приведу одну фразу из адмиральского доклада, которая, без сомнения, случайно сорвалась с его пера и о которой он тут же позабыл. Он и не подозревал, насколько она была трагически прозорлива. Вот эта фраза:

"На острове поселился чужеземец, американец, — сомнительное приобретение".

Это и в самом деле было сомнительное приобретение. Капитан Ормсби с американского корабля "Хорнет" высадился на острове Питкерн приблизительно через четыре месяца после визита адмирала, и из фактов, которые он там собрал, мы теперь все знаем об этом американце. Приведем же эти факты в их исторической последовательности. Американца звали Батеруорт Стейвли. Как только он перезнакомился со всем населением, — а это, разумеется, заняло всего лишь несколько дней, — он стал втираться к ним в доверие всеми способами, какие только знал. Он стал необычайно популярен, и на него взирали с почтением, ибо он начал с того, что забросил мирские дела и все свои силы посвятил религии. С утра до ночи он читал библию, молился и распевал псалмы либо просил благословения. Никто не мог так умело, так долго и хорошо молиться, как он.

Решив наконец, что время пришло, он начал исподтишка сеять семена недовольства среди населения. Он с самого начала замыслил свергнуть правительство, но, разумеется, до поры до времени скрывал это. К разным людям он подходил по—разному. В одних он возбуждал недовольство, обращая внимание на краткость воскресных богослужений: он доказывал, что в воскресенье должно быть три трехчасовых богослужения вместо двух. Многие в душе разделяли это мнение и раньше. Теперь они тайно объединились в партию для борьбы за это. Некоторых женщин он натолкнул на мысль, что им не дают вволю выступать на молитвенных собраниях, — так образовалась другая партия. Ни одного средства он не оставлял без внимания; он снизошел даже до детей и сеял среди них недовольство, ибо, как он за них решил, — в воскресной школе им не уделяли достаточного внимания. Так родилась третья партия.

И вот, как глава этих партий, он оказался самым могущественным человеком общины. Тогда он сделал следующий шаг — ни более, ни менее, как предъявил обвинение главному судье Джемсу Расселу Никою. Человек с характером, даровитый и очень богатый, он был владельцем дома с гостиною, трех с половиной акров земли, засеянной бататами, и вельбота — единственного судна на Питкерне. К великому несчастью, предлог для обвинения подоспел вовремя. Одним из самых древних и заветных законов острова был закон против нарушения границ частных владений. Закон этот очень уважали, он считался оплотом народных вольностей. Лет за тридцать до того судьи рассматривали серьезное дело по этому закону, а именно: курица, принадлежащая Елизавете Янг (ей в ту пору было пятьдесят восемь лет, и она была дочерью Джона Милза, одного из мятежников с "Баунти"), зашла на

землю Четверга—Октября Кристиэна (двадцати девяти лет от роду, внука Флетчера Кристиэна, одного из мятежников). Кристиэн убил курицу. По закону, Кристиэн мог оставить курицу себе или вернуть ее останки владелице и получить "протори и убытки" продуктами, в размерах, соответствующих опустошению и ущербу, причиненным браконьером. Протоколы суда указывают, что "означенный Кристиэн выдал вышеуказанные останки означенной Елизавете Янг и в возмещение понесенного ущерба потребовал один бушель бататов". Но Елизавета Янг сочла это требование непомерным; стороны не могли прийти к соглашению, и Кристиэн подал в суд. В первой инстанции он проиграл дело. По крайней мере ему присудили только восьмую часть бушеля, что он счел недостаточным и оскорбительным для себя. Он подал апелляцию. Дело тянулось несколько лет, переходя из инстанции в инстанцию, и всякий раз кончалось утверждением первоначального решения; наконец дело поступило в Верховный суд и там застряло на двадцать лет.

Но минувшим летом даже Верховный суд принял наконец решение. Первоначальный вердикт был еще раз утвержден. Тогда Кристиэн объявил, что он удовлетворен; но тут подвернулся Стейвли, который шепнул ему и его адвокату, чтобы он потребовал, "просто для проформы", предъявить ему подлинный акт закона, дабы убедиться, что закон еще существует. Мысль показалась странной, но остроумной. Требование было предъявлено. В дом судьи отправили гонца, но он вернулся с сообщением, что акт исчез из государственных архивов.

Тогда суд признал свое последнее решение утратившим силу, так как оно было вынесено по закону, которого на самом деле не существует.

Народ заволновался. По всему острову разнесся слух, что оплот общественных вольностей исчез, может быть его даже предательски уничтожили. Через полчаса почти все жители собрались в помещении суда, то есть в церкви. По предложению Стейвли, главному судье было предъявлено обвинение. Обвиняемый встретил свое несчастье с достоинством, подобающим его высокому сану. Он не защищался и даже не спорил; он просто сказал, что не трогал злополучного акта, что хранил государственный архив в том самом свечном ящике, в котором тот хранился с самого начала, и что он неповинен в исчезновении или уничтожении пропавшего документа.

Но ничто не могло спасти его; его признали виновным в небрежном отношении к своим обязанностям, отрешили от должности и все его имущество конфисковали.

Самой нелепой частью этого позорного дела было следующее: враги судьи заявили, будто он уничтожил закон потому, что Кристиэн приходился ему родственником. Между тем Стейвли был единственный человек на всем острове, который не был его родственником. Пусть читатель припомнит, что жители острова — потомки всего десятка людей; что первые дети соединились браками между собою; после них в брак вступали их внуки, правнуки и праправнуки; так что к тому времени, о котором идет речь, все они состояли в кровном родстве между собою. Более того, эти родственные отношения самым поразительным образом усложнились и перепутались. Какой—нибудь посторонний говорит, например, островитянину:

— Вы называете эту молодую женщину своей кузиной, а недавно вы называли ее своей теткой.

— Ну да, она моя тетка и в то же время моя кузина. А также моя сводная сестра, моя племянница, моя троюродная сестра, моя тридцатитрехьюродная сестра, моя сестра сорок второй степени, моя бабушка, моя внучатная тетка, моя вдовья свояченица, а на будущей неделе она станет моей женой.

Таким образом, обвинение — главного судьи в кумовстве было слабо обосновано. Но, слабо обосновано или сильно, оно все равно пригодились Стейвли. Стейвли немедленно был избран на освободившийся пост и деятельно принялся за работу, выжимая реформы из каждой своей поры. В очень короткое время богослужения начали свирепствовать повсеместно и непрестанно. По приказу, вторая молитва утренней воскресной службы, обычно длившаяся от тридцати пяти до сорока минут, растянулась до полутора часов, и в нее

включены были моления о благополучии не только всего рода человеческого, но и возможного населения различных планет. Это понравилось всем, каждый говорил: "Да, это уже на что—то похоже!" По приказу же, обычные трехчасовые проповеди были увеличены вдвое. Весь народ скопом явился свидетельствовать свою признательность новому судье. Старый закон, запрещавший варить пищу по воскресеньям, был дополнен запрещением есть. По приказу, воскресная школа начала действовать и в будни. Радости жителей не было конца. В какой—нибудь месяц новый судья сделался народным кумиром!

Приспело время сделать следующий шаг. Стейвли начал, сперва потихоньку, настраивать народ против Англии. Он поодиночке отводил в сторону именитых граждан и беседовал с ними. Мало—помалу он осмелел и заговорил открыто. Он говорил, что народ обязан— перед самим собой, перед своей честью, перед своими великими традициями — восстать как один человек и сбросить "это досадное английское иго".

Но простодушные островитяне отвечали:

Мы но замечаем, чтобы оно досаждало. Как можно досаждать? Англия раз в три—четыре года присылает корабль с мылом, одеждой и вещами, в которых мы сильно нуждаемся и которые принимаем с благодарностью; но она нас не беспокоит. Она предоставляет им идти своим путем.

— Они предоставляет вам идти своим путем! Так чувствовали и говорили рабы во все века. Эти речи показывают, как низко вы пали, до какого скотского состояния вы дошли под этой тяжкой тиранией! Как?! Неужели мужество и гордость вас покинули? Разве свобода — ничто? Неужели вы хотите удовольствоваться тем, что составляете придаток к чужой и ненавистной власти, в то время как вы можете восстать и занять свое место в благородной семье народов как великий, свободный, просвещенный, независимый, не подчиненный ничьему скипетру народ, сам располагающий своими судьбами и имеющий голос и власть в определении судеб других наций мира?

Такого рода речи мало—помалу стали оказывать свое действие. Граждане начали ощущать на себе английское иго; они не могли бы сказать, как или где оно им мешает, но были твердо уверены, что чувствуют его. Они принялись ворчать, сгибаясь под тяжестью цепей, и требовать освобождения. Вскоре они возненавидели британский флаг — этот знак и символ упадка их нации; они уже не глядели на него, проходя мимо церкви, но отводили глаза в сторону и скрежетали зубами; и в одно прекрасное утро он оказался втоптаным в грязь у подножия древка. Они так и оставили его валяться там, и никто не протянул руки, чтобы его поднять. То, что должно было случиться рано или поздно, наконец случилось. Несколько именитых граждан отправились ночью к судье и сказали:

— Мы больше не можем мириться с ненавистной тиранией! Как нам ее сбросить?

— Совершить государственный переворот.

— Что?

— Государственный переворот. Это делается так:

все будет подготовлено, и в назначенный час я, как официальный глава государства, публично и торжественно провозглашу его независимым и освобожу от обязательств перед всеми и всяческими державами.

— Похоже, что это легко и просто. Можно это сделать сию же минуту. А что потом?

— Надо захватить все укрепления и все общественное имущество всякого рода, объявить военное положение, привести армию и флот в боевую готовность и провозгласить империю!

Эта блестящая программа ослепила простаков. Они сказали:

— Это великолепно, это замечательно, но не воспротивится ли Англия?

— Пусть ее! Эта скала — наш Гибралтар!

— Верно. Но как быть с империей? Нужна ли нам империя и император?

— Необходимо, друзья мои, объединиться. Посмотрите на Германию, посмотрите на Италию. Они объединились! Объединение — в этом вся штука! Оно красит жизнь! Оно способствует прогрессу! У нас должна быть постоянная армия и флот. Затем, само собой,

придется ввести налоги. Все это вместе взятое и есть величие. Величие, объединение — что еще вам нужно! Только империя может дать все эти блага!

Итак, 8 декабря остров Питкерн был провозглашен свободным и независимым государством, и в тот же день среди великого ликования состоялось торжественное коронование Батеруорта I, императора острова Питкерн. Все население за исключением четырнадцати человек, главным образом маленьких детей, прошло церемониальным маршем мимо трона гуськом, со знаменем и музыкой, причем процессия растянулась на девяносто футов. Некоторые утверждают, что мимо любой данной точки она проходила почти три четверти минуты. Ничего подобного в истории острова еще не было! Народный энтузиазм не знал границ.

И вот сразу начались имперские реформы. Были учреждены дворянские титулы. Назначен морской министр, и вельбот вступил в строй. Назначен военный министр, тотчас же получивший приказ сформировать постоянную армию. Назначили первого лорда—казначея,

приказав ему выработать основы налогообложения, а также начать переговоры с иностранными державами о наступательных, оборонительных и торговых договорах. Назначено было несколько генералов и адмиралов, а также несколько камергеров, шталмейстеров и лордов—спальников.

На этом все людские резервы были исчерпаны. Великий герцог Галилейский, военный министр, жаловался, что всем шестнадцати взрослым мужчинам империи даны крупные посты и поэтому они не соглашаются служить рядовыми, в силу чего организация постоянной армии стоит на мертвой точке. Маркиз Араратский, морской министр, также принес жалобу. Он сказал, что сам готов править вельботом, — но должна же на нем быть хоть какая—нибудь команда.

Император сделал все, что только было возможно в подобных обстоятельствах: он отобрал у матерей всех мальчиков старше десяти лет и заставил их вступить в армию рядовыми. Так образовался корпус из семнадцати рядовых под командованием одного генерал—лейтенанта и двух генерал—майоров. Это понравилось военному министру, но вызвало озлобление всех матерей в стране. Они заявили, что их сокровищам теперь суждена смерть на полях сражений и император за это ответит. Самые безутешные и непримиримые женщины постоянно подстерегали его и швыряли в него из засады бататами, не обращая внимания на телохранителей.

"По причине крайнего недостатка людских резервов оказалось необходимым посадить герцога Вифанийского, генерал—почтмейстера, на весла во флоте, и, таким образом, ему пришлось сидеть позади дворянина, низшего по титулу, а именно — виконта Ханаанского, лорда—главного судьи. Это превратило герцога Вифанийского в открытого недоброжелателя и в тайного заговорщика, что император предвидел, но предотвратить не мог.

Дальше дела пошли все хуже и хуже. В один прекрасный день император сделал Нэнси Питере пэрессой, а на следующий день женился на ней, несмотря на то, что, заботясь о благе государства, кабинет настойчиво рекомендовал ему жениться на Эммелине, старшей дочери архиепископа Вифлеемского. Это вызвало недовольство в очень могущественных сферах — в церкви. Новая императрица обеспечила себе поддержку и дружбу двадцати четырех из тридцати шести взрослых женщин, включив их в свой двор в качестве фрейлин, но это превратило остальную дюжину в ее злейших врагов. Семейства фрейлин вскоре начали бунтовать, потому что некому было заниматься домашним хозяйством. Двенадцать обиженных отказались пойти в императорский дворец служанками, поэтому императрице пришлось потребовать от графини Иерихонской и других придворных дам, чтобы они носили воду, подметали и выполняли другие столь же унижительные и неприятные обязанности, что вызвало у них озлобление.

Все начали жаловаться, что налоги, взимавшиеся на содержание армии, флота и прочих имперских учреждений, легли невыносимым бременем на народ и ввергла его в нищету.

Ответ императора: "Взгляните на Германию, взгляните на Италию! Разве вы лучше их и разве вы не объединились?" — не удовлетворил их. Они говорили:

— Люди не могут питаться объединением, а мы умираем с голоду. Земледелием никто не занимается. Все в армии, все во флоте, все на государственной службе, все в мундирах, все бездельничают, все голодают, в некому обрабатывать поля...

— Посмотрите на Германию, посмотрите на Италию: там то же самое! Таково объединение, и другого способа добиться его нет, и нет другого способа сохранить его, после того как вы его получили, — неизменно отвечал на это бедняга император.

Но ворчуны знай твердили свое:

— Нам не под силу налоги, не под силу!.. И в довершение всего кабинет объявил о национальном долге, доходящем до сорока пяти с лишним долларов, полдоллара на каждую душу. Кабинет предложил консолидировать долг. Он слышал, что так всегда делается в подобных случаях. Кроме того, кабинет предложил ввести пошлины на ввоз и вывоз, а также выпустить облигации и бумажные деньги, подлежащие обмену на бататы и капусту через пятьдесят лет. Кабинет заявил, что жалование армии, флоту и всему государственному аппарату сильно задерживалось, и если не предпринять чего—нибудь, и притом немедленно, то может последовать национальное банкротство, а возможно — восстание и революция. Император тут же решился на самочинную меру, притом такую, о каких и не слыхивали на острове Питкерн. В одно воскресное утро он явился в церковь в полном параде, имея за собой армию, и потребовал от министра финансов устроить сбор.

Это была капля, переполнившая чашу. Сперва один гражданин, а за ним и другой, и третий возмутились и отказались подчиниться неслыханному насилию; и за каждым отказом следовала немедленная конфискация имущества недовольного. Эти суровые меры вскоре остановили сопротивление, и сбор продолжался среди угрюмого и зловещего молчания. Удаляясь со своими войсками, император сказал:

— Я покажу вам, кто тут хозяин! Несколько человек крикнули:

— Долой объединение!

Они немедленно были арестованы, и солдаты вырвали их из рук рыдающих друзей.

Тем временем, как всякий пророк мог предвидеть, родился социал—демократ. Когда император ступил на золоченую императорскую тачку у дверей церкви, социал—демократ пырнул его пятнадцать или шестнадцать раз гарпуном, но, к счастью, с таким типично социал—демократическим умением бить мимо цели, что не причинил ему никакого вреда.

В эту самую ночь последовал взрыв. Весь народ восстал как один человек, хотя сорок девять революционеров принадлежали к слабому полу. Пехота побросала свои вилы, артиллерия — свои кокосовые орехи; флот взбунтовался; императора схватили во дворце и связали по рукам и ногам. Он был очень подавлен. Он сказал:

— Я освободил вас от ненавистной тирании; я поднял вас из бездны унижения и сделал вас нацией среди наций; я дал вам сильное централизованное правительство; мало того, я дал вам величайшее из всех благ — объединение. Все это я сделал — и в награду мне достались лишь оскорбления, ненависть и эти оковы. Берите меня, делайте со мною, что хотите. Я отрекаюсь от короны и всех регалий и с радостью сброшу с себя это слишком тяжелое бремя! Ради вас я возложил его на себя; ради вас я слагаю его. Имперской жемчужины не существует более; бейте же и оскверняйте бесполезную оправу сколько хотите!

Единодушным решением народ присудил императора и социал—демократа к пожизненному отлучению от церкви или к пожизненным каторжным работам на галерах — то бишь, на вельботе, — предоставив им право выбора. На следующий день весь народ собрался снова, опять поднял британский флаг, восстановил британскую тиранию, разжаловал дворян в простолюдины и немедленно занялся самым серьезнейшим образом прополкой разоренных и запущенных грядок бататов и восстановлением старых полезных промыслов и старого целебного и утешительного благочестия. Экс—император вернул пропавший закон о нарушении владения, объяснив, что украл его не для того, чтобы повредить кому—нибудь, а лишь для того, чтобы осуществить свои политические планы.

Посему народ возвратил на прежний пост бывшего главного судью и вернул ему его отчужденное имущество.

Хорошенько подумав, экс—император и социал—демократ избрали пожизненное отлучение от церкви, предпочтя его пожизненной каторге на галерах "с пожизненными богослужениями", как они выразились.

Народ решил, что злоключения этих несчастных помutilи их разум, и постановил пока заточить их в тюрьму, что и было сделано.

Такова история питкернского "сомнительного приобретения".

УКРОЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА

I

Подумав хорошенько, я решил, что справлюсь с этим делом. Тогда я пошел и купил бутылъ свинцовой примочки и велосипед. Домой меня провожал инструктор, чтобы преподать мне начальные сведения. Мы уединились на заднем дворе и принялись за дело.

Велосипед у меня был не вполне взрослый, а так, жеребеночек – дюймов пятидесяти, с укороченными педалями и резвый, как полагается жеребенку. Инструктор кратко описал его достоинства, потом сел ему на спину, и проехался немножко, чтобы показать, как это просто делается. Он сказал, что труднее всего, пожалуй, выучиться соскакивать, так что это мы оставим напоследок. Однако он ошибся. К его изумлению и радости, обнаружилось, что ему нужно только посадить меня и отойти в сторонку, а соскочу я сам. Я соскочил с невиданной быстротой, несмотря на полное отсутствие опыта. Он стал с правой стороны, подтолкнул машину – и вдруг все мы оказались на земле: внизу он, на нем я, а сверху машина.

Осмотрели машину – она несколько не пострадала. Это было невероятно. Однако инструктор уверил меня, что так оно и есть; и действительно, осмотр подтвердил его слова. Из этого я должен был, между прочим, понять, какой изумительной прочности вещь мне удалось приобрести. Мы приложили к синякам свинцовую примочку и начали снова. Инструктор на этот раз стал с левой стороны, но и я свалился на левую, так что результат получился тот же самый.

Машина осталась невредима. Мы еще раз примочили синяки и начали снова. На этот раз инструктор занял безопасную позицию сзади велосипеда, но, не знаю уж каким образом, я опять свалился прямо на него.

Он не мог прийти в себя от восторга и сказал, что это прямо—таки сверхъестественно: на машине нет ни царапинки, она нигде даже не расшаталась. Примечивая ушибы, я сказал, что это поразительно, а он ответил, что когда я хорошенько разберусь в конструкции велосипеда, то пойму, что его может покалечить разве только динамит. Потом он, хромая, занял свое место, и мы начали снова. На этот раз инструктор стал впереди и велел подталкивать машину сзади. Мы тронулись с места значительно быстрее, тут же наехали на кирпич, я перелетел через руль, свалился головой вниз, инструктору на спину, и увидел, что велосипед порхает в воздухе, застилая от меня солнце. Хорошо, что он упал на нас: это смягчило удар, и он остался цел.

Через пять дней я встал, и меня повезли в больницу навестить инструктора; оказалось, что он уже поправляется. Не прошло и недели, как я был совсем здоров. Это оттого, что я всегда соблюдал осторожность и соскакивал на что—нибудь мягкое. Некоторые рекомендуют перину, а по—моему – инструктор удобнее.

Наконец инструктор выписался из больницы и привел с собой четырех помощников. Мысль была неплохая. Они вчетвером держали изящную машину, куда я взбирался на седло, потом строились колонной и маршировали по обеим сторонам, а инструктор подталкивал меня сзади; в финале участвовала вся команда.

Велосипед, что называется, писал восьмерки, и писал очень скверно. Для того чтобы

усидеть на место, от меня требовалось очень многое и всегда что—нибудь прямо—таки противное природе. Противное моей природе, но не законам природы. Иначе говоря, когда от меня что—либо требовалось, моя натура, привычки и воспитание заставляли меня поступать известным образом, а какой—нибудь незыблемый и неведомый мне закон природы требовал, оказывается, совершенно обратного. Тут я имел случай заметить, что мое тело всю жизнь воспитывалось неправильно. Оно погрязло в невежестве и не знало ничего, ровно ничего такого, что могло быть ему полезно. Например, если мне случалось падать направо, я, следуя вполне естественному побуждению, круто заворачивал руль налево, нарушая закон природы. Закон требовал обратного: переднее колесо нужно поворачивать в ту сторону, куда падаешь. Когда тебе это говорят, поверить бывает трудно. И не только трудно – невозможно, настолько это противоречит всем твоим представлениям. А сделать еще труднее, даже если веришь, что это нужно. Не помогают ни вера, ни знание, ни самые убедительные доказательства; сначала просто невозможно заставить Себя действовать по—новому. Тут на первый план выступает разум: он убеждает тело расстаться со старыми привычками и усвоить новые.

С каждым днем ученик делает заметные шаги вперед. К концу каждого урока он чему—нибудь да выучивается и твердо знает, что выученное навсегда останется при нем. Это не то, что учиться немецкому языку: там тридцать лет бредешь ощупью и делаешь ошибки; наконец думаешь, что выучился, – так нет же, тебе подсовывают сослагательное наклонение – и начинай опять сначала. Нет, теперь я вижу, в чем беда с немецким языком: в том, что с него нельзя свалиться и разбить себе нос. Это поневоле заставило бы приняться за дело вплотную. И все—таки, по—моему, единственный правильный и надежный путь научиться немецкому языку – изучать его по велосипедному способу. Иначе говоря, взяться за одну какую—нибудь подлость и сидеть на ней до тех пор, пока не выучишь, а не переходить к следующей, бросив первую на полдороге.

Когда выучишься удерживать велосипед в равновесии, двигать его вперед и поворачивать в разные стороны, нужно переходить к следующей задаче – садиться на него. Делается это так: скачешь за велосипедом на правой ноге, держа левую на педали и ухватившись за руль обеими руками. Когда scomандуют, становишься левой ногой на педаль, а правая бесцельно и неопределенно повисает в воздухе; наваливаешься животом на седло и падаешь – может, направо, может, налево, но падаешь непременно. Встаешь – и начинаешь то же самое сначала. И так несколько раз подряд.

Через некоторое время выучиваешься сохранять равновесие, а также править машиной, не выдергивая руль с корнем. И так, ведешь машину вперед, потом становишься на педаль, с некоторым усилием заносишь правую ногу через седло, потом садишься, стараешься не дышать, – вдруг сильный толчок вправо или влево, и опять летишь на землю.

Однако на ушибы перестаешь обращать внимание, довольно скоро мало—помалу привыкаешь соскакивать на землю левой или правой ногой более или менее уверенно. Повторив то же самое еще шесть раз подряд и еще шесть раз свалившись, приходишь до полного совершенства. На следующий раз уже можно попасть на седло довольно ловко и остаться на нем, – конечно, если не обращать внимания на то, что ноги болтаются в воздухе, и на время оставить педали в покое: а если сразу хвататься за педали, дело будет плохо. Довольно скоро выучиваешься ставить ноги на педали не сразу, а немного погодя, после того как научишься держаться на седле, не теряя равновесия. Тогда можно считать, что ты вполне овладел искусством садиться на велосипед, и после небольшой практики это будет легко и просто, хотя зрителям на первое время лучше держаться подальше, если ты против них ничего не имеешь.

Теперь пора уже учиться соскакивать по собственному желанию; соскакивать против желания научаешься прежде всего. Очень легко в двух—трех словах рассказать, как это делается. Ничего особенного тут не требуется, и это, по—видимому, нетрудно; нужно опускать левую педаль до тех пор, пока нога не выпрямится совсем, повернуть колесо влево и соскочить, как соскакивают с лошади. Конечно, на словах это легче легкого, а на деле

оказывается трудно. Не знаю, почему так выходит, знаю только, что трудно. Сколько ни старайся, слезаешь не так, как с лошади, а летишь кувырком, точно с крыши, И каждый раз над тобой смеются.

II

В течение целой недели я обучался каждый день часа по полтора. После двенадцатичасового обучения курс науки был закончен, так сказать, начерно. Мне объявили, что теперь я могу кататься на собственном велосипеде без посторонней помощи. Такие быстрые успехи могут показаться невероятными. Чтобы обучиться верховой езде хотя бы начерно, нужно гораздо больше времени.

Правда, я бы мог выучиться и один, без учителя, только это было бы рискованно: я от природы неуклюж. Самоучка редко знает что—нибудь как следует и обычно в десять раз меньше, чем узнал бы с учителем; кроме того, он любит хвастаться и вводит в соблазн других легкомысленных людей. Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жизни, так называемый «жизненный опыт», приносят нам какую—то пользу. Желал бы я знать, каким образом? Я никогда не видел, чтобы такие случаи повторялись дважды. Они всегда подстерегают нас там, где не ждешь, и застают врасплох. Если личный опыт чего—нибудь стоит в воспитательном смысле, то уж, кажется, Мафусаила не переплюнешь, – и все—таки, если бы старик ожил, так, наверное, первым делом ухватился бы за электрический провод, и его свернуло бы в три погибели. А ведь гораздо умнее и безопаснее для него было бы сначала спросить кого—нибудь, можно ли хвататься за провод. Но ему это не подошло бы: он из тех самоучек, которые полагаются па опыт; он захотел бы проверить сам. И в назидание себе он узнал бы, что скрюченный в три погибели патриарх никогда не тронет электрический провод; кроме того, это было бы ему полезно и прекрасно завершило бы его воспитание – до тех пор, пока в один прекрасный день он не вздумал бы потрясти жестянку с динамитом, чтобы узнать, что в ней такое.

Но мы отвлеклись в сторону. Во всяком случае, возьмите себе учителя – это сэкономит массу времени и свинцовой примочки.

Перед тем как окончательно распрощаться со мной, мой инструктор осведомился, достаточно ли я силен физически, и я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силен. Он сказал, что из—за этого недостатка мне первое время довольно трудно будет подниматься в гору на велосипеде, но что это скоро пройдет. Между его мускулатурой и моей разница была довольно заметная. Он хотел посмотреть, какие у меня мускулы. Я ему показал свой бицепс – лучшее, что у меня имеется по этой части. Он чуть не расхохотался и сказал:

– Бицепс у вас дряблый, мягкий, податливый и круглый, скользит из—под пальцев, в темноте его можно принять за устрицу в мешке.

Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что он прибавил ободряюще:

– Это не беда, огорчаться тут нечего; немного погодя вы не отличите ваш бицепс от окаменевшей почки. Только не бросайте практики, ездите каждый день, и все будет в порядке.

После этого он со мной распрощался, и я отправился один искать приключений. Собственно, искать их не приходится, это так только говорится, – они сами вас находят.

Я выбрал безлюдный, по—воскресному тихий переулок шириной ярдов тридцать. Я видел, что тут, пожалуй, будет тесновато, но подумал, что если смотреть в оба и использовать пространство наилучшим образом, то как—нибудь можно будет проехать.

Конечно, садиться на велосипед в одиночестве оказалось не так—то легко: не хватало моральной поддержки, не хватало сочувственных замечаний инструктора: «Хорошо, вот теперь правильно. Валяйте смелей, вперед!» Впрочем, поддержка у меня все—таки нашлась. Это был мальчик, который сидел на заборе и грыз большой кусок кленового сахара.

Он живо интересовался мной и все время подавал мне советы. Когда я свалился в первый раз, он сказал, что на моем месте непременно подложил бы себе подушки впереди и

сзади – вот что! Во второй раз он посоветовал мне поучиться сначала на трехколесном велосипеде. В третий раз он сказал, что мне, пожалуй, не усидеть и на подводе. В четвертый раз я кое—как удержался на седле и поехал по мостовой, неуклюже виляя, пошатываясь из стороны в сторону и занимая почти всю улицу. Глядя на мои неуверенные и медленные движения, мальчишка преисполнился презрения и завопил:

– Батюшки! Вот так летит во весь опор!

Потом он слез с забора и побрел по тротуару, не сводя с меня глаз и порой отпуская неодобрительные замечания. Скоро он соскочил с тротуара и пошел следом за мной. Мимо проходила девочка, держа на голове стиральную доску, она засмеялась и хотела что—то сказать, но мальчик заметил наставительно:

– Оставь его в покое, он едет на похороны.

Я с давних пор знаю эту улицу, и мне всегда казалось, что она ровная, как скатерть: но, к удивлению моему, оказалось, что это неверно. Велосипед в руках новичка невероятно чувствителен: он показывает самые тонкие и незаметные изменения уровня, он отмечает подъем там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъема; он отмечает уклон везде, где стекает вода. Подъем был едва заметен, и я старался изо всех сил, пыхтел, обливался потом, – и все же, сколько я ни трудился, машина останавливалась чуть ли не каждую минуту. Тогда мальчишка кричал:

– Так, так! Отдохни, торопиться некуда. Все равно без тебя похороны не начнутся.

Камни ужасно мне мешали. Даже самые маленькие нагоняли на меня страх. Я наезжал на любой камень, как только делал попытку его объехать, а не объезжать его я не мог. Это вполне естественно. Во всех нас заложено нечто ослиное, неизвестно по какой причине.

В конце концов я доехал до угла, и нужно было поворачивать обратно. Тут нет ничего приятного, когда приходится делать поворот в первый раз самому, да и шансов на успех почти никаких. Уверенность в своих силах быстро убывает, появляются всякие страхи, каждый мускул каменеет от напряжения, и начинаешь осторожно описывать кривую. Но нервы шалют и полны электрических искр, и кривая живехонько превращается в дергающиеся зигзаги, опасные для жизни. Вдруг стальной конь закусывает удила и, взбесившись, лезет на тротуар, несмотря на все мольбы седока и все его старания свернуть на мостовую. Сердце у тебя замирает, дыхание прерывается, ноги цепенеют, а велосипед все ближе и ближе к тротуару. Наступает решительный момент, последняя возможность спастись. Конечно, тут все инструкции разом вылетают из головы, и ты поворачиваешь колесо от тротуара, когда нужно повернуть к тротуару, и растягиваешься во весь рост на этом негостеприимном, закованном в гранит берегу. Такое уж мое счастье: все это я испытал на себе. Я вылез из—под неуязвимой машины и уселся на тротуар считать синяки.

Потом я пустился в обратный путь. И вдруг я заметил воз с капустой, тащившийся мне навстречу. Если чего—нибудь не хватало, чтоб довести опасность до предела, так именно этого. Фермер с возом занимал середину улицы, и с каждой стороны воза оставалось каких—нибудь четырнадцать – пятнадцать ярдов свободного места. Окликнуть его я не мог – начинающему нельзя кричать: как только он откроет рот, он погиб; все его внимание должно принадлежать велосипеду. Но в эту страшную минуту мальчишка пришел ко мне на выручку, и на сей раз я был ему премного обязан. Он зорко следил за порывистыми и вдохновенными движениями моей машины и соответственно извещал фермера:

– Налево! Сворачивай налево, а не то этот осел тебя переедет.

Фермер начал сворачивать.

– Нет, нет, направо! Стой! Не туда! Налево! Направо! Налево, право, лево, пра... Стой, где стоишь, не то тебе крышка!

Тут я как раз заехал подветренной лошади в корму и свалился вместе с машиной. Я сказал:

– Черт полосатый! Что ж ты, не видел, что ли, что я еду?

– Видеть—то я видел, только почему же я знал, в какую сторону вы едете? Кто же это мог знать, скажите, пожалуйста? Сами—то вы разве знали, куда едете? Что же я мог

поделать?

Это было отчасти верно, и я великодушно с ним согласился. Я сказал, что, конечно, виноват не он один, но и я тоже.

Через пять дней я так насобачился, что мальчишка не мог за мной угнаться. Ему пришлось опять залезать на забор и издали смотреть, как я падаю.

В одном конце улицы было несколько невысоких каменных ступенек на расстоянии ярда одна от другой. Даже после того, как я научился прилично править, я так боялся этих ступенек, что всегда наезжал на них. От них я, пожалуй, пострадал больше всего, если не говорить о собаках. Я слышал, что даже первоклассному спортсмену не удастся переехать собаку: она всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно; только мне кажется, он именно потому не может переехать собаку, что очень об этом старается. Я вовсе не старался переехать собаку. Однако все собаки, которые мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, разница немалая. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться, но если ты хочешь ее объехать, то она не сумеет верно рассчитать и отскочит не в ту сторону, в какую следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смотреть, как я катаюсь. Им нравилось на меня глядеть, потому что у нас по соседству редко случалось что—нибудь интересное для собак. Немало времени я потратил, учась объезжать собак стороной, однако выучился даже и этому.

Теперь я еду, куда хочу, и как—нибудь поймаю этого мальчишку и перееду его, если он не исправится.

Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы.

ЭДВАРД МИЛЗ И ДЖОРДЖ БЕНТОН

Быль

Эти двое были друг другу родственники, правда дальние, — как говорится, седьмая вода на киселе. Оба остались сиротами в младенческом возрасте и были усыновлены бездетными супругами Брантами, которые быстро привязались к ним. Бранты любили повторять: «Будь честен и чист душой, трезв, трудолюбив и внимателен к людям, тогда успех в жизни тебе обеспечен». Мальчики слышали эту сентенцию, наверное, тысячу раз, задолго до того, как начали понимать ее смысл; они знали ее наизусть еще до того, как выучили «Отче наш»; она была написана над дверью детской, и по ней они чуть ли не учились читать. Ей суждено было стать основой жизненных правил Эдварда Милза. Иногда Бранты, слегка меняя последние слова, говорили так: «Будь честен и чист душой, трезв, трудолюбив и внимателен, и у тебя никогда не будет недостатка в друзьях».

Маленький Милз был радостью для окружающих. Когда он не вовремя хотел конфетку, он выслушивал, почему сейчас это не полагается, и больше не просил. Когда маленький Бентон хотел конфетку, он ревел не умолкая, пока не получал ее. Маленький Милз относился бережно к своим игрушкам, маленький Бентон уничтожал свои мгновенно и потом начинал так противно капризничать, что ради спокойствия в доме приходилось просить Эдварда, чтобы тот уступил ему свой волчок или лошадку.

Когда мальчики подросли, содержать Джорджи стало накладно: он очень неаккуратно носил свои вещи, а потому частенько щеголял во всем новом, чего нельзя было сказать об Эдди. Дети росли быстро, и на Эдди приемные родители не могли нарадоваться, а Джорджи постоянно внушал им тревогу. Если Эдди просил разрешения покататься на коньках, или пойти купаться, или отправиться на пикник в лес за ягодами или в цирк, достаточно было ему услышать в ответ: «Мне бы не хотелось, чтобы ты шел», — и он тут же отказывался от любого из детских удовольствий. Но на Джорджи никакие слова не действовали, и уж коли он чего пожелал, приходилось ему уступать, иначе он бы все равно сделал по—своему. Разумеется, ни один мальчишка не плавал так много, не ходил так часто на каток и в лес за

ягодами, ни одни не жил так весело, как он. Добрые Бранты не позволяли ребятам играть летом после девяти часов вечера: в это время они должны были ложиться спать. Эдди честно выполнял наказ, а Джорджи вылезал через окно около десяти часов и разгуливал до полуночи. Казалось, его невозможно отучить от этой дурной привычки, но Бранты в конце концов нашли способ удерживать Джорджи дома, подкупая его яблоками и камешками для игры. Добрые Бранты тратили уйму времени и сил на бесполезные попытки как—нибудь образумить мальчика. «Вот Эдди,— говорили они со слезами умиления, никаких хлопот не доставляет, такой хороший, внимательный, идеальный ребенок во всех отношениях!»

Когда настало время подумать о работе, ребят отдали в учение. Эдвард пошел охотно, а Джорджа пришлось задабривать и уговаривать. Эдвард трудился упорно и добросовестно и в скором времени избавил родителей от расходов на его содержание; и Бранты и хозяин хвалили Эдварда. А Джордж сбежал, и мистеру Бранту стоило немало хлопот и денег разыскать его и водворить на место. Скоро он опять сбежал — новые расходы и новые хлопоты! Он сбежал и в третий раз, утащив к тому же у хозяина несколько ценных вещей. Опять неприятности, опять расходы для мистера Бранта, причем потребовалось много усилий, чтобы упротить хозяина не привлекать вора к суду.

Эдвард работал весьма старательно, и в скором времени хозяин сделал его своим компаньоном. А Джордж никак не исправлялся, безмерно огорчая этим своих престарелых благодетелей, чьи любящие сердца были поглощены одной заботой: удержать его от гибели. Эдварда еще в детские годы увлекали воскресная школа, дискуссионные клубы, сбор разных пожертвований в пользу миссионеров, общества по борьбе с курением табака, по борьбе с богохульством и т. п. Став взрослым, он сделался скромным, но верным и надежным помощником церкви, а также различных обществ трезвости и прочих организаций, стремящихся сделать людей лучше и благороднее. И никто не удивлялся, не ахал, ибо такое поведение все считали для Эдварда «совершенно естественным».

Но вот старики умерли. В завещании они еще раз декларировали любовь к Эдварду и гордость за него, по кое свое скромное состояние оставили Джорджу, поскольку он «в этом нуждался», между тем как судьба Эдварда, «благодаря щедрому провидению», сложилась иначе. Правда, наследство было оставлено Джорджу с одним условием: он должен выкупить долю компаньона Эдварда, а если почему—либо этого не сделает, то деньги должны быть переданы благотворительной организации под названием «Общество друзей тюремных заключенных». Старики оставили также письмо дорогому сыну Эдварду, в котором умоляли его взять на себя присмотр за Джорджем, помогать ему и защищать от бед, как это *делали* при жизни они.

Сознавая свои долг, Эдвард вынужден был согласиться, и Джордж стал его компаньоном. Нельзя сказать чтобы это был ценный компаньон: он и раньше выпивал, а теперь превратился в заядлого пьяницу, о чем свидетельствовали его глаза, да и вся физиономия. Эдвард уже давно ухаживал за одной милой девушкой, обладавшей золотым сердцем. Они нежно любили друг друга, и... Джордж начал со слезами домогаться ее руки, и в конце концов она пришла к Эдварду и сказала, плача, что осознала свой высокий, священный долг и не позволит своим эгоистическим желаниям взять над ним верх: она должна обвенчаться с «бедняжкой Джорджем» и «обратить его на путь истины». Это разобьет ее сердце, непременно разобьет, но долг превыше всего! Итак, она вышла замуж за Джорджа, едва не разбив и сердце Эдварда, и свое собственное. Эдвард с трудом оправился от этого удара и женился на другой девушке, которая тоже оказалась весьма достойной молодой особой.

В обеих семьях появились дети. Мэри делала все, что могла, чтобы исправить своего супруга, но эта задача была ей не под силу. Джордж продолжал пьянствовать и взял себе в привычку обижать ее и детей. Многие добрые люди тоже старались повлиять на Джорджа — и старались давно, но тот лишь выслушивал знакомые речи, не меняя, однако, своего поведения,— наоборот, у ней. прибавился еще один порок — картежничество. Он залез в долги и, пользуясь кредитом своей фирмы, начал тайно занимать деньги; в этих операциях

он зашел столь далеко, что в одно прекрасное утро явился шериф и описал все имущество фирмы, после чего оба компаньона остались без гроша.

Настало тяжелое время, и что ни день, то было хуже. Эдвард с семьей переселился куда—то на чердак и без конца бродил в поисках работы. Но к кому бы он ни обратился с просьбой взять его к себе, никто его не брал. Он был поражен холодным приемом, который оказывали ему повсюду, поражен и обижен тем, как быстро люди перестали им интересоваться. И все же он должен найти работу! И, проглотив обиду, он с удвоенной энергией вновь устремлялся на поиски. В конце концов он нашел работу — подносчиком кирпича на стройке — и был рад хоть этому; впрочем, теперь уж никто его не узнавал и не проявлял к нему решительно никакого интереса. Эдвард не имел возможности платить взносы в различные благотворительные организации, членом которых он состоял, а потому был с позором исключен отовсюду и очень болезненно это переживал.

Но чем реже люди думали об Эдварде, тем чаще они вспоминали о Джордже. Как—то утром его нашли — пьяного и оборванного — в канаве. Одна из дам—патронесс Женского общества борьбы с пьянством извлекла его оттуда, занялась им, организовала сбор пожертвований в его пользу и, добившись того, что он целую неделю не пил, устроила его на работу. Отчет об этом был помещен в газете.

Таким образом, бедняжка привлек к себе всеобщее внимание, и у него вдруг появилось множество друзей, которые и деньгами и советами помогали ему удерживаться на стезе добродетели. Два месяца он не брал в рот ни капли спиртного и стал баловнем добрых людей. Затем, к их превеликой печали, он пал... опять в канаву. Но благородные сестры из Общества трезвости снова спасли его: счистили с него грязь, накормили, выслушали скорбную покаянную песню и снова пристроили на работу. Отчет об этом был тоже помещен в газете, и весь город обливался радостными слезами по случаю того, что у зеленого змия отбита жертва, слабое создание вновь направлено по честному пути. Было устроено грандиозное собрание всех поборников трезвости, и, после того как были произнесены волнующие речи, председатель многозначительно заявил:

— Сейчас начнется церемония подписания, и вы увидите такое зрелище, которое не может не заставить вас прослезиться.

Он сделал эффектную паузу, и Джордж Бентон, в сопровождении отряда дам из Общества трезвости, повязанных через плечо алыми лентами, взошел на трибуну и подписал клятвенное обещание не пить. Аплодисменты потрясли зал, публика криками выражала свое одобрение. Когда собрание окончилось, каждый спешил пожать руку вновь обращенному трезвеннику, а на следующее утро ему прибавили жалованья, и весь город только о нем и говорил, — он стал героем дня. Отчет обо всем происшедшем был помещен в газете.

Падение повторялось регулярно, каждые три месяца, по каждый раз заботливые люди спасали Джорджа Бентона: выволакивали его из грязи, опять брали с него слово и опять находили ему теплое местечко. В конце концов ему устроили лекционное турне, и он разъезжал по всей стране и читал лекции о том, как он перестал пить, и его выступления повсюду собирали громадные аудитории и приносили колоссальную пользу.

Джордж пользовался такой любовью и доверием у себя в городе, когда бывал трезв, что, подделав подпись одного из самых видных жителей, сумел получить в банке крупную сумму. Мощная кампания была организована для защиты его от последствий этого мошенничества, и кое—чего все же удалось добиться: его засадили в тюрьму только на два года. Зато когда в конце первого года неутомимые старания благодетелей увенчались полным успехом и он вышел с документом о помиловании в кармане, — Общество друзей тюремных заключенных встретило его на пороге тюрьмы и сразу же предложило ему достойную, хорошо оплачиваемую службу, а разные сердобольные люди поспешили к нему с советами, подбадривающими словами и предложениями помощи. Эдвард Милз как—то в минуту отчаянной нужды обратился в Общество друзей тюремных заключенных с просьбой посодействовать ему в получении какой—нибудь работы, но ему первым делом задали вопрос: «А вы сидели в тюрьме?»—и он вынужден был ретироваться.

Пока происходили вышеописанные события с Джорджем, Эдвард, помаленьку выкарабкивался из нужды. До богатства ему еще было очень далеко, но он имел теперь постоянный заработок, достаточный, чтобы прожить с семьей; он служил кассиром в банке и пользовался уважением и доверием. Джордж Бентон ни разу к нему не пришел, ни разу никто не слышал, чтобы он поинтересовался, как живет Эдвард. Джордж начал часто и надолго отлучаться из города, о нем ходили дурные слухи, но точно никому ничего не было известно.

И вот однажды зимним вечером шайка грабителей в масках ворвалась в банк, где в это время не было ни души, кроме Эдварда Милза. Ему приказали отпереть сейф. Он отказался. Тогда ему пригрозили, что его убьют. Милз ответил, что владельцы банка доверяют ему, и он не может обмануть их доверие. Двум смертям не бывать, но, пока он жив, он не станет предателем и секрет замка не выдаст. Разбойники убили его.

Сыщики выловили всю шапку — главарем ее оказался Джордж Бентон. Люди жалели вдову и сирот убитого; во всех американских газетах был напечатан призыв ко всем банкам страны доказать, что они оцепили преданность и героизм покойного кассира, и щедро пожертвовать в фонд помощи его семье, лишившейся кормильца. Как следствие этого призыва была собрана внушительная сумма — что-то около пятисот долларов; иными словами каждый банк Соединенных Штатов раскошелился в среднем почти на три восьмых цента! Впрочем, банк, в котором служил Эдвард Милз, доказал свою благодарность еще лучше — тем, что сделал попытку (к счастью, она с позором провалилась!) изобразить дело так, будто его преданный слуга запутался в денежных отчетах и собственноручно размозжил себе кистенем череп, чтобы спастись от разоблачения и наказания.

Джорджа Бентона предали суду. Исполненные жалости к этому бедняжке, люди мигом забыли о вдове и сиротах. Выло пущено в ход для его спасения все, что могли сделать деньги и связи, но никакие усилия не помогли: преступника приговорили к смертной казни. Губернатора буквально завалили петициями о помиловании или хотя бы о смягчении приговора, — их доставляли плачущие юные девы, депутации скорбных вдовиц, стайки печальных сирот. Но нет, на этот раз губернатор не уступил.

Тогда Джорджа Бентона озарила вера. Радостная весть облетела всю округу. Теперь в его камере день—деньской толпились девушки и женщины и было полно цветов; там все время молились, распевали псалмы, служили молебны и произносили проповеди, и все плакали, плакали и лишь изредка делали перерыв минут на пять, чтобы раздать и выпить прохладительные напитки.

Так продолжалось до самого дня казни, и вот Джордж Бентон в черном колпаке гордо отправился к праотцам, и добрые, хорошие люди видели это и плакали от жалости. На его могилу первое время ежедневно приносили свежие цветы, потом сделали каменное надгробие, на котором высекли указующий порет и надпись: «Он достойно боролся».

На каменном надгробии отважного кассира были выбиты слова: «Будь честен и чист душой, трезв, трудолюбив, внимателен, и у тебя никогда...»

Никто не знал, кто отдал приказ оставить эпитафию неоконченной, по кто-то, видимо, его отдал.

Рассказывают, что семья кассира очень нуждается, но никому до этого нет дела; зато жители нашей страны, оценившие по заслугам подвиг кассира и пожелавшие, чтобы отвага и честность получили достойную награду, собрали сорок две тысячи долларов... и построили на них церковь в его память.

МИССИС МАК—ВИЛЬЯМС И МОЛНИЯ

— ...Так вот, сэр, — продолжал мистер Мак—Вильямс поскольку разговор начался не с этого, — боязнь молнии — одна из самых печальных слабостей, каким подвержен человек.

Чаще всего ею страдают женщины, но время от времени она встречается у маленьких собачек, а иногда и у мужчин. Особенно печально наблюдать эту немощ потому, что она лишает человека мужества, как никакая другая болезнь, — ее не выбьешь уговорами, а стыдить больного тоже совершенно бесполезно. Женщина, которая не побоялась бы встретиться лицом к лицу самого черта или мышь, перестает владеть собой и совершенно теряется при вспышке молнии. На нее бывает просто жалко смотреть.

Ну—с, как я уже говорил вам, я проснулся оттого, что до моих ушей донесся сдавленный и неизвестно откуда идущий вопль:

— Мортимер, Мортимер!

Едва собравшись с мыслями, я протянул руку в темноте и сказал:

— Эванджелина, это ты кричишь? Что случилось? Где ты?

— Заперлась в шкафу. А тебе стыдно лежать и спать так крепко, когда на дворе такая ужасная гроза!

— Ну как же может человеку быть стыдно, когда он спит? Это ни с чем не сообразно. Человек не может стыдиться, когда спит, Эванджелина.

— Ты хоть бы постарался, Мортимер; сам отлично знаешь, что даже не пробовал!..

Я уловил звук заглушенных рыданий. От этого звука резкий ответ замер у меня на языке, и я изменил его на:

— Прости, дорогая, мне очень жаль! Я ведь не нарочно. Выходи оттуда и...

— Мортимер!

— Ах ты господи! Что такое, душенька?

— Ты все еще лежишь в кровати?

— Ну да, конечно!

— Встань сию минуту! Я все—таки думала, что ты сколько—нибудь дорожишь своей жизнью хотя бы ради меня и детей, если тебе самого себя не жалко.

— Но, душенька...

— Не возражай, Мортимер! Ты отлично знаешь, что в такую грозу самое опасное — лежать в кровати... Во всех книгах так сказано, а ты все—таки лежишь и совершенно напрасно рискуешь жизнью неизвестно для чего, лишь бы только спорить и спорить!

— Да ведь, черт подери, я сейчас не в кровати, я... (Фразу прерывает внезапная вспышка молнии, сопровождаемая испуганным визгом миссис Мак—Вильямс и страшнейшим раскатом грома.)

— Ну вот! Видишь, какие последствия? Ах, Мортимер, как ты можешь ругаться в такое время!

— Я не ругался. И во всяком случае — это не последствия. Даже если бы я не сказал ни слова, все равно было бы то же самое. Ты же знаешь, Эванджелина, что когда атмосфера заряжена электричеством...

— Да—да, тебе бы только спорить, и спорить, и спорить! Прямо не понимаю, как ты можешь так себя вести, когда тебе известно, что в доме нет ни одного громоотвода и твоей несчастной жене и детям остается только надеяться на милость божию!.. Что ты делаешь? Зажигаешь спичку... в такое время? Ты совсем с ума сошел?

— Ей—богу, милая, ну что тут такого? Темно, как у язычника в желудке, вот я и...

— Погаси спичку, сию минуту погаси! Тебе, я вижу, никого не жалко, ты всеми нами готов пожертвовать. Ты же знаешь, ничто так не притягивает молнию, как свет... (Фсст! Трах! Бум! Бур—ум—бум—бум!) Вот... послушай! Видишь теперь, что ты наделал!

— Нет, не вижу. Может, спичка и притягивает молнию, но молния—то бывает не от спички, ставлю что угодно. И вовсе это не моя спичка притянула молнию. Если там целились в мою спичку, так плохая же это стрельба, — я бы сказал, что—то вроде нуля из миллиона возможных. Да в Доллимаунте за такую стрельбу...

— Как тебе не стыдно, Мортимер! Нам каждую минуту грозит смерть, а ты так выражаешься. Если ты не желаешь... Мортимер!

— Ну?

— Ты молился сегодня на ночь?

— Я... я хотел помолиться, а потом стал считать, сколько будет двенадцать раз тринадцать, и... (Фсст! Бум—бурум—бум! Бум—бах—бах—трах!)

— Ах, теперь мы пропали, нас ничто не спасет! Как ты мог забыть такую важную вещь, да еще в такое время?

— Да ведь не было никакого "такого времени". На небе не было ни одной тучки. Почему же я знал, что из—за пустячного упущения поднимется такой шум и гром? И во всяком случае, мне кажется, просто нехорошо с твоей стороны придирается: ведь это со мной бывает редко. После того как из—за меня случилось землетрясение четыре года назад, я ни разу не забывал молиться.

— Мортимер! Что ты говоришь? А про желтую лихорадку ты забыл?

— Милая, ты вечно мне навязываешь эту желтую лихорадку, и, по—моему, совершенно зря. Если даже телеграмму в Мемфис нельзя послать прямо, а только через передаточные станции, то как же мое упущение насчет молитвы могло дойти в такую даль? Я еще согласен отвечать за землетрясение, оно все—таки было по—соседству, но лучше уж пускай меня повесят, чем отвечать черт знает за что...

(Фсст! Бум—бурум—бум! Бум! Бах!)

— О боже мой, боже мой! Молния во что—нибудь ударила! Я уже чувствую, Мортимер! Нам не дожидать

до утра... и если это может принести какую—нибудь пользу, когда нас уже не будет, помни, Мортимер, что той ужасный язык... Мортимер!

— Ну! Что еще?

— Твой голос звучит так, будто ты... Мортимер, неужели ты сейчас стоишь перед камином?

— Да, вот именно, совершаю это преступление.

— Отойди от него подальше, сию минуту отойди! Ты, кажется, решил нас всех погубить! Неужели ты не знаешь, что самый верный проводник молнии — это открытая труба? А теперь куда ты пошел?

— Я здесь, перед окном.

— Бога ради, в своем ли ты уме? Убирайся оттуда немедленно! Даже грудные дети и те знают, что стоять у окна в грозу — просто гибель! Боже мои, боже мой, я знаю, что не доживу до утра!" Мортимер!

— Да?

— Что это шуршит?

— Это я.

— Что ты там делаешь?

— Ищу, где верх у моих штанов.

— Скорее брось их куда—нибудь! Должно быть, ты нарочно хочешь надеть штаны в такое время! Ведь ты же отлично знаешь, все авторитеты говорят в один голос, что шерстяные ткани притягивают молнию. О боже, боже! Мало того, что гроза нас может убить, тебе еще непременно нужно самому лезть на рожон... Нет, пожалуйста, не поп! О чем ты только думаешь?

— Ну, а что тут такого?

— Мортимер, я тебе не один раз, а сто раз тебе говорила, что пение вызывает атмосферные колебания, которые прерывают электрический ток... Для чего ты открываешь дверь, скажи, пожалуйста!

— Боже ты мой, ну какой от этого может быть вред?

— Какой вред? Смертельная опасность! Всякий, кто сколько—нибудь смыслит в этом деле, знает, что устраивать сквозняк — значит, привлекать молнию. Ты все—таки не закрыл дверь! Закрой ее как следует, и поскорей, не то мы все пропали! Какой ужас — быть в такое время в одной комнате с сумасшедшим... Мортимер, что ты делаешь?

— Ничего. Просто открыл кран. В комнате задохнуться можно — такая духота. Хочу умыться.

— Ты, я вижу, совсем потерял рассудок! Если во что—нибудь другое молния ударит один раз, так в воду она ударит пятьдесят раз. Закрой кран! О боже, я знаю, пас уже ничто на свете не может спасти! Мне кажется... Мортимер, что это такое?

— Это чер... это картина. Я ее сшиб.

— Так, значит, ты подошел к стене! Просто неслыханная неосторожность! Разве ты не знаешь, что самый лучший проводник молнии — это стена? Отойди подальше! А ты еще хотел выругаться! Ну как ты можешь вести себя так, когда твоя семья в опасности?! Мортимер, ты велел положить себе перину, как я тебя просила?

— Нет. Забыл.

— Забыл! Это может стоить тебе жизни. Если бы у тебя была перила, ты бы разостлал ее посреди комнаты, лег бы на нее и был бы в полной безопасности. Иди сюда, иди скорей, пока еще не наделал бог знает чего.

Я попробовал влезть туда же, но маленький шкаф едва вмещал нас двоих, да и то дышать было нечем. Я чуть не задохся и наконец вылез из шкафа. Жена тут же окликнула меня:

— Мортимер, надо что—то сделать, чтобы тебя не убило. Дай мне ту немецкую книжку, что лежит с краю на камине, и свечу, только не зажигай. Дай спички, я сама зажгу свечку здесь. В книге сказано, что делать.

Я достал книжку ценой вазы и нескольких других хрупких предметов, и мадам затворилась в шкафу со свечой. На минуту я был оставлен в покое, потом она спросила:

— Мортимер, что это?

— Ничего особенного, кошка.

— Кошка? Да ведь это погибель! Поймай ее и запри в комод. И как можно скорее, милый! Кошки полны электричества. Нет, я знаю одно — за эту ужасную ночь я вся поседею!..

Я опять услышал глухие рыдания. Если бы не это, я бы пальцем не пошевелил в темноте ради такой дикой затеи.

Однако я принялся ловить кошку; натываясь на стулья и другие препятствия, все очень жесткие и почти все с острыми краями, я наконец поймал ее и запер в комод, поломав долларов на четыреста мебели и понаставив себе синяков. После этого до меня донеслись из шкафа приглушенные слова:

— Тут говорится, что самое безопасное — стоять на стуле посреди комнаты, Мортимер, а ножки стула должны быть изолированы непроводниками. Это значит, что ты должен поставить ножки стула в стаканы... (Фет! Бум—бах! Трах!) Ох, ты слышишь? Скорей, Мортимер, пока в тебя не ударило.

Я кое—как ухитрился найти и достать стаканы. Уцелели только четыре, все остальные я разбил. Изолировав ножки стула, я попросил дальнейших инструкций.

— Мортимер, тут говорится: "Während eines Gewitters entferne man Metalle wie z. B., Ringe, Uhren, Schlüssel, etc. von sich und halte sich auch nicht an solchen Stellen auf, wo viele Metalle bei einander liegen, oder mit andern Körpern verbunden sind, wie an Herden, Oefen, Eisengittern und dgl..."^{8*}. Что это значит, Мортимер? Значит ли это, что нужно держать металлы при себе или что их нужно держать подальше от себя?

— Я, право, не знаю. Что—то как будто запутано немножко. Все немецкие советы бывают более или менее запутаны. По—моему, все—таки это предложение почти все в дательном падеже, ну и подмешано чуть—чуть родительного и винительного на всякий случай, — так что, я думаю, это скорее значит, что надо держать металлы при себе.

^{8*} Во время грозы держите подальше от себя металлические предметы, например часы, кольца, ключи и т. д.; но оставайтесь в таких местах, где они нагромождены или находятся в соединении с другими телами, например, около плиты, печи, железной решетки и т. п. (нем.).

— Должно быть, так оно и есть. Само собой разумеется, что так и должно быть. Понимаешь, это вместо громоотвода. Надень свою пожарную каску, Мортимер, она почти вся металлическая.

Я достал и надел каску — вещь очень тяжелую, неуклюжую и неудобную жаркой ночью в душной комнате. Даже ночная рубашка и та казалась мне лишней,

— Мортимер, я думаю, для туловища тоже нужна защита. Надень, пожалуйста, свою ополченскую саблю. Я повиновался.

— Теперь, Мортимер, тебе надо как—нибудь защитить ноги. Не наденешь ли ты шпоры?

Я надел, не говоря ни слова и едва сдерживая раздражение.

— Мортимер, тут говорится: "Das Gewitterlauten ist sehr gefährlich, weil die Glocke selbst, sowie der durch das Lauten veranlasste Luftzug und die Höhe des Thurmes den Blitz anziehen konnten"^{9*}. Мортимер, значит ли это, что опасно не звонить в колокола во время грозы?

— Да, кажется так, если причастие прошедшего времени стоит в именительном падеже единственного числа, — а по—моему, оно так и есть. Да, я думаю, это значит, что при большой высоте церковной колокольни и отсутствии "Luftzug"^{10**} очень опасно (sehr gefährlich) не звонить в колокола во время грозы; тем более, видишь ли, что самая расстановка слов...

— Оставь эти пустяки, Мортимер, не трать драгоценное время на разговоры! Возьми большой обеденный колокол, он там, в прихожей. Скорей, Мортимер, милый, мы уже почти в безопасности. О господи! Кажется, мы все—таки останемся живы!

Наша маленькая летняя дача стоит на вершине высокой гряды холмов, над спуском в долину. По соседству находится несколько фермерских домиков, самые ближние шагах в трехстах — четырехстах от нас.

Взобравшись на стул, я звонил в этот ужасный колокол, должно быть, минут семь или восемь, как вдруг ставни с наших окон были сорваны снаружи, в окно кто—то просунул ярко горящий фонарь и хриплым голосом спросил:

— Что тут за дьявольщина такая творится? В окно просунулись чьи—то головы, чьи—то глаза ошалело уставились на мою ночную сорочку и боевые доспехи.

Я выронил колокол и, в смущении соскочив со стула, сказал:

— Ничего особенного но творится — так только, немножко беспокоимся из—за грозы. Я тут пробовал отвести молнию.

— Гроза? Молния? Да что вы, Мак—Вильямс, рехнулись, что ли? Прекрасная звездная ночь, никакой грозы нет.

Я выглянул в окно и так удивился, что сначала не мог выговорить ни слова. Потом сказал:

— Ничего не понимаю... Мы ясно видели вспышки молнии сквозь занавески и ставни и слышали гром.

Один за другим эти люди валились на землю, чтобы отхохотаться; двое умерли; один из оставшихся в живых заметил:

— Жалко, что вы не открыли ставни и не взглянули на верхушку вон той высокой горы! То, что вы слышали, была пушка, а то, что видели,— вспышки выстрелов. Видите ли, по телеграфу получено сообщение, как раз в полночь, что Гарфилд избран президентом. Вот в чем дело!

— ...Да, мистер Твен, как я уже говорил вам,— сказал мистер Мак—Вильямс, правила предохранения человеческой жизни от молнии так превосходны и так многочисленны, что я

⁹ * Бить в набат во время грозы очень опасно, так как и сам колокол, и тяга воздуха, возникающая при звоне, и колокольня, благодаря своей высоте, могут притягивать молнию (нем.).

¹⁰ ** Воздушной тяги (нем.).

просто понять не могу, как это все—таки люди ухитряются попасть под удар.

Сказав это, он захватил свой саквояж и зонтик и вышел, потому что поезд подошел к его станции.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Разговор по телефону, когда вы просто сидите рядом и никакого участия в нем не принимаете, — это, по моему разумению, одна из интереснейших диковинок в современной жизни. Например, вчера, когда я сидел и писал серьезную статью на возвышенную философскую тему, в комнате происходил подобного рода разговор. Оказывается, когда под рукой кто—нибудь говорит по телефону, пишется намного лучше. Ну вот началось все так: одна особа — член нашей семьи — зашла в комнату и попросила меня соединить ее по телефону с домом Баглеев, в деловой части города. Я давно заметил, что женщины, причем во многих городах, всегда стараются уклониться от переговоров с центральной телефонной станцией. Не знаю почему, но это так. Словом, я вызвал центральную, и между нами произошел такой разговор:

Центральная (грубо). Алло!

Я. Центральная?

Центральная. Конечно центральная. Что надо?

Я. Соедините меня, пожалуйста, с Баглеями.

Центральная. Соединяю. Не вешайте трубку.

Потом я слышу: клак, клак, крак... кррак, крак, клак, клак; потом — ужасный скрежет зубов; и наконец — пискливый женский голос:

— Да—а?.. (Постепенно голос повышается.) Вас слушают, кто говорит?

Не отвечая, я передаю трубку и усаживаюсь за стол. Тут—то и произошла самая странная вещь на свете — разговор, при котором слышно только одного собеседника. Вы слышите вопросы, но не слышите ответов. Слышите приглашения, и в ответ не слышите ни слова благодарности. Мертвая тишина вдруг прерывается неожиданными, ничем не оправданными восклицаниями то радостного изумления, то печали, то ужаса. И вы никак не можете взять в толк, о чем разговор, ибо не слышите ни слова из того, что говорится на другом конце провода. Так вот, за время этого разговора я услышал множество самых разнообразных реплик и ответов, причем все они выкрикивались, — ведь женщину невозможно убедить, что по телефону можно говорить и тихо.

— Да?! Но как же это случилось?

Молчание.

— Что вы сказали?

Молчание.

— Нет, нет! Я этого не думаю.

Молчание.

— Нет! Нет, нет, я вовсе не то хотела сказать. Я хотела сказать, положите, пока он еще кипит или совсем перед тем как закипит.

Молчание.

— Что?!

Молчание.

— Я прострочила по самой кромке со всех сторон.

Молчание.

— Да, мне тоже так нравится; но, пожалуй, все—таки лучше отделать валансьеном, или бомбазином, или чем—нибудь в этом роде. Это придаст вид... и сразу же бросится в глаза.

Молчание.

— Это сорок девятая Второзакония... от шестьдесят четвертой до девяносто седьмой

включительно. Мне кажется, нам всем следовало бы почаще перечитывать их.

Молчание.

– Может, и так. Я обычно употребляю шпильку для волос.

Молчание.

– Что вы сказали? (В сторону.) Дети, тише!

Молчание.

– Ах, год! Господи, а мне показалось, будто вы сказали кот.

Молчание.

– И с каких пор?

Молчание.

– Да что вы! Вот не знала!

Молчание.

– Вы удивляете меня! Ведь это ж, по—видимому, совершенно невозможно!

Молчание.

– Кто делает?

Молчание.

– Господи помилуй!

Молчание.

– И что только на свете творится!.. Неужто прямо в церкви?

Молчание.

– И ее мать там была?

Молчание.

– Господь с вами! Миссис Баглей! Я б со стыда сгорела! Что же они делали?

Молчание.

– Я, конечно, не могу быть совершенно уверена; ведь у меня нет под рукой нот; впрочем, мне кажется, это будет вот так: тра—ля—ля—ля—ля—ля—ля, трам—та—рам—ля—ля—ля—ля! Ну а потом повторяется.

Молчание.

– Да... по—моему, это очень мило... и очень торжественно и выразительно, но только если выдержать андантино и пианиссимо.

Молчание.

– Ах, леденцы, леденцы! Но я никогда не позволяю им есть сладости. Да, впрочем, они и не могут, во всяком случае пока у них нет зубов.

Молчание.

– Что?!

Молчание.

– Нет, несколько... продолжайте. Да, он здесь... пишет. Нет, это ему не мешает.

Молчание.

– Хорошо. Я приду, если смогу. (В сторону.) Господи, просто рука отваливается держать эту штуку. Чтоб ей...

Молчание.

– Нет, нет, несколько. Я люблю поговорить... Только боюсь, не задерживаю ли я вас...

Молчание.

– Что, гости?

Молчание.

– Нет, мы никогда не кладем на них масла.

Молчание.

– Да, это прекрасный способ. Но все поваренные книги говорят, они становятся вредны, когда проходит сезон. Да он их все равно не любит... особенно консервированные.

Молчание.

– Нет, мне кажется, это слишком дорого, мы никогда не давали больше пятидесяти центов за пачку.

Молчание.

– Вам надо идти? Тогда до свиданья.

Молчание.

– Да, по—моему так. До свиданья.

Молчание.

– Хорошо, в четыре часа, я буду готова. До свиданья.

Молчание.

– Очень благодарна, очень. До свиданья.

Молчание.

– Да нет, нисколько!.. совсем не устала... Какая?.. Ах, как я счастлива слышать это от вас. До свиданья. (Вешает трубку и говорит: «Ох, прямо рука отвалилась!»)

Мужчина просто сказал бы: «До свиданья» – и на этом кончил. Но женщины – нет! Они не таковы, – я это говорю в похвалу им, – резкость им не по нраву.

ЛЮБОПЫТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Этот рассказ я слышал от знакомого майора и записал его со всей точностью, на какую был способен.

Зимой 1862/63 года я был комендантом форта Трамбул, в Нью—Лондоне, Коннектикут. Может, наша жизнь там была и поспокойнее, чем на фронте, но все же хлопот хватало: по разным причинам приходилось все время быть настороже. На Севере тогда конца не было слухам о шпионах мятежников, — говорили, что они проникают всюду, чтобы взрывать наши форты, поджигать наши гостиницы, засылать в наши города отравленную одежду и прочее в том же роде. Вы сами, конечно, хорошо помните то время. Все это заставляло нас не дремать и разгоняло обычную скуку гарнизонной жизни. Кроме того, наш форт служил еще и пунктом рекрутского набора, стало быть нам недосуг было предаваться приятным мечтам или болтаться без дела.. Куда там! Несмотря на всю нашу предусмотрительность, половина набранных за день рекрутов смывалась от нас в первую же ночь. Рекрутам платили так щедро, что у новобранца, сунувшего часовому три—четыре сотни долларов, чтобы тот дал ему удрать, все еще оставалась на руках сумма, представляющая для бедного человека целое состояние. Да, как я уже сказал, дремать нам не приходилось. Итак, однажды я сидел у себя и писал, когда в комнату вошел бледный, оборванный паренек лет четырнадцати — пятнадцати, вежливо поклонился и спросил:

Скажите, пожалуйста, здесь записывают рекрутов?

Да.

Не запишете ли вы меня, сэр?

Боже мой, конечно нет! Ты слишком молод, мой мальчик, и слишком мал.

На его лице отразилось разочарование, быстро сменившееся глубоким унынием. Он медленно повернулся, словно собираясь уходить, затем снова взглянул на меня и сказал голосом, хватающим за сердце:

У меня в целом свете нет ни дома, ни друга. Если бы только вы могли записать меня!

Но об этом, конечно, не могло быть и речи, что я и сказал ему так мягко, как только сумел. Затем предложил ему погреться у печки и добавил:

— Подожди, я дам тебе чего—нибудь поесть. Ты проголодался?

Он не ответил, да и не нужно было отвечать: признательность, отразившаяся в его больших кротких глазах, была красноречивее любых слов. Он подсел к печке, а я продолжал писать. Изредка я украдкой посматривал на него. Я заметил, что хотя его одежда и обувь в грязи и порваны, но сшиты хорошо и из хорошего материала. Это наводило на размышления. Вдобавок ушло был тихни мелодичный голос, глубокие печальные глаза; его манеры и обращение говорили о хорошем воспитании; очевидно, бедняга попал в беду. В общем, я

заинтересовался.

Однако постепенно я углубился в работу и совсем забыл о мальчике. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но наконец я случайно поднял глаза. Мальчик сидел ко мне спиной, по мне была видна одна щека, и по этой щеке катились слезы.

«Господи помилуй, — сказал я себе. — Я совсем забыл, что бедный малый голоден». И, желая искупить свою жестокость, сказал:

Пойдем, паренек, пообедаешь со мной. Я сегодня один.

Он снова обратил ко мне благодарный взгляд и весь просиял. У стола он подождал, положив руку на спинку стула, пока я сяду, и лишь потом сел сам. Я взял нож, вилку... да так и застыл: мальчик, склонив голову, читал про себя молитву. Тысячи смутных воспоминаний детства нахлынули на меня, и я вздохнул, подумав, как далеко отошел я теперь от религии, от бальзама, который она проливает на израненные души, от ее утешения и поддержки.

За едой я заметил, что юный Уиклоу — его звали Роберт Уиклоу — умеет обращаться с салфеткой; одним словом, не вдаваясь в подробности, скажу, что мальчик этот явно был хорошо воспитан. Меня покорила его простодушная искренность. Говорили мы главным образом о нем, и мне не стоило труда выведать всю его историю. Когда он сказал, что родился и рос в Луизиане, мое расположение к нему еще более возросло, потому что я и сам некоторое время жил в тех краях. Я знал все о «прибрежном» районе Миссисипи, любил эти места и не настолько давно уехал оттуда, чтобы охладеть к ним. Мне приятно было даже просто слышать от него знакомые имена и названия — настолько приятно, что я нарочно направлял разговор так, чтобы ему приходилось произносить их. Батон—Руж, Плакмин, Дональдсонвилл, Коса на Шестидесятой миле, Бонне Карре, Якорный причал, Кэрролтон, Причал паровых судов, Причал пароходов, Новый Орлеан, Чупитула—стрит, Эспланада, улица Добрых Детей, отель св. Шарля, площадь Тиволи, Шелл—Род, озеро Поншартрэн; но особенно восхитительно звучали для меня: «Р. Э. Ли», «Натчез», «Затмение», «Генерал Квитмен», «Дункан Ф. Кеннер» и названия других знакомых старых пароходов. Я словно снова очутился там — так живо представилось мне при звуке этих названий все, что они обозначали. Вот вкратце история маленького Уиклоу.

Когда разразилась война, он с больной теткой и отцом жил близ Батон—Руж, на большой богатой плантации, принадлежавшей их семье уже полвека. Отец его был противником отделения южных штатов и подвергался за это всевозможным гонениям, но оставался верен своим взглядам. Наконец однажды ночью люди в масках подожгли их усадьбу, и им пришлось спасаться бегством. Их преследовали, им приходилось все время переезжать. Они испытали бедность, голод, несчастья. Больная тетка вскоре отмучилась: бедствия и жизнь без крова убили ее; точно бездомный бродяга, она скончалась в открытом поле, под проливным дождем, в грозу. Вскоре после этого отца захватила вооруженная шайка и, как ни просил и ни молил Роберт, несчастного повесили на глазах у сына. (Когда мальчик рассказывал об этом, глаза его гневно сверкнули, и он произнес, словно про себя: «Пускай мне нельзя записаться, но я все равно найду способ, найду».) Как только отец испустил дух, сыну объявили, чтобы он в двадцать четыре часа покинул этот край, иначе ему плохо будет. Той же ночью он пробрался на берег реки и спрятался у причала плантации. Вскоре подошел «Дункан Ф. Кеннер», Роберт подплыл и забрался в ялик, привязанный за кормой. Еще затемно судно подошло к Якорному причалу, и он выбрался на берег. Оставалось пройти три мили, от пристани до улицы Добрых Детей, где наш дядя Роберта, тут его беды на время кончились. Но этот дядя тоже стоял за северян и вскоре решил покинуть Юг. Вместе с дядей Роберт Уиклоу тайком уехал на паруснике, который в должный срок доставил их в Нью—Йорк. Остановились они в Астор—Хаусе. Некоторое время Уиклоу жил неплохо, разгуливал по Бродвею и дивился жизни и обычаям северян; но вскоре все переменилось — и не к лучшему. Поначалу дядя был весел, но зачем им овладели тревога и уныние; дальше — хуже, он стал угрюм и раздражителен, говорил, что деньги кончаются, а новых ждать неоткуда: «И на одного не хватит, не то что на двоих». Однажды утром он исчез — не появился к завтраку. Мальчик справился в конторе, и ему сказали, что

дядя накануне вечером оплатил счет и уехал, кажется в Бостон, а может, и еще куда—нибудь.

Малый остался один, без родных и без друзей. Он не знал, что делать, по решил последовать за дядей и постараться найти его. Он отправился на пристань, тут оказалось, что мелочи в его кармане не хватит на билет до Бостона, хватит только до Нью—Лондона, и он взял билет до этого порта, в надежде, что провидение поможет ему проделать остальной путь. Трое суток он бродил по улицам Нью—Лондона, то тут, то там его из милости кормили и пускали переночевать. Наконец он не выдержал: мужество и надежда покинули его. Если бы только его взяли в армию! Он был бы так благодарен, как никто другой! Если нельзя записаться в солдаты, то, может быть, его возьмут в барабанщики? Он будет так стараться, будет так признателен!

Вот вам, без излишних подробностей, вся история юного Уиклоу, как он мне ее поведал. Я сказал:

Мой мальчик, теперь ты среди друзей, не беспокойся больше ни о чем.

И как заблестели его глаза!

Я позвал сержанта Джона Рейберна — он из Хартфорда и сейчас живет в Хартфорде, может вы его знаете? — и сказал:

Рейберн, *поместите* этого *мальчика* с музыкантами. Я запишу его барабанщиком, а вы присмотрите за ним, и пусть его не обижают.

На этом, разумеется, общение командира форта с барабанщиком закончилось, но все равно злая судьба бедного одинокого мальчика тяготила мое сердце. Я следил за ним, надеясь, что со временем он разойдется, воспрянет духом и повеселеет; но дни шли за днями, а перемены все не было. Он держался особняком, вечно был рассеян, задумчив и печален. Однажды утром Рейберн попросил у меня разрешения обратиться по частному вопросу. Он сказал:

Не в обиду будь сказано, сэр, но только музыканты уже до того дошли, что прямо беда, — надо уж кому—нибудь сказать все начистоту.

А в чем дело?

Да все этот Уиклоу, сэр. Вы просто не представляете, до чего музыканты на него злы.

— Ну, ну, дальше. Что он такого делает?

Молится, сэр.

Молится?

Да, сэр. Музыкантам просто покоя нет от его молитв. Поутру он первым делом принимается за молитву; и днем тоже молится; а уж пошло — ночью он молится просто как одержимый! Скажете — спать? Господи помилуй, да спать—то они и не могут: он как возьмется, как запустит свою молитвенную мельницу, так к нему уже и не подступишься. Начинает он с капельмейстера и молится за него, потом принимается за старшего горниста и молится за него, потом начинает сверлить старшего барабанщика — и так перебирает весь оркестр подряд, и все с таким жаром, будто думает, что в этот мир попал ненадолго, а на том свете не будет ему счастья без духового оркестра, вот он и подбирает себе музыкантов загодя, чтобы верней было, чтоб они ему там играли национальные мелодии в лучшем виде, как полагается в подобном месте. Пробовали швырять в него сапогами, да все без пользы: во—первых, темно, а потом — он молится не по—честному: становится на колени за большим барабаном. Так что пусть сапоги хоть дождем сыплются, он и внимания не обращает — знай себе заливаётся, словно это аплодисменты. Ему кричат: «Заткнись!», «Дай нам отдохнуть!», «Пристрелите его!», «Пойди, прогуляйся!» — и все такое. Но что толку? С него как с гуся вода. Он ничего и не замечает.

Помолчали.

— Он еще и дурачок, — вновь заговорил Рейберн. — Встает утром пораньше и разносит всю эту грудку сапогов по принадлежности, сортирует их и расставляет — каждому его пару. В него уже столько раз швыряли сапогами, что теперь он знает каждый сапог в оркестре, может разобраться в них с закрытыми глазами.

После еще одной паузы, которую я не решился прервать, он продолжал:

И ведь что хуже всего: когда уж он кончает молиться — если вообще кончает, — он принимается петь. Вы и сами знаете, как он разговаривает — голос у него слаще меда, чугунную собаку, что у подъезда, и ту, кажется, заговорит так, что она сойдет с места и станет лизать ему руку. Ну, так поверьте мне, сэр, это еще пустяки перед его пением. Поет он нежнее всякой флейты. Слушаешь, как он журчит в темноте — мягко, ласково, тихо, — и так и чудится, что ты в раю.

Тогда что же в этом худого?

Так ведь это и есть хуже всего. Вы послушайте только, как он запекает: «Таков, какой я есть, слепой, несчастный», — только разок послушайте, как он это поет, и сами увидите — у вас внутри все растает, а из глаз побежит водичка! Не важно, что он поет. Какую песню ни запоет — она так и хватает за душу, и всякий раз от нее совсем размякнешь. Вы бы послушали, как он поет:

Дитя греха и скорби, страх тая в груди,
Для покаяния день завтрашний не жди,
И не горюй напрасно ты
О той любви, что с высоты...

ну и так далее. Чувствуешь себя самой что ни на есть скверной и неблагодарной двуногой скотиной. А когда он заводит песни про дом, про мать родную, про детство, да как вспоминает прошлое, что ушло безвозвратно, да про старых друзей, которые лежат в могиле... тут и сам вспомнишь все, что когда—то любил и потерял на веки вечные, — и заслушаешься, прямо как ангела небесного, сэр... по только сердце от этого так и разрывается. Музыканты все плачут, весь оркестр, — режут, канальи, навзрыд, даже и не скрываются. А потом вы и опомниться не успеете — вдруг все они, та самая шайка, что швыряла в него сапогами, вскакивают со своих коек, кидаются к нему в потемках и давай его обнимать! Да, обнимают его, распускают перед ним нюни, и называют ласковыми именами, и просят их простить. И если бы в эту минуту целый полк вздумал хоть пальцем тронуть этого щенка, так они пошли бы как один на этот полк, пошли бы и на целый армейский корпус.

Снова пауза.

Это все? — спросил я.

Да, сэр.

Хорошо, но на что же они жалуются? Чего они хотят?

Чего хотят? Бог с вами, сэр! Ясно, чего они хотят, — чтоб вы запретили ему петь.

Что за чушь! Вы же сказали, что его слушают, как ангела небесного.

Так точно. В том—то и беда, что как ангела. Простому смертному не выдержать. Это так встряхивает все нутро, так выворачивает наизнанку, так раздирает все чувства в клочья, кажешься себе грешным ничтожеством, годным только на вечную погибель. Без конца бичуешь себя да каешься, и кажется, все на свете плохо, и ничто в жизни не радует. А кроме того, видите ли, этим плаксам стыдно смотреть по утрам друг на друга.

Да, странный случай, подобных жалоб я еще не слыхал. Итак, они желают, чтобы мальчик перестал петь?

Да, сэр, вот именно. Они не хотят просить слишком многого. Они бы рады и молитвы прикончить или хотя бы укоротить малость, но главное — пение. Они так считают — если придушить это самое пение, то молитвы они уж как—нибудь вытерпят, хоть и не сладко это, когда над тобой так измываются.

Я сказал сержанту, что поразмыслию об этом деле. Ночью я пробрался в помещение музыкантской команды и стал слушать. Сержант не преувеличивал. Я слышал, как мальчик молился, слышал проклятия лишенных покоя людей, слышал, как со свистом летели сапоги и с грохотом падали вокруг большого барабана. Меня это немного растрогало, но и

позабавило. Затем, после выразительной паузы, началось пение. Бог ты мой, сколько в нем было чувства, сколько очарования! Никогда в жизни не слышал я ничего столь нежного, сладостного, щемящего душу, столь свято и трогательно волнующего. Я не стал там задерживаться, потому что начал испытывать чувства, не подходящие для коменданта крепости.

На следующий день я издал приказ, запрещающий молиться и петь после отхода ко сну. Затем последовали три—четыре дня, столь насыщенных разными неприятностями с дезертирами, что я забыл и думать о своем барабанщике. Но однажды утром является сержант Рейберн и говорит:

Этот новый парнишка ведет себя очень странно, сэр.

А в чем дело?

Да он, сэр, все время пишет.

Пишет? Что же он пишет, письма?

Не знаю, сэр; но когда он свободен, он все время шляется по форту, повсюду сует нос, — будь я проклят, если он уже не облазил тут все как есть дыры и закоулки! — и то и дело достает из кармана карандаш и бумагу и что—то строчит.

Это мне очень не понравилось. Я хотел было посмеяться над охватившим меня неприятным чувством, но не такое было время, чтобы смеяться над чем—либо, внушавшим хоть малейшее подозрение. Повсеместно на Севере происходили события, заставлявшие все время держаться настороже, быть начеку. Я припомнил наводящее на размышления обстоятельство: ведь мальчик—то родом с Юга, с крайнего Юга, из Луизианы, — в наших условиях это звучало не очень успокоительно. С болью в душе я отдал Рейберну необходимые указания. Я чувствовал себя отцом, затевающим заговор, чтобы выставить свое дитя на позор и поругание. Я велел Рейберну не поднимать шума, дожидаться удобного случая и раздобыть мне что—нибудь из этих писаний, но так, чтобы мальчик ничего не заметил. Я приказал ему поостеречься и ничем не показать мальчику, что за ним следят. Я распорядился также не ограничивать мальчика, пусть пользуется обычной свободой, но пусть кто—нибудь незаметно следит за ним, когда он уходит в город.

В следующие два дня Рейберн докладывал мне несколько раз. Успеха никакого. Мальчик по—прежнему что—то пишет, по каждый раз небрежно сует бумагу в карман, как только Рейберн появится поблизости. Дважды он заходил в городе в старую заброшенную конюшню, — побудет там минуту—другую и опять выйдет. Не задуматься над этим было нельзя, тут явно что—то было нечисто. Признаться, мне стало не по себе. Я ушел в кабинет и послал за своим заместителем — офицером умным и рассудительным, сыном генерала Джеймса Уотсона Уэбба. Он был удивлен и озабочен услышанным. Мы с ним долго обсуждали его дело и порешили, что надо потихоньку устроить обыск. Выполнить это я взялся сам. Велел разбудить меня в два часа ночи и вскоре уже полз на животе мимо храпящих солдат музыкантской команды. Наконец я добрался, никого не потревожив, до койки, на которой сладко посапывал мой найденыш, забрал его одежду и ранец и бесшумно пополз обратно. У себя я застал с нетерпением поджидавшего меня Уэбба. Мы тотчас приступили к обыску. Одежда нас разочаровала. В карманах, кроме чистой бумаги и карандаша, мы обнаружили только складной нож да разные никчемные пустяки и мелочи, которые обычно ценятся и собираются мальчишками. Мы с надеждой принялись за ранец. Но и там не нашлось ничего, кроме безмолвного упрека нам, — маленькой библии с надписью на первом листе: «Незнакомец, будь добр к моему мальчику ради его матери».

Я взглянул на Уэбба — и он опустил глаза; он взглянул на меня — и я опустил глаза. Оба мы молчали. Вскоре Уэбб встал и вышел, так и не сказав ни слова. Немного погодя я собрался с силами, чтобы довести до конца это неприятное дело, и опять ползком отнес свою добычу обратно. Когда занимаешься такими делами, ползать — самое подходящее.

Я от души обрадовался, когда все было кончено.

На следующий день около полудня, как обычно, явился Рейборн с докладом, но я сразу оборвал его.

Оставим эту чепуху, — сказал я. — Мы делаем какое—то пугало из бедного малыша, в котором зла не больше, чем в книге псалмов.

Сержант очень удивился.

Но ведь я действовал по вашему приказу, сэр, и я раздобыл кое—что из его писанины.

Ну и что же там оказалось? Как вы это достали?

Я заглянул в замочную скважину, вижу — он пишет. Когда мне показалось, что он уже кончает, я тихонько кашлянул, а он скомкал бумагу, бросил в огонь и огляделся — не идет ли кто. Потом опять уселся, как ни в чем не бывало. Тогда я захожу, дружески здороваюсь и отсылаю его с поручением. Он и глазом не моргнув, сразу полетел. Топили углем, его только недавно засыпали, бумажка упала за большой кусок угля, так что и не видать было, но я ее вытащил, вот она, — видите, совсем почти не обгорела.

Я взглянул на бумагу и прочел строчку—другую. Потом отпустил сержанта, велел прислать ко мне Уэбба. Вот эта записка полностью:

«Форт Трамбул, 8—го

Полковник,

я ошибся в калибре трех пушек, которыми заканчивался мой список. Они восемнадцатифунтовые. Остальное вооружение такое, как я указал. Гарнизон остается прежний, за исключением того, что две роты легкой пехоты, которые должны были отправиться на фронт, задерживаются, не могу сейчас сказать, на какой срок, по скоро узнаю. Мы довольны, что, с учетом всех обстоятельств, дело решено отложить до...»

Тут письмо прерывалось — Рейберн кашлянул и прервал писавшего. Все мое доброе расположение к мальчику, вся жалость, вызванная его злосчастной судьбой, мигом испарились, когда мне так внезапно открылась эта хладнокровная низость.

Но не важно, что я чувствовал. Перед нами было дело, требующее немедленного и напряженного внимания. Мы с Уэббом обсудили его со всех сторон. Уэбб сказал:

— Как жаль, что его прервали! Что—то должно быть отложено «до» — до каких пор? И что это может быть? Вероятно, он упомянул бы об этом, подлый маленький святоша!

— Да, — сказал я, — дали маху. Но о ком это он пишет — мы? О заговорщиках внутри форта или вне его?

Это мы вызывало неприятные мысли. Однако не стоило тратить время на пустые догадки, и мы перешли к практическим вопросам. Прежде всего решили удвоить караулы и смотреть в оба. Затем решили было вызвать Уиклоу и заставить его признаться во всем; но сперва следовало испробовать другие способы. Надо было раздобыть еще какие—нибудь его писания. С этого мы и решили начать. Вот что нам пришло в голову: Уиклоу ни разу не ходил на почту, вероятно ему служила почтовой конторой заброшенная конюшня. Мы послали за моим личным секретарем — молодым немцем по имени Штерне, который проявлял задатки прирожденного детектива, — все ему рассказали и велели приняться за работу. Не прошло и часу, как стало известно, что Уиклоу снова что—то пишет. Потом новое сообщение: он просит увольнительную в город. Его немного задержали, а Штерне тем временем поспешил в конюшню и спрятался там. Немного погоди туда, словно прогуливаясь, вошел Уиклоу, осмотрелся, потом спрятал что—то среди разного хлама в углу и, не торопясь, пошел прочь. Штерне кинулся к тайнику и принес, нам свою добычу. Это было письмо без адреса и без подписи. В нем повторялось то, что мы уже читали в прошлый раз, а дальше следовало:

«Мы полагаем, что лучше подождать, пока обе роты уйдут. То есть так думают четверо внутри форта, с остальными я еще не связался — опасаясь привлечь внимание. Говорю четверо, потому что двоих мы потеряли: едва они успели записаться и попасть в форт, как их отправили на фронт. Совершенно необходимо, чтобы их место заняли другие двое. Те, что уехали, были братья с Косы на Тридцатой миле. У меня есть очень важное сообщение, но я не могу доверить его этому способу связи, попробую другой».

— Маленький негодяй! — сказал Уэбб. — Кто бы мог подумать, что он шпион? Но это не важно, давайте подытожим наши сведения и посмотрим, как сейчас обстоят дела.

Во—первых, среди нас обнаружен шпион мятежников; во—вторых, среди нас есть еще трое, которых мы не знаем; в—третьих, шпионы эти проникают к нам таким простейшим способом, как вербовка в Союзную армию, и двое из них, очевидно, просчитались и отправлены на фронт; в—четвертых, у шпионов имеются сообщники «извне», сколько — неизвестно; в—пятых, Уиклоу хочет сообщить что—то очень важное, что он опасается передать «этим способом», «попробует другой». Вот как обстоят дела. Сцапать Уиклоу сразу и заставить во всем признаться? Или же захватить того, кто забирает письма из конюшни, и заставить говорить его? А может быть, лучше не поднимать шума и разведать еще что—нибудь?

Мы выбрали последнее. Мы рассудили, что не стоит принимать экстренные меры, раз заговорщики сами собираются выждать, пока не будут отосланы мешающие им две роты легкой пехоты. Мы подкрепили Штерне достаточным числом помощников и велели ему приложить все усилия, чтобы обнаружить «другой способ» связи, о котором писал Уиклоу. Мы решили вести рискованную игру, а для этого нужно было, чтобы шпионы как можно дольше ничего не подозревали. Итак, мы приказали Штерне сейчас же вернуться в конюшню и, если ничто не помешает, положить письмо Уиклоу на прежнее место, чтобы оно дошло до заговорщиков.

До наступления ночи ничего нового не случилось. Несмотря на холод, мрак, слякоть и пронизывающий ветер, я несколько раз за эту ночь выбирался из теплой постели и сам шел в обход, проверяя, все ли в порядке, все ли часовые начеку. Каждый раз я всех их заставал бодрствующими и настороженными; очевидно, слухи о таинственных опасностях носились в воздухе, и удвоение караулов в какой—то мере подтвердило эти слухи. Раз, уже под утро, я встретил Уэбба, мужественно преодолевавшего резкий встречный ветер, — оказалось, он тоже несколько раз обходил ночью посты, чтобы проверить, все ли в порядке.

События следующего дня ускорили развитие дела. Уиклоу написал еще одно письмо. Штерне, забравшийся в конюшню раньше него, видел, куда было положено письмо, завладел им, едва Уиклоу вышел, затем выскользнул из конюшни и на должном расстоянии последовал за маленьким шпионом, а за Штерне по пятам шел сыщик в штатском, так как мы рассудили, что хорошо бы на всякий случай заручиться помощью закона. Уиклоу пошел на вокзал, дождался гам нью—йоркского поезда и, пока приехавшие выходили из вагонов, он стоял и внимательно вглядывался в лица. Вскоре, прихрамывая, подошел пожилой человек в зеленых защитных очках и с тростью, остановился в двух шагах от Уиклоу и начал выжидательно осматриваться. В мгновение ока Уиклоу метнулся к нему, сунул ему в руку конверт, скользнул в сторону и скрылся в толпе. В следующий же миг Штерне выхватил письмо и, кинувшись прочь, шепнул сыщику: «Следуйте за стариком, не теряйте его из виду». Потом Штерне затерялся в толпе и немедленно отправился в форт.

Мы заперлись в кабинете, приказав часовому никого к нам по пускать.

Сперва мы вскрыли письмо, захваченное в конюшне. В нем стояло:

«Священному союзу. В той же пушке, что всегда, нашел оставленные там прошлой ночью указания Хозяина, отменяющие инструкции, полученные ранее от нижестоящей инстанции. Оставил в пушке обычный знак, подтверждающий, что указания попали по назначению».

Тут Уэбб перебил:

— Разве за мальчиком не следят?

Я сказал, что, с тех пор как было перехвачено первое письмо, с него не спускают глаз. Тогда как же он мог положить что—нибудь в пушку или вынуть что—нибудь из нее и не попасться?

Да, — сказал я, — это мне очень не нравится.

Мне тоже, — сказал Уэбб. — Ведь это значит, что заговорщики есть и среди часовых. Если б они ему так или иначе не потворствовали, он ничего не мог бы сделать.

Я послал за Рейборном и приказал ему обследовать все батареи — не найдется ли там чего. Затем чтение возобновилось:

«Новые указания окончательны и требуют, чтобы ММММ был ФФФФФ сегодня в три часа ночи. Двести человек придут маленькими партиями — поездом и другими способами — из разных мест и будут в назначенном месте в должное время. Сегодня я раздам условные знаки. Успех, по—видимому, обеспечен, хотя кое—что, вероятно, было замечено, так как караулы удвоены, а командиры прошлой ночью несколько раз обходили посты. В.В. прибывает с Юга сегодня и получит секретные приказы — другим способом. Вы все шестеро должны быть в 166 точно в два часа ночи. Там вы встретите Б. В., от которого получите подробные инструкции. Пароль прежний, только первый и последний слоги надо поменять местами. Помните ХХХХ. Не забывайте. Воспряньте духом: не успеет солнце взойти еще раз, как вы станете героями. Слава ваша будет вечна, вы впишете бессмертную страницу в книгу истории.

Аминь».

— Проклятие! — сказал Уэбб. — Ну и попали же мы в переделку, как я погляжу!

Я заметил, что, без сомнения, дело принимает серьезный оборот. Я сказал:

— Готовится отчаянное предприятие, это ясно. И назначено оно на сегодняшнюю ночь, это тоже ясно. Что это будет, верное — как это будет сделано, мы не знаем, это обозначено таинственными ММММ и ФФФФФ, но конечная цель, я полагаю, — внезапное нападение и захват форта. Теперь нам надо действовать быстро и энергично. Я думаю, что тайно наблюдать за Уиклоу уже нет смысла. Непременнo надо узнать, и поскорее, где находится «сто шестьдесят шесть», чтобы мы могли захватить эту шапку в два часа ночи; и, конечно, самый быстрый способ добыть все сведения — это развязать мальчишке язык. Но прежде всего, — прежде, чем мы предпримем какой—либо решительный шаг, — я должен изложить факты военному министерству и получить полномочия.

Донесение было зашифровано для передачи телеграфом, я прочел его, одобрил и отправил.

Быстро закончив обсуждение этого письма, мы вскрыли второй конверт, который был выхвачен у хромого старика. В нем оказались два чистых листка писчей бумаги — и только! Для нас, сгоравших от нетерпения, это было точно ушат холодной воды. На минуту собственное поведение показалось нам таким же лишенным всякого смысла, как эти листки. Но через минуту растерянность прошла, потому что мы, разумеется, сейчас же подумали о «симпатических чернилах». Мы подержали бумагу возле огня, ожидая, что под влиянием тепла на ней обозначатся письмена; но ничего не появилось, кроме нескольких слабых черточек, по которым ничего нельзя было понять. Тогда мы позвали нашего врача и приказали проверить эту бумагу всеми известными ему способами, пока секрет ее не откроется, и доложить мне о содержании письма немедленно, как только его можно будет разобрать. Эта проклятая задержка донельзя нас раздосадовала: ведь мы были убеждены, что в письме содержатся важнейшие сведения о заговоре.

Тут появился сержант Рейберн, достал из кармана кусок бечевки длиной с фут, с тремя узелками на нем, и поднял его, чтобы лучше было видно.

— Вот, нашел в одной из пушек на берегу, — сказал он. — Я вынул дульные пробки из всех пушек и хорошенько проверил их внутри. Кроме этой бечевки, ни в одной пушке ничего не было.

Итак, итог обрывок бечевки был «условным знаком», с помощью которого Уиклоу сообщал, что приказы «Хозяина» попали по назначению. Я приказал немедленно посадить под арест всех часовых, сменившихся за последние двадцать четыре часа у этой пушки, и чтобы никто не смел вступать с ними в общение без моего ведома и согласия.

Пришла телеграмма от военного министра. В ней сообщалось:

«Приостановите действие Habeas corpus. Введите в городе военное положение. Произведите необходимые аресты. Действуйте быстро и энергично. Держите министерство в курсе событий».

Теперь мы могли приняться за дело. Я распорядился без шума задержать хромого

старика и так же незаметно доставить его в форт; я приставил к нему стражу, запретив обращаться к нему и слушать его. Сперва он было разбушевался, но вскоре притих.

Затем поступило сообщение, что заметили, как Уиклоу передал что—то двум новобранцам; едва он отошел, их схватили и отвели в тюрьму. У каждого был найден клочок бумаги со следующей надписью карандашом:

Третий полет орла

Помни ХХХХ

166

В соответствии с инструкциями, я шифром телеграфировал министерству о ходе дела, а также описал вышеупомянутые бумажки. Наши сведения казались уже достаточно вескими, чтобы рискнуть сорвать с Уиклоу его маску, и я послал за ним. Я послал также за письмом, написанным симпатическими чернилами, и врач вернул мне его и сообщил, что оно до сих пор не поддавалось никаким испытаниям, но он знает еще другие способы, которые и применит, когда я сочту это нужным.

Вскоре вошел Уиклоу. Он выглядел несколько утомленным и озабоченным, но держался спокойно и непринужденно; если он что и подозревал, то ничем не выдал своей тревоги. Я выждал минуту, другую, затем сказал весело:

Мой мальчик, с чего это ты так часто навещаешь старую конюшню?

Он ответил просто и без всякого замешательства:

Право, я и сам не знаю, сэр, никаких для этого особых причин нет. Просто я люблю бывать один и хожу туда, чтобы развлечься.

Вот как, чтобы развлечься?

Да, сэр, — ответил он все так же просто и естественно.

И ты только для этого туда ходишь?

Да, сэр, — ответил он, и его большие кроткие глаза взглянули на меня с детским удивлением.

Ты в этом уверен?

Да, сэр, уверен.

Помолчав немного, я сказал:

Уиклоу, что это ты все время пишешь?

Я? Я не так уж много пишу, сэр.

Не много?

Нет, сэр. А, вы, наверно, говорите про те бумажки... Это я мараю просто для забавы.

И что ты делаешь с этими бумажками?

Ничего, сэр... просто бросаю.

И никогда никому их не посылаешь?

Нет, сэр.

Внезапно я резким движением протянул ему письмо, адресованное «полковнику». Он слегка вздрогнул, по тотчас овладел собой. Щеки его чуть порозовели.

Как же ты тогда послал эту бумажку?

Я не... Я ничего дурного по делал, сэр.

Ничего дурного! Ты выдал сведения о вооружении форта и считаешь, что в этом нет ничего дурного?

Он молчал, опустив голову.

Отвечай и перестань лгать. Кому предназначалось это письмо?

Тут он, казалось, немного встревожился, но быстро взял себя в руки и сказал очень серьезно и искренне:

Я скажу вам правду, сэр, всю правду. Письмо это никогда никому не предназначалось. Я написал его просто для забавы. Теперь я вижу, что это неправильная и глупая затея, но больше за мной никакой вины нет, сэр, даю вам честное слово.

Приятно слышать. Ведь писать такие письма опасно. Надеюсь, ты уверен, что написал только одно такое письмо?

Да, сэр, совершенно уверен.

Его наглость была просто поразительна. Он лгал с самым искренним выражением лица. Я выпадал мгновение, чтобы усмирить закипающий во мне гнев, затем сказал:

Послушай, Уиклоу, напруги—ка свою память и постарайся мне помочь, я хочу задать тебе два—три вопроса.

Я сделаю все, что смогу, сэр.

Тогда начнем вот с чего: кто такой «Хозяин»?

Невольно он бросил на нас быстрый испуганный взгляд. Но и только. Через секунду он уже был снова совершенно спокоен и ответил:

Я не знаю, сэр.

Не знаешь?

Не знаю.

Ты вполне уверен, что не знаешь?

Он изо всех сил старался выдержать мой взгляд, но не смог и медленно опустил голову. Он стоял молча и не шевелясь, только пальцы его нервно теребили пуговицу; на него жаль было смотреть, несмотря на всю низость его поступков. Немного погодя я нарушил молчание вопросом:

Что за люди в «Священном союзе»?

Он вздрогнул всем телом, невольно развел руками, — мне этот жест показался отчаянным немым призывом к состраданию, — но не вымолвил ни звука. Он стоял все так же потупившись. Мы не сводили с него глаз в ожидании ответа — и увидели, что по его щекам потекли крупные слезы. Но он молчал. Выждав еще немного, я сказал:

Отвечай, мой мальчик, ты должен сказать мне правду. Кто это — «Священный союз»?

Он продолжал молча плакать. Немного погодя я сказал, уже довольно резко:

Отвечай на вопрос.

Он постарался справиться с собой и, подняв на меня умоляющий взгляд, выдал сквозь рыдания:

О, сжальтесь надо мной, сэр! Я не могу ответить, потому что я не знаю.

Что?!

Да, да, сэр, я говорю правду. Я в первый раз слышу о «Священном союзе». Честное слово, сэр.

Ах черт! Да ты взгляни, вот твое второе письмо — видишь слова: «Священный союз»? Что ты на это скажешь?

Он пристально посмотрел на меня глазами человека, тяжело и безвинно оскорбленного, и сказал с чувством:

Это какая—то жестокая шутка, сэр. И кто только мог сыграть ее со мною? Ведь я всегда стараюсь поступать хорошо и никогда никого не обижал. Кто—то подделал мой почерк, я ничего этого не писал. Я в первый раз вижу это письмо.

Ах ты бессовестный лжец! Ну, а на это что ты скажешь?

Тут я выхватил из кармана и показал ему письмо, написанное симпатическими чернилами.

Он побелел, как мертвец, слегка пошатнулся и уперся рукой о стенку, чтобы не упасть. Немного погодя он еле слышным голосом спросил:

Вы... прочли его?

Должно быть, наши лица выдали правду раньше, чем я успел открыть рот, чтобы солгать, потому что мужество вернулось к нему, я это ясно заметил по его глазам. Я ждал, что он ответит, но он продолжал молчать. Наконец я не выдержал:

Ну, что же ты скажешь? Какие сведения содержались в этом письме?

Он ответил о полном самообладании:

Ничего, только одно: письма совершенно безвредны и невинны и никому не могут

причинить зла.

Я почувствовал себя словно в тупике, ведь я не мог опровергнуть его утверждений. Я не знал, как продолжать. Но тут мне пришла в голову одна мысль, и я сказал:

Значит, ты ничего по знаешь ни о «Хозяине», ни о «Священном союзе», и не писал этого письма, и заявляешь, что это подделка?

— Да, сэр, конечно.

Я медленно вытащил бечевку с узелками и молча показал ему. Он равнодушно посмотрел на нее, а затем обратился ко мне вопрошающий взгляд. Терпенье мое готово было лопнуть. Однако я сдержался и сказал обычным тоном:

Уиклоу, ты это видишь?

Да, сэр.

Что это такое?

— По—видимому, кусок бечевки.

По—видимому? Это именно кусок бечевки. Ты ее узнаешь?

Нет, сэр, — ответил он как нельзя спокойнее.

Его хладнокровие было просто потрясающе! Я выждал несколько секунд, чтобы молчание еще более подчеркнуло всю значительность того, что я собирался сказать, затем встал, положил ему руку на плечо и с расстановкой произнес:

Бедный мальчик, ничто на свете тебе уже не поможет. Этот условный знак «Хозяину», эта бечевка с узелками, найденная в стволе пушки на берегу...

— В стволе?! Нет, нет, нет, не в стволе, а в трещине дульной пробки! Она должна была быть в трещине пробки! — И он упал на колени, ломая руки, а на запрокинутое лицо его жаль было смотреть, так оно побледнело и исказилось от ужаса.

Нет, она была внутри, в стволе.

Ох, это какая—то ошибка! Боже мой, я пропал!

Он вскочил и начал метаться туда и сюда, увертываясь от протянутых к нему рук и пытаясь выбраться из комнаты. Но это, конечно, было невозможно. Тогда он, горько рыдая, снова бросился на колени, обхватил мои ноги и, цепляясь за меня, принялся умолять:

О, сжальтесь надо мной! Будьте милосердны! Не выдавайте меня, они сразу меня убьют! Защитите, спасите меня. Я во всем признаюсь!

Не скоро удалось успокоить его, умерить его страхи, заставить хоть немного опомниться. Тогда я начал допрос; он покорно отвечал мне, опустив глаза и время от времени смахивая бегущие по щекам слезы.

Итак, в душе ты мятежник?

Да, сэр.

И шпион?

Да, сэр.

— И действовал по определенным указаниям, получаемым извне?

Да, сэр...

По доброй воле?

Да, сэр.

— Может быть, даже с удовольствием?

Да, сэр, бесполезно было бы это отрицать. Сердцем я южанин, Юг — моя родина, и все это я делал во имя нее.

Значит, все твои рассказы о том, что тебе пришлось вынести и как преследовали твою семью, — заранее придуманная ложь?

Мне... мне велели так говорить, сэр.

И ты решился предать и погубить тех, кто пожалел и приютил тебя? Понимаешь ли ты, как ты запутался и до чего низко пал, бедняга?

Ответом были только всхлипывания.

Ладно, оставим это. Перейдем к делу. Кто такой «полковник» и где он находится?

Он начал горько плакать и попытался избежать ответа. Он заявил, что его убьют, если

он это скажет. Я пригрозил посадить его в карцер и запереть там, если он не будет говорить. В то же время я обещал ему защиту от любых покушений на его жизнь, если он чистосердечно во всем признается. В ответ он только упрямо сжал губы и не слушал никаких моих уговоров. Тогда я повел его в камеру, один вид которой мгновенно отрезвил его. Он разразился плачем, мольбами и заявил, что расскажет все.

Я привел его обратно, и он назвал «полковника» и сообщил его приметы. Сказал, что живет «полковник» в главной городской гостинице и ходит в штатском. Мне пришлось опять пригрозить ему, чтобы он описал и назвал «Хозяина». Он сказал, что «Хозяина» мы найдем в доме номер 15 по Бонд—стрит в Нью—Йорке, — он живет там под именем Р. Ф. Гейлорда. Я телеграфировал имя и приметы начальнику столичной полиции и просил арестовать Гейлорда и держать под арестом, пока я за ним не пришло.

Как видно, есть еще какие—то заговорщики вне форта, скорее всего в Нью—Лондоне, — сказал я. — Назови и опиши их.

Он назвал и описал трех мужчин и двух женщин; все они жили в главной городской гостинице. Я отдал распоряжение — их и «полковника» без лишнего шума арестовали и препроводили в форт.

Теперь я хочу знать все о трех твоих товарищах заговорщиках, которые находятся здесь, в форте

Он, по—видимому, хотел увильнуть от ответа при помощи какой—нибудь лжи, но я вытащил загадочные клочки бумаги, найденные у двоих из заговорщиков, и это оказало на него благотворное действие. Я сказал, что двое уже арестованы, и он должен указать третьего. Это его ужасно напугало, и он воскликнул:

О, пожалуйста, не пытайтесь, если я на него покажу, он убьет меня на месте!

Я сказал, что это чепуха, что кто—нибудь будет рядом, чтобы его защитить, а кроме того, людей соберут без оружия. Я приказал выстроить всех новобранцев; бедняга, дрожа, вышел и, стараясь сохранить самый безразличный вид, зашагал вдоль строя. Под конец он коротко сказал что—то одному из них, и не прошел дальше и пяти шагов, как тот был арестован.

Как только Уиклоу снова привели к нам, я приказал привести и тех троих. Сперва я вызвал одного из них и сказал:

Ну, Уиклоу, говорите одну только чистую правду. Кто этот человек и что вы о нем знаете?

Отступать было некуда, он перестал колебаться и, глядя в упор на того, о ком я спрашивал, без промедления выложил следующее:

Его настоящее имя Джордж Бристоу. Он из Нового Орлеана, два года назад был вторым помощником па. каботажном пакетботе «Капитолий». Отчаянный, никакого удержу не знает, дважды сидел за убийство: один раз раскроил череп матросу по имени Хайд, а другой — убил подсобного матроса, отказавшегося бросать лот, что, как известно, не входит в обязанности подсобных матросов. Он шпион, и полковник послал его сюда как шпиона. Он был третьим помощником на «Святом Николае», когда тот взорвался в пятьдесят восьмом году недалеко от Мемфиса, и его тогда чуть не линчевали, потому что он грабил убитых и раненых, когда их перевозили на берег на дощанике...

И так далее и тому подобное — вся биография была выложена полностью. Когда он кончил, я спросил вызванного:

Что вы можете на это сказать?

Не при вас будь сказано, сэр, он врет, как сам дьявол!

Я отослал его обратно в камеру и по очереди вызвал других. Тот же результат. Мальчик подробно описал жизнь каждого из них, ни разу не запнувшись ни в слове, ни в факте. Но от обоих негодяев я не добился ничего, кроме возмущенных утверждений, что все это ложь. Они ни в чем не сознались. Я отправил их обратно и вызвал одного за другим остальных заключенных. Уиклоу рассказал о них все — из какого города на Юге каждый приехал и мельчайшие подробности, касающиеся их участия в заговоре.

Но они все отрицали, и ни один ни в чем не сознался. Мужчины бесились от злости, женщины плакали. Послушать их — так все они были невинными приезжими с Запада и любили северян больше всего на свете. Я с возмущением засадил опять всю эту шайку и принялся снова допрашивать Уиклоу.

Где номер «сто шестьдесят шестой» и кто такой «Б. Б.»?

Но здесь он решил поставить предел своей откровенности. ни уговоры, ни угрозы не действовали. Время летело, необходимо было принять строгие меры. Я подвязал его за большие пальцы рук так, что он мог стоять только на цыпочках. Усиливающаяся боль исторгала у него пронзительные крики и вопли, слышать их было невыносимо. Но я твердо стоял на своем, и вскоре он выкрикнул:

Ох, пожалуйста, спустите меня, и я все скажу!

— Нет, сперва скажи, а тогда я тебя спущу.

Каждое мгновение стоило ему теперь невероятных страданий, так что ответ не заставил себя ждать.

Номер сто шестьдесят шестой — гостиница «Орел»!

Это был дрянной постоялый двор внизу у моря, посещавшийся простыми рабочими, грузчиками и еще менее почтенной публикой.

Я отвязал его, а затем потребовал назвать цель заговора.

Захватить форт сегодня ночью, — сказал он угрюмо, сквозь всхлипывания.

Все ли руководители заговорщиков у меня в руках?

Нет. Вы не захватили тех, кто должен собраться в сто шестьдесят шестом.

Что значит «помните ХХХХ»?

Ответа нет.

Каков пароль у тех, кто придет в номер сто шестьдесят шестой?

Ответа нет.

Что значат буквы: «ФФФФФ» и «ММММ»? Отвечай, а то за тебя примутся опять!

Этого я никогда не скажу! Лучше умереть. Делайте со мной что хотите!

Думай, что говоришь, Уиклоу. Это твое последнее слово?

Он ответил твердо, не дрогнувшим голосом:

Последнее. Я умру, но не открою этих тайн. И решение мое так же непоколебимо, как моя любовь к моей несчастной, оскорбленной родине, как моя ненависть ко всему, на что светит ваше Северное солнце.

Я снова подвесил его за пальцы. Когда боль стала невыносимой, сердце просто разрывалось от воплей несчастного, но мы ничего от него не добились. В ответ на все вопросы он кричал одно и то же:

— Я умру, но ничего не скажу!

Нам пришлось уступить. Мы убедились, что он действительно умрет, но не скажет. Его отвязали, увели в тюрьму и приставили строгую охрану.

Следующие несколько часов мы слали телеграмму за телеграммой в военное министерство и усиленно готовились к налету на номер 166.

В эту мрачную и тревожную ночь никто не знал покоя. Слухи о заговоре просочились, и весь гарнизон был настороже. Посты были утроены, и всякого, кто пытался войти или выйти из форта, останавливал часовой, беря его голову на мушку. Однако нам с Уэббом стало спокойнее: ведь заговор был почти обезглавлен, раз мы арестовали столько руководителей.

Я решил прийти в номер 166 заблаговременно, захватить Б.Б., заткнуть ему рот кляпом и дожидаться остальных. В четверть второго ночи я потихоньку выбрался из форта; меня сопровождали шестеро храбрых и дюжих кадровых солдат; мы захватили с собой и Уиклоу, связав ему руки за спином. Я сказал ему, что мы идем в номер 166, и если я обнаружу, что он снова наврал и сбил нас с толку, то он либо отведет нас, куда надо, либо получит по заслугам.

Осторожно мы подкрались к постоялому двору. Весь дом был погружен во мрак,

только в маленьком баре горел свет. Я попробовал открыть входную дверь, она поддавалась, мы тихо вошли, прикрыли ее за собой. Затем мы разулись, и я повел всех в бар. Там в кресле спал хозяин — немец. Я осторожно разбудил его и, предупредив, чтоб он не поднимал шуму, велел снять сапоги и идти впереди нас. Он повиновался безропотно, но явно был очень напуган. Я приказал ему вести нас в номер 166. Бесшумно, как кошки, мы поднялись на два или три лестничных пролета и пошли по длинному коридору к двери; через стекло в верхней ее части виднелся тусклый свет ночника. Хозяин в темноте тронул меня за руку и шепнул, что это номер 166. Я толкнул дверь — она была заперта изнутри. Я шепотом отдал приказ самому рослому из солдат, мы уперлись в дверь плечами и одним толчком сорвали ее с петель. Я уловил в постели очертания человеческой фигуры, увидел, как рука дернулась к свечке, огонек потух, мы очутились в непроглядной тьме. Одним огромным прыжком я очутился на кровати и придавил ее обитателя коленями. Мой пленник отчаянно сопротивлялся, но я схватил его левой рукой за горло, и это помогло моим коленям удержать его в постели. Я тотчас выхватил револьвер, взвел курок и приложил холодный ствол к его щеке.

— Ну—ка, посветите кто—нибудь! — сказал я. — Я его держу крепко.

Приказ был выполнен. Взметнулось пламя спички. Я взглянул на своего пленника и... провалиться мне на этом месте — это была молодая женщина!

Я отпустил ее и слез с кровати, чувствуя себя последним дураком. Все мы оторопело уставились друг на друга. Мы словно лишились всякого соображения, до того ошеломила нас эта неожиданность. Молодая женщина заплакала и закрыла лицо простыней.

Хозяин кротко проговорил:

Моя дочь, она что—нибудь сделала недозволенное, nicht wahr?^{11*}

Ваша дочь? Это ваша дочь?

Да, да, она моя дочь. Она только сегодня вечером приехала домой из Цинциннати, и она немножко нездорова.

Проклятье! Мальчишка снова наврал. Это никакой не сто шестьдесят шестой и не Б.Б.

Ну, Уиклоу, теперь ты нам покажешь, где настоящий номер сто шестьдесят шестой, не то... Эй! Где же мальчишка?

Удрал, ясное дело! Исчез бесследно. Положение было — хуже некуда. Я клял себя за свою глупость — надо было привязать его к кому—нибудь! Но что толку теперь каяться? Как быть дальше — вот вопрос. В конце концов, может быть, эта девушка и есть Б. Б. Правда, мне в это не верилось, но разве можно в таких случаях полагаться на свои чувства? Поэтому я все—таки поместил своих людей в свободной комнате напротив номера 166 и приказал хватать каждого, кто приблизится к комнате девушки; хозяина я оставил с ними под строгим надзором, впредь до будущих распоряжений. Затем я поспешил назад в форт — посмотреть, все ли там в порядке.

Да, все пока было в порядке. И осталось в порядке. Я не ложился всю ночь, чтобы быть наготове, но ничего не произошло. Я был несказанно рад, когда наконец рассвело и я смог телеграфировать министерству, что звездно—полосатый флаг продолжает развеваться над фортом Трамбул.

Огромная тяжесть свалилась с моей души. Но я, конечно, не ослабил ни бдительности, ни своих усилий раскрыть это дело до конца — слишком оно было серьезное. Я вызывал по

¹¹ * Не так ли? (нем.)

У меня осталось твердое убеждение, что лошадь была привязана к двери именно с этой целью, и мне известно, что того же мнения придерживался по крайней мере еще один из моих братьев по оружию, — мы с ним тогда дружно восхищались остроумием этой военной хитрости; но три года тому назад, когда я снова побывал на Западе, мр А. Дж. Фьюк, также служивший в нашем отряде, сообщил мне, что это была его лошадь, что он оставил ее на привязи у дверей просто по рассеянности и что, приписав этот маневр его стратегическим талантам, мы оказали ему незаслуженную честь. В доказательство он сослался на тот многозначительный факт, что лошадь к двери больше ни разу не привязывалась. Сам я об этом раньше както не подумал. —М. Т.

одному своих пленников и часами изводил их, пытаюсь заставить признаться, но напрасно. Они только скрежетали зубами, рвали на себе волосы и ни в чем не сознавались.

Около полудня поступили сведения об исчезнувшем мальчике: его видели в шесть часов утра на проселочной дороге, примерно в восьми милях от города, — он шел на запад. Я немедленно послал по его следам лейтенанта кавалерии в сопровождении рядового. Проехав миль двадцать, они увидели его. Он перелез через забор и устало плелся по размокшему полю, направляясь к большому старинному особняку, стоявшему на краю деревни. Они пересекли рожицу, сделали крюк и подъехали к дому с другой стороны, затем спешили и устремились в кухню. Там никого не было. Они проскользнули в следующую комнату — здесь тоже было пусто, дверь из этой комнаты в гостиную была открыта. Они уже хотели войти, как вдруг услышали тихий голос: кто—то молился. Они почтительно остановились, лейтенант заглянул в открытую дверь и увидел в углу, на коленях, старика и старуху. Старик читал молитву; и не успел он закончить, как отворилась наружная дверь и вошел Уиклоу. Старики бросились к нему и стали душить в объятиях.

— Наш мальчик! восклицали они. — Дорогой наш! Хвала господу! Нашелся пропавший! Он не умер, он жив!

Что же оказалось, сэръ? Этот чертенок родился и вырос тут, в усадьбе, и сроду не уезжал от нее дальше чем на пять миль, пока две недели назад не забрел ко мне и не одурачил меня своими чувствительными рассказами! Святую правду вам говорю. Старик — образованный, почтенный, удалившийся на покой священник — оказался его отцом, а та старая дама была его матерью.

Еще два словечка насчет этого мальчишки и его подвигов. Выяснилось, что он жадно поглощал дешевые приключенческие романы и всякое сенсационное чтиво, какое печатают иные журналы, так что разные жуткие тайны и напыщенный героизм были как раз в его вкусе. Кроме того, он начитался газетных сообщений о том, как проникают к нам шпионы мятежников, об их зловещих целях, о двух или трех случаях, когда они и впрямь нам сильно навредили, и воображение его распалилось. Его закадычным приятелем в последние месяцы был юнец янки, болтун и враль, проплававший года два «кусочником» (иначе говоря — помощником судового эконома) на каком—то пакетботе, курсировавшем между Новым Орлеаном и пристанями на две или три сотни миль вверх по Миссисипи, — отсюда та легкость, с которой он сыпал разными названиями и подробностями, относящимися к тем местам. Я же провел в тех краях всего два или три месяца еще до войны и знал ровно столько, чтобы попасться на удочку, тогда как уроженец Луизианы поймал бы его на каком—нибудь вранье в первые же четверть часа. А знаете, почему он заявил, что скорее умрет, чем выдаст некоторые свои заговорщицкие тайны? Да просто потому, что он не мог выдать их, ведь это была сплошная бессмыслица, он сочинял как придется и что придется, а потому, захваченный врасплох, сам не знал, как объяснить свои выдумки. Так, например, он не мог выдать тайну письма, написанного «симпатическими чернилами», по той простой причине, что никакой тайны и не было, — это были просто листки чистой бумаги. Он ничего не закладывал в пушку и даже не собирался закладывать; все его письма были адресованы вымышленным лицам, и когда он прятал очередное письмо в конюшие, то сам же забирал предыдущее; поэтому он ничего не знал о бечевке с узелками, пока я не показал ее ему; но, едва увидев ее, он тотчас дал волю своему воображению и разыграл несколько романтических сцен. Мистера Гейлорда он выдумал, на Бонд—стрит не было тогда дома под номером 15, его снесли тремя месяцами раньше. Он выдумал «полковника», он выдумал все, что так бойко наговорил на очной ставке с несчастными, арестованными мною; он выдумал Б. Б.; можно сказать, что и номер 166 был чистой выдумкой: он не знал, пока мы не явились в гостиницу «Орел», есть ли там комната под таким номером. Он готов был в любую минуту выдумать кого угодно и что угодно. Когда я спросил о шпионах извне, он, не мешкая, описал мне совершенно чужих людей, которых видел в гостинице и чьи имена ему случайно довелось услышать. Да, эти несколько богатых событиями дней он прожил в чудесном, таинственном, романтическом мире; и я думаю, что мир этот был для него вполне

реальным и он всей душой упивался происходящим.

Но нам он принес немало хлопот и бездну унижений. Ведь по его вине человек двадцать были арестованы и сидели в тюрьме форта, с часовыми у дверей. Большинство заключенных были солдатами и вообще подначальными людьми, перед ними я мог не извиняться; но были тут и почтенные граждане со всех концов страны, и никакие извинения не могли их удовлетворить. Они просто кипели от ярости и задали нам немало хлопот. А две арестованные дамы — одна из них оказалась женой конгрессмена из Огайо, другая — сестрой епископа с Запада — излили на меня столько презрения, насмешек и гневных слез, что я их, кажется, до самой смерти не забуду. Старый хромой господин в защитных очках оказался директором колледжа из Филадельфии, и приехал он на похороны племянника. Разумеется, он прежде никогда в жизни не видел этого мальчишку Уиклоу! И вот он не только пропустил похороны, не только попал в тюрьму как шпион мятежников — Уиклоу вдобавок хладнокровно заявил, что это фальшивомонетчик, торговец неграми, конокрад и поджигатель из гнезда мошенников в Гальвестоне, пользующегося самой дурной славой. От этого удара бедный старик, кажется, так и не оправился.

А военное министерство! Но, видит бог, это я предпочитаю обойти молчанием!

Примечание. Я показал свою рукопись майору, и он сказал:

— Вы плохо знакомы с военным делом и допустили некоторые незначительные ошибки. Но, поскольку они сами по себе довольно живописны, пусть остаются — у людей военных они вызовут улыбку, а остальные читатели их просто по заметят. Вы уловили главное в этой истории и довольно точно описали события.— *М. Т.*

ПОХИЩЕНИЕ БЕЛОГО СЛОНА

Не вошло в книгу «Пешком по Европе», так как возникло подозрение, что некоторые подробности в рассказе преувеличены, а другие не верны. Я не успел доказать необоснованность этих обвинений, и книгу сдали в печать.

I

Следующую любопытную историю я услышал от одного случайного попутчика в поезде. Добродушная, кроткая физиономия и вдумчивая простая речь этого джентльмена, которому было за семьдесят, налагали печать непререкаемой истины на каждое слово, исходившее из его уст. Вот что он рассказал мне: — Вам, наверное, известно, как почитают в Сиаме королевского белого слона. Вы знаете также, что владеть им может только король — это его священная собственность — и что в известной степени белый слон стоит выше короля, ибо мало того что ему воздаются всяческие почести — пред ним благоговеют. Так вот, пять лет тому назад между Великобританией и Сиамом возникли недоразумения по поводу пограничной линии, и, как сразу же выяснилось, Сиам был неправ. Англия немедленно получила следуемое ей удовлетворение, и ее представитель в Сиаме заявил, что, будучи вполне доволен исходом переговоров, он рекомендует предать недавние события забвению. Сиамский король облегченно вздохнул и, отчасти в знак признательности, а отчасти, может быть, для того, чтобы в Англии не осталось и тени недовольства им, решил преподнести королеве подарок, — ведь на Востоке не знают более верного способа умиловить врага. Подарку надлежало быть поистине царским. А какое подношение более всего могло соответствовать этому требованию, как не белый слон? Я занимал тогда видный пост на гражданской службе в Индии и был сочтен наиболее достойным чести доставить этот дар ее величеству. Для меня самого и для моих слуг, для военной охраны и целого штата,

приставленного к белому слону, снарядили корабль, и, прибыв в положенное время в Нью—Йоркскую гавань, я водворил своего подопечного вельможу в прекрасное помещение в Джерси—Сити. Эта остановка была необходима, ибо, прежде чем пускаться в дальнейший путь, слона следовало подлечить.

Первые две недели все шло прекрасно, а потом начались мои бедствия. Белого слона похитили! Глубокой ночью мне позвонили по телефону и сообщили об этом страшном событии. Несколько минут я был вне себя от волнения и ужаса, я чувствовал полную свою беспомощность; потом немного успокоился и собрался с мыслями. Мне стало ясно, что надо предпринять, и каждый разумный человек сделал бы на моем месте то же самое. Несмотря на поздний час, я немедленно выехал в Нью—Йорк и, обратившись к первому попавшемуся полисмену, попросил его проводить меня в главное управление сыскной полиции. К счастью, я поспел туда вовремя: начальник полиции, знаменитый инспектор Блант, уже собирался уходить домой. Инспектор оказался человеком среднего роста и плотного сложения, когда ему случалось задумываться над чем—нибудь, он хмурил брови и глубококомысленно постукивал себя указательным пальцем по лбу, и эта его привычка сразу же вселяла в вас уверенность, что вы имеете дело с незаурядной личностью. Только взглянув на него, я немедленно почувствовал к нему доверие и загорелся надеждой. Я изложил инспектору суть дела. Мои слова ни в коей мере не поколебали его железной выдержки – они произвели на него примерно такое же впечатление, как если бы я сообщил ему о пропаже собачки. Он знаком предложил мне сесть и сказал:

– Разрешите минутку подумать.

С этими словами инспектор сел за свой письменный стол и склонил голову на руки. В другом конце комнаты работали клерки; следующие шесть—семь минут я не слышал ничего, кроме скрипа их перьев. Инспектор сидел погруженный в глубокие думы. Наконец он поднял голову, и твердое, решительное выражение его лица сразу же показало мне, что мозг этого человека поработал не зря и что план действий уже составлен. Он начал негромким, но внушительным голосом:

– Да, это не совсем обычный случай. Надо действовать осмотрительно, надо быть уверенным в каждом своем шаге, прежде чем решаться на следующий. И тайна – глубочайшая, абсолютная тайна! Никому не рассказывайте о случившемся, даже репортерам. Предоставьте их мне. Они узнают только то, о чем я сочту нужным сообщить. – Он позвонил; появился молодой человек. – Элрик, пусть репортеры подождут. (Молодой человек удалился.) А теперь приступим к делу, и приступим методически. В нашем ремесле все построено на точности и скрупулезности метода.

Он взял перо и лист бумаги.

– Ну—с, так. Имя слона?

– Гассан—Бен—Али—Бен—Селим

– Абдалла

– Магомет

Моисей—Алхамалл—Джемсетджеджибой—Дулип, султан Эбу—Будпур.

– Прекрасно. Уменьшительное?

– Джумбо.

– Прекрасно. Место рождения?

– Столица Сиама.

– Родители живы?

– Нет, умерли.

– Другие отпрыски имеются?

– Нет, он был единственным ребенком.

– Прекрасно. По этим пунктам сведений достаточно. Теперь будьте добры описать внешность слона, не оставляя без внимания ни одной подробности, даже самой незначительной, – то есть незначительной с вашей точки зрения. Для человека моей профессии незначительных подробностей не существует.

Я исполнил просьбу инспектора; он записал все с моих слов. Когда я кончил, он сказал:

– Теперь слушайте. Если тут допущена малейшая неточность, поправьте меня. – И

прочел следующее: – «Рост – девятнадцать футов; длина от темени до основания хвоста – двадцать шесть футов; длина хобота – шестнадцать футов; длина хвоста – шесть футов; общая длина, включая хобот и хвост, – сорок восемь футов; длина клыков – девять с половиной футов; уши – в соответствии с общими размерами; отпечаток ноги похож на след от бочонка, если его поставить стоймя в снег; цвет слона – грязно—белый; в каждом ухе – дырка для украшений размером с блюдце; слон обладает привычкой поливать зрителей водой, а также колотить хоботом не только знакомых, но и незнакомых; слегка прихрамывает на правую заднюю ногу; с левой стороны под мышкой у него небольшой рубец – след зажившего нарыва; в момент похищения на спине у слона была башня с сидячими местами на пятнадцать персон и чепрак из золотой парчи величиной с ковер средних размеров».

Никаких неточностей я не обнаружил. Инспектор позвонил, отдал это описание Элрику и сказал:

– Немедленно напечатать в пятидесяти тысячах экземплярах и разослать во все имеющиеся в стране сыскные отделения и ссудные кассы.

Элрик удалился.

– Ну—с, так. Пока все идет прекрасно. Теперь мне нужен фотографический снимок вашей подвижности.

Я дал ему фотографию. Он посмотрел на нее критическим оком и сказал:

– Если лучшей нет, сойдет и эта. Только тут он подогнул хобот и забрал его в рот. Очень жаль! Это рассчитано на то, чтобы сбить с толку. Ведь вряд ли ваш слон всегда держит хобот в таком положении. – Он позвонил. – Элрик, размножить этот снимок в пятидесяти тысячах экземплярах и разослать завтра с утра вместе с описанием примет.

Элрик удалился выполнять приказ. Инспектор сказал:

– Теперь, как водится, надо назначить вознаграждение. Ну—с, назовите сумму.

– А сколько вы посоветуете?

– Я бы начал... ну, скажем, с двадцати пяти тысяч долларов. Дело крайне трудное и запутанное. Воры найдут множество способов скрыться и спрятать покражу. У них повсюду есть соучастники и подручные.

– Боже милостивый! Так вы их знаете?

Настороженное выражение лица этого человека, привыкшего таить свои мысли и чувства, ничего не сказало мне, равно как и его спокойный ответ:

– Это не важно. Может быть, знаю, а может быть, и нет. Наши подозрения обычно строятся на данных о манере работы грабителя и о размерах его поживы. Можно твердо сказать, что на сей раз мы имеем дело не с карманником и вообще не с мелким воришкой. Тут орудовал не новичок. Поэтому, принимая во внимание все вышесказанное и учитывая предстоящие большие разъезды и тщательность, с которой воры будут замечать свои следы, двадцати пяти тысяч, пожалуй, окажется маловато. Впрочем, думаю, что для начала хватит.

Итак, мы решили начать с двадцати пяти тысяч. Потом этот человек, от внимания которого не ускользала ни одна мелочь, если она хоть в какой—то мере могла служить ключом к разгадке преступления, сказал:

– История сыска знает немало таких случаев, когда преступника изобличал его же собственный аппетит. Теперь расскажите мне, что ваш слон ест и в каком количестве.

– Ну, если говорить о том, что он ест, так он ест решительно все. Он способен сожрать человека, сожрать Библию. Одним словом, он ест все, начиная с человека и кончая Библией.

– Хорошо, превосходно. Но это слишком общее указание. Мне нужны подробности – в нашем ремесле больше всего ценятся подробности. Вы говорите, он любит человечину; так вот, сколько человек он может съесть за один присест или, если угодно, за один день? Я имею в виду – в свежем виде.

– А ему все равно, в каком они будут виде – в свежем или несвежем. За один присест он может съесть пять человек среднего роста.

– Прекрасно! Пять человек – так и запишем. Какие национальности ему больше по

вкусу?

– Любые, он непривередливый. Предпочитает знакомых, но не брезгает и посторонними людьми.

– Прекрасно! Теперь перейдем к Библиям. Сколько Библий он может съесть за один присест?

– Весь тираж целиком.

– Это слишком неопределенно. Какое издание вы имеете в виду – обычное, *in octavo*, или иллюстрированное, для семейного чтения?

– По—моему, он равнодушен к иллюстрациям, то есть ему все равно, что картинка, что текст.

– Нет, вы меня не так поняли. Я интересуюсь размерами. Обычное издание, *in octavo*, весит около двух с половиной фунтов, а большое, *in quarto*, с иллюстрациями – от десяти до двенадцати. Сколько Библий с иллюстрациями Доре он съедает за один присест?

– Если б вы знали этого слона лично, вам бы не пришлось в голову об этом спрашивать. Ему только дай – он все сожрет.

– Тогда переведем на доллары и центы. Этот вопрос надо уточнить. Библия с иллюстрациями Доре в сафьяновом переплете и с серебряными наугольниками, стоит около ста долларов.

– Таких он съест тысяч на пятьдесят, то есть тираж в пятьсот экземпляров.

– Ну вот, это уже более или менее определено. Сейчас запишем. Прекрасно! Любит человечину и Библии. Так. Что он еще ест? Я должен знать все до последней мелочи.

– Наевшись Библий, он перейдет к кирпичам; наевшись кирпичей, он перейдет к бутылкам; наевшись бутылок, перейдет к тряпкам; наевшись тряпок, перейдет к кошкам; наевшись кошек, перейдет к устрицам; наевшись устриц, перейдет к ветчине; наевшись ветчины, перейдет к сахару; наевшись сахару, перейдет к пирогам; наевшись пирогов, перейдет к картошке; наевшись картошки, перейдет к отрубям; наевшись отрубей, перейдет к сену; наевшись сена, перейдет к овсу; наевшись овса, перейдет к рису – рисом его выкармливали с детских лет. Точнее говоря, нет такой вещи в мире, которую он бы не отведал, за исключением сливочного масла, – по той причине, что его в Сиаме не производят.

– Прекрасно. Общее количество потребляемого за один присест – приблизительно?...

– От двух с половиной центнеров до полутонны.

– А пьет он?

– Любое жидкое тело: молоко, воду, виски, патоку, касторку, скипидар, карболовую кислоту. Дальнейшее уточнение, по—моему, излишне. Можете внести в список любую жидкость, какая вам придет в голову. Он пьет все, что подходит под это определение, кроме европейского кофе, которого в Сиаме нет.

– Прекрасно! В количестве?...

– Пишите: от пяти до пятнадцати бочек – в зависимости от степени жажды. Что касается аппетита, то он неизменен.

– Случай действительно не совсем обычный. Тем легче будет выследить вашего слона.

Он позвонил.

– Элрик, вызовите ко мне капитана Бэрнса.

Вскоре появился Бэрнс.

Инспектор Блант изложил ему дело во всех подробностях. Потом сказал голосом ясным и твердым, как и подобает человеку, который пришел к определенному решению и который привык распоряжаться:

– Капитан Бэрнс, командуйте сыщиков Джонса, Дэвиса, Хэлси, Бэйтса и Хеккета на розыски слона.

– Слушаю, сэр.

– Командуйте сыщиков Мозеса, Дэкина, Мэрфи, Роджерса, Таппера, Хиггинса и Бартоломью на розыски воров.

- Слушаю, сэр.
- В то помещение, откуда слон был похищен, поставьте сильную охрану из тридцати самых надежных агентов и выделите им на смену еще тридцать человек. Пусть несут караул день и ночь; без моего письменного разрешения никого туда не пускать, кроме репортеров.
- Слушаю, сэр.
- Вышлите сыщиков в штатском на все железнодорожные и речные вокзалы, паромы и шоссевые дороги, идущие от Джерси—Сити. Всех подозрительных лиц подвергать обыску.
- Слушаю, сэр.
- Раздайте сыщикам фотографии с подробным описанием слона и распорядитесь, чтобы они производили обыск в каждом поезде, на каждом пароме и на всех судах.
- Слушаю, сэр.
- Если слон будет обнаружен, пусть схватят его и дадут мне знать об этом телеграммой.
- Слушаю, сэр.
- Если кто—нибудь из них обнаружит ключ к разгадке преступления – следы животного или что—нибудь в этом роде, – пусть известит меня немедленно.
- Слушаю, сэр.
- Распорядитесь, чтобы отряды полиции патрулировали все набережные.
- Слушаю, сэр.
- Разошлите сыщиков в штатском по всем железнодорожным линиям: к северу – до Канады, к западу – до Огайо, к югу – до Вашингтона.
- Слушаю, сэр.
- Посадите наших агентов во все телеграфные конторы, пусть перлюстрируют каждую телеграмму и требуют расшифровки всех зашифрованных депеш.
- Слушаю, сэр.
- Все эти мероприятия должны производиться в тайне; подчеркиваю: в строжайшей тайне.
- Слушаю, сэр.
- С рапортом являйтесь прямо ко мне в обычное время.
- Слушаю, сэр.
- Ступайте!
- Слушаю, сэр.

Он вышел.

Минуту инспектор Блант задумчиво молчал, и огонь, горевший в его глазах, потускнел и погас. Потом он повернулся ко мне и сказал спокойным, ровным голосом:

– Хвалиться я не люблю, это не в моих привычках, но слона мы найдем.

Я горячо пожал ему руку и поблагодарил его, поблагодарил от всего сердца. Чем дальше, тем все больше и больше нравился мне этот человек и тем сильнее я дивился тайнам и чудесам его профессии. Расставшись с ним, я отправился к себе в гостиницу, и сердце у меня билось гораздо спокойнее, чем в те минуты, когда я шел в сыскное отделение.

II

На следующее утро все газеты были полны подробнейших описаний моего дела. Не было недостатка и в некоторых дополнительных материалах, а именно в изложении «версий» сыщиков, имярек, касательно того, при каких обстоятельствах произошла кража, кто были воры и куда они скрылись со своей добычей. Таких версий насчитывалось одиннадцать, и они предусматривали все возможные варианты похищения, что свидетельствовало о выдающейся оригинальности мышления сыщиков. Среди всех этих версий нельзя было найти даже двух схожих между собой; их объединяла лишь одна любопытная деталь, относительно которой все одиннадцать сыщиков придерживались одного мнения: они утверждали, что хотя задняя стена сарая была проломлена, а единственная его дверь так и осталась на запоре, все же слона вывели из сарая не через

пролом, а через какое—то другое (не обнаруженное) отверстие. Воры проломили стену для того, чтобы направить сыщиков по ложному следу. Мне и другим непосвященным эта мысль никогда не пришла бы в голову, но сыщики не дали провести себя. Таким образом, в единственном пункте, который, на мой взгляд, был ясен и прост, я больше всего отклонился от истины. Авторы одиннадцати версий называли предполагаемых воров, но среди названных имен не было и двух одинаковых; общее количество лиц, взятых на подозрение, равнялось тридцати семи. Газетные отчеты заканчивались суждением, самым веским из всех предыдущих. Оно принадлежало старшему инспектору Бланту. Привожу выдержку:

«Старший инспектор знает, что главарями этой шайки были Молодчик Даффи и Рыжий Мак—Фадден. О готовящемся покушении ему стало известно за десять дней, и он начал слежку за этими двумя известными преступниками.

К сожалению, в последующую ночь следы их были утеряны, и птичка, то есть слон, упорхнула.

Даффи и Мак—Фадден славятся своей дерзостью. У инспектора есть все основания предполагать, что год назад именно они похитили в холодную зимнюю ночь печку из сыского управления, вследствие чего и сам инспектор, и все сыщики очутились к утру в приемном покое, кто с обмороженными руками, кто с обмороженными ногами, ушами, пальцами и тому подобное».

Прочтя первую половину сообщения инспектора Бланта, я еще сильнее, чем прежде, был поражен непостижимой мудростью этого загадочного человека. Он не только ясно читал в настоящем, но и проникал взглядом в будущее. Я немедленно отправился к нему в кабинет и сказал, что, по—моему, следовало бы арестовать этих людей заранее, не дожидаясь, когда они причинят столько хлопот и убытков. Но ответ инспектора был настолько прост, что я ничего не мог возразить ему:

— В наши обязанности не входит предупреждать преступление, мы наказываем за содеянное. Ты сначала соверши, а тогда мы тебя за руку схватим.

Я высказал далее сожаление, что тайна, которой мы с самого же начала окружили свои действия, сведена на нет газетами: они предали гласности не только факты, но и все наши планы и намерения и даже назвали по именам всех заподозренных лиц, которые теперь, без сомнения, примут меры, чтоб остаться неузнанными, или же постараются скрыться.

— Пусть! Когда ударит час, моя рука, как рука самой судьбы, настигнет их, где бы они ни прятались. Скоро им придется убедиться в этом. Что касается газет, то мы должны поддерживать с ними связь. Известность, слава, постоянное упоминание наших имен в печати — хлеб насущный для нас, сыщиков. Мы должны давать прессе фактический материал, иначе подумают, что у нас его нет; мы должны публиковать свои версии преступления, ибо на свете нет ничего более поразительного, чем домыслы сыщика, — ничто другое не вызывает к нему такого интереса и уважения. Мы должны сообщать в прессу о своих планах, ибо газеты настаивают на этом, а отказать — значит, обидеть. Читающая публика должна знать, что мы действуем, иначе у нее создастся впечатление, что мы сидим сложа руки. Гораздо приятнее прочесть в газете: «Остроумная и неожиданная версия, выдвинутая инспектором Блантом, заключается в следующем», чем давать повод для неприятных или, что еще хуже, саркастических замечаний по нашему адресу.

— Ваши доводы вполне убедительны. Но, читая сегодняшние газеты, я заметил, что по одному, правда второстепенному, пункту вы отказались высказаться.

— Да, мы всегда так делаем. Это производит хорошее впечатление. Кроме того, я еще не составил мнения по этому пункту.

Я вручил инспектору солидную сумму денег на текущие расходы и стал ждать сообщений о розысках. По нашим расчетам, первые телеграммы должны были поступить с минуты на минуту. Чтобы не терять даром времени, я снова перечитал газеты, а также описание слона и на этот раз заметил, что вознаграждение в двадцать пять тысяч долларов предлагалось только сыщикам. Я сказал инспектору, что награду следовало бы предложить любому, кто найдет слона. Инспектор ответил:

– Слона найдут сыщики, поэтому вознаграждение достанется тому, кому следует. Если же ваше животное обнаружат посторонние, значит, они подглядывали за нашими агентами и воспользовались имевшимися у них в руках путеводными нитями и уликами, а это опять—таки дает право на получение денег только сыщикам. Система наград существует для поощрения наших работников, которые отдают делу сыска все свое время и все свои знания, а не для того, чтобы одарять не по трудам и не по заслугам случайных лиц.

Его рассуждения показались мне довольно разумными. В эту минуту застучал телеграфный аппарат, стоявший в углу кабинета, и мы прочли следующую телеграмму:

«Флауэр—Стейшен, штат Нью—Йорк, 7 ч. 30 м.

Напал на след. Обнаружил глубокие отпечатки ног на дворе фермы. Шел по ним две мили к востоку. Безрезультатно. Думаю, слон повернул к западу. Буду выслеживать его в этом направлении.

Сыщик Дарли».

– Дарли – один из наших лучших агентов, – сказал инспектор. – Подождите, скоро он опять даст о себе знать.

Пришла телеграмма № 2:

«Варкер, штат Нью—Джерси, 7 ч. 40 м.

Только что прибыл. Ночью разграблен стеклянный завод, похищено восемьсот бутылок. Единственный большой водный резервуар находится в пяти милях от поселка. Направляюсь туда. Слону захочется пить.

Бутылки были пустые.

Сыщик Бейкер».

– Многообещающее начало! – сказал инспектор. – Я же вам говорил, что аппетиты вашего слона дадут нам кое—какой материал в руки.

Телеграмма № 3:

«Тэйлорвилл, Лонг—Айленд, 8 ч. 15 м.

За ночь исчез стог сена. Возможно, съеден. Напал на след, действую.

Сыщик Хабард».

– Какой он приткий, ваш слон! – сказал инспектор. – Я знал, что нам предстоит нелегкая работа, но мы его все—таки поймем!

«Флауэр—Стейшен, штат Нью—Йорк, 9 ч. Прошел к западу три мили.

Следы большие, глубокие, неровные по краям. Встретил фермера; утверждает, что это не слон. Говорит, что ямы остались с прошлой зимы, когда он выкапывал в мерзлом грунте молодые деревца. Жду дальнейших распоряжений.

Сыщик Дарли».

– Ага! Соучастник грабителей! Становится жарко, – сказал инспектор.

Он продиктовал следующую телеграмму на имя Дарли:

«Арестуйте фермера, заставьте его выдать сообщников.
Продолжайте идти по следам, если понадобится, до Тихого океана.
Старший инспектор Блант».

Следующая телеграмма:

«*Кони—Пойнт, штат Пенсильвания, 8 ч. 45 м.*
Ночью ограблена контора газового завода, похищены неоплаченные счета за три месяца. Напал на след, иду дальше.
Сыщик Мэрфи».

– Силы небесные! – воскликнул инспектор. – Неужели он станет есть счета за газ?
– Только по неосведомленности. Они совершенно непитательны.
Вслед за этим пришла еще одна ошеломляющая телеграмма:

«*Айронвилл, штат Нью—Йорк, 9 ч. 30 м.*
Только что прибыл. В поселке паника. В пять часов утра здесь появился слон. Одни утверждают, что он отправился дальше к востоку, другие – что к западу, третьи – к северу, четвертые – к югу. Установить точное направление не удалось, не было времени. Слон убил лошадь. Кусок лошади представлю в качестве вещественного доказательства. Животное убито при помощи хобота; судя по результатам, удар был нанесен слева направо. По положению трупа полагаю, что слон пошел дальше к северу, на Беркли, вдоль полотна железной дороги. У него четыре с половиной часа форы. Отправляюсь по следам немедленно.
Сыщик Хоуз».

Я радостно вскрикнул. Инспектор сидел невозмутимый, как идол. Он спокойно дотронулся до звонка.

– Элрик, вызовите капитана Бэрнсэ.

Борис явился.

– Сколько у вас человек наготове?

– Девяносто шесть, сэр.

– Немедленно пошлите их к Айронвиллу. Пусть станут вдоль железнодорожной линии на Беркли. К северу от города.

– Слушаю, сэр.

– Внушите им, что их передвижение должно сохраняться в строжайшей тайне. Освободившихся от дежурств не отпускайте, пусть ждут распоряжений.

– Слушаю, сэр.

– Можете идти.

– Слушаю, сэр.

Поступила еще одна телеграмма:

«*Сейдж—Корперс, штаг Нью—Йорк, 10 ч. 30 м.*
Только что прибыл. Слон появился здесь в 8.15. Всем удалось покинуть

город, кроме постового полисмена. Слон, по—видимому, метил не в него, а в фонарный столб. Погибли оба. Кусок полисмена представлю в качестве вещественного доказательства.

Сыщик Стамм».

– Итак, слон повернул в западном направлении, – сказал инспектор. – Но ускользнуть ему не удастся: мои агенты расставлены в этом районе повсюду.

Следующая телеграмма гласила:

«Гловер, 11 ч. 15 м.

Только что прибыл. Поселок обезлюдел. Остались одни больные и старики. Слон появился здесь три четверти часа назад, как раз во время заседания Лиги противников трезвости. Просунул хобот в окно и залил помещение водой, набранной в цистерне. Некоторые наглотались – исход смертельный; есть утонувшие. Сыщики Кроз и О'Шонесси проследовали через поселок в южном направлении, почему и разминувшись со слоном. Весь район на много миль в окружности повергнут в панику, люди покидают дома. Но слон настигает их всюду. Много убитых.

Сыщик Брент».

Я готов был зарыдать, так меня расстроили эти бедствия. Но инспектор ограничился следующими словами:

– Вот видите, мы его окружаем. Он это почувствовал и опять свернул на восток.

Однако это грустное сообщение было не последним. Скоро телеграф принес следующую весть:

«Хогенспорт, 12 ч. 19 м.

Только что прибыл. Слон прошел здесь полчаса назад, сея повсеместно ужас и смятение. Свирепствовал на улицах; из двух попавшихся ему водопроводчиков один убит, другой спасся. Всеобщее сожаление.

Сыщик О'Флаэрти».

– Его окружили со всех сторон, – сказал инспектор. – Теперь ему ничто не поможет.

Вслед за этим поступили телеграммы от сыщиков, которые, рассыпавшись по штатам Нью—Джерси и Пенсильвания, полные надежды и даже уверенности в успехе, рыскали по следам слона – то есть обследовали разрушенные сараи, фабрики и библиотеки воскресных школ. Прочитав эти телеграммы, инспектор сказал:

– Самое лучшее было бы снестись с ними и послать их дальше, но это невозможно. Сыщик заходит на телеграф только для того, чтобы отправить свое донесение, а потом его не доищешься.

Мы прочли еще одну телеграмму:

«Бриджпорт, штат Коннектикут, 12 ч. 15 м.

Барнум предлагает 4000 долларов в год за право использования слона в качестве подвижной рекламы до тех пор, пока он не будет изловлен сыщиками. Намерен оклеить его цирковыми афишами. Просит ответить без промедления.

Сыщик Богз».

– Какая нелепость! – воскликнул я.
– Вы совершенно правы, – сказал инспектор. – По—видимому, этот мистер Барнум считает себя большим хитрецом, но он плохо знает меня. Зато я его хорошо знаю.
И он продиктовал ответ на эту телеграмму:

«Барнуму отказать. 7000 – или ничего.
Старший инспектор Блант».

– Вот так. Ответа долго ждать не придется. Мистер Барнум сидит сейчас не у себя дома, а на телеграфе. Это его обычная манера, когда предвидится какое—нибудь выгодное дельце. Ровно через три...

«Согласен. *П. Т. Барнум*».

Таким известием прервал нашу беседу телеграфный аппарат. Я только собирался высказать свое мнение по поводу этого странного эпизода, как следующая телеграмма направила мои мысли по совершенно новому и весьма грустному пути.

«*Боливия, штат Нью—Йорк, 12 ч. 50 м.*

Слон появился здесь с южной стороны в 11 ч. 50 м., последовал к лесу, разогнав попавшуюся навстречу похоронную процессию и уменьшив количество провожавших на две персоны. Местные жители дали по нему несколько залпов из мелкокалиберной пушки и ударились в бегство. Сыщик Берк и нижеподписавшийся прибыли сюда с северной стороны с опозданием на десять минут и, приняв глубокие ямы в земле за отпечатки ног животного, потеряли много драгоценного времени. Однако нам удалось напасть на его следы, которые вели к лесу. Мы стали на четвереньки и, не отрывая глаз от земли, чтобы не потерять следа, добрались до кустов. Берк полз первым. К несчастью, животное остановилось в кустах на отдых, и Берк, поглощенный рассматриванием следов, ткнулся головой прямо в задние ноги слона, не подозревая, что тот находится так близко. Впрочем, он сейчас же вскочил, ухватил животное за хвост и воскликнул ликующим голосом: «Вознаграждение за мн...» Но кончить ему не удалось, ибо слону было достаточно одного удара хоботом, чтобы отправить храбреца на тот свет. Я побежал назад, но слон повернулся и с невероятной быстротой погнал меня к опушке леса. Моя гибель была неизбежна, но, к счастью, на дороге опять появились остатки разогнанной похоронной процессии, которые и отвлекли его внимание. Только что узнал, что от покойника ничего не осталось. Потеря небольшая, ибо сейчас этого добра здесь более чем достаточно. Слон снова исчез.

Сыщик Малруни».

Некоторое время мы не получали никаких новых известий, если не считать донесений усердных и обстоятельных сыщиков, действовавших в Нью—Джерси, Пенсильвании, Делавэре и Виргинии и то и дело натывавшихся на свежие и бесспорные следы. А потом, в начале третьего часа, поступила следующая телеграмма:

«*Бакстер—Сентр, 2 ч. 15 м.*

Слон появился здесь, оклеенный цирковыми афишами, и, прорвавшись на молитвенное собрание, покалечил многих верующих, готовившихся приобщиться благодати. Граждане загнали его в загон и выставили стражу. Приехав вскоре после этого, мы с сыщиком Брауном прошли за ограду и приступили к опознанию слона, пользуясь фотографическими снимками и описанием его примет. Все совпало в точности, если не считать рубца под мышкой, которого нам так и не удалось обнаружить. Сыщик Браун подлез под слона, желая проверить наличие рубца, и немедленно остался без головы – черепок вдребезги, мозги не обнаружены. Все бросились наутек, в том числе и слои, раздававший меткие удары направо и налево. Ему удалось скрыться, но кровь, льющаяся из ран, полученных им в результате попаданий пушечных ядер, указывает его путь. Обнаружим в ближайшее время. Он ушел к югу, продираясь сквозь густую лесную чащу.

Сыщик Брант».

Эта телеграмма была последней. А к ночи на землю спустился такой туман, что на расстоянии трех футов уже ничего нельзя было разглядеть. Туман продержался всю ночь. Движение паромов и даже омнибусов было приостановлено.

III

На следующее утро газеты опять были полны версий различных знатоков сыска. Уже известные нам трагические факты излагались со всеми подробностями, а кроме того, приводилось и много других сведений, полученных по телеграфу от специальных корреспондентов. Броские заголовки занимали примерно треть каждой колонки, и когда я читал их, у меня холодела кровь. Общий тон был таков:

БЕЛЫЙ СЛОН НА СВОБОДЕ. ОН СОВЕРШАЕТ СВОЙ ГУБИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ. ПОСЕЛКИ ОБЕЗЛЮДЕЛИ, НАСЕЛЕНИЕ В УЖАСЕ ПОКИДАЕТ ДОМА! ЛЕДЯНОЙ СТРАХ ПРЕДШЕСТВУЕТ ЕМУ! СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЕ ИДУТ ПО ЕГО СТОПАМ! СЫЩИКИ В АРЬЕРГАРДЕ. РАЗРУШЕННЫЕ ДОМА, РУИНЫ ФАБРИК, ЗАГУБЛЕННЫЙ УРОЖАЙ, РАЗОГНАННЫЕ ЛЮДСКИЕ ТОЛПЫ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ОПИСАНИЮ КРОВАВЫЕ СЦЕНЫ! ЧТО ДУМАЮТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ВИДНЕЙШИХ ДЕЯТЕЛЯ СЫСКА? ЧТО ДУМАЕТ СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР БЛАНТ?

– Вот видите! – торжествующе сказал инспектор Блант, изменяя своему обычному спокойствию. – Блестяще! Такой удачей не может похвалиться никакое другое агентство в мире. Слава о нас разойдется по всем уголкам земного шара, выдержит любое испытание временем, и мое имя пребудет в веках!

Но я не мог радоваться вместе с ним. Мне казалось, что кровавые преступления слона ложатся на мою совесть, что он только слепое орудие во всех этих злодеяниях. А как вырос их список! В одном городке он «нарушил ход выборов и уложил на месте пятерых подставных избирателей». Вслед за этим «смерть настигла еще двух несчастных, по фамилии О'Данахью и Мак—Фланниган, которые только накануне обрели пристанище в тихой гавани угнетенных всего мира и были повержены беспощадной дланью сиамского чудовища как раз в ту минуту, когда они, впервые воспользовавшись благородным правом американских граждан, подходили к избирательным урнам». В другом месте «он встретил иступленного проповедника, готовившегося к своим очередным нападкам на танцы, театр и другие развлечения, которые можно хулить, не опасаясь пощечин с их стороны, и наступил на него». Еще где—то «он убил агента по распространению громоотводов». Таков был список его преступлений, который с каждым часом становился все более кровавым и разрывал мне сердце. Шестьдесят человек убитых, двести сорок раненых! Все сообщения

свидетельствовали о неутомимой энергии сыщиков и беззаветной преданности их своему делу, и все они заканчивались так: «Этого страшного зверя видели собственными глазами триста тысяч граждан и четыре сыщика, из которых двое убиты».

Я с ужасом ждал, не застучит ли снова телеграфный аппарат. И действительно, вскоре начали поступать новые сообщения, но я был приятно разочарован ими. Мало—помалу выяснилось, что слон исчез бесследно. Воспользовавшись туманом, он, по—видимому, скрылся от преследования и нашел себе надежное пристанище. В телеграммах, поступавших из самых неожиданных и отдаленных пунктов, говорилось, что там—то и там—то, в таком—то часу видели сквозь густой туман огромную махину, и это, «вне всякого сомнения, был слон». Эта огромная, еле различимая сквозь туман махина появлялась в Нью—Хейвене, в Нью—Джерси, в Пенсильвании, в штате Нью—Йорк и даже в самом Нью—Йорке, в Бруклине – и быстро исчезала, не оставляя после себя никаких следов. Сыщики, откомандированные во все концы страны, ежечасно присылали отчеты, и у каждого из них имелась своя путеводная нить к разгадке преступления, и у каждого дело было на мази, и каждый был близок к поимке слона.

Но этот день не принес ничего нового.

Следующий тоже.

Прошел и третий день.

Газетные отчеты становились бледными. Сообщаемые ими факты ничего не давали, путеводные нити никуда не приводили, а очередные версии преступления уже были лишены тех элементов новизны, которые поражают, восхищают и ошеломляют читающую публику.

По совету инспектора я увеличил обещанное вознаграждение вдвое.

Прошло еще четыре томительных дня. И вдруг бедные самоотверженные сыщики получили тяжелый удар: редакторы газет отказались печатать их материалы и холодно заявили: «Дайте передохнуть».

Через две недели после пропажи слона я, по совету инспектора, увеличил вознаграждение до семидесяти пяти тысяч долларов. Это была очень большая сумма, но я предпочитал пожертвовать всем своим состоянием, чем потерять доверие правительства. Теперь, когда сыщики очутились в таком незавидном положении, газеты ополчились на них и принялись осыпать несчастных ядовитейшими насмешками. Это подхватили бродячие театрики, и актеры, одетые сыщиками, вытворяли бог знает что, носясь по сцене в поисках слона. На карикатурах сыщики обшаривали поля и леса, вооружившись подозрными трубами, а слон преспокойно воровал у них яблоки из карманов. А как издевались карикатуристы над полицейским значком! Вам, вероятно, приходилось видеть этот значок, исполненный золотым тиснением на обложках детективных романов. На нем изображен глаз, под которым стоит подпись: «Недремлющее око». Если сыщику случалось зайти в бар, то хозяин бара, якобы в виде милой шутки, задавал ему вопрос, в свое время ходкий среди завсегдатаев таких мест: «Что прикажете подать, чтобы око продрать?» Сыщикам буквально не давали прохода подобными насмешками.

И только один человек продолжал хранить в такой обстановке спокойствие, невозмутимость и выдержку: это был непоколебимый инспектор Блант. Он ни перед кем не опускал глаз, его безмятежная уверенность в себе оставалась неизменной. Он повторял:

– Пусть беснуются. Смеется тот, кто смеется последним!

Мое восхищение этим человеком граничило с каким—то благоговейным чувством. Я не отходил от него ни на шаг. Пребывание в его кабинете стало угнетать меня и становилось тягостнее день ото дня. Но я считал, что если он выносит все это, то мне тоже не следует сдаваться, во всяком случае до тех пор, пока не иссякнут силы. И я приходил туда ежедневно и был единственным посторонним человеком, которого хватало на такой подвиг. Все удивлялись мне, и я сам частенько подумывал, не удрать ли отсюда, но одного взгляда на это спокойное и, по—видимому, не омраченное тяжелой думой чело было достаточно, чтобы снова набраться стойкости.

Однажды утром, недели через три после пропажи слона, когда я уже собирался сказать,

что мне придется покинуть свой пост и удалиться восвояси, великий сыщик, словно прочитав мою мысль, предложил еще один блистательный, мастерский ход.

В нем предусматривалось соглашение с преступниками. Изобретательность этого человека превзошла все, что я знал до сих пор, хотя мне и приходилось сталкиваться с самыми изощренными умами нашего века. Инспектор заявил: чтобы достигнуть соглашения с преступниками, ста тысяч долларов будет вполне достаточно, и слон найдется. Я ответил, что попытаюсь наскрести эту сумму, но как быть с несчастными сыщиками, которые трудились с такой беззаветной преданностью своему делу? Инспектор сказал:

– В таких случаях они всегда получают половину.

Мое единственное возражение было снято. Инспектор написал две записки следующего содержания:

«Сударыня!

Ваш супруг сможет заработать солидную сумму денег (с полной гарантией, что закон не посягнет на его личность), если он согласится на немедленную встречу со мной.

Старший инспектор Блант».

Одна из этих записок была отправлена с доверенным лицом особе, которая считалась женой Молодчика Даффи. Другая – особе, которая считалась женой Рыжего Мак—Фаддена.

Через час пришли два весьма оскорбительных ответа:

«Старый дурень! Молодчик Даффи два года как помер.

Бриджет Нагони».

«Старый тюфяк! Рыжего Мак—Фаддена давно вздернули, он уж полтора года как в раю. Это каждому ослу известно, только не сыщикам.

Мэри О'Хулиген».

– Я давно это подозревал, – сказал инспектор. – Вот вам еще одно доказательство безошибочности моего инстинкта.

Если какой—нибудь из планов рушился, этот человек был готов немедленно заменить его другим. Он сейчас же составил объявление в утренние газеты, копия которого у меня сохранилась:

«А – ксвбл. 242. Н. Тнд. – фз 328 вмлг. ОЗПО —; 2 м! огв. Тс—с!»

– Если вор жив и здоров, – пояснил мне инспектор, – он обязательно явится в условленное место встречи, где обычно заключаются все сделки между сыщиками и преступниками. Встреча должна состояться завтра, в двенадцать часов ночи.

Никаких других дел больше не предвиделось, и я, не теряя времени, с чувством громадного облегчения покинул кабинет инспектора.

Я пришел туда на следующий день в одиннадцать часов вечера, имея при себе сто тысяч долларов наличными. Они были немедленно вручены инспектору Бланту, который вскоре удалился, все с той же отвагой и уверенностью во взоре. Невыносимо долгий час уже

подходил к концу, когда я вдруг услышал желанные шаги и, задыхаясь, неверными шагами двинулся навстречу инспектору. Каким торжеством сияли его прекрасные глаза! Он сказал:

– Сделка состоялась! Завтра критиканы запоют другую песенку! Следуйте за мной!

Он взял зажженную свечу и спустился вниз, в огромное сводчатое подземелье, где обычно спали шестьдесят сыщиков, а сейчас человек двадцать коротали время, играя в карты. Я шел за ним по пятам. Инспектор быстро направился в дальний полутемный конец подземелья; и как раз в ту минуту, когда я, задыхаясь от невыносимой вони, уже терял сознание, он споткнулся о какую—то необъятную тушу и повалился на пол со следующими словами:

– Наша благородная профессия восстановила свою поруганную честь! Вот он, ваш слон!

Меня внесли в кабинет инспектора Бланта на руках и привели в чувство карболовой кислотой. Явились сыщики в полном составе, и тут началось такое бурное ликование, равного которому мне никогда не приходилось видеть. Вызвали репортеров, откупорили шампанское, стали провозглашать тосты, обмениваться рукопожатиями, поздравлениями. Героем дня, разумеется, считался старший инспектор, и его счастье было так полно и так честно заслужено, что даже я радовался вместе со всеми, – я, который стоял там как бездомный нищий и знал, что мой драгоценный подопечный мертв, что моя репутация загублена, ибо я не сумел выполнить порученной мне высокой миссии. Не один красноречивый взор говорил о преклонении сыщиков перед своим шефом, не один голос шептал: «Посмотрите на него. Ведь это король сыска! Дайте ему путеводную нить, и от него ничто не скроется!»

Распределение пятидесяти тысяч долларов прошло с большим подъемом. Засовывая в карман свою долю, старший инспектор произнес коротенькую речь. Вот что он сказал:

– Друзья мои, вы заслужили свою награду. Больше того – благодаря вам наша профессия покрыла себя неувядаемой славой.

Как раз в эту минуту ему подали телеграмму, в которой было написано следующее:

«Монро, штат Мичиган, 22 ч.

Впервые за несколько недель попал на телеграф. Ехал по следам верхом тысячу миль сквозь густой лес. С каждым днем следы становятся все явственнее, глубже и свежее. Не беспокойтесь, еще неделя, и слон будет найден. Это наверняка.

Сыщик Дарли».

Старший инспектор предложил крикнуть троекратное «гип—гип—ура» в честь Дарли, «одного из самых блестящих наших агентов», и затем приказал вызвать его телеграммой обратно для получения причитающейся ему доли.

Так закончилась эта эпопея с похищением слона. На следующий день все газеты, за исключением одной, рассыпались в похвалах сыщикам. А тот презренный листок разразился следующей тирадой:

«Славны дела твои, о сыщик! Ты, правда, не всегда проявляешь достаточную расторопность при розыске таких мелочей, как затерявшийся слон, ты гоняешься за ним день—деньской, а ночью в течение трех недель спишь по соседству с его разлагающейся тушей, но в конце концов ты обнаружишь пропажу, если тот человек, который затащил слона в твой дом, приведет тебя туда и ткнет в него пальцем».

Бедный Гассан был потерян для меня навеки. Ранения от пушечных ядер оказались смертельными. Он пробрался в мрачное подземелье под прикрытием тумана и там, окруженный врагами, подвергаясь постоянной опасности быть обнаруженным, угасал от голода и страданий и наконец нашел успокоение в смерти.

Сделка с преступниками обошлась мне в сто тысяч долларов, расходы по розыскам –

еще в сорок две тысячи. Я не осмеливался просить у правительства какой—нибудь должности. Я стал банкротом, бездомным странником. Но мое преклонение перед этим человеком, перед величайшим сыщиком, которого когда—либо знал мир, не увядает до сего времени и пребудет во мне до конца дней моих.

ЛЕГЕНДА О ЗАГЕНФЕЛЬДЕ, В ГЕРМАНИИ

I

Более тысячи лет назад здесь было королевство – совсем крошечное, правда, можно даже сказать игрушечное, но королевство. В этих краях люди не знали ни интриг, ни соперничества, ни междоусобиц, ни прочих тревожащих смутного старого времени, и потому жизнь их текла тихо и спокойно и граждане королевства были самым добрым и простодушным народом на земле: здесь царили мир и покой и жителям чужды были корысть и честолюбие, а значит, не было места зависти, – и все были счастливы и довольны.

Когда пришло время, старый король умер, и его малолетний сын Губерт взошел на престол. Народ души не чаял в новом короле; он был так добр, так чист сердцем и так благороден, что любовь народа к нему, возрастая с каждым днем, превратилась в настоящую страсть, народ боготворил его. Когда он родился, звездочеты тщательно изучили расположение небесных светил, и вот что они прочли в звездной книге:

На четырнадцатом году жизни Губерта произойдет событие, чреватое серьезными последствиями: живая тварь, голос которой покажется Губерту самым прекрасным на свете, спасет ему жизнь. Пока король и народ будут чтить всю ее породу, древний королевский род не иссякнет и страна не будет знать ни войн, ни мора, ни нужды. Но беда, если король ошибется в выборе!

Когда молодому королю пошел тринадцатый год, его подданные потеряли покой. Один—единственный вопрос без конца обсуждался придворными звездочетами, государственными чиновниками и простым народом: как понять последнюю фразу пророчества? Из всего сказанного как будто следует, что тварь, которая спасет жизнь королю, сама даст о себе знать в нужную минуту. Однако заключительные слова могут означать, что король должен заблаговременно решить и объявить народу, чей голос более всего радует его слух, – и если решение его будет мудрым, это существо спасет ему жизнь, спасет династию и народ. Но если он ошибется в выборе – быть беде!

Год подходил к концу, а споры все продолжались. Однако большинство мудрецов, да и простаков, склонялось к тому, что благоразумнее всего молодому королю заранее сделать выбор, и чем скорее, тем лучше. И вот был издан и разослан указ, предписывающий всем гражданам – владельцам животных и птиц, обладающих приятным голосом, доставить оных в большой зал королевского дворца утром, в день рождения его величества. Королевское повеление было исполнено. Когда все было готово, король торжественно вступил в зал, сопровождаемый верховными сановниками королевства, облаченными в пышные одежды соответственно своему сану. Король взошел на трон и приготовился вынести свое суждение. Но, послушав немного, он сказал:

– Они все подают голос сразу. Шум просто невыносимый. Как же тут выбрать? Уберите их всех отсюда, и пусть появляются по одному.

Так и поступили. Певчие птицы одна за другой улаждали слух юного короля, и одну за другой их уносили обратно, освобождая место для следующего претендента. Текли драгоценные минуты. Но как трудно было выбрать лучшего среди стольких сладкоголосых певцов, тем более что за ошибку была обещана столь суровая кара. И молодой король не

знал, как ему быть, боялся довериться собственным ушам. Он совсем растерялся, и на лице у него было написано страдание. Министры заметили это – ведь они ни на минуту не спускали с него глаз – и стали говорить про себя: «Мужество покинуло его. Он утратил способность судить хладнокровно. Он, конечно, ошибется. Он сам, династия и весь народ обречены».

Так прошло около часа. И наконец король, после недолгого молчания, сказал:

– Принесите снова коноплянку.

И опять зазвенели ликующие трели коноплянки. Король уже готов был поднять скипетр в знак того, что выбор сделан, но сдержался и сказал:

– Давайте все же проверим. Принесите дрозда. Пусть они поют вместе.

Дрозда принесли, и обе птицы стали выводить самые прекрасные свои рулады. Некоторое время король колебался, затем, судя по выражению его лица, он стал склоняться к какому—то решению. Надежда вновь пустила ростки в сердцах старых министров, кровь быстрее заструилась в их жилах; королевский скипетр начал медленно подниматься, как вдруг... Какой ужас! У самых дверей раздался рев: «Иа—а, иа—а, иа—а!»

Все перепугались, и каждый рассердился на самого себя, что не сумел этого скрыть.

Тут в зал вбежала прехорошенькая, премиленькая деревенская девочка лет девяти. Ее карие глаза задорно сияли. Но, увидев вокруг себя сердитые физиономии высокопоставленных персон, она замерла на месте, потом опустила голову и закрыла лицо грубым передником. Никто с ней не заговорил, никто не пожалел ее. Тогда она подняла полные слез глаза и робко сказала:

– Мой король и повелитель, прости меня, пожалуйста, я не хотела сделать ничего дурного... У меня нет ни отца, ни матери, но у меня есть коза и осел, и они мне дороже всего на свете. Моя козочка дает мне сладкое молоко, а когда мой милый ослик кричит, мне кажется, я слышу прекраснейшую музыку. Его превосходительство королевский шут сказал, что животное, у которого самый красивый голос, спасет корону и государство, – вот я и подумала, что мне нужно привести его сюда и...

Высокое собрание разразилось грубым хохотом, и девочка с плачем выбежала из зала, так и не договорив. Первый министр лично распорядился, чтобы девчонку с ее ужасным ослом выгнали вон из дворца, высекли и впредь не подпускали на пушечный выстрел.

Испытание певчих птиц возобновилось. Дрозд и коноплянка старались изо всех сил, но скипетр в руках короля оставался неподвижным. Распустившиеся было в сердцах присутствующих надежды снова увяли. Прошел еще час, два часа, а король все не мог принять решение. День клонился к вечеру, и народом, толпившимся вокруг дворца в ожидании королевского суда, овладели тревога и беспокойство. Наступили сумерки, тени все больше сгущались. Король и его свита уже не различали лиц друг друга. Никто не произносил ни слова, никто не приказал зажечь свечи. Великое испытание закончилось. Ничего из него не вышло. Придворные прятали лица, стараясь скрыть охватившую их тревогу.

И вдруг... чу! Могучие чистые звуки божественной мелодии полились из дальнего угла зала – соловей!

– Довольно! – воскликнул король. – Звоните во все колокола. Пусть народ знает, что выбор сделан и мы не ошиблись. Король, династия и нация спасены. И пусть отныне соловья чтут во всем королевстве. Возвестите народу: любой, кто посмеет обидеть соловья, поднять на него руку, – будет предан смерти. Так сказал король.

Все маленькое королевство было пьяно от радости. Перед королевским замком и на улицах города всю долгую ночь пылали костры, народ танцевал, пил и пел, и до утра не смолкал торжествующий перезвон колоколов.

С этого дня соловей стал священной птицей; его песни слышны были в каждом доме; поэты слагали стихи в его честь; художники рисовали его; его лепное изображение красовалось на всех арках, башенках, фонтанах и фронтонах общественных зданий. Он даже присутствовал на всех заседаниях королевского совета, и ни один вопрос государственной важности не решался до тех пор, пока придворные мудрецы не изложат его перед соловьем и

не переведут министрам, что именно спел соловей в ответ.

II

Молодой король был страстным охотником. Когда наступило лето, он взял однажды сокола и собаку и отправился на охоту в сопровождении своей блестящей свиты. В лесу он и сам не заметил, как отдалился от остальных. Он попытался найти их, выбрав, как ему казалось, кратчайший путь, но ошибся. Он все ехал и ехал, сначала полный надежды, но под конец мужество стало изменять ему. Спустились сумерки, а он все плутал в безлюдных и незнакомых местах. И тут случилось несчастье. В темноте он направил своего коня сквозь густую чащу кустарника, росшего по самому краю крутого каменистого обрыва. И вот и конь и всадник оказались на дне оврага; у лошади была сломана шея, а у короля – нога. Бедный маленький король лежал на земле, страдая от мучительной боли, и каждый час казался ему длиннее месяца. Он чутко прислушивался, не раздастся ли какой—нибудь звук, который сулил бы ему надежду на спасение; но не слышно было ни человеческого голоса, ни охотничьего рога, ни лая собак. В конце концов он потерял всякую надежду и сказал:

– Раз уж мне суждено умереть, пусть скорее приходит смерть.

И в ту же минуту сладкая, нежная соловьиная песнь всколыхнула безмолвие ночи.

– Я спасен, – сказал король. – Спасен! Это священная птица, предсказание сбывается! Сами боги помогли мне сделать правильный выбор.

Он не мог сдержать радостного волнения, не знал, как выразить переполнявшие его чувства. Каждую минуту ему казалось, что он слышит приближение избавителей. И каждый раз его постигало разочарование. Избавление не приходило. Тоскливые часы тянулись бесконечно. Помощь не появлялась, а священная птица все пела и пела. В душе короля зашевелились сомнения: быть может, он ошибся в выборе? – но он подавил их. Перед рассветом соловей замолк. Наступило утро, король почувствовал голод и жажду, а спасение все не шло. Новый день подходил к концу, и король наконец проклял соловья.

И тут же в лесу раздалось пение дрозда. Король сказал себе: «Вот та самая птица. Я ошибся в выборе. Теперь придет избавление».

Но избавление не приходило. Король лишился чувств и пролежал много часов без сознания. Когда он пришел в себя, пела коноплянка. Он слушал ее уже равнодушно. Он больше ни во что не верил. «От этих птиц помощи не дождешься, – думал он. – Я, мое королевство и мой народ обречены». И он приготовился умереть. Он очень ослабел от голода, жажды и мучительной боли и чувствовал, что конец его близок. Ему даже хотелось умереть, чтобы избавиться наконец от страданий. Долгие часы лежал он без мыслей, без чувств, без движения. Но потом снова очнулся. Занималась заря третьего дня. Измученному мальчику мир показался таким прекрасным! И внезапно страстное желание жить вспыхнуло в его сердце. Из глубины его души излилась горячая мольба: он молил небеса сжалиться над ним и позволить ему еще раз увидеть родной дом и друзей. В эту минуту откуда—то издали донесся слабый—слабый, еле слышный звук. Но как сладок, как невыразимо приятен был этот звук, как жадно вслушивался в него король: «Иа—а, иа—а, иа—а!»

– Да этот крик прекраснее, в тысячу раз прекраснее пения соловья, и дрозда, и коноплянки! Он несет не только надежду, но и уверенность в близком избавлении. Теперь я и вправду спасен! Священный певец сам дал о себе знать, как и предсказывали звездочеты. Прорицание сбылось. Моя жизнь, моя династия, мой народ спасены. Отныне священным животным королевства будет осел.

Божественные звуки приближались, становились все громче. Для несчастного страдальца они звучали волшебной музыкой. Вот уже маленькое послушное животное спускается по склону оврага, пощипывая траву и продолжая кричать: «Иа—а, иа—а, иа—а!». Увидев мертвую лошадь и раненого короля, осел подошел ближе и с простодушным и трогательным любопытством обнюхал их. Король погладил его. Ослик опустил на колени, как обычно делал, когда его маленькая хозяйка хотела прокатиться верхом. С величайшим трудом, преодолевая боль, взобрался мальчик ему на спину и ухватился за большущие

ослиные уши. С криком «иа—а, иа—а, иа—а» осел тронулся в путь и привез короля прямо к хижине, где жила маленькая деревенская девочка. Она уложила короля на свои соломенный тюфячок, напоила его козьим молоком и побежала сообщить замечательную весть какому—нибудь из отрядов, посланных на розыски короля.

Король выздоровел и первым делом провозгласил осла священным и неприкосновенным животным. Затем он распорядился ввести своего спасителя в состав кабинета и сделать его первым министром королевства. И, наконец, он приказал уничтожить все изображения соловья и заменить их портретами и статуями священного осла. В заключение он объявил, что, когда приютившей его девочке исполнится пятнадцать лет, он сделает ее своей женой и королевой. И он сдержал свое слово.

Такова легенда. Она объясняет, почему полустершееся изображение осла украшает все эти ветхие стены и арки. Она объясняет также, почему из столетия в столетие в этом королевстве, да и в большинстве других, кабинет министров по сей день возглавляет осел. И, наконец, она объясняет, почему в этом маленьком королевстве на протяжении многих веков все замечательные поэмы, речи, книги, публичные выступления и все королевские указы начинались с волнующих слов: «Иа—а, иа—а, иа—а!»

МАК—ВИЛЬЯМСЫ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТ ВОРОВ

Сперва беседа текла легко и плавно. От погоды мы перешли к видам на урожай, от видов на урожай – к изящной словесности, от изящной словесности к сплетням, от сплетен к религии. Потом, сделав рывок, мы каким—то образом завели речь об автоматической сигнализации от воров и тут мистер Мак—Вильямс начал горячиться. Когда я вижу, что мистер Мак—Вильямс горячится, я сразу умолкаю и даю ему излить свои чувства. Вот что он рассказал мне, с трудом справляясь с охватившим его волнением:

– Что касается автоматической сигнализации от воров, мистер Твен, я не дам за нее ломаного гроша. Сейчас я вам расскажу – почему. Когда постройка нашего дома шла к концу, выяснилось, что у нас осталось немножко денег, – уж не знаю, как водопроводчики их проморгали. Я хотел пожертвовать эти деньги на спасение язычников, – у меня всегда была слабость к язычникам, – но миссис Мак—Вильямс заявила, что хочет поставить в доме сигнализацию от воров. Пришлось пойти на компромисс. Видите ли, если мне хочется одного, а миссис Мак—Вильямс другого и мы решаем поступить так, как хочется миссис Мак—Вильямс, – а мы всегда решаем только так, – это называется у нас «пойти на компромисс». Так вот, приехал специалист из Нью—Йорка, установил сигнализацию, взял триста двадцать пять долларов и отбыл, заверив нас, что теперь мы можем спать спокойно. И действительно, мы спали спокойно около месяца. Однажды ночью запахло дымом, и я получил приказ встать и выяснить, в чем дело. Я зажег свечку, пошел к выходной лестнице и встретил там грабителя, который уносил корзину с нашей оловянной посудой (в темноте он принял ее за столовое серебро). Он курил трубку.

Я сказал:

– Друг мой, мы не разрешаем курить в комнатах.

Он ответил, что впервые в доме и не знает, какие у нас правила. Он добавил, что бывал в домах не хуже нашего и ни разу никто не запрещал ему курить в комнатах, Он сказал также, что, насколько ему известно, подобные правила вообще не относятся к грабителям.

Я сказал:

– Если так, курите на здоровье, хотя я лично сомневаюсь, что в правилах, которым подчиняется даже епископ, нужно делать исключения для грабителя. Поступать так – значило бы подрывать нравственность. Однако ближе к делу. Как вы смели залезть в дом тайным, недозволенным образом, не давши сигнала против воров?

Он заметно смутился и сказал виновато!

– Тысяча извинений! Я не знал, что у вас установлена сигнализация от воров, а то непременно воспользовался бы ею. Умоляю вас никому не рассказывать о моем проступке, у меня старики родители, и если они узнают, сколь грубо я нарушил священные традиции нашей христианской цивилизации, это может роковым образом ускорить их переход из сей земной юдоли в великие и бескрайние просторы вечности. Нет ли у вас спички?

Я сказал:

– Ваши чувства делают вам честь. Впрочем, если позволите критическое замечание, метафоры вам не даются. Чиркать о подметку бесполезно, эти спички загораются, только когда вы чиркаете о коробок, да и то реже, чем хотелось бы. Вернемся к нашему разговору. Как вы сюда попали?

– Через окно на втором этаже.

Он не врал. Я выкупил у него оловянную посуду по ценам ломбарда без скидки, пожелал ему спокойной ночи, запер за ним окно и отправился с докладом к фельдмаршалу. Наутро мы вызвали специалиста из Нью—Йорка. Он приехал и разъяснил нам, что сигнального звонка не было потому, что сигнализация проведена только на первом этаже. Ничего глупее я в жизни не слышал. Это все равно что идти в бой, надев латы только на ноги. Специалист провел автоматическую сигнализацию от воров на втором этаже, получил свои триста долларов и удалился.

Немного спустя, проходя ночью по дому, я встретил на третьем этаже грабителя, который, нагрузившись нашим добром, готовился спуститься по приставной лестнице. Сперва я решил пробить ему череп бильярдным кием, но потом, увидев, что вор занимает позицию между мной и стойкой для киев, счел более правильным пойти на соглашение. Я выкупил у него наши вещи по узаконенной таксе минус десять процентов за пользование хозяйской лестницей. Наутро мы снова послали за специалистом и за триста долларов провели сигнализацию на третьем этаже.

К этому времени наш сигнализационный указатель достиг неслыханных размеров. Это был щит на сорок семь «точек», с обозначением всех комнат и печных труб в доме. Его можно было принять за гардероб средней величины. В изголовье нашей кровати был установлен сигнальный гонг размерами с умывальный таз. Из дому к спальне кучера в конюшне шел электрический провод, а над подушкой у кучера висел второй гонг, не менее внушительного вида.

Теперь все было в порядке, если не считать небольшого упущения: ровно в пять часов утра, когда кухарка открывала кухонную дверь, чтобы растопить плиту, гонг начинал звонить. Когда это случилось первый раз, я решил, что настало светопреставление. Не думайте, что я пришел к этой мысли лежа в постели. При первом же ужасающем звуке гонга вы вылетаете из постели и несетесь по дому, как вихрь, пока не врежетесь в стенку. После этого вас словно скручивает, и, пока кто—нибудь не захлопнет кухонную дверь и не выключит сигнализацию, вы извиваетесь всем телом, подобно пауку, попавшему на горячую вьюшку. Если хотите знать мое искреннее мнение, на свете нет другого звона, который хоть отдаленно напоминал бы звон этого гонга.

То, что я вам описал, происходило каждый божий день ровно в пять часов утра и обходилось нам всякий раз в три часа мучительной бессонницы, потому что сказать об этом гонге, что он пробуждает ото сна, – значит, ничего не сказать: он пробуждает тело, и душу вашу, и угрызения совести. Можете быть спокойны, что, услышав этот звон, вы будете бодрствовать восемнадцать часов подряд, будете так бодрствовать эти восемнадцать часов, как не бодрствовали еще ни разу в жизни. Однажды посторонний человек скончался у нас на руках, и мы ушли к соседям, оставив его тело на ночь в нашем доме. Быть может, вы думаете, что умерший дожидался дня Страшного суда? Нет, сэр, он восстал из мертвых ровно в пять часов на следующее утро самым поспешным и непринужденным образом. Я знал это наперед, меня можно было не предупреждать. Он жил потом припеваючи. Получил страховую премию в беспорном порядке, потому что кончина его была

засвидетельствована.

Мы приближались быстрым шагом к могиле – так истощила нас бессонница. Не оставалось ничего другого, как снова вызвать специалиста. Он приехал, вывел провод за кухонную дверь и установил переключатель, чтобы отсоединять сигнализацию. На беду, Томас, камердинер, всегда делал одну и ту же крошечную ошибку: вечером, идя спать, он отключал сигнализацию, а утром, как раз к приходу кухарки, включал ее, – и с первым же ударом гонга мы опять пронеслись по дому, выдавливая стекла на своем пути. К концу недели стало ясно, что переключатель – это ловушка для простофиля. Попутно выяснилось также, что у нас в доме обосновалась целая банда грабителей. Они поселились не с тем, чтобы нас грабить, – к этому времени дом уже был почти пуст, – а чтобы скрываться от полиции. Сыщики шли за ними по пятам, и они здраво рассудили, что в доме, оборудованном самой усовершенствованной сигнализацией от воров во всей Америке, их будут искать в последнюю очередь.

Ничего не оставалось, как снова послать за специалистом. На этот раз его осенила гениальная идея: он установил переключатель таким образом, что, открывая кухонную дверь, вы в то же время отсоединяли сигнализацию. Гениальность пришлось оплатить сторицей. Что же получилось? Вечером, не полагаясь более на неустойчивую память Томаса, я сам включал сигнализацию, но вслед за тем, как только в доме гасили свет, грабители запросто заходили в кухню и отсоединяли сигнализацию, не дожидаясь прихода кухарки. Мы попали из огня да в полымя. Месяцами мы не могли приглашать гостей, так как на всех кроватях в доме дремали грабители.

В конце концов я набрел на разумную мысль. Вызванный по моему требованию специалист отпел сигнализационный провод в конюшню и там же установил переключатель. Теперь кучер сам включал и выключал сигнализацию. Новая система работала идеально, мы снова вкусили мир, приглашали гостей и наслаждались жизнью.

Но с течением времени неукротимая сигнализация от воров придумала новый выверт. В одну прекрасную зимнюю ночь мы были выброшены из постели страшными звуками гонга. Добредши до указателя, мы зажгли газовый рожок и прочитали слово «Детская». Миссис Мак—Вильямс тут же свалилась замертво, я сам с трудом сохранил самообладание. Под ужасающий звон гонга я стоял, сжимая в руках дробовик, и ждал, пока встанет кучер. Я знал, что гонг уже поднял его и он выбежит с ружьем, как только оденется. Я выждал, сколько требовалось, прокрался в соседнюю комнату и, выглянув в окно, увидел во дворе смутный силуэт кучера, стоявшего с ружьем наизготовку, чтобы стрелять по первому моему знаку. Тогда я ворвался в детскую и открыл огонь. Кучер выпалил немедленно вслед за мной, целясь в блеснувшее пламя моего дробовика. Оба выстрела были высоко результативными: я искалечил няньку; кучер опалил волосы у меня на затылке. Мы зажгли свет и вызвали по телефону хирурга. Грабителей в доме не оказалось, все окна были на запоре. В одном, правда, не было стекла, но виною была пуля кучера. Мы снова стояли перед неразрешимой тайной: гонг забил тревогу в полночь без всякого видимого повода, воры не обнаружены.

Специалист прибыл по вызову, как обычно, и разъяснил, что происшедшее было «ложной тревогой». Он сказал, что беда невелика, произвел капитальный ремонт сигнализации в окне детской комнаты, получил следующее вознаграждение и отбыл.

Что мы вытерпели от «ложных тревог» в последующие три года – не опишет ни одно перо. Первые три месяца я мчался с дробовиком в руках к комнате, обозначенной на указателе, а кучер оказывал мне вооруженную поддержку со двора. Всякий раз выяснялось, что стрелять не в кого и все окна на запоре. На следующее утро мы посылали за нашим специалистом, он ремонтировал проводку то в той, то в другой комнате, утихомиривал их на недельку—другую и присылал нам счет примерно такого содержания:

Провод
Изоляторы
Два часа работы

Воск
Лента
Шурупы
Перезарядка батареи
Три часа работы
Шнур
Смазка
Пондовый экстракт
Пружины, по 50 центов штука
Железнодорожные расходы
Итого 19.77

Дело пришло к естественной развязке: после трехсот или четырехсот «ложных тревог» мы перестали обращать на них внимание. Сброшенный с кровати ударом гонга, я не спеша поднимался на ноги, не спеша отключал очередную комнату от сигнализационного провода и шел досыпать. Скажу больше, раз отсоединив комнату, я больше не подключал ее вообще и даже не думал посылать за специалистом. Нетрудно догадаться, что через некоторое время я отсоединил все комнаты в доме от сигнализации, и она прекратила свое действие.

Именно в это время, когда мы оказались совсем без защиты, случилось самое страшное. Однажды ночью пришли воры и украли сигнализацию от воров – да, сударь, украли ее начисто, целиком и полностью, не забыв ни единой мелочи. Они унесли пружины, звонки, гонги, батареи, полтораста миль медного провода, не оставили даже самого маленького винтика, чтобы нам было что проклинать (я имею в виду: вспоминать с благодарностью).

Получить ее от воров обратно было нелегко, но в конце концов я добился этого – не бесплатно, разумеется. Представитель фирмы, которая ставила нам сигнализацию, заявил, что он рекомендует поставить ее вновь, дополнив аппаратуру новейшими усовершенствованиями – патентованными пружинами в окнах против «ложных тревог» и патентованным часовым механизмом, который автоматически включает сигнализацию вечером и отключает утром. Нам понравилось это предложение.

Пообещав закончить проводку за десять дней, монтеры приступили к работе, а мы уехали на летний отдых. Проработав два или три дня, они тоже уехали на летний отдых. Тогда в дом въехали грабители и приступили в свою очередь к летнему отдыху. Когда к началу осени мы вернулись, дом был пуст, как холодильник с пивом, забытый в помещении, где трудятся маляры. Мы обставили дом заново и спешно послали за нью-йоркским специалистом. Он приехал, закончил проводку сигнализации и сказал:

– Этот часовой механизм будет подключать сигнализацию каждый вечер в десять часов и отключать ее утром, без четверти шесть. Все, что от вас требуется, – это заводить его раз в неделю, остальное он возьмет на себя.

Три месяца мы жили, как в раю. Фирма, разумеется, предъявила огромный счет, но я сказал, что оплачу его не ранее, чем уверюсь, что сигнализация работает безупречно. Я назначил им трехмесячный срок. После этого я оплатил счет. На следующий день, ровно в десять часов утра, сигнальный гонг загудел, как десять тысяч пчелиных ульев. Ознакомившись с инструкцией, я перевел стрелки на циферблате часового механизма на двенадцать часов вперед и выключил сигнализацию. Ночью произошла вторая осечка, я передвинул стрелку еще на двенадцать часов вперед – на этот раз, чтобы включить сигнализацию. Так шло неделю или две. Потом приехал нью-йоркский специалист и заменил часовой механизм. В дальнейшем он приезжал менять часовой механизм каждые три месяца, но делу не помог. С необъяснимым коварством этот механизм включал сигнализацию днем и отказывался включать ее ночью, а если мы вставали с постели, чтобы включить сигнализацию без его помощи, он тут же отключал ее снова, стоило отойти на два шага.

Такова история нашей автоматической сигнализации от воров. Я рассказал вам все в

точности, как было, ни слова не придумал, ничего не преувеличил. Так вот, сударь, проспавши девять лет в одном доме с грабителями, оплачивая все эти годы сигнализацию от воров, чтобы оберегать воров, — оплачивая из собственного кармана, потому что с них, как вы понимаете, я не получил даже ломаного гроша, — я пришел к миссис Мак—Вильямс и сказал ей, что сыт, сыт по горло. Заручившись ее согласием, я снял сигнализацию прочь, выменял ее на собаку и пристрелил собаку. Не знаю, как вы, мистер Твен, а я считаю, что все эти сигнализации изобретены специально на пользу воров. Пожар, бунт и гарем взятые вместе — вот что такое сигнализация от воров, но пожар, бунт и гарем имеют наряду с отрицательными чертами и некоторые положительные, а сигнализация от воров их не имеет. Будьте здоровы. Мне сходить.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РЕЧЕЙ

(Послеобеденная речь)

Как и многие добропорядочные люди, я произнес на своем веку немало речей. И подобно иным грешникам, то и дело давал себе слово исправиться, клятвенно обещая — обычно под Новый год — не произнести больше ни одной речи. Я убедился, что такая клятва служит довольно сносно, пока она новая; стоит ей произноситься и обветшать от постоянного употребления, как она уже трещит по всем швам; малейшее усилие — и она лопается.

И вот в прошедшую новогоднюю ночь я подкрепил свое слово, пообещав себе, что, если нарушу зарок, наложу на себя штраф, причем такой крупный, что это позволило мне продержаться до сегодняшнего дня. Хотя сейчас я снова впадаю в грех, — надеюсь, больше этого не случится, так как через десять дней сумма удваивается. Я вижу вокруг знакомые скорбные лица бедных страдальцев, ставших жертвой пагубной страсти произносить речи, — бедных собратьев по несчастью, которые, находясь в жестоких тисках этого низменного всеразрушающего порока, с годами ослабели в неравной борьбе с ним и уже не надеются на победу. К ним обращаюсь я в этой своей последней речи. Не сдавайтесь ни в коем случае, еще не все потеряно! Умоляю вас, клянитесь снова и не жалеете денег. Конечно, это относится не ко всем: есть среди вас и неисправимые — те, кто уже привык к успеху, к восхитительному опьянению, вызываемому аплодисментами, и уже не может сейчас или в будущем отказаться от своего предосудительного образа жизни. Они в совершенстве постигли тонкое искусство произносить речи и больше не испытывают мучительной застенчивости, неуверенности и боязни провала — чувств, которые одни только и способны пробудить у оратора желание исправиться. Эти люди стали мастерами своего дела после долгих наблюдений и многих неудач; теперь — то они знают, что подлинный экспромт всегда хуже и бледнее заранее придуманного; знают, что наибольший успех ожидает ту речь, которая тщательно подготовлена в тиши кабинета и отшлифована перед гипсовым бюстом, пустым креслом или любым другим ценителем, готовым сохранять спокойствие, пока оратор не добьется своего и не придаст будущему экспромту должного правдоподобия. Специалисты это умеют. Неплохо действуют вкрапленные кое—где, якобы случайно, грамматические погрешности, — часто они рассеивают подозрения скептически настроенных слушателей. Такие ошибки заранее расставляют по местам; ведь истинно случайные ошибки не помогут, они наверняка окажутся там, где не надо. Кроме того, опытный оратор оставляет кое—где пробелы, — оставляет, чтобы заполнить их подлинными экспромтами, которые подбавят в его речь естественности, не нарушив ее общего направления. На банкете, слушая других ораторов, он придумывает остроты в ответ на их замечания и методично вставляет эти остроты в пробелы для экспромтов. Когда такому специалисту предоставляют слово, он поднимается и оглядывается вокруг с видом крайнего изумления. Непосвященные не понимают, в чем тут дело, посвященным же все ясно.

Посвященные знают, что произойдет. Когда стихнут аплодисменты и топот, этот

ветеран скажет: "Господин председатель, поскольку час поздний, я не хотел изменять своему решению, принятому в начале вечера: если мне вдруг дадут слово, просто подняться, поблагодарить за честь и уступить место более достойным — тем, кому есть что сказать. Но, сэр, меня, так потрясло замечание генерала Смита о падении нравственности, что..." и т. д. и т. п. И не успеете вы оглянуться, как от комплиментов генералу он незаметно переходит к своей заранее составленной речи, и вы, хоть убей, не припомните, где и когда он сумел связать их воедино. И вот он уже парит на крыльях превосходно тренированной памяти, чуть грешит против правил грамматики здесь, якобы ненарочно повторяется там, нет—нет ловко разыгрывает легкое замешательство, кое—где запинается и заикается в поисках нужного слова, отвергает одно, другое, наконец находит подходящее, единственное в своем роде, и произносит его с довольным видом человека, который вышел из затруднительного положения лишь по счастливой случайности — и даже на сотню долларов не променял бы эту случайность; и всю речь он пересыпает остротами, касающимися предыдущих выступлений. Наконец, уже опускаясь на место, он с величайшим искусством вдруг спохватывается, будто его осенило, наклоняется над столом и пускает последний фейерверк, который затмевает своим блеском звезды на небесах и заставляет всех рты разинуть от восхищения. Между тем и фейерверк и паза — результат примерно недельной тренировки.

Таких людей, увы, не исправишь. Это еретики, самозабвенно преданные своей ереси. Оставьте их в покое. Но встречаются ораторы, которые еще поддаются исправлению. Ораторы, выступающие действительно экспромтом. Я имею в виду человека, который "не ожидал, что ему дадут слово, и не подготовился" — и тем не менее ковыляет в попискивает, полагая, что непредумышленное преступление ему не поставят в вину. То и дело он заявляет: "не смею вас дольше задерживать", поминутно повторяет: "еще одно слово и я кончаю", — но тут же вспоминает что—либо несущественное и продолжает говорить. Этот человек понятия не имеет, как долго мелет его мельница. Ему нравится ее скрип, вот он и скрипит, и слушает сам себя, и наслаждается, не замечая, как летит время; когда же наконец он садится и заглядывает в закрома, то с величайшим удивлением обнаруживает, как ничтожно мало муки намолотил и как бессовестно долго ее перемалывал. Обычно выясняется, что он ничего не сказал, — открытие, неизбежное для неподготовленного оратора, которое, к несчастью, он делает последним из присутствующих. Этого человека еще можно исправить. Так же как и его ближайшего родственника, с которым, помнится, мне приходилось встречаться, — оратора, который запасается двумя—тремя вступительными фразами, рассчитывая, что остальные посыплются на него, как манна небесная, и он подхватит их на лету. Как правило, его ждет разочарование. Нетрудно догадаться, где кончается заготовленное им вступление и начинается экспромт. Иногда такое вступление сооружается на самом банкете; оно может состоять из десятки фраз, но чаще их всего две, а еще чаще — это одно—единственное изречение; но оно сразу же показалось таким удачным, ярким, бьющим в точку и остроумным, что создатель его, счастливец, снесший это золотое яичко, удовлетворенно кудахчет над ним, и лелеет его, и полирует, и мысленно потирает руки, представляя себе, как прекрасно все получится, хотя, конечно, лучше бы ему снести не одно яйцо, а несколько, даже полную корзину, если бы повезло; ведь он—то воображает, будто стоит ему произнести вслух свой шедевр, как раздастся такой оглушительный взрыв аплодисментов, что это вдохновит его на новые идеи, облеченные в блестящую форму, и, следовательно, речь, сказанная экспромтом, окажется безмерно прекраснее, чем любая другая, составленная заранее.

Но существуют две опасности, которые он упускает из виду: во—первых, тот исторический факт, что человеку ни за что не дадут слова, когда он на это рассчитывает, и что каждое новое выступление других ораторов все более охлаждает его пыл; во—вторых, он забывает, что немислимо битый час сидеть и повторять про себя удачное выражение без того, чтобы оно не прискучило и постепенно не потеряло своей прелести.

Когда наконец настает его черед и он выпаливает давно взлелеянную фразу, она звучит до того беспомощно и жалко, что всем становится неловко, и аплодируют ему лишь из

сострадания; сам же он с болью и горечью думает, как несправедливо называть свободной страну, где порядочному человеку даже выругаться но дозволено. И вот тут, растерянный, обескураженный и опустошенный, он, запинаясь, переходит к собственно экспромту, выжимает из себя две—три невероятно плоских остроты к плюхается на место, бурча себе под нос: "Хоть бы мне провалиться в..." Он не уточняет, куда именно. Сосед слева замечает: "Вы очень хорошо начали"; сосед справа говорит: "Мне понравилось ваше начало"; сидящий напротив поддакивает: "Начало действительно удачное, даже очень"; двое—трое других тоже бормочут что—то в этом роде. Люди считают своим долгом облегчать таким способом страдания больного. При этом они полагают, даже не сомневаются, что льют бальзам, хотя на самом деле только сыплют соль на его раны.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОДНОЙ НЕУДАЧНОЙ КАМПАНИИ

Вам приходилось выслушивать множество людей, которые что—то совершили на войне, и — не правда ли — будет только справедливо, если вы выслушаете и того, кто попытался что—то совершить, но не совершил? Их были тысячи — тех, кто отправился на войну, попробовал, что это такое, и предпочел навсегда выйти из игры. Число таких людей настолько почтенно, что они имеют право голоса — не для крика, но для скромной речи, не для хвастовства, но для оправданий. Я согласен, что главное внимание следует уделять тем, кто лучше их, — тем, кто что—то совершил на войне, однако и этим людям надо дать возможность хотя бы объяснить, почему они ничего не совершили, и рассказать, каким образом им это удалось. Несомненно, такого рода сведения имеют определенную ценность.

В первые месяцы великой неурядицы обитатели Запада пребывали в большом недоумении, и симпатии их склонялись то на эту сторону, то на ту, то опять на эту. Нам стоило большого труда окончательно выбрать свой путь. В связи с этим мне на память приходит следующий эпизод. Когда стало известно, что Южная Каролина 20 декабря 1860 года вышла из Союза, я служил лоцманом на одном из миссисипских пароходов. Второй лоцман был родом из Нью—Йорка. Он был горячим приверженцем Союза — так же, как и я. Однако он не желал видеть во мне единомышленника: он относился ко мне с величайшей подозрительностью потому, что мой отец в свое время владел рабами. Стараясь как—то смягчить это черное обстоятельство, я объяснил, что сам слышал, как мой отец за несколько лет до смерти говорил, что рабство — великое зло и что он незамедлительно освободил бы единственного негра, которым тогда владел, если бы считал себя вправе швыряться имуществом семьи, когда его дела идут так плохо. Мой товарищ возразил, что одно намерение в счет не идет — на благое намерение может сослаться кто угодно, и продолжал высказывать всяческие сомнения по поводу моей приверженности идеям Севера и поносить моих предков. Месяц спустя общественное мнение нижней Миссисипи уже решительно высказывалось за отделение, и я стал мятежником. Он тоже. Двадцать шестого января, когда Луизиана вышла из Союза, мы оба находились в Новом Орлеане. Он вопил до хрипоты, прославляя мятежников, но бурно запротестовал, когда я попытался сделать то же. Он заявил, что в моих жилах течет гнусная кровь отца, который готов был освободить негров. Когда настало лето, он служил лоцманом на федеральной канонерке и снова во всю силу легких прославлял Союз, а я был в рядах армии конфедератов. В свое время он занял у меня денег и выдал мне расписку; он всегда отличался безукоризненной честностью, но теперь наотрез отказался уплатить свой долг, потому что я был мятежником и сыном человека, который владел рабами.

В то лето — лето 1861 года — на берега Миссури накатила первая волна войны. В наш штат вторглись федеральные войска. Они заняли Сент—Луис, Джефферсон—Бэракс и еще несколько стратегических пунктов. Чтобы дать им отпор, губернатор Клейб Джексон выпустил прокламацию, призывая под ружье пятьдесят тысяч человек милиции.

Я гостил тогда в городке, где прошло мое детство, – в Ганнибале, округ Марион. Ночью мы с приятелями собрались в укромном месте и организовались в военный отряд. Некий Том Лаймен, юноша очень храбрый, хотя не имевший никакого военного опыта, был избран нашим капитаном; меня назначили вторым лейтенантом. Первого лейтенанта у нас не было, а почему – не помню, очень уж много времени прошло с тех пор. Всего нас набралось пятнадцать человек. По предложению одного из наших простаков мы наименовали себя «Всадники из Мариона». Насколько помню, это название ни у кого не вызывало сомнений. Во всяком случае, я его странным не считал. Мне оно показалось звучным и вполне уместным. Предложивший его простак может послужить прекрасным образчиком того материала, из которого были скроены мы все. Он был юн, невежественен, добродушен, доброжелателен, зауряден, романтичен и обожал читать романы о благородных подвигах и распевать унылые любовные песни. В нем таилось до трогательности пошлое стремление к аристократичности, и он страстно презирал свою фамилию – Дэнлап, отчасти потому, что в тех областях она была столь же обычной, как Смит, но главным образом потому, что, по его мнению, она звучала плебейски. И вот, чтобы придать ей благородство, он стал писать ее так: д'Энлап. Теперь она удовлетворяла его глаз, но слух терзала по—прежнему: эту новую фамилию все продолжали произносить по—старому, делая ударение на первом слоге. Тогда он решился на неслыханно смелый поступок – поступок, самая мысль о котором вызывает трепет, стоит только вспомнить, с каким возмущением относится свет ко всяческим подделкам и неоправданным претензиям: он начал писать свою фамилию «д'Эн Лап». Затем он терпеливо перенес бесчисленные насмешки и поношения, которым подверглось это произведение искусства, и был в конце концов вознагражден. Ибо он дожил до того дня, когда ударение на втором слоге начали ставить даже люди, которые не только знали его с колыбели, но и были близкими приятелями всего племени Дэнлапов на протяжении сорока лет. Мужество, умеющее терпеливо ждать, всегда добивается победы. По его словам, он с помощью старинных французских хроник обнаружил, что первоначальное и наиболее правильное написание его фамилии было именно д'Энлап, – а это в переводе на английский язык будет Питерсон: «Лап» объяснял он, не то по—гречески, не то по—латыни означает камень или утес, – то же самое, что французское слово «Pierre» (Пьер), иначе говоря – наше Питер; «д» по—французски означает: «от», «из»; а «эн» – «некий», «один». Отсюда следует, что д'Эн Лап значит «из (или «от») камня», или: «от Питера» другими словами – «тот, кто является сыном камня», «сыном Питера», – то есть Питерсон. Члены нашего отряда не отличались ученостью, это объяснение их только запутало, и они начали называть его Питерсон Дэнлап. В одном отношении он оказался нам очень полезен: он давал наименования всем нашим бивуакам и обычно изобретал название «с огоньком», как говорили ребята.

Вот каков был один из нас. В качестве другого образчика можно назвать Эда Стивенса, сына городского ювелира. Он был хорошо сложен, красив, изящен и чистоплотен, как кошка, умен, образован, но ни к чему не относился серьезно. Серьезные стороны жизни для него просто не существовали. С его точки зрения, наш военный поход был увеселительной прогулкой – и только. Собственно говоря, добрая половина отряда придерживалась такого же мнения, хотя, возможно, и не сознавала этого. Мы ни о чем не размышляли. На это мы не были способны. Я, например, был охвачен бездумной радостью только потому, что на некоторое время избавился от необходимости вставать на вахту в полночь и в четыре часа утра; кроме того, меня прельщала возможность переменить обстановку, увидеть и узнать много нового. Дальше этого мои мысли не шли, я не входил в подробности; в двадцать четыре года подробности нас мало интересуют.

В качестве еще одного образчика можно назвать Смита, который прежде был подручным кузнеца. Этот законченный олух обладал своеобразной храбростью, медлительной и ленивой, а кроме того, необычайно мягким сердцем: он мог кулаком свалить заартачившуюся лошадь – и мог горько плакать, стосковавшись по дому. Однако он совершил то, на что у некоторых из нас не хватило духу: он не бросил воевать и в конце концов пал в сражении.

Еще одним образчиком был Джо Бауэре – огромный, добродушный, белобрысый увалень; ленивый, чувствительный, безобидный хвостун, любитель поворчать, а кроме того, опытный, неутомимый, честолюбивый и нередко весьма изобретательный враль, – но все же в этой области его умение заставляло желать лучшего, так как он не получил систематического образования и развивал свой дар сам, без всякого руководства. К жизни он относился серьезно и редко бывал ею доволен. Но, в общем, он был неплохим малым, и мы все его любили. Он получил чин сержанта, а Стивенс – капрала.

Думаю, что хватит и этих образчиков – все они достаточно характерны. Вот такая—то компания и отправилась на войну. Чего можно было от нее ожидать? Мы старались изо всех сил, – но чего можно было от нас ожидать? По—моему, ничего. Так оно и вышло.

Мы дождались безлунной ночи, ибо необходимо было соблюдать величайшую осторожность и тайну; около полуночи мы стали по двое, по трое пробираться с разных сторон за город, к усадьбе Гриффита; оттуда мы все вместе пешком тронулись в путь. Ганнибал находится в юго—восточном углу округа Марион, на берегу Миссисипи, а мы направлялись к деревушке Нью—Лондон в округе Ролле, до которой было десять миль.

Весь первый час мы весело шутили и смеялись, но долго это продолжаться не могло. Мы все шли и шли, и это начало смахивать на работу, веселость постепенно угасала; безмолвие леса и ночной мрак действовали на нас угнетающе, и вскоре разговоры смолкли, и каждый погрузился в свои мысли. За последние полчаса второго часа не было произнесено ни слова.

Затем мы подошли к бревенчатой хижине, где, по слухам, был расположен сторожевой пост федералистов, состоящий из пяти солдат. Лаймен приказал нам остановиться и в непроглядной тьме под смыкавшимися кронами деревьев начал шепотом излагать план штурма этого дома, отчего тьма стала еще более зловещей. Настала решающая минута. Наш пыл внезапно охладил мысль, что шутки кончились и что мы оказались лицом к лицу с настоящей войной. Но мы с честью вышли из положения. Без колебаний, с проникновенной решимостью мы единодушно заявили, что раз Лаймену хочется нападать на этих солдат, пусть он и нападает, но если он думает ждать, пока мы к нему присоединимся, то ему придется ждать долго.

Лаймен уговаривал, умолял, пытался нас пристыдить, но тщетно. Мы твердо знали, как нам надлежит поступить: обойти дом с фланга, сделав крюк побольше, – что и было выполнено.

Мы углубились в лес, и дела пошли из рук вон плохо: мы спотыкались о корни, путались в стеблях ползучих растений, царапали руки и рвали одежду о колючий кустарник. В конце концов, совсем измученные и запыхавшиеся, мы выбрались на опушку, где нам ничего не грозило, и тут же устроили привал, чтобы перевести дух и заняться своими царапинами и синяками. Лаймен злился, но у всех нас было превосходное настроение: мы обошли ферму, с фланга, мы совершили первый военный маневр, и совершили его успешно, так что нам нечего было вешать нос, – наоборот, мы так и надувались от гордости. Снова посыпались шутки и раздался хохот, поход опять превратился в веселую прогулку.

Затем мы отправились дальше и, прошагав еще два часа, опять умолкли и приуныли; наконец на рассвете мы добрались до Нью—Лондона – грязные, с пузырями на ногах, совсем обессиленные этим небольшим переходом; все мы, за исключением Стивенса, были в чрезвычайно кислом и сварливом настроении и в глубине души проклинали войну. Мы поставили наши старые дробовики в сарае полковника Роллса, ветерана мексиканской войны, а затем всем отрядом направились в дом завтракать. После завтрака он отвел нас подальше на луг и там в тени одинокого дерева произнес перед нами речь в добром старом стиле – полную пороха и славы, полную усложненных метафор, звонких прилагательных и напыщенной декламации, которые в те давние времена считались в нашей глуши красноречием. Затем мы поклялись на Библии, что будем верны штату Миссури и изгоним из его пределов всех захватчиков, откуда бы они ни явились и каков бы ни был их флаг. Это совсем сбило нас с толку, и мы не могли понять, какую же сторону поклялись поддерживать.

Но полковник Ролле, опытный политик, умевший ловко жонглировать фразами, не испытывал подобных сомнений: он прекрасно знал, что принял от нас присягу в верности Южной Конфедерации. Он завершил церемонию тем, что опоясал меня саблей, которую его сосед, полковник Браун, носил под Буэна—Виста и Молино дель Рей, сопроводив это действие еще одним взрывом пышного красноречия.

Затем мы построились в боевую колонну и совершили четырехмильный переход к тенистому и красивому лесу на краю беспредельной, усеянной цветами прерии. Это был восхитительный театр военных действий – военных действий в нашем вкусе.

Мы проникли в лес на полмили и заняли сильную позицию, прикрытую с тыла невысокими холмами, а с фронта – быстрой прозрачной речушкой. В мгновение ока половина отряда уже плескалась в воде, а другая рассыпалась по берегу с удочками в руках. Осел, носивший французскую фамилию, незамедлительно снабдил нашу позицию громким романтическим названием, но оно оказалось слишком длинным, и мы сократили и упростили его в «Лагерь Роллса».

На этой поляне когда—то изготовлялся кленовый сахар; под деревьями еще стояли полусгнившие корыта, куда собирали сок. Казармой нашему батальону служил длинный амбар, где хранилась кукуруза. В полумиле от нашего левого фланга находилась ферма Мейсона, горячего сторонника конфедератов. Днем к нам с разных сторон стали съезжаться фермеры: они пригоняли лошадей и мулов, предлагая оставить их нам до конца войны, – по их мнению, она должна была кончиться месяца через три, не позже. Животные у нас подобрались самого разного роста, мастей и пород. Почти все они были молоды и резвы, так что никому из нас не удавалось долго удержаться в седле, – ведь мы были городскими жителями и не умели ездить верхом. На мою долю достался самый низкорослый мул, но такой ловкий и энергичный, что ему ничего не стоило сбросить меня на землю, – и он проделывал эту операцию незамедлительно, едва я садился в седло. А как он ревел! Вытянет шею, прижмет уши и так разинет пасть, что хоть в легкие к нему заглядывай. Во всех отношениях это было крайне неприятное животное. Когда я брал его за уздечку, чтобы увести с пастбища, он садился на круп, упирался передними ногами в землю, и уж никому не удавалось сдвинуть его с места. Однако я не совсем был лишен стратегических талантов и скоро нашел способ положить конец этой игре. На своем веку я перевидал немало севших на мель пароходов и научился кое—каким приемам, которые могли внушить уважение даже мулу, упершемуся в землю всеми четырьмя копытами. Рядом с амбаром находился колодец, и я, заменив уздечку веревкой в шестьдесят ярдов длиной, притаскивал своего мула домой с помощью ворота.

Забегая вперед, скажу, что после некоторой практики мы все—таки научились ездить верхом, хотя и довольно скверно. Но любить своих лошадей и мулов мы так и не научились – их никак нельзя было назвать отборными, и каждая скотина обладала своей собственной подлой особенностью. Например, стоило Стивенсу чуть зазеваться, как его лошадь бросалась к какому—нибудь кряжистому дубу и, прижав своего всадника к наросту на стволе, выбивала его из седла; в результате Стивенс получил несколько серьезных ушибов. Конь сержанта Бауэрса был массивен, высок, имел длинные тонкие ноги и походил на железнодорожный мост. Его пропорции позволяли ему дотягиваться головой чуть ли не до хвоста, так что он то и дело кусал Бауэрса за щиколотки. Во время переходов по жаре Бауэре часто начинал дремать, и стоило коню догадаться, что наездник уснул, как он изворачивался и кусал его за щиколотку. Ноги нашего сержанта были все в синяках от этих укусов. Вообще, он никогда не ругался, но тут уж выдержать не мог: стоило только коню его укусить, как он разражался градом проклятий; и конечно, Стивенс, который смеялся по любому поводу, сразу начинал хохотать, да так бурно, что терял равновесие и летел с лошади на землю, а Бауэре, выведенный из себя болезненным укусом, отвечал на его смех руганью, – и завязывалась ссора. Таким образом, из—за этого коня в отряде не было конца неприятностям и раздорам.

Однако вернусь к началу – к нашему первому дню в «сахарном» лагере. Корыта для

кленового сока оказались прекрасными яслями, и у нас было вдоволь кукурузы, чтобы их наполнить. Я приказал сержанту Бауэрсу накормить моего мула, но он ответил, что пошел на войну не для того, чтобы нянчить мулов, а если я придерживаюсь иного мнения, он сейчас меня разубедит. Его слова показались мне нарушением субординации, но поскольку у меня было очень смутное понятие об армейских порядках, то я предпочел посмотреть на случившееся сквозь пальцы, отошел в сторону и отдал приказ Смиту, подручному кузнеца, накормить моего мула. Но он только растянул губы в той холодной саркастической усмешке, какой вас награждает лошадь, считающаяся семилетней, когда вы, приподняв ее верхнюю губу, убеждаетесь, что ей стукнуло все четырнадцать, и повернулся ко мне спиной. Тогда я отправился к капитану и спросил, не положен ли мне по военному уставу ординарец. Он ответил, что положен, но, поскольку в нашей войсковой части всего один ординарец, будет только справедливо, если он зачислит Бауэрса в свой штаб. Бауэре возразил, что не желает быть зачисленным ни в какие штабы, а если кто—нибудь захочет его заставить, то пусть попробует! После чего, разумеется, за неимением другого выхода пришлось это дело бросить.

Затем все дружно отказались стряпать – это было сочтено унижительным, – и мы остались без обеда. Остальные часы этого блаженного дня мы провели в полном безделье: кто дремал в тени деревьев, кто курил изготовленные из кукурузных початков трубки, болтая о своих возлюбленных и о войне, кто развлекался играми. К вечеру все почувствовали невероятный голод, и чтобы как—то выйти из затруднения, все взялись за работу на равных основаниях, дружно собрали хворост, развели костры и приготовили ужин.

Потом некоторое время все шло гладко, пока не вспыхнула ссора между сержантом и капралом, потому что каждый утверждал, что его ранг выше. Никто из нас не знал истинного соотношения этих чинов, и Лаймен, чтобы прекратить споры, уравнивал их обоих в правах. Командиру такого невежественного сброда приходится сталкиваться со множеством досадных и неприятных казусов, о которых и понятия не имеют офицеры регулярной армии. Однако скоро вокруг бивуачного, костра зазвучали песни и начались рассказы, снова воцарились мир и спокойствие; немного погодя мы разровняли кукурузу в углу амбара и улеглись на ней спать, предварительно привязав у дверей лошадь, чтобы она заржала, если кто—нибудь попытается проникнуть в амбар¹².

Каждое утро мы устраивали конные учения, а днем небольшими группами разъезжали по округе, навещали дочек окрестных фермеров, весело, как свойственно молодости, проводили время, получали приглашение к обеду или к ужину, а затем, счастливые и довольные, возвращались назад в лагерь.

Так текла наша жизнь, приятная и праздная, и некоторое время ничто ее не омрачало. И вдруг однажды явилось несколько фермеров с тревожными вестями. Они сообщили нам, что, по слухам, со стороны луга Хайда движутся вражеские силы. Эта весть поразила нас как громом и вызвала в наших рядах порядочное замешательство. Какое жестокое пробуждение после столь бездумного и безоблачного существования! Слухи были просто слухами, самыми неопределёнными; и мы, в полной растерянности, не знали, в каком же направлении нам отступать. Лаймен утверждал, что при столь неясных обстоятельствах отступать вообще не следует, но скоро понял, что, если он попробует настаивать, ему придется плохо, – в такую минуту отряд не потерпел бы неповиновения. Поэтому Лаймен уступил и созвал

12 * Не так ли? (нем.)

У меня осталось твердое убеждение, что лошадь была привязана к двери именно с этой целью, и мне известно, что того же мнения придерживался по крайней мере еще один из моих собратьев по оружию, – мы с ним тогда дружно восхищались остроумием этой военной хитрости; но три года тому назад, когда я снова побывал на Западе, мр А. Дж. Фьюк, также служивший в нашем отряде, сообщил мне, что это была его лошадь, что он оставил ее на привязи у дверей просто по рассеянности и что, приписав этот маневр его стратегическим талантам, мы оказали ему незаслуженную честь. В доказательство он сослался на тот многозначительный факт, что лошадь к двери больше ни разу не привязывалась. Сам я об этом раньше както не подумал. –М. Т.

военный совет, который должен был состоять из него самого и остальных трех офицеров; но рядовые подняли по этому поводу такой шум, что пришлось разрешить им остаться, — поскольку они уже присутствовали на заседании и принимали в нем самое бурное участие, не давая никому из нас четверых раскрыть рот. Речь шла о том, куда отступить, но все были в таком волнении, что никто не мог предложить ничего путного. Никто, кроме Лаймена. Спокойно и кратко он объяснил, что раз враг наступает со стороны луга Хайда, нам нечего особенно ломать голову: не надо только отступить навстречу противнику, а так можно выбрать любое направление. Все сразу поняли, насколько этот вывод справедлив и мудр, и Лаймен был осыпан похвалами. После чего решено было отступить к ферме Мейсона.

К этому времени уже стемнело, а так как мы не знали, когда ожидать появления неприятеля, то решили не обременять себя ни лошадьми, ни багажом и, забрав ружья, порох и пули, без промедления тронулись в путь. Очень скверная каменистая дорога петляла по холмам, темно было — хоть глаз выколи, и в довершение всего пошел дождь. Мы брели вслепую, скользя и спотыкаясь. Вдруг кто—то оступился и упал, шедший сзади споткнулся об него и тоже упал. За ним последовали остальные, и вскоре весь отряд лежал вповалку на размокшем склоне; тут к нему приблизился Бауэре, прижимавший к груди бочонок с порохом и, разумеется, тоже свалился вместе со своим бочонком; от этого толчка отряд в полном составе покатился вниз по— крутому склону, и через секунду все доблестные воины уже лежали кучей в ручье, причем те, кто очутился внизу, дергали за волосы, царапали и кусали тех, кто упал на них, а те, кого царапали и кусали, в свою очередь принимались царапать и кусать остальных — под общий хор уверений, что если им удастся выбраться живыми из этого ручья, то они скорей умрут, чем еще раз отправятся на войну, а враг пусть провалится ко всем чертям, им на это наплевать, да и все Соединенные Штаты вместе с ним! И до чего же жутко было слушать подобные разговоры и самому принимать в них участие: голоса звучали придушенно, кругом царил угрюмый мрак, мы все были мокры насквозь, и неприятель мог обрушиться на нас в любую минуту. Бочонок пороха и все ружья разлетелись при падении в разные стороны, и сердитые жалобы не утихали ни на миг, пока эскадрон ползал по раскисшему склону и шлепал по ручью, разыскивая оружие и снаряжение, на что ушло немало времени. Вдруг мы услышали какой—то посторонний звук и стали прислушиваться, затаив дыхание: по—видимому, это приближался неприятель, хотя это могла быть и корова, потому что что—то сопело, как корова. Однако мы не стали мешкать и, бросив разыскивать недостающие ружья, продолжили свой путь к ферме Мейсона со всей быстротой, какую позволяла темнота. Но вскоре мы заблудились в лабиринте маленьких овражков и отыскали дорогу только после долгих блужданий, так что был уже десятый час, когда мы добрались до перелаза в изгороди, окружавшей дом Мейсона. Тут, прежде чем мы успели открыть рты, чтобы прокричать пароль, через забор с визгом и лаем перескочила целая свора собак, и каждый пес вцепился сзади в брюки ближайшего к нему солдата и начал отступать, увлекая его за собой. Мы не могли стрелять в собак, не подвергая опасности жизнь людей, с которыми они составляли единое целое, и нам оставалось только беспомощно взирать на эту унижительную сцену, — пожалуй, за всю Гражданскую войну не случалось ничего более позорного. Света, чтобы разглядеть происходящее, было больше чем достаточно, так как все семейство Мейсона высыпало на крыльцо со свечами в руках. Старик фермер и его сын незамедлительно и без большого труда отцепили всех собак, кроме пса, доставшегося Бауэрсу,— этого пса им никак не удавалось отцепить, потому что его комбинация была им, по—видимому, неизвестна: он принадлежал к бульдожьей породе, и пасть его, очевидно, запиралась на замок с секретом; однако в конце концов они ее разомкнули с помощью кипятка, не обделив при этом и Бауэрса, который выразил им соответствующую благодарность. Питерсон Дэнлап впоследствии придумал звучные названия и для этой схватки, и для предшествовавшего ей форсированного перехода, но оба они давно изгладились из моей памяти.

Теперь мы могли войти в дом, где нас засыпали вопросами, и скоро выяснилось, что мы совершенно не знаем, от кого и почему побежали. Тут фермер высказал все, что о нас

думает: он заявил, что мы какие—то необыкновенные солдаты и что благодаря нам война несомненно кончится в срок, так как ни одно правительство не выдержит расходов на подметки, если начнет за нами гоняться. « Всадники из Мариона! Подходящее название, нечего сказать!» – воскликнул он. И осведомился, почему мы не выставили дозора там, где дорога выходила из леса на луг, и почему мы не выслали разведку, которая обнаружила бы врага и доставила бы нам сведения о его численности и обо всем прочем, вместо того чтобы в панике бросить надежную позицию из—за каких—то непроверенных слухов, – и так далее и тому подобное, пока мы не почувствовали себя куда хуже, чем после встречи с собаками: те, по крайней мере, приветствовали нас с энтузиазмом. Мы отправились спать пристыженные и совсем павшие духом, – все, кроме Стивенса. Вскоре Стивенс принялся вслух придумывать для Бауэrsa костюм, который бы автоматически позволял благодарным согражданам любоваться его боевыми рубцами или скрывал их от взоров завистников, смотря по обстоятельствам. Однако Бауэре был не в настроении шутить,, и началась драка, а к тому времени, когда она кончилась, у Стивенса уже хватало хлопот с собственными боевыми рубцами.

Потом мы ненадолго уснули. Но этим дело не кончилось, хотя, казалось бы, у нас уже было достаточно приключений для одной ночи. Около двух часов мы были разбужены громким окриком, донесшимся от перелаза, и дружным лаем собак; через секунду весь дом был уже на ногах, и его обитатели метались по комнатам, пытаясь узнать, что случилось. Оказалось, тревогу поднял всадник, прискакавший предупредить нас, что из Ганнибала вышел батальон федералистов, которому приказано вылавливать и вешать отряды вроде нашего; он добавил, что нам нельзя терять ни минуты. Теперь перепугался и фермер Мейсон. Он поспешно выпроводил нас из своего дома и велел одному из своих негров отвести нас за полмили в овраг, где мы могли бы спрятаться сами и спрятать наши ружья, сразу выдававшие, кто мы такие. Дождь лил как из ведра.

Мы шли сначала по дороге, потом по усыпанному камнями пастбищу, где ничего не стоило споткнуться, ив результате кто—нибудь ежеминутно валился в грязь; и каждый раз тот, кто падал, на чем свет стоит проклинал войну, и тех, кто ее затеял, и всех, кто к ней причастен, а больше всего себя – за то, что, как дурак, ввязался в нее. Наконец мы добрались до поросшего лесом устья оврага, кое—как устроились под деревьями, с которых на нас ручьями текла вода, и отослали негра домой. Уныние и отчаяние овладели нашими сердцами. Казалось, мы непременно захлебнемся в струях дождя, оглохнем от завываний ветра и раскатов грома, ослепнем от вспышек молний. Гроза и в самом деле была необычайно сильной. Наше теперешнее положение было достаточно скверным, но куда хуже была мысль о том, что еще до наступления следующей ночи наша жизнь может кончиться в петле. Прежде нам не приходило в голову, что на войне можно найти и такую позорную смерть. Наша кампания больше не рисовалась нам в романтическом свете, а мечты о славе обернулись отвратительным кошмаром. В том, что подобный варварский приказ мог быть отдан, никто из нас не усомнился.

Наконец невыносимо долгая ночь сменилась рассветом, а вместе с ним в овраг явился негр – сообщить, что тревога оказалась ложной, и пригласить нас к завтраку. Уныние и отчаяние мигом исчезли из наших сердец, и мир стал таким же прекрасным, а жизнь столь же многообещающей, как и раньше, – мы ведь тогда были молоды. Как давно это было! Двадцать четыре года, двадцать четыре!

Филологический ублюдок окрестил наше ночное убежище «Лагерем отчаяния», и никто не стал возражать. Мейсоны накормили нас миссурийским деревенским завтраком, по—миссурийски обильным и пришедшимся как нельзя кстати; мы с жадностью уничтожали горячие гренки, горячий пшеничный каравай с красивым решетчатым узором на корке, горячие кукурузные лепешки, жареных кур, грудинку, кофе, яйца, молоко, пахтанье – всего не перечислить. Во всем мире, пожалуй, не найти ничего равного такому завтраку, состряпанному на кухнях Юга.

Мы прожили на ферме Мейсона несколько дней, и хотя с тех пор прошло уже много

лет, воспоминание о скуке, безлюдье, безмолвии, царивших в этом доме, все еще действует на меня угнетающе, словно мысль о смерти и похоронах. Нам нечего было делать, не о чем думать; жизнь утратила всякий смысл. Хозяин, его сыновья и работники весь день проводили в полях, а женщины хлопотали по хозяйству, и мы их тоже почти не видели; кругом стояла глубокая тишина, нарушаемая только неумолчным жалобным стоном прялки, доносившимся из какой—то дальней комнаты,— природа не знает более унылого звука, пронизанного такой тоской по родному дому, таким разочарованием в жизни. Наши хозяева ложились, как только темнело, и, поскольку нас никто не просил вводить новые обычаи, мы, конечно, отправлялись на покой вместе с ними. Эти ночи казались нам столетиями — ведь мы не привыкли засыпать раньше полуночи. Безмолвную вечность лежали мы, не смыкая глаз, старились и дряхлели, ожидая, чтобы наконец часы пробили двенадцать. Ферма Мейсона была неподходящим местом для городской молодежи. Поэтому известие о том, что враги снова напали на наш след, нас, пожалуй, даже обрадовало. В наших сердцах возродился прежний боевой дух, и мы, построившись в боевую колонну, возвратились в «Лагерь Роллса».

Капитан Лаймен сделал кое—какие выводы из речи Мейсона и теперь отдал приказ окружить наш лагерь караулами, чтобы неприятель не захватил нас врасплох. Мне было приказано выставить пикет на развилке дорог, на лугу Хайда. Надвигалась темная грозовая ночь. Я велел сержанту Бауэрсу отправиться на указанное место и нести там стражу до полуночи, но, как я и ожидал, он отказался наотрез. Я попробовал послать туда других, но никто не согласился. Некоторые ссылались на погоду, а остальные с полной откровенностью заявили, что не пошли бы на этот пост и в самую ясную ночь. Теперь все это может показаться странным и невероятным, но тогда подобные случаи никого не удивляли. Наоборот, они были в порядке вещей. Во всех рассыпанных по штату Миссури маленьких лагерях происходило то же самое. Отряды, подобные нашему, состояли из молодых людей, с рождения впитавших дух упрямой независимости и не привыкших повиноваться ребятам с соседней улицы или фермы, которых они знали всю жизнь. Весьма вероятно, что то же самое происходило по всему Югу. Джеймс Редпас придерживается именно этой точки зрения и в доказательство приводит следующий эпизод. Будучи проездом в восточном Теннесси, он навестил знакомого полковника милиции. Они сидели в палатке последнего и беседовали, как вдруг у входа появился верзила рядовой и без всяких церемоний, не отдав даже чести, сказал полковнику:

- Эй, Джим, я собираюсь съездить домой.
- Зачем?
- Да просто я давно там не был, надо бы посмотреть, как идут дела.
- И надолго ты собрался?
- Недели на две.
- Ну, ладно, только не задерживайся; и если сможешь, постарайся вернуться раньше.

После чего полковник продолжил разговор с того места, на котором его перебил рядовой. Разумеется, это случилось в первые месяцы войны. Лагерь в нашей части Миссури находились в подчинении бригадного генерала Томаса Г. Гарриса. Он был нашим земляком и пользовался у нас в городе большой популярностью и всеобщим уважением; но для нас он оставался знакомым телеграфистом, за скромное жалованье единолично обслуживавшим нашу телеграфную контору, где ему обычно приходилось отправлять одну телеграмму в неделю, а в периоды особого оживления — две. Поэтому, когда он в первый раз явился к нам и самым военным тоном с ходу отдал какую—то команду, никого не удивил дружный ответ построенных солдат:

- А ну тебя, Том Гаррис!

Именно этого и следовало ожидать. Можно с полным основанием заключить, что мы были неподходящим материалом для того, чтобы создавать из нас армию. Да, так можно было подумать в те первые месяцы, когда мы ни о чем не имели представления, но потом многие из нас овладели мрачным ремеслом войны, научились выполнять приказы с

точностью машины, стали отличными солдатами, воевали до последнего дня и приобрели заслуженную славу. Тот самый юнец, который тогда отказался идти в караул и сказал, что я осел, если думаю, будто он неведомо зачем станет подвергать себя опасности, меньше чем через год получил награду за доблесть.

В ту ночь я все—таки выставил свой караул —г пустив в ход не власть, а дипломатию. Я уговорил Баэrsa, предложив ему на это время обменяться чинами и выстоять с ним караул в качестве его подчиненного. В непроницаемом мраке, под проливным дождем мы пробыли на своем посту два томительнейших часа, которые ничто не скрашивало, если не считать монотонной воркотни Бауэrsa, поносившего войну и погоду. Затем мы начали клевать носом и, обнаружив, что еле удерживаемся в седлах, махнули рукой на свои обязанности и—вернулись в лагерь, не дожидаясь смены. На пути туда нас никто не окликнул и не остановил — мы беспрепятственно добрались до нашего амбара; и неприятель мог бы проделать это с такой же легкостью: лагерь никем не охранялся. Все спали, и выслать караул в полночь было некому, так что его и не выслали. С тем пор мы, насколько я помню, больше не пробовали выставлять караулы ночью, хотя днем кто—нибудь обязательно отправлялся в дозор.

В этом лагере весь отряд спал вповалку на кукурузе, в углу большого амбара, и до рассвета непременно начиналась общая драка: амбар кишел крысами, которые шмыгали по телам и лицам спящих, отчаянно всех раздражая. А иногда они кусали кого—нибудь за палец на ноге, укушенный вскакивал, принимался выкрикивать самые крепкие словечки своего лексикона и швырять в темноту початки. Початки эти не уступали по тяжести обломку кирпичачи, попав в цель, наносили довольно чувствительные ушибы. Ушибленный без промедления пускал в ход те же метательные снаряды,— и через пять минут по всему полу катались насмерть сцепившиеся пары. Из разбитых носов обильно струилась кровь — единственная, которая была пролита при мне в ту войну. Впрочем, нет — это не совсем точно. Было одно исключение. К нему я теперь и перейду.

Мы еще не раз поддавались панике. Каждые несколько дней до нас доходили новые слухи о приближении неприятеля. В этих случаях мы немедленно отступали в какой—нибудь другой из своих лагерей, предпочитая переменить обстановку. Однако эти слухи неизменно оказывались ложными, так что в конце концов даже мы перестали обращать на них внимание. Как—то вечером в наш амбар явился негр, посланный соседним фермером с обычным предупреждением: по окрестностям кружит неприятель. Мы все в один голос сказали: «Пусть себе кружит»,— и решили, во избежание лишних неудобств, остаться на месте. Это было великолепное боевое решение, и сердца наши преисполнились воинственной гордости — на некоторое время. Перед этим настроение у нас было самое веселое, мы возились и шалили, как школьники; но тут произошла заметная перемена: шутки и смех стали вымученными, быстро пошли на убыль, а затем и совсем прекратились,— мы все приумолкли. Приумолкли и почувствовали смутное беспокойство. Затем беспокойство перешло в тревогу, тревога — в страх. Мы заявили, что останемся на месте, и теперь нам было неудобно отступить от своего слова. Конечно, если бы кто—нибудь попробовал нас уговорить, мы быстро согласились бы отойти на другие позиции, но ни у кого не хватало духу первым заговорить об этом. Скоро в темноте началось почти бесшумное движение, вызванное общей для всех, хотя и не высказанной вслух мыслью. Когда это движение прекратилось, каждый из нас твердо знал, что не он один подобрался к стене, выходящей на дорогу, и смотрит в щель между бревнами. Да, мы все собрались у этой стены — все до единого, и все, дрожа от страха, напряженно вглядывались в просвет, где у деревьев стояли корыта для кленового сока,— там из леса выбегала дорога. Было уже поздно, и кругом царила глубокая лесная тишина! В слабом лунном свете мы различали только смутные очертания предметов. Вскоре до нашего слуха донеслось глухое постукивание, и мы узнали цокот конских копыт,— это могла быть одна лошадь, а мог быть и целый отряд. И вот на лесной дороге мелькнула какая—то фигура — неясная, словно клубящийся дым. Это был всадник, и мне почудилось, что за ним следуют другие. Я нащупал ружье и просунул ствол в щель между бревнами, от страха едва сознавая, что делаю. Кто—то крикнул: «Пли!» — и я спустил

курок. Мне показалось, что я увидел сотню вспышек и услышал сотню выстрелов; и затем всадник упал на землю. Первым— моим чувством была радость, смешанная с удивлением, а первым порывом – свойственный всем начинающим охотникам порыв броситься к своей добыче. Кто—то еле слышно шепнул:

– Отлично... мы его уложили... теперь подождем остальных.

Но остальные не появлялись. Мы напряженно ждали... прислушивались... Но из леса больше никто не появлялся. И ни звука кругом, даже лист не шелохнется,— только нерушимая жуткая тишина, которая казалась еще более жуткой из—за подымавшихся от земли сырых запахов ночи. Затем, недоумевая, мы осторожно выбрались из— амбара и приблизились к лежащему на дороге человеку. В эту минуту луна вышла из—за облака, и мы увидели его совершенно ясно. Он лежал на спине, раскинув руки, грудь его тяжело поднималась, из открытого рта вырывались всхлипывающие вздохи, а белая рубашка была на груди вся забрызгана кровью. Меня оглушила мысль, что я убийца, что я убил человека – человека, который не сделал мне ничего дурного. Ни прежде, ни потом не испытывал я такого леденящего ужаса. Я упал рядом с ним на колени и стал беспомощно гладить его лоб; в тот момент я охотно отдал бы что угодно – даже собственную жизнь,— лишь бы он снова стал тем, чем был пять минут тому назад. И все остальные, казалось, испытывали то же: они глядели на него с глубокой жалостью, пытались, как могли, помочь ему, бормотали слова раскаяния. Неприятель был забыт, мы думали только об этом лежащем перед нами авангарде вражеской армии. Мне вдруг показалось, что мутнеющие глаза обратились на меня с выражением упрека,— и, право, я предпочел бы, чтобы он вонзил мне нож в сердце. Он что—то невнятно, словно во сне, бормотал о своей жене и ребенке, и я с новым приливом отчаяния подумал: «Я погубил не только его, но и их тоже, а они мне, как и он, не причинили никакого зла».

Через несколько минут он умер. Его убили на войне, на самой честной и законной войне, можно даже сказать – в сражении, и все же противники оплакивали его с такой искренностью, словно он был их братом. Полчаса мы печально стояли вокруг него, вспоминая каждую подробность трагического происшествия, гадая, кто бы он мог быть и не шпион ли он, и повторяя снова и снова, что, случись это опять, мы не тронули бы его, если бы он первый на нас не напал. Вскоре выяснилось что, кроме меня, стреляло еще пять человек; такое разделение вины несколько успокоило мою совесть, потому что как—то облегчило и уменьшило давившее меня бремя. Мы, шестеро, выстрелили одновременно, но в ту минуту я был не в себе и сгоряча решил, что стрелял я один, а залп мне только послышался. Убитый был в штатском, и мы не нашли на нем оружия. Он оказался не здешним,— больше нам о нем ничего узнать не удалось. С тех пор мысли о нем преследовали меня каждую ночь, и я не мог их отогнать. Я не мог от них избавиться – слишком уж бессмысленно и ненужно была уничтожена эта никому не мешавшая жизнь. Случившееся стало для меня символом войны: я решил, что любая война только к этому и сводится – к убийству незнакомых людей, которые не внушают тебе никакой личной вражды, людей, которым при других обстоятельствах ты охотно помог бы в беде и которые тоже помогли бы тебе в трудный час. От моего бывшего пыла не осталось и следа. Я почувствовал, что не гожусь для этого страшного дела, что война – удел мужчин, а мой удел – идти в няньки. Я решил покончить с этой видимостью солдатской службы, пока у меня еще сохранились остатки самоуважения. Никакие доводы рассудка не могли рассеять этих мрачных мыслей, хотя в глубине души я был убежден, что не попал в незнакомца. Закон вероятности доказывал, что его кровь была пролита не мною,— ведь до сих пор я еще ни разу в жизни не попадал туда, куда целился, а в него я целился очень старательно. Однако это меня не утешало. Для воспаленного воображения самые наглядные доказательства – ничто.

Все мое последующее пребывание на войне ничем не отличалось от вышеописанного. Мы с утомительным однообразием отступали из одного лагеря в другой и объедали всю округу. Теперь я только диву даюсь, вспоминая бесконечное терпение фермеров и их домашних. Им следовало бы перестрелять нас всех, а они вместо того оказывали нам такое

щедрое и любезное гостеприимство, словно мы и впрямь его чем—то заслужили. В одном из лагерей мы встретили Эбба Граймса, лоцмана с верхней Миссисипи, который позднее, став разведчиком в армии конфедератов, прославился своей дерзкой смелостью и самыми невероятными приключениями. Внешний вид и манеры его товарищей показывали, что они отправились на войну не шутки шутить,— они это и подтвердили впоследствии своими подвигами. Все они превосходно ездил верхом и метко стреляли из револьверов, однако их любимым оружием было лассо. У каждого к луке был привязан сыромятный ремень с петлей, и каждый из них мог Даже на полном галопе сдернуть противника с седла.

В другом лагере командовал свирепый старик,; кузнец, отчаянный богохульник. Он снабдил двадцать своих рекрутов огромными охотничьими ножами собственной работы,— эти ножи приходилось держать в обеих руках, словно мачете индейцев Панамского перешейка. Жутко было смотреть, как эти молодцы под наблюдением безжалостного старого фанатика ревностно учились рубить и колоть своим смертоносным оружием.

Последний лагерь, к которому мы отступили, находился в ложбине, неподалеку от городка Флорида, где я родился,— в округе Монро. Тут нам однажды сообщили, что на нас идет полковник армии федералистов в сопровождении целого полка. Дело, по—видимому, принимало серьезный оборот. Наш отряд отошел в сторонку и принялся совещаться; затем мы вернулись и сообщили остальным стоявшим там частям, что разочаровались в войне и собираемся самораспуститься. Они готовились отступить куда—нибудь еще и ждали только генерала Тома Гарриса, который должен был прибыть с минуты на минуту; поэтому они принялись уговаривать нас немного подождать, однако большая часть нашего отряда ответила, что мы привыкли отступать и не нуждаемся для этого ни в каких Томах Гаррисах, что мы отлично обойдемся без него — только сэкономим время. И вот примерно половина из наших пятнадцати человек, включая меня, вскочили на коней и без задержки покинули лагерь; остальные, поддавшись убеждениям, остались — остались до конца войны.

Час спустя мы встретили на дороге генерала Гарриса в сопровождении нескольких человек. Возможно, это был его штаб, но точно сказать не могу — они были без мундиров. Мундиры тогда еще не вошли у нас в моду. Гаррис приказал нам вернуться, но мы сообщили ему, что к лагерю приближается полковник федеральной армии, за которым следует целый полк, и ввиду возможных неприятностей мы рассудили за благо отправиться домой. Он побушевал немного, но без толку: мы твердо стояли на своем. Мы уже вложили свою лепту — убили одного человека, составлявшего целую армию, хотя и немногочисленную; остальных пусть он сам поубивает, чем война и кончится. Вновь я увиделся с этим энергичным молодым генералом только в прошлом году; его волосы и усы стали совсем белыми. Позднее я познакомился с тем федеральным полковником, который своим приближением заставил меня навсегда покинуть поле брани— и лишил дело Юга моих услуг. Но тогда он уже был генералом — генералом Грантом. Я чуть было не встретился с ним, когда он был так же безвестен, как я сам, когда кто угодно мог сказать: «Грант? Улисс Грант? В первый раз слышу это имя». Сейчас кажется странным, что было время, когда такая фраза не вызвала бы удивления, однако такое время было, и я находился всего в нескольких милях от места, где эта фраза могла, быть произнесена, хотя и следовал в противоположном направлении.

Человек мыслящий не отвергнет моих воспоминаний о войне, как не имеющих никакой ценности. Ведь они, как—никак, дают довольно точное представление о том, что происходило во многих лагерях милиции на протяжении первых месяцев войны,— когда зеленые рекруты не имели никакого понятия о дисциплине и были лишены опытных и умелых руководителей, которые умеряли бы их пыл и ободряли бы в трудную минуту; когда все, что их окружало, казалось новым, странным и полным неведомых ужасов; когда они еще не приобрели в сражениях тот бесценный опыт, который превратил их из зайцев в солдат. Если эта сторона первого этапа войны до сих пор не попадала в историю, значит, история была не полна, ибо все эти события тоже принадлежат ей. В лагерях, разбросанных по стране в начале войны, набралось бы гораздо больше подходящего материала для Булл—Рана, чем было использовано при самом Булл—Ране. А вскоре эти новички изучили свое ремесло и

помогли выиграть еще много больших сражений. Я и— сам мог бы стать солдатом, если бы подождал. Во всяком случае, часть военной науки я постиг: я узнал об отступлениях больше, чем тот человек, который изобрел отступление.

ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Мистер Клеменс отвечает на тост «За наборщика!»

Слова председателя о Гутенберге заставили меня вспомнить прошлое, ведь и сам я нечто вроде ископаемого. С годами все меняется, и, быть может, теперь я здесь чужой. Быть может, типограф сегодня уже не тот, что тридцать пять лет назад. Того—то я знал хорошо. Для него я не был чужим. Морозным утром я разжигал для него огонь, я таскал ему воду с колонки, выметал сор, подбирал с полу литеры и, если он следил за мной, годные раскладывал по гнездам наборной кассы, а сбитые сбрасывал в ящик; если же его не было — украдкой сваливал все без разбору в кучу для переплавки, — такова уж натура мальчишки—подручного, а я был мальчишкой. Я смачивал бумагу по субботам и тискал гранки по воскресеньям, — ведь это был местный еженедельник; я закатывал валики краской, смывал ее, мыл форму, складывал газеты и по четвергам на рассвете разносил их. За разносчиком охотились собаки со всего города. Явись я к Пастеру со всеми укусами, выпавшими на мою долю, — и он был бы на год обеспечен работой. Я упаковывал газеты для отправки по почте. У нас была сотня подписчиков в городе и три с половиной в окрестностях; городские расплачивались крупой и макаронами, сельские—капустой и вязанками дров, да и то не часто; и всякий раз мы с большой помпой отмечали это событие в газете, — стоило нам забыть об этом, и мы теряли подписчика. Каждый, кому не лень, вмешивался в дела газеты — указывал, как ее редактировать, определял ее взгляды, намечал направление, — и всегда наш хозяин был вынужден соглашаться, иначе мы теряли подписчика. Нас буквально осаждали критики, и каждому из них приходилось угождать. Был у нас подписчик, который платил наличными. Он один доставлял хлопот больше, чем все остальные вместе взятые. За два доллара он покупал нас со всеми потрохами на год вперед. По его милости мы без конца меняли политические убеждения и пять раз на день переходили из одной веры в другую. Коли ему возражали, он грозил прекратить подписку, что означало, конечно, банкротство и разорение. Этот человек обычно писал статьи на полтора столбца крупным шрифтом, подписывая их «Junius», «Veritas», «Vox Populi»¹³ или столь же высокопарно и нелепо, а затем, когда статья была уже набрана, приходил и заявлял, что передумал (чисто риторическая фигура, — он вообще никогда не думал), и требовал ее снять. «Старье» на это место не поставишь, так что мы вынимали набор, меняли подпись, приписывали статью своим конкурентам, газетчикам из ближайшего городка, и печатали ее. Вообще мы не гнушались «старьем». Если случалось празднество, цирковое представление или крестины, мы среди дня бросали работу, а потом, чтобы наверстать время, «перекраивали старые объявления» — заполняли ими страницу целиком и заново пускали в печать. Другой вид «старья» — глубокомысленные рассуждения, которые, как мы полагали, никто не читает; мы держали их наготове и время от времени помещали все те же старые заметки, пока это не становилось опасным. Точно так же на заре телеграфа мы заготавливали впрок; новости. Отбирали и хранили на досках ничем не примечательные пустые сообщения, меняли в них дату и место действия — и печатали снова и снова, пока интерес к ним публики не иссякал до дна. На использованной информации мы делали пометки, но потом редко принимали их во внимание, так— что практически между «использ.» и «свеж.» сообщениями разницы не было. Я видел «использ.» объявление о распродаже по суду, которое все еще преспокойно вызывало сенсацию, хотя и распродажа два года назад закончилась, и судья

¹³ «Юниус», «Истина», «Глас народа» (лат.).

умер, и все происшествие стало достоянием истории. Большинство объявлений представляло собой рекламу всяких патентованных средств, — они—то нас прежде всего и выручали.

Я так и вижу эту допотопную типографию в городке на Миссисипи — стены, увешанные афишами скачек, закапанную стеарином наборную кассу, прямо в гнезда которой по вечерам мы вставляли свечи, полотенце, истлевшее от долгого употребления, и другие приметы подобного рода заведений; так и вижу «мастера»—сезонника, который исчезал с наступлением лета, с его котомкой, где лежали рубаха и сверток афиш; не подвернись работа в типографии, он бы читал лекции о трезвости. Жизнь его была проста, потребности невелики; все, что ему надо было, — это кусок хлеба, постель и немного денег, чтобы напиться. Впрочем, как я уже сказал, быть может теперь я здесь чужой и мой гимн давно забытым временам неуместен, — так что я «закругляюсь» и умолкаю.

ПИСЬМО АНГЕЛА—ХРАНИТЕЛЯ

*Эндрю Лэнгдону,
углеторговцу
Буффало, штат Нью—Йорк.*

*Управление ангела—хранителя,
подотдел прошений.
20 января*

Имею честь уведомить Вас, что Ваш последний акт самопожертвования и благотворительности занесен на отдельную страницу книги, именуемой «Золотые деяния человеческие». Отличие это, позволю себе заметить, не только является чрезвычайным, но почти не имеет равных.

По поводу Ваших молитв за неделю, истекшую 19 января сего года, имею честь Вам сообщить:

1. О похолодании, с последующим повышением цен за антрацит на 15 центов за тонну. — Удовлетворено.

2. О росте безработицы, с последующим снижением заработной платы на 10%. — Удовлетворено.

3. О падении цен на мягкий уголь, которым торгуют конкурирующие с Вами фирмы. — Удовлетворено.

4. О покарании человека (вместе с его семьей), открывшего в Рочестере розничную продажу угля. — Удовлетворить в следующих размерах: дифтерит — два случая (один со смертельным исходом); скарлатина — один (осложнение на уши, глухота, психическое расстройство).

Примечание. Этот человек — служащий Нью—Йоркской центральной железнодорожной компании; было бы правильное молиться о покарании его нанимателей.

5. О том, чтобы черт побрал многочисленных посетителей, пристающих к Вам с просьбами о предоставлении работы или иных видов помощи. — Задержано для дальнейшего рассмотрения. Эта молитва противоречит другой от того же числа, о которой будет сказано ниже.

6. О ниспослании смерти соседу, швырявшему камнем в вашу любимую кошку, когда та вопила у него под окном. — Задержано для дальнейшего рассмотрения. Находится в противоречии с молитвой от того же числа, о которой будет сказано ниже.

7. «Пропади они пропадом, эти миссионеры!» — Задержано для дальнейшего рассмотрения, как и две предыдущие.

8. О росте месячной прибыли, составившей в декабре истекшего года 22 230 долларов, до 45 000 долларов к январю этого года и далее в той же пропорции, что было бы, как Вы заверяете, «пределом Ваших желаний». — Удовлетворено с

оговоркой касательно этого заверения.

9. О циклоне, который разрушил бы шахтные сооружения и затопил бы все шахты угледобывающей Северо—Пенсильванской компании.

Примечание. По случаю зимнего времени циклоны отсутствуют. Можно заменить их взрывом рудничного газа, о чем, если Вы согласитесь с подобной заменой, вознесите молитву особо.

Эти девять молитв названы здесь как наиболее существенные. Остальные 298 за неделю, истекшую к 19 января, касающиеся судеб отдельных лиц и идущие под литерой А, удовлетворены нами оптом, – с тем лишь ограничением, что в 3—х из 32—х случаев, когда Вы требуете немедленной гибели, смерть заменена неизлечимой болезнью.

Названными исчерпывается список Ваших молитв, относящихся, согласно нашей классификации, к тайным молениям сердца. По понятным причинам молитвы такого рода рассматриваются нами в первую очередь.

Остальные Ваши молитвы за истекший период относятся к разряду гласных молений. В этот разряд входят молитвы, произносимые на молитвенных собраниях, в воскресной школе и дома – в семейном кругу. Мы определяем важность молитв этого рода в зависимости от места, которое лицо, возносящее их, занимает в нашей таблице. В соответствии с нашими правилами мы делим христиан на две основные группы: 1) христиане по призванию; 2) христиане по названию. И та и другая группа подразделяются далее по калибру, подклассу и виду. Окончательная их ценность выражена в каратах – от 1 и до 1000.

В балансовой ведомости за последний квартал 1847 года Ваши показатели таковы:

Основная группа Христиан по призванию.
Калибр 0, 25 максимально возможной величины.
Подкласс Человек духовный.
Вид Избранные, серия А, раздел 16.
Ценность в каратах 322.

В балансовой ведомости за истекший квартал, то есть по прошествии сорока лет, Ваши показатели переменялись.

Основная группа Христиан по названию.
Калибр 0, 06 максимально возможной величины.
Подкласс Человек животный.
Вид Избранные, серия Я, раздел 1547.
Ценность в каратах 3.

Считаю необходимым обратить Ваше внимание на то, что Вы деградировали по всем показателям.

Перехожу к Вашим гласным молениям. Замечу, что, имея в виду поощрять мелкокалиберных христиан, мы часто удовлетворяем даже те их моления, которые мы бы отвергли, если бы их вознесли христиане более крупных калибров – впрочем, они, разумеется, их не возносят.

Молитва о том, чтобы всевышний в своей вечной благодати послал тепло бедному и нагому. – Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца № 1. Согласно существующей практике нашего ведомства, тайным молениям сердца, вознесенным христианами по названию, отдается преимущество перед молениями гласными.

Молитва о ниспослании лучшей доли и сытной пищи «изнуренному сыну труда, чьи неутомимые и истощающие усилия обеспечивают удобства и радости жизни для более счастливых смертных и обязывают всех нас неустанно и деятельно оберегать его от обид и несправедливостей со стороны алчных и скардных и дарить его благодарной любовью». – Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца за

№ 2.

Молитва «Да почиет благословение господне на тех, кто поступает в ущерб интересам нашим, а равно и на их семьях. Да будет сердце наше свидетелем, что процветание их радует нас и удесятерит наше блаженство». – Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайными молениями сердца за №№ 3 и 4.

Молитва «Не дай погибнуть, о господи, чьей либо грешной душе по слову или делу нашему». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. Получено за пятнадцать минут до тайного моления сердца за № 5, с которым находится в серьезном противоречии. – Предлагается отказаться от одной из молитв или привести их к единству.

Молитва «Помилуй, господи, всех, кто обидел нас и причинил ущерб дому нашему». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. По—видимому, относится и к соседу, швырявшему камнем в кошку. Получено за несколько минут до тайного моления сердца за № 6. – Предлагается устранить противоречие.

«Пусть дело миссионеров, величайший из подвигов, выпадавших когда—либо на долю смертного человека, процветает и ширится в краях, населенных язычниками». Молитва, произнесенная невпопад и без надобности на заседании Бюро Американских Миссионеров. Получено почти на полсутки ранее тайного моления за № 7. – Наше управление не ведает миссионерами и не имеет каких—либо связей с Американским Бюро. Мы готовы удовлетворить одну из этих молитв, но не можем удовлетворить обе. Лучше, мы полагаем, снять первую, которую вы вознесли, находясь в Американском Бюро.

По поводу заключительных слов в тайном молении сердца за № 8 делаю Вам внушение. Эта шутка обросла бородой.

Из 464 пожеланий, содержащихся в Ваших гласных молениях за эту неделю и выше не названных, удовлетворены только два: 1) «Чтобы тучи проливали на землю дождь». 2) «Чтобы солнце светило по—прежнему». Оба пункта так или иначе предусмотрены божественным промыслом, и Вы можете почерпнуть удовлетворение в том, что его не нарушили. Из 462 пожеланий, в которых мы вам отказываем, 61 относится к произнесенным в воскресной школе.

В связи с этим еще раз напомню Вам, что молитвы в воскресной школе, исходящие от мелкокалиберных христиан по названию – этот калибр зовется обычно у нас калибр Ванемейкера, – нами не удовлетворяются. Мы принимаем их просто оптом, по числу слов в единицу времени. Чтобы выполнить минимальную норму, требуется произнести не менее 3000 слов за 15 секунд. 4200 из 5000 возможных – недурной результат для мастеров по молитвам в воскресной школе. Он приравнивается к двум песнопениям и букету от юной девицы в камере бандита перед тем как его повесят.

Остающиеся 401 из Ваших молений мы считаем простым колебанием воздуха. Из подобных молитв мы образуем встречные ветры, чтобы затруднять ход кораблей, принадлежащих нечестивцам. Однако даже для самого слабого ветра их надобно столько, что, как правило, мы их вообще не засчитываем.

К этому официальному уведомлению я хотел бы добавить несколько слов от себя.

Когда люди Вашего типа совершают добрый поступок, мы ценим его в тысячу раз сильнее, чем если бы он исходил от праведника: мы учитываем затраченное усилие. Ваша прочная репутация здесь объясняется тем, что способность к самопожертвованию развита у вас много сильнее, чем можно было бы того ожидать. В давние времена, когда Ваше состояние не превышало еще 100 000 долларов и Вы послали 2 доллара Вашей родственнице, бедной вдове с детьми, многие здесь в раю просто не верили этому, другие же полагали, что деньги были фальшивые. Когда эти подозрения отпали, мнение о Вас изменилось. Через год или два, когда, получив от бедняжки вторую просьбу о помощи, Вы послали 4 доллара, достоверность этого уже никем не оспаривалась и разговоры о Вашем прекрасном поступке не смолкали в течение многих и многих дней. Минуло еще два года, и вдова воззвала к Вам снова, сообщая о смерти младшенького, и Вы отправили ей

на сей раз 6 долларов. Это Вас сильно прославило. Все в раю спрашивали: «Ну как, вы слышали, что сделал Эндрю?» (К этому времени Вас уже называли здесь любовно: «Эндрю»). Из последующих Ваших даяний ни одно не прошло незамеченным, и благодарная память о Вас не остывала в наших сердцах. Весь рай наблюдает Вас по воскресным дням, когда Вы едете в церковь в своей нарядной карете, и когда вы подносите руку к церковной кружке, ликующий крик неизменно проносится по небесному своду, достигая и отдаленных пламенеющих стен преисподней: «Еще пятицентовик от Эндрю!»

Но вот наступил апогей Вашей славы. Несколько дней назад вдова написала Вам, что ей предлагают место учительницы в отдаленной деревне, но у нее нет денег на переезд. Чтобы доехать туда с двумя оставшимися в живых ребятишками, потребуется 50 долларов. Вы подсчитали чистую прибыль за месяц от Ваших трех угольных шахт – 22230 долларов, прикинули, что в текущем месяце она возрастет до 45—50000, взяли перо и выписали ей чек на целых 15 долларов! О, небывалая щедрость! Да будет имя Ваше благословенно во веки веков! Я не знаю в раю никого, кто не пролил бы слез умиления. Взявшись за руки, мы лобызались, воспевая хвалу Вам, и, подобный громовому раскату, раздался глас с сияющего престола, чтобы деяние Ваше было поставлено выше всех известных доселе примеров самопожертвования и смертных и небожителей, и было навеки занесено на отдельную страницу Великой книги, ибо Вам решиться на это было тяжелее и горше, чем десяти тысячам мучеников взойти на костер. Все твердили одно: «Чего стоит готовность благородной души отдать за других свою жизнь, отдать десять тысяч жизней по сравнению с даром в 15 долларов от гнуснейшей и скареднейшей гадины, осквернявшей когда—либо землю своим присутствием!»

И как они были правы! Авраам, проливая слезы, приготовился упокоить Вас в своем лоне и даже наклеил ярлык: «Занято и оплачено». А Петр—ключарь, проливая слезы, сказал: «Пусть только прибудет, мы встретим его факельным шествием». И когда доподлинно стало известно, что Вас ждут райские кущи, небывалое ликование воцарилось в раю. В аду тоже.

Ангел—хранитель (Подпись, печать) .

ПРОШЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЕ

Ее Величеству королеве

Л о н д о н

Хартфорд, 6 ноября 1877 года

Ваше Величество! Как Вы, вероятно, помните, в мае этого года чиновник Вашего департамента государственных сборов, мистер Эдвард Брайт, написал мне, чтобы я уплатил налог, который, по его словам, причитается английскому государству за мои произведения, изданные в Лондоне, — то есть подоходный налог с моего авторского гонорара. Мистера Брайта я не знаю, а переписка с незнакомыми людьми всегда меня крайне тяготит, ибо я вырос и постоянно живу в глуши: до войны — в округе Марион штата Миссури, а сейчас — в Хартфордском округе штата Коннектикут, близ Блумфилда и милях в восьми от Фармингтона (некоторые уверяют, что до Фармингтона не восемь миль, а девять, но этого никак не может быть, потому что я пешком сто раз проходил это расстояние меньше чем за три часа, а генерал Хаули даже уверяет, что он проделывает этот путь за два с четвертью часа, но это маловероятно). Поэтому я подумал, что, пожалуй, самое лучшее написать прямо Вашему Величеству. Хотя с Вами лично я не знаком, но я встречал лорд—мэра Лондона, и если остальные члены Вашей семьи похожи на него, то надо сказать, что она недаром называется королевской. И поскольку дело это касается королевского дома, то, очевидно, разумнее всего будет обратиться прямо к его главе. Встречался я и с принцем Уэльским — один раз, осенью 1873 года, — но знакомство наше близким назвать нельзя: состоялось оно совершенно неофициально, случайно и, разумеется, неожиданно для нас обоих. Произошло

оно на Оксфорд—стрит, в том месте, где эта улица выходит на Риджент—Серкус. Как раз в ту минуту, когда принц во главе процессии появился на одной стороне площади, я проезжал по другой стороне на крыше омнибуса. Думаю, что принц меня запомнил по серому пальто с клапанами на карманах, — во всем омнибусе я один был в таком пальто. А я его, разумеется, не мог не заметить, как нельзя не заметить комету. Вид у него был очень гордый и довольный, — да и ничего нет удивительного, должность у него хорошая.

А как—то раз я зашел проведать Ваше Величество, но не застал Вас дома. Впрочем, это не важно, это со всяким может случиться.

Однако я несколько отклонился от сути дела. Так вот, этот малый, Брайт, написал моим лондонским издателям Чатто и Уиндус (издательство это помещается на левой стороне Пикадилли, квартала за полтора от того кафе, где поют негритянские песни) и потребовал, чтобы они уплатили подоходный налог за нескольких авторов—иностранцев, а именно: «Мисс де ла Рамэ (псевдоним Уйда), доктора Оливера Уэнделла Холмса, мистера Фрэнсиса БретГарта и мистера Марка Твена». Ну, других мистер Чатто как—то выручил из беды; пробовал выручить и меня, да ему это не удалось. Брайт написал тогда лично мне — и не только написал, а прислал мне печатный документ размером в газетный лист, на котором я должен был расписаться в нескольких местах. И скажу я Вам, это одни из тех документов, которые, чем больше их изучаешь, тем больше ставят тебя в тупик и выбивают почву из—под ног. В таком состоянии я, конечно, не мог отвечать за свои поступки. И я написал мистеру Чатто, чтобы он за мой счет уплатил налог. Я, разумеется, полагал, что платить придется только за этот год и не более, чем один процент, или около того. Но вчера я беседовал с принстонским профессором Слоуном (Вы, может быть, с ним незнакомы, но, наверное, не раз видели его, потому что в Лондоне он бывает часто; знаете, такой видный и очень красивый мужчина, всегда занятый своими мыслями; если увидите такого человека на перроне после ухода поезда, то это он и есть: он вечно опаздывает к поезду, как многие ученые люди, которые всё знают, не знают только, как свои знания применить в жизни), так вот этот профессор объяснил мне, что налог с меня взыщут задним числом за три года, и вовсе не один процент, а два с половиной!

Это заставило меня иначе взглянуть на дело, которое я раньше считал пустяковым. Я снова принялся читать присланную мне бумагу, в надежде, что отыщу в ней что—либо для себя благоприятное, — и труды мои, кажется, увенчались успехом. Так, например, в первых же строках сказано — очень учтиво, любезно, как пишутся все английские официальные бумаги (это не пустые слова, а факт и делает честь английскому правительству):

Мистеру Марку Твену. Согласно постановлениям парламента о доходах и сборах, поступающих в распоряжение Ее Величества...» и так далее. На это я раньше не обратил внимания. Я думал, что налог с меня берут в пользу государства, и потому обращался к государству. Но тут я понял, что дело это личное, так сказать семейное, что деньги идут не государству, а Вам. А я всегда предпочитал и предпочитаю иметь дело с главой предприятия, а не с его подчиненными, и очень рад, что заметил эту фразу в документе. С хозяевами всегда можно прийти к разумному и честному соглашению — все равно, идет ли речь о картошке, или о материках, или о чем—либо в этаким роде или совсем в другом, — масштаб и характер вопроса роли не играют. А с подчиненными договориться бывает трудно. Впрочем, это я им не в укор говорю, напротив. У них есть обязанности, и они должны их выполнять неукоснительно, придерживаясь буквы закона, — рассуждать им не положено. Да если бы Вы, к примеру, позволили этому Брайту руководствоваться собственными соображениями и самому разъяснять законы — ручаюсь, что он за каких—нибудь два—три года «разъяснил» бы все Ваши доходы и вконец разорил бы Вас. Конечно, не потому, что он хотел бы поставить королевскую семью в тяжелое положение, — но результат был бы именно таков.

Итак, поскольку Брайт нам больше не помеха, мое дело решится очень легко — это же не ирландский вопрос! Все окончится к общему благополучию, и отношения Ваши с американцами останутся такими же, как были в течение полувека. А какой монарх может

требовать большего от народа другой страны? Правда, еще не все мои сограждане платят Англии подоходный налог, но со временем большинство будет платить, так как у нас каждый год появляется уйма новых писателей, да кроме того, в Вашей Канаде уже сейчас добрых четыре пятых населения составляют богатые американцы, и они все едут и едут туда.

Далее: в присланной мне бумаге я обнаружил графу под заголовком «Скидки». К этому вопросу я еще вернусь, Ваше Величество, а сейчас хочу сказать о другом: писатели в документе вовсе не упоминаются. В нем указаны: каменоломни, шахты, чугуноплавильные заводы, соляные источники, квасцовые заводы, водопроводные станции, каналы, доки, канализация, мосты, мельницы, паромы, рыбные промыслы, ярмарочные балаганы и прочее и прочее — перечень налогоплательщиков длиною в целый ярд, а то, пожалуй, и полтора, — во всяком случае, их огромное количество. Я читал и читал этот список, все дальше и дальше; и по мере того как он подходил к концу, я все более приободрялся, так как здесь подробно и точно перечислено все, что есть в Англии, за исключением разве королевского дома и парламента, — словом, все, что подлежит обложению налогом. А о писателях ни звука! Видимо, их проглядели. Да, так и есть! Сердце у меня запрыгало... Однако веселиться было еще рано. Внизу рукою мистера Брайта было приписано:

«Вы включены в число налогоплательщиков по графе Д, раздел 11». Я нашел эту графу и раздел. В нем стоят только три наименования: 1) торговля и ремесла, 2) конторы, 3) газовые заводы.

Естественно, после минутного размышления я снова воспрял духом, вернулась надежда, а там и уверенность: мистер Брайт ошибся, он явно путает! Дело писателя — не торговля, не ремесло, а творчество. Писателям не нужны конторы, их осеняет вдохновение в любом месте под небом, везде, где дует ветер, где сияет солнце, где вольно дышит все живое! А так как я не торгую и не имею конторы, меня нельзя обложить налогом по графе Д, раздел 11. Вы это сами поймете, Ваше Величество, так что теперь я перейду к другому вопросу, уже затронутому мною раньше, — о «скидках».

Речь идет о скидках с суммы налога, которые могут быть предоставлены при известных условиях. Мистер Брайт утверждает, что я могу рассчитывать только на скидки, указанные в параграфе 8 под заголовком: «Износ и порча машин или оборудования». Это забавно и показывает, как далеко зашел в своем заблуждении мистер Брайт, раз вступив на неверный путь. Где это видано, чтобы в конторах и торговых предприятиях были машины? А раз их нет, значит они не могут изнашиваться и портиться. Согласитесь, Ваше Величество, что я прав.

Вот что говорится в параграфе 8:

«В тех случаях, когда машины или оборудование являются собственностью лица или компании, стоящих во главе предприятия, либо взяты ими в аренду с обязательством сохранить и сдать все в исправности, скидка на уменьшение ценности вследствие износа и порчи предоставляется в размере:фунтов стерлингов».

Так именно и сказано, слово в слово.

Я хотел бы возразить мистеру Брайту следующее:

С гордостью заявляю, что мое единственное оборудование — это мой мозг, и мне не требуется никакой скидки на «уменьшение его ценности вследствие износа и порчи» по той простой причине, что он у меня не изнашивается, а работает все время вполне исправно. Да, я мог бы сказать вашему Брайту, что мои машины — это мой мозг, мастерская — мой череп, орудия — мои руки, и главой этого предприятия являюсь я один. Никому я его в аренду не сдаю, и, следовательно, не имеется никакого «лица, обязанного сохранить и сдать все в исправности». Так—то! Поверьте, Ваше Величество, я ни в коем случае не переоцениваю убедительности моих доводов, я просто написал первое, что мне пришло на ум, не изменив ни слова. Но судите сами — разве я не разбил наголову Вашего Брайта? На этом я ставлю точку: не в моем обычае травить человека, которого я и так уже доконал.

Теперь, после того как я доказал Вашему Величеству, что налог с меня не причитается, что я пострадал из—за ошибки Вашего чиновника, который неверно понял характер моей

деятельности, мне остается только, в надежде на Вашу справедливость, просить, чтобы Вы аннулировали мое первое письмо. Тогда издателю не надо будет платить за меня налог, который я, в растерянности и помрачении ума, вызванном известной Вам бумагой, распорядился уплатить. Вы легко обойдетесь без этих денег, а писатели переживают теперь трудное время. Не вывозят и лекции — Вы представить себе не можете, какой сейчас мертвый сезон!

С неизменным глубоким почтением остаюсь Вашего Величества покорным слугой
Марк Твен.

УДАЧА

Это было в Лондоне, на банкете в честь одного из наиболее известных английских военачальников нашего поколения. По причине, которая вам вскоре станет понятна, я не сообщаю его настоящего имени и титулов и буду называть его генерал—лейтенант лорд Артур Скорсби, кавалер креста ордена Виктории, кавалер ордена Бани и т. д. и т. д. Сколько очарования в прославленном имени! Вот он сидит передо мной — человек—, о котором я столько слышал с тех нор, как тридцать лет назад, но время Крымской кампании, имя его впервые прогремело на весь мир и так и осталось навеки прославленным. Позабыв обо всем на свете, я глядел и глядел на этого полубога; я не сводил с него глаз, я пытливо изучал его, я замечал все: его спокойствие и сдержанность, величавую серьезность лица, неподдельную честность, которой дышало все его существо, подкупающее простодушно человека, не ведающего о своем величии, о прикованных к нему восторженных взглядах, о глубоком искрением восхищении, переполняющем души сотен людей.

Слева от меня сидел мой старый знакомый, священник; но он не всегда был священником — молодость его прошла в боях и походах, лет сорок назад он преподавал в Вулвичском военном училище. Вдруг он наклонился ко мне и, пряча блеснувший в глазах огонек, прошептал мне на ухо: «Скажу вам по секрету—он круглый дурак».

Этот приговор меня ошеломил. Будь это сказано о Наполеоне, Сократе или Соломоне — я бы изумился не более, чем теперь. Я хорошо знал, что мой знакомый на редкость правдивый человек, знал и то, что судил о людях он всегда справедливо, — и уже ни минуты не сомневался, что мир пребывает в заблуждении относительно своего героя: он в самом деле дурак. Я с нетерпением ждал подходящей минуты, чтобы расспросить моего знакомого, как это ему, единственному из всех, удалось открыть эту тайну.

Удобный случай представился несколько дней спустя, и вот что я услышал:

«Около сорока лет назад я был преподавателем в военном училище в Вулвиче. Я присутствовал на экзаменах в одном из отделений, когда юный Скорсби поступал в училище. Мне было искренне жаль его: весь класс отвечал блестяще, а он — боже милостивый! — он не знал буквально ничего. Я видел, что он добрый, славный, простодушный юноша, — было просто больно смотреть на это невозмутимо спокойное, как у идола, лицо и слышать ответы, поистине чудовищные по глупости и невежеству. Я сочувствовал ему всей душой. Ведь на следующем экзамене он непременно провалится; и если я постараюсь по мере сил облегчить его участь, я сделаю доброе дело, которое никому не принесет вреда. Я тихонько поговорил с ним, и оказалось, что ему кое—что известно о Цезаре; и так как он не знал ничего другого, я взялся за дело и начал натаскивать и гонять его, как солдата на учениях, по тем вопросам, касающимся Цезаря, которые всегда задают в подобных случаях. Вы можете мне не поверить, но он с блеском выдержал экзамен! Он «выехал» на этой чисто поверхностной зубрежке и даже заслужил похвалу, в то время как другие, которые знали в тысячу раз больше, провалились. Благодаря какому—то невероятно счастливому случаю, — такой случай едва ли повторяется дважды в столетие, — ему не задали ни одного вопроса сверх тех немногих, по которым я его натаскал.

Это было поразительно. На всех экзаменах я дрожал за него, как мать за своего самого слабого ребенка, и каждый раз он каким—то чудом выпутывался.

Единственное, что должно было наконец разоблачить и убить его наповал, была математика. Я решил сделать все, чтобы смерть эта была для него как можно легче. Я натаскивал и гонял его снова и снова но одним и тем же вопросам, которые обычно в ходу у экзаменаторов, после чего предоставил его собственной участи. Так вот, сэр, постарайтесь постичь, что произошло: к моему ужасу, он получил первый приз! Мало того, его засыпали похвалами и поздравлениями.

На неделю я потерял сон. Совесть не давала мне покоя ни днем, ни ночью. То, что я сделал, я сделал из одного лишь милосердия, чтобы хоть немного облегчить участь бедного юноши. Мне и в голову не приходило, что это может привести к подобной нелепости. Я чувствовал себя таким же виноватым и несчастным, как Франкенштейн. Я открыл перед этим тупицей блестящее будущее, полное ответственных обязанностей,—и теперь могло случиться только одно: при первом же испытании он полетит под откос вместе со всеми своими обязанностями.

В это время началась Крымская война. Разумеется, должна была начаться война, сказал я себе. Не то этот олух еще, пожалуй, мог бы умереть, прежде чем его выведут на чистую воду. Теперь следовало ждать землетрясения. И оно произошло. Когда это случилось, я едва удержался на ногах. Подумайте только, его произвели в капитаны и направили в один из полков действующей армии! Сколько достойных людей стареют на военной службе, прежде чем взберутся на такую высоту. Кто бы мог предвидеть, что бремя подобной ответственности возложат на столь юные и ненадежные плечи! Я бы еще кое—как перенес, если бы ему присвоили чин корнета, но капитана — это уж слишком! При одной мысли об этом меня бросало в жар.

И вот что я тогда сделал — я, для которого покой и бездействие были превыше всего. Я сказал себе: вся ответственность за это перед Англией лежит на мне, значит, я должен ехать с ним и по мере моих сил защищать от него Англию. Итак, я взял свои скудные сбережения — все, что удалось накопить за годы труда и строгой экономии, купил чин корнета в его полку, и мы отправились к месту военных действий.

А там — боже милосердный, это было ужасно! Много ли он совершил ошибок? Да он только и делал, что ошибался. Но, понимаете, никто не знал правды. Его принимали не за того, кем он был на самом деле, и каждое его действие неизбежно получало совсем иное истолкование. Самые нелепые из ого ошибок казались находками вдохновенного гения. Вот честное слово! От самой невинной мог бы заплакать любой здравомыслящий человек; и я действительно плакал и возмущался в душе, и приходил в ярость. Особенно меня удручало, что каждая его новая глупость лишь упрочивала его репутацию. Я говорил себе: он заберется так высоко, что, когда истина наконец откроется, людям покажется, что само солнце низверглось с небес.

Он шагал все выше и выше, через тела погибших командиров,— и вот однажды в разгар боя пал наш полковник, и я весь похолодел от ужаса, ибо следующим по чину был Скорсби! «Ну, дождались! — подумал я. — Через несколько минут все мы провалимся в преисподнюю».

Бой был жестокий; союзники неуклонно отступали по всему фронту. Наш полк занимал ключевую позицию; малейшая оплошность могла погубить все. В такую решающую минуту этот непроходимый дурак не нашел ничего лучшего, как снять полк с занимаемой позиции и атаковать соседний холм, за которым не могло быть и следа противника! «Ну, вот и все! — сказал я себе. — Это уж наверняка конец».

Мы поднялись на холм прежде, чем наш безумный маневр мог быть замечен и приостановлен. и что мы увидели? Целую колонну противника в засаде! Что же с нами случилось? Нас уничтожили? В девяносто девяти случаях из ста это непременно произошло бы. Но нет: противник рассудил, что один—единственный полк не стал бы бродить тут в такое время, — это, должно быть, целая английская армия, разгадавшая их хитроумный замысел.

Итак, колонна обратилась в беспорядочное бегство и, скатившись с холма, преследуемая нами, смяла линию своей собственной обороны; русские были разбиты наголову, и поражение союзников обратилось в блестящую победу. Маршал Канробер, в изумлении и восторге наблюдавшим за всем происходящим, немедленно послал за Скорсби. крепко обнял его и тут же на поле боя, на глазах у войск наградил орденом!

В чем же Скорсби ошибся на сей раз? Он просто—напросто перепутал, где у него правая рука, а где левая, — только и всего. Он получил приказ отойти назад и усилить наш правый фланг, а вместо этого он выступил вперед и двинулся через холм к левому флангу. Но слава военного гения, которую он в тот день завоевал, облетела весь мир и вечно будет жить в анналах истории.

Этот Скорсби добрый, славный и скромный человек, по уму у него не более, чем у младенца, можете мне поверить. Это осел, каких мало; и всего лишь полчаса назад об этом знали только два человека: он и я. День за днем и год за годом ему сопутствовала поразительная, невероятная удача. Он отличился во всех наших войнах; его военная карьера — это бесчисленные ошибки, и среди них не было ни одной, которая не принесла бы ему орден, или титул баронета или лорда, или что—нибудь в этом роде. Взгляните на его грудь: она вся увешана орденами, иностранными и отечественными. Так вот, сэр, каждый из них — знак какой—нибудь вопиющей глупости, и все они вместе взятые свидетельствуют о том, что в этом мире для человека самое лучшее — родиться счастливым. И говорю вам снова, как сказал на банкете: он круглый дурак».

ОТНОСИТЕЛЬНО ТАБАКА

Относительно табака существует уйма предрассудков. И главный из них будто в этом вопросе есть какой—то общий критерий, тогда как такого критерия нет. Привычка — вот единственный критерий, только ею человек и руководствуется, только ей и подчиняется. Всемирный конгресс любителей табака и тот не мог бы найти эталон хотя бы для двух курильщиков и вряд ли повлиял бы на их привычки.

Другой предрассудок состоит в том, будто бы у каждого курильщика есть свой собственный критерий. Такого критерия у него нет. Он думает, что есть, но на самом деле — нет. Он думает, что может отличить сигару, которую считает хорошей, от сигары, которую считает плохой, но он этого не может. Он судит по марке, а воображает, что судит по вкусу табака. Подсунь ему самую дрянную подделку, но с его любимой маркой — он с удовольствием выкурит ее и ничего не заподозрит.

Двадцатипятилетние юнцы с семилетним опытом курения пытаются мне втолковать, какие сигары хорошие, а какие плохие. Это мне—то! Да мне даже не надо было учиться курить — я курил всю свою жизнь; да я только появился на свет — сразу попросил огонька!

Никому не дано знать, какая сигара для меня хороша! В этом деле я сам себе судья. Люди, считающие себя знатоками по части сигар, утверждают, что я курю самые дрянные сигары в мире. Они приходят ко мне в гости со своими сигарами и, как только увидят, что им грозит знакомство с моим сигарным ящиком, проявляют недостойный страх и врут, что им нужно бежать на свидания, которых они вовсе и не назначали. А теперь посмотрим, до чего могут довести предрассудки, особенно если за человеком установилась определенная репутация. Однажды я пригласил на ужин двенадцать близких друзей. Один из них славился своим пристрастием к дорогим, изысканным сигарам, точно так же как я — к дешевым и скверным. Предварительно я наведалься к нему и, когда никто не видел, заимствовал из его ящика две пригоршни его любимых сигар; они стоили по сорок центов штука и в знак своего благородного происхождения были украшены красным с золотом ярлыком. Я содрал ярлык и положил сигары в ящик, на котором красовалась моя излюбленная марка — все мои друзья знали эту марку и боялись ее, как заразы. Когда после ужина я предложил сигары, они

закурили, героическими усилиями стараясь выдержать выдавшее на их долю испытание. Веселость их как рукой сняло, все сидели в мрачном молчании. Их мужественной решимости хватило ненадолго: один за другим друзья бормотали извинения и с неприличной поспешностью бросались вон из дома, наступая друг другу на пятки. Когда утром я вышел посмотреть, чем кончился мой эксперимент, все сигары валялись на дорожке между парадной дверью и калиткой. Все, кроме одной — эта лежала на тарелке моего друга, у которого я их позаимствовал. Видно, больше двух затяжек он не вынес. Позднее он сказал мне, что когда—нибудь меня пристрелят, если я буду травить людей такими сигарами.

Уверен ли я сам в том, что люблю какие—то определенные сигары? Ну конечно абсолютно уверен — если только кто—нибудь не надует меня и не наклеит мою марку на какую—нибудь дрянь, — ведь я, как и все, отличаю мои сигары по марке, а вовсе не по вкусу. Однако я человек разносторонний, и нравится мне многое. Например, я считаю хорошими все те сигары, которые не курит никто из моих друзей, а те, которые они считают хорошими, я считаю плохими. Пожалуй, меня устроит любая сигара, кроме гаванской. Люди думают, что уязвляют меня в лучших чувствах, являясь ко мне в гости в спасательных поясах, то есть хочу сказать — с собственными сигарами в карманах. Но они глубоко ошибаются: в подобных обстоятельствах я принимаю те же самые меры. Когда я иду в опасное место, то есть в богатый дом, где, как водится, курят только дорогие сигары с красным с золотом пояском, а хранятся они в ящичке из розового дерева, выложенного влажной губкой; сигары, на которых нарастает гнусный черный пепел и которые горят с одного бока, и воняют, и жгут пальцы, — жгут все сильнее и сильнее и воняют все омерзительнее, когда огонь уже пробрался вглубь, через благородный табак, — а его—то всего с наперсток в самом кончике сигары! — и в конце концов уже невозможно вынести эту вонь, а владелец сигары тем временем расхваливает ее на все лады и сообщает вам, сколько стоит эта отравка, — так вот, когда мне грозит такая опасность, я тоже принимаю меры защиты: я приношу с собой свою любимую марку—двадцать пять центов за ящик—и продолжаю жить на радость своему семейству. Я даже могу сделать вид, что закурил эту сигару в красной подвязке, — ведь я человек воспитанный, — но минутой спустя я незаметно сую ее в карман, чтобы отдать потом нищему, — их ко мне много ходит, — и закуриваю свою собственную; и когда хозяин начинает расхваливать сигары, я вторю ему, но когда он говорит, что они стоят сорок пять центов штука, я молчу, потому что мне—то лучше знать,

Однако, если уж говорить начистоту, я настолько терпим, что еще не встречал сигары, которую не мог бы курить. Не могу я курить только те, что стоят по доллару за штуку. Я их тщательно исследовал и установил, что делаются они из собачьей шерсти, и притом не лучшего качества.

Я неплохо провожу время в Европе, потому что на всем европейском континенте курят сигары, перед которыми сплеховал бы даже самый закаленный нью—йоркский мальчишка—газетчик. В прошлую поездку я захватил сигары с собой, но больше я этого делать не стаду. В Италии, так же как и во Франции, торговля сигарами является правительственной монополией. В Италии есть три или четыре отечественных марки: "Мингетти", "Трабуко", "Виргиния", и еще одни сигары, похожие на виргинские, только еще злее. "Мингетти", большие и приятные на вид, стоят три доллара шестьдесят центов сотня; за неделю я могу выкурить их целую сотню — и все с удовольствием. "Трабуко" меня тоже вполне устраивают; сколько они стоят, не помню. А вот к виргинским надо привыкнуть, любовь к ним врожденной не бывает. Они похожи на напильник — тот, что называют "крысиный хвост"; правда, некоторые считают, что курить крысиный хвост еще хуже. В середину вложена соломина, ее надо выдернуть, и тогда останется вроде как дымоход, а то тяги будет не больше, чем в гвозде. Впрочем, некоторые, по неопытности, предпочитают гвозди. И все—таки мне нравятся все французские, швейцарские, немецкие и итальянские сигары, и я никогда не интересовался, из чего их делают. Да этого, наверно, никто и не знает! У меня даже есть любимая европейская марка курительного табака: его курят итальянские крестьяне. Он рыхлый, сухой и черный и с виду похож на спитой чай. Когда его раскуришь,

он вспухает, поднимается и вылезает из трубки, а потом вдруг падает тебе за жилетку. Сам по себе этот табак стоит очень дешево, зато увеличиваются расходы на страхование от огня.

Так вот, как я уже отметил вначале, вкус на табак — это предрассудок. По части табака нет никаких критериев, я имею в виду — никаких объективных оценок. Привычка — вот единственный критерий, только ею человек и руководствуется, только ей и подчиняется.

КАК Я ВЫСТУПАЛ В РОЛИ АГЕНТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТУРИСТОВ

Приближалось время, когда нам нужно было отправляться из Экс—ле—Бена в Женеву, а оттуда, посредством ряда продолжительных и весьма запутанных переездов, добираться до Байрейта в Баварии. Разумеется, для обслуживания столь многочисленной компании туристов, как наша, мне следовало нанять специального агента.

Но я все откладывал. А время шло, и, проснувшись в одно прекрасное утро, я был поставлен перед фактом: пора ехать, а агента нет. И тут я решился на отчаянный поступок, — я понимал, что иду на риск, но у меня было как раз подходящее настроение. Я объявил, что на новом этапе устройю все сам, без посторонней помощи; и как сказал, так и сделал.

Я самолично доставил всю компанию — четырех человек — из Экса в Женеву. Езды туда целых два часа, а то и больше, да еще пересадка. Поездка прошла без единого происшествия — ну, не считая забытого саквояжа и еще кое—каких мелочей, оставленных на перроне, но ведь это дело обычное, его происшествием не назовешь. И тогда я вызвался самостоятельно довести всю нашу компанию до Байрейта.

То была большая ошибка с моей стороны, хоть сначала я этого и не понимал. Забот оказалось гораздо больше, чем я ожидал: во—первых, надо было заехать за двумя нашими спутниками, которых мы несколько недель тому назад оставили в одном женевском пансионе, и перевезти их к нам в гостиницу; во—вторых, я должен был заявить на складах хранения багажа на Главной набережной, чтобы оттуда доставили семь наших чемоданов и вместо них взяли на хранение другие наши семь чемоданов, которые будут сложены в вестибюле гостиницы; в—третьих, я должен был выяснить, в какой части Европы находится Байрейт, и купить семь железнодорожных билетов до этого пункта; в—четвертых, я должен был отправить телеграмму одному нашему знакомому в Голландию; в—пятых, было уже два часа дня, и нам следовало торопиться, чтобы успеть к первому ночному поезду, и загодя, пока еще можно, достать билеты в спальный вагон; и в—шестых, я должен был взять в банке деньги.

Я решил, что самое важное — что билеты в спальном вагоне, поэтому для верности пошел на вокзал сам; рассыльные в гостиницах не всегда достаточно расторопны. День был жаркий, мне следовало бы взять извозчика, но я решил, что экономнее будет пойти пешком. На деле получилось наоборот, потому что я заблудился и мне пришлось идти в три раза дальше. Я сунулся в кассу заказывать билеты, но у меня стали спрашивать, каким маршрутом я намерен следовать, — это меня озадачило, я растерялся: кругом толпилось столько народу, к тому же я ничего не смыслил в маршрутах и не подозревал, что в Байрейт можно ехать разными маршрутами; в общем, я решил уйти, проложить маршрут по карте, а уж тогда возвратиться за билетами.

Назад в гостиницу я ехал на извозчике, но, уже подымаясь по лестнице, вдруг вспомнил, что у меня кончились сигары, — вот я и подумал, что надо купить сигар, пока я не забыл. Идти было недалеко, так что извозчик был не нужен. Я сказал кучеру, чтобы он оставался на месте и ждал. По пути я стал составлять в уме телеграмму, которую надо было отправить, и шагал куда глаза глядят, совершенно забыв и о сигарах и об извозчике. Вообще—то я собирался поручить отправку телеграммы служащим гостиницы, но раз я уже был, надо полагать, неподалеку от почты, я решил, что, пожалуй, отправлю ее сам. До почты оказалось дальше, чем я думал. Но в конце концов я все же ее нашел, написал телеграмму, и

подаю. Господин в окошке, строгий, нервный человек, обрушил на меня ливень вопросов по—французски, но слова его слились в один сплошной поток, я ничего не мог разобрать и опять растерялся. Однако на помощь мне пришел один англичанин, который объяснил, что господин в окошке хочет знать, куда посылать телеграмму. Этого я ему сказать не мог, ведь это была не моя телеграмма; я стал толковать, что просто посылаю ее по поручению своего знакомого. Но его ничем нельзя было урезонить: подавай ему адрес, да и только. Тогда я сказал, что если уж ему так приспичило, то, пожалуйста, я схожу в гостиницу и узнаю.

Кстати я подумал, что сначала зайду за двумя нашими недостающими спутниками, потому что самое лучшее — это заниматься всяким делом в свой черед, а не браться бессистемно сразу за все. Потом я вдруг спохватился, что у гостиницы стоит извозчик и поглощает мою наличность, и я подозвал другого извозчика и велел ему съездить за тем извозчиком и сказать ему, чтобы он ехал за мной к почте и там ждал, пока я приду.

Я долго тащился по жаре, а когда пришел в пансион, оказалось, что те двое не могут идти со мной, так как у них очень тяжелые саквояжи и им нужен извозчик. Я пошел за извозчиком, но, прежде чем мне попался хоть один, я заметил, что нахожусь поблизости от набережной, — так по крайней мере мне показалось, — вот я и решил, что сэкономлю немало времени, если сделаю небольшой крюк, зайду на склад для хранения багажа и договорюсь насчет чемоданов. Я сделал небольшой крюк, всего в какую—нибудь милю, и хоть не обнаружил набережной, зато наткнулся на табачную лавку я сразу вспомнил про сигары. Человеку за прилавком я сообщил, что еду в Байрейт и должен запастись сигарами на все время путешествия. Он поинтересовался, каким маршрутом я собираюсь следовать. Я сказал, что не знаю. Тогда он сказал, что он бы посоветовал мне отправиться через Цюрих и через разные другие города, названия которых он перечислил, и предложил продать мне семь транзитных билетов второго класса по двадцать два доллара за штуку, хоть лично он и потеряет на этом комиссионные, которые ему полагаются по уговору с железнодорожными властями. Мне уже надоело ездить в вагонах второго класса по билетам первого класса, и я поймал его на слове.

В конце концов я все—таки нашел контору склада и сказал там, чтобы они отправили в гостиницу семь наших чемоданов и сложили их в вестибюле. Было у меня какое—то подозрение, что я чего—то недоговариваю, но больше я ничего не мог вспомнить.

После этого я обнаружил банк и попросил, чтобы мне выдали денег, но оказалось, что я оставил где—то свой аккредитив и поэтому не могу получить даже самой маленькой суммы. Тут я припомнил, что, должно быть, оставил аккредитив на том столе, где писал телеграмму. Беру извозчика и еду на почту. Приехал, а мне говорят, что, действительно, у них на столе был оставлен аккредитив, но что он передан полицейским властям и что мае надлежит пойти туда и доказать свое право на владение этим документом. Они дали мне в провожатые мальчика; мы вышли с черного хода, потом шли мили две и наконец добрались до места; но тут я вспомнил о своих извозчиках и велел мальчику прислать их ко мне, как только он вернется на почту. Был уже вечер, и мэра на месте не оказалось — он ушел обедать. Я подумал, что, пожалуй, тоже пойду пообедать, но дежурный офицер решил иначе, и мне пришлось остаться. В половине одиннадцатого появился мэр, но он сказал, что время слишком позднее, сейчас сделать ничего нельзя, — я должен прийти завтра в девять тридцать утра. Офицер хотел задержать меня на ночь; он заявил, что у меня подозрительный вид и что, по всей вероятности, я вовсе не являюсь владельцем аккредитива и вообще не имею представлений о том, что такое аккредитив, а просто подглядел, как настоящий владелец аккредитива оставил документ на столе, и теперь хочу его получить, потому что я из тех, кто готов присвоить себе все, что попадется под руку, независимо от того, ценная это вещь или нет. Но мэр сказал, что не замечает во мне ничего подозрительного, что я, кажется, личность вполне безобидная и со мной все в порядке, — разве, может, в мозгу винтиков не хватает, если только вообще он у меня имеется. Я поблагодарил его, он меня отпустил, и я на трех извозчиках вернулся в гостиницу.

Я смертельно устал и не в состоянии был бы вразумительно отвечать на вопросы,

поэтому я решил не беспокоить членов нашей экспедиции в столь поздний час, а устроиться на ночлег в свободном номере, выходящем в дальний конец вестибюля; однако мне не удалось туда добраться, ибо они выставили дозор, они тревожились обо мне. Я очутился в гнуснейшем положении. Члены экспедиции, в дорожном платье и с ледяными физиономиями, сидели рядом на четырех стульях, держа на коленях пледы, сумки и путеводители. Они просидели так уже четыре часа, и барометр все падал. Да, да, они сидели и ждали — ждали меня. Я понял, что теперь только внезапным, вдохновенным, блестящим экспромтом можно прорвать этот железный фронт и произвести смятение в стане врагов. Я запустил на арену шляпу, а за ней вприпрыжку, весело хохоча, выскочил и сам.

— Ха—ха—ха! Вот и мы, почтеннейшая публика!

В ответ — вместо ожидаемых аплодисментов — гробовое молчание. Но я продолжал в том же духе, ведь иного выхода не было, хотя, признаться, моя самоуверенность, и без того довольно худосочная, после такого убийственного приема и вовсе улетучилась.

На сердце у меня было тяжело, но я шутил, я старался тронуть души этих людей, смягчить выражение горечи и обиды на их лицах, притворяясь веселым и легкомысленным; я хотел подать всю эту мрачную историю как забавный, комический анекдот, — но замысел мой не удался. Настроение у всех было для этого неподходящее. Ни единая улыбка не вознаградила меня, ни единая черта не дрогнула на оскорбленных лицах, и ледяные взгляды даже не начали оттаивать. Я хотел было выкинуть еще одно коленце, но эта жалкая попытка была пресечена главой нашей экспедиции в самой середине:

— Где вы пропадали?

По тону я сразу понял, что от меня требуется теперь перейти прямо к прозе фактов. Ну, я и принялся повествовать о своих скитаниях; однако меня снова прервали:

— Где наши друзья? Мы о них ужасно волнуемся.

— О, с ними все благополучно. Я должен был нанять им извозчика. Сейчас вот сбегая и...

— Сядьте! Вы что, не знаете, что сейчас одиннадцать часов? Где вы их оставили?

— В пансионе.

— Почему вы не привели их сюда?

— Потому что у них очень тяжелые сумки. Вот я и подумал...

— Подумал! Никогда не пытайтесь думать если уж кому богом не дано, то нечего и пытаться. Отсюда до пансиона две мили. Вы что же, туда пешком шли?

— Я... дело в том, что я не собирался, но так уж получилось.

— Как же это так получилось?

— Потому что я был на почте и вдруг вспомнил, что у гостиницы меня дожидается извозчик, и тогда, чтобы не было лишних расходов, я крикнул другого извозчика и... и послал его...

— Куда же вы его послали?

— Ну, сейчас я уже не помню, но думаю, что второй извозчик должен был, наверное, передать, чтобы в гостинице расплатились с первым извозчиком и отпустили его,

— Какой же от этого прок?

— Какой прок? Да ведь я прекратил ненужные траты!

— Это каким же образом? Наняв вместо одного извозчика другого?

Я ничего не ответил.

— Почему вы не велели новому извозчику заехать за вами?

— Вот именно что велел! Теперь—то я вспомнил. Я именно велел ему за мной заехать.

Потому что я помню, что когда я...

— Так почему же он за вами не заехал?

— На почту? Он и заехал.

— Хорошо, ну а как тогда получилось, что вы шли пешком в пансион?

— Я... я не совсем ясно помню, как это вышло... Ах да, вспомнил, теперь вспомнил! Я написал текст телеграммы для отправки в Голландию, и...

— Слава богу! Все—таки хоть что—то вы сумели сделать! Не хватало только, чтобы вы и телеграмму не... Что такое? Почему вы не смотрите мне в глаза? Эти телеграмма крайне важная, и... Вы что, не отправили телеграмму?

— Я не говорю, что я ее не отправил...

— Ну, ясно. Можете и не продолжать. О господи, не хватало еще только, чтобы телеграмму не послали! Почему вы ее не отправили?

— Понимаете, у меня было столько дел, столько забот, и я... они там на почте ужасно придирчивы, и когда я составил текст телеграммы...

— Э, да что там! Объяснениями ничего не поправишь. Что он теперь о нас подумает?!

— Да вы напрасно об этом беспокоитесь. Он подумает, что мы поручили отправку телеграммы служащим гостиницы, а они...

— Ну конечно! Ведь это и в самом деле был единственно разумный путь!

— Верно, я знаю. Но на мне висел еще банк. Мне надо было непременно дойти туда и взять денег.

— Все—таки надо отдать вам должное, по крайней мере об этом вы позаботились. Я не хочу быть несправедливой к вам, хотя вы сами должны признать, что причинили нам много беспокойства, и при этом в значительной мере зря. Сколько же вы взяли?

— Видите ли... я... мне подумалось что... что...

— Что же?

— Что... в общем, при данных обстоятельствах... ведь нас так много, знаете ли, и... и потом...— Что это вы так мямлите? Ну—ка, посмотрите на меня!.. Да ведь вы никаких денег не взяли!

— Понимаете, в банке сказали...

— Мало ли что сказали в банке! Нет, у вас, конечно, были какие—то свои соображения. То есть не то чтобы соображения, но что—то такое, чем вы...

— Да нет же, все очень просто: при мне не было аккредитива.

— Не было аккредитива?

— Не было аккредитива.

— Не передразнивайте меня, пожалуйста. Где же он был?

— На почте.

— Это еще почему?

— Я забыл его там на столе.

— Ну, знаете ли, разных я видела агентов по обслуживанию туристов, но такого...

— Я старался как мог.

— В самом деле, бедняжка, вы старались как могли, и я не права, что набросилась на вас, ведь вы целый день хлопотали, чуть с ног не сбились, а мы тут прохладжались, да еще и недовольны, вместо того чтобы спасибо сказать за ваши труды. Все устроится отлично. Мы с таким же успехом можем уехать завтра утром поездом в семь тридцать. Билеты вы купили?

— Купил — и очень удачно. Во второй класс.

— Очень хорошо сделали. Все ездят вторым классом, и нам тоже не грех сэкономить на этой разорительной надбавке. Сколько, вы сказали, они стоят?

— Двадцать два доллара штука, транзитные билеты до Байрейта.

— Ну? А мне казалось, что транзитные билеты невозможно купить нигде, кроме Лондона и Парижа.

— Кому невозможно, а кому и возможно. Я, например, из тех, кто может.

— Цена, по—моему, довольно высока.

— Наоборот, комиссионер еще отказался от наценки.

— Комиссионер?

— Да, я их купил в табачной лавке.

— Хорошо, что вы мне напомнили! Завтра надо подняться очень рано, на сборы времени не будет. Так что возьмите свой зонт, калоши, сигары... Что случилось?

— Черт! Я забыл сигары в банке.

- Подумать только! Ну а зонт?
— С зонтом—то я сейчас все устрою. Это дело минутное.
— Какое дело?
— Да нет, чепуха; это я мигом...
— Но где же все—таки ваш зонт?
— Ерунда, в двух шагах, это не займет и...
— Да где же он?
— Я, кажется, забыл его в табачной лавке, во всяком случае, я...
— Ну—ка, выньте ноги из—под стула. Ну вот, так я и знала! А калоши где?
— Калоши... они...
— Где ваши калоши?
— Эти дни такая сушь стоит... все говорят, что теперь дождя но...
— Где ваши калоши?
— Я... видите ли... дело обстояло так: сначала офицер сказал...
— Какой офицер?
— В полиции; но мэр, он...
— Какой мэр?
— Мэр города Женевы... но я сказал...
— Погодите, что с вами случилось?
— Со мной? Ничего. Они оба уговаривали меня остаться и...
— Да где остаться?
— Понимаете ли... собственно говоря...
— Где же вы все—таки были? Где вы могли задержаться до половины одиннадцатого ночи?
— Д—да, видите ли, после того как я потерял аккредитив, я...
— Напрасно вы заговариваете мне зубы. Отвечайте на вопрос коротко и ясно: где ваши калоши?

— Они... они в тюрьме.

Я попробовал было заискивающе улыбнуться, но улыбка моя окаменела на полпути. Обстановка была явно неподходящая. В том, что человек провел часок—другой в тюрьме, члены нашей экспедиции не видели ничего смешного. Да и я, по правде говоря, тоже.

Пришлось мне им все объяснить. Ну и тут, понятно, выяснилось, что мы не можем ехать завтра утренним поездом, — ведь тогда я не успею вызволить аккредитив. Кажется, нам оставалось только разойтись в самом что ни на есть невеселом и недружелюбном расположении духа, но в последний миг мне повезло. Заговорили о чемоданах, и я получил возможность заявить, что с чемоданами—то я все устроил.

— Вот видите, какой вы, оказывается, заботливый, старательный и догадливый! Просто стыд, что мы к вам так придираемся. Ни слова больше об этом! Вы превосходно со всем справились, и я раскаиваюсь, что проявила такую неблагодарность.

Похвала ранила острее попреков. Мне стало сильно не по себе, потому что это дело с чемоданами не внушало мне особой уверенности. Было в нем какое—то слабое место, но какое именно, я вспомнить не мог, а затевать теперь лишние разговоры не хотелось, ибо час был поздний и неприятностей и без того хватало.

Утром в гостинице, конечно, устроили концерт, когда выяснилось, что мы не едем утренним поездом. Но мне было некогда, я выслушал только несколько вступительных аккордов увертюры и пустился в путь за аккредитивом.

Мне подумалось, что сейчас самое время поинтересоваться еще раз насчет чемоданов и, если понадобится, внести поправки, а я подозревал, что поправки понадобятся. Я опоздал. Служащий сказал, что еще вчера вечером отправил наши чемоданы пароходом в Цюрих. Я недоумевал, как он мог это сделать, прежде чем мы предъявили ему проездные билеты.

— В Швейцарии это необязательно, — объяснил он. — Вы платите и отправляете свои чемоданы куда вам вздумается. Все перевозится за плату, кроме ручного багажа.

— Ну а сколько вы заплатили за наши чемоданы? — Сто сорок франков.

— Двадцать восемь долларов. Да, что—то в этом деле с чемоданами не так.

Потом я встретил швейцара из нашей гостиницы. Он сказал:

— Вы плохо спали сегодня ночью? У вас изможденный вид. Может быть, вы хотели бы нанять агента? Вчера вечером вернулся один, он свободен ближайšie пять дней. Фамилия — Луди. Мы его рекомендуем... то есть Гранд—отель Бо—Риваж рекомендует его своим постояльцам.

Я холодно отказался. Мой дух был еще не сломлен. И потом, мне не нравится, когда на мои неприятности обращают такое явное внимание. К девяти часам я отправился в городскую тюрьму, питая надежду, что, может быть, мэр вздумает прийти раньше, чем начинаются его присутственные часы. Но он не пришел. В тюрьме было скучно. Всякий раз как я пытался что—нибудь тронуть или на что—нибудь взглянуть, что—нибудь сделать или чего—нибудь не сделать, полицейский заявлял, что это запрещено. Тогда я решил попрактиковаться на нем во французском языке, но он и тут не пошел мне навстречу: почему—то звуки родного языка привели его в особенно дурное расположение духа.

Наконец прибыл мэр, и тут все пошло как по маслу: был созван Верховный суд, — они его всегда созывают, когда решается вопрос о ценном имуществе, поставили, как во всяком порядочном суде, стражников, капеллан прочел молитву, принесли незапечатанный конверт с моим аккредитивом, открыли его — и там ничего, кроме нескольких фотографий, не обнаружили, потому что теперь я отчетливо вспомнил, как вынул из конверта аккредитив, чтобы было куда положить фотографии, а самый аккредитив засунул в другой карман, что я и доказал ко всеобщему удовлетворению тем, что извлек упомянутый документ из кармана и, ликуя, предъявил присутствовавшим. Члены суда бессмысленно уставились сначала друг на друга, потом на меня, потом снова друг на друга и в конце концов все—таки меня отпустили, но сказали, что мне небезопасно находиться на свободе, а также поинтересовались моей профессией. Я объяснил им, что я агент по обслуживанию туристов. Тут они благоговейно возвели очи к небесам и произнесли: "Du lieber Gott", а я в нескольких словах поблагодарил их за столь открыто выраженное восхищение и поспешил в банк.

Однако должность агента уже сделала из меня большого любителя порядка и системы, сторонника правил: "не все сразу" и "всему свой черед"; поэтому я прошел банк, не заходя туда, свернул в сторону и пустился в путь за двумя недостающими членами нашей экспедиции. Поблизости дремал извозчик, которого я после длительных уговоров нанял. Во времени я ничего не выиграл, но то был весьма покойный экипаж, и он пришелся мне по душе. Длившиеся уже неделю празднества по поводу шестисотой годовщины со дня рождения швейцарской свободы и подписания союзного договора были в полном разгаре, и запруженные улицы пестрели флагами.

Лошадь и кучер пьянствовали три дня и три ночи напролет, не ведая ни стойла, ни постели. Вид у обоих был измочаленный и сонный — и это как нельзя более отвечало тому, что чувствовал я. Однако в конце концов мы все же подъехали к пансиону. Я слез, позвонил и сказал горничной, чтобы она поторопила наших друзей; я подожду их на улице. Она проговорила в ответ что—то, чего я не понял, и я вернулся в свой экипаж. Вероятно, девушка хотела мне втолковать, что эти жильцы не с ее этажа и что разумнее будет, если я поднимусь по лестнице и стану звонить на каждом этаже, пока не найду тех, кто мне нужен; ибо разыскать нужных людей в швейцарском пансионе можно, кажется, только если проявишь величайшее терпение и согласишься взбираться наугад от двери к двери. Я рассчитал, что мне предстоит дожидаться ровно пятнадцать минут, потому что в подобных случаях совершенно неизбежны следующие три этапа: во—первых, надевают шляпы, спускаются вниз и усаживаются; во—вторых, один возвращается за оставленной перчаткой;

и в—третьих, после этого другому необходимо сбегать наверх, потому что он забыл там "Французские глаголы с одного взгляда". Я решил, что не буду нервничать и поразмыслю на досуге эти четверть часа.

Я погрузился было в блаженный покой ожидания — и вдруг почувствовал у себя на

плече чью—то руку. Я вздрогнул. Нарушителем моего спокойствия оказался полицейский. Я глянул на улицу и увидел, что декорации переменялись. Кругом собралось много народу, и у всех был такой довольный и заинтересованный вид, какой бывает у толпы, когда кто—нибудь попал в беду. Лошадь спала, спал и кучер, и какие—то мальчишки увили нас пестрыми лентами, сорванными с бесчисленных флажтоков. Зрелище было возмутительное. Полицейский сказал:

— Простите, мосье, но мы не можем вам позволить спать здесь целый день.

Я был оскорблен до глубины души и ответил с достоинством:

— Прошу прощения, но я не спал. Я думал.

— Вы, конечно, можете думать, если вам хочется, но тогда думайте про себя, а вы подняли шум на весь квартал.

Это была неудачная шутка, в толпе стали смеяться. Я, правда, храплю иногда по ночам, но чтобы я стал храпеть в таком месте, да еще среди бела дня, — это весьма маловероятно! Полицейский освободил нас от украшений, он с сочувствием отнесся к нашей бесприютности и вообще был очень дружелюбен; однако он сказал, что нам нельзя больше здесь оставаться, иначе ему придется взыскать с нас плату за постой, — таков у них закон; потом он дружески заметил, что я выгляжу омерзительно и вообще, черт возьми, хотелось бы ему знать...

Но я весьма строго прервал его и сказал, что, по—моему, в такие дни не грех и поспрашивать, в особенности если торжества касаются тебя лично.

— Лично? — удивился он. — Каким же это образом? — Да таким, что шестьсот лет тому назад мой предок подписался под вашим союзным договором.

Он поразмыслил немного, оглядел меня с головы до ног и говорит:

— Ах, предок! А по—моему, это вы сами подписывались. Потому что из всех старых развалин, каких мне в жизни случалось... Впрочем, это не важно. Но чего вы здесь так долго дожидаетесь?

Я ответил:

— Я вовсе и не ожидаю здесь долго. Я просто жду пятнадцать минут, пока они забудут перчатку и книгу и сходят за тем и другим.

И я объяснил ему, кто такие эти двое, за которыми я приехал.

Тогда он проявил особую любезность и, громко выкрикивая слова, стал расспрашивать торчавшие над нами из оков головы и плечи. А какая—то женщина вдруг отвечает:

— Ах, те? Да я еще когда ходила для них за извозчиком! Они уехали так около полдевятого.

Это было досадно. Я взглянул на часы, но ничего не сказал. А полицейский говорит:

— Сейчас четверть двенадцатого. Надо было вам получше расспросить. Вы проспали три четверти часа, и на таком солнцепеке. Да вы тут заживо спеклись, дочерна. Удивительное дело. А теперь вы еще, наверно, опоздаете на поезд. Хотелось бы мне знать, кто вы такой? Ваша профессия, мосье?

Я ответил, что я агент по обслуживанию туристов. Это его совершенно ошеломило, и прежде чем он успел прийти в себя, мы уехали.

Вернувшись в гостиницу, я поднялся на четвертый этаж и обнаружил, что наши номера стоят пустые. Это меня не удивило. Всегда так: только агент отвернется от своей паствы, как туристы тут же разбредаются по магазинам. И чем меньше времени остается до отхода поезда, тем вероятнее, что их не будет на месте. Я сел и стал думать, что же делать дальше; но тут меня на шел коридорный и сообщил, что вся наша экспедиция полчаса тому назад отбыла на вокзал. В первый раз за все время они поступили разумно, и это совершенно сбilo меня с толку. Такие вот неожиданности и делают жизнь агента тягостной и беспокойной. Как раз когда все идет как по маслу, у подопечных вдруг наступает полоса временного просветления мозгов, и труды его и старания рассыпаются прахом.

Отправление поезда было назначено ровно на двенадцать часов дня. Часы показывали десять минут первого. Я мог быть на вокзале через десять минут. Я сообразил, что времени у

меня, возможно, не в избытке, ведь то был экспресс—"молния", а экспрессы—"молнии" на континенте весьма дотошны — им обязательно надо тронуться с места до истечения указанных в расписании суток. В зале ожидания не было никого, кроме моих друзей; все другие уже прошли на перрон и "поднялись в поезд", как говорят в здешних местах. Члены экспедиции совершенно обессилели от беспокойства и возмущения, но я их утешил, приободрил, и мы ринулись к поезду.

Но нет, удача и на этот раз не сопутствовала нам. Контролера, стоявшего у выхода на перрон, почему—то не удовлетворили наши билеты. Он долго, внимательно и подозрительно их разглядывал; потом сверкнул на меня очами и подозвал другого контролера. Вдвоем они снова рассматривали билеты, и подозревали третьего. Потом втроем они позвали еще множество других контролеров, и все это сборище говорило, и толковало, и жестикулировало, и полемизировало до тех пор, пока я наконец не взмолился, чтобы они вспомнили, как быстро летит время, приняли несколько резолюций и дали нам пройти. В ответ они любезно уведомили и меня, что в билетах обнаружен изъян, и спросили, где я их достал.

Ага, думаю, теперь—то мне ясно, в чем дело. Ведь я купил их в табачной лавке, и от них, конечно, несет табаком; и теперь они, вне всякого сомнения, собираются провести мои билеты через таможеню, чтобы взять пошлину за табачный запах. Я решил быть искренним до конца,—иной раз это оказывается разумнее всего. Я сказал: — Джентльмены, я не стану вас обманывать. Эти железнодорожные билеты...

— Пардон, мосье! Это не железнодорожные билеты.

— Вот как? — говорю. — В этом и состоит их изъян?

— Вот именно, мосье, вот именно. Это лотерейные билеты, мосье. Билеты лотереи, которая разыгрывалась два года тому назад.

Я притворился, что мне ужасно весело; в подобных случаях — это единственное, что остается; единственное, — а между тем толку—то от этого чуть: обмануть ты все равно никого не можешь и только видишь, что всем тебя жалко и всем за тебя неловко. По—моему, самое гнусное положение, в какое только может попасть человек, — это когда душа его вот так полна горем, сознанием понесенного поражения и собственного ничтожества; а между тем он вынужден корчить из себя бог весть какого шутника и забавника, хоть сам псе равно знает, что члены его экспедиции — сокровища его души, те люди, чьи любовь и почитание полагаются ему по законам современной цивилизации, сгорают от стыда перед чужими людьми, видя, что ты вызвал к себе жалость, которая есть пятно, клеймо, позор и все прочее, что только может навсегда лишить тебя человеческого уважения.

Я бодро сказал, что это ерунда: просто произошло маленькое недоразумение, такое со всяким может случиться, — вот я сейчас куплю настоящие билеты, и мы еще поспеем на поезд, да вдобавок ко всему у нас будет над чем смеяться всю дорогу. И я действительно успел выправить билеты, со штампами и со всем, что полагается, но тут обнаружилось, что я не могу их приобрести, потому что, употребив столько усилий на воссоединение с двумя недостающими членами экспедиции, я упустил из виду банк, и у меня нет денег. Поезд отошел, и нам ничего не оставалось, как вернуться в гостиницу, что мы и сделали; возвращение наше было унылым и безмолвным. Я попробовал было одну—две темы, вроде красот природы, преосуществления и прочего в том же роде, но они как—то не отвечали общему настроению. Наши хорошие номера были уже заняты, но мы получили другие, правда в разных концах здания, однако все же приемлемые. Я рассчитывал, что теперь сумрак начнет рассеиваться, но глава экспедиции промолвила:

"Велите принести в номера наши чемоданы". Я похолодел. С чемоданами что—то было явно не ладно. Я почти не сомневался в этом. Я хотел было предложить, чтобы...

Но одним мановением руки меня заставили замолчать, а затем меня уведомили, что теперь мы обоснуемся здесь еще на три дня, чтобы хоть немного отдохнуть и прийти в себя.

Я сказал, что ладно, только пусть они по звонят вниз: я сам сейчас спущусь и прослежу, чтобы принесли чемоданы. Сел на извозчика и еду прямо в контору м—ра Чарльза Нэчурела,

а там спрашиваю, какое я им оставил распоряжение.

— Отправить семь чемоданов в гостиницу.

— А оттуда вы ничего не должны были привезти?

— Нет.

— Вы абсолютно уверены в том, что я не поручал вам захватить из гостиницы другие семь чемоданов, которые будут сложены в вестибюле?

— Абсолютно уверены.

— В таком случае все четырнадцать чемоданов уехали в Цюрих, или в Иерихон, или еще бог весть куда, и теперь, когда экспедиции станет известно...

Я не кончил, у меня уже ум за разум зашел, а в таком состоянии кажется, будто ты кончил предложение, а между тем ты его прорвал на середине и зашагал прочь, точно лунатик; а там, не успеешь оглянуться, как тебя уже сшибла ломовая лошадь, или корова, или еще что—нибудь.

Я оставил у конторы извозчика — забыл о нем — и по дороге, тщательно все обдумав, решил подать в отставку, ибо в противном случае меня почти наверняка разжалуют. Однако я не считал необходимым подавать в отставку лично: можно ведь и передать через кого—нибудь. Я послал за мистером Луди и объяснил ему, что один мой знакомый агент уходит от дел по причине полной неспособности или по причине переутомления — что—то в этом роде, — и раз у него, Луда, есть еще несколько свободных дней, я хотел бы предложить эту вакансию ему, если только он возьмется. Когда все было улажено, я уломал его подняться наверх и сообщить членам экспедиции, что в силу ошибки, совершенной служащими м—ра Нэчурела, мы здесь остались вовсе без чемоданов, зато их будет избыток в Цюрихе, так что нам нужно немедленно погрузиться в первый состав, товарный, ремонтный или строительный — безразлично, и на всех парах катить в Цюрих.

Он все это исполнил и, вернувшись от них, передал мне приглашение подняться в номера. Как же, так я и пошел! И пока мы с ним ходили в банк за деньгами и за моими сигарами, оттуда — в табачную лавку, чтобы вернуть лотерейные билеты и захватить мой зонт, а оттуда — к конторе мистера Нэчурела, чтобы расплатиться с извозчиком и отпустить его, а оттуда — в городскую тюрьму, чтобы взять мои калоши и оставить на память мэру и членам Верховного суда мои визитные карточки, он по дороге описал мне, какая наверху царит атмосфера, и я понял, что мне и здесь хорошо.

Так я и скрывался в лесах до четырех часов пополудни, покуда не утихла непогода, а затем объявился на вокзале как раз к отходу трехчасового экспреса и воссоединился с экспедицией, находившейся под опекой Луди, который пел все ее сложные дела без видимых усилий или каких—либо неудобств для себя лично.

Одно скажу: я трудился, как раб, пока стоял у кормила власти, я делал все, что мог и умел, но люди запомнили лишь недостатки моего правления и знать ничего не желали о моих достижениях. Пренебрегая тысячей достижений, они без конца — и как только не надоедало?! — вспоминали и с возмущением твердили об одном—единственном обстоятельстве, — да и в чем—то ничего особенного не было, если здраво рассудить, — а именно, что в Женеве я произвел себя в агенты по обслуживанию туристов, потратил столько усилий, что можно было бы целый зверинец переправить в Иерусалим, однако не вывез свою компанию даже за пределы города. В конце концов я сказал, что не хочу больше об этом слышать ни слова, меня это утомляет. И я заявил им прямо в глаза, что никогда больше не соглашусь быть агентом, даже если от этого будет зависеть чья—нибудь жизнь. Надеюсь, я еще доживу до того времени, когда смогу это доказать. По—моему, нет другой такой трудной, головоломной, губительной для здоровья и совершенно неблагоприятной должности, и весь заработок с нее — это обида на сердце и боль в душе.

РАССКАЗ КАЛИФОРНИЙЦА

Тридцать пять лет тому назад я искал золото на Станислаусе и по целым дням бродил с кайлом, лотком и корытом, то тут, то там промывая полную шапку золотоносного песка, постоянно надеясь наткнуться на счастливое местечко и никогда на него не натыкаясь. Это чудесный уголок, заросший лесом, тихий, восхитительно красивый; когда—то, много лет назад, он был густо населен, но сейчас жители покинули его, и эта райская обитель опустела. Все разъехались отсюда, когда иссякли поверхностные залежи. На месте оживленного городка, где были банки, газеты, пожарные команды, мэр и олдермены, теперь расстилалась широкая равнина, покрытая изумрудно—зеленой травой; нигде не осталось ни малейшего намека на то, что здесь когда—то жили люди. Это было неподалеку от Татл—тауна. В его окрестностях, на пыльных дорогах то и дело встречались очаровательные маленькие коттеджи, тихие, уютные, скрывающиеся в зарослях роз и так густо увитые виноградной лозой, что не видно было ни окон, ни дверей, — свидетельство того, что эти жилища пустуют уже не один год, с тех пор как разорившиеся и потерявшие надежду разбогатеть хозяева бросили их, не сумев ни продать, ни подарить кому—нибудь. Каждые полчаса вы натыкались на одинокую бревенчатую хижину, построенную еще в самом начале старательских работ одним из первых золотоискателей, задолго до того, как были сооружены коттеджи. Изредка хижина оказывалась все еще обитаемой; в этих случаях вы могли быть заранее уверены, что ее владелец и есть тот самый пионер, который ее построил. И еще одно могли вы знать заранее — что он остался здесь потому, что когда—то упустил возможность вернуться домой в Штаты богатым человеком, а потом порастерял почти все, что добыл, и принял смиренное решение порвать все связи с родными и близкими и навсегда умереть для них. В ту пору по всей Калифорнии было рассеяно много таких живых мертвецов — горделивых неудачников, к сорока годам уже состарившихся и поседевших, которые в глубине души горько сожалели о своей погубленной жизни и мечтали только об одном — держаться подальше от погони за богатством и как—то дожить свой век.

Это был унылый край! Ни звука на мирных просторах, в лугах и лесах, лишь сонное жужжание насекомых; ни человека, ни зверя, ничего, что могло бы ободрить вас и заставить ощутить радость жизни. И когда наконец, как—то днем, я увидел человека, я очень обрадовался. Ему было лет сорок пять, он стоял у калитки приветливого, утопающего в розах, маленького коттеджа, одного из тех, о которых я уже упоминал. Этот, однако, не выглядел таким заброшенным, — видно было, что в нем живут, его убирают, за ним присматривают. Такой же был и садик перед коттеджем — веселенький, пышный, полный ярким цветом. Меня, конечно, пригласили войти и чувствовать себя как дома, — таков был обычай здешних мест.

Было истинным счастьем очутиться в таком домике после того, как уже много недель ни днем, ни ночью не встречал ничего, кроме хижин золотоискателей с неизбежными земляными полами, неприбранными кроватями, оловянными мисками и кружками, беконом, бобами, черным кофе; хижин, единственным украшением которых бывали пришпиленные к бревенчатым стенам картинки с изображением битв Гражданской войны, вырезанные из иллюстрированных газет восточных штатов. Там все говорило о запустении, суровом, безрадостном, унылом; здесь же я очутился в гнездышке, где все радовало мой истосковавшийся взгляд, среди дешевых и непритязательных вещиц, причисляемых к произведениям искусства, столкнувшись с которыми после долгого воздержания, мы ощущаем, что, неведомо для нас самих, какая—то часть нашего существа изголодалась и теперь наконец насыщается. Я никогда бы не поверил, что лоскутный коврик может доставить столько наслаждения и удовольствия; что такую отраду моей душе принесут бумажные обои, литографии в рамках, цветные дорожки и салфеточки, что кладутся под лампу, виндзорские кресла, полированные этажерки, уставленные ракушками, книгами и китайскими вазочками, и множество тех неуловимых мелочей и штришков, которые вносит в дом женская рука, которые мы привыкаем видеть, не замечая их, и которых нам так недостает, как только они исчезнут. Восторг, охвативший меня, отразился на моем лице;

владелец домика видел это и обрадовался; он увидел это так ясно, что даже ответил мне, словно я выразил свои чувства вслух.

— Все ее работа. — проговорил он с нежностью, — все сделала она сама, каждую мелочь, — и он обвел комнату ласковым, полным обожания взглядом. Кусок мягкой японской ткани, из тех, которыми женщины с тщательной небрежностью драпируют верхнюю часть картины, лежал не так, как надо. Хозяин заметил это и принялся поправлять складки — очень старательно, несколько раз отступая назад, чтобы проверить впечатление, пока наконец не остался доволен. Затем он раза два легонько ударил по складкам рукой и сказал:

— Она всегда так делает. Трудно сказать, что тут не так, но пока вот так не похлопаешь — всегда будто чего-то не хватает, а похлопаешь — сразу видно, что это было необходимо. В чем тут дело — неизвестно, правил здесь нет. Вот так же мать расчесет волосики своему ребенку, пригладит их, а потом чуть-чуть взъерошит. Я столько раз видел, как она все это проделывает, что теперь сам умею не хуже нее, только вот правил не знаю. А она знает правила. Она знает все «как» и «почему»; я же не знаю «почему», я знаю только «как».

Он повел меня в спальню вымыть руки; такой спальни я не видел уже много лет; белое покрывало, белые подушки, ковер на полу, обои, картины, туалетный столик с зеркалом, подушечкой для булавок и всякими изящными вещицами, а в углу — умывальник с настоящей фарфоровой раковиной и кувшином, мыло в фарфоровой мыльнице, на вешалке больше дюжины полотенец, таких белых и чистых, что с непривычки их боязно было взять в руки, это казалось чуть ли не святотатством. И опять мои мысли отразились у меня на лице, и хозяин с удовлетворением проговорил в ответ:

— Все ее работа; все сделала она — каждую мелочь. Здесь нет ничего, к чему не прикоснулась бы ее рука. Вы, верно, думаете... Но я слишком много болтаю.

К этому времени я уже вытирал руки, переводя взгляд с предмета на предмет, как всегда делаешь, очутившись в новом месте, где на каждую вещь приятной радостью посмотреть; и вдруг я почувствовал — знаете, бывает такое необъяснимое ощущение — будто есть здесь что-то такое, что я обязательно должен найти сам, и хозяин очень этого хочет. Я знал это совершенно точно и чувствовал, что хозяин украдкой пытается помочь мне взглядом, — и я изо всех сил старался попасть на верный путь, так как мне очень хотелось доставить ему удовольствие. Несколько раз я терпел неудачу и понимал это без слов, стоило мне лишь слегка покоситься в его сторону; наконец я ясно почувствовал, что смотрю именно туда, куда надо, почувствовал по той радости, которая так и хлынула от шло незримым потоком. Он залился счастливым смехом и, потирая руки, воскликнул:

— Да, да! Вот вы и нашли! Я знал, что вы найдете. Это ее портрет.

Я подошел к темной полочке орехового дерева, висевшей в дальнем конце комнаты, и тут наконец обнаружил то, что до сих пор не замечал, — футляр с дагерротипом. На дагерротипе было премилое девичье личико, красивее которого, как мне казалось, я еще никогда не видал. Мой хозяин упивался восторгом, написанным на моем лице, и был очень доволен.

— Ей исполнилось девятнадцать, — сказал он, ставя портрет на место, — мы как раз поженились в день ее рождения. Когда вы ее увидите... О! погодите, вот вы ее увидите!

— А где она? Когда она придет?

— Сейчас ее нет, она поехала погостить к своим. Это милях в сорока — пятидесяти отсюда. Уже две недели, как она в отъезде.

— А когда она должна вернуться?

— Сегодня среда. Она вернется и субботу вечером — часов, наверное, в девять.

Меня охватило острое чувство разочарования.

— Как жаль, я ведь уже уйду к тому времени, — сказал я с грустью.

— Уйдете? Нет, зачем же? Не уходите. Она будет так огорчена.

Она будет огорчена — это прелестное существо? Если бы она сама произнесла эти

слова, то и тогда, наверное, я не был бы счастливее. Я ощутил глубокое, непреодолимое желание увидеть ее, желание столь настойчивое и острое, что я испугался. И тут же решил: «Если мне дорог душевный покой, я должен тотчас же уйти».

— Знаете, она любит, чтобы к нам приезжали погостить люди, которые много повидали и умеют поговорить, вроде вас. Она это обожает. Ведь и сама она... О! она знает почти все и говорить умеет... ну словно птичка. А какие книги она читает, вы просто не поверите. Не уходите же, ждать осталось совсем недолго, а она будет так огорчена!

Я слушал его, почти не понимая, о чем он говорит, весь поглощенный раздумьем и внутренней борьбой. Он отошел от меня, но я этого не заметил. Вскоре он снова подошел, держа в руке футляр с ее портретом, раскрыл его передо мной и сказал:

— Ну вот, скажите ей прямо в лицо, что вы могли бы остаться и увидеть ее, но не захотели.

Я еще раз взглянул на снимок, и это сокрушило все мои благие намерения. Я останусь, а там будь что будет. Вечером мы мирно дымили трубками и допоздна болтали о всякой всячине, по больше всего мы говорили о ней. И право, уже давно мне по было таи хорону и покойно. Четверг промелькнул незаметно. Когда начало смеркаться, пришел верзила старатель, живший в трех милях от нас, — один из тех поседевших неудачников пионеров, о которых я говорил, — и сердечно приветствовал нас в степенных и сдержанных выражениях. Потом он оказал:

— Я заглянул только, чтобы узнать, когда приезжает маленькая мадам. Есть от нее какие—нибудь вести?

— Как же, письмо. Может быть, хочешь послушать, Том?

— Ну еще бы, если ты мне его прочтешь. Генри.

Генри достал письмо из бумажника и сказал, что, с нашего позволения, он опустит некоторые фразы, не предназначенные для посторонних, после чего прочел все подряд — любящее, кроткое, полное изящества и прелести послание, с постскриптумом, где была уйма нежных приветов и пожеланий Тому, Джо, Чарли и прочим друзьям и соседям.

Закончив чтение, он взглянул на Тома и воскликнул:

— Эге! Да ты опять за старое? Ну—ка отними руки, покажи глаза. И каждый раз ты так, стоит мне прочитать какое—нибудь ее письмо. Смотри, буду писать ей — все расскажу!..

— Боже тебя сохрани, Генри. Не надо. Старею, понимаешь, малейшее огорчение доводит меня до слез. Я ведь думал, она уже здесь, а вместо нее письмо.

— Да откуда ты это взял? Мне казалось, все уже знают, что она не приедет раньше субботы.

— Субботы! Постой, да ведь я знал это. Не пойму, что со мной творится последнее время? Ну конечно знал. Разве мы все не готовимся к ее приезду? Ну ладно, мне пора. Но когда она приедет, я буду тут как тут, старина!

В пятницу к вечеру из хижины, расположенной примерно в миле от нас, притащился еще один седой ветеран и сказал, что ребята собираются немного повеселиться и погулять в субботу, если только она не слишком устанет после поездки, чтобы провести вечер вместе со всеми. Как по—твоему, Генри?

Устанет? Она устанет? Вы только послушайте его! Уж тебе ли не знать, Джо, что она готова не спать полтора месяца, лишь бы доставить кому—нибудь из вас удовольствие.

Услышав о письме, Джо попросил хозяина прочесть его, и ласковые приветы, ему адресованные, вконец растрогали беднягу; но Джо пояснил, что этакое случается с ним каждый раз, стоит ей упомянуть его имя, — ничего не поделаешь, стар стал, совсем развалина.

— Господи боже, до чего нам всем ее недостает! — добавил он.

В субботу я поймал себя на том, что то и дело вынимаю из кармана часы. Генри заметил это и спросил испуганно:

— Вы думаете, что ей уже пора приехать, а?

Я понял, что выдал себя, и немного смутился, но, рассмеявшись, объяснил, что такая уж у меня привычка, когда я чего—нибудь ожидаю. Однако, должно быть, это его не очень успокоило, и с этой минуты он стал заметно тревожиться. Четыре раза он выводил меня на дорогу, к тому месту, откуда было видно далеко вперед, и стоял там, заслонив глаза ладонью и глядя вдаль.

— Я начинаю беспокоиться, всерьез беспокоиться, — повторял он. — Я знаю, что она не должна приехать раньше девяти часов, и все же меня словно кто предупреждает, что случилось недоброе. Как вы думаете, могло с ней что—нибудь случиться?

Мне уже становилось не на шутку совестно за эту его ребячливость, и в конце концов, когда он еще раз повторил с умоляющим видом свой вопрос, я потерял терпение и ответил ему довольно грубо. Он весь как—то съежился, присмирел и стал таким пришибленным и жалким, что я возненавидел себя за эту бессмысленную жестокость. Поэтому я обрадовался, когда под вечер появился еще один старый золотоискатель, Чарли, который подсел поближе к Генри, готовясь послушать письмо и поговорить о приготовлениях к встрече. Чарли произносил речи, одна другой душевнее, и изо всех сил старался рассеять дурные предчувствия и страхи приятеля.

— Ты говоришь, с ней что—то случилось? Чистейшая нелепица, Генри. Ничего с ней не могло случиться, выбрось это из головы. Что сказано в письме? Что она здорова, так? И что она будет к девяти часам. Вспомни—ка, хоть раз она не сдержала слова? Да ни разу! Значит, и волноваться нечего. Она будет здесь, это так же верно, как то, что ты родился на свет. Ну, а теперь давай—ка наведем везде красоту — времени осталось немного.

Вскоре появились Том и Джо, и вся команда принялась украшать дом цветами. В девятом часу трое старателей заявили, что раз уж инструменты при них, они, пожалуй, поразомнут пальцы, потому что скоро начнут сходиться парни и девушки, а они все страсть как истосковались по старой доброй пляске. Инструменты оказались скрипкой, банджо и кларнетом. Усевшись рядком, троица принялась наигрывать какой—то залихватский плясовой мотив, отбивая такт своими здоровенными сапожищами.

Было уже почти девять. Генри стоял у дверей, не сводя глаз с дороги, и раскачивался из стороны в сторону от терзавшей его душевной боли. Его уже несколько раз заставили выпить за здоровье жены и за ее счастливое возвращение, но вот Том снова заорал:

— Команда, приготовиться! Выпьем еще по одной, и она будет здесь.

Джо принес поднос со стаканами и обошел всю компанию. Я протянул руку к одному из двух оставшихся стаканов, но Джо пробурчал вполголоса:

— Не этот. Возьми другой.

Я повиновался. Генри поднесли последнему. Не успел он осушить свой стакан, как начали бить часы. Он слушал, пока не отзвучал последний удар, и лицо его становилось все бледнее и бледнее. Потом он сказал:

— Мне что—то нехорошо со страху, ребята. Помогите мне, я хочу лечь.

Его уложили на диван. Устроившись поудобней, он задремал, но вскоре заговорил, как говорят во сне:

— Я, кажется, слышу стук копыт! Приехали они?

Один из друзей ответил, наклонившись к его уху:

— Это прискакал Джимми Пэрриш. Он говорит, что произошла задержка, но они уже совсем недалеко и скоро приедут. Ее лошадь захромала, но через полчаса они уже будут здесь.

— О, как я счастлив! Значит, ничего не случилось...

Не успели эти слова слететь с его губ, как он уснул.

В ту же минуту друзья проворно раздели его и уложили в постель в той самой комнате, где я однажды мыл руки. Они прикрыли дверь и вернулись. Мне показалось, что они собираются разойтись, и я сказал:

— Пожалуйста, не уходите, джентльмены. Она ведь меня не знает, я посторонний человек.

Они переглянулись. Потом Джо сказал:

— Она? Да она девятнадцать лет как умерла, бедняжка!

— Умерла?

— Если не хуже. Спустя полгода после свадьбы она поехала повидаться со своей родней, и, когда возвращалась, в субботу вечером, в пяти милях отсюда на нее напали индейцы. С тех пор она как в воду канула.

— И он помешался?

Ни единого часу с тех пор не оставался в здравом рассудке. Но когда подходит время ей приехать, ему становится хуже. И вот дня за три до этого мы начинаем заглядывать к нему, подбадриваем, спрашиваем, нет ли от нее известий, а в субботу приходим, убираем дом цветами и готовим все для танцев. И так каждый год, уже девятнадцать лет. В первую субботу нас было двадцать семь, не считая девушек; теперь нас только трое, а из девушек никого уже не осталось. Мы подсыпаем ему в вино снотворного, чтобы он не начал буйствовать, и тогда он держится весь следующий год — думает, что она с ним, пока не наступят последние три—четыре дня. Тут он начинает искать ее, вытаскивает это несчастное старое письмо, и мы приходим и просим почитать его нам. Знали бы вы, как мы ее все любили!

РОМАН ЭСКИМОССКОЙ ДЕВУШКИ

— Хорошо, мистер Твен, я расскажу вам о себе все, что вас интересует, — ответила она нежным, ласковым голосом, спокойно глядя мне в лицо своими честными глазами, — это так любезно и мило с вашей стороны, что вы заинтересовались мной и пожелали узнать меня поближе.

Рассеянно счищая рыбий жир со своих щек маленьким костяным ножом и вытирая его о меховой рукав, она смотрела на пламенные полосы северного сияния, что распластались по небу и окрасили в самые причудливые цвета снежную пустыню и башнеобразные айсберги, — зрелище ослепительное и прекрасное. Наконец она стряхнула с себя задумчивость и собралась поведать мне ту скромную повесть, о которой я просил.

Она уютно устроилась на глыбе льда, служившей нам диваном, и я приготовился слушать.

Она была прелестна. Разумеется, с эскимосской точки зрения. Неэскимосу она, пожалуй, показалась бы несколько полной. Ей только что исполнилось двадцать лет, и она считалась едва ли не самой очаровательной девушкой своего племени. Даже сейчас, на вольном воздухе, несмотря на тяжелую к бесформенную парку с огромным капюшоном, штаны и грубые сапоги, видно было, что лицо у нее уж во всяком случае красивое; что же касается фигуры, то тут приходилось верить на слово. Среди всех гостей, которых беспрерывно принимал и угощал ее радушный и щедрый отец, я не встретил ни одной девушки, которая могла бы сравниться с ней. И все же она не была избалована. Она держалась мило, непосредственно и просто и если и знала о своей красоте, то ничем этого не показывала.

Уже целую неделю она была моим повседневным товарищем, и чем больше я узнавал ее, тем больше она мне нравилась. Ее чутко и заботливо воспитали в атмосфере, непривычно утонченной для этого северного края, ибо отец ее считался самым влиятельным человеком в своем племени и достиг вершин эскимосской цивилизации. Вместе с Лаской — так ее звали — я совершал длительные поездки на собаках по бескрайним ледяным просторам и всегда находил ее общество приятным, а беседу интересной. Я отправлялся с ней на рыбную ловлю, но не в ее опасном челноке, а просто следовал за ней по льду и следил, как она поражала рыбу своим смертоносным копьем. Вместе мы охотились на тюленя; несколько раз я наблюдал, как она и вся ее семья выкачивали жир из выброшенного волнами на берег кита, а

однажды даже отправился с нею на медвежью охоту, но возвратился с полдороги, ибо в глубине души я боюсь медведей.

Однако она приготовилась начать свой рассказ, и вот что я услышал.

— Наше племя, как и все другие племена, с давних пор кочевало с места на место по берегам замерзших морей, но два года назад моему отцу это надоело, и он выстроил из ледяных глыб вон тот большой дом — видите? Он семи футов высотой и в три или четыре раза длиннее любого другого дома. С тех пор мы здесь и живем. Отец очень гордится своим домом; и это понятно: ведь если вы осмотрели наш дом внимательно, вы, конечно, заметили, насколько он красивее и лучше других. А если вы еще не осмотрели его, сделайте это непременно, потому что такой роскошной обстановки вы нигде больше не увидите. Например, в том конце дома, который вы назвали «гостиной», есть помост, где располагаются гости и хозяева во время еды, такого большого помоста не увидишь ни в каком другом доме, ведь правда?

— Да, ты совершенно права, Ласка. Ваш помост самый большой. У нас в Соединенных Штатах не встретишь ничего подобного даже в самых богатых домах.

Удовольствие и гордость засветились в ее глазах от подобного признания. Я заметил это и принял к сведению.

Я знала, что вы будете поражены, увидев наш помост, — сказала она. — А потом, на нем ведь лежит гораздо больше мехов, чем во всех других домах, и каких только мехов там нет: шкуры тюленя, морской выдры, серебристой лисицы, медведи, куницы, соболя — любые меха, и как их много; и такими же шкурами устланы сделанные из льда скамьи для спанья, которые вы называете «кроватями». А у вас дома помосты и скамьи для спанья убраны лучше?

Конечно нет, Ласка, у нас ничего такого и в помине нет.

Эти слова снова обрадовали ее. Ведь она думала только о количестве мехов, которыми обладал ее отец—эстет, а не об их ценности. Я бы мог объяснить ей, что эта груда дорогих мехов составляет или составила бы в моей стране целое состояние, но она все равно не поняла бы меня, — ее народ не считал это богатством. Я бы мог объяснить, что одежда, которая была на ней, или будничная одежда самых простых людей, окружавших ее, стоила тысячу двести, а то и полторы тысячи долларов и что у себя на родине я не знаю никого, кто ходил бы на рыбную ловлю в таких дорогих туалетах. Но она не поняла бы этого, поэтому я ничего не сказал. Она продолжала:

А потом параша. У нас их две в гостиной и две в другой половине дома. Большая редкость — две параша в гостиной. А у вас дома их две?

При воспоминании об этих парашах я чуть было не задохнулся, но обрел дар речи прежде, чем она это заметила, и сказал с вдохновением:

— Видишь ли, Ласка, мне очень стыдно выдавать секреты моей страны, хотя, думаю, ты никому не скажешь об этом — ведь я доверяю тебе; но, честное слово, даже у самого богатого человека в Нью—Йорке нет двух параш в гостиной.

В наивном восторге она захлопала закутанными в мех руками и воскликнула:

— О, не может быть, не может быть!

Право, я говорю совершенно серьезно, дорогая. Взять, к примеру, Вандербильта. Вандербильт, пожалуй, самый богатый человек на свете. И вот, даже лежа на смертном ложе своем, я оказал бы тебе, что и у него в гостиной нет двух параш. Да у него и одной—то нет — умереть мне на этом месте, если я обманываю тебя!

Ее очаровательные глаза расширились от изумления, и она сказала медленно, с каким—то благоговейным страхом в голосе:

— Как странно! Просто невероятно! Трудно даже понять. Он что, скупой?

— Нет, не то... Дело не в расходах, а... Ну, знаешь, просто он не хочет, что называется, «пускать пыль в глаза». Да, да, именно так. Он по—своему скромный человек и не любит хвастаться.

— Что ж, такая скромность похвальна, — сказала Ласка, — если не доводить ее до

крайности. Но как же выглядит его гостиная?

Ну, конечно, она кажется довольно пустой и неудобной, но...

— Так я и знала! Никогда не слышала ничего подобного! А вообще у него хороший дом?

— Да, очень хороший. Он считается одним из самых богатых домов.

Некоторое время девушка сидела молча и задумчиво грызла огарок свечи, очевидно пытаясь до конца осмыслить услышанное. Наконец она вскинула голову и решительно сказала:

— По—моему, есть такая скромность, которая по сути своей хуже хвастовства. Когда человек в состоянии поставить две параша в гостиной и не делает этого, может быть он действительно очень скромен, но куда вероятнее, что он просто пытается привлечь к себе всеобщее внимание. Мне кажется, ваш мистер Вандербильт хорошо знает, что делает.

Я попытался смягчить этот приговор, сознавая, что две параша в гостиной — это еще не то мерило, по которому можно справедливо судить о человеке, хотя в соответствующих условиях это звучит довольно убедительно. Но мнение девушки было непоколебимым, и переубедить ее было невозможно. Затем она сказала:

— А что, у ваших богатых люден есть такие же скамьи для спанья, как у нас, и они высечены из таких же больших льдин?

— Видишь ли, у нас тоже есть хорошие, очень хорошие скамьи, но сделаны они не на льда.

— Вот это интересно! Почему же их не делают из льда?

Я объяснил ей, с какими трудностями это связано, рассказал о дороговизне льда в стране, где нужно зорко следить за продавцом льда, иначе он вам представит такой счет для оплаты, который будет весить побольше, чем сам лед. Тогда она воскликнула:

— Неужели вы покупаете лед?

— Да, дорогая, конечно.

Она залилась простодушным смехом, а затем сказала:

— О, я еще никогда не слыхала подобной глупости! Ведь льда так много, он же ничего не стоит. Да вот он — на сотни миль вокруг. Я не дала бы и рыбьего пузыря за весь этот лед.

— Ну, это просто потому, что ты не знаешь ему цены, ты, маленькая провинциальная проступка! Будь он у тебя в Нью—Йорке в середине лета, ты могла бы за него скупить всех китов.

Она недоверчиво посмотрела на меня и сказала:

— Вы говорите правду?

— Чистую правду. Клянусь тебе!

Она задумалась. Потом с легким вздохом сказала:

— Как бы мне хотелось пожить там!

Я просто хотел в доступной для нее форме дать ей представление о существующем у нас мериле ценностей, но потерпел неудачу. Из моих слов она поняла лишь, что киты в Нью—Йорке дешевы и их там множество; при этой мысли у нее даже слюнки потекли. Необходимо было попытаться смягчить содеянное зло, и я сказал:

— Но если бы ты жила там, тебе совсем не понадобилось бы китовое мясо. У нас его никто не ест.

— Что?!

— В самом деле, никто.

— Но почему?

— Н—ну... Кто его знает. Из предрассудка, пожалуй. Да, да, именно... из предрассудка. Наверно, кто—нибудь, кому нечего было делать, выдумал этот предрассудок, ну а уж когда причуда привьется, она существует до скончания веков.

— Это верно... Совершенно верно, — сказала девушка задумчиво. — Как наше предубеждение против мыла... Знаете, наши племена сначала были настроены против мыла.

Я взглянул на нее, чтобы удостовериться, серьезно ли она говорит. Очевидно, да. Я

помялся, а затем осторожно спросил:

— Извини, пожалуйста. У них было предубеждение против мыла? Было? — переспросил я.

— Да, но только сначала. Никто не хотел есть его.

— А, понимаю. Я не сразу уловил твою мысль.

Она продолжала:

— Это был только предрассудок. Сначала, когда чужеземцы завезли сюда мыло, оно никому не понравилось; но как только оно стало модным, все его сразу полюбили, и теперь оно есть у всех, кому это по средствам. А вы любите его?

— Конечно! Я бы умер, если бы у меня его не было, особенно здесь. А тебе оно нравится?

— Я просто обожаю его. А вы любите свечи?

— Я считаю их предметом первой необходимости. А тебе они нравятся?

Глаза ее засияли, и она воскликнула:

— О, не напоминайте мне о них! Свечи!.. И мыло!..

— А рыбы кишки!

— А ворвань!

— А отбросы!

— А рыбий жир!

— А падаль! А заплесневелая капуста! А воск! А деготь! А скипидар! А черная патока!

А...

— О, перестаньте! Замолчите!.. Я умру от восторга!..

— А потом подать все это в корыте, пригласить соседей и попировать всласть!

Однако видение идеального пиршества было чересчур волнующим, и она лишилась сознания, бедняжка. Я растер снегом ее лицо, привел ее в чувство, и вскоре волнение улеглось. Затем она снова возвратилась к своему рассказу.

— Итак, мы поселились здесь, в новом красивом доме. Но я не была счастлива. И вот почему: я была рождена для любви, и без нее для меня не существовало истинного счастья. Мне хотелось, чтобы меня любили ради меня самой. Я хотела поклоняться и искала поклонения; ничто другое, кроме взаимного обожания, не могло удовлетворить мою пылкую натуру. У меня было много поклонников, даже слишком много, но все они страдали одним и тем же роковым недостатком; рано или поздно я обнаруживала его, ни одному не удалось его скрыть: их интересовала не я, а мое богатство.

— Твое богатство?

— Да. Ведь мой отец самый богатый человек нашего племени и даже всех племен в этих местах.

Из чего же состояло богатство ее отца? Это не мог быть дом — каждый в состоянии построить такой же. Это не могли быть меха — они не ценились здесь. Это не могли быть нарты, собаки, гарпуны, лодка, костяные рыболовные крючки и иглы и тому подобные вещи — нет, их не ценили здесь высоко. Что же тогда делало этого человека столь богатым и привлекало в его дом рой алчных женихов? В конце концов я решил, что проще всего спросить об этом у нее. Я так и поступил. Мой вопрос так явно обрадовал девушку, что я понял, как страстно ей хотелось услышать его. Она так же сильно горела желанием рассказать, как и я — узнать. Она доверчиво придвинулась ко мне и сказала:

— Отгадайте, во сколько его оценивают? Никогда не угадаете!

Я притворился, будто глубоко задумался, а она следила за моим озабоченным и напряженным лицом с наслаждением и жадным интересом; и когда наконец я сдался и попросил ее утолить мое любопытство, сказав, во сколько оценивается состояние этого полярного Вандербильта, она прошептала мое в самое ухо, делая ударение на каждом слове:

— В двадцать два рыболовных крючка... не костяных, а чужеземных... сделанных из настоящего железа!

Затем она величественно отпрянула, чтобы насладиться эффектом своих слов. Я

постарался сделать все, дабы не разочаровать ее. Я побледнел и пробормотал:

— Великий бог!

— Это так же верно, как то, что вы живы, мистер Твен.

— Ласка, ты обманываешь меня... Не может быть!

Она испугалась и смутилась.

— Мистер Твен, — воскликнула она, — каждое мое слово — чистая правда... каждое слово. Вы же верите мне? Неужели вы не верите мне? Скажите, что верите... пожалуйста, скажите, что верите мне!

— Я... Ну да, я верю... Я стараюсь верить. Но это так все неожиданно. Так неожиданно и поразительно. Ты но должна говорить подобные вещи сразу, без подготовки. Это...

— О, извините меня. Если бы я знала...

— Ничего, ничего. Ты еще молода и легкомысленна и никак не могла предвидеть, какое впечатление произведут твои слова...

— О дорогой, я должна была предвидеть. Почему...

— Видишь ли, Ласка, если бы ты начала с пяти или шести крючков, а потом постепенно...

— А, понимаю, понимаю... Потом постепенно добавила бы один крючок, потом два, а потом... ах, почему я не сообразила сама?

— Ничего, девочка, теперь все в порядке... Мне уже лучше... А скоро и совсем пройдет. Ты понимаешь, сразу сказать обо всех двадцати двух крючках человеку неподготовленному и к тому же не очень крепкому...

— О, это было преступлением. Но вы должны простить меня! Скажите, что прощаете... Пожалуйста!

После долгих и весьма приятных уговоров, ласк и убеждений я простил ее. Она была снова счастлива и вскоре возвратилась к своему повествованию. И тогда я узнал, что семейная сокровищница таит в себе еще одну вещь — по—видимому, какую—то драгоценность — и что она избегает говорить о ней прямо, дабы я вновь не был потрясен. Но мне хотелось узнать, что это такое, и я убеждал Ласку сказать. Она боялась. Однако я настаивал и уверял, что на этот раз я подготовлюсь и возьму себя в руки, так что со мной ничего не случится. Она была полна тревоги, но соблазн открыть мне чудо и насладиться моим изумлением и восхищением был столь велик, что она призналась: сокровище при ней. Еще раз справившись, уверен ли я в своей твердости, она полезла к себе за пазуху и, не сводя с меня тревожного взгляда, вытащила помятый медный квадратик. Я покачулся, изображая обморок, и душа ее исполнилась восторга и в то же время ушла в пятки от страха. Когда я очнулся и успокоился, ей захотелось тут же узнать, что я думаю о ее сокровище.

— Что я думаю? По—моему, я ничего прелестнее не видел.

— Правда? Как мило, что вы так говорите! Но ведь он в самом деле чудесный, правда?

— Да, конечно. Я не отдал бы его и за весь земной шар.

— Я так и знала, что вы будете восхищены, — сказала она. — Мне он кажется чудесным. И другого такого нет в наших широтах. Люди проходили весь путь от Ледовитого океана, только чтобы взглянуть на него. Вы когда—нибудь видели такую вещь?

Я ответил, что нет, вижу впервые в жизни. Мне было больно произнести эту великодушную ложь, ибо в свое время я видел миллионы таких квадратиков, — эта скромная драгоценность была не чем иным, как помятым старым багажным жетоном Центрального вокзала в Нью—Йорке.

— Боже мой! — сказал я. — Неужели ты носишь его с собой, когда ходишь одна, без охраны и даже без собаки?

— Ш—ш—ш! Не так громко! — ответила она. — Никто не знает, что я ношу его с собой. Все думают, что он лежит в папиной сокровищнице. Обычно он хранится там.

— А где эта сокровищница?

Это был бестактный вопрос, и на какое—то мгновение она растерялась и насторожилась, но я сказал:

— Полно, не бойся меня. У меня на родине семьдесят миллионов человек, и хоть самому не полагается хвалить себя, но среди них нет ни одного, который не доверил бы мне любого количества рыболовных крючков.

Это успокоило ее, и она рассказала мне, где у них хранятся крючки. Затем она еще раз отклонилась от своего повествования, чтобы похвастаться размером кусков прозрачного льда, которые заменяли стекла в окнах их дома, и спросила, видел ли я что—либо подобное у себя на родине; я совершенно честно признался, что не видел, и это обрадовало ее безмерно, у нее даже не хватило слов выразить свое удовольствие. Ее так легко было обрадовать, а делать это было так приятно, что я продолжал:

— О Ласка, ты счастливая девушка! Этот прекрасный дом, эта изящная драгоценность, это богатство, этот чудесный снег и великолепные айсберги, бескрайние льды, общедоступные медведи и моржи, благородная свобода, великодушие, всеобщее восхищение, всеобщее уважение и преданность — всем этим ты обладаешь, не прилагая к этому никаких усилий; ты молода, богата, прекрасна, тебя добиваются, за тобой ухаживают, тебе завидуют, ни одно твоё требование не остается невыполненным, ни одно желание — неудовлетворенным, все, что ты захочешь, будет у тебя — разве это не счастье? Я встречал тысячи девушек, но только о тебе одной можно с полным основанием сказать все это. И ты заслуживаешь этого счастья, Ласка, заслуживаешь, я верю всем сердцем.

Мои слова исполнили со бесконечной гордости и счастья, и она долго благодарила меня за эту заключительную тираду, а ее голос и глаза говорили о том, что она искренне тронута. Наконец она сказала:

— Однако не все так солнечно, есть и теневая сторона. Богатство — тяжелое бремя. Иногда я думаю, но лучше ли быть бедной или по крайней мере не такой безмерно богатой. Мне больно видеть, как смотрят на меня люди соседних племен, когда проходят мимо, и слышать, как они с благоговением говорят друг другу: «Смотрите, это она... дочь миллионера!» А иногда они грустно добавляют: «Она купается в рыболовных крючках, а у нас... у нас ничего нет». Это разбивает мне сердце. Когда я была еще ребенком и мы жили в бедности, мы спали при открытых дверях, если хотели, а теперь... теперь... у нас ночной сторож. В те дни мой отец был великодушен и учтив со всеми, а теперь он суров, высокомерен и не выносит фамильярности. Раньше все его мысли были о нашей семье, а теперь он думает только о своих рыболовных крючках. И из—за его богатства все относится к нему с раболепным страхом и подобострастием. Прежде никто не смеялся его остротам, всегда избитым, натянутым и плоским, лишенным того, без чего нет настоящей шутки, лишенным юмора; а теперь все смеются и хихикают, услышав его унылые изречения, а если кто молчит, отец ужасно недоволен и не скрывает своего недовольства. Прежде, решая какое—нибудь дело, не спрашивали его советов и не ценили их, если он и отваживался высказаться; мнение отца и сейчас не самое решающее, но тем не менее все восхваляют его мудрость, и он сам тоже присоединяет свой голос к хору похвал, так как у него нет настоящей деликатности и он не страдает избытком такта. Из—за него пала мораль в нашем племени. Прежде наши люди были честными и мужественными, а теперь они стали жалкими лицемерами и насквозь пропитаны подобострастием. В глубине души я ненавижу все повадки миллионеров! Прежде люди нашего племени были скромные и простые, довольствовались костяными крючками своих отцов; теперь их снедает жадность, они готовы поступиться своей честью и совестью, только бы завладеть проклятыми железными крючками чужеземцев. Однако не следует задерживаться на этих грустных мыслях. Как я уже сказала, я мечтала, чтобы меня полюбили только ради меня самой.

И вот мне показалось, что моя мечта начинает сбываться. Однажды я встретила незнакомца, который назвал себя Калулой. Я сказала ему свое имя, и он признался, что любит меня. От благодарности и удовольствия сердце мое чуть не выскочило из груди, потому что я полюбила его с первого взгляда, и я так ему и сказала. Он прижал меня к своей груди и ответил, что не может и мечтать о большем счастье. Мы гуляли вместе по ледяным просторам, рассказывали друг другу о себе и строили планы счастливого будущего.

Утомившись, мы сели и пообедали: у него с собой были мыло и свечи, а я захватила жир. Мы проголодались, и никогда еще еда не казалась нам такой вкусной.

Он принадлежал к племени, становища которого находились далеко к северу, и к великой моей радости я узнала, что он никогда не слышал о моем отце. Вернее, он слышал о миллионере, но не знал его имени, поэтому, вы сами понимаете, он и не подозревал, что я богатая наследница. Уж конечно я ему об этом ни слова не сказала. Наконец—то меня полюбили ради меня самой! Что может быть лучше? Я была так счастлива. О, счастливее, чем вы можете себе представить!

Время приближалось к ужину, и я повела его к нам домой. Когда мы подошли к нашему дому, он воскликнул, пораженный:

— Какой чудесный дом! И он принадлежит твоему отцу?

Мне было больно слышать подобный возглас, видеть огонек восхищения в его глазах, но это ощущение быстро прошло, ибо я очень любила его: он казался мне таким красивым, таким благородным. Он понравился всей нашей родне, всем тетушкам, дядюшкам, двоюродным братьям и сестрам. Пригласили гостей, затворили и завесили поплотнее двери, зажгли праздничные светильники, и когда всем спало жарко, уютно и даже душно, началось веселое пиршество в честь моей помолвки.

К концу праздника моего отца одолело тщеславие, и он не смог удержаться от соблазна похвастаться своим богатством и показать Калуле, каким огромным состоянием он владеет, а главным образом, конечно, ему хотелось насладиться изумлением бедняка. Я чуть не плакала, но слезы не помогли бы отговорить отца, поэтому я ничего не сказала, а просто сидела молча и страдала.

На виду у всех отец подошел к тайнику, достал крючки, принес их и высыпал над моей головой так, что они, звеня, упали на помост у колен моего возлюбленного. Конечно, от такого поразительного зрелища у бедного юноши захватило дыхание. Он только широко раскрыл глаза и оцепенел от удивления, не в силах понять, как может один человек обладать столь несметным богатством. Наконец он поднял заблестевшие глаза и воскликнул:

— А, так это ты тот знаменитый миллионер!

Отец и все остальные разразились громким и довольным смехом, а когда отец небрежно собрал сокровища, как будто это был ничего не стоящий, бесполезный хлам, и понес их обратно на место, удивлению бедного Калулы не было границ. Он спросил:

— Неужели ты убираешь их, не пересчитав?

Отец хвастливо захохотал и сказал:

— Ну, почести говоря, сразу видно, что ты никогда не был богат, если один—два рыболовных крючка кажутся тебе таким богатством.

Калула смутился, опустил голову, но ответил:

— Это правда, сэр, у меня никогда не было ни одной такой драгоценности, и я еще не встречал человека, который был бы так богат, что даже не пересчитывал их, ибо самый богатый человек, какого я знал до сих пор, владел только тремя крючками.

Мой глупый отец снова захохотал в притворном восторге, дабы создать впечатление, будто он в самом деле не привык пересчитывать и зорко охранять свои крючки. Он просто притворился,

Я встретила и познакомилась с любимым на рассвете; я ввела его в наш дом, когда начало темнеть, спустя три часа — ведь в то время дни становились короткими, наступала шестимесячная полярная ночь. Наш праздник продолжался много часов; наконец гости ушли, а наша семья расположилась вдоль стен на спальнях скамьях, и вскоре все, кроме меня, уже видели сны. А я была слишком счастлива, слишком взволнованна, чтобы уснуть. Долго, долго лежала я совсем тихо, и тут у меня перед глазами мелькнула какая—то тень и растворилась во мраке, поглощавшем самый дальний конец дома. Я не могла разобрать, кто это был, не разглядела даже, мужчина это или женщина. Наконец тот же человек, а может, и другой, прошел мимо меня в обратном направлении. Я раздумывала, что бы все это могло означать, но, так ни до чего и не додумавшись, уснула.

Не знаю, долго ли я спала, но внезапно проснулась и услышала страшный голос моего отца: «О, великий бог снегов, один крючок пропал!» Я почувствовала, что мне грозит несчастье, и кровь заледенела в моих жилах. Предчувствие оправдалось в то же мгновение — отец закричал: «Вставайте все и хватайте пришельца!» Со всех сторон понеслись крики и проклятья, в темноте заметались неясные фигуры. Я бросилась на помощь к моему возлюбленному, но было уже поздно — мне оставалось только ждать и ломать себе руки: живая стена отгородила его от меня, ему вязали руки и ноги. И меня не подпускали к нему до тех пор, пока не убедились, что теперь—то он не убежит. Я припала к его бедному, оскорбленному телу и горько плакала на его груди, а мой отец и вся родня издевались надо мною и осыпали его бранью и позорными кличками. Он сносил дурное обращение со спокойным достоинством, отчего я еще больше полюбила его. Я гордилась и была счастлива тем, что страдаю вместе с ним и ради него. Я слышала, как отец приказал созвать старейшин племени, чтобы судить моего Калулу.

— Как? — спросила я. — Не поискав даже потерявшегося крючка?

— Потерявшийся крючок! — закричали все насмешливо.

А отец добавил, презрительно усмехаясь:

— Отойдите все и сторону и соблюдайте полную серьезность — она собирается отыскать этот потерявшийся крючок! О, она несомненно отыщет его!

При этом они все снова засмеялись.

Я не смутилась. У меня не было ни страха, ни сомнения. Я сказала:

— Смейтесь, теперь ваша очередь смеяться. Но наступит и наша, вы увидите.

Я взяла светильник. Я надеялась, что тотчас найду этот проклятый крючок, и принялась за поиски с такой уверенностью, что люди стали серьезней, начиная сознавать, что они, пожалуй, поторопились. Но увы! О, горечь тщетных поисков! Наступило глубокое молчание, оно длилось долго, можно было успеть десять—двенадцать раз пересчитать свои пальцы; а затем сердце мое начало замирать, и вокруг меня снова раздались насмешки; они становились громче, увереннее, и когда наконец я бросила поиски, все разразилось злорадным хохотом.

Никто никогда не узнает, что я испытывала в ту минуту. Но любовь поддержала меня, дала мне силы, и я заняла принадлежащее мне по праву место рядом с Калулой, обняла его за шею и шепнула ему на ухо:

Ты не виновен, мой родной, я знаю; но скажи мне это сам ради моего спокойствия, тогда я смогу перенести все, что нас ожидает.

— Он ответил:

Я не виновен, и это так же верно, как то, что я стою сейчас перед лицом смерти. Утешься, о израненное сердце, успокойся, о дыхание мое, жизнь моей жизни.

— Тогда пусть придут старейшины!

И как только я произнесла эти слова, на улице закрипел снег под ногами, а затем в дверях показались сгорбленные фигуры старейшин.

Мой отец официально обвинил Калулу и подробно рассказал о происшествии минувшей ночи. Он заявил, что за дверью стоял сторож, а в доме не было никого, кроме членов семьи и пришельца.

— Разве может семья украсть свое собственное имущество?

Он замолк. Старейшины сидели молча. Прошло много долгих минут, пока один за другим они не сказали, каждый своему соседу:

— Обстоятельства говорят не в пользу пришельца.

Как горько мне было слышать его слова. Затем отец сел. О, я несчастная, несчастная! В ту самую минуту я могла доказать невиновность моего возлюбленного, но я и не подозревала об этом!

Главный судья спросил:

— Хочет ли кто—нибудь защищать преступника?

Я встала и сказала:

— Зачем ему нужно было красть этот крючок, или несколько крючков, или даже все крючки? Ведь он мог бы унаследовать все это богатство.

Я стояла в ожидании. Наступило долгое молчание, все тяжело дышали, и меня окутало паром дыхания, словно туманом. Наконец старейшины один за другим несколько раз медленно покачали головами и пробормотали:

— В том, что сказало дитя, есть истина.

О, мое сердце возрадовалось при этих словах — столь непрочным был этот подарок, но столь драгоценным. Я села.

— Если кто—нибудь еще хочет говорить, пусть скажет сейчас, ибо потом придется молчать, — сказал главный судья.

Мой отец встал и сказал:

— Ночью во мраке мимо меня к сокровищнице проскользнула какая—то фигура и вскоре возвратилась. Теперь я думаю, что это был пришелец.

О, я чуть не лишилась чувств! Я надеялась, что это моя тайна, и даже великий бог льдов не смог бы вырвать ее из моего сердца.

Главный судья сурово обратился к бедному Калуле:

— Говори!

Калула помедлил, а затем сказал:

— Да, это был я. Мысль об этих прекрасных крючках не давала мне уснуть. Я пошел туда, целовал и нежно гладил их — я надеялся, что радость, которую я испытываю при виде их, утолит мое беспокойство, а затем и положил их обратно. Может быть, я и уронил какой—нибудь крючок, но не украл ни одного.

О, сделать столь роковое признание в подобном месте! Наступила зловещая тишина. Я знала, что он сам произнес свой смертный приговор и что все копчено. На каждом лице можно было прочесть: «Это признание! Жалкое, трусливое, неискреннее!»

Я сидела чуть дыша и ждала. Наконец я услышала те торжественные слова, которые, я знала, были неминуемы, а каждое произнесенное слово ножом вонзалось мне в сердце.

— По решению суда обвиняемый будет подвергнут испытанию водой.

О, будь он проклят, тот человек, который научил нас этому «испытанию водой»! Его завезли к нам много поколений назад из какой—то далекой, никому неведомой страны. До этого наши отцы пользовались услугами предсказателей и другими ненадежными приемами испытаний, и, конечно, несчастные обвиняемые иногда спасались; но с тех пор, как ввели «испытание водой», которое выдумал человек, более мудрый, чем мы, простые, невежественные дикари, этого уже не случалось. Если человек, подвергшийся этому испытанию, тонет, его признают не виновным, а если он выплывает, это доказывает его вину. Сердце мое разрывалось, ибо я знала; он не виновен, он погибнет в волнах, и я больше не увижу его.

С той минуты я не отходила от него ни на шаг. Все эти драгоценные часы я плакала в его объятьях, а он говорил о своей глубокой любви ко мне, и я была так несчастна... и тем счастлива! Наконец они оторвали его от меня, а я, рыдая, последовала за ними и видела, как его бросили в море... Потом я закрыла лицо руками. Страдание? О, я знаю бездонную глубину этого слова!

В следующее мгновение люди разразились злобными, торжествующими криками, и я в изумлении отняла руки от лица. О, горестное зрелище — он плыл!

Сердце мое мгновенно превратилось в камень, в лед. Я сказала:

— Он виновен и солгал мне!

Я с презрением отвернулась и ушла домой.

Его отвезли далеко в море и посадили на плавучую льдину, двигавшуюся к югу по великим водам. Затем вся родня возвратилась домой, и отец, сказал мне:

— Твой вор шлет тебе свои предсмертные слова: «Передайте ей, что я невиновен и что все дни, часы и минуты, пока я буду голодать и мучиться, я буду любить ее, думать о ней и благословлять тот день, когда впервые узрел ее прекрасный лик». Очень мило, даже

поэтично!

— Он ничтожество, и я не хочу снова слышать о нем, — ответила я.

И подумать только, все это время он был невиновен.

Прошло девять месяцев, девять скучных, печальных месяцев, и наконец наступил день Великого Ежегодного Жертвоприношения, когда все девушки нашего племени моют лица и расчесывают волосы. И при первом же взмахе моего гребня роковой рыболовный крючок выпал из моих волос, где он таился все эти месяцы, а я упала без чувств на руки полного раскаяния отца! Тяжело вздыхая, он сказал:

— Мы убили его, и отныне я уже никогда не улыбнусь!

Он сдержал свое слово. Слушайте: с того дня не проходит и месяца, чтобы я не расчесывала свои волосы. Но какой теперь от этого толк?

Так закончился рассказ бедной девушки, из которого мы узнали, что сто миллионов долларов в Нью—Йорке и двадцать два рыболовных крючка за Полярным кругом делают человека одинаково могущественным, а значит — всякий, кто находится в стесненных обстоятельствах, просто глуп, если он остается в Нью—Йорке, вместо того, чтобы накопить на десять центов рыболовных крючков и эмигрировать.

ЖИВ ОН ИЛИ УМЕР?

В марте 1882 года я жил на Ривьере, в Ментоне. Всеми благами, которыми в Монте—Карло или в Ницце вы пользуетесь на людях, здесь, в этом уединенном уголке, можно наслаждаться в одиночестве. То есть я хочу сказать, что яркое солнце, животворный воздух и кристально чистое голубое море здесь не омрачены людской суетой, шумом и сутолокой. Ментона — тихий, спокойный, скромный городок без всяких претензий на роскошь. Богатая и знатная публика сюда, как правило, не заглядывает. Впрочем, время от времени здесь появляется какой—нибудь богач, и недавно я познакомился с одним из них. Чтобы не раскрывать его инкогнито, я буду называть его Смитом.

Однажды, когда мы сидели за завтраком в Английском отеле, Смит воскликнул:

— Скорее посмотрите на того человека, который выходит из дверей. Постарайтесь запомнить его внешность!

— Зачем?

— Вы знаете, кто это такой?

— Да. Он поселился здесь за несколько дней до вашего приезда. Говорят, это старый, удалившийся от дел богатый шелкопромышленник из Лиона. Он, очевидно, один в целом свете. У него всегда такой грустный, мечтательный вид, и он ни с кем не разговаривает. Зовут его Теофиль Маньян.

Я думал, что Смит растолкует мне, чем вызван его интерес к мосье Маньяну, однако вместо этого он погрузился в глубокое раздумье и, казалось, на некоторое время забыл не только обо мне, но вообще обо всем на свете. Он то и дело ерошил свои шелковистые седые волосы, а завтрак его тем временем остывал на столе. Наконец он сказал:

— Нет. Никак не могу вспомнить.

— Что именно?

— У Андерсена есть прелестная сказка, но я ее забыл. В ней говорится про одного мальчика, у которого была птичка. Он ее очень любил, но постоянно о ней забывал. Одинокая, заброшенная птичка целыми днями пела песенки, сидя в своей клетке. Однако время шло, и вскоре бедняжка начала страдать от голода и жажды. Песенка становилась все печальнее, все тише и мало—помалу совсем замерла. Птичка скончалась. Приходит мальчик. Потрясенный до глубины души, обливаясь горькими слезами, он собирает своих товарищей. Объятые глубокой скорбью, они торжественно хоронят бедную птичку, в простоте своей не ведая о том, что не только дети доводят поэтов до голодной смерти, а потом тратят на их

похороны и памятники такие деньги, каких тем же поэтам хватило бы на безбедную и привольную жизнь. И вот...

Но тут нашу беседу прервали. Часов в десять вечера я встретил Смита, и он пригласил меня зайти к нему в номер покурить и распить бутылочку шотландского виски. В уютной комнате стояли удобные кресла, горели яркие лампы, в камине весело потрескивали сухие оливковые поленья. Ощущение тишины и покоя довершал глухой рокот волн за окном. Некоторое время мы лениво болтали. После второго бокала виски Смит проговорил:

– Ну вот, теперь я могу рассказать вам одну прелюбопытную историю. Мы с товарищами долго хранили ее в тайне, но сейчас мне хочется нарушить печать молчания. Вы удобно устроились?

– О да. Продолжайте!

Вот что рассказал мне Смит:

– Много лет назад, когда я был еще юным, совсем юным художником, я бродил по селам Франции и писал этюды. Вскоре ко мне присоединились двое славных молодых французов – они тоже писали этюды. Мы были столь же счастливы, сколь и бедны, или столь же бедны, сколь и счастливы, – как вам угодно. Молодых людей звали Клод Фрер и Карл Буланже. Это были замечательные ребята. Всегда веселые и жизнерадостные, они смеялись над нищетой и не вешали носа ни при какой погоде.

Наконец, в одном бретонском городке мы окончательно сели на мель, и местный художник, такой же бедный, как мы сами, принял нас в свой дом и в полном смысле слова спас от голодной смерти. Франсуа Милле...

– Как! Великий Франсуа Милле?

– Великий? В то время он был не более великим, чем мы. Он не пользовался славой даже в своем родном городе, и был так беден, что кормил нас одной репой, да и той не всегда хватало. Мы все четверо стали закадычными, неразлучными друзьями. Мы рисовали день и ночь, мы просто из кожи вон лезли, в доме уже громоздились горы картин, но нам очень редко удавалось продать хоть что—нибудь. Мы очень весело проводили время, но, боже, в какой нужде мы жили!

Так продолжалось года два. Наконец в один прекрасный день Клод заявил:

– Ребята, мы дошли до точки. Понимаете – до точки. Все сговорились против нас. Я обошел весь город. Так оно и есть – все они сговорились и грозятся, что не дадут нам в кредит ни на один сантим до тех пор, пока мы не уплатим все долги.

Мы похолодели. На всех лицах выразился ужас. Мы поняли, что попали в отчаянное положение. Воцарилась долгая тишина. Наконец Милле со вздохом произнес:

– Не знаю, что и делать, прямо не знаю. Придумайте что—нибудь, ребята.

Ответом ему было мрачное молчание, – разумеется, если молчание можно считать ответом. Карл поднялся с места и некоторое время взволнованно шагал взад и вперед по комнате. Затем он сказал:

– Какой позор! Взгляните на эти полотна – тут целые штабеля отличных картин, ничуть не хуже произведений любых европейских мастеров. Да, да, и множество праздношатающихся иностранцев утверждали то же самое – или почти то же самое.

– Но ничего не покупали, – вставил Милле.

– Какая разница, ведь они это говорили, и главное – это правда. Посмотри хотя бы на свой «Вечерний благовест». Скажите...

– Подумаешь, «Вечерний благовест»! Мне за него предлагали пять франков.

– Когда?

– Кто?

– Где он?

– Почему ты их не взял?

– Постойте, не кричите все сразу. Я думал, что он даст больше, я был уверен в этом – у него был такой вид, и я запросил восемь.

– Ну и что же?

– Он сказал, что зайдет еще раз.
– Гром и молния! Послушай, Франсуа...
– Знаю! Знаю! Это была ошибка, и я вел себя как последний идиот. Ребята, поверьте, у меня были наилучшие намерения, я...

– Ну конечно, мы тебе верим, дружище! Но постарайся в следующий раз не свалить такого дурака.

– Я? Да пусть только кто—нибудь придет сюда и предложит за него кочан капусты. Тогда вы увидите!

– Кочан капусты! Не произноси при мне таких слов, у меня от них слюнки текут. Поговорим о чем—нибудь менее соблазнительном.

– Ребята! – промолвил Карл. – Скажите, разве эти картины лишены достоинств?

– Не лишены.

– Скажите, разве они не отличаются высокими достоинствами?

– Отличаются.

– Настолько высокими достоинствами, что, если бы на них стояло известное имя, их можно было бы продать за большие деньги. Говорите – да или нет?

– Разумеется – да. Никто в этом не сомневается.

– Я не шучу – так или не так?

– Разумеется, так. Мы тоже не шутим. Но что с того? Что с того? Мы—то тут при чем?

– А вот при чем – мы поставим на них известное имя!

Оживленная беседа замерла. Все с недоумением уставились на Карла. Это еще что за загадка? Где мы возьмем известное имя? Кто нам его даст?

Карл уселся и сказал:

– У меня есть к вам одно серьезное предложение. По—моему, это единственный способ не попасть в богадельню и, мне кажется, способ абсолютно верный. Мысль эта основана на многочисленных, давно известных из мировой истории фактах. Я уверен, что мой план принесет всем нам богатство.

– Богатство! Ты с ума сошел!

– Ничего подобного.

– Нет, ты окончательно спятил. Что ты называешь богатством?

– По сто тысяч франков на брата.

– Он явно рехнулся. Я так и знал.

– Да, похоже на то. Бедный Карл, ты не вынес лишений и...

– Карл, прими пилюлю и немедленно ложись в постель.

– Сначала ему надо поставить компресс. Давайте завяжем ему голову, а потом...

– Нет, лучше свяжем ему ноги, – я уже давно заметил, что мозгами он совсем не шевелит, а вот ноги...

– Да заткнитесь же вы наконец! – свирепо прорычал Милле. – Дайте человеку высказаться. Валяй, Карл, выкладывай свой план! В чем его суть?

– Итак, в виде предисловия я попрошу вас обратить внимание на следующий, широко известный из мировой истории факт: достоинства многих великих художников не были признаны до тех пор, пока они не умирали с голоду. Это происходило так часто, что я взял на себя смелость вывести некий общий закон. Закон этот гласит: достоинства каждого неизвестного и незамеченного великого художника должны быть и будут признаны, а за его картины будут давать огромные деньги лишь после его смерти. Мой план состоит в следующем: мы бросим жребий – один из нас должен умереть.

Последняя фраза прозвучала так спокойно и так неожиданно, что мы не успели даже подпрыгнуть на месте. Потом снова раздался нестройный хор голосов: все давали советы – медицинские советы, как вылечить больной мозг Карла. Терпеливо дождавшись, пока веселье утихнет, он продолжал развивать свой план.

– Да, один из нас должен умереть, – умереть, чтобы спасти остальных и самого себя. Мы бросим жребий. Тот, на кого падет жребий, станет знаменитым, и все мы разбогатеем.

Тише, тише, не мешайте, я знаю, что говорю. Идея заключается в следующем: в течение трех месяцев тот, кому суждено умереть, должен рисовать день и ночь, насколько возможно увеличивая запас своих произведений, – но только не картин, нет. Это должны быть мелкие наброски, эскизы, этюды, фрагменты этюдов, не более десятка мазков на каждом, – разумеется, абсолютно бессмысленные, но безусловно принадлежащие ему и за его подписью. Он должен изготавливать не меньше пятидесяти штук в день, и каждый рисунок должен отличаться какой-нибудь характерной, одному ему свойственной особенностью, которую легко узнать. Как вам известно, именно такие вещи ценятся, и их – после смерти великого человека – по баснословным ценам скупают все музеи мира. Мы заготовим их целую тонну – не меньше! Все это время остальные трое будут кормить умирающего и в ожидании приближающегося события обрабатывать Париж и скупщиков, а когда дело будет на мази, мы ошарашим всех скоропостижной кончиной и устроим пышные похороны. Теперь вы поняли, в чем тут суть?

– Н—е—е—ет, то есть не сов...

– Не совсем? Неужели вам еще не ясно? Он вовсе не умрет. Он просто переменит имя и исчезнет; мы похороним чучело и вместе со всем светом будем его оплакивать. А я...

Но ему не дали кончить. Все разразилось восторженными криками и аплодисментами, все повскакали с мест и принялись плясать по комнате, в порыве ликования и благодарности кидаясь в объятия друг другу. Забыв о голоде, мы часами обсуждали превосходный план Карла! Наконец, тщательнейшим образом продумав все детали, мы бросили жребий. Он пал на Милле, и Милле должен был «умереть». Потом мы собрали все вещи, с какими человек может расстаться только на пороге будущего богатства – сувениры и разные безделушки, – и отнесли их в заклад, получив за них ровно столько, сколько требовалось, чтобы устроить скромный прощальный ужин, завтрак да оставить еще пару франков нам на дорогу и на покупку небольшого запаса репы и другой провизии на пропитание Милле.

На следующее утро мы трое сразу же после завтрака отправились в путь, разумеется, пешком. Каждый захватил с собой десяток мелких рисунков Милле для продажи. Карл направился в Париж, где должен был к назначенному сроку создать Милле славу. Мы с Клодом двинулись в разные стороны – бродить по провинции.

Вы не поверите, как легко и удачно пошли у нас дела. Побродив два дня, я начал рисовать виллу, находившуюся на окраине одного большого города, – я заметил, что владелец ее стоит на веранде верхнего этажа. Как я и думал, он спустился вниз посмотреть. Я работал быстро, стараясь, чтобы он не соскучился. Время от времени он издавал одобрительные возгласы, потом начал восторгаться моим рисунком и заявил, что я настоящий мастер.

Я отложил в сторону кисть, достал из сумки один из этюдов Милле, показал ему на стоявшую в углу подпись и с гордостью произнес:

– Надеюсь, вы узнаете это? Он – мой учитель. Не удивительно, что я знаю свое дело!

Владелец виллы смущенно молчал. Я с грустью заметил:

– Уж не хотите ли вы сказать, что вам незнакома подпись Франсуа Милле?

Разумеется, ему была незнакома эта подпись, но он все равно преисполнился глубочайшей благодарности – за то, что я его так легко вывел из затруднительного положения, и сказал:

– Да что вы! Разумеется, это Милле! Не понимаю, как я сразу не заметил. Конечно, я узнаю его подпись!

Потом он захотел купить этюд, но я заявил, что я хоть и не богат, однако не до такой уж степени беден. В конце концов я все же уступил ему рисунок за восемьсот франков.

– Восемьсот франков!

– Да. Милле променял бы его на свиную отбивную. Да, я получил восемьсот франков за эту безделку. Теперь я с удовольствием откупил бы ее за восемьдесят тысяч. Но те времена давно прошли... Я очень мило изобразил дом того человека и хотел было попросить за свой рисунок десять франков. Однако за работу ученика великого мастера неудобно было

спрашивать так мало, поэтому я продал ее за сто. Восемьсот франков я тут же, из этого самого города, отослал Милле и на следующий день отправился дальше.

Теперь я уж больше не ходил пешком. Я ездил. С тех пор я все время ездил. Каждый день я продавал по одной картине. Я ни разу не пытался продать две картины в день. Я всегда говорил своему покупателю:

– Я очень глупо делаю, что вообще продаю картину Франсуа Милле. Он не проживет и трех месяцев, а после смерти Милле его картин ни за какие деньги не купишь.

Я всячески старался распространять этот слух, чтобы подготовить публику к предстоящему событию.

Наш план продажи картин принадлежит мне, и я целиком ставлю его себе в заслугу. Я предложил его в тот последний вечер, когда мы обдумывали предстоящую кампанию, и все трое решили как следует испытать его, прежде чем заменять другим. Всем нам сопутствовала удача. Я ходил пешком только два дня. Клод тоже ходил два дня – мы оба боялись прославлять Милле слишком близко от дома. А бессовестный хитрец и пройдоха Карл – тот ходил пешком только полдня, а потом путешествовал, как герцог.

Время от времени мы договаривались с редактором какой—нибудь провинциальной газеты и писали заметку. В этих заметках никогда не говорилось, что мы открыли нового художника, – наоборот, мы делали вид, будто Франсуа Милле давно всем известен. В них не содержалось никаких похвал, а всего лишь несколько слов о состоянии здоровья «великого мастера», – порою в них преобладала надежда, порою печаль, но всегда между строк чувствовалось, что мы опасаемся самого худшего. Все эти заметки мы отчеркивали и посылали газеты тем, кто купил у нас картины.

Карл скоро приехал в Париж и там поставил дело на широкую ногу. Он сошелся с иностранными корреспондентами и добился того, что известия о болезни Милле обошли Европу, Америку и все остальные страны мира.

Через полтора месяца мы все трое встретились в Париже и решили сообщить Милле, чтобы он больше не посылал нам картин. Поднялся такой ажиотаж, что нам стало ясно – пора поставить точку и действовать незамедлительно. Мы велели Милле слечь в постель и поскорее зачехнуть, чтобы успеть скончаться не позже чем через десять дней.

Затем мы произвели подсчеты и убедились, что втроем продали восемьдесят пять мелких набросков и этюдов, выручив за них шестьдесят девять тысяч франков. Последнюю и самую блестящую сделку совершил Карл. Он продал «Вечерний благовест» за две тысячи двести франков. Как мы его превозносили! Мы не могли предвидеть, что скоро настанет день, когда вся Франция будет драться за эту картину и какой—то иностранец захватит ее за пятьсот пятьдесят тысяч наличными.

В тот вечер мы устроили прощальный ужин с шампанским, а на следующий день мы с Клодом собрали свои пожитки и отправились дежурить у смертного одра Милле и не подпускать к дому назойливых посетителей. Кроме того, мы ежедневно отправляли в Париж бюллетени, чтобы Карл через газеты пяти континентов мог оповещать весь мир о состоянии больного. Наконец печальное событие свершилось, и Карл поспел как раз вовремя, чтобы помочь выполнить погребальный обряд.

Вы, вероятно, помните торжественные похороны и сенсацию, которую они вызвали во всем мире, помните, что на них присутствовали знаменитости Старого и Нового Света, явившиеся засвидетельствовать свою скорбь. Мы все четверо – как всегда, неразлучные – несли гроб, не позволяя никому нам помочь. И хорошо сделали – ведь в гробу не было ничего, кроме восковой фигуры, и всякий другой непременно заметил бы, что он слишком легок. Да, все та же четверка, дружно делившая невзгоды в тяжелую годину, которая ныне канула в вечность, несла гроб...

– Какая четверка?

– Наша! Ведь Милле тоже нес свой собственный гроб. Он изображал родственника, – понимаете, дальнего родственника.

– Поразительно!

– Но тем не менее правда. Вы, конечно, помните, как поднялась цена на картины. Деньги? Мы не знали, куда их девать. В Париже есть один человек, у которого семьдесят картин Милле. Он заплатил нам за них два миллиона франков. А что касается мелких набросков и этюдов, которые Милле посылал нам мешками в течение тех полутора месяцев, что мы бродили по Франции, – о, вы, наверное, очень удивитесь, если узнаете, почему мы продаем их теперь, – то есть в том случае, если мы вообще соглашаемся с ними расстаться!

– Это удивительная, необыкновенная история!

– Пожалуй, да.

– А что случилось с Милле?

– Вы умеете хранить тайны?

– Умею.

– Помните человека, на которого я сегодня обратил ваше внимание в столовой? Это Франсуа Милле.

– Великий...

– Боже! Да, это единственный случай, когда публике не удалось сначала уморить гения голодом, а потом набить чужие карманы золотом, которое должно было достаться ему. Мы позаботились о том, чтобы птичка не зачахла в одиночестве, выплавав свое горе в песнях, а потом получила в награду холодное и пышное погребальное торжество, что это новая разновидность попугая, хотя, впрочем, мне бы уже пора ничему не удивляться, поскольку с тех первых дней, когда оно еще было рыбой, оно успело перебыть всем на свете, – всем, что только могло взбрести ему на ум. Младшее существо совершенно так же безобразно, как было на первых порах старшее: цветом оно напоминает сырое мясо с каким—то серовато—желтоватым оттенком, а голова у него тоже необычайно странной формы и без всяких признаков шерсти. Она назвала его Авель.

Десять лет спустя. – Это мальчики: мы открыли это уже давно. Нас просто сбивало с толку то, что они появились на свет такими крошечными и несовершенными по форме, – мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочки. Авель хороший мальчик, но для Каина было бы полезней, если бы он остался медведем. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы: лучше жить за пределами Рая с ней, чем без нее – в Раю. Когда—то я считал, что она слишком много говорит, но теперь мне было бы грустно, если бы этот голос умолк и навсегда ушел из моей жизни. Благословенна будь плохая острова, соединившая нас навеки и давшая мне познать чистоту ее сердца и кротость нрава.

ДНЕВНИК АДАМА

Фрагменты

Понедельник. – Это новое существо с длинными волосами очень мне надоедает. Оно все время торчит перед глазами и ходит за мной по пятам. Мне это совсем не нравится: я не привык к обществу. Шло бы себе к другим животным... Сегодня пасмурно, ветер с востока, думаю – мы дождемся хорошего ливня... Мы? Где я мог подцепить это слово?.. Вспомнил – новое существо пользуется им.

Вторник. – Обследовал большое низвержение воды. Пожалуй, это лучшее, что есть в моих владениях. Новое существо называет его Ниагарский водопад. Почему? Никому не известно. Говорит, что оно так выглядит. По—моему, это еще недостаточное основание. На мой взгляд, это какая—то дурацкая выдумка и сумасбродство. Но сам я теперь лишен всякой возможности давать какие—либо наименования чему—либо. Новое существо придумывает их, прежде чем я успеваю раскрыть рот. И всякий раз – один и тот же довод: это так выглядит. Взять хотя бы додо к примеру. Новое существо утверждает, что стоит только взглянуть на додо, и сразу видно, «что он вылитый додо». Придется ему остаться додо,

ничего не поделаешь. У меня не хватает сил с этим бороться, да и к чему – это же бесполезно! Додо! Од так же похож на додо, как я сам.

Среда. – Построил себе шалаш, чтобы укрыться от дождя, но не успел ни минуты спокойно посидеть в нем наедине с самим собой. Новое существо вторглось без приглашения. А когда я попытался выпроводить его, оно стало проливать влагу из углублений, которые служат ему, чтобы созерцать окружающие предметы, а потом принялось вытирать эту влагу тыльной стороной лап и издавать звуки, вроде тех, что издают другие животные, когда попадают в беду! Пусть! Лишь бы только оно не говорило! Но оно говорит не умолкая. Быть может, в моих словах звучит некоторая издевка, сарказм, но я вовсе не хотел обидеть беднягу, Просто я никогда еще не слышал человеческого голоса, и всякий непривычный звук, нарушающий эту торжественную дремотную тишину и уединение, оскорбляет мой слух, как фальшивая нота. А эти новые звуки раздаются к тому же так близко! Они все время звучат у меня за спиной, над самым ухом – то с одной стороны, то с другой, а я привык только к такому шуму, который доносится из некоторого отдаления.

Пятница. – Наименования продолжают возникать как попало, невзирая на все мои усилия. У меня было очень хорошее название для моих владений, музыкальное и красивое: Райский сад. Про себя я и сейчас продолжаю употреблять его, но публично—уже нет. Новое существо утверждает, что здесь слишком много деревьев, и скал, и открытых ландшафтов, и следовательно – это совсем не похоже на сад. Оно говорит, что это выглядит как парк, и только как парк. И вот, даже не посоветовавшись со мной, оно переименовало мой сад в Ниагарский парк. Одно это, по—моему, достаточно убедительно показывает, насколько оно позволяет себе своевольничать. А тут еще вдруг появилась надпись:

ТРАВЫ НЕ МЯТЬ!

Я уже не так счастлив, как прежде.

Суббота. – Новое существо поедает слишком много плодов. Этак мы долго не протянем. Опять «мы» – это его словечко. Но оно стало и моим теперь, – да и немудрено, поскольку я слышу его каждую минуту. Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то в туман я не выхожу. Новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую погоду, а потом вламывается ко мне с грязными ногами. И разговаривает. Как тихо и уютно жилось мне здесь когда—то!

Воскресенье. – Кое—как скоротал время. Воскресные дни становятся для меня все более и более тягостными. Еще в ноябре воскресенье было выделено особо, как единственный день недели, предназначенный для отдыха. Раньше у меня было по шесть таких дней на неделе. Сегодня утром видел, как новое существо пыталось сбить яблоки с того дерева, на которое наложен запрет.

Понедельник. – Новое существо утверждает, что его зовут Евой. Ну что ж, я не возражаю. Оно говорит, что я должен звать его так, когда хочу, чтобы оно ко мне пришло. Я сказал, что, по—моему, это уже какое—то излишество. Это слово, по—видимому, чрезвычайно возвысило меня в его глазах. Да это и в самом деле довольно длинное и хорошее слово, надо будет пользоваться им и впредь. Новое существо говорит, что оно не оно, а она. Думаю, что это сомнительно. Впрочем, мне все равно, что оно такое. Пусть будет она, лишь бы оставила меня в покое и замолчала.

Вторник. – Она изуродовала весь парк какими—то безобразными указательными знаками и чрезвычайно оскорбительными надписями:

К ВОДОПАДУ

НА КОЗИЙ ОСТРОВ

К ПЕЩЕРЕ ВЕТРОВ

Она говорит, что этот парк можно было бы превратить в очень приличный курорт, если бы подобралась соответствующая публика. Курорт – это еще одно из ее изобретений, какое—то дикое, лишённое всякого смысла слово. Что такое курорт? Но я предпочитаю не спрашивать, она и так одержима манией все разъяснить.

Пятница. – Теперь она пристаёт ко мне с другим: умоляет не переправляться через водопад. Кому это мешает? Она говорит, что ее от этого бросает в дрожь. Не понимаю – почему. Я всегда это делаю – мне нравится кидаться в воду, испытывать приятное волнение и освежающую прохладу. Думаю, что для того и создан водопад. Не вижу, какой иначе от него прок, – а ведь зачем—то он существует? Она утверждает, что его создали просто так – как носорогов и мастодонта, – чтобы придать живописность пейзажу.

Я переправился через водопад в бочке – это ее не удовлетворило. Тогда я воспользовался бадьей – она опять осталась недовольна. Я переплыл водоворот и стремнину в купальном костюме из фигового листа. Костюм основательно пострадал, и мне пришлось выслушать скучнейшую нотацию, – она обвинила меня в расточительности. Эта опека становится чрезмерной. Чувствую, что необходимо переменить обстановку.

Суббота. – Я сбежал во вторник ночью и все шел и шел – целых два дня, а потом построил себе новый шалаш в уединенном месте и постарался как можно тщательнее скрыть следы, но она все же разыскала меня с помощью животного, которое ей удалось приручить и которое она называет волком, явилась сюда и снова принялась издавать эти свои жалобные звуки и проливать влагу из углублений, служащих ей для созерцания окружающих предметов. Пришлось возвратиться вместе с ней обратно, но я снова сбегаю, лишь только представится случай. Ее беспрестанно занимают какие—то невообразимые глупости. Вот, например: она все время пытается установить, почему животные, называемые львами и тиграми, питаются травой и цветами, в то время как, по ее словам, они созданы с расчетом на то, чтобы поедать друг друга, – достаточно поглядеть на их зубы. Это, разумеется, чрезвычайно глупое рассуждение, потому что поедать друг друга – значит, убивать друг друга, то есть, как я понимаю, привести сюда то, что называется «смертью», а смерть, насколько мне известно, пока еще не проникла в парк. О чем, к слову сказать, можно иной раз и пожалеть.

Воскресенье. – Кое—как скоротал время.

Понедельник. – Кажется, я понял, для чего существует неделя: чтобы можно было отдохнуть от воскресной скуки. По—моему, это очень правильное предположение... Она опять лазила на это дерево. Я согнал ее оттуда, швыряя в нее комьями земли. Она заявила, что никто, дескать, ее не видел. Для нее, по—видимому, это служит достаточным оправданием, чтобы рисковать и подвергать себя опасности. Я ей так и сказал. Слово «оправдание» привело ее в восторг... и, кажется, пробудило в ней зависть. Это хорошее слово.

Вторник. – Она заявила, что была создана из моего ребра. Это весьма сомнительно, чтобы не сказать больше. У меня все ребра на месте... Она пребывает в тревоге из—за сарыча, – говорит, что он не может питаться травой, он ее плохо воспринимает. Она боится, что ей не удастся его выводить. По ее мнению, сарычу положено питаться падалью. Ну, ему придется найти способ обходиться тем, что есть. Мы не можем ниспровергнуть всю нашу систему в угоду сарычу.

Суббота. – Вчера она упала в озеро: гляделась, по своему обыкновению, в воду, и упала. Она едва не захлебнулась и сказала, что это очень неприятное ощущение. Оно пробудило в ней сочувствие к тем существам, которые живут в озере и которых она называет рыбами. Она по—прежнему продолжает придумывать названия для различных тварей, хотя они совершенно в этом не нуждаются и никогда не приходят на ее зов, чему она, впрочем, не

придает ни малейшего значения, так как что ни говори, а она все—таки просто—напросто дурочка. Словом, вчера вечером она поймала уйму этих самых рыб, притащила их в шалаш и положила в мою постель, чтобы они обогрелись, но я время от времени наблюдал за ними сегодня и не заметил, чтобы они выглядели особенно счастливыми, разве только что совсем притихли. Ночью я выброшу их вон. Больше я не стану спать с ними в одной постели, потому что они холодные и скользкие, и оказывается, это не так уж приятно лежать среди них, особенно нагишом.

Воскресенье. – Кое—как скоротал время.

Вторник. – Теперь она завела дружбу со змеей. Все прочие животные рады этому, потому что она вечно проделывала над ними всевозможные эксперименты и надоедала им. Я тоже рад, так как змея умеет говорить, и это дает мне возможность отдохнуть немножко.

Пятница. – Она уверяет, что змея советует ей отведать плодов той самой яблони, ибо это даст познать нечто великое, благородное и прекрасное. Я сказал, что одним познанием дело не ограничится, – она, кроме того, еще приведет в мир смерть. Я допустил ошибку, мне следовало быть осторожнее, – мое замечание только навело ее на мысль: она решила, что тогда ей легче будет выходить больного сарыча и подкормить свежим мясом приунывших львов и тигров. Я посоветовал ей держаться подальше от этого дерева. Она сказала, что и не подумает. Я предчувствую беду. Начну готовиться к побегу.

Среда. – Пережить пришлось немало. Я бежал в ту же ночь – сел на лошадь и гнал ее во весь опор до рассвета, надеясь выбраться из парка и найти пристанище в какой—нибудь другой стране, прежде чем разразится катастрофа. Но не тут—то было. Примерно через час после восхода солнца, когда я скакал по цветущей долине, где звери мирно паслись, играя, по обыкновению, друг с другом или просто грезя о чем—то, вдруг ни с того ни с сего все они начали издавать какой—то бешеный, ужасающий рев, в долине мгновенно воцарился хаос, и я увидел, что каждый зверь стремится пожрать своего соседа. Я понял, что произошло:

Ева вкусила от запретного плода, и в мир пришла смерть... Тигры съели мою лошадь, не обратив ни малейшего внимания на мои слова, хотя я решительно приказал им прекратить это. Они съели бы и меня, замешкайся я там, но я, конечно, не стал медлить и со всех ног пустился наутек... Я набрел на это местечко за парком и несколько дней чувствовал себя здесь вполне сносно, но она разыскала меня и тут. Разыскала и тотчас же назвала это место Тонауанда, заявив, что это так выглядит. Правду сказать, я не огорчился, тогда увидел ее, потому что поживиться здесь особенно нечем, а она принесла несколько этих самых яблок. Я был так голоден, что пришлось съесть их. Это было противно моим правилам, но я убедился, что правила сохраняют свою силу лишь до тех пор, пока ты сыт... Она явилась задрапированная пучками веток и листьев, а когда я спросил ее, что это еще за глупости, и, сорвав их, швырнул на землю, она захихикала и покраснела. До той минуты мне никогда не доводилось видеть, как хихикают и краснеют, и я нашел ее поведение крайне идиотским и неприличным. Но она сказала, что я скоро познаю все это сам. И оказалась права. Невзирая на голод, я положил на землю надкушенное яблоко (оно и в самом деле было лучше всех, какие я когда—либо видел, особенно если учесть, что сезон яблок давно прошел), собрал разбросанные листья в ветки и украсился ими, а затем сделал ей довольно суровое внушение, приказав принести еще листьев и веток и впредь соблюдать приличие и не выставлять себя подобным образом напоказ. Она сделала, как я ей сказал, после него мы пробрались в долину, где произошла битва зверей, раздобыли там несколько шкур, и я приказал ей соорудить из них костюмы, в которых мы могли бы появиться в обществе. Признаться, в них чувствуешь себя не слишком удобно, но зато они не лишены известного шика, а ведь, собственно говоря, только это и требуется... Я нахожу, что с ней можно довольно приятно проводить время. Теперь, лишившись своих владений, я испытываю одиночество и тоску, когда ее нет со мной. И еще одно: она говорит, что отныне нам предписано в поте лица своего добывать себе хлеб. Тут она может оказаться полезной. Руководить буду я.

Десять дней спустя. – Она обвиняет меня: говорит, что я виновник катастрофы! Она утверждает, и как будто вполне искренне и правдиво, что, по словам змеи, запретный плод –

вовсе не яблоки, а лимоны! Я сказал, что это только лишний раз доказывает мою невиновность, ибо я никогда не ел лимонов. Но змея, говорит она, разъяснила ей, что это имеет чисто иносказательный смысл, ибо под «лимонами» условно подразумевается все, что мгновенно набивает оскомину, как, например, плоские, избитые остроуты. При этих словах я побледнел, так как от нечего делать но раз позволял себе острить, и какая—нибудь из моих остроут действительно могла оказаться именно такого сорта, хотя я в простоте душевной считал их вполне острыми и свежими. Она спросила меня, не сострил ли я невзначай как раз накануне катастрофы. Пришлось признаться, что я действительно допустил нечто подобное, хотя не вслух, а про себя. Дело обстояло так. Я вспомнил водопад и подумал: «Какое удивительное зрелище являет собой вся эта масса воды, ниспровергающаяся сверху вниз!» И тотчас, подобно молнии, меня осенила блестящая остроута, и я позволил себе облечь ее мысленно в слова: «А ведь было бы еще удивительнее, если бы вся эта вода начала ниспровергаться снизу вверх!» Тут я расхохотался так, что едва не лопнул со смеха, – и в то же мгновение вся природа словно взбесилась, вражда и смерть пришли в долину, а я вынужден был бежать, спасая свою жизнь.

– Вот видишь! – сказала она с торжеством, – Так оно и есть. Именно подобные остроуты и имела в виду змея, когда сказала, что они могут набить оскомину, как лимон, потому что ими пользуются с сотворения мира.

Увы, по—видимому во всем виноват я! Лучше бы уж мне не обладать остроумием! Лучше бы уж эта блестящая остроута никогда не приходила мне в голову!

На следующий год. – Мы назвали его Каин. Она принесла его в то время, как я был в отлучке – расставлял капканы на северном побережье озера Эри. Она, как видно, поймала его где—то в лесу, милях в двух от нашего жилища, а то и дальше, милях в трех—четырех, – она сама нетвердо знает – где. В некоторых отношениях это существо похоже на нас и, возможно, принадлежит к нашей породе. Так, во всяком случае, думает она, но, по—моему, это заблуждение. Разница в размерах уже сама по себе служит доказательством того, что это какое—то новое существо, отличной от нас породы. Быть может, это рыба, хотя, когда я для проверки опустил его в озеро, оно пошло ко дну, а она тотчас бросилась в воду и вытащила его, помешав мне, таким образом, довести эксперимент до конца и установить истину. Все же я склонен думать, что оно из породы рыб, но ей, по—видимому, совершенно безразлично, что это такое, и она не позволяет мне попытаться выяснить это. Я ее не понимаю. С тех пор как у нас появилось это существо, ее словно подменили – с безрассудным упрямством она не желает и слышать о каких бы то ни было экспериментах. Ни одно животное не поглощало так все ее помыслы, как эта тварь, но при этом она совершенно не в состоянии объяснить – почему. Она повредила в уме – все признаки налицо. Иной раз она чуть ли не всю ночь напролет носит эту рыбу на руках, если та подымает визг – просится, по—видимому, в воду. Она пошлепывает рыбу по спине и издает ртом довольно нежные звуки, стараясь ее успокоить, и еще на сотню ладов проявляет свою о ней заботу и по—всякому ее жалеет, а из углублений, которые служат ей для того, чтобы созерцать окружающие предметы, у нее опять начинает течь влага. Никогда я не видел, чтобы она обращалась так с другими рыбами, и это внушает мне большую тревогу. Когда мы еще не лишились наших владений, она, случалось, таскала на руках маленьких тигрят и забавлялась с ними, но то была просто игра. Она никогда не принимала так близко к сердцу, если у тигрят после обеда делалось расстройство желудка.

Воскресенье. – По воскресеньям она теперь больше не работает, а лежит в полном изнеможении и позволяет рыбе кувыряться через нее, и это явно доставляет ей удовольствие. Она издает ртом какие—то нелепые звуки, чтобы позабавить рыбу, и делает вид, будто кусает ее конечности, а рыба смеется. Я еще никогда не видел, чтобы рыбы смеялись.

Это наводит меня на размышления... Я теперь тоже полюбил воскресные дни. Поруководишь целую неделю, а потом чувствуешь себя физически совершенно разбитым. Нужно было бы устроить побольше воскресных дней. Прежде я их терпеть не мог, а теперь

оказалось, что они наступают чрезвычайно вовремя.

Среда. – Нет, это не рыба. Я так и не могу установить, что же это такое. Когда оно чем—нибудь недовольно, оно производит такие странные звуки, что мороз продирает по коже, а когда его ублажат – говорит «гу—гу». Оно не нашей породы, потому что не ходит, но оно и не птица, потому что не летает, и не лягушка, потому что не прыгает, и не змея, потому что не ползает, и я почти уверен, что это не рыба, хотя до сих пор не имел возможности установить, умеет ли оно плавать. Оно просто лежит, преимущественно на спине, задрав ноги кверху. Я никогда не видел, чтобы какое—нибудь животное вело себя подобным образом. Я сказал, что, по—моему, это какая—то загадка, но она, хотя и пришла в восторг от этого слова, – совершенно не поняла его смысла. Думаю, что это либо загадка, либо какое—то насекомое. Если оно подойдет, я расчленю его, чтобы узнать, как оно устроено. Впервые в жизни я решительно поставлен в тупик.

Три месяца спустя. – Я окончательно сбит с толку, и чем дальше, тем становится все хуже. Я потерял сон. Оно теперь перестало лежать на спине и стало передвигаться на четвереньках. Однако оно сильно отличается от других животных, которые ходят на четырех ногах, ибо его передние ноги ненормально коротки, и от этого выдающаяся часть его туловища как—то странно торчит вверх, что производит довольно неприятное впечатление. По своему сложению оно сильно напоминает нас, но его способ передвижения заставляет предполагать, что это существо не нашей породы. Длинные задние и короткие передние лапы указывают на его принадлежность к семейству кенгуровых, но это, несомненно, совершенно особая разновидность, так как обыкновенные кенгуру прыгают, а оно никогда этого не делает. В общем, это весьма интересный и любопытный экземпляр, который до сих пор еще не был классифицирован. Поскольку он открыт мной, я считаю себя вправе приписать себе славу этого открытия, и наименовать его в мою честь — Кенгуру Адамовидное... Должно быть, оно попало к нам еще в очень раннем возрасте, потому что выросло с тех пор просто невероятно. Оно сейчас стало по крайней мере раз в пять крупнее, и если что—нибудь не по нем, производит раз в двадцать—тридцать больше шума, чем прежде. Применение силы не только не умиряет его, но дает совершенно противоположные результаты. Пришлось отказаться от этой меры воздействия. Она успокаивает его с помощью убеждения или тем, что дает ему предметы, которые только что отказывалась давать. Как я уже говорил, меня не было дома, когда оно у нас появилось, и она сказала тогда, что нашла его в лесу. Мне кажется неправдоподобным, чтобы это был один—единственный экземпляр на свете, но, по—видимому, это так. Я совершенно измучился – несколько недель кряду все пытался отыскать еще хотя бы одного такого же, как этот, чтобы пополнить мою коллекцию и чтобы этому было с кем поиграть (ведь тогда бы он наверняка немного уgomонился и нам было бы легче его приручить), но так и не нашел ничего, хотя бы отдаленно на него похожего, и что особенно странно – никаких следов. Оно не может не ходить по земле, хочет оно того или не хочет, как же тогда оно ухитряется не оставлять следов? Я расставил около дюжины капканов, но без всякого толку. В них попались все как есть маленькие зверюшки, только не оно. И эти зверьки, как мне кажется, забирались в капканы просто из любопытства – поглядеть, для чего там поставлено молоко. Никто из них к нему и не притронулся.

Три месяца спустя. – Кенгуру все продолжает расти – это очень странно и внушает тревогу. Я не видел еще ни одного животного, которому потребовалось бы столько времени, чтобы вырасти. Теперь голова у него покрылась шерстью, которая совершенно не похожа на мех кенгуру, а очень напоминает наши волосы, с той только разницей, что она гораздо тоньше и мягче и не черного цвета, а рыжая. Я, должно быть, скоро сойду с ума от неслыханных, несуразных капризов и причуд этого не изученного наукой биологического уродца. Если бы только я мог поймать хотя бы еще одного, подобного ему... Но все напрасно. Это один—единственный экземпляр какой—то совершенно новой зоологической разновидности. Сомнения больше нет. Однако я поймал обыкновенного кенгуру и принес его с собой, полагая, что наш будет рад хоть этому, поскольку он лишен общества себе подобных и вообще лишен сверстников, с которыми мог бы подружиться и которые

посочувствовали бы ему в его ужасном одиночестве среди чуждых ему существ, не понимающих ни его нрава, ни его повадок и не умеющих объяснить ему, что он находится среди друзей, Но это было ошибкой: он так испугался при виде кенгуру что с ним сделался припадок, и я понял – ему еще никогда в жизни не доводилось видеть кенгуру. Мне жаль бедного крикливого зверюшку, но я бессилен хоть чем—нибудь его порадовать. Если бы я мог приручить его... Но об этом нечего и думать: чем больше я стараюсь, тем получается хуже. Мне больно видеть, как этот ничтожный зверенок неистовствует, когда он чем—то рассержен или огорчен, Я бы выпустил его на волю, но она и слышать об этом не хочет. По—моему, это очень жестоко и совсем непохоже на нее, – и все же, быть может, она права. Быть может, тогда это существо будет еще более одиноко, – ведь если уж я не мог найти другого, подобного ему, так разве ж оно найдет?

Пять месяцев спустя. Это не кенгуру. Нет, потому что оно делает несколько шагов на задних ногах, держась за ее палец, а затем падает. Возможно, что это какая—то разновидность медведя, однако у него нет хвоста – пока во всяком случае – и нет шерсти, кроме как на голове. Оно все еще продолжает расти, и это обстоятельство кажется мне в высшей степени странным, так как медведи гораздо быстрее вырастают до надлежащих размеров. Медведи теперь опасны (со времени катастрофы), и я бы не хотел, чтобы этот и впредь разгуливал где ему вздумается без намордника. Я предложил ей добыть для нее кенгуру, если она согласится выпустить медвежонка на волю, но ничего не вышло. Как видно, она хочет, чтобы мы самым идиотским образом подвергали свою жизнь опасности. Она была совсем иной, пока не лишилась рассудка.

Две недели спустя. – Я обследовал его пасть. Сейчас он еще не опасен: у него только один зуб. И по—прежнему нет хвоста. Теперь он производит еще больше шума, особенно по ночам. Я перебрался из шалаша под открытое небо. Впрочем, я захожу в шалаш по утрам, чтобы позавтракать и посмотреть, не прорезались ли у медвежонка новые зубы. Если у него будет полна пасть зубов, тогда – с хвостом или без хвоста – ему придется убраться отсюда восвояси. В конце концов медведю вовсе не обязательно иметь хвост, чтобы представлять опасность для окружающих.

Четыре месяца спустя. – Был в отлучке около месяца – ловил рыбу и охотился в местности, которую она, неизвестно почему, называет Бизон, – вероятнее всего, потому, что там нет ни одного бизона. За время моего отсутствия медвежонки научились вполне самостоятельно передвигаться на задних лапах и говорить: «паппа» и «мамма». Несомненно, это совершенно новая разновидность. То, что эти сочетания звуков похожи на слова, может, конечно, объясняться какой—то случайностью, и вполне допустимо, что они лишены всякого смысла и ровно ничего не обозначают, но тем не менее это все же нечто из ряда вон выходящее и не под силу ни одному медведю. Эта имитация речи в соединении с почти полным отсутствием шерсти и совершенным отсутствием хвоста – достаточно яркое доказательство того, что мы имеем дело с новой разновидностью медведя. Дальнейшее изучение его может дать необычайно интересные результаты. Пока что я намерен отправиться в далекую экспедицию и самым тщательным образом обследовать расположенные на Севере леса. Не может быть, чтобы там не сыскался хотя бы еще один подобный экземпляр, а тот, что у нас, несомненно будет представлять меньшую опасность, если получит возможность общаться с себе подобным. Решил отправиться не теряя времени. Но сначала надену на нашего намордник.

Три месяца спустя. – О, как утомительна была эта охота, а главное – как безрезультатна! И в это самое время, не сделав из дома ни шагу, она поймала еще одного! В жизни не видал, чтобы кому—нибудь так везло! А мне бы нипочем не заполучить этой твари, даже если бы я скитался по лесам еще лет сто.

На следующий день. – Я сравниваю нового со старым, и мне совершенно ясно, что они одной породы. Мне хотелось сделать из одного из них чучело для моей коллекции, но она по каким—то соображениям воспротивилась этому. Пришлось отказаться от моей затеи, хотя я считаю, что зря. Если они сбегут, это будет невознаградимой утратой для науки.

Старший стал более ручным теперь, научился смеяться и говорить, как попугай, — по—видимому оттого, что он так много времени проводит в обществе попугая и к тому же обладает чрезвычайно развитой способностью к подражанию. Я буду очень удивлен, если в конечном счете окажется, что это новая разновидность попугая, хотя, впрочем, мне бы уже пора ничему не удивляться, поскольку с тех первых дней, когда оно еще было рыбой, оно успело перебыть всем на свете, — всем, что только могло взбрести ему на ум. Младшее существо совершенно так же безобразно, как было на первых порах старшее: цветом оно напоминает сырое мясо с каким—то серовато—желтоватым оттенком, а голова у него тоже необычайно странной формы и без всяких признаков шерсти. Она назвала его Авель.

Десять лет спустя. — Это мальчики: мы открыли это уже давно. Нас просто сбивало с толку то, что они появлялись на свет такими крошечными и несовершенными по форме, — мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочки. Авель хороший мальчик, но для Каина было бы полезней, если бы он остался медведем. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы: лучше жить за пределами Рая с ней, чем без нее — в Раю.

Когда—то я считал, что она слишком много говорит, но теперь мне было бы грустно, если бы этот голос умолк и навсегда ушел из моей жизни. Благословенна будь плохая острота, соединившая нас навеки и давшая мне познать чистоту ее сердца и кротость нрава.

БАНКОВЫЙ БИЛЕТ В 100000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

Когда мне было двадцать семь лет, я служил клерком в маклерской конторе в Сан—Франциско и прекрасно разбирался во всех тонкостях биржевых операций. Я был один на свете, мне не на что было рассчитывать, кроме своих способностей и незапятнанной репутации, и это толкало меня на поиски счастья, а пока что я жил надеждами на будущее.

По субботам, после обеда, я мог свободно располагать своим временем и обычно проводил его, катаясь на маленьком паруснике по заливу. Однажды я заехал слишком далеко, и меня унесло в открытое море. С наступлением темноты, когда надежда на спасение была почти потеряна, меня подобрал маленький бриг, направлявшийся в Лондон. Путешествие было долгое и бурное, и меня заставили отработать проезд в качестве простого матроса. Когда я сошел на берег в Лондоне, мой костюм был потерт и оборван, и в кармане у меня оставался всего один доллар. Этих денег хватило, чтобы доставить мне пищу и кров на двадцать четыре часа. В следующие двадцать четыре часа я обходился без пищи и крова.

На следующее утро, часов в десять, я слонялся по Портленд—плейс, оборванный и голодный, когда ребенок, которого тащила на буксире нянька, бросил в канаву большую сочную грушу, откусив от нее всего один раз. Я остановился, разумеется, и устремил голодные глаза на валявшееся в грязи сокровище. У меня набрался полон рот слюны, желудок терзали спазмы, все мое существо требовало груши. Но каждый раз, как я делал к ней движение, чей—нибудь глаз мимоходом замечал это, и я, разумеется, выпрямлялся, напускал на себя равнодушный вид, притворяясь, будто совсем не думаю о груше. Так повторялось несколько раз, и я все не мог достать эту грушу. Я дошел до такого отчаяния, что решил отбросить всякий стыд и схватить грушу, как вдруг у меня за спиной открылось окно и какой—то джентльмен, высунувшись оттуда, позвал:

— Зайдите сюда, пожалуйста.

Лакей в нарядной ливрее открыл мне дверь и проводил меня в великолепно убранную комнату, где сидели два пожилых джентльмена. Они отпустили слугу и попросили меня сесть. Хозяйева только что позавтракали, и при виде остатков этого завтрака я едва не лишился чувств. Мне до сумасшествия хотелось есть, но мне никто не предложил, волей—неволей пришлось обойтись так.

Надо вам сказать, что незадолго перед тем произошло нечто такое, о чем я в то время

не знал и узнал лишь впоследствии. Дня два тому назад между двумя пожилыми братьями вышел спор, и в конце концов, чтобы разрешить его, они побились об заклад, – у англичан это обычный способ улаживать дело.

Вы, должно быть, помните, что Английский банк выпустил однажды два билета по миллиону фунтов каждый, предназначавшихся для какой-то особо важной сделки с иностранным государством. Почему—то только один из них был использован и погашен, а другой все еще лежал в банковских сейфах. И вот братья, беседуя между собой, стали спорить о том, какова была бы судьба безукоризненно честного и неглупого иностранца, если б он очутился в Лондоне без друзей и без денег, имея только билет в миллион фунтов, и был бы не в состоянии объяснить, откуда у него этот билет. Брат А. говорил, что он умер бы голодной смертью, брат Б. говорил, что не умер бы. Брат А. говорил, что он не мог бы предъявить билет в банке или еще где—нибудь, потому что его тут же арестовали бы. Так они спорили до тех пор, пока брат Б. не выразил готовность держать пари на двадцать тысяч фунтов, что этот человек во всяком случае сумеет прожить месяц с миллионным билетом и не попасть в тюрьму. Брат А. принял пари. Брат Б. отправился в банк и купил этот билет. Истинный англичанин, как видите: сказано – сделано. Потом он продиктовал письмо одному из своих клерков, который написал его красивым, круглым почерком, потом оба брата сели у окна и целый день высматривали нужного человека.

Они видели много таких честных лиц, которые казались им недостаточно умными; много таких, которые были умны, но недостаточно честны; много таких, которые были и умны и честны, но обладатели их не казались достаточно бедными, а если и были достаточно бедны, то не походили на иностранцев. Каждому чего—нибудь да не хватало. Наконец появился я; они решили, что я подхожу во всех отношениях, и я был избран единогласно и теперь ждал, когда же мне скажут, для чего меня позвали. Они начали расспрашивать меня и скоро узнали всю мою историю. Наконец они сказали мне, что я вполне подхожу для их цели. Я ответил, что искренне рад, и спросил, какая же это цель. Тогда один из них протянул мне конверт и сказал, что объяснение находится внутри. Я хотел было распечатать конверт, но он остановил меня и сказал, чтобы я вернулся к себе, прочел письмо внимательно и поступил бы обдуманно и не торопясь. Я был удивлен и настаивал на том, чтобы братья объяснили мне, в чем дело, но они отказались. Я простился с ними, обиженный и оскорбленный тем, что мне приходится служить предметом явного издевательства; однако был вынужден примириться с этим, так как мои обстоятельства не позволяли мне обижаться на богатых и сильных.

Теперь я подобрал бы грушу и съел бы ее перед целым светом, но груша исчезла; значит, и тут я потерпел убыток, что отнюдь не смягчило моих чувств по отношению к двум пожилым джентльменам. Как только их дом скрылся из виду, я распечатал конверт и увидел, что в нем лежат деньги. Надо вам сказать, что я сразу переменял мнение об этих людях. Не теряя ни секунды, я сунул письмо и деньги в карман жилета и побежал в ближайший дешевый ресторан. Боже мой, как я ел! Наевшись так, что уже не мог проглотить больше ни куска, я достал билет, развернул и, бросив на него беглый взгляд, чуть не упал в обморок. Пять миллионов долларов. Голова у меня закружилась.

Прежде чем прийти в себя, я сидел, должно быть, не меньше минуты в остолбенении, уставясь на билет и моргая глазами. Первое, что я заметил, был хозяин. Он застыл на месте, не сводя глаз с билета. Он преклонялся перед ним душой и телом и, как видно, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Я мгновенно сообразил, как мне держаться, и сделал то единственно разумное, что можно было сделать. Протянув ему билет, я сказал небрежным тоном:

– Разменяйте, пожалуйста.

Тут он очнулся и, придя в нормальное состояние, рассыпался в извинениях, что не может разменять этот билет, и ни за что не хотел до него дотронуться. Он глядел на него, не сводя глаз, и все не мог наглядеться досыта, но боялся притронуться к нему хоть бы пальцем, словно это был предмет настолько священный, что простому смертному не подобало брать

его в руки. Я сказал:

– Очень жаль, если это вас затрудняет, но я все—таки настаиваю на своем. Пожалуйста, разменяйте этот билет, у меня нет других денег.

Но он ответил, что это не беда, он с удовольствием подождет до другого раза с таким пустяковым счетом. Я сказал, что, может быть, очень не скоро буду поблизости от его ресторана, но он ответил, что это ничего не значит, он согласен подождать; мало того, я могу требовать у него в ресторане все, что только мне угодно и когда только мне угодно, и пускай счет растет, сколько мне будет угодно. Неужели же он побоится поверить в долг такому богачу, как я, только потому, что мне вздумалось в веселую минуту подшутить над публикой и нарядиться нищим. В это время вошел другой посетитель, и хозяин подмигнул мне, чтобы я спрятал эту диковинку подальше, потом с поклонами довел меня до двери, и я отправился прямо к тому дому, где жили братья, чтобы исправить ошибку, прежде чем полиция начнет меня разыскивать. Я был очень взволнован, попросту сказать – перепугался порядком, хотя, разумеется, ни в чем не был виноват; однако я достаточно хорошо знал людей и понимал, что, дав бродяге миллион фунтов вместо одного и обнаружив свою ошибку, они придут в неистовое бешенство и рассердятся на бродягу, вместо того чтобы сердиться на собственную рассеянность. Подойдя к дому, я несколько успокоился, так как все кругом было тихо, и почувствовал уверенность в том, что ошибка еще не обнаружена. Я позвонил. Появился тот же слуга. Я спросил, нельзя ли видеть джентльменов.

– Они уехали.

И это было сказано высокомерным, холодным тоном, свойственным лакейской породе.

– Уехали? Куда уехали?

– Путешествовать.

– Но куда же все—таки?

– На континент, я думаю.

– На континент?

– Да, сэр.

– Но куда же, в каком направлении?

– Не могу сказать, сэр.

– Когда же они вернуться?

– Они сказали, через месяц.

– Через месяц! О, это ужасно! Скажите мне хоть приблизительно, куда им можно написать. Это в высшей степени важно!

– К сожалению, не могу. Я не имею сведений, куда они уехали, сэр.

– Тогда я должен видеть кого—нибудь из членов семьи.

– Семья тоже в отъезде, уже несколько месяцев за границей – в Египте или в Индии.

– Дорогой мой, произошла невероятная ошибка, они вернуться еще до вечера. Вы скажите им, что я был здесь и что буду ходить, пока это дело не уладится, так что им нечего опасаться.

– Скажу, если они вернуться, но я их не жду. Они сказали, что вы явитесь через час и будете наводить справки, и просили передать вам, что все в порядке, они вернуться вовремя и будут ждать вас.

Мне пришлось бросить расспросы и уйти. Какая загадочная история! Я просто сходил с ума. Они будут здесь «вовремя». Что это может значить? Ах, может быть, письмо объяснит что—нибудь! Я забыл про письмо. Я достал его и прочел. Вот что в нем было сказано:

«Вы умный и честный человек, что видно по вашему лицу. Мы предполагаем, что вы бедны и недавно в Лондоне. К письму приложена некоторая сумма. Мы даем ее вам взаймы на тридцать дней, без процентов. Явитесь в этот дом по истечении этого времени. Я держал за вас пари. Если я выиграю, вы получите любое место, какое имеется в моем распоряжении, то есть любую работу, с какой вы знакомы и какую сможете выполнять».

Ни подписи, ни адреса, ни числа.

Ну и попал же я в переplet! Вы теперь знаете, с чего все это началось, а я тогда не знал.

Для меня это была глубокая, неразрешимая загадка. Я не имел ни малейшего представления о том, что все это значит, хотят ли мне добра или зла. Я пошел в парк и сел на скамейку – подумать и решить, что мне делать.

Через час мои размышления вылились в такую форму:

«Может быть, эти люди хотят мне добра; может быть, они хотят мне зла; нет возможности узнать – чего именно. Оставим это. Они задумали какую—то игру, или опыт, или план, – нет возможности определить, что именно. Оставим это. За меня держат пари, – нет возможности решить, какое именно. Оставим это. Таким образом, неизвестные величины скинуты со счета, а все остальное вполне осязаемо, весома и без труда может быть рассортировано и снабжено ярлыками. Если я попрошу Английский банк положить этот билет на счет владельца, они это сделают, потому что владелец им известен, хотя я его не знаю; но они спросят у меня, откуда у меня этот билет, и если я скажу правду, меня, разумеется, посадят в сумасшедший дом, а если я совру, то попаду на скамью подсудимых. То же выйдет, если я вздумаю разменять билет или занять под него денег. Волей—неволей придется владеть это тяжкое бремя до возвращения моих джентльменов. Мне от этого билета так же мало пользы, как от горсти золы, и все—таки я должен о нем заботиться и беречь его, питаюсь подаванием. Подарить его я никому не могу, – ни честный гражданин, ни разбойник ни за что его не возьмут, не захотят впутываться в это дело. Братья ничем не рискуют. Даже если я потеряю билет или сожгу его, они все—таки ничем не рискуют, потому что могут приостановить платежи, и банк им вернет эту сумму, а мне тем временем придется целый месяц жить без заработка и терпеть нужду ни за что ни про что, если только я не помогу выиграть пари, в чем бы оно ни заключалось, и не получу места, которое мне обещано. Я был бы не прочь – у людей этого рода бывают в распоряжении места, ради которых стоит постараться».

Я много раздумывал о будущем месте. Мои надежды начали оживать. Без сомнения, жалованье будет большое. Через месяц я начну его получать, и тогда все будет в порядке. Очень скоро я уже чувствовал себя превосходно. В это время я опять бродил по улицам. При виде портновской мастерской мне ужасно захотелось сбросить мои лохмотья и снова одеться прилично. Мог я себе это позволить? Нет, у меня в кармане не было ничего, кроме миллиона фунтов. И я заставил себя пройти мимо. Но скоро меня потянуло назад. Искушение жестоко мучило меня. Стойко сопротивляясь ему, я, должно быть, раз шесть прошел взад и вперед мимо мастерской. Наконец я не выдержал и сдался. Я вошел и спросил, нет ли у них случайного костюма, не взятого заказчиком. Мастер, с которым я заговорил, кивнул на другого и ничего не ответил мне. Я подошел к другому, тот кивнул на третьего, тоже без слов. Я подошел к третьему, и тот сказал:

– Обождите, я с вами займусь.

Я подождал, пока он кончит какое—то свое дело, и он повел меня в заднюю комнату, где перебрал целую кучу бракованных костюмов и выбрал для меня самый дрянной. Я надел его. Он мне не годился и имел невзрачный вид, зато он был новый, и мне очень не хотелось с ним расставаться, поэтому я не нашел в нем никаких недостатков и сказал довольно робко:

– Может быть, вы сделаете мне одолжение и подождете уплаты несколько дней? У меня нет при себе мелких денег.

Сообщив своему лицу самое саркастическое выражение, он сказал:

– Ах, вот как? Ну, разумеется, я так и знал. У таких господ, как вы, водятся только крупные деньги!

Я обиделся и сказал:

– Друг мой, не следует судить о незнакомом человеке только по одежде. Я могу заплатить за этот костюм; я просто не хотел затруднять вас разменом крупной суммы.

Он слегка изменил свое обращение со мной и сказал все—таки довольно дерзко:

– Я ничего обидного не хотел сказать, но если уж дело дошло до упреков, то я мог бы сказать, что вы тоже напрасно думаете, будто мы не можем разменять любого билета, какой при вас имеется. Наоборот, мы можем.

Я протянул ему билет и сказал:

– Ах, очень хорошо; извините.

Он взял его с улыбкой, с одной из тех широких улыбок, которые расплываются во все лицо, образуя складочки, морщинки и завитушки, будто пруд, когда в него швыряешь кирпичом; но как только он бросил беглый взгляд на билет, эта улыбка застыла, пожелтела и стала похожа на те волнистые, червеобразные потоки окаменевшей лавы, какие встречаются на склонах Везувия. Мне еще никогда не приходилось видеть такой примерзшей на веки вечные улыбки. Мастер стоял с этой самой улыбкой, держа билет в руках, но тут к нам протолкался хозяин мастерской посмотреть, что делается, и живо сказал:

– Ну, что такое, что случилось, в чем дело?

Я сказал:

– Ничего не случилось, я дожидаюсь сдачи.

– Ну—ну, дай ему сдачу, Тод, дай ему сдачу.

Тод возразил:

– Дай ему сдачу! Легко сказать, сэр, взгляните—ка вы сами на эту бумажку.

Хозяин взглянул, тихо и выразительно свистнул, потом нырнул в кучу забракованных заказчиками костюмов и начал расшвыривать их направо и налево, в то же время приговаривая взволнованно и словно про себя:

– Подсовывать чудаку миллионеру такую мерзость! Тод - дурак, он дураком и родился. Всегда что—нибудь перепутает. Этак он всех миллионеров отсюда распугает, где уж ему отличить миллионера от бродяги, никогда он этому не выучится! Ага, вот оно, как раз то, что требуется. Будьте любезны, сэр, снимите всю эту дрянь и бросьте ее в огонь. Сделайте мне честь, сэр, примерьте вот эту рубашку и этот костюм, – вот именно, это как раз то, что нужно: просто, богато, скромно и благородно, как на герцоге; ведь это сделано на заказ для одного иностранного принца, сэр; вы, может быть, его знаете – его светлость господарь Галифакса. Он вернул этот костюм и заказал нам траур, потому что матушка у него собралась было умирать, а потом раздумала. Ну и что же из этого, не всегда бывает так, как нам... то есть так, как им... ну вот! Брюки хороши, сэр, сидят на вас превосходно. Теперь жилет – опять—таки хорошо! Теперь сюртук... Боже мой! Посмотрите сами! Весь костюм – совершенство! За всю мою практику не видывал ничего удачнее!

Я выразил ему свое удовольствие.

– Совершенно верно, сэр, совершенно верно! Должен вам сказать, для перемены и это годится. Но подождите, посмотрите сначала, что мы можем сделать для вас по вашей мерке. Ну, Тод, бери книгу и карандаш, да поживее. Длина брюк – тридцать два... – и т.д.

Не успел я вставить и слова, как он снял с меня мерку и уже заказывал фраки, визитки, рубашки и прочее в том же роде.

Улучив минутку, я сказал:

– Но, дорогой мой сэр, я не могу дать заказ на эти вещи, разве только вы согласитесь ждать неопределенное время или разменять билет.

– Неопределенное время! Это слабо сказано, сэр, слабо сказано! Вечно – вот настоящее слово, сэр! Тод, поторопись там с этими вещами и отошли по адресу джентльмена, не задерживая ни минуты. Пускай мелкие заказчики подождут. Запиши адрес джентльмена.

– Я переезжаю с квартиры. На днях я зайду к вам и оставлю новый адрес.

– Совершенно справедливо, сэр, совершенно справедливо! Одну минуту – позвольте мне проводить вас, сэр. Вот сюда. Всего лучшего, сэр, всего лучшего!

Теперь вы понимаете, что должно было случиться?

Я самым естественным образом пришел к тому, что начал покупать разные вещи и просить сдачи. Через неделю я был великолепно одет, пользовался комфортом и даже роскошью и жил в дорогом особняке на Ганновер—сквер. Обедал я дома, а завтракал в том скромном ресторанчике Гарриса, где впервые поел на свой билет в миллион фунтов. Я создал Гаррису репутацию. Распространился слух, что заведению покровительствует чужак иностранец, который носит в жилетном кармане банковые билеты по миллиону фунтов.

Этого было довольно. Из бедного, захудалого, перебивавшегося со дня на день рестораника заведение Гарриса стало модным местом, и от посетителей не было отбоя. Гаррис чувствовал ко мне такую благодарность, что постоянно навязывал деньги взаймы и даже слышать не хотел об отказе; и вот у такого нищего, как я, всегда водились деньги, и жил я не хуже богатых и знатных. Я предчувствовал, что скорый крах неизбежен, но, попав в воду, надо плыть к берегу или тонуть. В этом был элемент неминуемой беды, придававший нечто серьезное, отрезвляющее и даже трагическое положению вещей, которое без этого было бы чистой комедией. По ночам, в темноте, трагическое выступало на передний план, предостерегало и грозило, – я стонал и метался, и сон бежал от моих глаз. Но в веселом свете дня трагический элемент тускнел и исчезал, а я не чувствовал под собой земли и был счастлив до головокружения; можно сказать, был пьян от счастья.

И это было естественно: я стал одной из достопримечательностей столицы мира, и это вскружило мне голову, – и не то чтобы слегка, а порядком. Нельзя было взять в руки газету, все равно какую – английскую, шотландскую или ирландскую, без того, чтобы не наткнуться на «Миллион в кармане», – так меня прозвали. Сначала обо мне упоминалось в самом низу столбца светской хроники, потом я обогнал баронетов, потом лордов, потом баронов и так далее и так далее, все повышаясь, по мере того как росла моя известность, пока наконец не достиг высшей точки и не занял места выше всех герцогов некоролевской крови и выше всех духовных особ, кроме архиепископа Кентерберийского. Заметьте, это была еще не слава: пока что я добился только популярности. Затем грянул завершающий удар, так сказать, возводящий меня в рыцарское достоинство, он в одно мгновение ока превратил бранный мусор популярности в неувядаемое золото славы: в «Панче» поместили на меня карикатуру! Да, теперь моя карьера была сделана, я нашел свое место. Надо мной еще можно было шутить, но почтительно, не грубо; разрешалось улыбаться, но не смеяться. Было для этого время, да прошло. «Панч» изобразил меня в лохмотьях, приценивающимся к лондонскому Тауэру. Можете себе представить, как это подействовало на юнца, который до сих пор находился в полной безвестности, а теперь не мог сказать слова, чтобы его не подхватили и не разнесли по всему городу; не мог сделать шага, чтобы не услышать замечания, переходящего из уст в уста: «Идет, идет! Вот он!»; не мог позавтракать без того, чтобы вокруг не собралась толпа зрителей; не мог появиться в театральной ложе, чтобы на него не направили разом тысячи биноклей.

Я просто купался в лучах славы с утра до вечера, – вот как обстояло дело.

Вы знаете, я даже сохранил мои старые лохмотья и время от времени показывался в них, ради удовольствия купить какой–нибудь пустяк и быть обруганным, а потом убить ругателя наповал миллионным билетом. Но и это продолжалось недолго. Мои лохмотья стали настолько известны по карикатурам в газетах, что меня сразу узнавали, когда я появлялся в них, и целая толпа ходила за мной по пятам, и если я покушался что–нибудь купить, хозяин немедленно предлагал мне весь магазин в кредит, даже еще не видя билета.

Приблизительно на десятый день своей славы я решил отдать долг родине, сделав визит американскому посланнику. Он попенял мне за то, что я так долго медлил с визитом, и сказал, что простит меня только в том случае, если я соглашусь отобедать у него сегодня вечером, заняв свободное место одного из гостей, который заболел. Я согласился, и мы разговорились. Оказалось, что они с моим отцом были в детстве школьными товарищами, позже учились вместе в Йельском университете и оставались близкими друзьями до самой смерти отца. Поэтому он пригласил меня проводить у него в доме все свободное время, и, само собой разумеется, я с удовольствием согласился.

Сказать по правде, я не только охотно согласился, но даже был рад. Когда произойдет крах, посланник, может быть, сумеет как–нибудь спасти меня от окончательной гибели; я не знал еще, каким образом, но, может быть, он сумеет найти выход. Дело шло к концу, и я так и не отважился открыться ему, что не замедлил бы сделать в начале моей головокружительной карьеры. Нет, я не мог осмелиться на это теперь, я слишком далеко зашел, для того чтобы рисковать, разоблачая себя перед новым другом, хотя, в сущности,

если разобраться, я зашел не дальше, чем следовало. Видите ли, при всех моих займах я старался держаться в пределах моих средств, то есть в пределах моего жалованья. Разумеется, я не мог знать, какое мне положат жалованье, но для моих расчетов у меня имелось достаточное основание: если я выиграю пари, я смогу выбирать любое место, какое только имеется в распоряжении этого богатого джентльмена, если окажусь пригоден, – а я, конечно, окажусь пригоден, в этом я несколько не сомневался. Что касается пари, то о нем я не беспокоился, мне всегда везло. Я рассчитывал на жалованье от шестисот до тысячи в год: скажем, в первый год шестьсот – и так далее год за годом, пока я не дойду до высшей цифры, показав, на что способен. Пока я задолжал всего только мое жалованье за первый год. Все наперебой предлагали мне деньги займы, но я держался твердо и почти всегда отказывался под тем или иным предлогом, так что мой долг состоял всего из трехсот фунтов, взятых займы, и еще трехсот, которые пошли на мое содержание и покупки. Я был уверен, что на жалованье за второй год я сумею прожить до конца месяца, если буду по—прежнему расчетлив и экономен, а в этом отношении я намерен был проявить твердость. Когда месяц кончится и мой хозяин вернется из путешествия, все уладится: я поделю жалованье за два года между своими кредиторами и сразу примусь за работу.

Обед вышел прелестный, приглашенных было четырнадцать человек: герцог и герцогиня Файф—о—Клок, их дочь – леди Анна—Грация—Элеонора—Селеста де Буль—Терьер, граф и графиня Плум—Пудинг, виконт Ростбиф, лорд и леди Кольдкрем, нетитулованные особы обоего пола, сам посланник с женой и дочерью и гостившая у них англичанка – подруга дочери, девушка лет двадцати двух, по имени Порция Лэнгем, – в которую я влюбился с первого взгляда, как и она в меня; я это и без очков заметил. Был еще один гость – американец. Но я немножко забегаю вперед. Пока приглашенные сидели в гостиной, нагуливая аппетит к обеду и холодно оглядывая опоздавших, слуга доложил:

– Мистер Ллойд Гастингс.

После обычного обмена приветствиями Гастингс завидел меня и сейчас же подошел, приветливо протягивая руку, но вдруг остановился, так и не пожав мне руки, и смущенно сказал:

– Прошу извинения, сэр, я думал, что мы знакомы.

– Ну, конечно, знакомы, дружище.

– Не может быть! Так это вы?..

– «Миллион в кармане»? Да, это я. Не бойтесь называть меня этой кличкой, я к ней привык.

– Ну—ну, вот это так сюрприз! Я видел раза два вашу фамилию в соединении с этим прозвищем, но мне и в голову не приходило, что вы и есть тот самый Генри Адаме. Ведь еще не прошло и полугода с тех пор, как вы были клерком на жалованье у Блэка Гопкинса во Фриско и просиживали целыми ночами, помогая мне проверять отчеты Гулда и Кэрри. И подумать только, что вы в Лондоне, архимиллионер и такая знаменитость! Да это просто тысяча и одна ночь! Милый мой, я никак не могу взять этого в толк, просто не понимаю! Дайте мне опомниться, у меня голова кругом идет!

– Суть в том, Ллойд, что я тоже ничего не понимаю. У меня тоже голова кругом идет.

– Боже правый, это поразительно, это просто поразительно! Всего три месяца тому назад мы сидели вместе в ресторане «Рудокоп».

– Нет, в «Вашем здоровье».

– Правильно, в «Вашем здоровье»; пришли туда в два часа ночи, прокорпев шесть часов подряд над бумагами. И за кофе и котлетами я убеждал вас поехать со мной в Лондон, предлагая выхлопотать вам отпуск, оплатить все расходы и дать кое—что наличными, если мне удастся выгодно реализовать дело. А вы не хотели меня слушать, говорили, что ничего мне не удастся и что вы не можете рисковать службой, а потом, вернувшись домой, терять время на то, чтобы снова войти в курс. И все—таки вы здесь. Удивительно! Как это вышло, что вы приехали сюда, и с чего началась ваша сказочная карьера?

– О, это вышло случайно. Долгая история, целый роман, можно сказать. Я вам все

расскажу, только не теперь.

– А когда же?

– В конце этого месяца.

– Но это же целые две недели? Никакое человеческое любопытство столько не выдержит. Давайте через неделю.

– Не могу. Со временем вы узнаете почему. Расскажите лучше, как идут ваши дела?

Его оживление разом исчезло, и он сказал со вздохом:

– Вы были сущим пророком, Генри, сущим пророком. Лучше бы я не приезжал. Мне не хочется об этом говорить.

– Нет, вы должны сказать. Отсюда вы непременно поедете ко мне и все мне расскажете.

– Можно? Вы не шутите? – И слезы навернулись у него на глазах.

– Да, я хочу знать все до последнего слова.

– Я так вам благодарен! Снова обрести человеческое участие, внимание к себе и своим делам, ласковый голос, добрый взгляд – после всего, что я пережил здесь! Господи! Да ради этого я готов на колени стать!

Он крепко пожал мне руку, оживился и после этого воспрянул духом и был готов приступить к обеду, который так и не состоялся. Да, случилась обычная вещь, – случилось то, что всегда случается при никуда не годных и раздражающих английских порядках: никак нельзя было установить, кто за кем идет по рангу, и потому обед не состоялся. Англичане всегда наедаются дома, перед тем как ехать на обед, потому что знают, какому подвергаются риску; а нового человека никто не потрудится предупредить, и он преспокойно идет и попадает впросак. Разумеется, никто на этот раз не пострадал, все мы пообедали заранее, потому что новичков среди нас не было, кроме Гастингса, которого предупредил посланник и, приглашая на обед, сказал, что из уважения к английским обычаям обеда у него не готовили. Каждый взял под руку даму, и мы торжественно проследовали в столовую, потому что ритуал все—таки полагается выполнить, но тут—то и начались разногласия. Герцог Файф—о—Клок желал идти в первой паре и сидеть во главе стола, считая, что он по рангу старше посланника, который представляет только народ, а не коронованную особу. Я тоже выставил свою кандидатуру. В столбце светской хроники я стоял выше всех герцогов некоролевской крови, – я так и сказал и потребовал, чтобы меня посадили выше герцога. Мы никак не могли найти выхода, сколько ни бились; наконец герцог решил (и очень неосмотрительно) сыграть на своем происхождении и древности рода, а я сбросил Вильгельма Завоевателя и козырнул Адамом, от которого происхожу по прямой линии, что явствует из моей фамилии; а он – по боковой, что явствует из его фамилии, да и от норманнов он произошел совсем недавно. Так что все мы торжественно проследовали обратно в гостиную и, как водится, закусили стоя; подается блюдо сардинок, клубника, все становятся в круг и едят. Здесь культ местничества не так обременителен; две особы высшего ранга бросают монету, и тот, кто выиграет, первым съедает клубнику, а тому, кто проиграет, достается монета. Потом вторая пара бросает монету, потом третья и так далее. После закуски внесли столы, и все мы уселись играть в криббедж, по шести пенсов партия. Англичане никогда не играют ради развлечения. Если нельзя выиграть или проиграть – не важно, что именно, – они совсем не сядут за карты.

Мы прекрасно провели время, особенно я и мисс Лэнгем. Я был так ею очарован, что то и дело сбивался со счета и непременно проигрывал бы каждую партию, если бы мисс Лэнгем не вела себя совершенно так же, как и я: она была в таком же состоянии, поэтому ни один из нас не выходил из игры и нисколько не беспокоился об этом; мы знали только, что мы счастливы, и не хотели, чтобы нам кто—нибудь мешал. И я признался ей – да, признался! – сказал, что я ее люблю, а она – она покраснела до корней волос, но была этому рада, она сама так сказала. Я не помню другого такого вечера! Каждый раз, считая взятки, я писал ей что—нибудь; каждый раз, как она считала взятки, она отвечала мне. Я не мог сказать: «Записываю две!», чтобы не прибавить: «Боже, как вы прелестны!» А она отвечала: «Пять и две, семь. Вы так думаете?» – и поглядывала на меня из—под ресниц так мило и лукаво. О,

это было восхитительно!

Я был с ней совершенно откровенен и прям, сказав, что у меня нет ни цента, кроме билета в миллион фунтов, о котором она столько слышала, да и тот не мой, и это возбудило ее любопытство, потом я понизил голос и рассказал ей всю историю с самого начала, и она чуть не умерла со смеха. Что, собственно, она нашла в этом смешного, я так и не мог понять, однако нашла же: каждые полминуты какая—нибудь новая подробность вызывала у нее смех, и мне приходилось останавливаться минуты на полторы, чтобы дать ей прийти в себя. Она смеялась до потери сознания. Право, я никогда ничего подобного не видывал. Я хочу сказать: не видывал, чтобы такой грустный рассказ, рассказ о злоключениях, заботах и тревогах производил такого рода впечатление. И я полюбил ее еще больше за то, что она умела веселиться, когда ровно ничего веселого не было: мне очень скоро могла понадобиться именно такая жена, знаете ли, это по всему было видно. Разумеется, я сказал ей, что нам придется подождать года два, пока я не начну получать жалованье, но она ничего не имела против, только просила меня быть как можно экономнее в расходах и не рисковать нашим жалованьем за третий год. Потом она немного огорчилась и выразила сомнение, не ошибаемся ли мы, – может быть, в первый год мне не назначат такого большого жалованья? Это было благоразумно и пошатнуло мою прежнюю уверенность, зато навело меня на дельную мысль, и я откровенно высказал ее:

– Милая Порция, не согласитесь ли вы пойти вместе со мной в тот день, когда я должен буду встретиться с этими джентльменами?

Она слегка поморщилась, но сказала:

– Да—да, если мое присутствие вам придаст бодрости. Но будет ли это удобно, как вы думаете?

– Не знаю, право, будет ли это удобно, – боюсь, что нет, – но вы знаете, от этого так много зависит, что...

– Ну, тогда я пойду во всяком случае – удобно это или неудобно, – сказала она в прекрасном порыве великодушия. – Мне так приятно думать, что я могу помочь вам!

– Помочь, милая? Да ведь все зависит от вас. Вы такая красивая, такая прелестная, такая очаровательная, что, если вы пойдете со мной, я буду настаивать, чтобы нам дали самое большое жалованье, и непременно уломаю этих милых старичков, у них не хватит духу сопротивляться!

Если бы вы видели, как прелестно она покраснела, как заблестели счастьем ее глаза!

– Ах вы гадкий льстец! В том, что вы говорите, нет ни слова правды, но я все—таки пойду с вами. Может быть, после этого вы поймете, что не все смотрят вашими глазами.

Рассеялись ли после этого мои сомнения? Вернулась ли уверенность в себе? Можете судить сами: мысленно я немедленно повысил себе жалованье до тысячи двухсот на первый год. Но ей я этого не сказал, а приберег в виде сюрприза.

Всю дорогу домой я летел как на крыльях. Гастингс что—то говорил, но я не слышал ни слова. Когда мы с ним вошли в мой кабинет, он привел меня в чувство, горячо восхищаясь окружающим меня комфортом и роскошью.

– Позвольте мне постоять здесь немножко и наглядеться досыта. Боже мой! Да это дворец – настоящий дворец! Ведь тут есть все, чего только душа ни пожелает: и веселый огонь в камине, и ужин наготове. Генри, вот теперь я не только понимаю, что вы богаты, а я беден, – я всем своим телом, всем своим существом чувствую, что я беден, что я несчастен, уничтожен, разбит наголову, погиб безвозвратно!

О, черт побери! От таких речей во мне ожили прежние страхи. Я сразу отрезвился и понял, что стою на вулкане и подо мной корка лавы толщиной не более полдюйма. Я не сознавал, что сплю, то есть до поры до времени не позволял себе в этом сознаться, а теперь – о боже!.. По уши в долгу, без гроша в кармане, и милая девушка на руках, – от меня зависит сделать ее счастливой или несчастной, – а впереди ничего, кроме жалованья, которое, может быть, – и даже наверное, – навсегда останется мечтой! О, о, о! Я погиб без возврата, меня уже ничто не спасет!

– Генри, самые ничтожные крохи вашего ежедневного дохода могли бы...

– Ох, мой ежедневный доход! Вот вам стакан горячего грога, сядьте, выпейте и развеселитесь! За ваше здоровье! Ах нет, вы, может быть, хотите есть? Сядьте и...

– Нет, какая там еда, мне не до того. Вот уже сколько дней я не могу есть. А пить с вами я готов, пока не свалюсь.

– Вы готовы? Что ж, выпьем! А теперь, Ллойд, выкладывайте вашу историю, пока я приготовлю еще по стаканчику.

– Выкладывать? Как, еще раз?

– Еще раз? Что вы хотите этим сказать?

– Вы хотите слушать все сначала?

– То есть как сначала? Это какая—то загадка. Подождите, не пейте больше этой дряни. Не надо.

– Послушайте, Генри, вы меня пугаете. Разве я не рассказал вам всю историю по дороге сюда?

– Вы?

– Ну да, я.

– Пусть меня повесят, если я слышал хоть слово.

– Генри, это очень серьезно. Я за вас беспокоюсь. Что там такое вышло у посланника?

Тут меня сразу осенило, и я сознался во всем, как подобает мужчине:

– Я познакомился с самой прелестной девушкой в мире и покорила ее сердце!

Он бросился ко мне, и мы долго, долго жали друг другу руки, до боли в пальцах, и он не осудил меня за то, что я не слышал ни слова из рассказа, которого хватило на целых три мили, пока мы не дошли до дома. Терпеливый и добрый малый, он просто—напросто сел и рассказал мне все снова. Вкратце его рассказ сводился к следующему: он приехал в Англию с коммерческим планом, который, по его мнению, сулил чудеса; у него было полномочие продать рудники Гулда и Кэрри и оставить себе все, что удастся получить сверх миллиона долларов. Он работал не покладая рук и, нажимая все кнопки, испробовал все дозволенные законом средства, истратил почти все свои деньги и все—таки не мог заставить ни одного капиталиста хотя бы выслушать себя, а срок его полномочий истекал в конце месяца. Словом, он был разорен. И тут он вскочил и воскликнул:

– Генри, вы можете меня спасти! Вы можете спасти меня – вы, и только вы один в целом мире! Хотите вы это сделать? Сделаете вы это?

– Скажите, как это сделать. Говорите, мой милый.

– Дайте мне миллион за эти рудники и купите для меня обратный билет! Ради бога, не отказывайте мне!

Я терзался, не зная, что делать. Я уже готов был выпалить: «Ллойд, я сам нищий, без единого гроша в кармане, да еще кругом в долгу!» Но тут меня осенила гениальная мысль, я опомнился, стиснул зубы и стал холоден и рассудителен, как капиталист. Потом я сказал деловитым и сдержанным тоном:

– Я спасу вас, Ллойд...

– Тогда я уже спасен! Бог да благословит вас навеки! Если я когда—нибудь...

– Дайте мне кончить, Ллойд. Я спасу вас, но не этим путем: это было бы несправедливо по отношению к вам – вы столько работали, подвергались такому риску. Мне не нужны рудники. В таком коммерческом центре, как Лондон, можно и без этого пустить капитал в обращение, я так и делаю. Но вот что я вам предложу. Я, конечно, знаю этот рудник, знаю, что он стоит больших денег, и могу это клятвенно подтвердить всякому желающему. Не пройдет и двух недель, как вы продадите его за три миллиона наличными, пользуясь моим именем, и мы с вами поделимся поровну.

Вы знаете, он чуть не разнес всю мебель в щепки, путившись в пляс от неистовой радости, и переломал бы все в доме, если б я не дал ему подножку и не связал его.

Он лежал безгранично счастливый и говорил:

– Вы разрешаете мне пользоваться вашим именем! Вашим именем – подумать только!

Милый мой, да они налетят стайей, эти лондонские богачи, они передерутся из—за этих акций! Теперь моя карьера обеспечена, обеспечена навсегда, и я не забуду вас до самой смерти.

Не прошло двадцати четырех часов, и весь Лондон загудел, как улей! День за днем я только и делал, что сидел дома и говорил всем посетителям:

– Да, я просил его ссылаться на меня. Я знаю его и знаю этот рудник. Репутация Гастингса вне всяких подозрений, а рудник стоит гораздо больше того, что он просит.

Тем временем все вечера я проводил у посланника с Порцией. Я ни слова не сказал ей о руднике, я приберегал это как сюрприз. Мы не говорили ни о чем другом, кроме как о жалованье и о любви, – иногда о любви, иногда о жалованье, иногда о любви и о жалованье вместе. И боже мой! Какое участие принимали в наших делах жена и дочь посланника, на какие хитрости они пускались, чтобы нам никто не мешал и чтобы посланник ничего не заподозрил, – с их стороны это было просто чудесно!

К концу месяца у меня лежал миллион долларов в Лондонском банке, и Гастингс был обеспечен не хуже. Надев самый лучший костюм, я проехал мимо дома на Портленд—плейс и по внешнему виду сделал заключение, что птицы уже прилетели. Потом отправился к посланнику за моим сокровищем, и мы вместе поехали обратно, без умолку разговаривая о жалованье. Она так волновалась и тревожилась, что выглядела поразительно красивой. Я сказал:

– Милая, вы сейчас так красивы, что было бы преступлением просить меньше трех тысяч в год.

– Генри, Генри, вы нас обоих погубите!

– Не бойтесь. Будьте только так же красивы, как теперь, и положитесь на меня. Все кончится хорошо.

Вышло так, что мне же пришлось поддерживать в ней бодрость всю дорогу. Она спорила со мной и говорила:

– Не забудьте, пожалуйста, что, если мы будем просить слишком много, нам, может быть, совсем ничего не дадут; и что тогда с нами будет, если мы останемся совсем без средств и без заработка?

Нас впустил все тот же слуга; и оба они оказались тут как тут, наши пожилые джентльмены. Разумеется, они удивились, когда увидели, что со мной такое прелестное создание, но я сказал:

– Ничего, господа, это моя будущая супруга и помощница.

И я представил их и назвал по имени. Это их не удивило, они понимали, что у меня хватит смекалки заглянуть в справочник. Они усадили нас, были очень любезны со мной и, насколько могли, старались, чтобы Порция перестала смущаться и чувствовала себя как дома. И тут я сказал:

– Джентльмены, я готов дать вам отчет.

– Мы рады будем вас выслушать, – сказал мой джентльмен, – потому что теперь мы можем решить спор между братом Абелем и мной. Если вы выиграли для меня пари, вы получите любую должность, какая есть в моем распоряжении. Билет в миллион фунтов с вами?

– Вот он, сэр, – и я отдал ему билет.

– Я выиграл! – воскликнул он и хлопнул Абеля по спине. – Ну, что ты теперь скажешь, брат?

– Скажу, что он жив, а я проиграл двадцать тысяч фунтов. Никогда бы этому не поверил.

– Мой отчет еще не кончен, – сказал я, – и рассказывать придется долго. Разрешите мне навестить вас на днях и рассказать подробно всю историю этого месяца; ручаюсь, что ее стоит послушать. А пока взгляните вот на это.

– Что такое! Счет в банке на двести тысяч фунтов! Неужели они ваши?

– Мои. Я их заработал в тридцать дней, осмотрительно пользуясь небольшой ссудой,

которую получил от вас. Я ничего не делал, только покупал разные пустяки и просил разменять билет.

– Ну, это поразительно! Просто невероятно, мой милый!

– Не беспокойтесь, у меня есть доказательства. Не принимайте моих слов на веру.

Теперь пришел черед Порции удивляться. Широко раскрыв глаза, она сказала:

– Генри, это в самом деле ваши деньги? Значит, вы мне сказали неправду?

– Да, милая, сказал. Но ведь вы меня простите, я знаю.

Она капризно надула губки и сказала:

– Не будьте так самоуверенны. Вам не следовало обманывать меня.

– О, вы должны простить меня, дорогая, должны примириться: ведь это была шутка, вы же понимаете. Ну, а теперь нам пора.

– Подождите, подождите! А как же вакансия? Ведь я хотел дать вам место, – сказал мой джентльмен.

– Ну, – сказал я, – я вам как нельзя более благодарен, но мне, право, не нужно никакого места.

– Но вы можете получить самое лучшее, какое имеется в моем распоряжении!

– Еще раз благодарю от всего сердца, но мне, пожалуй, даже и такого не нужно.

– Генри, как вам не стыдно? Вы плохо благодарите этого доброго джентльмена.

Можно, я поблагодарю за вас?

– Ну конечно, милая, если вы можете сделать это лучше. Посмотрим, как у вас это получится.

Она подошла к моему джентльмену, села к нему на колени, обняла его и поцеловала прямо в губы. Оба пожилых джентльмена расхохотались во все горло, а я так и застыл на месте, просто окаменел, можно сказать.

Порция сказала:

– Папа, он говорит, что в твоём распоряжении нет такого места, какое он принял бы, и я обижена не меньше, чем...

– Дорогая моя, неужели это ваш папа?

– Да, это мой отчим, и самый милый, какой только может быть. Теперь вы понимаете, почему я так смеялась, когда вы мне рассказывали у посланника, каких хлопот и огорчений наделал вам план дяди Абея и папы?

Разумеется, тут уже я не стал молчать и высказался напрямик, без всяких околичностей:

– О, простите меня, дорогой сэръ, я беру свои слова обратно. У вас имеется свободная вакансия, которую я хотел бы занять.

– Какая же это?

– Вакансия зятя.

– Ну, ну, ну! Но, знаете ли, вы никогда еще не занимали этой должности и, конечно, не сможете представить рекомендаций, которые удовлетворяли бы условиям нашего договора, а потому...

– Испытайте меня, о пожалуйста, прошу вас! Только испытайте в течение каких—либо тридцати—сорока лет, и тогда...

– Что же, хорошо, если так, – берите ее.

Были ли мы оба счастливы? В самом полном словаре не найдется довольно слов, чтобы описать наше счастье. А когда через день—другой мои приключения с банковым билетом и счастливая развязка стали всеобщим достоянием, не говорил ли об этом весь Лондон и не смеялся ли? Да, еще бы.

Папа моей Порции отвез счастливый билет обратно в Английский банк и разменял, потом банк погасил его и опять преподнес владельцу, а он подарил нам этот билет в день свадьбы, и с тех пор он висит в рамке на самом почетном месте в нашем доме, за то что он дал мне мою Порцию. Если бы не он, я не остался бы в Лондоне, не попал бы к посланнику и никогда бы с ней не встретился, и потому я всегда говорю:

– Да, это билет в миллион фунтов, как видите. И за всю его жизнь на него была сделана одна покупка, зато такая, которая стоит вдесятеро дороже этой суммы!

ПУБЛИЦИСТИКА

ВАЖНАЯ ПЕРЕПИСКА

между мистером Марком Твенем (Сан—Франциско) и его преподобием доктором богословия епископом Беркутом (Нью—Йорк), его преподобием Филлипсом Бруксом (Филадельфия) и его преподобием доктором Каммингсом (Чикаго) касательно замещения вакансии настоятеля собора Милосердия.

Я давно уже с глубоким интересом следил ли попытками привлечь вышеупомянутых почтенных священнослужителей — вернее, какого—нибудь одного из них — на должность проповедника в прекрасном сан—францисском храме, носящем название собор Милосердия. Когда же я увидел, что все старания церковного совета ни к чему не приводят, я счел своим долгом вмешаться и собственным влиянием (уж какое там оно ни есть!) поддержать их благородное дело. При этом я не угодничал перед церковным советом и не преследовал никаких личных целей, о чем достаточно ясно говорит тот факт, что я не состою в числе прихожан собора Милосердия, никогда не беседовал об этом с церковным советом и даже не заикался о своем желании написать священникам. То, что я сделал, я сделал по доброй воле, без просьб с чьей—либо стороны; мои действия продиктованы исключительно альтруистическими побуждениями и симпатией к прихожанам собора Милосердия. Я не жду наград за свои услуги, мне нужна лишь чистая совесть, спокойное сознание, что я наилучшим образом исполнил свой долг.

М. Т.

Между мною и его преподобием доктором Беркутом состоялся следующий обмен письмами.

Мое письмо его преподобию Беркуту:

«Сан—Франциско, март 1865 г.

Дорогой доктор!

Мне стало известно, что Вы телеграфировали церковному совету собора Милосердия свой отказ приехать в Сан—Франциско на пост настоятеля, не согласившись на предложенные Вам условия — 7000 долларов в год; в связи с этим я решил сам обратиться к Вам с письмом. Скажу Вам по секрету (это не для разглашения, пусть никто ничего не знает!), собирайте свои манатки и спешите сюда, я устрою все наилучшим образом. Совет схитрил, он понимал, что Вас 7000 долларов не устроят, но он думал, что Вы назначите свою цену и с Вами можно будет поторговаться. Теперь уж я сам займусь этим делом, растормошу всех священников, в результате Вы здесь за полгода заработаете больше, чем в Нью—Йорке за целый год. Я знаю, как это делается. Со мной считается местное духовенство, особенно его преподобие доктор Бадсворт и его преподобие мистер Стеббинс: я пишу за них проповеди (последнее, впрочем, публике неизвестно, и прошу на сей счет не распространяться!), и я могу в любую минуту подбить их, чтобы все они потребовали прибавки.

Вы будете довольны этим местом. Оно куда привлекательнее всех прочих известных мне мест. Во—первых, здесь грандиозное поле действия: грешников — хоть пруд пруди. Достаточно закинуть сеть, и улов Вам обеспечен; просто удивительно — самая что ни на есть скучная, затасканная проповедь пригонит к Вам не меньше полдюжины кающихся.

Поверьте, Вас ждет весьма оживленная деятельность при очень скромных усилиях с Вашей стороны. Приведу такой пример: однажды я накатал бредовую, бессмысленную проповедь — вряд ли Вы когда-нибудь слышали такую — для священника епископальной церкви, и он сразу выловил семнадцать грешников. Тогда я слегка переделал ее, чтобы годилось для методистов, и его преподобие Томас поймал еще одиннадцать. Недолго думая, я опять на скорую руку переиначил кое что, и тут уже Стеббинс обратил в свою унитарийскую веру несколько человек; я не поленился, перекроил еще разок, и доктор Вадсворт использовал ее столь же успешно, как самые лучшие мои сочинения в этом жанре. И так эта проповедь пропутешествовала из церкви в церковь, каждый раз меняя наряд, дабы соответствовать очередному религиозному климату, пока не обошла наконец весь город. За время ее действия мы выловили в общей сложности сто восемнадцать самых отвратительных грешников, которые катились прямой дорогой в ад.

Работа здесь легкая, это Вы сразу увидите: один из прихожан объявляет, какой будет гимн, другой читает молитву, третий — главу из евангелия. Нам же остается только проповедовать да читать литургию, вернее, не читать, а петь. Здесь принято петь литургию, на католический манер; кстати, это лучше и приятнее, чем когда читают. Насчет пения не бойтесь: заучите простой мотивчик — для этого требуется не больше слуха и музыкального образования, чем для того, чтобы кричать у вас в Нью-Йорке: «Конверты с клеем, че-ты-ре цента две дюжины!» Мне нравится, когда литургию поют. Пускай мелодия несколько однообразна, а результат, глядишь, отличный. Нот ведь все знают, что преподобному Кипу медведь на ухо наступил, а послали же его в Европу учиться пению. Итак—, повторяю: делать тут почти нечего, проповеди да литургия вот и все Ваши обязанности; и между нами говоря, доктор, если Вы сумеете использовать мотивы популярных, знакомых песенок, то почти наверняка произведете здесь сенсацию. Мне кажется, я могу спокойно это Вам пообещать. Не сомневаюсь, что если Вы сумеете внести приятное разнообразие в мелодию литургии, это скорее обратит на себя внимание верующих, чем многие другие Ваши таланты.

Проповедовать здесь проще простого. Тащите сюда бочку Ваших старых, вышедших из моды проповедей, — тут все сойдет.

Черкните мне, Беркут. Хотя я с Вами незнаком, я только слышал, что о Вас говорят, все же Вы мне симпатичны. О жалованье не беспокойтесь, я все устрою. Впрочем, о нашей переписке пусть церковный совет не знает. Дело в том, что я не принадлежу к числу прихожан собора, и совету может показаться непонятным, чего ради я так стараюсь; но уверяю Вас, я сейчас совершенно не занят, и для меня это не труд, а удовольствие. Я хочу лишь одного: чтобы Вы получили то, что Вам полагается. И я этого добьюсь! Проверну все на славу, я тертый калач, знаю все ходы и выходы, хотя по моему виду этого, может, и не скажешь. И пусть я не принадлежу к числу так называемых избранных, я очень интересуюсь подобными делами и не намерен стоять в сторонке и равнодушно взирать на то, как люди стараются заманить Вас жалкой суммой в 7000 долларов! Я ответил совету, якобы от Вашего имени, что Вы не согласны меньше чем на 18 000, так как у себя в городе можете получить все 25 000. Я также намекнул совету, что договорился писать Ваши проповеди,— это, мне казалось, произведет хорошее впечатление,— тут ведь, знаете, каждая мелочь играет роль! Итак, собирайтесь в дорогу, все будет хорошо, я не сомневаюсь. Можете даже рубашек не привозить, у меня хватит на двоих. Я человек нежадный, в этом Вы убедитесь: я буду носить Ваши костюмы, а Вы берите, пожалуйста, мои, будем жить, как братья. Если мне кто понравился, так уж понравился, я за него готов в огонь и в воду. Все мои приятели любят Вас тоже и примут как старого знакомого. Я Вас всем им представлю, Вам будет с ними хорошо. Они народ надежный. Достаточно Вам будет указать на кого-нибудь: мол, что за несимпатичная личность, и они мгновенно прирежут его.

Спешите к нам, Ваше преподобие! Я Вас буду встречать и привезу прямо к себе домой. Живите у меня сколько Вашей душе угодно, я с Вас ни цента не возьму.

Марк Твен».

Ответ Беркута:

«Нью—Йорк, апрель 1865 г.

Дорогой мой Марк!

Хотя я прежде не слыхал о Вас, но, после того как получил Ваше любезное письмо, мне показалось, что мы с Вами знакомы уже целую вечность. Как хорошо Вы понимаете нас, пахарей на ниве господней, как сочувствуете нашей борьбе за существование. Бог да благословит Вас за Ваши земные дела, Вас ждет награда на том свете. Очень сожалею, что не могу приехать к Вам; теперь я понял, какое счастье для честного труженика поработать в Сан—Франциско, но судьба решила иначе, и я подчиняюсь с подобающим смирением. Я на собирався окончательно отказаться от Вашего места, а хотел лишь, выражаясь языком грешников, немного набить себе цену. Такое намерение законно и справедливо, ведь дело касается не только меня одного, но и тех, чья жизнь и благополучие зависят от меня. Возможно, Вы помните, как я однажды ответил церковному совету, перед которым ходатайствовал об увеличении мне жалованья по причине моей многосемейности, а совет отказал, сославшись на евангелие: мол, провидение позаботится о птицах небесных, о юных воронятах. А я ответил с веселой непринужденностью, что в отношении молодых беркутят это нигде не сказано. Я был тогда очень рад своей находчивости и не раз вспоминал о ней, когда бывало невесело на душе и весь мир казался хмурым и безрадостным, даже и сейчас я с удовольствием вспоминаю об этом.

Повторяю, я вовсе не хотел, чтобы мое решение было понято как окончательное, но обстоятельства решили за меня. Я отказался от своего прихода в Балтиморе, где мне очень хорошо платили, и отправился в Нью—Йорк — посмотреть, как там обстоят церковные дела. И представьте, преуспел сверх всяких ожиданий. Я выбрал самые лучшие из своих старых проповедей, которые были давно всеми забыты, и раз в неделю произносил какую—нибудь из них в здешней церкви Благовещения. Дух этих старинных проповедей ожил и заиграл, проникая в сердца верующих, как доброе старое вино, вливающее новые силы в усталое тело. Успех был невероятный. А когда еще вдобавок пришел призыв из Сан—Франциско, как нельзя более своевременный, акции мои и вовсе поднялись. Все сразу оценили мои достоинства. Представители одной церковной общины предложили мне 10 000 долларов в год, а также решили купить для меня церковь св. Георгия—великомученика в верхней части города или выстроить новый храм — как мне будет угодно. Дорогой Марк, я договорился с ними на этих условиях, ибо знаю, что ни одна из малых птиц не упадет на землю без воли Отца нашего; впрочем, что бы ни случилось, я и сам не пропаду, пока цены на хлопок держатся на нынешнем высоком уровне. Понимаете, я отчасти связан с хлопком, и это одна из причин, почему я не рискую уехать из Нью—Йорка. Я вложил некоторый капитал в хлопок; дело пока новое, и хозяйский глаз необходим.

Впрочем, время летит, Марк, что поделаешь, и мне пора кончать свое послание. «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» Но я такого друга никогда не забуду!

Ваше искреннее участие в моих делах; Ваша замечательная изобретательность, подсказавшая Вам написать церковному совету, чтобы заставить его раскошелиться; Ваша гениальная находчивость, с которой Вы выдали свои письма за мои и, стремясь расположить ко мне церковный совет, заявили, что намерены писать за меня проповеди; Ваша царская щедрость, побудившая Вас предложить мне носить Ваши рубашки и сделать общими остальные предметы туалета, принадлежащие каждому из нас; Ваше сердечное обещание, что Ваши друзья полюбят меня и будут оказывать мне столь исключительные услуги; Ваше радушное приглашение разделить с Вами великолепный особняк — все это вызывает во мне самые нежные чувства, и вызывает не зря, дражайший Марк! Я буду вечно молиться за Вас и сохраню память о Вас в своем благодарном и растроганном сердце.

Еще раз примите, талантливый друг, горячие слова благодарности и наилучшие пожелания от Вашего покорного слуги

его преподобия доктора Беркута».

Здорово пишет, а?

Но когда епископ употребляет недозволенные выражения и развязно признается, что предпринимает какие—то шаги с целью «набить себе цену», не переключается ли он с удивительной ловкостью ответственность на плечи смиренного грешника?

И далась же ему на старости лет эта дурацкая острога о птенцах! Если он будет все время ее вспоминать и потому возомнит себя редкостным умником, то чего доброго в скором времени потребует себе такое жалованье, какое разорит любую церковь! Впрочем, раз ему так это нравится, и он действительно считает свою шутку великолепной, не стану развеивать его иллюзии, не буду лишать его радости. Между прочим, мне это напомнило статью редактора журнала «Харперс», напечатанную года три тому назад, в которой он просит читателей быть снисходительными к безобидному тщеславию жалких писак, возомнивших себя талантами. Собственные произведения кажутся им бесподобными, говорит редактор и добавляет: «А разве бедняга Мартин Фаркуар Таннер не носится со своими пошлостями, воображая, что это поэзия?!» Вот именно! Пусть и епископ носится с шуткой собственного изобретения и воображает ее квинтэссенцией юмора.

Но интересно знать, что это за таинственная церковь св. Георгия—великомученика? Впрочем, епископ не настроен полностью доверять даже св. Георгию великомученику и подвергать риску благополучие своих птенцов, — он благоразумно ориентируется на хлопок. Пожалуй, он прав. На бога надейся, а сам не плошай.

А каково ваше мнение насчет заключительной части его письма? Не кажется ли вам, что он хватил через край, как говорят в подобных случаях грешники? Неужто вы поверили, что за этими трескучими фразами кроется искренность? Поверили, да? А я вот не знаю: столь сильные прилагательные, чересчур сильные, — иногда мне чудится в них этакий легкий оттенок иронии. Но нет, едва ли! Вероятно, он в самом деле полюбил меня. Зато если бы я убедился, что преподобный юморист упражняется на мне в остроумии, я бы ему больше никогда в жизни не стал писать. Он заявляет, что меня «ждет награда на том свете», — нет, уж это вовсе не по мне!

Но он обещает молиться за меня. Что ж, для моей персоны нет ничего полезнее, и ему не найти, пожалуй, более благодарного грешника, чем я. По—видимому, я попаду под рубрику «прочие грешники»; конечно, я не лучше любого другого грешника и не вправе претендовать на особое внимание. Сперва они молятся за свою конгрегацию, знаете ли, — весьма энергично; потом — с умеренным пылом — за другие религии; потом за ближайших родственников своей конгрегации; потом за дальних родственников; потом за общину; потом за свой штат; потом за государственных деятелей; потом за Соединенные Штаты; потом за Северную Америку; потом за весь американский континент; потом за Англию, Ирландию и Шотландию, за Францию, Германию и Италию, за Россию, Пруссию и Австрию; потом за жителей Норвегии, Швеции и Тимбукту; за жителей Сатурна, Юпитера и Нью—Джерси; к концу поминают в молитве негров, индусов, турков и китайцев; а когда фонтан милосердия уже окончательно иссякнет и станет сух, как ведро из—под золы, они вытряхивают со дна оставшуюся пыль на нас бедняг, «прочих грешников».

Не очень—то справедливо, правда? Считаюсь, в общем, пресвитерианином, я числюсь среди прихожан одной из главных пресвитерианских церквей, и потому мне иногда приходится стоять с благочестивым видом, опустив глаза и положив руки на спинку передней скамьи; некоторое время я сосредоточенно слушаю, затем начинаю переминаясь с ноги на ногу, закладываю руки за спину, выпрямляю стан и принимаю торжественный вид; затем скрещиваю руки на груди, выгибаю шею и принимаюсь печально смотреть вперед; потом украдкой поглядываю на священника, перевожу взгляд на публику, становлюсь рассеян — и вдруг ловлю себя на том, что считаю, сколько в церкви кружевных чепцов и сколько плешивых голов; потом начинаю интересоваться, какая часть присутствующих клюет носом, а какая бодро внимлет проповеди; потом лениво пускаюсь в догадки, сумеет ли

жужжащая муха, ползущая вверх по стеклу и то и дело соскальзывающая вниз, когда—нибудь добраться до своей цели; в конце концов надоедает и это, и я погружаюсь в тоскливую дрему, — но тут как раз священник доходит до моего ведомства и вновь приводит меня в состояние бодрствования и возрождает во мне надежды добрым словом по адресу несчастных «прочих грешников».

А иной раз мы оказываемся и вовсе забытыми и уходим несолоно хлебавши; в таких случаях я вспоминаю одного маленького мальчика из простой семьи, питавшего страсть к горячим пышкам; как—то у них был гость, и мать сказала мальчику, что он получит все пышки, какие останутся после ужина, если не подойдет к столу и будет вести себя тихо и примерно; мальчик следил за гостем, который с аппетитом уплетал пышки, пока предчувствие в его душе не переросло в ощущение катастрофы, и он закричал: «Вот вам, я так и знал! Я с самого начала знал, что так будет! Чтоб мне по сойти с этого места, если он не жрет сейчас последнюю пышку!»

Но я, однако, не жалуясь — ведь очень редко индусы, турки и китайцы получают в награду все пышки и оставляют нас, «прочих грешников», голодными. Правда, они нередко засиживаются за столом, и мы порядком устаем в ожидании своей очереди. Ну а что, если поубавить красноречие? Что, если испрашивать отдельное благословение только на свою конгрегацию и свою общину, а потом горячо помолиться за всех остальных, за всю вселенную сразу? Не лучше ли было бы принять за образец простоту, лаконичность, красоту и ясность молитвы «Отче наш»? Впрочем, я, кажется, забираюсь в сферы, не подлежащие моей юрисдикции.

Мои письма его преподобию Филлипу Бруксу в Филадельфию и его преподобию доктору Каммингсу г. Чикаго, с приглашением приехать сюда на пост настоятеля собора Милосердия и с обещанием всяческой помощи, будут опубликованы на будущей неделе, вместе с ответами означенных лиц.

Марк Твен.

На прошлой неделе я обещал опубликовать в этом номере «Калифорниен» свою переписку с его преподобием Бруксом, проживающим в Филадельфии, и его преподобием доктором Каммингсом, проживающим в Чикаго, но теперь я вынужден просить читателей освободить меня от этого обещания. Я только что получил телеграммы от обоих почтенных священнослужителей, в которых утверждается, что я поступил бы бестактно, если бы напечатал их письма. Эти утверждения подкреплены столь вескими, убедительными, бесспорными доводами, что, хотя прежде это не казалось мне бестактным, теперь я признаю, что в самом деле было бы нетактично печатать их письма. Пользы это особой не принесло бы, а вред был бы большой, ибо это вызвало бы болезненное любопытство у публики к частным делам священнослужителей. Привожу обе телеграммы дословно:

От его преподобия Филлипа Брукса:

Филадельфия, пятница, 12 мая

МИСТЕР МИК ТВАЙН!^{14*} ГОВОРЯТ, ВЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ПИСЬМО ЕПИСКОПА БЕРКУТА. ВЫ ПОГУБИТЕ ДУХОВЕНСТВО! МОЕГО НЕ СМЕЙТЕ ПЕЧАТАТЬ, ОБРАЗУМЬТЕСЬ, ОСТАВЬТЕ ВАШУ ЗАТЕЮ, НЕ ВАЛЯЙТЕ ДУРАКА.

ПРЕДЛАГАЮ ПЯТЬСОТ ДОЛЛАРОВ.

Филлипс Брукс.

Хотя я понимаю, что мой долг — сохранить в тайне письмо Брукса, должен все же заявить для сведения публики, что Брукс получает в филадельфийской церкви больше денег

¹⁴ * Прошу прощения за злосчастный телеграф — он всегда перевирает имена и фамилии. — М. Т.

и поэтому не считает возможным ехать сюда. А кроме того, он спекулирует нефтью.

М. Т.

От его преподобия доктора Каммингса:

Чикаго, четверг, 11 мая

МИСТЕР МАК—СВАЙН! НЕУЖЕЛИ ВЫ ТАК ГЛУПЫ, ЧТО НАПЕЧАТАЛИ ПИСЬМО ЕПИСКОПА БЕРКУТА? ВОТ ЧЕРТОВЩИНА! МОЕГО ПК ПЕЧАТАЙТЕ, НЕ ДУРИТЕ, МАЙК. ГОТОВ УПЛАТИТЬ ПЯТЬСОТ ИЛИ ШЕСТЬСОТ ДОЛЛАРОВ

Каммингс.

Я понял, что нетактично предавать огласке письмо доктора Каммингса, но все же нелишне отметить, что он тоже зарабатывает больше и потому не желает ехать в Калифорнию. Кроме того, он в Чикаго спекулирует зерном.

М. Т.

ИНОСТРАННАЯ ПЕРЕПИСКА

Боюсь, что я поторопился печатать письмо епископа Беркута. Весьма сожалею об этом. Теперь уж нечего ждать, что он предложит мне свой Веский Довод.

Несчастливая я жертва своей проклятой привычки навязывать всем непрошенные услуги! Никто меня не просил помогать церковному совету собора Милосердия в подыскании настоятеля; я сам залез в эту историю в порыве дурацкого энтузиазма и сам же накликать беду на свою голову! Тех священников, которых я хотел завербовать, я все равно не завербовал, зато на меня градом посыпались дешевые захоластные проповедники, и я сам испугался содеянного. Боюсь, что я пробудил дух, который мне уже не удастся успокоить. Достаточно процитировать в качестве образца одно из 48 писем, полученных мною из отдаленных мест, чтобы стало понятно, какой интерес вызвала опубликованная мною переписка.

От его преподобия мистера Брауна:

«Замок Саранчи, 1865 г.

Брат Твен! Чувствую, что наконец мне представился случай отплатить хотя бы частично за бесчисленные блага, которые сыпались — сыпались золотым дождем — на мою недостойную голову. Если Вы поможете мне получить место в соборе Милосердия, я дам свое согласие немедленно, и меня удовлетворит любая плата; хоть я и поступлюсь при этом многими земными благами и причиню чудовищное горе моей любящей пастве, но душа моя слышит призыв, и не мне, скромному слуге господнему, отказываться от повиновения. (Клякса, которую Вы видите в этом месте, — от моей слезы!) Скорблю при мысли о том, что придется покинуть возлюбленную паству, простите сентиментальность, мой друг, но я как пастырь заботился о ней многие годы, растил ее, кормил духовной пищей и стриг, — ах и стриг же ее! Не могу продолжать — слезы душат меня. Но я возьму с собора Милосердия меньше любого американского священника, только бы Вы мне исхлопотали это местечко. Посылаю Вам свои проповеди в качестве образцов — несколько специально написанных и несколько взятых из книг, но отредактированных...

Ваш покорнейший слуга Т. Сент—Мэтью Браун».

Все они просят место в соборе Милосердия. Все они будут рады жалованью в 7000 долларов в год. Все готовы пожертвовать земными благами, порвать самые дорогие их сердцу связи и покинуть родные места, чтобы сражаться за святую веру в нашем прекрасном храме. Все они убеждены, что могут приносить больше пользы и лучше служить своему владыке, если им позволят расширить поле деятельности. Все они убеждены, что души их не могут больше оставаться взаперти. И они рвутся приехать сюда, чтобы расправить крылья. Но самое ужасное то, что своими глупостями они отравляют жизнь мне: шлют свои проповеди мне, едут сюда, и являются прямо ко мне домой, и сваливают свой багаж у меня в прихожей, и занимают силой мою спальню, и с бою садятся за мой стол, вместо того чтобы досаждать церковному совету собора Милосердия, которому по штату положено быть

жертвой! Чего ради они все лезут ко мне? Я—то здесь при чем? Да ведь я даже не хожу в эту церковь, и приглашение пасторов на работу имеет ко мне такое же отношение, как к алжирскому бею! Хоть бы они перестали меня мучить! Я влип в эту историю по неосторожности, не подумав, и если мне удастся благополучно выпутаться, я никогда больше не стану вмешиваться в такие дела, честное слово не стану!

Я держу нескольких слуг, но все они уже измучены до предела. Моя экономка находится на грани бунта. Вчера она заявила мне: «Скоро я, кажется, вытурю кое—кого из священников!» И так оно и будет. А мне жаль. Разве можно не пожалеть священника, когда видишь, что его «турнули» из твоего дома? Но как мне быть? Я тут беспомощен. Начну заступаться — меня самого вытурят!

Гостящие у меня священники люди здоровые. Аппетит у них отличный. Никакой особенной пищи они для себя не требуют. Жареные цыплята вполне их устраивают. Но меня тревожит их присутствие: на Миссисипи считается, что пароходу угрожает беда, если не. нем окажется одновременно более двух пассажиров духовного звания. В таком случае дюжина их, гостящая в моем доме, может чего доброго вызвать землетрясение! Согласно поверью, три священника могут посадить пароход на мель, четыре — утопить, а пять плюс серая кобыла — взорвать. Будь у меня на конюшне серая кобыла, я удрал бы из города, не дожидаясь ночи!

Марк Твен.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

Разве не добродетельна наша полиция? Разве не следит она за порядком в городе? Не ее ли бдительность и умелая работа возвращают на путь истины уstraшенных хулиганов и головорезов? Разве это не подтверждается тем, что наши дамы, когда их охраняет полк солдат, осмеливаются в дневное время ходить даже по окраинам города? Разве это не подтверждается тем, что, хотя многие важные преступники преспокойно разгуливают на свободе, но стоит только какому—нибудь китайцу залезть в чужой курятник—, как его в два счета засадят в каталажку и имена полисменов, задержавших похитителя курицы, будут увековечены на столбцах газет? Разве это не подтверждается тем, что полисмены постоянно начеку и так осторожны, что никогда ни один из них не попал под колеса? А какие полисмены сметливые, энергичные, подвижные! Взгляните на любого из них, как он шествует по тротуару со скоростью один квартал в час, — от такого темпа у людей начинает рябить в глазах и делается нервное расстройство. А как аккуратно полисмен носит форму! А какие у него нежные руки! Вы говорите, полисмен не трудится? Не работает как вол? По—вашему, нет? А как он мило улыбается женщинам! Даже обессилев от своей напряженной деятельности, прислонится к фонарному столбу и все улыбается, улыбается, пока не упадет в обморок. Душки полисмены! Душки они, правда? В поте лица они не трудятся, такого случая мы еще не видели, а если бы кто увидел, то, наверное, воскликнул бы: «Ах, этот несчастный умирает, ведь это же противоестественно!» Можете не беспокоиться, никто из нас еще не видел, чтобы полисмен трудился в поте лица! Полюбуйтесь, вот он стоит в своей любимой поле на солнышке, прислонившись спиной к фонарному столбу, — спокойный, неторопливый, вполне довольный своей жизнью, почесывая ногой ногу. Кроткая душа? Пожалуй, все—таки нет!

Лично я не имею никаких претензий к полиции, но, может быть, д—р Роуэл держится на этот счет иного мнения. Когда позавчера вечером лавочник Зили проломил череп несчастному бродяге, утащившему у него на семьдесят пять центов мешков из под муки, полисмен поволок вора в тюрьму и весьма добродушно запихнул его в камеру. Вы полагаете, что это было неправильно? По—моему, правильно. Не арестовывать же было лавочника Зили, не говорить же ему: «Полно, братец, ты заявляешь, что поймал этого неизвестного с

поличным у себя во дворе, а мы видим только одно: что ты разможил ему голову дубиной; так вот, посиди и ты за решеткой, пока мы не спросим противную сторону, — вдруг твои показания не подтвердятся? Твое же преступление доказано и карается по статье «Оскорбление действием». Чего ради поступила бы так полиция?! Ладно, не волнуйтесь, никто этого и не говорит!

Разве плохо, что полисмены бросили полуживого человека в камеру, даже не позвав врача осмотреть его рану? Они просто считали, что это успеется и на следующий день, — если только бедняга протянет до следующего дня! Разве плохо, что тюремщик не стал тревожить искалеченного человека, когда два часа спустя обнаружил его без чувств? Зачем было будить арестованного — ведь он спал, а люди с проломленным черепом имеют обыкновение так безмятежно спать! Разбудить заключенного было невозможно, но тюремщик не видел в этом повода для беспокойства. Чего тут было беспокоиться? И самом деле, чего? Арестант — чертов иммигрант, правом голоса не пользуется.

Кроме того, ведь заявил же давеча про него джентльмен, что он украл какие-то мешки! Ага, украл! Значит, сам поставил себя вне общества и своим гнусным преступлением лишил себя права на христианское сострадание! Я в этом убежден. И полиция тоже. Поэтому, хотя неизвестный и скончался в семь часов утра, после четырехчасового бодрящего сна в тюремной камере, с головой, «рассеченной на две половины, словно яблоко» (так зафиксировано протоколом вскрытия), но какого черта вы лезете обвинить полицию? Вечно вы суете нос куда не следует! Других дел у вас нет, что ли? Я уже с ног сбился, защищая полицию от разных нападок.

Мне хорошо известно, что наша полиция — воплощение добра, великодушия и гуманности. Только вчера мне напомнили, с каким блеском проявились эти ее качества в случае с капитаном Лизом. Лиз сломал себе ногу, и шеф полиции назначил Шилда, Уорда и еще двух полисменов ухаживать за капитаном, с материнской нежностью выполнять все его прихоти. Подумайте только, шеф дал капитану четверых самых сильных и работоспособных своих полисменов, в то время как другие, мелочные людишки сочли бы, что на худой конец хватило бы с Лиза и двоих. Да, шеф не поскупился: он отправил в полное распоряжение больному всю четверку этих клоунов в полицейской форме. И это не так уж дорого обошлось городу Сан-Франциско: каких-нибудь пятьсот долларов, поскольку жалованье полисмена в месяц сто двадцать пять долларов. А ведь находятся же люди, которые по злобе своей утверждают, что капитану Лизу не грех было бы самому раскошелиться и что если бы он лечился за собственный счет, то наверняка не стал бы тратить с такой легкостью по пятьсот долларов в месяц на сестер милосердия! Кстати: по слухам, городские власти завалены петициями от разных заинтересованных лиц об увеличении штатов полиции — как меры чрезвычайно необходимой. А между тем полицейское начальство не знает, куда девать своих новых подчиненных и, зачислив их на службу, мечется, высунув язык, изобретая для них разные занятия, вплоть до ухода за больными, лишь бы найти им дело. Вы, конечно, слышали всякие разговорчики о том, что городским властям надо бы завести отряд сестер милосердия и держать их наготове для несчастных случаев, дабы имущество граждан не оставалось без охраны, когда полисменов угоняют дежурить у больных. Вы и представить себе не можете, как меня огорчают эти вечные нападки на нашу доблестную полицию! Ну, ничего, — я верю, что ей за все воздастся сторицей на том свете!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОММОДОРУ ВАНДЕРБИЛЬТУ

Как болит мое сердце за вас, как мне вас жаль, коммодор!

Почти у каждого человека есть хотя бы небольшой круг друзей, преданность которых служит ему поддержкой и утешением в жизни. Вы же, по-видимому, — лишь кумир толпы низкопоклонников, жалких людишек, которые с наслаждением воспевают ваши самые

вопиющие гнусности, или молитвенно славят ваше огромное богатство, или расписывают вашу частную жизнь, самые обыкновенные привычки, *слова* и поступки, как будто бы ваши миллионы придают им значительность; эти друзья рукоплещут вашей сверхъестественной скарденности с таким же восторгом, как и блестящим проявлениям вашего коммерческого гения и смелости, а наряду с этим и самым незаконным нарушениям коммерческой честности, ибо эти восторженные почитатели чужих долларов, должно быть, не видят различия между тем и другим и одинаково, снимая шляпы, поют «аллилуйя» всему, что бы вы ни сделали. Да, жаль мне вас! Жалости достоин всякий, у кого такие друзья. Вам, должно быть, стали ненавистны газеты. Мне кажется, вы не рискуете и заглядывать ни в одну — из опасения, что увидите до неприличия восторженный панегирик по поводу какого—либо вашего поступка, либо самого обиденного, либо такого, которого следовало бы стыдиться. Хотя мы с вами и незнакомы, искреннее сострадание к нам дает мне право так говорить. Скажите, вы когда—нибудь пытались трезво поразмыслить о репутации, которую создают вам газеты? Разобрались, из чего она создается? А это интересно, уверяю вас. Вот, например, в один прекрасный день кто—либо из ваших «подданных» посвящает два—три газетных столбца подробностям вашей «восхождения» от нищеты к богатству и, восторгаясь вами, как будто вы самое совершенное и прекрасное из всего, что создал бог, он, сам того не замечая, показывает, как безмерно низок должен быть человек, чтобы достигнуть того, чего достигли вы. Затем другой ваш подданный описывает, как вы катаетесь по парку: презрительный вид, опущенная голова... Вы не смотрите ни влево, ни вправо, не хотите порадовать тысячи людей, жаждущих удостоиться хотя бы одного вашего взгляда, и мчитесь вперед, бесшабашно пренебрегая всеми правилами езды. Все ваше поведение ясно говорит: «Пусть никто не попадается мне на дороге, а если попадется и я его сшибу, изувечу — не важно, откуплюсь». И как же этот рассказчик столь умиленных эпизодов пресмыкается перед вами, лежа в пыли у ваших ног, как славит вас, Вандербильт! Далее один из ваших людей помещает в газете длинную заметку, в которой описывается, как вы каким—то тайным, хитрым способом «обошли» людей, затеяв какую—то махинацию с акциями «Эри», и прибавили еще один грязный миллион к толстым пачкам своих банкнотов. И, —заметьте! — этот писака только превозносит вашу ловкость; ни единого слова о том, что темные дела на столь высоком посту, как ваш, — опасный пример для подрастающего поколения коммерсантов, более того — они убийственны для всего нашего народа, пока существуют такие пресмыкающиеся, как ваши поклонники, которые в печати ставят вам эти делишки в заслугу, как величайшую добродетель. В «Харперс» один такой субъект рассказывает в качестве забавного анекдота, как одна дама держала пари на пару перчаток, что сумеет тронуть вас рассказом о нуждах благотворительного общества, которое организуют благородные и самоотверженные люди для помощи несчастным, и тогда вы, расщедрившись, уделите ему кое—какие крохи от ваших несметных богатств. А вы дослушали до конца ее рассказ о нужде и страданиях — и что же? Вы дали этой даме один жалкий доллар (такой поступок уже сам по себе — оскорбление. Представьте, что с моей сестрой или вашей кто—нибудь поступил бы так!) и сказали: «Теперь можете объявить тому, с кем вы держали пари, что перчатки — ваши». Рассказав в печати этот анекдот, ваш верноподданный покатывается со смеху — такой забавной кажется ему мысль, что вы способны поддаться уговорам чувствительного адвоката в юбке и мужественно уделить от своих щедрот целый доллар в помощь хотя бы единственному существу под солнцем. Вот какие у вас преданные друзья, Вандербильт! От одного из них мы узнали, например, что, когда вам принадлежали пароходы Калифорнийской линии, вы приказывали кассирам составлять фальшивые списки пассажиров, фактически же перевозили на несколько сот человек больше, чем разрешается законом. Так вы нарушали законы нашей страны и подвергали опасности жизнь пассажиров, до отказа набивая людьми пароходы, которым предстоял долгий путь по тропическим морям в страшную жару и под угрозой эпидемии на борту. И, разумеется, ваш друг журналист отдал дань восхищения столь замечательной ловкости! А я помню, как ругали и проклинали вас жертвы вашей алчности, пассажиры, добравшиеся до Панамского перешейка, в

особенности женщины и девушки, которым всю дорогу приходилось спать на палубах вповалку, бок о бок с какими—то мужчинами, подонками общества, которые, если верить бедным женщинам, лежали даже рядом с ними на койках. И можете мне поверить, о великий Вандербильт, — вы, кого воспевают и кому завидуют, — что в Калифорнии не было человека, который усомнился бы в их словах. Женщины эти нам с вами чужие, но если бы было иначе, мы были бы возмущены и скандализированы таким обращением с ними, не правда ли? Чтобы правильно судить о таких фактах, давайте попробуем себе представить, что на месте этих пассажиров — наши родственницы или любимые женщины, тогда уж нам будет не до смеха и кровь ваша закипит от негодования. Так—то, мой милый коммодор!

Восхищенные почитатели рассказывают про нас и другие истории, по умолчим о них, они вас только позорят. Они ясно показывают, как опасно человеку богатство, как он мельчает, если деньги для него не слуги, а божество. Да, ваши подвиги свидетельствуют, каким бездушным делает человека богатство, — вспомним хотя бы прелестную историю о том, как один молодой адвокат потребовал с вас за какие—то услуги пятьсот долларов, а вы нашли, что это слишком много. И вот вы пустили в ход хитрый трюк: завоевав доверие молодого человека, убедили его занять деньги и вложить их в акции «Эри», которые, как вы заведомо знали, в то время падали. Адвокат попал в расставленную вами западню, стал нищим, а вы были отомщены и злорадствовали. Почитатели ваши, конечно, не преминули огласить этот случай в печати, превознося до небес вашу изобретательность.

Ну, пожалуй, будет приводить примеры! Не помню, чтобы я хоть раз прочел о вас что—нибудь такое, чего вы не должны были бы стыдиться.

Сейчас я хочу настойчиво посоветовать вам лишь одно: преодолите свои врожденные инстинкты и сделайте что—нибудь действительно похвальное, чтобы поступок этот не заставил вас краснеть, когда вы прочтете о нем в печати. Сделайте что—нибудь такое, что может пробудить искру благородства в сердцах ваших почитателей. Хоть один—единственный раз подайте добрый пример тысячам молодых людей, которые до сих пор стремились с вами соревноваться только в энергии и неутомимости. Пусть в мусоре ваших дел сверкнет хотя бы единая крупинка чистого золота. Сделайте это, молю вас, иначе среди нас — не дай бог! — скоро появится пятьсот новых Вандербильтов, следующих по вашему пути. Прошу вас, решайтесь, совершите хоть один достойный поступок. Наберитесь духу — и великодушно, благородно, смело пожертвуйте четыре доллара на какое—нибудь большое благотворительное дело. Знаю, это разобьет вам сердце. Ну да ничего, все равно вам жить осталось недолго, и лучше умереть скоропостижно от порыва благородства, чем жить еще сто лет, оставаясь тем же Вандербильтом. Послушайте же меня, и, честное слово, я тоже начну петь вам дифирамбы.

Бедный Вандербильт! Мне, право, жаль вас, честное слово! Вы — старый человек, и пора бы вам уйти на покой. А вам приходится лезть из кожи, лишать себя спокойного сна и мира душевного, отказываться от многого в вечной погоне за деньгами. Я всегда сочувствую таким беднякам, как вы, которых заездила их «нищета». Поймите меня правильно, Вандербильт. Мне известно, что у вас семьдесят миллионов. Но мы с вами знаем, что человек богат не тогда, когда у него большие деньги, а когда ему этих денег достаточно. А пока он жаждет увеличить свой капитал, он еще не богат. Будь у него даже семьдесят раз семьдесят миллионов, они еще не делают его богатым, пока он томится жаждой накопить больше. Моих средств только—только хватило бы, вероятно, на покупку самой плохой лошади с вашей конюшни, но я могу сказать, положив руку на сердце, что больше одной лошади мне не нужно. Значит, я богат. А вы! У вас есть семьдесят миллионов, но вам непременно нужно пятьсот, и вы из—за этого искренне страдаете. Такая нищета просто ужасает. Честно вам говорю, вряд ли я мог бы прожить и сутки под тяжким бременем презренной жажды добыть еще четыреста тридцать миллионов. Это убило бы меня. Ваша злополучная нищета так меня удручает, что, встретив вас сейчас, я охотно бросил бы в вашу жестянку десять центов и сказал бы: «Да смилуется над вами господь, горемыка вы несчастный!»

Прошу вас, Вандербильт, не сердитесь на меня. Уверяю вас, я все это говорю, желая вам добра, и слова мои искреннее, чем все, что до сих пор говорилось вам и о вас. Так что давайте—ка сделайте что—нибудь такое, чего не пришлось бы стыдиться! Сделайте нечто подобающее обладателю семидесяти миллионов, человеку, чьи самые незначительные поступки запоминаются людьми более молодыми во всей стране и служат примером для подражания. Не обольщайтесь мыслью, будто все, что вы делаете и говорите, замечательно, не верьте ослам, которые без конца твердят это в газетах. Не обманывайте себя. Очень часто ваши идеи по существу вовсе не блестящи, они попросту сияют отраженным блеском ваших семидесяти миллионов. Подумайте об этом на досуге. Вам подражает вся наша молодежь. Я тоже пробовал подражать вам и стать знаменитым. Но мои подвиги не привлекли ничего внимания. Однажды я дал нищей калеке два цента и шутливо посоветовал ей пойти в отель «Пятая авеню» и прожить там на эти деньги целую неделю. Но про мою выходку нигде не писали. А если бы так поступили вы, все стали бы кричать, что это самая остроумная шутка на свете. Ибо вам, Вандербильт, можно изрекать неслыханные пошлости — в газетах их тут же объявят образцом мудрости и остроумия. А вот недавно я говорил в Чикаго о своем плане откупить железную дорогу «Юнион Пасифик» до самых Скалистых гор и эксплуатировать ее самостоятельно, на свой риск. Столь замечательная идея, столь смелый проект не рождались даже в вашем хваленном мозгу,— а вызвали они сенсацию в газетах? Ничуть не бывало. Зато если бы это придумали вы, во всем газетном мире поднялась бы буря восторгов. Нет, сэр, другие люди не уступают вам в блеске идей и речей, но им не хватает ореола семидесяти миллионов. Так что не верьте хору похвал. Большая часть их относится не к вам, а к вашим миллионам. Говорю это, чтобы предостеречь вас против суетного тщеславия, и нездорового и беспочвенного: ибо, если бы вы лишились своих миллионов, вы с удивлением и горечью убедились бы, что отныне все ваши слова и дела будут казаться банальными, ничем не замечательными.

Заметьте, я ничего не говорю о вашей душе, Вандербильт. Не говорю, ибо у меня есть все основания думать, что души у вас нет. Никто меня не сможет убедить, что человек с вашей беспримерной коммерческой сметкой, если бы у него была душа, упустил бы такую сверхвыгодную сделку с господом богом: ведь вы могли бы обеспечить себе миллионы лет покоя, мира и блаженства в раю ценой такого пустяка, как десяток лет, безгрешно прожитых на земле! А вам вряд ли осталось жить больше какого—нибудь десятка лет — ведь вы глубокий старик...

Впрочем, быть может, душа у вас все—таки есть. Но знаю я вас, Вандербильт, отлично знаю: вы попытаетесь торговаться, купить спасение души подешевле. Миллионы лет райского блаженства вас, конечно, прельщают, и вы готовы пойти на эту сделку — еще бы, такая дивная перспектива! Но вы будете выжидать, тянуть до своего смертного часа и тогда предложите за нее то, что у вас осталось, — одни час и сорок минут. Знаю я вас, Вандербильт! Впрочем, так поступают и люди похуже вас. Преступники, которых ждет виселица, всегда в последнюю минуту посылают за священником.

Поверьте, Вандербильт, я говорю все это ради вашего блага, а вовсе не для того, чтобы вас позлить. Право, вы ведете себя не умнее, чем Асторы. Впрочем, лучше быть подлецом, но живым человеком, чем палкой, даже если это палка с золотым набалдашником.

Ну вот, я свою задачу выполнил. Я хотел вас расшевелить и привести в хорошее настроение. Ведь вам, наверно, иногда до тошноты надоедает приторная лесть и подхалимство, и вы для разнообразия но прочь услышать честную критику, даже брань. Еще одно скажу вам на прощанье: вы, стоящий во главе финансовой аристократии Америки, наверно испытываете порой смутную потребность свершить что—нибудь замечательное, подвиг коммерческой честности, гуманности, мужества, чести и достоинства, — подвиг, который сразу прославит вас во всей стране, и через сто лет после вашей смерти матери все еще будут твердить о нем своим юным и честолюбивым сыновьям. Думаю, что у вас бывают такие минуты, — ведь это вполне естественно, — и потому горячо советую вам претворить эту мысль в действие. Решайтесь, удивите всю страну каким—нибудь добрым делом.

Перестаньте совершать поступки и говорить слова, недостойные человека и крайне ничтожные, слова и поступки, которые вашими друзьями восхваляются в печати. Уймите этих подхалимов или удавите их.

Ваш Марк Твен.

О ЗАПАХАХ

В последнем номере «Индепендент» преподобный Толмедж из Бруклина следующим образом высказывается на тему о запахах:

«У меня есть приятель, добрый христианин; если он сидит в церкви на передней скамье, а в заднюю дверь войдет в это время рабочий, он его сразу учует. Ставить в упрек моему приятелю остроту обоняния не более разумно, нежели пороть пойнтера за то, что нюх у него острее, чем у безмозглого дворового пса. Если бы все церкви стали общедоступными и люди заурядные полностью смешались с незаурядными, то половина христианского мира постоянно страдала бы тошнотой. А если вы намерены подобным образом убить церковь дурными запахами, я не желаю иметь никакого касательства к вашей проповеди евангелия».

У нас есть основания предполагать, что и рабочие люди будут в раю; да еще изрядное число негров, эскимосов, уроженцев Огненной Земли, арабов, несколько индейцев, а возможно — даже испанцы и португальцы. Бог на все способен. Все эти люди будут рядом с нами в раю. Но — увы! — приобретая их общество, мы потеряем общество доктора Толмеджа. А это значит, что мы теряем того, кто мог бы придать небесам больше подлинной «светскости», нежели любой другой смертный, каким только способен пожертвовать Бруклин. И вообще, чем будет вечная радость без доктора? Да, конечно — блаженство, это мы и так отлично знаем, но будет ли оно *distingue*^{15*}, будет ли оно *recherche*¹⁶ без него? Св. Матфея босиком, св. Иеремию с непокрытой головой, в грубом балахоне до пят, св. Себастьяна почти нагого — их—то мы увидим и насладимся этим зрелищем; но не будет ли нам недоставать фрака и лайковых перчаток, и не отвернемся ли мы с чувством горького сожаления, и не скажем ли гостям с Востока: «Это все так, но вам бы хоть краешком глаза взглянуть на Толмеджа из Бруклина!..» Боюсь, что в лучшем мире с нами не будет и «доброего христианина», приятеля мистера Толмеджа. В самом деле, случись ему сидеть осененному славой престола божия, а ключарю впустить в это время, скажем, Бенджамина Франклина или еще какого—нибудь труженика, этот «приятель» со своими блистательными природными способностями (которые безмерно умножатся благодаря освобождению от оков плоти) учует его с первой же понюшки, немедленно возьмет свою шляпу и откланяется.

По всем внешним признакам преподобный Толмедж сделан из того же теста, что и его ранние предшественники на поприще пастырского служения; и все же сразу чувствуется, что должно быть некое различие между ним и первыми учениками Спасителя. Быть может, дело в том, что ныне, в девятнадцатом веке, доктор Толмедж обладает преимуществами, которых Павел, Петр и другие не имели и не могли иметь. Им не хватало лоска, хороших манер и чувства исключительности, а это волей—неволей бросается в глаза. Они исцеляли самых жалких нищих и ежедневно общались с людьми, от которых разило невыносимо. Если бы предмет настоящих заметок оказался избранным в числе первых — одним из двенадцати апостолов, он бы не пожелал присоединиться к остальным, потому что не в силах был бы

15 * Достойным (франц.)
Изысканным (франц.).

16 * Достойным (франц.)
Изысканным (франц.).

вынести запаха рыбы, исходящего от некоторых его товарищей, что явились с берегов моря Галилейского. Он бы сложил с себя полномочия, прибегнув почти к тем же выражениям, какие употреблены в выдержке, приведенной выше. «Учитель, — сказал бы им, если ты намерен подобным образом убить церковь дурными запахами, Я не желаю иметь никакого касательства к проповеди евангелия». Он — ученик, и заблаговременно предупреждает своего учителя; вся беда в том, что он делает это в девятнадцатом веке, а не в первом.

Интересно, есть ли в церкви мистера Толмеджа хор? А если есть, то случается ли ему когда—нибудь опускаться настолько, чтобы петь гимн, так грубо напоминающий о рабочих и ремесленниках:

О ты, сын плотника! Прими
Мой малый, скромный труд.

И еще: возможно ли, чтобы за неполные два десятка веков христианский характер от величественного героизма, презиравшего даже костер, крест и топор, пришел к столь жалкой изнеженности, что он склоняется и никнет перед неприятным запахом? Мы не можем этому поверить, вопреки примеру достопочтенного доктора и его приятеля.

ИСПРАВЛЕННЫЙ КАТЕХИЗИС

Студенты первого курса, изучающие новейшую Моральную философию, встают и читают нараспев:

Какова главная цель человеческой жизни?

Ответ. Стать богатым.

Каким путем?

Ответ. Нечестным, если удастся; честным, если нельзя иначе.

Кто есть бог, истинный и единый?

Ответ. Деньги — вот бог. Золото, банкноты, акции — бог отец, бог сын, бог дух святой, един в трех лицах; господь истинный, единый, всевышний, всемогущий, а Уильям Туид — пророк его.

Назовите имена двенадцати апостолов.

Ответ. Святой Осел — Жеребец Холл, на котором пророк въехал в Иерусалим; святой Конолли — любимейший из апостолов; святой Матвей Карнохэн, восседающий у приема пошлин; святой Петр Фиск — апостол—воитель; святой Павел Гулд, бичеванный не раз и славный своими рубцами; святой Уайненс Искарриот; святой Яков Вандербильт — в досталь чтимый апостол; святой Харви — благовзятель; святой Ингерсол, поставщик священных ковров; святая Нью—Йоркская типографская компания, смиренная и кроткая (правая рука ее не ведает, что хапнула левая); святой Петр Хоффман, отрекшийся от своего ирландского учителя, после того как петух общественного мнения пропел шесть или семь раз; святой Барнард— судья премудрый, издающий в годину бедствий специальные судебные определения, дабы спасти душу ближних своих.

Как достичь главной цели человеческой жизни?

Ответ. Поставляйте воображаемые ковры судебным учреждениям и мифические стулья арсеналам; выполняйте невидимые типографские заказы для городского управления.

А что еще можно делать?

Ответ. Да мало ли что. Подкупите за сходную цену таможенного апостола; сдирайте три шкуры за разгрузку судов; грабьте иммигрантов, прибывающих из—за моря; отведите для бедняков казенное кладбище за десять миль от города и берите за перевоз покойников по сорок долларов с головы; сделайте экспертом по проверке качества стальных конструкций на строительстве; поставляя свинцовые и железные газовые трубы для судебных

учреждений, сочиняйте такие счета, как если бы трубы были серебряными и золотыми и сплошь усыпаны брильянтами; приводите в порядок городские скверы по цене пять долларов за квадратный дюйм; за приличное жалование валандайтесь возле кабака и делайте при этом вид, что вы трудитесь не покладая рук на благо обществу.

Все ли это? А если нет, что еще может сделать человек, чтобы спасти душу свою?

Ответ. Составьте счет на следуемые вам деньги, впишите в него десятикратную сумму, а получив ее, вручите девять десятых пророку и святому семейству. Тогда спасетесь.

Чьему примеру учили юношей в былые дни, кого считали образцом для подражания?

Ответ. Вашингтона и Франклина.

Кому учат следовать и подражать сейчас, в наше просвещенное время?

Ответ. Туиду, Холлу, Конолли, Кариохэпу, Фиску, Гулду, Барнарду и Уайненсу.

Какие произведения рекомендовались особенно горячо в былые дни для воспитания юношества?

Ответ. «Альманах простака Ричарда», «Путь паломника» и Декларация независимости.

Какие произведения рекомендуются особенно горячо для изучения в воскресных школах в наше просвещенное время?

Ответ. Святой Холл — «Подложные отчеты», святой Фиск — «Искусство грабежа», святой Карнохэн — «Путь к взятке», святой Гулд — «Как обирать акционеров», святой Барнард — «Специальные судебные определения», святой Туид — «Курс морали» и одобренное судом издание «Великого крестового похода сорока разбойников».

Значит ли это, что мы движемся по пути прогресса?

Ответ. Будьте уверены!

С совершенным почтением Марк Твен.

АМЕРИКАНЦЫ И АНГЛИЧАНЕ

Господин председатель, дамы и господа! Благодарю вас за оказанную мне честь и, чтобы доказать свою признательность, не стану терзать вас длинной речью. Как приятно отмечать в мирной обстановке на земле наших предков годовщину эксперимента, рожденного в огне войны, которую наши самоотверженные деды выиграли у этого государства много лет тому назад. Понадобилось почти сто лет, чтобы между англичанами и американцами установились доброжелательные отношения и взаимопонимание, но теперь уже, кажется, этого добились. Очень важно, что последние два конфликта удалось разрешить не посредством пушек, а путем арбитража. Новым важным шагом со стороны Англии я считаю то, что она начала пользоваться нашими швейными машинами, не пытаясь выдавать их, как обычно, за собственное изобретение. Такой же шаг Англия сделала на днях, купив у нас в стране спальный вагон. И сердце мое окончательно возликовало вчера, когда я стал свидетелем такого события: англичанин — без принуждения с чьей либо стороны, по доброй воле — заказал американский коктейль с хересом, И кроме того, у него хватило сообразительности и здравого смысла потребовать, чтобы бармен непременно добавил туда клубники. Итак, происхождение общее, язык общий, литература общая, религия общая и спиртные напитки общие, — что же нужно еще для полного и прочного сближения обеих наций?

Наш век — век прогресса, и наша страна — страна прогресса. Это к тому же огромная прекрасная страна, породившая Вашингтона, Франклина, Уильяма Туида, Лонгфелло, Мотли, Джея Гулда, Сэмюела Помроя, новый состав конгресса, не имеющий (в известных отношениях) равного в истории, и американскую армию, которая покорила шестьдесят индейцев после восьмимесячной осады, что — клянусь богом! — гораздо культурнее, чем устраивать резню. У нас существует самый лучший в мире уголовный суд присяжных, хотя успеху его деятельности мешает одно обстоятельство: ну где вы найдете каждый день

дюжину заседателей — круглых невежд и к тому же неграмотных? Должен также отметить, что в нашем кодексе законов есть одна оговорка — душевная болезнь, по которой можно оправдать самого Каина. Думаю, что имею право сказать — и сказать с гордостью, — что в некоторых наших штатах есть законодательные органы, для подкупа которых установлена самая высокая в мире такса.

Я не в силах говорить без умиления о наших железнодорожных компаниях, которые позволяют американцам оставаться в живых, хотя могли бы действовать иначе, — ведь мы целиком в их власти. В прошлом году во время крушений поездов было загублено всего лишь 3070 душ да при переходе через пути задавлено поездами 27 260 разных зевак, никчемных людишек. Железнодорожные компании выразили глубокое сожаление по поводу гибели этих 30 000 человек и даже соизволили уплатить компенсацию за жизнь некоторых, — добровольно, конечно, ведь самый злобный клеветник и тот не посмеет утверждать, что у нас найдется такой коварный суд, который заставит железнодорожную компанию подчиняться закону! Но, слава богу, железнодорожные компании не нуждаются в принуждении: они и сами всегда рады творить добро. Помню случай, сильно меня растрогавший. Один мой дальний родственник, которого я очень любил, попал под поезд. Железнодорожная компания прислала семье корзину с его останками и сопроводительным письмом, в котором было сказано: «Просим сообщить, во сколько Вы оцениваете покойного, и вернуть корзину». Ну где вы еще видели такое трогательное отношение к людям?

Но мне не к лицу хвастать целый вечер. Впрочем, вы должны простить человека, если он захотел похвастать немножко своей родиной в день Четвертого июля. Самое подходящее время для ура—патриотической речи! Позволю себе еще только одно самодовольное замечание, которое должно поддерживать в нас бодрость. Скажу вот что: у нас такая государственная система, которая обеспечивает всем гражданам равные возможности, привилегий у нас нет. Никто не рождается у нас с правом считать себя выше своего соседа и презирать его за незнатность. Пусть же мои соотечественники, не носящие графских титулов, найдут в этом утешение. И как ни растлили нашу страну политики, не будем терять надежды: ведь Англия выкарабкалась из куда большей грязи после Карла I, раздававшего куртизанкам титулы и сделавшего все политические должности предметом купли—продажи. Ничего, у нас еще все впереди!¹⁷

РАЗНУЗДАННОСТЬ ПЕЧАТИ

...Печать столько насмехалась над религией, что высмеивание это вошло в обычай. Под флагом защиты партийных интересов печать так рьяно выгораживает преступников, занимающих официальные посты, что она сделала сенат Соединенных Штатов нравственно слепым, — его члены не способны понимать, что такое преступление и что такое честь сената. Печать так беззаботно относится к нечестным поступкам, что господа конгрессмены, подрядившись служить стране за определенную плату, спокойно залезают в государственный карман, ища для себя дополнительного вознаграждения, и бывают

¹⁷ По крайней мере я **собирался** произнести **такую** речь, по, после того как была прочитана молитва, поднялся наш посол, генерал Скенк, и закатил длинную, выпрепную, невообразимо скучную речь, закончив ее тем, что, мол, речи не слишком, кажется, воодушевляют собравшихся, а посему выступлений *больше* не будет, и пусть гости ведут дружеские беседы с соседями за столом и развлекаются без официальной программы. Известно, что в результате погибли, не прозвучав, сорок четыре отличнейшие речи. Скорбь и уныние, воцарившиеся с той минуты на банкете, долго не изглаживаются из памяти многих гостей. Своей необдуманной фразой генерал Скенк разом лишился сорока четырех друзей, самых верных, каких он имел в Англии. Многие из присутствовавших на этом вечере говорили: «И такую вот личность прислали представлять наше государство в родственной нам великой империи!»

удивлены и обижены, когда кто—нибудь поднимает шум из—за таких пустяков.

Я утверждаю, что вину за это безобразное положение несут газеты, — если не целиком, то все же в значительной степени. У нас свободная печать, даже более чем свободная, — это печать, которой разрешено обливать грязью неугодных ей общественных деятелей и частных лиц и отстаивать самые чудовищные взгляды. Она ничем не связана. Общественное мнение, которое должно бы удерживать ее в рамках, печать сумела низвести до своего презренного уровня. Существуют законы, охраняющие свободу печати, но, по сути дела, нет ни одного закона, который охранял бы граждан от печати! Человек, решившийся пожаловаться в суд на клевету в прессе, еще до начала законного разбора дела оказывается один на один со всевластным газетным судилищем и становится объектом самых наглых издевательств и оскорблений. В Англии обидчивый Чарльз Рид может судиться с газетами и добиваться решения в свою пользу, у нас в Америке он живо изменил бы тактику: газеты (при поддержке своих выучеников—читателей) быстро внушили бы ему, что уж лучше стерпеть любую клевету, нежели жаловаться на них в суд и становиться всеобщим посмешищем.

Мне кажется, что нравственность в Соединенных Штатах падает в той же пропорции, в какой растет число газет. Чем больше газет — тем хуже нравы. Я считаю, что на одну газету, приносящую пользу, приходится пятьдесят, приносящих вред. Когда в каком—нибудь добропорядочном городишке учреждается газета, мы должны это воспринимать как катастрофу.

За последние тридцать—сорок лет в тоне и поведении печати произошли весьма существенные и печальные перемены (я имею в виду рядовую газету, потому что отдельные скверные образцы существовали и в прежние времена). Раньше рядовая газета выступала как поборник добра и нравственности и старалась придерживаться правды. Не то теперь. На днях одна солидная нью—йоркская газета напечатала передовую статью, в которой оправдывала казнокрадство на том основании, что членам конгресса мало платят, — как будто это оправдание для воровства. Несомненно, многие меднолобые читатели вполне удовлетворились таким новым освещением вопроса. Зато мыслящие люди относятся к нашим «фабрикам лжи» иначе. Для них утверждение: «Раз прочел в газете, значит правда» давно уже звучит саркастически. Но, к сожалению, люди не думающие, которые составляют подавляющее большинство нашего, как и всех прочих народов, верят газетам и поддаются их влиянию. Вот где корень зла!

В современном обществе печать — это колоссальная сила. Она может и создать и испортить репутацию любому человеку. Ничто не мешает ей назвать лучшего из граждан мошенником и вором и погубить его навеки. Лгал ли м—р Колфакс, или говорил правду, теперь уже невозможно выяснить, но он до самой своей смерти проходит с ярлыком враля, — ибо таков был приговор газет. Наши газеты — решительно все без исключения — славят «Черного плута», раздувая его успех. А ведь они легко могли бы убить его одним залпом презрительного молчания! Власти допускают процветание таких листков, как «Происшествия за день» или «Полицейская газета», потому что наша высоконравственная печать давно развратила читателей, приучила их любить непристойности, сделала равнодушными к беззаконию.

В газетах западных штатов охотно напечатывают редакционную статью, выражающую самые гнусные, вредные взгляды, — стоит только заплатить владельцу по доллару за строчку.

Почти все газеты оказывают поддержку преступникам вроде Розенсвига и, публикуя их платные объявления, помогают им находить новые жертвы. Ни для кого из нас это не секрет.

Во время суда над убийцей Фостера нью—йоркские газеты делали вид, будто они за губернатора и просят читателей поддерживать его намерение действовать строго по закону; но они напечатали целую страницу тошнотворных плаксивых просьб помиловать убийцу — в качестве платного объявления. И я полагаю, они напечатали бы кучу клеветы на губернатора, чтобы парализовать всю его дальнейшую деятельность на этом посту, если бы только явился кто—нибудь и заплатил им — как за объявление. Газета, которая ради денег

мешает совершаться правосудию, представляет серьезную угрозу для благополучия граждан.

Общественное мнение нации — эта грозная сила — создается в Америке бандой малограмотных, самодовольных невежд, которые не сумели заработать себе на хлеб лопатой или сапожной иглой и в журналистику попали случайно, по пути в дом призрения. Я лично знаком с сотнями журналистов и знаю, что суждения большинства из них в частной беседе не стоят выеденного яйца. Но когда один из таких господ выступает на страницах газеты, тогда уже говорит не он, а печать, и писк пигмея уже не писк, а громоподобный глас пророка.

По собственному опыту я знаю, что журналисты склонны ко лжи. Несколько лет тому назад я сам ввел на Тихоокеанском побережье особый и весьма живописный вид вранья, и он до сих пор не выродился там. Когда я читаю в газетах, что в Калифорнии прошел кровавый дождь и с неба падали лягушки, когда мне попадает сообщение о найденной в пустыне морской змее или о пещере, утыканной алмазами и изумрудами (и обязательно обнаруженной индейцем, который умер, не успев досказать, где эта пещера находится), то я говорю себе: «Ты породил это детище, ты и отвечай за газетные небылицы». Привычка вторая натура: мне по сей день приходится все время следить за собой, чтобы не отклониться от правды.

Каждый из нас рано или поздно несомненно почувствовал на собственной шкуре, что значит разнузданность печати. Бедный Стенли считался в Англии чуть ли не богом, хвала ему звучала повсюду. Но никто не говорил о его лекциях — люди деликатно воздерживались от этого, считая, что отмечают более важные его достоинства. А наши газеты разорвали несчастного на куски, разбросав его останки от Мэна до Калифорнии, — и все лишь потому, что Стенли оказался неважным оратором. Насмарку пошел его громадный труд в Африке, авторитет его растоптан и уничтожен, и до сих пор дурная слава гонится за ним из города в город, из деревни в деревню, словно Стенли совершил какое—то страшное, кровавое преступление. Брет Гарт жил в неизвестности, пока газеты не открыли его и не вознесли до небес, — все редакторы Америки выбегали в любую погоду за дверь — рассматривать в телескопы новоявленное светило и махали ему шляпами, пока шляпы не превращались в ключья и не приходилось занимать головные уборы у знакомых. Но вот в семье Брет Гарта кто—то заболел; встревоженный и расстроенный, он написал вместо очередного рассказа о язычнике—китайце довольно слабую статью, — и сразу же бывшие поклонники возопили: «Да ведь он мошенник!» — и набросились на Брет Гарта. Его стащили на землю, топтали ногами, таскали по грязи, мазали дегтем и вываливали в перьях, сделали мишенью, и до сих пор в него летят комья грязи. В результате Брет Гарт прочел только девятнадцать лекций за целый год и выступал при почти пустых аудиториях; слушателей было так мало, и они сидели так далеко друг от друга, что ни одно слово не долетало до двух человек в одно и то же время. Брет Гарт сражен, больше ему не подняться. А ведь он человек большого дарования и мог бы многое сделать и для нашей литературы и для себя, если бы ему больше повезло. Впрочем, сам Брет Гарт дал маху, оказав денежную услугу одному голодавшему прощельге из нашей братии, этакому журналисту из сапожников, — а тот, вернувшись в Сан—Франциско, поторопился опубликовать в газете разоблачительную статью на целых четыре столбца о преступлениях своего благодетеля, заставляющую краснеть каждого порядочного человека. Газета, поместившая эту мерзость, явно злоупотребила предоставленной ей свободой.

В одном городе в штате Мичиган я отказался сесть за стол с редактором местной газеты, который был пьян: в статье о моей лекции этот редактор назвал ее вульгарной, непристойной и поощряющей пьянство. А ведь он даже не был на моей лекции! Кто знает, если бы он ее прослушал, то, возможно, бросил бы пить.

В Детройте одна газета утверждала, что я развлечения ради систематически избиваю свою жену и уже так ее искалечил, что она не в силах прятаться, когда я в обычном своем невменяемом состоянии вваливаюсь в дом. Разрешите вам сказать, что добрая половина этого сообщения — чистейший вымысел! Я мог бы, конечно, подать в суд за клевету, но я

уже научен горьким опытом! Если бы я затеял дело, то все американские газеты — за считанными достойными исключениями — весьма обрадовались бы известию о том, что я истязая жену, и довели бы эту новость во всех подробностях до сведения читателей.

Не стоило бы в этом признаваться, но я и сам печатал злостные клеветнические статьи о разных людях и давно заслужил, чтобы меня за это повесили,

На этом я заканчиваю. В общем, я считаю, что наша печать взяла себе слишком много воли. Не ощущая здорового сдерживающего влияния, газеты превратились буквально в проклятие Америки и того гляди погубят страну.

Есть у газет и кое—какие прекрасные качества, есть силы, оказывающие громадное положительное воздействие; я мог бы перечислить их и расхвалить их всюю, но тогда вам, джентльмены, уж вовсе нечего будет сказать.

ПИСЬМА С САНДВИЧЕВЫХ ОСТРОВОВ

ОБРАЗЧИК МИНИСТРА

«Министры его величества» — явление диковинное. Это белые люди различных национальностей, которые в отдаленные времена попали на Сандвичевы острова и осели там. Я покажу вам один образчик, — впрочем, не самый приятный. Это мистер Гаррис. Гаррис — американец; длинноногий, самодовольный, пустоголовый провинциальный адвокат из Нью—Гемпшира. Если бы его мозги были развиты в такой же степени, как его ноги, он затмил бы мудростью царя Соломона; если бы его скромность равнялась его знаниям, фиалка рядом с ним выглядела бы гордячкой; если бы его ученость равнялась его тщеславию, сам Гумбольдт при сопоставлении показался бы таким же темным, как нижняя сторона могильной плиты; если бы размеры его тела соответствовали размеру его совести, Гарриса изучали бы под микроскопом; если бы его мысли были так же грандиозны, как его слова, нам понадобилось бы три месяца, чтобы обойти кругом одну такую мысль; если бы публика подрядилась выслушать до конца его речь, все слушатели умерли бы от старости, а если бы ему позволили говорить до тех пор, покуда он не скажет что—нибудь путное, он простоял бы на задних ногах до трубного гласа в день Страшного суда. И у него хватило бы нахальства выждать, пока успокоится волнение, и затем продолжать свою речь.

Вот что представляет (или представлял) собой его превосходительство м—р Гаррис, министр того и этого, пятого и десятого, — ведь он занимался всем понемногу, оставаясь всегда неизменно верным и послушным слугой короля, его ярым приверженном, его рупором и верным защитником. Когда задавали какой—нибудь вопрос в парламенте (безразлично какой!), Гаррис вскакивал с места и начинал молотить в воздухе своими цепями, он бушевал и становился на дыбы, громыхал пустыми словами, считая это красноречием, изрыгал желчь, воображая, что это юмор, и делал разные гримасы, долженствующие, по его мысли, придавать комическое выражение его физиономии — типичной физиономии гробовщика.

Прибыв на Сандвичевы острова, Гаррис начал свою деятельность в качестве мелкого, безвестного адвоката и поднялся (?) до ранга такого многогранного вельможи, что некоторые насмешники дали ему кличку «Рычаг правительства». Он стал великаном в стране пигмеев — в других странах из людей такого калибра выходят полицейские и участковые следователи. Я но хочу, чтобы у читателей создалось впечатление, будто я предубежден против Гарриса; надеюсь, никто этого и не подумает. Но я должен быть честным летописцем, а посему обязан раскрыть правду: то, что издали напоминает памятник Джорджу Вашингтону, в действительности, когда подойдешь поближе, оказывается не чем иным, как тридцатидолларовой ветряной мельницей.

Гаррис любит заявлять, что он уже больше не американец, и гордится этим; что он стал островитянином до мозга костей, и этим тоже гордится; что он верноподданный слуга своего

повелители — короля, и это также исполняет его гордости и признательности.

ПОЧЕМУ НАМ СЛЕДУЕТ АННЕКСИРОВАТЬ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА

Итак, давайте аннексируем эти острова! Подумайте, как мы могли бы поставить там китобойный промысел! (Впрочем, при наших судебных порядках и наших судьях китобойные флотилии чего доброго скоро перестанут заходить в гавайские порты — из боязни, что разные моряки и крючкотворы—стряпчие будут обирать и общипывать их, как, например, в Сан—Франциско, который капитаны теперь обходят стороной, словно мель или рифы.) Давайте осуществим аннексию! Мы смогли бы, вероятно, вырабатывать там столько сахара, что его хватило бы на всю Америку, и цены снизились бы с отменой пошлин. Мы получили бы отличные гавани для наших тихоокеанских пароходов и удобно расположенные базы снабжения для военного флота; мы могли бы разводить там хлопок и кофе: раз не будет пошлин, дело это должно оказаться выгодным и дать немалые барыши. Кроме того, мы стали бы владельцами самого мощного вулкана в мире — Килауэа; его можно бы передать в ведение Барнума, — он у нас теперь мастер на фейерверки! Непременно осуществим эту аннексию! Что касается принца Билла и остальной знати, то их нетрудно усмирить: переселим их в резервацию! Что может быть приятнее для дикаря, чем резервация? Собирай себе каждое лето урожаи кукурузы да выменивай библии и одеяла на порох и виски — дивная жизнь, Аркадия под охраной солдат! Благодаря аннексии мы по дешевке получили бы пятьдесят тысяч туземцев с их нравственностью и прочими недугами в придачу. Никаких расходов на образование — они уже образованные; никаких забот по обращению их в христианство — они уже крещеные; даже на одежду не придется тратиться — по весьма очевидной причине.

Мы должны аннексировать Сандвичевы острова. Мы можем осчастливить островитян нашим мудрым, благодетельным правлением. Мы можем завести у них новинку — воров, от мелких карманных воришек до важных птиц в муниципалитетах и растратчиков государственных денег, — и показать им, как это забавно, когда таких людей арестовывают, передают суду, а потом отпускают на все четыре стороны — кого за деньги, кого в силу «политических связей». Им придется краснеть за свое простое, примитивное правосудие. Мы можем отменить у них смертную казнь за убийство, к которой они изредка прибегают, и пошлем к ним нашего судью Прэтта, чтобы ин передал им свой опыт сохранения на благо обществу попавших в беду убийц Авери. Мы можем одолжить им парочку Барнардов, чтобы вытаскивать из затруднений их финансовые корпорации. Мы можем образовать там суд присяжных, набрав заседателей сплошь из самых умильно простодушных тупиц. Мы можем учредить, у них железнодорожные компании, которые будут скупать законодательные учреждения, как старое платье, и давить колесами поездов лучших местных граждан, а потом жаловаться, что убитые пачкают рельсы. Вместо безвредного, пустоголового Гарриса мы отдадим островитянам Туида. Мы подарим им Конолли, одолжим Суини, командирuem туда Джей Гулдов, которые быстро отучат островитян от старомодного предрассудка, будто воровство неблагоприятное занятие. Окажем им честь, пошлем в их распоряжение Вудмилла и Клапина. И Джорджа Фрэнсиса Трэна за компанию. И разных лекторов. Я сам первый поеду!

Мы можем превратить эту группу сонных островов в оживленнейший уголок земного шара, украсить его нравственным величием нашей превосходной, священной цивилизации. Аннексия — вот что необходимо бедным островитянам! «Братьям, во мрак погруженным, откажем ли в светоче жизни?»

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ «ДЕЙЛИ ГРАФИК»

«Хартфорд, 17 апреля

Сэр!

Вашу записку получил. Если две строчки, которые я вырезал из нее и прилагаю при

сем, написаны вашей рукой, то вы, как я понимаю, просите «от имени американского народа написать прощальное послание». Помилуйте! Радость американского народа несколько преждевременна: я еще не уехал. А даже когда уеду, то ведь не навсегда!

Да, это правда. Я собираюсь пробыть за границей не больше полугода. Я люблю темп и движение, и как только раздадутся первые трели птиц, повеет весенний ветерок и зацветут первые цветы, как только я почувствую угрозу летней бездельности, томной задумчивости, тягучей истомы, я теряю покой, мне не сидится на месте, мне хочется бежать куда—нибудь, где жизнь бьет ключом. Вы меня, конечно, понимаете, наверно и вам знакомо это! Как раз сегодня я уловил в воздухе первые признаки застоя и сказал себе: «Какое счастье, что я уже заказал билеты на пароход, который увезет меня отсюда вместе со всеми моими чадами и домочадцами!» В сегодняшних утренних газетах совершенно нечего читать. Посмотрите на заголовки телеграфных сообщений:

Цветной конгрессмен в опасности.

Волнение в Олбани.

Пять лет тюремного заключения.

Паника на Уолл—Стрит.

Два банкротства. Учетная ставка выросла в полтора раза.

Два уголовных процесса.

Арестован за грабеж на большой дороге.

Нападение на инкассатора газовой компании.

Арестован забастовщик по обвинению в убийстве.

Жизнь короля, подвергшегося нападению, в опасности.

Женоубийца Лузиньяни приговорен к повешению.

Два человека, покушавшиеся на убийство, приговорены к повешению.

Разжигание вражды в баптистской общине.

Роковая ошибка.

Железнодорожное полотно смыто наводнением.

Убийства, совершенные ку—клукс—кланом.

Потрясающее бедствие!

Пятеро детей погребено под рухнувшей трубой; двое умерли

Резня в Модоке.

Риддл предостерегает.

Сын убил отца.

Кровавая драка в Кентукки.

Восьмилетний убийца

Кладбище размыто, гробы всплыли.

Резня в Луизиане.

Поджог здания суда. При попытке к бегству застрелены негры.

Двести или триста человек сгорели заживо!

Потасовка в Индиане.

Город бунтует.

Группа шахтеров осаждена в гостинице.

Из Индианаполиса вызваны войска и полиция.

Ожидаются кровавые события.

Лидеры амазонок неистовствуют.

Ужасная история.

Негр—насилник.

Страшная месть за тяжелораненую женщину.

Труп пробыл 24 часа в огне и изрезан на мелкие куски.

Все сообщения под этими «шапками» датированы вчерашним числом—16 апреля (см.

вашу газету!), и, поверьте честному слову, эти самые обыкновенные случаи выдаются за новости! «Ох, — подумал я, — так ведь помрешь со скуки! Похоже, что нигде ничего не происходит. «Заснула, что ли, наша передовая нация? Неужели я должен еще целый месяц сосать лапу, прежде чем заживу интересной жизнью европейских столиц?»»

Но ничего, покуда я буду в отъезде, здесь еще может наступить кое—какое оживление.

Вот уже два месяца, как мой ближайший сосед Чарльз Дадли Уорнер забросил свои занятия стариной, и мы написали вместе с ним объемистый роман. Сюжет сочинил он, я же наполнил его фактами. По—моему, это самый изумительный роман на свете. Каждый вечер я просиживаю за ним допоздна, читаю и перечитываю и заливаюсь слезами. Он будет напечатан в начале осени с большим количеством иллюстраций. По—вашему, это реклама? Да? А вы требуете за это деньги, если человек — ваш друг и к тому же сирота?

Изнемогающий от торжественной тишины, всеобщего застоя и глубокого сна, в который погрузилась наша страна,

преданный вам,

Сэмюел Клеменс

(Марк Твен)».

УДИВИТЕЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ГОНДУР

Едва только я начал объясняться на тамошнем языке, как сразу же почувствовал живой интерес к народу Гондура и к системе его государственного управления.

Я узнал, что сначала нация испробовала всеобщее избирательное право в, простом и чистом виде, но затем отвергла его, поскольку результаты оказались неудовлетворительными. По—видимому, при нем вся власть попала в руки необразованных и не платящих налоги классов; и, неизбежно, ответственные посты были заняты представителями этих классов.

От этого недуга требовалось лекарство, и народ решил, что нашел его, — не в отмене всеобщего избирательного права, нет, но в его расширении. Мысль была парадоксальная, но плодотворная. Видите ли, конституция предоставляет каждому человеку голос, и, стало быть, этот голос является законным правом и отчуждению не подлежит; но в конституции не оговорено, что отдельным лицам не может быть предоставлено два голоса или, скажем, десять! И вот без лишнего шума была принята поправка; эта поправка санкционировала расширение избирательного права в некоторых случаях, список коих подлежит установлению особым актом. Предложение «ограничить» избирательное право могло бы незамедлительно вызвать волнения; предложение «расширить» его было вполне благовидно. Конечно, газеты скоро заподозрили что—то неладное и подняли страшный шум. Выяснилось, однако, что — в виде исключения и впервые в истории республики — собственность, характер и ум проявили способность оказывать воздействие на политику; что — в виде исключения — деньги, добродетель и способности обнаружили горячий и единодушный интерес к политической жизни; что — в виде исключения — эти силы выступили при выдвижении кандидатов единым фронтом; что — опять—таки в виде исключения — лучшие люди нации баллотировались в тот парламент, которому предстоит расширить избирательное право. Влиятельнейшая половина прессы сразу же стала поддерживать новое движение, предоставив другой половине «разносить» предполагаемых «разрушителей» свобод, принадлежавших к низам, которые до тех пор были правящим классом общества.

Успех был полный. Новый закон был сформулирован и принят. Согласно ему, каждый гражданин, как бы беден или темен он ни был, имел один голос, — таким образом, всеобщее избирательное право сохранялось; но если у человека было законченное начальное

образование и никакого достояния, он получал два голоса; среднее образование давало ему четыре голоса; если он к тому же владел имуществом стоимостью в три тысячи сако, он приобретал еще один голос; каждые пятьдесят тысяч сако, которые человек присоединял к своему имуществу, давали право на лишний голос; университетское образование давало право на девять голосов, даже если у вас не было никакой собственности. А поскольку знания были шире распространены и легче достигаемы, нежели богатство, образованные люди сделались благотворною уздой для людей богатых, так как всегда могли провалить их кандидатов. Знания идут обыкновенно рука об руку с честностью, широтой взглядов и гуманностью; поэтому образованные избиратели, от которых зависело политическое равновесие, стали ревностными и надежными защитниками низов, составлявших подавляющую часть населения

И тут возникло любопытное явление — своего рода соперничество, объектом которого была избирательная сила. Если прежде почет, который оказывали человеку, зависел только от того, сколько денег было у него в кармане, то теперь его величие измерялось числом принадлежащих ему голосов. Владелец одного—единственного голоса с нескрываемым уважением относился к владельцу трех голосов. И если это был человек мало—мальски незаурядный, он прилагал все усилия к тому, чтобы также приобрести три голоса. Дух соревнования пронизал все слои общества. Голоса, в основе своей имевшие капитал, назывались «смертными», ибо могли быть утрачены; те же, что основывались на учености, именовались «бессмертными», потому что были неизменны и вечны и, в силу своего, как правило, непреходящего характера, разумеется ценились выше, чем те, первые. Я говорю «как правило», потому что и эти голоса не были абсолютно непреходящими: их могло отнять безумие.

При новой системе азартные игры и всяческие спекуляции в республике Гондур почти совсем прекратились. Высокочтимый обладатель большой избирательной силы не мог поставить ее на карту, соблазнившись сомнительными видами на прибыль.

Любопытно было наблюдать нравы и привычки, вызванные к жизни расширительной системой. Как—то раз мы прогуливались с приятелем по улице; небрежно кивнув какому—то прохожему, он заметил, что у этого человека всего один голос и вряд ли когда—нибудь станет больше. Следующему знакомому, который попался нам навстречу, он выказал уже куда больше уважения.

— Четырехголосный поклон, — объяснил он мне, поздоровавшись.

Я пытался определить значительность людей, которых он приветствовал, по характеру его поклонов, — и небезуспешно; но успех был лишь частичным, поскольку бессмертным голосам полагался больший почет, нежели смертным. Приятель все мне объяснил. Он сказал, что никакого закона тут не существует, кроме одного, самого могущественного, — обычая. Привычка создала эту школу поклонов, и со временем она стала чем—то естественным и само собой разумеющимся. В этот миг он отвесил особенно глубокий поклон и сказал:

А вот человек, который начинал жизнь неграмотным подмастерьем у сапожника. Теперь он ворочает двадцатью двумя смертными голосами и двумя бессмертными. В этом году, наверно, сдаст за среднюю школу и взберется еще на два бессмертных выше. Ценный гражданин!

Вскоре мой приятель встретил какое—то уважаемое лицо и не только поклонился с подчеркнутой любезностью, но даже шляпу снял. Я тоже снял шляпу, вдруг ощутив непонятный трепет. Как видно, я заразился.

Что это за знаменитость?

Это наш самый знаменитый астроном. Денег у него нет, но зато он ужасно ученый. Девять бессмертных — вот его политический вес! У него набралось бы сотни полторы голосов, будь наша система совершенна.

Скажите, пожалуйста, а перед чисто денежным величием вы когда—нибудь снимаете шляпу?

— Нет, никогда! Единственная сила, перед которой мы обнажаем голову, так сказать

неофициально, — это девять бессмертных голосов. Высшим властям мы оказываем, разумеется, те же знаки почтения.

Сплошь и рядом можно было услышать, как с восхищением произносят имя человека, который начинал жизнь в безвестности, но со временем достиг большой избирательной силы. Сплошь и рядом можно было услышать, как молодежь строит планы на будущее, определяющиеся исключительно числом голосов. Я слышал, как хитроумные мамыши говорили о неких молодых людях как о «выгодной партии», потому что у них было столько—то и столько—то голосов. Я знал случаи, когда богатая наследница выходила замуж за юнца всего—навсего с одним голосом; это означало, что у парня блестящие способности и что с годами он приобретет достаточную избирательную мощь, а если ему повезет, то в конце концов, пожалуй, даже оставит позади свою супругу.

Конкурсные экзамены были неукоснительным правилом при соискании любой государственной должности. Я заметил, что вопросы, задаваемые кандидатам, весьма неожиданны и трудны и часто требуют таких знаний, которые не понадобятся соискателю.

Может на них ответить дурак или невежда? — спросил человек, с которым я беседовал.

Конечно нет.

Вот почему вы и не найдете дураков или невежд среди наших должностных лиц.

Я почувствовал, что меня приперли к стене, и все же попробовал вывернуться:

Но круг этих вопросов куда шире, чем необходимо.

— Ну и что? Если кандидаты смогут на них ответить, это достаточно ясно доказывает, что они ответят и на любой (или почти любой) другой вопрос, какой вам вздумается им задать.

Да, в республике Гондур было кое—что, от чего нельзя было отмахнуться. Прежде всею — невежеству и некомпетентности не стало места в правительстве. Делами государства вершили ум и собственность. От кандидата на какую бы то ни было должность требовались природные способности, образование и нравственная безупречность, в противном случае у него не было ни малейших шансов пройти. Если подсобный рабочий на стройке обладал этими качествами, он мог рассчитывать на успех, по самый факт его работы на стройке, где он подносит каменщикам кирпичи, теперь уже не мог доставить ему должность, как это порой бывало в прежние времена.

Заседать в парламенте или быть на государственной службе стало теперь занятием весьма почетным; при старых порядках такое отличие лишь навлекало на человека подозрения и делало его беспомощной мишенью для оскорбительных и грубых насмешек газетчиков. Должностным лицам незачем стало красть: их жалованье было громадным по сравнению с теми днями, когда парламент создавался голосами подсобных рабочих, которые взирали на жалованье должностным лицам со своей, подсобно—рабочей, точки зрения и заставляли своих покорных слуг в парламенте почтительно разделять означенную точку зрения. Правосудие отправлялось мудро и непреклонно: судья, получив свой пост в результате точно установленного ряда повышений, был несменяем до тех пор, пока сам себя чем—либо не опорочит. Ему не приходилось сообразовывать свои приговоры с тем впечатлением, какое они могут произвести на расположение духа правящей партии.

Страной управлял кабинет министров, который выходил в отставку вместе с главой правительства, его создавшим. Так же обстояло дело с главами основных государственных учреждений. Младшие чиновники достигали своего положения посредством честно заслуженных повышений, а не внезапным прыжком из винной лавки, из недр бедствующего семейства или из окружения члена парламента. Срок их пребывания на службе определялся безупречностью их поведения.

Глава государства, Великий Халиф, избирался на двадцать лет. Я осведомился, какой смысл в таком долгом сроке. Мне ответили, что Халиф не может причинить стране ни малейшего вреда, поскольку ею правит кабинет министров и парламент, и что Халиф, дурно употребляющий свою власть, подлежит суду. Эту важную должность дважды, и вполне

успешно, занимала женщина, ибо женщины отлично справляются с таким делом, как то показывают примеры иных венценосных монархинь, известные нам из истории. Женщины нередко бывали и в составе кабинета.

Я узнал, что властью помилования облечена особая Комиссия помилования, состоящая из нескольких особо выдающихся судей. При старом режиме эта великая власть принадлежала одному должностному лицу, и, как правило, он заботился лишь о том, чтобы приурочить общую «очистку» тюрем к очередным выборам.

Я спрашивал насчет бесплатных школ. Их оказалось множество, так же как и общедоступных университетов. Я спросил насчет принудительного обучения. Этот вопрос был встречен улыбкой.

— Если будущее ребенка, место, которое ему предстоит занять в обществе, зависит от уровня образования, им получаемого, не кажется ли нам, что отец сам применит все должные меры принуждения? Чтобы заполнить наши бесплатные школы и бесплатные университеты, нам не нужны никакие законы.

В этом ответе и в тоне, которым он был произнесен, слышалась гордость своей страной, и она неприятно резанула мне ухо. Я уже давно отвык от подобных интонаций у себя на родине. Похвалами своим национальным достижениям гондурцы прожужжали мне все уши. Вот почему я был рад покинуть их страну и вернуться в мое дорогое отечество, где никогда не услышишь таких песен.

ПОСЛАНИЕ ОРДЕНУ «РЫЦАРЕЙ СВЯТОГО ПАТРИКА»

«Глубоко сожалею, что не могу присутствовать завтра вечером на банкете «Рыцарей святого Патрика». В этом году, когда отмечается столетие существования Соединенных Штатов, нам должно быть особенно приятно почтить память человека, чье доброе имя живет уже четырнадцать веков. Нам это должно быть приятно потому, что в дни юбилея мы, естественно, вспоминаем о свитом Патрике с большой симпатией. В свое время он проделал колоссальную работу. Он застал Ирландию богатой республикой и принялся думать, к чему с наибольшей пользой приложить свои силы. Он заметил, что президент республики имеет привычку укрывать государственных деятелей от заслуженных наказаний, и так отколотил президента своим посохом, что тот умер. Он узнал, что военный министр живет так экономно, что сумел за год скопить двенадцать тысяч долларов при жалованье в восемь тысяч, — и убил его. Он узнал, что министр внутренних дел всегда причитает над каждой бочкой солонины, предназначенной для отправки дикарям, а потом присваивает эту солонину себе, — и уколошил этого министра тоже. Он узнал, что морской министр больше занят разными подозрительными исками, чем вопросами мореходства, — и тут же прикончил этого министра. Он узнал, что при помощи одного гнусного типа, состоявшего личным секретарем при какой-то персоне, был разыгран жульнический судебный процесс, — и уничтожил этого личного секретаря. Он выяснил, что конгресс, прикидываясь сверхдобродетельным, рвется начать расследование деятельности и одного посланника, запятнавшего честь своего государства за границей, но этот же конгресс столь же рьяно препятствует назначению на подобный пост любого человека с незапятнанной репутацией; что у этого конгресса нет другого бога, кроме политической партии, и нет других принципов, кроме партийного политиканства; что кругозор его узок, и вообще непонятно и неоправданно само его существование. Поэтому он перебил всех членов конгресса до единого.

Завершив эту колоссальную работу, он изрек на своем образном языке: «Вот, смотрите, я истребил всех змей в Ирландии!»

Святой Патрик не участвовал в политике: он стоял за правду, и это само по себе хорошая политика! Увидев гада, он забывал спросить, демократ это или республиканец, но

тут же поднимал свой посох и всыпал ему как следует! Вечная память святому Патрику! Вот бы его к нам сюда, чтобы он и нас к юбилею избавил от гадов! Увы, это невозможно! Бездействует его посох — символ истинных, а не бутафорских реформ. Впрочем, у нас еще сохранился символ Правды — топорик Джорджа Вашингтона, ведь я—то знаю, где его зарыли!

Преданный вам, Марк Твен.

16 марта 1876 года. Хартфорд, Коннектикут

ПЛИМУТСКИЙ КАМЕНЬ И ОТЦЫ—ПИЛИГРИМЫ

Приглашая мистера Клеменса выступить на банкете общества «Новая Англия», председатель Роллинс сказал:

«Этот тост провозглашается за человека, который, собственно говоря, не родился в Новой Англии, и, насколько мне известно, это относится и к его предкам. Стало быть, юридически он не может считаться аборигеном Новой Англии. Однако он нашел великолепный выход из столь трудного положения: сумел сделать так, что все его дети родились в Новой Англии, и таким образом сам он стал новоанглийским предком. Этими достижениями он обязан только самому себе. Кроме того — и это еще важнее — своим жизнерадостным, оптимистическим, полезным творчеством он превзошел лучших сынов Новой Англии. А превзойти их в чем—нибудь значительном трудно, ибо — между нами говоря, за закрытыми дверями — всем вам известно, что это наиболее способные и умные люди на нашей благословенной земле; и вот среди таких—то людей мистер Твен сумел подняться и сумел перерасти их, став знаменитым благодаря своему блестящему таланту».

Я хочу выступить с протестом. Много лет я молчал, но тому, что здесь происходит, право же, нет достаточного оправдания! Почему вы вздумали чествовать этих людей, ваших предков, это пуританское племя, прибывшее сюда на «Мейфлауэре»? Их—то за что чествовать? Прошу прощения: джентльмен слева подсказывает мне, что вы чествуете не самих отцов—пилигримов, а их высадку у Плимутского камня 22 декабря 1620 года. Ах так, вы празднуете их высадку! Ну, знаете ли, если первый повод казался эфемерным, то второй и подавно невесом; если первый можно сравнить с папиросной бумагой, с оловянной фольгой, с рыбьим пузырем, то уж второй — тоньше самого тончайшего листика золота. Празднуется, стало быть, высадка? Позвольте осведомиться, что вы находите в ней замечательного? Ну что, скажите? Ведь этих пилигримов мотало по океану три, а то и четыре месяца. Зима была в разгаре, у мыса Код стоял собачий холод. Что же им оставалось делать, как не высадиться на берег? Вот если бы они не высадились, тогда вы имели бы основания отмечать это с помпой! Ибо человечество ни за что не забыло бы такого грандиозного акта идиотизма. Окажись вы, господа, на их место, уж вы—то, надо полагать, не сошли бы на берег! Но все же вы не имеете ни малейшего права чествовать своих предков за те качества, которые они не проявили, а лишь передали вам по наследству. Да, скажу я вам, праздновать высадку пуритан на берег, пытаться представить этот простой и естественный поступок как нечто необыкновенное, заслуживающее удивления, восторгов и славословий на подобных ежегодных оргиях двести шестьдесят лет подряд, — черт возьми, да ведь лошадь и та додумалась бы выбраться на берег! Даже лошадь... Еще раз прошу прощения: джентльмен справа подсказывает, что это собрание не только в память высадки отцов—пилигримов, но и в память их самих. Противоречие налицо: один говорит — чествуется высадка, другой—отцы—пилигримы. Подобный разброд в мыслях характерен для вашей упрямой, несговорчивой породы. Ведь у вас обо всем разные мнения, — обо всем, кроме Бостона! Ну хорошо, за что же вы все—таки собрались чествовать пилигримов? Не секрет, что эти господа обладали тяжелым нравом. Я готов признать, что они были добрее, милосерднее и

справедливее своих современников в Европе; я готов признать, что они были порядочнее своих предков. Но что с того? Это ни о чем не говорит. Человечество постоянно прогрессирует. Вы лучше своих отцов и дедов (впервые в жизни позволяю себе оскорблять память усопших, — как правило, я считаю это недопустимым!). Да, те из вас, кто не сидел в тюрьме, — если найдутся такие в этом зале, — наверно, лучше своих родителей. Но неужели это достаточный повод для устройства ежегодных пиршеств в вашу честь? Нет, ни в коем случае! Итак, повторяю: отцы—пилигримы обладали тяжелым нравом. Свои интересы они блюли неусыпно, а предков других людей попросту истребляли. Я мужлан из захолустного штата Миссури, с годами превратившийся в коннектикутского янки. Во мне слились нравственные принципы Миссури и культура Коннектикута. По—моему, господа, это идеальное сочетание. Но где мои предки? Кого я должен чествовать? Где мне найти исходное сырье?

Первым моим американским предком, господа, был индеец — древний индеец. Ваши предки ободрали его живьем, и я остался сиротой. В жилах нынешнего индейца уже нет ни одной капли моей крови. И я стою перед вами одинокий, несчастный, лишенный прародителя. Ободрали моего предка! Допустим, что им понадобилась его шкура, но он ведь был живой — живой, господа! Содрали с него живого кожу, да еще на глазах у людей! Вот что ужасно! Подумайте, каково ему пришлось, — ведь он тоже что—то чувствовал, и ему было очень неловко. Если бы он был птицей, тогда ладно, — считалось бы, что его просто ощипали. Но он же был человек, господа, — а с людьми так еще никогда не обращались! Пожалуйста, поставьте себя на его место. Уважьте мою просьбу, сделайте это, сделайте это в знак запоздалой справедливости, во имя верности традициям ваших предков! Пусть весь мир полюбуется, что собой представляет общество «Новая Англия» на самом деле, без фраков и белых галстуков! Прекратите посещать эти ежегодные оргии, откажитесь от этого пошлого маскарада, сбросьте с себя эти пышные одежды. Покажитесь во всей красе, Приходите благоухая летними травами, в простом и естественном, свободном и радующем взгляд облачении, какое заставило носить моего предка преблагие родичи ваши!

Более поздними моими предками были квакеры Уильям Робинсон, Мармадюк Стивенсон и другие. Ваша братия изгнала их из колоний за религиозные убеждения, пригрозив убить, если они вернуться. Ведь ваши предки не побоялись опасностей морского пути, сурового климата и дикой природы, они покинули насиженные места во имя того, чтобы даровать каждому человеку на этом необъятном континенте одно из высочайших, драгоценнейших благ свободу исповедовать любую веру в согласии с велениями его совести, и они не намерены были позволить каким то крамольным квакерам помешать им в этом. Ваши предки навеки порвали цепи политического рабства и дали право голоса всем жителям этой обширной страны, всем без исключения... кроме тех, кто не принадлежал к их ортодоксальной пуританской церкви. Наши предки — нрав у них был тяжелый — предоставили нам свободу религии: то есть свободу исповедовать религию по их указке, и политическую свободу, то есть свободу голосовать так, как велит церковь. И вот я, осиротелый, обездоленный, стою перед вами и пытаюсь по мере сил помочь вам достойно отметить их память.

У меня в роду числится еще Элизабет Хутон из секты квакеров. Ваши предки не очень мягко обошлись с ней — отрицать это вы не можете. Но они добились от бедняжки своего: убедили ее перед самой смертью одуматься и приняли в лоно святой церкви, так что, надо полагать, после смерти она отправилась туда же, куда и они. А жаль, она была хорошая женщина! Роджер Уильямс тоже был моим предком. Не помню точно, какую кару для него изобрели ваши родичи, знаю лишь, что они изгнали его в Род—Айленд, а потом, поняв, очевидно, что это уж слишком жестоко, смилостивились и сожгли его на костре. Да, нрав у них был тяжелый, что и говорить! Моими предками были также все салемиские ведьмы. Ваши родственники дали им жару! Посредством морального давления и виселиц они так блестяще справились со своей задачей, что с тех пор — то есть за сто восемьдесят девять лет! — в нашей семье не появилось больше ни одной ведьмы и нам почти не приходилось иметь дела

с виселицей. Первый раб, доставленный вашими предками из Африки в Новую Англию, был моим родственником, — да, да, я гибрид, поразительно сложный и интересный; меня нельзя, словно какую—нибудь поддельную пенковую трубку, перекрасить за неделю, над моим цветом кожи потрудились целых восемь поколений! В свое время я приобрел огромное количество родственников: я покупал их, выменивал, доставал всеми правдами и неправдами и жил припеваючи. Вдруг, с присущим вашему племени непостоянством, вы затеяли войну и отняли их всех у меня. И вот я снова осиротелый и одинокий, и ни одна капля моей крови не течет в жилах живого существа, предназначенного на продажу.

Друзья мои, послушайте меня и исправьтесь! Не ради своего, а ради вашего блага прошу я вас об этом! Вы уже выслушали речи. Распустите все эти «общества Новой Англии», эти очаги восторженных славословий и безудержных похвал! Если так будет продолжаться, то мы дождемся дня, когда вам изменит прямота характера и вы забудете про свою былую неприязнь к хвастовству. Остановитесь, пока не поздно, пока вы еще проявляете умеренность в оценке ваших предков! Умоляю, устройте аукцион и продайте Плимутский камень! Отцы—пилигримы были простыми, невежественными людьми. До своей высадки на американском берегу они никогда не видели хороших камней, во всяком случае таких, которые никому не принадлежали. Поэтому им простительно, что, высадившись на берег, они обрадовались этому камню и даже обнесли его железной оградой! Но вы—то, господа, люди просвещенные, образованные, вам—то хорошо известно, что на вашей родине, в щедрой, богатой Новой Англии, где камнем сколько угодно, этому камню красная цена — тридцать пять центов. Так продайте его, пока он не выветрился, или на худой конец уступите под рекламу фирме патентованных лекарств, — этим хоть налоги окупятся!

Внемлите совету друга, нашего верного друга, прислушайтесь к его словам! Распустите все эти общества, рассадники порока и нравственного разложения, увековечивающие такой предрассудок, как культ предков! Здесь, на этом столе, я вижу воду, вижу молоко, пишу вредный ядовитый лимонад. Это только первые шаги на пути к падению. Затем появятся чай, шоколад, кофе... ресторанный кофе. А там еще несколько лет всего каких—нибудь несколько лет — и, помяните мое слово, вы начнете пить сидр! Остановитесь, господа, пока еще есть возможность! Вы стали на путь, ведущий к разврату, физическому вырождению, моральному распаду, кровавым преступлениям и виселице. Именем ваших встревоженных друзей, именем ваших будущих вдов и сирот заклинаю: остановитесь, пока не поздно! Закройте все «общества Новой Англии», навсегда откажитесь от юбилейных вакханалий, перестаньте лакировать ржавую репутацию ваших давно истлевших предков, этих столпов сверхчеловеческой нравственности с мыса Код, этих святош—разбойников с Плимутского камня! Разойдитесь по домам и постарайтесь вести себя как следует!

Однако шутки в сторону. Думаю, что я чту и ценю ваше пуританское происхождение не меньше, чем вы сами; но я целиком присоединяюсь к мнению моего деда — человека строгих взглядов, честной души, отнюдь не склонного к лести. Вот что он сказал однажды: «Пусть там толкуют что угодно про этих пилигримов, а все—таки трудно найти людей лучше, чем они; что же касается меня, так я не боюсь прямо заявить: они были бы самыми лучшими людьми на свете, если бы только родились в Миссури».

"РЫЦАРИ ТРУДА" – НОВАЯ ДИНАСТИЯ

Власть одного человека над другими означает угнетение — неизменно и всегда угнетение; пусть не всегда сознательное, преднамеренное, обдуманное, не всегда суровое, или тяжкое, или жестокое, или огульное, — но так или иначе — всегда угнетение в том или ином виде. Более того: даже когда власть имущий хочет сделать добро одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому. Кому ни вручи власть, она непременно проявится в

угнетении. Дайте власть дагомейскому царьку — и он тут же начнет проверять меткость своей новенькой скорострельной винтовки на каждом, кто проходит мимо его дворца; люди будут падать один за другим, но ни ему, ни его придворным и в голову не придет, что он совершает нечто неподобающее. Дайте власть главе христианской церкви в России — императору, — и он одним мановением руки, точно отгоняя мошкар, пошлет несчетное множество молодых мужчин, матерей с младенцами на руках, седовласых старцев и юных девушек в невообразимый ад своей Сибири, а сам преспокойно отправится завтракать, даже не ощутив, какое варварство только что совершил. Дайте власть Константину, или Эдуарду IV, или Петру Великому, или Ричарду III, — я мог бы назвать еще сотню монархов, — и они перебьют своих ближайших родичей, после чего отлично заснут, даже без снотворного. Дайте власть Ричарду II — и он исторгнет у толпы рабов слезы благодарности, даруя им свободу (чтобы спасти свою жизнь), а едва спасшись, посмеется им в лицо, разорвет на клочки грамоты об освобождении и посулит им новое рабство, такое жестокое, какое им и не снилось. Дайте власть средневековым сеньорам — и они закрепостят свободных крестьян, а затем, без малейшего чувства юмора, предоставят им самим доказывать, что они не крепостные, а свободные люди. Дайте власть церкви — и она примется безжалостно убивать, терзать, пытаться, сжигать на кострах, причем ни сама она, ни ее приспешники не усомнятся, что она трудится не покладая рук на благо человека и во славу Божию. Дайте власть совершенно к тому неподготовленным, невежественным массам во французской монархии, доведенным до иступления тысячелетним разгулом невообразимого деспотизма, и они будут убивать без разбора и зальют кровью всю страну. Дайте власть кому угодно — и эта власть будет угнетать. Даже Компания конно—железных дорог заставит своих кучеров и кондукторов работать по восемнадцать часов в день, в полярный холод и тропический зной и станет платить им гроши; а вместо этой компании можно, взяв иные масштабы и иные формы, назвать тысячи других корпораций, компаний и промышленных предприятий. Да, можно проследить шаг за шагом весь путь от императора до Компании конно—железных дорог, и мы увидим, что всюду, где есть власть, она используется для угнетения.

Насколько мы знаем, или можем догадываться, так оно идет уже миллионы лет. Кто же угнетатели? Их немного: король, капиталист и горстка других надсмотрщиков и подручных. Кто угнетенные? Их множество. Это народы мира: лучшие представители человечества, рабочие люди — те, кто своим трудом добывает хлеб для праздных белоручек. Почему считается справедливым такое неравное распределение плодов труда? Потому что это установлено законами и конституциями. Из этого следует, что если законы и конституции станут иными и предпишут более равное распределение благ, тогда такой порядок будет считаться справедливым. А значит, в политических обществах право определять, что есть Справедливость, принадлежит единственно Силе; иначе говоря: Сила творит Справедливость — или упраздняет ее. А это, в свою очередь, означает, что если объединившиеся избиратели из числа рабочего населения страны, насчитывающего 45 миллионов, объявят свою волю остальным 12 или 15 миллионам и повелят, чтобы существующая система прав и законов была коренным образом изменена, то тем самым и в эту самую минуту существующая система совершенно недвусмысленно, бесспорно и законно будет объявлена устарелой, негодной, она просто перестанет существовать, и ни один человек из названных 15 миллионов не будет вправе выдвинуть какие—либо возражения.

Итак, будем считать, что с незапамятных времен король и ничтожное меньшинство угнетали народы и что им принадлежала власть решать, что справедливо, а что нет. Какой была эта власть, реальной или воображаемой? До сих пор она была реальной. Но отныне — я верю в это всем сердцем — о нашей стране она навеки тлен и прах. Ибо другая, великая сила, превосходящая власть королей, поднялась на этой единственной в мире земле, поистине предназначенной для свободы; и вы, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, уже можете различить вдали сияние ее знамен и поступь ее воинства. Пусть насмешники издеваются, пусть выдумывают придирки и возражения, но она взойдет с

господней помощью на свой трон и поднимет свой скипетр — и голодные насытятся, и нагие оденутся, и надежда блеснет в глазах, не знавших надежды. И фальшивая знать уберется прочь, а законный владелец вступит во владение своим домом.

Раньше и правда было над чем издеваться. Во все времена и во всех странах мира гигантская неповоротливая громада угнетенного человечества несчастных бессловесных животных, — наделенная невероятной силой, но не подозревавшая об этом, в поте лица от зари до зари добывала хлеб для изнеженного меньшинства, то в бессильной ярости, то со слезами глядя на своих жалких домочадцев — на ожесточившихся женщин и не умеющих улыбаться детей, — вот это было время для издевок. И во все времена, во всех странах мира, один раз на памяти каждого поколения, отдельные частицы этой громады приходили в движение, и восставали, и кричали, что нельзя больше терпеть этот гнет, это унижение, эту нищету, — но через несколько дней отступали, разбитые, снова безгласные, осыпаемые насмешками, — и это тоже было время для издевок. И за последние десятилетия бывало, что рабочие отдельных профессий, объединившись, с надеждой поднимались на борьбу и требовали себе лучшей доли; но если то были каменщики, другие рабочие равнодушно оставались в стороне: это, мол, не их борьба; и если восставали одна, другая, третья профессии, десять миллионов остальных рабочих спокойно продолжали заниматься своими делами: мы—то ведь ни с кем не ссорились! Это тоже было время для издевок, и кое—кто, конечно, издевался. Но когда все каменщики, и все переплетчики, и все повара, и все парикмахеры, и все слесари, и все рудокопы, и кузнецы, и печатники, и подносчики кирпича, и портовые грузчики, и маляры, и стрелочники, и машинисты, и кондукторы, и все фабричные, и извозчики, и продавщицы, и белошвейки, и телеграфисты — словом, все миллионы трудящихся людей, в которых дремлет эта великая сила, именуемая Властью (подлинная власть, а не обветшалая и обманчивая тень ее!), — когда они восстанут, вы вольны будете в утешение себе называть происходящее как угодно, но истина от этого не изменится, — это будет восстание Нации. И по некоторым признакам уже можно распознать его приближение. Когда Джеймс Рассел Лоуэлл от лица немногочисленных американских писателей обратился с вежливым воззванием к комиссии сената Соединенных Штатов, и был выслушан, — как уже шестьдесят лет выслушивали здесь писательские воззвания: с равнодушием, какого и требовал мелкий вопрос, выдвинутый небольшой и невлиятельной группой населения, — и сел на место, а после него выступил мастер из типографии в скромном сером костюме и сказал: "Я присутствую здесь не как рабочий—печатник, и не как каменщик или плотник, и вообще не представляю какой—нибудь одной профессии. Я выступаю от имени рабочих всех профессий, всех отраслей промышленности, всех моих братьев, которые каждодневно зарабатывают собственными руками хлеб насущный на огромном пространстве от Атлантического океана до Тихого, от Мэна до Мексиканского залива, чтобы прокормить себя, своих жен и детей. Мой голос — это голос пяти миллионов человек", — когда раздался такой удар грома, пришло время сенаторам пробудиться от сна и проявить интерес, уважение — да, да, почтительно и без отлагательства признать, что у них появился хозяин, и поинтересоваться, какова будет его высочайшая воля. И сенаторы это поняли.

Писатели, мало надеясь на успех, лишь робко намекнули, каких шагов они ждут от конгресса. Печатник, говоривший голосом пяти миллионов, без малейшей наглости или развязности, но спокойно, с ясным сознанием стоящей за ним огромной силы, указывал конгрессу — не что он должен делать, а чего он делать не должен. И к этому приказу нужно будет прислушаться.

Это был, пожалуй, первый случай в истории, когда заговорила нация, заговорила не через посредство других, а сама, своим собственным голосом! И по милости судьбы мне довелось это видеть и слышать. Я почувствовал, как перед лицом этого зрелища поблекла вся мишура и все спектакли исторического прошлого. Их позолота, и глянec, и перья выглядели убогими в сравнении с этим царственным величием во плоти. И я подумал тогда — и продолжаю так думать, — что наша страна, так расточительно богатая сокровищами,

которыми она по праву может гордиться, обрела новое сокровище, превосходящее все, что она имела до сих пор. Сама нация, в лице этого человека, держала речь, а слуги внимали ей, — да, слуги, а не хозяева, лицемерно именуемые слугами нации. Ничего подобного не ведала ни одна страна, ни одна эпоха.

Те, от чьего имени говорил рабочий—печатник, и составляют нацию, и они продолжают свою речь. Вы читали их манифест, список их требований? Они звучат как что—то до странности знакомое, старое, всем известное. Они и вправду не новы. Они древнее, чем библия. Они стары, как Тирания, как Бедность, как Отчаяние. Это самое древнее, что есть в нашем мире, — они родились вместе с человеческим голосом. В том или ином виде они тревожили слух богачей и власть имущих во все времена. А тем казалось, что это плач капризных детей — докучный плач чужих детей, — и они не слушали. Да и к чему было слушать? Ведь у них просили луну с неба, требовали невозможного. Так считали те, кто не хотел слушать, не хотел вдумываться. Но когда в каком—нибудь конце земли плачут все дети, самый размах происходящего выводит из равнодушия, и человек начинает думать: может быть, что—то и в самом деле неладно, — и прислушивается. И что же он слышит? Да то же, что несчетное множество раз слышал и раньше, но воспринимал как пустые слова. Теперь же, когда его внимание обострилось, он видит, что слова эти что—то значат. И вот наконец он, — а он — это вы, — по—настоящему слушает, по—настоящему, всеми чувствами и во всех подробностях, воспринимает этот документ, пришедший из глубины веков, — этот Манифест Жалоб и Требований. Едва вы вникнете хотя бы в два—три пункта этого перечня, как у вас вырывается изумленное восклицание: "Возможно ли, что эти люди лишены столь необходимых и элементарных условий существования и должны за них бороться? Лишены их уже долгие века, а баловни нашего мира не знали об этом, — или знали, но не хотели замечать, мирились с таким позором, с такой бесчеловечностью?" И рождается мысль: как это странно! Может ли быть, чтобы голодный младенец тянулся к материнской груди, требуя того, что предназначила ему природа, а материнское сердце осталось бы глухо, или мать знала бы, что ребенок голоден, и равнодушно отвернулась бы от него?

Прочитайте этот манифест, прочитайте без предубеждения и задумайтесь над ним. Некоторым из нас здесь предъявлено обвинение в измене законному владыке мира. Обвинительный акт составлен компетентными лицами, и близок час, когда мы предстанем перед судом республики. И мы услышим в обвинении такие пункты, которые не в силах будем оспорить.

Много раз мне случалось видеть, как бьют лошадь, и я глубоко сожалел, что не знаю лошадиного языка и не могу шепнуть: "Дурачина, ты же сильнее! Ударь его копытами!" Миллионы трудящихся во все века были теми же лошадьми были ими. Чтобы стать хозяевами положения, им нужен был искусный вождь, который собрал бы воедино их силу и научил их, как ею пользоваться. Теперь они обрели этого вождя и стали хозяевами положения; впервые в этом мире порфиру надел подлинный властелин, впервые слова "король божьей милостью" перестали быть ложью.

Нам нечего бояться этого короля. Все короли, какие до сих пор правили в мире, сочувствовали и покровительствовали кликам, классам и кланам раззолоченных бездельников, ловких казнокрадов, неутомимых интриганов, возмутителей общественного спокойствия, думающих только о своей выгоде. Но этот король — прирожденный враг тех, кто интригует и говорит красивые слова, но не работает. Он будет нам надежной защитой против социалистов, коммунистов, анархистов, против бродяг и корыстных агитаторов, ратующих за "реформы", которые дали бы им кусок хлеба и известность за счет честных людей. Он будет нам прибежищем и защитой против них и против всех видов политической хвори, заразы и смерти.

Как он использует свою власть? Сначала — для угнетения. Ибо он не более добродетелен, чем те, кто властвовал до него, и не хочет вводить никого в заблуждение. Разница лишь в том, что он будет угнетать меньшинство, а те угнетали большинство; он

будет угнетать тысячи, а те угнетали миллионы. Но он никого не будет бросать в тюрьмы, никого не будет бить плетьюми, пытаться, сжигать на кострах и ссылая, не будет заставлять своих подданных работать по восемнадцать часов в день и не будет морить голодом их семьи. Он позаботится о том, чтобы все было справедливо — справедливый рабочий день, справедливая заработная плата. И будем надеяться, будем верить, что, когда власть его будет признана, а сила крепко собрана в кулак, он дальше этого не пойдет. Какое—то время, пока не соберется в его цитадели весь гарнизон и не укрепится его престол, он будет требователен, тверд, порою жесток — по необходимости. На это время наберемся терпения.

Ждать осталось недолго, уже близится срок. Воинство его строится, готовое выступить в поход. Трубы играют сбор. Каждую неделю десять тысяч новых бойцов вступают в ряды, и их шаг вливается в громовый ритм марширующих батальонов.

Он — самое ошеломляющее порождение самой высокой цивилизации нашего мира, и лучшее, и достойнейшее. Только наше столетие, только наша страна, только наш уровень цивилизации могли породить его. Подлинные жизненные знания, которыми он владеет, — а только знания дают божественное право на власть, — результат полученного им опыта, в сравнении с которым образованность королей и аристократии, веками правивших им, — детский лепет, не стоящий внимания. Сумма его познаний, собранных из тысячи недавно родившихся новейших профессий со всеми их подразделениями, требующих напряженной точной, сложной работы, физической и умственной, от миллионов людей, — эта сумма познаний так огромна, что по сравнению с ней сумма всех человеческих познаний в любую предшествующую эпоху, вплоть до рождения старейшего из тех, кто здесь присутствует, — все равно что пруд по сравнению с океаном или холмик по сравнению с Альпами. Это знания, рядом с которыми вся образованность прежних времен кажется темнотой и невежеством. Или еще так: вот расстилается равнина, еле видная при свете звезд, — а вот та же равнина, залитая солнцем, во всем разнообразии цветущей природы, оттенков и красок. Без знаний рабочий человек оставался бы тем, чем был прежде, рабом. Получив знания, он стал властелином. Долго и тяжело был его путь. Созвездия в небе, видевшие его рождение, далеко уплыли от своих причалов. Но наконец он пришел. Пришел и останется здесь. Он — величайшее явление величайшей эпохи из всех, которые переживало человечество. Не пытайтесь над ним издеваться — это время прошло. Перед ним стоит самая благородная задача, какая только выпадала на долю человека, и он выполнит ее. Да, он пришел. И теперь не задашь вопрос, который задавали тысячелетиями: как же нам поступить с ним? Впервые в истории человечества нас никто не приглашает в руководители. На этот раз перед нами не брешь в плотине, — перед нами разлившийся поток!

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ. ПУБЛИЦИСТИКА

В десятый том включены избранные рассказы, фельетоны, очерки, речи, статьи и памфлеты Марка Твена, опубликованные с 1863 по 1893 год. В книгу вошло также несколько произведений писателя, напечатанных после его смерти, но написанных в течение того же тридцатилетия.

Первые юморески Марка Твена увидели свет еще на рубеже 40—х и 50—х годов прошлого века, когда будущий писатель начал работать типографским учеником в газетах, издававшихся в городке Ганнибале, штат Миссури. В 1852 году в журнале «Карпетбэг» («Саквояж»), выходившем в Бостоне, появился за подписью «С. Л. К.» юмористический рассказ шестнадцатилетнего Сэмюэла Ленгхорна Клемента — «Франт пугает скваттера». Во время поездок в Нью—Йорк, Вашингтон и другие города Соединенных Штатов юноша Клеменс посылал в провинциальные газеты путевые письма, окрашенные в юмористические

тона.

Немногочисленные литературные произведения Марка Твена, которые исследователям удалось разыскать в американских газетах и журналах 50—х годов прошлого столетия, существенной художественной ценности не представляют и в данное собрание сочинений не включены.

О наиболее ранних своих выступлениях на страницах печати сам писатель рассказал в очерке «Мои первые подвиги на газетном поприще» (1871). Хотя многое представлено в этом произведении в комически—утрированном виде, в основном оно построено на реальных фактах. (Отметим только, что Сэмюэлю Клеменсу было в ту пору не тринадцать лет, как сказано в очерке, а года на два больше, и что газету, в которой он печатался, издавал не его дядя, а старший брат Орион Клеменс.)

Широкая литературная деятельность Твена развернулась в 60—е годы. Вскоре после начала Гражданской войны в США (1861 – 1865) Твен сделался репортером и штатным фельетонистом газеты «Территориел энтерпрайз», издававшейся в Неваде. С этого времени писатель постоянно выступает с рассказами и фельетонами в различных изданиях, как на западе США, так и в восточных штатах.

В десятый том вошло несколько произведений Твена начала 60—х годов, в том числе типичная бытовая юмореска невадского периода – «Как лечить простуду» (1863).

Среди произведений Твена, опубликованных в газете «Территориел энтерпрайз», видное место занимали комические мистификации. В очерках Твена «Окаменелый человек» (1870) и «Мое кровавое злодеяние» (1870) рассказывается о характере подобных фельетонов—мистификаций и обстоятельствах их опубликования.

Переехав вскоре в город Сан—Франциско, Твен стал печатать рассказы, очерки и фельетоны в местных газетах, а также в журналах «Калифорниен» (выходил под редакцией Брет Гарта) и «Голден Ира» («Золотой век»).

Именно здесь, в Калифорнии, писатель создал в 1865 году несколько талантливых рассказов, сразу же выдвинувших его в ряды лучших американских юмористов. Это прежде всего «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» и сатирический «Рассказ о дурном мальчике». Наряду с этими двумя произведениями в данный том вошли также лучшие твеновские фельетоны 1865 – 1866 годов.

В 1867 году Твен писал главным образом корреспонденции для газет, которые позднее были положены в основу книги «Простаки за границей». Из созданных им тогда немногочисленных произведений, которые не были связаны тематически с его поездкой в Старый Свет, в десятый том включены три очерка.

В самом конце 60—х и начале 70—х годов Твен пишет чрезвычайно большое количество рассказов. Среди них есть подлинные шедевры, которые навсегда войдут в сокровищницу твеновского юмора. Примечательно, что больше трети произведений, напечатанных в этой книге, было создано всего за четыре года – с 1868 по 1871. Новеллы Твена, написанные в 70—х годах и позднее, представлены в настоящем собрании сочинений очень широко, почти полностью.

В большинстве ранних твеновских новелл выражено светлое мироощущение. Юмористические рассказы Твена пленяют читателя веселой шуткой, неожиданным комическим поворотом, смешной выдумкой, забавным каламбуром. В его новеллах очень много «дикого юмора», гипербол, доведенных до абсурда и вызывающих смех своей внезапно раскрывающейся нелепостью. Твен нанизывает одну пародию на другую; он пародирует современные газеты, сентиментальные романы и рассказы, научные трактаты, нравоучительные книжки для воскресных школ, речи политиканов, бюрократический язык.

Иные из рассказов Твена (например, «Как выводить кур», 1870) являются развернутыми анекдотами, в основе которых лежит игра слов, смешная случайность и т.д. В рассказе «Сиамские близнецы» (1868) писатель не только обыгрывает в духе «дикого юмора» остроумную ситуацию, но попутно также остроумно пародирует напыщенный стиль многих произведений американских журналистов и писателей. Рассказ «Средневековый

роман» (1870) – целиком пародия. Твен высмеивает в нем модную в то время псевдоромантическую литературу. Рассказы «Мои часы» (1870) и «О парикмахерах» (1871) – яркие примеры характерной для Твена разработки бытовых тем в комически—гротескном плане.

В основном творчество писателя развивается еще под знаком веры в способность американской буржуазной демократии служить интересам широких масс и легко преодолевать свои недостатки.

Даже тогда, когда в своих новеллах этих лет писатель касается некоторых отрицательных явлений жизни, он зачастую сохраняет добродушную улыбку. Например, в рассказе «Чернокожий слуга генерала Вашингтона» (1868) с мягким юмором показана склонность американских газет подсовывать читателям залежавшиеся и просто неверные «новости».

Однако уже на первом этапе своего творческого пути Твен писал не только такие новеллы, в которых воплощена его жажда веселья, его любовь к шутке. В ряде рассказов дает себя чувствовать тревога Твена в связи с ростом корыстолюбия и продажности в США после окончания войны Севера и Юга. В подобных новеллах находят отражение тревожные факты жизни, существенные изъяны и уродства, характерные для страны, в которой утвердили себя буржуазные порядки. В своей новеллистике писатель порою предвосхищает некоторые обличительные мотивы, которые с такой силой прозвучат позднее в его романах и повестях.

Комический гротеск, пародийность, «дикий юмор» даже в ранних рассказах Твена не только веселят читателя, но иногда способствуют выявлению социальных пороков, служат целям заостренного, сатирического показа темных сторон американской действительности.

Читатель, которому рассказы «Журналистика в Теннесси» (1860) и «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» (1870) вначале покажутся только бесшабашными шутками, в конце концов увидит в них обличение нравов, характерных для буржуазной печати США. Твен не скупится на самые фантастические гиперболы, изображая в своих рассказах бесчестных американских политиков («Как меня выбирали в губернаторы», 1870; «Когда я служил секретарем», 1868), но по сути дела в этих произведениях дана реалистическая картина жизни. Заслуживает внимания то обстоятельство, что одновременно писатель создает также резко обличительные памфлеты.

В некоторых своих сатирических новеллах и фельетонах Твен бичует полицию («Чем занимается полиция», 1866), попов, пресмыкающихся перед богачами («О запахах», 1870), расистов, преследующих и угнетающих китайских иммигрантов в США («Возмутительное преследование мальчика», 1870; «Друг Гольдсмита снова на чужбине», 1870, и др.)

С середины 70—х годов, когда были написаны первый роман Твена — «Позолоченный век» (1874) и первая его повесть — «Приключения Тома Сойера» (1876), эти жанры начинают доминировать в творчестве писателя. Однако он продолжает создавать и рассказы, фельетоны, очерки. Они свидетельствуют о возрастающей зоркости художника и совершенствовании его мастерства.

Как и раньше, новеллы Твена отличаются разнообразием настроений и интонаций. Он пишет шутливые рассказы, полные теплого юмора (например, «Режьте, братцы, режьте!», 1876), ласково подтрунивает над мелкими слабостями неплохих в сущности людей (серия рассказов о чете Мак—Вильямсов). Примечательно, однако, что в условиях дальнейшего роста общественных противоречий в капиталистической Америке все более заметное место в твеновской новеллистике начинает занимать сатира, причем острее ее писатель чаще прежнего обращает в адрес крупных собственников.

Теперь Марк Твен исходит не только из того жизненного опыта, который он приобрел в долине реки Миссисипи и на Дальнем Западе США,— все сильнее сказывается его близкое знакомство с буржуазными кругами «старых» восточных штатов, с миром политики, с жизнью западноевропейских стран.

Писатель все еще опирается на дорогие ему с ранней юности традиции американского

комического фольклора и простонародной газетной юмористики. Однако «дикий юмор» чаще, чем в прошлом, сочетается теперь с психологической правдой.

К середине 70—х годов относится «Рассказ коммивояжера» (1876), в котором писатель использует свой дар пародиста для осмеяния буржуазной страсти к накоплению. В рассказе «Великая революция в Питкерне» (1879) объектом насмешки становится политическое устройство современной буржуазной страны.

Несколько особое место среди рассказов Твена этих лет занимает «Правдивая история» (1874). В этом произведении нет ничего комического. Со сдержанным волнением и глубокой человечностью автор рассказывает о горькой жизни чернокожих рабов.

Буржуазные предрассудки и политическая наивность Твена нередко дают себе знать в его новеллах и публицистике даже в заключительные десятилетия прошлого века. Однако в обстановке необычайно резкого обострения борьбы между трудом и капиталом в США, начиная с средним 80—х годов, писатель стал проявлять все больше тревоги по поводу растущей власти золота на его родине.

Марк Твен создает ряд новых рассказов, в которых по—прежнему звучит беззаботно веселый смех, по нельзя не видеть, с каким упорством возвращается он теперь к теме развращающей роли денег.

Одна из вершин новеллистики Твена — рассказ «Письмо ангела—хранителя», который был написан в 1887 году, по пролежал под спудом более трети столетия после смерти писателя. В этом сатирическом произведении возникает уничтожающий образ крупного американского предпринимателя — лицемера, эксплуататора, мошенника, готового на все ради увеличения своих доходов. В «Романе эскимосской девушки» (1893) писатель при помощи иронических сопоставлений демонстрирует относительность человеческого представления о богатстве. В рассказе «Банковый билет в 1 000 000 фунтов стерлингов» (1893) выразительно показана гипнотизирующая власть денег.

Дальнейшее развитие сатирической новеллы Твена относится к последним годам жизни писателя — Соединенные Штаты Америки уже превратились к тому времени в империалистическую державу. Произведения этих лет печатаются в следующем, одиннадцатом томе, настоящего собрания сочинений.

Из общего круга произведений, включенных в данный том, в отдельную группу выделены работы публицистического характера. Разумеется, не всегда можно с уверенностью провести грань между публицистикой писателя и его очерками и рассказами.

Яркая публицистическая окраска присуща большому числу новелл Твена. Она отчетливо дает себя знать, например, в рассказах «Возмутительное преследование мальчика», «Друг Гольдсмита снова на чужбине» и «Великая революция в Питкерне». В сатирическом рассказе о необычайных событиях, которые произошли на острове Питкерн, Твен раскрывает враждебность народу буржуазных государственных порядков и, в частности, скептически оценивает прогресс, ведущий к росту милитаризма. «Великая революция и Питкерне» — это рассказ—памфлет.

С другой стороны, во многих статьях писателя, носящих ясно выраженный публицистический характер, не говоря уже о его фельетонах, есть немало художественного вымысла, вставных сценок и т. д. Как новеллика Твена, так и его публицистическое наследие отличаются богатством жанровых градаций. Естественно поэтому, что проведенное нами размежевание носит условный характер.

Тенденция к усилению социальной критики, сказывающаяся в новеллистике Твена последней трети прошлого века, еще более заметно ощущается в публицистике писателя. В обличении буржуазных устоев Твен—публицист зачастую идет впереди Твена—новеллиста.

Еще в 1869 году писатель опубликовал в американском журнале «Паккардс мансли» памфлет «Открытое письмо коммодору Вандерbiltу», в котором этот известный мультимиллионер изображен с нескрываемым презрением и издевкой. Еще более решительно и резко осужден в памфлете «Исправленный катехизис» (1871) политикан Туид. Твен показал откровенно грабительский характер деятельности одного из руководителей

демократической партии США.

Особое место в публицистике Твена занимает его рассказ—памфлет «Удивительная республика Гондур» (1875). Это произведение было порождено обеспокоенностью писателя пороками американской системы выборов и, в частности, установившейся в США практикой подкупа буржуазными партиями части невежественных и нищих избирателей. Однако Твен делает из этого обстоятельства ложные, антидемократические выводы: он предлагает изменить избирательную систему таким образом, чтобы богатые и образованные обладали непропорционально большим количеством голосов. Памфлет «Удивительная республика Гондур» был опубликован Твеном в журнале «Атлантик мансли» анонимно, и он ни разу этого произведении не переиздавал.

Творческое наследие Твена включает значительное количество речей, весьма многообразных по содержанию и форме.

Широкую известность приобрели так называемые послеобеденные речи Марка Твена. Он пользовался славой одного из популярнейших «послеобеденных» ораторов Америки. Обычно такие речи имели целью развлечь, развеселить участников званых обедов, чествований, банкетов. У Твена есть немало речей—шуток, не отличающихся богатством содержания.

Порою, однако, Твен—оратор в шутливой форме высказывал интересные и глубокие мысли. В некоторых своих речах, насыщенных комическими гиперболами и каламбурами, он выражает резко отрицательное отношение к американским социальным порядкам, к буржуазной верхушке Соединенных Штатов. Свою речь «Плимутский камень и отцы—пилигримы (1881) Твен начинает с грубоватых острот в духе «дикого юмора». В заключительной части речи он даже как будто пытается создать впечатление, что все его критические замечания о богатых джентльменах, к которым он обращается, и об их пуританских предках не следует принимать всерьёз. Но на самом деле в этой речи Твен недвусмысленно объявляет себя сторонником негров, индейцев и других жертв жестокости американских «святош—разбойников».

В речи «Разнузданность печати» (1873), как и в «Письме редактору «Дейли график», написанном в том же году, писатель показывает весьма непривлекательный облик «свободной» американской прессы. В беспощадно злом памфлете «Послание ордену «Рыцарей святого Патрика» Твен в слегка завуалированной форме выражает мысль, что политики, обманывающие народ, заслуживают истребления.

Порою писатель выступал в клубах (например, в хартфордском клубе «В понедельник вечером», членом которого он состоял) с речами (их можно назвать и докладами), непосредственно посвященными серьезным проблемам американской общественной жизни. Выдающимся примером такого остро публицистического выступления является речь Твена, которая получила название «"Рыцари труда" — новая династия». Она была впервые издана в США лишь в конце 1957 года, хотя писатель произнес ее в начале 1886 года, в период еще невиданного в истории США подъема рабочего движения.

«„Рыцари труда" — новая династия» — противоречивое произведение.

Успехи американских профсоюзных организаций в дело расширения и укрепления своих рядов производили на Твена огромное впечатление. Он написал свою речь вскоре после того, как ему довелось услышать выступление одного из деятелей профсоюзного объединения «Рыцари труда», подчеркнувшего массовый характер и мощь этой организации. Но Твен еще не расстался с некоторыми из своих буржуазно—демократических иллюзий. Он видит в США единственную страну, где существует свобода, и вместе с тем выражает наивное убеждение, что на американской земле рабочие добились особенно больших успехов и обладают максимальными возможностями для достижения своих целей. В «„Рыцарях труда" — новой династии» находят отклик некоторые буржуазные предрассудки Твена. Отрицательно характеризуя «социалистов, коммунистов, анархистов», писатель высказывал недоверие к самостоятельным политическим партиям рабочего класса (понятием «коммунист» Твен, подобно многим его буржуазным современникам, обычно пользовался

для обозначения революционеров — сторонников имущественного равенства). Писатель еще не изжил полностью скептического отношения к революционной деятельности французского народа. Враждебность к революционерам Франции, которая так резко сказалась в книге Твена «Пешком по Европе», изданной в 1880 году, только в самом конце 80—х годов сменилась (в романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», 1880) безоговорочным признанием права французского народа на революционную борьбу.

Однако усиление демократического начала в мировоззрении Твена под прямым воздействием развернувшейся в ту пору смелой борьбы американских рабочих против эксплуататоров получило в «„Рыцарях труда" — новой династии» замечательно сильное и глубокое выражение. В этом выдающемся произведении американской публицистической литературы писатель выступает как сторонник перехода всей власти в стране в руки трудящихся. Ведь рабочие, труженики, по его мысли, и есть подлинная нация. Твен выражает убеждение, что угнетаемое большинство не только имеет право, но даже обязано установить господство над поработавшим его меньшинством. Основная идея писателя сводится к тому, что рабочие станут «новой династией», которая заменит династии королей и капиталистов.

В десятом томе помещен ряд произведений Марка Твена, которых не найти в собраниях его сочинений, изданных в США. Среди них два посмертно опубликованных произведения (речь «„Рыцари труда" — новая династия») и рассказ «Письмо ангела—хранителя»), памфлеты «Открытое письмо коммодору Вандербильту» и «Исправленный катехизис», напечатанные Твеном в периодической печати без малого сто лет тому назад, но не включенные до сих пор ни в один американский сборник произведений писателя, а также рассказы и очерки: «Удивительная республика Гондур», «О запахах» и др.

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ. ПУБЛИЦИСТИКА.

Кроме особо оговоренных случаев, переводы в этом томе сделаны по собраниям сочинений Марка Твена, неоднократно выпускавшимся издательством «Харпер».

Внутри каждого из двух разделов рассказы, очерки и статья расположены в порядке их опубликования. Если то или иное произведение опубликовано посмертно, оно занимает в томе место, соответствующее времени его написания. Большинство речей, входящих в данный том, дается по сборникам речей Марка Твена 1910 и 1923 годов, изданным после смерти писателя под редакцией А. Б. Пейна, которому, по—видимому, принадлежат заголовки выступлений писателя.

Как лечить простуду (Curing a Cold), 1863.

Убийство Юлия Цезаря (На невадский лад) (The Killing of Julius Caesar «Localized»), 1861.

Стр. 15. Брут Марк Юлий (85—42 гг. до н. э.) — римский политический деятель, глава заговора против Юлия Цезаря (100—44 гг. до н. э.), установившего военно—монархический режим.

Иды — обозначение в римском календаре 15—го дня в марте, мае, июле, октябре и 13—го дня в остальных месяцах.

Стр. 16. Каска Публий Сервилий (ум. в 12 г. до н. э.), Брут Децим Юний (84— 43 гг. до н. э.), Кассий Лонгин Гай (ум. в 42 г. до н. э.), Требоний Гай (ум. в 43 г. до н. э.) — участники и инициаторы заговора против Цезари. Марк Антоний (83 — 30 гг. до н. э.) — римский политический деятель и полководец, один из ближайших сподвижников Цезаря. Цинна — римский патриций, брат жены Цезаря, участник заговора против Цезаря.

Стр. 18. Нервии — воинственное племя, жившее в конце первого тысячелетия до н. э. в Арденнах и на территории современного Люксембурга.

К сведению миллионов (Information for the Million), 1864.

Перевод этого и следующего рассказа сделан по сборнику «Mark Twain's Celebrated Jumping Frog of Calaveras County and Other Sketches», London, Bouldge (дата не указана)

Стр. 23. Уошо— район Невады, богатый полезными ископаемыми. Газета «Territorial Enterprise», где был впервые опубликован этот рассказ под названием «Information Wanted about Silver Land», усиленно пропагандировала горную промышленность Уошо.

Трогательный случай из детства Джорджа Вашингтона (A Touching Story of George Washington's Boyhood), 1861.

Стр. 25. «Мой дом ройной» — популярная в странах английского языка песня американского поэта и драматурга Джона Говарда Пейна (1791—1862).

Стр. 27. «Застольная» — одна из наиболее популярных песен великого шотландского поэта Роберта Бернса (написана в 1788 г.).

Стр. 29. ...подготовиться... к рассказу о Маленьком Джордже Вашингтоне, Который Не Умел Лгать, и о Яблоне — или там Вишне... — Имеется в виду хрестоматийный рассказ о детстве первого президента США Джорджа Вашингтона: срубив подаренным ему топориком вишневое деревце, маленький Джордж Вашингтон сознался в своем проступке отцу, хотя и знал, что его ждет наказание.

Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса (The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County).

Впервые опубликован 18 ноября 1865 г. в «New—York Saturday Press» под названием «Джим Смайли и его прыгающая лягушка».

Стр. 33. Джексон Эндрью (1767—1845) — седьмой президент США (1829—1837).

Стр. 34. Уэбстер Дэниел (1782—1852) — американский государственный и политический деятель, славившийся своим красноречием.

Рассказ о дурном мальчике (The Story of the Bad Little Boy), 1865.

Среди духов (Among the Spirits), 1866.

Перевод этого и следующего рассказа сделан по сборнику «Mark Twain's Celebrated Jumping Frog of Calaveras County and Other Sketches», London, Routledge.

Стр. 46. Смитсоновский институт — научно—исследовательский институт, занимающийся проблемами естествознания. Создан в Вашингтоне в 1846 г. на деньги, завещанные английским минералогом Джеймсом Смитсоном (1765 — 1820).

Универсалист — сторонник так называемой универсалистской церкви, возникшей в США в конце XVIII века. Универсалисты отрицают догматическую сторону христианства и ставят выше всего исполнение нравственного долга. Унитариец — сторонник так называемой унитарной церкви, которая оспаривает учение о «триединстве» божества и подчеркивает «единоличие» бога. Унитарии появились в XVI веке в период Реформации, в связи с гуманистической критикой церковного учения о «троице». Общины унитариев распространены в Англии и США.

Стр. 47. Сезострис — легендарный египетский царь—завоеватель.

Жалоба на корреспондентов, написанная в Сан—Франциско (A Complaint About Correspondents, Dated in San Francisco), 1866.

Стр. 49. Пеория — город в США, штат Иллинойс,

Пони—Экспресс — система ускоренной перевозки почты на лошадях между городом Сент—Джозефом (штат Миссури) и Калифорнией в 1860— 1861 гг.

Стр. 52. Галлек Генри Уэйджер (1815 — 1872) — американский генерал; с 1862 по 1864 г. был главнокомандующим армией северян в Гражданской войне.

Второзаконие—часть библии, пятая книга пророка Моисея.

Семмс Рафаэль (1809—1877) — капитан американского военного корабля, сражавшийся во время Гражданской войны на стороне южан.

Исход, Левит — названия библейских книг (вторая и третья книги Моисеева Пятикнижия).

Грили Хорейс (1811 — 1872) — американский журналист и политический деятель, издатель и редактор газеты «Нью—Йорк леджер трибюн».

В полицейском участке (In The Station House), 1867.

Этот очерк, как и два следующие, был написан Твеном для сан—францисской газеты

«Alta California». Перевод всех трех очерков сделан по книге «Mark Twain's Travels with Mr. Brown Being Heretofore Uncollected Sketches Written by Mark Twain», N.—Y. 1940.

Стр. 55. ...сражались при Антьетаме. — Имеется в виду одна из наиболее кровопролитных битв Гражданской войны в США на реке Антьетаме 16 17 сентября 1862 г., в которой северяне понесли тяжелое поражение.

Академия художеств (Academy of Design), 1867.

Стр. 62. Сейчас, после четырех—пяти лет ужасной войны... — Речь идет о Гражданской войне в США (1861—1865).

Стр. 63. Тинг Стефен Хиггинсон (1800—1885)—священник одной из нью—йоркских протестантских церквей, известный своим красноречием.

Чистильщики обуви (The Bootblacks), 1867.

Стр. 64. Сьюард Уильям Генри (1801 —1872) —американский политический деятель, в 1861 — 1869 гг. — государственный секретарь США.

Стр. 65. Обсудив... недавнюю покупку русских владений... — Речь идет о покупке Соединенными Штатами Аляски («Русской Америки»); переговоры начались в 1859 г., затянулись в связи с Гражданской войной и закончились подписанием 30 марта 1867 г. договора, по которому Аляска была продана США за 7 200 000 долларов.

Стр. 66. Проктор Джозеф (1816—1879) — известный американский актер. 20 мая 1867 г. в театре Олд—Бауэри в Нью— Йорке состоялась премьера пьесы Шекспира «Макбет» с участием Проктора.

Людоедство в поезде (Cannibalism in the Cars), 1868.

Чернокожий слуга генерала Вашингтона (General Washington's Negro Body—Servant), 1868.

Стр. 80. Корнваллис Чарльз (1738—1805) — английский политический и военный деятель, участвовал в войне против восставших американских колоний (1775—1783). Основные силы англичан во главе с Корнваллисом понесли поражение 19 октября 1781 г. при Йорктауне.

Битва при Трентоне — одна из первых побед армии Вашингтона в войне за независимость (26 декабря 1776 г.).

...невзгоды и лишения в Вэлли—Фордж. — Речь идет о героическом эпизоде из истории войны за независимость: зимовке (1777—1778) одиннадцатитысячной армии Вашингтона, перенесшей голод, холод и болезни.

Битва при Монмауте — произошла 28 июня 1778 г. между американскими войсками Вашингтона и английскими под командованием Генри Клинтонна.

Декларация независимости. — Имеется в виду Декларация, провозглашенная 4 июля 1776 г., в которой объявлялась независимость США от Англии.

Речь Патрика Генри в палате депутатов Виргинии. — Имеется в виду патриотическое выступление против английского владычества американского политического деятеля Патрика Генри (1736—1799) в законодательном собрании Виргинии в 1765 г.

Стр. 81. Битва при Банкер—Хилле — одно из первых сражений в войне за независимость (17 июня 1775 г. около Бостона), в котором англичане понесли тяжелые потери»

Брэддок Эдгард (1695 — 1755)—английский генерал, войска которого были разбиты французами и индейцами в битве 9 июля 1755 г. вблизи Питсбурга (Пенсильвания).

«Бостонское чаепитие». — Колонисты Северной Америки отказались покупать чай, который английский парламент обложил пошлиной. 16 декабря 1774 г. группа бостонцев напала на английский корабль, стоявший в гавани, и выбросила в море находившийся на нем большой груз чая. В ответ английское правительство закрыло Бостонский порт для торговли. Этот инцидент послужил одним из непосредственных поводов к началу войны за независимость.

Сиамские близнецы (The Siamese Twins), 1868.

Стр. 83. Сиамские близнецы — близнецы Чанг и Энг Бункер (1811 —1874), которые

родились со сросшимися телами. Они прожили 63 года, обладали хорошим здоровьем, были женаты, имели нормальных детей. В 1829 г. их привезли в Америку, затем их возили и показывали в странах Европы.

Стр. 80. Общество Добрых Храмовников — международное общество, созданное в США в 1851 г. и проповедовавшее трезвость.

Когда я служил секретарем (My Late Senatorial Secretaryship), 1868. Рассказ появился в результате недолгой службы М. Твена секретарем сенатора Уильяма Стюарта.

Стр. 91. Джек и Джил — персонажи популярной английской детской песенки.

Интервью с дикарем (The Wild Man Interviewed), 1869.

Перевод сделан по книге «The Curious Republic of Gondour and Other Whimsical Sketches» by Samuel L. Clemens .New York, 1919.

Стр. 96. Лье — старая мера длины, равная трем милям (4,83 км).

Готфрид Бульонский (ок. 1060 — 1100) — герцог Нижней Лотарингии (Бульон — название его замка), один из предводителей первого крестового похода (1096 — 1099), участвовал в разграблении Иерусалима, затем стал правителем Иерусалимского королевства.

...на вантах «Пинты» вместе с Колумбом. — Имеется в виду одно из трех судов первой экспедиции Христофора Колумба (1492). Однако сам Колумб плыл на другом судне — «Санта—Мария».

Карл Первый (1600—1640)—английский король из династии Стюартов. В гражданских войнах 1642—1646 гг. и 1648 г. потерпел поражение и 30 января 1619 г. был казнен по приговору верховного трибунала, созданного парламентом.

Пороховой заговор — неудавшаяся попытка английских дворян—католиков взорвать английский парламент и убить короля Иакова I и его министров. Заговорщикам удалось спрятать в подвале под зданием парламента бочки с порохом, но в последнюю минуту планы их были раскрыты (5 ноября 1605 г.).

Гастингс Уоррен (1732—1818) — английский генерал—губернатор Индии, приобрел скандальную известность после того, как вскрылись чудовищные финансовые злоупотребления и жестокости, чинимые колониальными властями в Индии. В 1788 г. Гастингс предстал перед судом по обвинению в неслыханных зверствах и хищениях. Обвинителем Гастингса на суде выступал знаменитый драматург и политический деятель Р. Б. Шеридан.

Битва при Лексингтоне — произошла 19 апреля 1775 г. во время войны за независимость в Северной Америке. Колонисты нанесли английским войскам тяжелое поражение.

...перед войной тысяча восемьсот двенадцатого года. — Речь идет об англо—американской войне (1812—1814), в результате которой, несмотря на ряд поражений американских войск, были упрочена независимость США.

...южане обстреливали Самтер.— Имеется в виду первое сражение в Гражданской войне в США. Отвергнув все компромиссные предложения, мятежники—южане 12 апреля 1861 г. начали обстрел правительственного форта Самтер в штате Южная Каролина и вскоре заняли его.

...пал Ричмонд... убили президента. — Речь идет об одном из заключительных эпизодов Гражданской войны. Столица южан, г. Ричмонд, была взята войсками генерала Гранта 3 апреля 1865 г., а через десять дней, 14 апреля, президент Авраам Линкольн был убит во время спектакля в театре актером Бусом — агентом плантаторов.

Стр.97. Письма Юниуса — анонимные сатирические письма, почитавшиеся в лондонском журнале «Паблик адвертайзер» в 1769 — 1772 гг. в связи с борьбой за свободу печати в Англии. Авторство их не установлено.

...носил... железную маску.— Имеется в виду таинственный узник времен Людовика XIV, никогда не снимавший маску с лица и умерший в Бастилии в 1703 г. Имя его было неизвестно. Согласно одной из версий, это был брат короля Людовика XIV.

...француза, в коем воплотился дух усопшего дофина. — Речь идет о Людовике XVII

(1783—1795), втором сыне французского короля Людовика XVI, казненного в 1793 г. После смерти десятилетнего наследника королевской династии Бурбонов появились самозванцы, объявлявшие себя «чудесно спасшимся Людовиком XVII».

Нахант — полуостров в Бостонской гавани.

...громогласно вещал со страниц «Трибюн», поучая читателей политической экономии.
— Имеется в виду «Нью—Йорк дейли трибюн», одна из влиятельнейших американских газет, основанная в 1841 т. Хорейсом Грили.

Замечательный старик (A Fine Old Man), 1869.

Стр. 98. Грант Улисс, Симпсон (1822—1885) —американский политический деятель. С 1864 г. — командующий северной армией в Гражданской войне; в 1867 – 1868 г. военный министр; в 1869 —1877 гг. — восемнадцатый президент США. В годы его президентства приобрели огромные размеры коррупция и хищение государственных средств, в чем были замешаны близкие к президенту лица.

Ниагара (Niagara), 1869.

Стр. 104. Ункас — молодой индеец, герой романа Фенимора Купера (178!) —1851) «Последний из могикан».

Журналистика в Теннесси (Journalism in Tennessee), 1869.

Венера Капитолийская (The Capitoline Venus), 1869.

Этот рассказ написан как отклик на сенсационное сообщение об «окаменелом гиганте», будто бы найденном в США.

Стр. 121. Барнум Финеас Тэйлор (1810—1891) — известный американский антрепренер, поражавший публику сенсационными зрелищами.

Как выводить кур (To Raise Poultry), 1870.

Написано в форме письма Обществу куроводов, присудившему Твену звание своего почетного члена.

Стр. 122. «...останавливались помолиться» — слова из поэмы «Покинутая деревня» английского писателя Оливера Гольдсмита (1728—1774).

Стр. 123. Блэкстон Уильям (1723—1780) — известный английский горист.

Покойный Бенджамин Франклин (The Late Benjamin Franklin), 1870.

Стр. 125. Франклин Бенджамин (1706—1790) — американский политический деятель, писатель, дипломат и ученый.

Воспоминание (A Memory), IN70.

Перевод сделан по книге «The Curious Republic of Gondour and Other Whimsical Sketches» by Samuel L. Clemens, New York, 1919.

Стр. 130. «Песнь о Гайавате» (1855) — поэма американского поэта Г. В. Лонгфелло (1807—1882), в основу которой положен фольклор североамериканских индейцев. Утверждение Твена, что его отцу понравилась «Песнь о Гайавате» — шутливая мистификация: отец писателя умер в 1817 г., за восемь лет до выхода «Песни о Гайавате».

История повторяется (History Repeats Itself), 1870.

Окаменелый человек (The Petrified Man), 1870.

Стр. 138. «Ланцет» — известный английский медицинский еженедельник, основанный в 1823 г. Томасом Уокли и ведший борьбу против шарлатанства в медицине.

Мое кровавое злодеяние (My Bloody Massacre), 1870.

Как я редактировал сельскохозяйственную газету (How I Edited an Agricultural Paper), 1870.

Стр. 118. Вампум — ожерелья, пояса и различные украшения из раковин и бус у индейцев.

Стр. 149. ...от Альфы до Омахи. — Пародируется выражение от «альфы до омеги». Альфа и Омаха — города в США.

Возмутительное преследование мальчика (Disgraceful Persecution of a Boy), 1870.

Стр. 150. Джон — прозвище китайцев в Америке. Патрик — прозвище ирландцев.

Подлинная история великого говяжьего контракта (The Facts in the Case of the Great

Beef Contract), 1870.

Стр. 155. Шерман Уильям Текумсе (1820 — 1891) — видный американский военный деятель эпохи Гражданской войны в США, генерал армии северян. В 1864 г. предпринял знаменитый «рейд к морю» через штат Джорджия, разрезав территорию мятежных штатов на две части. В 1869 — 1881 гг. — командующий: армией (ДНА).

Стр. 160 ...совершил открытие, равное... открытию Северо—Западного прохода. Северо—Западный проход — морской путь из Европы в страны Дальнего Востока через Северный Ледовитый океан, вдоль берегов Северной Америки.

Подлинная история дела Джорджа Фишера (The Case of George Fisher), 1870.

Стр. 164. Подобно «Великому говяжьему контракту Джона Уилсона Маккензи». — Имеется в виду рассказ Твена «Подлинная история великого говяжьего контракта».

Стр. 167. Флойд Джон Бьюкенен (1807—1863) — американский политический деятель; в 1857—1861 гг. — военный министр США. на этом посту, накануне Гражданской войны в США, он снабжал оружием южные арсеналы, ослабляя в то же время северные крепости. Когда началась Гражданская война, примкнул к южанам.

Стр. 171. Дэвис Гаррет (1801—1872) — американский юрист и сенатор.

Рассказ о хорошем мальчике (The Story of the Good Little Boy), 1870.

Стр. 177. Том Джонс — герой романа английского писателя Генри Филдинга (1707—1764) «История Тома Джонса, найденыша» (1740), который в романе противопоставлен «хорошему мальчику» Блайфилю.

Отчаянная женщина (The Judge's «Spirited Woman»), 1870.

Мои часы (My Watch), 1870.

Средневековый роман (A Medieval Romance), 1870.

Загадочный визит (A Mysterious Visit), 1870.

Как меня выбирали в губернаторы (Running for Governor), 1870.

Стр. 202. Файв—Пойнтс — нью—йоркские трущобы.

Стр. 204. Пол Прай—герой одноименной комедии английского драматурга Джона Пуля (1786—1872), любитель вмешиваться в чужие дела.

Эпидемия (The Approaching Epidemic), 1870.

Перевод сделан по книге «The Choice Humorous Works of Mark Twain, Revised and Corrected by the Author», London, 1922.

Дэн Мэрфи (Dan Murphy), 1870.

Перевод этого рассказа и двух следующих сделан по книге «The Curious Republic of Gondour and Other Whimsical Sketches» by Samuel L. Clemens, New York, 1919.

Два—три невеселых жизненных наблюдения (A Couple of Sad Experiences), 1870.

Стр. 211. ...намерен редактировать сельскохозяйственный отдел в этом журнале. Твен имеет в виду журнал «Galaxy», в котором был впервые напечатан этот рассказ.

Друг Гольдсмита снова на чужбине (Goldsmith's Friend Abroad Again), 1870.

В названии рассказа используется мотив сатирического произведения английского писателя XVIII века Оливера Гольдсмита «Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке (1762).

Наука или удача (Science vs. Luck), 1870.

План города Парижа (Map of Paris).

Впервые опубликовано 17 сентября 1870 г. 16 сентября 1870 г. прусские войска подошли к укреплениям Парижа, а 19 сентября блокировали город.

Стр. 237. Хай—Бридж — мост в Лондоне.

Стр. 238. Юнг Брайэм (1801 — 1877) — глава религиозной секты мормонов в США.

Базен Ашиль—Франсуа (1811 —1888) —французский маршал, во время франко—прусской войны 1870 г. был окружен с армией в городе Мец и изменнически капитулировал, открыв тем самым путь врагу на Париж.

Трошю Луи—Жюль (1815—1896) — французский генерал; во время франко—прусской войны был военным губернатором Парижа, а после революции 4 сентября 1870 г.,

свергнувшей империю Наполеона III, — председателем Правительства национальной обороны. Предательски саботировал оборону осажденного пруссаками Парижа.

Фридрих—Вильгельм (1831 — 1888) — сын германского императора Вильгельма I (1797—1888), которого М. Твен в шутку называет здесь Вильгельмом III. В сентябре 1870 г. Фридрих—Вильгельм командовал прусскими войсками, подошедшими к Парижу.

Ответ будущему гению (*Answer to an Inquiry from the Canning Man*), 1871.

Перевод сделай по книге «*Mark Twain's Sketches Selected and Revised by Ilie Author*», London, 1903.

Стр. 239. Агассис Жан—Луи—Рудольф (1807—1873) — американский естествоиспытатель, швейцарец по рождению. Особенно известен своими работами в области ихтиологии.

О парикмахерах (*About Barbers*), 1871.

Мои первые подвиги на газетном поприще (*My First Literary Venture*), 1871.

Стр. 246. «Похороны сэра Джона Мура» (1817) — стихотворение английского поэта Чарльза Вольфа (1791 — 1823).

Моя автобиография (*A Burlesque Biography*), 1871.

Стр. 248. Руфус (ок. 1056—1100) — английский король Вильям II.

Ньюгет — знаменитая лондонская тюрьма, основанная в 1218 г. и существовавшая до 1902 г.

Стр. 249. Темпл—Бар — каменные ворота в Лондоне, на которых в старой Англии выставлялись головы казненных преступников.

Фруассар Жан (1337 — ок. 1405) — французский хронист и поэт, певец рыцарства.

Стр. 253. Фокс Гай (1570—1605) — английский офицер, возглавлявший «Пороховой заговор».

Шеппард Джек (1702—1724) — известный английский грабитель и преступник. Герой нескольких английских романов.

Кидд Уильям (1645—1701) — знаменитый пират, шотландец по происхождению. Повешен в Лондоне в 1701 г.

Трэн Джордж Фрэнсис (1829—1904) — американский финансист и журналист, прославлявший в своих произведениях «частную инициативу».

Навуходоносор (604—562 гг. до и. э.) — вавилонский царь.

Валаамская ослица — согласно библейскому мифу, ослица месопотамского волхва Валаама. Когда Валаам ехал к моавитскому царю Валаку, ослица вдруг заговорила человеческим голосом.

Стр. 254. Я родился без зубов, и здесь Ричард III имеет передо мной преимущество. Зато я родился без горба... — Ричард III (1452—1485) был горбат и родился с зубами, согласно легенде, нашедшей отражение в хронике Шекспира «Король Ричард III».

Моя первая беседа с Артимесом Уордом (*First Interview with Artemius Ward*), 1871.

Стр. 255. Артимес Уорд — псевдоним американского писателя—юмориста Чарльза Фаррара Брауна (1834 — 1867). Его публичные выступления пользовались большим успехом в США и Англии благодаря остроумной и оригинальной манере изложения.

Как меня провели в Ньюарке (*How the Author Was Sold in Newark*), 1872.

Приятное и увлекательное путешествие (*A Curious Pleasure Excursion*), 1874.

Стр. 263. Колумбийский округ — административно—территориальная единица, выделенная специально для столицы США — города Вашингтона и его пригородов.

Стр. 265. Батлер Уильям Орландо (1791 — 1880) — американский генерал, участник мексиканской войны 1846—1848 гг.

Шеперд Александр Роби (1835—1902) — губернатор Колумбийского округа в 1873—1874 гг.

Правдивая история, записанная слово в слово, как я ее слышал (*A True Story Repeated Word for Word As I Heard It*), 1874.

Разговор с интервьюером (*An Encounler with an Interviewer*), 1875.

Стр.276. Барр Аарон (1756 — 1836) —американский государственный и политический деятель.

Мак—Вильямсы и круп (Experience of the McWilliamses with Membranous Croup), 1875.
Назойливый завсегдатай (The Office Bore), 1875.

Ученые сказочки для примерных пожилых мальчиков и девочек (Some Learned Fables for Good Old Boys and Girls), 1875.

Стр. 805. Барнум.— Имеется в виду Барнум, известный американский антрепренер.

Режьте, братцы, режьте! (Punch, Brothers, Punch), 1876.

Кое—какие факты, проливающие свет на недавний разгул преступности в штате Коннектикут (The Facts Concerning the Recent Carnival of Crime in Connecticut), 1876.

Стр. 332. Новая Англия — северо—восточная часть США, охватывающая штаты Мэн, Нью—Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род—Айленд и Коннектикут.

Рассказ коммивояжера (The Canvasser's Tale), 1870.

Стр. 339. Ацтеки — один из крупнейших индейских народов Мексики. У ацтеков имелось иероглифическое письмо, высокое искусство. Испанское завоевание в XVI в. оборвало дальнейшее самостоятельное развитие культуры этого народа.

Рассказ капитана (The Captain's Story), 1877.

Капитан по—своему пересказывает библейскую легенду о чуде пророка Ильи, ошибочно называя его Исааком. (Библия, 3—я Книга Царств, гл. 18.)

Стр. 317. Пресвитериане — приверженцы религиозного вероучения, возникшего в период английской буржуазной революции XVII в. и получившего распространение в Англии, США и некоторых других странах.

Рассказы о великодушных поступках (About Magnanimous—Incident Literature), 1878.

Великая революция в Питкерне (The Great Revolution in Pitcairn), 1879.

В основу рассказа положено историческое событие: 28 апреля 1789 г. на английском корабле «Баунти» в Тихом океане произошло восстание. Часть мятежников укрылась на острове Питкерн в Тихом океане, где основала небольшую колонию, которая была обнаружена лишь в 1808 г. К тому времени среди населения острова оставался только один участник мятежа — Джон Адамс, доживший до 1829 г. Мятеж на «Баунти» послужил сюжетом для поэмы Байрона «Остров».

Стр. 366. Посмотрите на Германию, посмотрите на Италию. Они объединились! — Речь идет об объединении Германии в единое национальное государство, во главе которого стал император Вильгельм I (1871), и о национальном объединении Италии (в 1861 г. была создана конституционная монархия по главе с королем Виктором—Эммануилом II). Твен иронически рисует результаты этого объединения.

Укрощение велосипеда (Taming the Bicycle).

Написано в начале 80—х годов. Впервые опубликовано в 1917 году.

Эдвард Милз и Джордж Бентон (Edward Mills and George Benton: a Tale), 1880.

Миссис Мак—Вильямс и молния (Mrs McWilliams and the Lightning), 1880.

Стр. 395. Гарфилд Джеймс Авраам (1831 — 1881) двадцатый президент США (1880—1881).

Телефонный разговор (A Telephonic Conversation), 1880.

Любопытное происшествие (A Curious Experience), 1881.

Стр. 400. Рекрутам платили так щедро... — Во время Гражданской войны в США (1861—1865) богатые люди были освобождены от призыва в армию. Согласно федеральному закону о воинской повинности, принятому Конгрессом 3 мая 1863 г., можно было купить вместо себя рекрута, заплатив за него определенную сумму денег.

Стр. 415. Habeas corpus — закон, изданный в 1679 г. английским парламентом в период борьбы буржуазии против королевского произвола. Согласно этому закону, суд обязан по жалобе любого лица требовать срочного представления арестованного в суд для проверки законности задержания. Формально принят также в США. На практике это не препятствует произволу и посягательствам на личную свободу со стороны полицейских и других властей.

Похищение белого слона (The Stolen White Elephant), 1882.

Легенда о Загенфельде, в Германии (Legend of Sagenfeld, in Germany), 1882.

Мак—Вильямсы и автоматическая сигнализация от воров (McWilliamses and the Burglar Alarm), 1882.

Как избавиться от речей (On Speech Making Reform).

Произнесена в 1884 г. Впервые опубликована в 1923 г.

Неофициальная история одной неудачной кампании (The Private History of a Campaign that Failed), 1885.

Стр. 475. В первые месяцы великой неурядицы... — Имеется в виду Гражданская война в США между Севером и Югом.

Южная Каролина 20 декабря 1860 г. вышла из Союза. — Избрание в 1860 г. президентом США кандидата республиканской партии Авраама Линкольна послужило для рабовладельцев Юга сигналом к отделению и открытому мятежу. Примеру штата Южная Каролина, вышедшего из Союза, последовали другие рабовладельческие штаты (Алабама, Миссисипи, Джорджия и др.).

Стр. 476. Армия конфедератов — армия южных рабовладельческих штатов в Гражданской войне в США. «Конфедеративные штаты Америки» были провозглашены в 1861 г. и ликвидированы в результате поражения южан. Федеральные войска — войска северян в Гражданской войне.

Джексон Клейбери Фокс (1806—1862) — губернатор штата Миссури в 1860—1861 гг.

Стр. 480. Мексиканская война — война США с Мексикой (1846—1848), в результате которой США захватили большую часть территории Мексики. На захваченной территории были созданы штаты Калифорния, Аризона и др.

Стр. 481. Буэна—Виста и Молино дель Рей. — Речь идет о сражениях мексиканской войны (22—23 февраля и 8 сентября 1847 г.), в которых американские войска нанесли поражение мексиканцам.

Стр. 400. Редпас Джеймс (1833 — 1891) — американский журналист.

Стр. 407. Булл—Ран. — Имеются в виду два крупных сражения (21 июля 1861 г. и 30 августа 1862 г.) периода Гражданской войны в США на реке Булл—Ран, в районе селения Манассас (штат Виргиния), в которых северяне потерпели поражение.

Печатных дел мастер (The Old—Fashioned Printer).

Речь, произнесенная в Нью—Йорке 18 января 1886 г. на обеде общества типографов в честь дня рождения Бенджамина Франклина. Впервые опубликована в 1910 г.

Стр. 498. Пастер Луи (1822—1893) — французский ученый, труды которого положили начало развитию микробиологии как самостоятельной научной дисциплины. Всеобщую известность имя Пастера получило в связи с его открытием способа лечения от бешенства путем предохранительной прививки (188а).

Письмо ангела—хранителя (Letter from the Recording Angel).

Написано в 1887 г. Впервые опубликовано в феврале 1946 г. в журнале «Harper's Magazine». Перевод сделан по книге М. Twain «Report from Paradise», N.—Y., 1952.

Стр. 501. Лэнгдон Эндрю — американский углеторговец, родственник жены Твена.

Стр. 504. Американское бюро. — Имеется в виду Бюро христианских заграничных миссий, основанное в 1810 г. в целях развития миссионерской деятельности.

Стр. 505. Ванемейкер Джон (1838 — 1922) — американский капиталист, известный своим религиозным ханжеством.

Прошение английской королеве (A Petition to the Queen of England), 1887.

Стр. 508. Генерал Хаули Джозеф Розвел (1826—1905) — американский политический деятель и журналист. В 1866 г. был избран губернатором штата Коннектикут. Позднее неоднократно избирался в сенат США.

Стр. 509. Уйда — псевдоним английской писательницы Марии Луизы де ла Рамэ (1839—1908).

Холмс Оливер Уэнделл (1809—1894) — американский писатель—юморист и поэт.

Наибольшей известностью пользуются его философско—юмористические произведения, в которых он выступает против пуританских традиций.

Брет Гарт Фрэнсис (1836—1902) — американский писатель. Мировую славу принесли ему произведения из жизни золотоискателей.

Удача (Luck), 1891.

Стр.515. Вулвичское военное училище — военная академия в Лондоне, основанная в 1711 г.

Стр. 516. Франкенштейн — герой одноименного романа английской писательницы Мэри Шелли (1797—1851). Роман повествует об искусственном человеке, явившемся причиной гибели его создателя — Франкенштейна.

Стр. 518. Канробер Франсуа—Сертэн (1809—1895) — маршал, командовавший французской армией в начале Крымской войны. После неудач французов под Севастополем, в мае 1855 г., был смещен.

Относительно табака (Concerning Tobacco).

Написано в начале 90—х годов. Впервые опубликовано в 1917 г.

Как я выступал в роли агента по обслуживанию туристов (Playing Courier), 1891.

Стр. 534. ...по поводу шестисотой годовщины со дня рождения швейцарской свободы и подписания союзного договора. — Имеется в виду союз «на вечные времена» против Габсбургов, заключенный в 1291 г. тремя швейцарскими кантонами (Швид, Ури и Унтервальден). Эта дата отмечается в Швейцарии как год основания швейцарской конфедерации.

Рассказ калифорнийца (The Californian's Tale), 1893.

Роман эскимосской девушки (The Esquimau Maiden's Romance), 1893.

Жив он или умер? (Is He Living or Is He Dead?), 1893.

Стр. 570. У Андерсена есть одна прелестная сказка...— Имеется в виду сказка «Ромашка» датского писателя Ганса—Христиана Андерсена (1805—1875)..

Стр. 571. Милле Жан Франсуа (1814 — 1875) — знаменитый французский художник—реалист, живописец деревенского быта. После его смерти началась спекуляция его произведениями. Картины, за которые он некогда получал весьма скромные деньги, продавались по баснословным ценам. Так, в 1889 г. известная картина Милле «Вечерний благовест» (1859) была продана на аукционе американскому художественному товариществу за сумму свыше полумиллиона франков.

Дневник Адама (Extracts from Adam's Diary), 1893.

Банковский билет в 1 000 000 фунтов стерлингов (The L 1 000 000 Банк—Note), 1893.

Стр. 605. Йельский университет— одно из старейших высших учебных заведений США; основан в 1701 г. в городе Нью—Хейвен (штат Коннектикут).

Стр. G07. Фриско — город Сан—Франциско.

Стр. 609. Криббедж — популярная в Англии игра в карты.

Важная переписка (Important Correspondence), 1865.

Перевод сделан по книге «Sketches of the Sixties by Bret Harte and Mark Twain», San Francisco, 1927.

Стр. 626. «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» — строки из стихотворения Байрона «Прости» (1816).

Стр. 627. Таппер Мартин Фаркуар (1810—1889) — английский поэт, автор книги плоских дидактических изречений «Философия, вошедшая в пословицы».

Чем занимается полиция? (What Have the Police Been Doing), 1866.

Перевод сделан по книге М. Twain «Washoe Giant in San Francisco». San Francisco, 1938.

Открытое письмо коммодору Вандербильту (Open Letter to Commodore Vanderbilt.).

Опубликовано в марте 1869 г. в журнале «Packard's Monthly», по которому и сделан перевод. В собрания сочинений Твена не входило.

Вандербильт Корнелиус (1794 — 1877) — американский миллионер.

Стр. 639. ...затаяв какую—то махинацию с акциями «Эри». — Речь идет об акциях

компании «Эри», основанной в 1832 г. для строительства железной дороги от озера Эри к реке Гудзон. В 1868—1872 гг. между Джемом Гулдом, Джеймсом Фиском, Вандербильтом и другими американскими капиталистами происходила ожесточенная борьба за главенство в компании.

Стр. 644. Асторы — семья американских миллионеров, получившая прозвище «лендлорды Нью—Йорка».

О запахах (About Smells), 1870.

В собрания сочинений Твена не входило. Включено в посмертный сборник 1919 г. «The Curious Republic of Gondour and other Whimsical Sketches by Samuel L. Clemens», New—York, но которому и сделан перевод.

Стр. 645. Толмедж Томас (1832—1902) — священник пресвитерианской церкви в Бруклине (Нью—Йорк).

Исправленный к а т е х и з и с (The Revised Catechism).

Впервые опубликовано 27 сентября 1871 г. в газете «New York Daily Tribune». В собрания сочинений Твена это произведение не включалось и вновь напечатано было лишь в марте 1955 г. в американском журнале «PMLA», по которому и сделан перевод. Этот сатирический памфлет пародирует «Краткий вестминстерский катехизис» и возник не без влияния карикатур на ту же тему, публиковавшихся в журнале «Harper's Weekly» другом Твена Томасом Нэстом. «Исправленный катехизис» изобилует понятными для современников намеками на продажность американских политиков, связанных с Таммани—Холлом — нью—йоркским центром демократической партии, главари которого управляли делами Нью—Йорка и ограбили город на 200 миллионов долларов.

Стр. 648. Туид Уильям Марси (1823—1878) — политический деятель, сенатор, глава Таммани—Холла. Мошеннические проделки «босса Туида» и его сообщников приобрели такой широкий размах и носили такой скандальный характер, что имя Туида стало нарицательным для обозначения мошенника и расхитителя. В 1873 г. Туид был разоблачен и приговорен к двенадцати годам тюремного заключения, но бежал в Испанию, однако был выдан американским властям и умер в тюрьме.

В качестве двенадцати апостолов перечисляются ближайшие соратники Туида.

Святой Осел—Жеребец Холл, на котором пророк въехал, в Иерусалим.— Имеется в виду А. О. Холл (1826 — 1898), подручный Туида; с 1868 по 1872 г. — мэр города Нью—Йорка, который в памфлете именуется Иерусалимом.

Святой Конолли— любимейший из апостолов. — Речь идет о городском инспекторе Нью—Йорка, Конолли, одном на четырех главарей Таммани—Холла. За несколько дней до написания Твеном этого памфлета Конолли, спасая свою шкуру, покинул Туида.

Святой Матвей Карнохэн, восседающий у приема пошлин.— Имеется в виду санитарный инспектор нью—йоркского порта Джон Меррей Карнохэн (1817 — 1887), наживший состояние на «пошлинах» и прямых взятках. Евангельский образ святого Матвея используется в связи с тем, что этот апостол «сидел у сбора пошлин».

Святой Петр Фиск. — Речь идет о Джеймсе Фиске (1834 — 1872), вице—президенте и казначее железнодорожной компании «Эри». Получив от Туида ряд привилегий, он приобщил его к грандиозному казнокрадству при строительстве железной дороги от озера Эри к реке Гудзон.

Святой Павел Гулд. — Имеется в виду американский финансист Джей Гулд (1836—1892), президент компании «Эри», тесно связанный с Туидом, как и его коллега Фиск, темными финансовыми операциями.

Святой Уайненс Искарриот. — Речь идет об Орандже С. Уайненсе, деятеле республиканской партии, продавшемся за 100 000 долларов Туиду.

Святой Яков Вандербильт. — Имеется в виду Корнелий Вандербильт, пытавшийся получить контрольный пакет железнодорожной компании «Эри».

Святой Харви — благовзятель. — Речь идет об Эндрью Харви, подрядчике, нанятом Таммани—Холлом для проведения всех штукатурных работ в городе. Получил в течение

двух лет свыше двух миллионов долларов, в связи с чем газета «Нью—Йорк тайме» насмешливо писала 29 июля 1871 г., что из этой суммы «он может уделить шесть центов на благотворительность».

Святой Иигерсол, поставщик священных ковров.— Имеется в виду Джеймс Ингерсол, один из сообщников Туида, занимавшийся поставками для различных организаций Нью—Йорка ковров и стульев по баснословным ценам.

Святая Нью—Йоркская типографская компания. — Туид был обладателем контрольного пакета акций нью—йоркской типографской компании и там размещал издательские заказы городского управления по фантастически высоким ценам.

Святой Петр Хоффман, отрекшийся от своего ирландского учителя... — Имеется в виду Джон Томпсон Хоффман (1828— 1888), губернатор штата Пио—Порк в 1868—1872 гг. После разоблачения Таммани—Холла пытался отрицать свою связь с Туидом, на что и намекает Твен евангельским образом апостола Петра, отрекшегося от Христа.

Стр. 649. Святой Барнард. — Имеется в виду Джордж Барнард. В 1861 г. благодаря Туиду стал членом Верховного суда штата Нью—Йорк и издавал специальные судебные определения в пользу своего «босса».

...грабьте иммигрантов, прибывающих из—за моря... — Корабли с иммигрантами представляли для властей нью—йоркского порта постоянный и весьма прибыльный источник обогащения.

За приличное жалованье валандайтесь возле кабака... — В платежных ведомостях Нью—Йорка числились тысячи лиц, нигде не работавших, но получавших регулярную зарплату. Эти бродяги, хулиганы и уголовные элементы были в полном распоряжении Туида.

Составьте счет на следуемые вам деньги, впишите в него десятикратную сумму, а получив ее, вручите девять десятых пророку и святому семейству. — 21 июля 1871 г. газета «Нью—Йорк тайме» привела пример того, как Таммани—Холл получал взятки от подрядчиков: «Когда в городское управление был представлен счет за производство работ на 5000 долларов, помощник городского инспектора Конолли переписал счет на 55 000..., в результате чего подрядчик получил свои 5000 долларов, а Таммани—Холл прикарманил 50 000 долларов».

«Альманах простака Ричарда» — альманах, издававшийся с 1732 по 1757 г. Б. Франклином.

«Путь паломника» (1678—1684) — произведение английского писателя Джона Беньяна (1628—1688), пользующееся популярностью в странах английского языка.

Стр. 650. «...издание «Великого крестового похода сорока разбойников». — Под названием «сорок разбойников» был известен в 50—е годы XIX в. продажный муниципалитет Нью—Йорка. Через два десятилетия Туид организовал в Нью—Йорке новый вариант «сорока разбойников»: под его руководством Таммани—Холл далеко превзошел своего предшественника по размеру муниципального взяточничества. Новое здание суда, например, обошлось налогоплательщикам в 12 миллионов долларов, из которых 9 миллионов было присвоено заправилами Таммани—Холла.

Американцы и англичане (Americans and the English).

Эта речь была подготовлена Твеном для выступления на собрании американских граждан в Лондоне 4 июля 1872 г., в связи с 96—й годовщиной провозглашения независимости США. Впервые опубликована в 1875 г. под названием «Послеобеденная речь».

Стр. 652. Могли Джон Лотроп (1814 — 1877) — американский историк.

Помрой Сэмюел Кларк (1816 —1891) — американский сенатор, известный своей продажностью и подкупам должностных лиц.

Разнузданность печати (License of the Press), 1873.

Речь в клубе журналистов в Хартфорде. Начало речи утеряно.

Стр. 655. Рид Чарльз (ISM—1884) — английский писатель.

Стр. 656. Колфакс Шюйлер (1823 —1885) — вице—президент США во время первого президентства Гранта (1869—1872).

«Черный плут» — низкопробное музыкальное обозрение, демонстрировавшееся в одном из нью—йоркских театров того времени.

Стр. 657. Несколько лет тому назад я сам ввел на Тихоокеанском побережье особый и весьма живописный вид вранья... — Речь идет о репортажах—мистификациях вена, о чем он сам повествует в очерках «Окаменелый человек» и «Мое кровавое злодеяние».

Стенли Генри Моргон (1841 — 1904), настоящее имя и фамилия— Джон Роулендс) — английский исследователь Африки. Семнадцати лет переехал из Англии в США, участвовал в Гражданской войне. Вернувшись в 1872 г. в Европу из экспедиции в Африку, выступал за колонизацию Африки европейцами.

Письма с Сандвичевых островов (Letters from the Sandwich Islands), 1873.

Перевод сделан по книге W. F. Frear «Mark Twain and Hawaii», Chicago. 1947.

Стр. 660. Сандвичевы острова — группа островов в центральной части Тихого океана; открыты в 1778 г. английским мореплавателем Джеймсом Куком, который дал им это название в честь графа Сандвича, первого лорда адмиралтейства. Наибольший из островов этой группы — Гавайи, по имени которого они ныне называются Гавайскими островами. В 1959 г. преобразованы в 50—й штат США.

Гумбольдт Александр—Фридрих—Вильгельм (1709—1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник, один из основоположников современной географии растений и геофизики.

Стр. 661. Памятник Джорджу Вашингтону — обелиск высотой в 170 м., воздвигнутый в Вашингтоне в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Заложен в 1848 г.; строительство его продолжалось до 1885 г.

Стр. 662. Килауэа—вулкан в восточной части острова Гавайи высотой 1247 м.

Резервации — места жительства, отведенные правительствами США и Канады для насильственно переселенных туда индейских племен.

Письмо редактору «Дейли график».

Письмо было опубликовано 22 апреля 1873 г. в «New York Daily Graphic», без заглавия. Перевод сделан по книге M. Johnson «A Bibliography of the Works of Mark Twain», N.—Y. — Loudon, 1935.

Стр. 666. Уорнер Чарльз Дадли (1829—1900) — американский писатель, совместно с которым М. Твен написал роман «Позолоченный век» (1874).

Удивительная республика Гондур (The Curious Republic of Gondour).

Впервые опубликовано анонимно в октябре 1875 г. в журнале «Atlantic Monthly». Не входило в собрания сочинения Твена. За поди него Твена опубликовано посмертно, в 1919 г. в одноименном сборнике, по которому и сделан перевод.

Послание ордену «Рыцарей святого Патрика» (Letter Head at a Dinner of the Knights of St. Patrick), 1876.

Стр. 674. ...когда отмечается столетие существования Соединенных Штатов. — Декларация независимости США от Англии была провозглашена 4 июля 1776 г.

В свое время он проделал колоссальную работу. Речь идет о святом Патрике, жившем, по преданию, в VI в. н. э. и изгнавшем из Ирландии всех змей.

...военный, министр живет так экономно, что сумел за год скопить двенадцать тысяч долларов при жалованье в восемь тысяч. — Речь идет о военном министре США Уильяме Белкнепе (1829—1890), который в 1876 г. ушел в отставку, чтобы избежать ответственности за взяточничество.

Плимутский камень и отцы—пилигримы (Plymouth Rock and the Pilgrims).

Речь на банкете общества «Новая Англия» в Филадельфии, 22 декабря 1881 г. Перед речью публикуется отрывок из отчета общества «Новая Англия» за 1881 г., где впервые было опубликовано это произведение Твена.

Стр. 677. «Мейфлауэр» — корабль, на котором после 63 дней плавания прибыли в 1620

г. к заливу Массачусетс (где ныне находится Плимут) переселенцы — английские пуритане, бежавшие от преследований короля Якова I («отцы пилигримы».) В конце XIX в. в США было организовано Общество выходцев с «Мейфлауэра», ежегодно 22 декабря празднующее «День праотцев».

Стр. 679. Квакеры — христианская протестантская секта, отрицающая внешнюю обрядность церкви, а также военную службу. Основана в Англии Джорджем Фоксом в 1647 г. По второй половине XVII в. значительная часть квакеров, спасаясь от преследования, переселилась в Северную Америку (первоначально в Пенсильванию). Большинство квакеров сосредоточилось в Северных штатах и выступало за отмену рабства негров.

Уильямс Роджер (ок. 1604—1684) — английский богослов, один из первых сторонников религиозной терпимости. Эмигрировав в 1631 г. в Северную Америку, стал противником пуританской церкви. В 1639 г. создал в основанной им колонии Род—Айленд первую баптистскую церковь.

Салемские ведьмы. — Речь идет о казнях в 1691—1692 гг. в американской деревне Салем (штат Массачусетс) свыше двадцати женщин, обвиненных в колдовстве.

«„Рыцари труда" — новая династия» (The New Dynasty).

22 марта 1886 г. Твен выступил с речью «„Рыцари труда" — новая династия» в городе Хартфорде, на заседании клуба «В понедельник вечером». Впервые эта речь под заглавием «Новая династия» была опубликована в сентябре 1957 г. в журнале «New England Quarterly», по которому и сделан перевод. Полное название речи «„Рыцари труда" — новая династия» приводится в книге: Mark Twain—Howells Letters. 1872—1910. Ed. by H. N. Smith and W. M. Gibson. Cambridge, Mass. 1960, vol. II, p. 597—598.

Стр. 682. Дагомейский царек. — Государство Дагомея сложилось в начале XVII в. в Африке, у берегов Гвинейского залива, и по своему политическому строю представляло типичную для Африки того времени деспотию. В 1892—1893 гг. Дагомея была превращена во французскую колонию; с 1960 г. — республика.

Константин (274—337) — римский император (306—337), прозванный Великим.

Эдуард IV (1442—1483) — английский король (1461—1483).

Ричард III (1452—1485) — английский король (1483—1485).

Дайте власть Ричарду II—и он исторгнет у толпы рабов слезы благодарности, даруя им свободу... — Речь идет о вероломстве английского короля Ричарда II (1367—1400) во время крупнейшего в средневековой Англии народного восстания Уота Тайлера. Торжественно обещав 14 июня 1381 г. отмену крепостного права и полную амнистию восставшим, король Ричард II использовал веру крестьян в короля как «народного защитника» и сумел уговорить повстанцев покинуть Лондон, после чего Уот Тайлер был предательски убит, а восстание зверски подавлено с помощью рыцарского ополчения.

Стр. 685. Лоуэлл Джеймс Рассел (1810—18115) американский писатель.

...выступил мастер из типографии. — Имеется в виду Джеймс Уэлш, руководитель Филадельфийского профсоюза печатников. Выступая в январе 1888 г. в комиссии сената по вопросу о международном авторском праве, он заявил, что говорит от имени пяти миллионов членов американского профсоюзного объединения «Орден рыцарей труда» (в действительности оно насчитывало тогда около 725 тысяч рабочих).

Содержание:

Рассказы, очерки

Как лечить простуду (перевод Н. Дехтеревой), с. 7—12

Убийство Юлия Цезаря (перевод Н. Воронель), с. 13—18

К сведению миллионов (перевод Т. Шинкарь), с. 19—24

Трогательный случай из детства Джорджа Вашингтона (перевод Э. Гольдернесс), с. 25—29

Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса (перевод Н. Дарузес), с. 30—36

Рассказ о дурном мальчике (перевод М. Абкиной), с. 37—40

- Среди духов (перевод А. Старцева), с. 41—47
Жалоба на корреспондентов, написанная в Сан—Франциско (перевод А. Старцева), с. 48—53
В полицейском участке (перевод Б. Носика), с. 54—58
Академия художеств (перевод Б. Носика), с. 59—63
Чистильщики обуви (перевод Б. Носика), с. 64—67
Любоедство в поезде (перевод М. Литвиновой), с. 68—78
Чернокожий слуга генерала Вашингтона (перевод Н. Ромм), с. 79—82
Сиамские близнецы (перевод А. Ильф), с. 83—87
Когда я служил секретарем (перевод В. Лимановской), с. 88—93
Интервью с дикарем (перевод С. Маркиша), с. 94—97
Замечательный старик (перевод Т. Рузской), с. 98
Ниагара (перевод Э. Кабалевской), с. 99—106
Журналистика в Теннесси (перевод Н. Дарузес), с. 107—114
Венера Капитолийская (перевод Н. Дарузес), с. 115—121
Как выводить кур (перевод А. Мурик), с. 122—124
Покойный Бенджамин Франклин (перевод В. Маянц), с. 125—128
Воспоминание (перевод А. Старцева), с. 129—132
История повторяется (перевод Э. Гольдернесс), с. 133—134
Окаменелый человек (перевод Э. Гольдернесс), с. 135—138
Мое кровавое злодеяние (перевод Т. Рузской), с. 139—142
Как я редактировал сельскохозяйственную газету (перевод Н. Дарузес), с. 143—149
Возмутительное преследование мальчика (перевод М. Абкиной), с. 150—154
Подлинная история великого говяжьего контракта (перевод А. Старцева), с. 155—163
Подлинная история дела Джорджа Фишера (перевод А. Старцева), с. 164—172
Рассказ о хорошем мальчике (перевод М. Абкиной), с. 173—178
Отчаянная женщина (перевод В. Лившица), с. 179—180
Мои часы (перевод Н. Дарузес), с. 181—184
Средневековый роман (перевод Н. Емельяниковой), с. 185—193
Загадочный визит (перевод Н. Бать), с. 194—199
Как меня выбирали в губернаторы (перевод Н. Трениной), с. 200—205
Эпидемия (перевод В. Лимановской), с. 206—208
Дэн Мэрфи (перевод Г. Бабенышева), с. 209—210
Два—три невеселых жизненных наблюдения (перевод С. Маркиша), с. 211—213
Друг Гольдсмита снова на чужбине (перевод А. Старцева), с. 214—231
Наука или удача (перевод А. Старцева), с. 232—235
План города Парижа (перевод Э. Гольдернесс), с. 236—238
Ответ будущему гению (микроревод Н. Дехтеревой), с. 239
О парикмахерах (перевод Э. Боровика), с. 240—244
Мои первые подвиги на газетном поприще (перевод Э. Боровика), с. 245—24
Моя автобиография (перевод А. Старцева), с. 248—254
Моя первая беседа с Артмесом Уордом (перевод А. Старцева), с. 255—258
Как меня провели в Ньюарке (перевод Н. Дарузес), с. 259—260
Приятное и увлекательное путешествие (перевод И. Архангельской), с. 261—266
Правдивая история, записанная слово в слово, как я ее слышал (перевод Н. Чуковского), с. 267—271
Разговор с интервьюером (перевод Н. Дарузес), с. 272—276
Мак—Вильямсы и круп (перевод Н. Дарузес), с. 277—284
Назойливый завсегдатай (перевод Л. Силиной), с. 285—287
Ученые сказочки для примерных пожилых мальчиков и девочек (перевод В. Хинкиса), с. 311—316
Режьте, братцы, режьте! (перевод Н. Дарузес), с. 311—316

- Кое—какие факты, проливающие свет на недавний разгул преступности в штате Коннектикут (перевод М. Беккер), с. 317—336
- Рассказ коммивояжера (перевод Э. Кабалева), с. 337—344
- Рассказ капитана (перевод Т. Рузской), с. 345—349
- Рассказы о великодушных поступках (перевод Н. Дарузес), с. 350—357
- Великая революция в Питкерне (перевод С. Займовского), с. 358—370
- Укрощение велосипеда (перевод Н. Дарузес), с. 371—379
- Эдвард Милз и Джордж Бентон (перевод В. Лимановской), с. 380—387
- Миссис Мак—Вильямс и молния (перевод Н. Дарузес), с. 388—396
- Телефонный разговор (перевод Н. Колпакова), с. 396—399
- Любопытное происшествие (перевод Э. Гольдернесс), с. 400—429
- Похищение белого слона (перевод Н. Волжиной), с. 430—454
- Легенда о Загенфельде, в Германии (перевод К. Федоровой), с. 455—461
- Мак—Вильямсы и автоматическая сигнализация от воров (перевод А. Старцева), с. 462—469
- Как избавиться от речей (перевод Н. Ромм), с. 470—474
- Неофициальная история одной неудачной кампании (перевод И. Гуровой), с. 475—497
- Печатных дел мастер (перевод Н. Ромм), с. 498—500
- Письмо ангела—хранителя (перевод А. Старцева), с. 501—507
- Прощение английской королеве (перевод М. Абкиной), с. 508—513
- Удача (перевод И. Красногорской), с. 514—518
- Относительно табака (перевод И. Архангельской), с. 519—522
- Как я выступал в роли агента по обслуживанию туристов (перевод И. Бернштейн), с. 523—541
- Рассказ калифорнийца (перевод Е. Коротковой), с. 542—550
- Роман эскимосской девушки (перевод Н. Емельяниковой), с. 551—568
- Жив он или умер? (перевод М. Беккер), с. 569—579
- Дневник Адама (перевод Т. Озерской), с. 580—593
- Банковский билет в 1 000 000 фунтов стерлингов (перевод Н. Дарузес), с. 594—617

Публицистика

- Важная переписка (статья, перевод В. Лимановской), с. 621—633
- Чем занимается полиция? (статья, перевод В. Лимановской), с. 634—637
- Открытое письмо коммодору Вандербильту (статья, перевод М. Абкиной), с. 638—644
- О запахах (статья, перевод С. Маркиша), с. 645—647
- Исправленный катехизис (статья, перевод А. Старцева), с. 648—650
- Американцы и англичане (статья, перевод В. Лимановской), с. 651—653
- Разнузданность печати (статья, перевод В. Лимановской), с. 654—659
- Письма с Сандвичевых островов (статья, перевод В. Лимановской), с. 660—663
- Письмо редактору «Дейли график» (статья, перевод В. Лимановской), с. 664—666
- Удивительная республика Гондур (статья, перевод М. Абкиной), с. 667—673
- Послание ордену «Рыцарей святого Патрика» (статья, перевод В. Лимановской), с. 674—675
- Плимутский камень и отцы—пилигримы (статья, перевод В. Лимановской), с. 676—681
- «Рыцари труда» — новая династия (статья, перевод М. Лорие, А. Старцева), с. 682—690
- М. Мендельсон. Рассказы. Очерки. Публицистика (статья), с. 693—701
- А. Николюкин. Комментарии, с. 702—729

Все книги автора